

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



Роберт
Ленн Уоррен
ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ

Annotation

«Вся королевская рать» современного американского писателя Роберта Пенна Уоррена – философское произведение, наполненное глубоким нравственным смыслом. Основная тема произведения – ответственность человека за свою жизнь и действия перед Временем и самим собой.

- [Роберт Пенн Уоррен](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)

- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
-

Роберт Пенн Уоррен

Вся королевская рать

*Mentre che la speranza
ha fior
del verde...*

*«La Divina
Commedia»,
Purgatorio, III*

*Пока хоть листик у
надежды
бьется...*

*Данте.
«Божественная
комедия»,
Чистилище, III*

Мейзон-сити.

Чтобы попасть туда, вы едете из города на северо-восток по шоссе 58; шоссе это хорошее и новое. Вернее, было новым в тот день, когда мы ехали. Вы смотрите на шоссе, и оно бежит навстречу, прямое на много миль, бежит, с черной линией посередине, блестящей и черной, как вар на белом бетонном полотне, бежит и бежит навстречу под гудение шин, а над бетоном струится марево, так что лишь черная полоса видна впереди, и, если вы не перестанете глядеть на нее, не вдохнете поглубже

раз-другой, не хлопнете себя как следует по затылку, она усыпит вас, и вы очнетесь только тогда, когда правое переднее колесо сойдет с бетона на грунт обочины, – очнетесь и вывернете руль налево, но машина не послушается, потому что полотно высокое, как тротуар, – и тут, уже летя в кювет, вы, наверно, протянете руку, чтобы выключить зажигание. Но, конечно, не успеете. А потом негр, который мотыжит хлопок в миле отсюда, он поднимает голову, увидит столбик черного дыма над ядовитой зеленью хлопковых полей в злой металлической синеве раскаленного неба, и он скажет: «Господи спаси, еще один

сковырнулся». А негр в соседнем ряду отзовется: «Гос-споди спаси», и первый захихикает, и снова поднимется мотыга, блеснув лезвием, как гелиограф. А через несколько дней ребята из дорожного отдела воткнут здесь в черный грунт обочины железный столбик, и на нем будет белый жестяной квадрат с черным черепом и костями. Потом над травой поднимется плющ и обовьет этот столбик.

Но если вы очнулись вовремя и не слетели в кювет, то будете мчаться сквозь марево, и навстречу будут пролетать автомобили с таким ревом, будто сам господь бог срывает голыми руками железную крышу.

Далеко впереди, на горизонте, где хлопковые поля тают в белом небе, бетон будет блестеть и сиять, словно затопленный водою. И вы будете мчаться туда, но оно всегда будет впереди, это ясное, влажное пятно, недостижимое, как мираж. И будут проноситься мимо жестяные квадраты с черепами и скрещенными косточками. Потому что это страна, где век двигателей внутреннего сгорания давно вступил в свои права. Где каждый мальчишка — Барни Олдфилд^[1], а девушки с гладкими личиками, от которых холодеет сердце, ходят в шитье, органди и батисте, но без трусов — по причине климата, — и, когда встречный ветер в

машине поднимает у них волосы на висках, вы видите там светлые капельки пота; девушки низко сидят на сиденьях, согнув тоненькие спины и подтянув колени повыше к приборной доске, но не слишком сдвигая их, чтобы было прохладней от вентилятора — если это можно назвать прохладой. Где запах бензина и горящих тормозных колодок и красный стоп-сигнал — слаще мирры. Где восьмицилиндровые махины срезают виражи среди красных холмов, разбрызгивая гравий, будто воду, а когда они спускаются на равнину и дуют по новым шоссе — смилуйся, бог, над душами путников.

Дальше по шоссе 58 — и

ландшафт меняется. Остаются сзади равнины, хлопковые поля, и купа дубов у большого дома и выбеленные — одна в одну — хижины, выстроившиеся вдоль поля, и хлопок, подступающий к самому порогу, где сидит негритенок, сосет большой палец и смотрит, как вы проезжаете мимо. Теперь все это позади. Теперь — лишь красные холмы вокруг, кусты куманики у изгороди, да черные бочажки в лощинах, да изредка молодой сосняк — если его не спалили под выгон для овец, а если спалили — то черные пни. И еще — хлопковые посевы, опоясывающие склоны холмов, рассеченных оврагами, да жухлые, неподвижные

листья кукурузы.

Когда-то здесь были сосновые леса, но их давно свели. Наехала сюда всякая шантрапа, настроила лесопилок и кредитных лавок, провела узкоколейки и стала платить по доллару в день, и народ попер из лесов за этим долларом, народ повалил бог знает откуда, со своими комодами и кроватями, со своими пятью ребятишками на фургонах, со своими старухами в чепцах, жующими табак, и младенцами, вцепившимися в титьку. Пилы пели сопрано, приказчик отвешивал патоку, сало и записывал долг в своей большой книге; доллар янки и тупость южан залечивали раны

четырехлетней братоубийственной распри, и все крутилось, и вертелось, и шло гладко, как по маслу. А потом оказалось вдруг, что сосновых лесов больше нет. Лесопилки были разобраны. Узкоколейки заросли травой. Народ растаскал магазины на дрова. Не стало больше доллара в день. И воротилы разъехались в бриллиантовых перстнях и черном двойном сукне. Но кое-какие люди осели здесь, чтобы смотреть, как вгрызаются овраги в красную глину. И кое-кто из них со своими потомками и правопреемниками остался в Мейзон-Сити — тысячи четыре народу, не больше.

Вы въезжаете в город по шоссе

58, мимо прядильни и электростанции, мимо вереницы негритянских хижин, по улице, застроенной белыми некогда домишками с железной кровлей и тоскливым пряничным кружевом резьбы на карнизах террас, мимо дворов, где листья деревьев млеют и никнут от зноя, и сквозь вежливый шепот восьмидесятисильного верхнеклапанного (или какой там у вас) на скорости сорок миль слышите жужжание июльских мух, ввинчивающихся в зелень.

Таким я застал Мейзон-Сити в последний раз — почти три года назад, летом 36-го. Я сидел в первой машине, в «кадиллаке», вместе с

Хозяином, м-ром Дафи, женой и сыном Хозяина и Рафинадом. Во второй машине, которая была не так элегантна, как наша помесь катафалка с океанским лайнером, но все же не заставила бы вас краснеть на стоянке загородного клуба, ехали репортеры, фотографы и секретарша Хозяина Сэди Берк, которая следила за тем, чтобы ежи не налакались и были в состоянии делать то, что им положено делать.

«Кадиллаком» правил Рафинад, и смотреть на это было приятно. Было бы приятно, если бы вы смогли отвлечься от мыслей о том, во что превратятся две тонны дорогих механизмов, перевернувшись раза

три на скорости восемьдесят миль, и сосредоточить внимание на мускульной координации, сатанинском юморе и молниеносном расчете, которые демонстрировал Рафинад, круто обходя воз с сеном навстречу огромному бензовозу и бросая машину в ничтожный просвет, чтобы устроить инфаркт шоферу одним крылом, а другим — смахнуть сопли у мула. Но Хозяину это нравилось. Он всегда сидел впереди, поглядывая то на спидометр, то на дорогу, и улыбался Рафинаду, когда они проскакивали между бензовозом и носом мула. И голова Рафинада дергалась, как всегда, когда слова застревали у него

в горле и не желали выходить наружу.

— З-з-за, — выдавливал он, и слюна вылетала у него изо рта, словно из распылителя. — З-з-зараза, он ж-ж-же видел, ч-ч-что, — и слюна брызгала на ветровое стекло, — ч-ч-что я еду.

Рафинад не мог разговаривать, но он мог выразить себя, поставив ногу на акселератор. Он не одержал бы победы на школьном диспуте, да и вряд ли кто захотел бы дискутировать с Рафинадом. Во всяком случае, не тот, кто знал его или видел, как он управляется со своим 9,65 — «спешиа́л», который торчал у него под мышкой, словно опухоль.

Вы, конечно, решили, судя по имени, что Рафинад был негром. Но он не был негром. Он был из ирландцев, хотя и непутевых. Росту в нем было метр пятьдесят семь, и в свои двадцать семь или двадцать восемь лет он порядком оплешивел. Галстуки он носил красные, а под галстуком и рубашкой – маленькую католическую медаль на цепочке, и я надеялся всей душой, что это св. Христофор^[2] и что св. Христофор нас не оставит. Фамилия его была О'Шинн, а Рафинадом его звали потому, что он вечно сосал сахар. Каждый раз, уходя из ресторана, он забирал из вазочки весь кусковой сахар. Он так и ходил с карманами,

набитыми сахаром, и, когда он бросал в рот кусок, вы видели прилипшие к сахару табачные крошки и серые нитки, которые всегда сваливаются на дне кармана. Он бросал этот кусок за частокол маленьких кривых черных зубов, его тощие ирландские щеки втягивались внутрь, и он становился похож на недокормленного эльфа.

Хозяин сидел впереди возле Рафинада, поглядывая на спидометр, а рядом с ним его сын Том. Тому было лет восемнадцать или девятнадцать — не помню точно, — но выглядел он старше. Он был не так уж высок, но сложен как взрослый мужчина, и голова сидела у него на

плечах по-мужски, а не торчала вперед на тонкой шее, как у подростка. Он был футбольной знаменитостью еще в школе, а прошлой осенью стал звездой в сборной первокурсников нашего университета. О нем писали в газетах – и не зря. И он знал это. Он знал, что он молодчага – достаточно было взглянуть на его гладкое, красивое, загорелое лицо, на челюсти, мерно и безучастно обрабатывавшие жвачку, на голубые глаза под тяжелыми веками, так же мерно и бесстрастно обрабатывавшие вас, да и весь белый свет, пропади он пропадом. В тот день, когда он сидел впереди с Вилли Старком, то бишь Хозяином, я не

видел его лица. Но я помню, как думал о том, что и формой и посадкой головы он напоминает своего папашу.

Миссис Старк (Люси Старк, жена Хозяина), Крошка Дафи и я сидели сзади; Люси Старк – между Крошкой и мной. Нельзя сказать, что это была чересчур веселая компания. Во-первых, светской беседе не способствовала жара. Во-вторых, мое внимание было приковано к бензовозам и телегам с сеном. В-третьих, Дафи и Люси Старк не очень ладили друг с другом. Словом, Люси сидела между Дафи и мною и предавалась своим мыслям. Подозреваю, что ей было о чем

подумать. Ну, хотя бы о том, сколько воды утекло с тех пор, как она начала учительствовать в Мейзон-Сити и вышла замуж за краснолицего деревенского парня с тяжелыми руками, каштановым чубом, спадавшим на лоб (можете полюбоваться на их свадебную фотографию — одну из тысяч фотографий Вилли, напечатанных в газетах), и глазами, которые смотрели на нее с собачьей преданностью и изумлением. Ей было над чем подумать в быстром «кадиллаке», потому что с тех пор многое переменялось.

По улице, застроенной некогда белыми домишками, мы выехали на

площадь. Была суббота, конец дня, и на площади толпился народ. Вокруг истоптанного газона сплошняком стояли повозки и корзины, а посреди него — здание суда, кирпичный ящик, облезлый и нуждавшийся в окраске, потому что воздвигнут он был еще до Гражданской войны, с башенкой, украшенной со всех четырех сторон часами. При ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что часы эти ненастоящие. Они были просто нарисованы и всегда показывали пять часов, а отнюдь не восемь семнадцать, как показывают большие нарисованные часы перед захудалыми ювелирными магазинами. В толпе людей, занятых

куплей и продажей, мы притормозили; Рафинад стал сигналить, голова его задергалась, и, брызгая слюной, он произнес: «З-з-з-з-ар-аза».

Мы подкатали к аптеке, и, прежде чем Рафинад успел остановиться, мальчик Том, а за ним и Хозяин выпрыгнули из машины. Я вышел и помог Люси Старк, которая достаточно пришла в себя после жары и разных мыслей, чтобы сказать: «Спасибо». Она замешкалась на тротуаре, одергивая юбку на бедрах, которые, должно быть, располнели с тех пор, как она завоевала сердце крестьянского сына Вилли Старка.

Последним из «кадиллака» выгрузился м-р Дафи, и мы направились к аптеке. Хозяин распахнул дверь перед Люси Старк, вошел за ней следом, а за ним двинулись и мы. Внутри было полно народу: у стойки с газированной водой толпились мужчины в комбинезонах, у прилавков с ослепительным хламом тосковали женщины, а ребятишки, цепляясь одной рукой за юбку и другой стискивая рожок с мороженым, глядели поверх своих мокрых носов на мир взрослых глазами, напоминавшими китайские шарики из поддельного мрамора. Хозяин с упавшим на лоб влажным чубом,

держа шляпу в руке, скромно встал в очередь за газировкой. Он простоял так, наверное, с минуту, а потом одна из девушек, накладывавших мороженое, заметила его и, сделав такое лицо, будто у нее в церкви лопнули подвязки, уронила ложку и направилась в заднюю часть аптеки, до звона накачивая бедрами свой зеленый халатик.

Через миг маленький лысый субъект в белом пиджаке, давно скучавшем по стирке, ринулся в толпу из заднего помещения, махая рукой, налетая на посетителей и восклицая: «Это Вилли!» Белый пиджак подбежал к Хозяину, Хозяин шагнул ему навстречу, и он ухватился

за руку Вилли, как утопающий. Он не пожимал руку, как это принято делать. Он просто повис на ней, дрожа всем телом и захлебываясь звуками магического слова *Вилли*. Потом, когда припадок кончился, он обернулся к толпе, стоявшей на почтительном отдалении, и объявил:

— Боже мой, друзья, ведь это Вилли!

Замечание было излишне. С первого взгляда было ясно, что если кому-нибудь из собравшихся граждан не знакомо лицо и имя плечистого мужчины в легком костюме, то этот гражданин полоумный. Не говоря уже о том, что если бы гражданин этот потрудился поднять глаза, он

увидел бы над сатуратором
шестикратно увеличенное против
натуральных размеров изображение
того же самого лица: те же большие
глаза, но на фотографии несколько
сонные и как бы обращенные в себя
(сейчас глаза человека в легком
костюме были лишены этого
выражения, но мне доводилось его
видеть), те же мешки под глазами,
чуть обрюзглые щеки, мясистые
губы, которые, если вглядеться, были
пригнаны одна к другой, как пара
кирпичей, ту же спутанную прядь
волос, свисавшую на не очень
высокий квадратный лоб. Под
портретом было написано в
кавычках: «Я слушаю сердце

народное». И подпись: Вилли Старк. Я видел эту фотографию в тысяче разных мест — от дворцов до бильярдных.

Кто-то крикнул: «Здорово, Вилли!» Хозяин помахал правой рукой, приветствуя неизвестного почитателя. Потом он заметил у дальнего конца стойки высокого тощего малярика, наружностью напоминавшего вяленую оленину, обтянутую дубленой кожей, в джинсах и с вислыми усами, какие встречаешь порой на снимках кавалеристов генерала Форреста^[3]. Хозяин направился к нему, протягивая руку. Кожаная Морда не выразила чувств. Разве что шаркнула

разбитым сыромятным башмаком по плитке да двинула раза два адамовым яблоком. Глаза на лице, похожем на старое, брошенное во дворе седло, смотрели выжидательно, и, когда Хозяин приблизился, рука Кожаной Морды согнулась в локте так, словно не принадлежала никому, а жила самостоятельной жизнью, и Хозяин пожал ее.

— Как жизнь, Малахия? — спросил Хозяин.

Адамово яблоко перекатилось с места на место, Вилли отпустил руку, которая повисла в воздухе, будто ничья, и Кожаная Морда сказала:

— Помаленьку.

– Как твой малый? – спросил Хозяин.

– Не очень.

– Болеет?

– Не, – пояснила Кожаная Морда, – посадили.

– Черт возьми, – сказал Хозяин, – что они, очумели, сажать таких хороших ребят в тюрьму?

– Он хороший малый, – согласилась Кожаная Морда. – И драка была честная, но ему не повезло.

– А?

– Все было честно, по правилам, но ему не повезло. Он пырнул парня, а парень умер.

– Дела... – сказал Хозяин. –

Судили?

— Нет еще.

— Дела, — сказал Хозяин.

— Мы не жалуемся, — сказала Кожаная Морда. — Все было честно, по правилам.

— Рад был тебя повидать, — сказал Хозяин. — Скажи малому, пусть держит хвост морковкой.

— Он не жалуется, — сказала Кожаная Морда.

После сотни миль по жаре мы смотрели на кран как на мираж. Хозяин направился было к нам, но Кожаная Морда вспомнила:

— Вилли!

— Чего? — отозвался Хозяин.

— Твой портрет, — сообщила

Кожаная Морда, с хрустом повернув голову в сторону шестикратно увеличенного изображения над сатуратором. — Твой портрет, — сказала Кожаная Морда, — ты на нем плохо выглядишь.

— Ясное дело, — сказал Хозяин, наклонив голову и щурясь на фотографию. — Только сам я был не лучше, когда меня снимали. Ходил как после дизентерии. Попробуй научи уму-разуму этих законников в конгрессе — ослабнешь похуже, чем от летнего поноса.

— Научи их уму-разуму, Вилли! — закричал кто-то в толпе, которая все росла, потому что народ валил с улицы.

– Научу, – пообещал Вилли и обернулся к субъекту в белом пиджаке. – Налей же нам кока-колы, Док, Христа ради.

Док чуть не умер от разрыва сердца, пока бежал за прилавок. Полы его белого пиджака распластались в воздухе, когда он сделал поворот вокруг стойки и, расшвыряв девушек в салатных халатиках, ринулся к бару. Он налил стакан и вручил Хозяину, а тот передал его жене. Он стал наливать следующий, приговаривая:

– Мы угощаем, Вилли, мы угощаем.

Этот стакан Вилли взял себе, а Док продолжал наливать,

приговаривая:

— Мы угощаем, Вилли, мы угощаем.

Он все наливал и наливал, пока не налил пять лишних.

К тому времени толпа у дверей аптеки разрослась до середины улицы. К стеклянной двери прилипли носы — люди хотели разглядеть, что творится в полутемной комнате.

— Речь, Вилли, речь! — кричали на улице.

— Ну что ты скажешь, — произнес Хозяин, обращаясь к Доку, который повис на никелированном кране сатуратора и провожал взглядом каждую каплю кока-колы,

исчезающую в глотке Хозяина. — Что ты скажешь, — повторил Хозяин. — Не затем я ехал, чтобы речи говорить. Я ехал проведать папашу.

— Речь, Вилли, речь! — кричали за дверью.

Хозяин опустил стакан на мрамор.

— Мы угощаем, — прохрипел Док, изнемогая от восторга.

— Спасибо, Док, — сказал Хозяин. Он пошел к двери, но оглянулся. — Знаешь, посиди-ка ты лучше здесь да продай побольше аспирина. А то ведь на даровых угощениях и прогореть недолго.

Он протиснулся к двери, толпа попятилась, и мы пошли за ним.

М-р Дафи нагнал Хозяина и спросил, собирается ли он произносить речь, но Хозяин даже не взглянул на Дафи. Он шагал через улицу уверенно и неторопливо — прямо сквозь толпу, как будто ее и не было. Изгородь длинных красных лиц провожала его настороженными глазами и беззвучно раздвигалась. Он рассекал толпу, а мы — те, кто приехал в «кадиллаке», и те, кто был во второй машине, — шли у него в кильватере. Потом толпа сомкнулась за нами.

Хозяин шел прямо вперед, опустив голову, как человек, который вышел прогуляться и подумать о чем-то своем. Шляпу он держал в руке, и

волосы упали ему на лоб. Я знал, что они упали ему на лоб, потому что он раз или два тряхнул головой, словно взнузданная горячая лошадь, — он всегда так делал, когда гулял один и чуб падал ему на глаза.

Он шел прямо через улицу, прямо через газон и вверх по ступеням суда. Никто не поднялся за ним по лестнице. Наверху он медленно обернулся к толпе. Он смотрел на нее, мигая своими большими глазами, словно только что вышел из темного вестибюля и старался привыкнуть к свету. Он стоял и помаргивал, влажный чуб закрывал ему лоб, под мышками его светлого курортного костюма

виднелись темные пятна пота. Потом он тряхнул головой, и, хотя солнце било ему в лицо, глаза его выкатились и в них возник этот блеск.

«Вот оно, начинается», — подумал я.

Вот так всегда: глаза выкатывались, будто внутри у него что-то произошло, а потом появлялся этот самый блеск. Вы знали: что-то в нем произошло — и говорили себе: «Вот оно, начинается». Так бывало всегда. Глаза выкатывались и вспыхивали, и что-то холодное сдавливало вам живот, словно кто-то схватил что-то там, в темноте, которая внутри вас, — схватил

холодной рукой в холодной резиновой перчатке. Так бывает, когда, вернувшись ночью домой, вы находите под дверью желтый конверт с телеграммой и наклоняетесь и поднимаете, но не решаетесь раскрыть его сразу. И пока вы стоите в прихожей с конвертом в руке, вы чувствуете, что кто-то смотрит на вас — чей-то огромный неподвижный глаз смотрит сквозь пространство и темноту, сквозь стены и дома, сквозь ваше пальто, и пиджак, и кожу и видит, как вы съежились внутри, в темноте, которая и есть вы, съежились, словно мокрый, скорбный зародыш, которого вы носите в своем чреве. Глаз знает, что

в этом конверте, и ждет, когда вы разорвете его и узнаете сами. Но мокрый, скорбный утробный плод, который и есть вы и съежился в темноте, которая — тоже вы, он поднимает свое скорбное сморщенное личико, и глаза его слепы, и он дрожит от холода внутри вас, ибо не хочет знать, что в конверте. Он хочет лежать в темноте, и не знать, и греться своим незнанием. Конец человека — знание, но одного он не может узнать: он не может узнать, спасет его знание или погубит. Он погибнет — будьте уверены, — но так и не узнает, что его погубило: знание, которым он овладел, или то, которое от него

ускользнуло и спасло бы его, если бы он овладел им. В животе у вас холод, но вы открываете конверт, потому что удел человека – знание.

Хозяин стоял неподвижно, глаза его были расширены и горели, а в толпе не раздавалось ни звука. Слышно было, как одуревшая июльская муха без устали пилит в листьях катальпы. Потом и этот звук умолк, и осталось лишь одно ожидание. Тогда Хозяин шагнул вперед, легко и неслышно.

– Я не собираюсь говорить речь, – сказал Хозяин и усмехнулся. Но глаза его по-прежнему были расширены и блестели. – Я не затем приехал, чтобы говорить речи. Я

приехал посмотреть на моего папашу, посмотреть, осталось ли у него чего-нибудь пожевать в коптильне. Я скажу ему: «Папа, где же копченая колбаса, которой ты хвалился, где же ветчина, которой ты хвалился всю зиму, где...»

Это были только слова, а голос звучал совсем по-другому; глухой, он выходил как будто через нос, с короткими передышками, какие вы слышите в речи наших деревенских: Папа — где же — твоя...

Но глаза у него блестели, и я думал: «Может быть, еще начнется». Может быть, еще не поздно. Никогда нельзя было угадать заранее. Миг — и начнется, миг — и он заговорит.

Но он продолжал: «Словом, я не собираюсь говорить здесь речи» — своим обычным голосом, своим собственным. А может, и этот не был его настоящим голосом? Да и какой у него в самом деле голос, какой из его голосов настоящий? — спрашивали вы себя.

Он говорил:

— И приехал я не затем, чтобы чего-нибудь у вас кланчить — даже голосов на выборах. В Священном писании сказано: «У ненасытимости две дочери: «Давай, давай!» Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут: «Довольно!» — Теперь голос его стал другим. — Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не

насыщается водою, и огонь, который не говорит: «Довольно!» Но Соломон мог бы добавить сюда еще одну вещь. Он мог бы закончить свой списочек политиком, которому никогда не надоедает говорить «давай!».

Он стоял в ленивой позе, наклонив набок голову и мигая. Потом улыбнулся и сказал:

— Если у них в те времена были политики, то и они твердили: «Давай, давай!» — вроде нас, нынешних. Давай, давай, меня звать Незевай. Но сегодня я не политик. Я сегодня выходной. Я даже не стану просить, чтобы вы за меня голосовали. Говоря честно, как перед господом богом, мне это и ни к чему.

Пока у меня еще есть клетушка в том большом доме с белыми колоннами на переднем крыльце, где подают на завтрак персиковое мороженое. Хотя нельзя сказать, чтобы я пришелся по нраву тамошней шайке... Знаете, — он подался вперед, словно желая поделиться секретом, — порою смех берет, до чего я не могу поладить с некоторыми людишками. Хоть из кожи лезь. Я был вежливый. Я говорил: «Пожалуйста». А пожалуйста — не лошадь, далеко на нем не уедешь. Однако похоже, что им придется потерпеть еще один срок. И вам придется. Так что терпите и улыбайтесь. Все равно как чирей. Верно?

Он замолчал и оглядел толпу, медленно поворачивая голову и как будто задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом. Потом улыбнулся, моргнул и сказал:

— Ну, чего еще? Языки проглотили?

— Как чирей на заднице, — крикнул кто-то в толпе.

— А ты, чертова кукла, — заорал в ответ Вилли, — на пузе спи.

Кто-то засмеялся.

— И поблагодари бога, — орал Вилли, — что он хоть тут не обошел тебя своей милостью и удосужился приделать переднюю часть к такому тощему огузку, как ты!

— Дай им, Вилли! — закричали в

толпе. И все начали смеяться.

Хозяин вытянул правую руку ладонью вниз и выждал, пока они перестанут свистеть и смеяться. Тогда он заговорил:

— Нет, я не собираюсь у вас кланчить. Ни голосов, ни чего другого. За этим я, пожалуй, приеду в другой раз. Если мне не разонравится большой дом и персиковое мороженое на завтрак. Да я и не надеюсь, что вы все, как один, побежите за меня голосовать. Господи, если бы все вы стали голосовать за Вилли, о чем бы вам было спорить? Не о чем, кроме как о погоде, а за погоду не проголосуешь.

Нет, — сказал он, — и это был уже

другой голос, спокойный, мягкий, неторопливый, доносившийся как будто издалека. — Сегодня я ничего у вас не прошу. Сегодня у меня выходной день, и я приехал к себе домой. Человек уходит из дома, что-то гонит его прочь. По ночам он лежит на чужих кроватях, и чужой ветер шумит над ним в деревьях. Он бродит по чужим улицам, и перед глазами его проходят лица, но он не знает имен для этих лиц. Голоса, которые он слышит, — не те голоса, что звучат в его ушах с тех пор, как он ушел из дома. Это громкие голоса. Такие громкие, что заглушают голоса его родины. Но вот наступает минута тишины, и он снова слышит прежние

голоса, те голоса, которые он унес с собой, уходя из дома. И он уже разбирает, что они говорят. Они говорят: «Возвращайся». Они говорят: «Возвращайся, мальчик». И он возвращается.

Голос его оборвался. Он не утих, перед тем как исчезнуть. Еще секунду назад он был тут, звучал — слово за словом, в мертвой тишине, которая висела над толпой и над площадью перед зданием суда и казалась еще мертвее от жужжания июльских мух в кронах двух катальп, росших посреди газона. Голос длился — слово за словом — и вдруг пропал. Только мухи жужжали, словно у вас в мозгу, жужжали,

скрипели, словно пружины и шестерни, которые будут работать, что бы вы ни говорили, работать, пока не износятся.

Он стоял с полминуты, не шевелясь и не произнося ни слова. Он как будто не замечал толпы. И вдруг, точно увидев ее впервые, улыбнулся.

— И он возвращается, — сказал Хозяин с улыбкой, — когда у него выдается свободный вечерок. И говорит: «Здорово, братцы! Как поживаете?» Вот и все, что я скажу вам.

Вот и все, что он сказал. Он смотрел вниз, улыбался и поворачивал голову, словно

задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом.

Потом он стал спускаться по ступеням, будто только что вышел из темного вестибюля, из большой двери, зиявшей за его спиной, и спускался сам по себе, и не было перед ним никакой толпы, ни одного постороннего глаза. Он спустился по ступенькам прямо к тому месту, где стояла наша компания – Люси Старк и остальные, — кивнул нам мимоходом, как шапочным знакомым, и продолжал идти прямо на толпу, будто ее не было. Люди расступались, не сводя с него глаз, давали ему дорогу, а мы шли за ним следом, и толпа смыкалась за нами.

Теперь народ кричал и хлопал в ладоши. Кто-то надрывался: «Здорово, Вилли!»

Хозяин прошел сквозь толпу, пересек улицу, влез в «кадиллак» и сел. Мы полезли за ним, а фотографы и остальная шатия отправились к своей машине. Рафинад вырулил на улицу. Люди уступали дорогу не сразу. Они не могли, они стояли слишком тесно. Когда мы ехали сквозь толпу, их лица были совсем рядом, можно было дотянуться. Лица смотрели на нас. Но теперь они были снаружи, а мы – внутри. Глаза на гладких длинных красных лицах и на коричневых морщинистых лицах смотрели в машину, прямо на нас.

Рафинад без конца сигналил. Слова копились и застревали у него в горле. Губы шевелились беззвучно. Я видел его лицо в зеркале.

— З-з-з-зар-азы, — сказал он, брызгая слюной.

Хозяин был задумчив.

— З-з-з-зар-азы, — сказал Рафинад, нажимая сигнал, но мы уже въезжали в переулок, где не было ни души. Кирпичную школу на окраине мы миновали со скоростью сорок миль. Тут я и вспомнил, как впервые встретился с Вилли, четырнадцать лет назад, в 1922-м, когда он был всего-навсего казначеем округа Мейзон и приехал в город насчет выпуска облигаций на постройку

этой самой школы. Я вспомнил, как познакомился с ним в задней комнате у Слейда, где сам Слейд подавал пиво, а мы сидели за мраморным столиком с плетеными железными ножками, вроде тех, что были в ходу во времена вашего отрочества, когда вы отправлялись в кафе со своей девочкой-одноклассницей, чтобы угостить ее шоколадно-банановым пломбиром и потереться коленками под столом, и все время натыкались ногами на эти кружевные железки.

Нас было четверо. Был Крошка Дафи – почти такой же толстый, как и теперь. Сообразить, что он за

птица, можно было без всяких опознавательных знаков. Если ветер дул в вашу сторону, вы за сто шагов чували в нем муниципальную вонючку. Он был пузат, потел сквозь рубашку, и лицо его, жидкое и бугристое, напоминало коровью лепешку на весеннем лугу, с той лишь разницей, что имело цвет теста, а посреди золотом цвела улыбка. Он был податным чиновником и носил свою плоскую твердую соломенную шляпу на затылке. Лента на шляпе была цветов государственного флага.

И еще был Алекс Майкл, тоже из округа Мейзон, из деревенских мальчиков, но очень смышленный.

Такой смышленный, что успел сделаться помощником шерифа. Но помощником он был недолго. Он стал ничем, после того как ему выпустил кишки подгулявший кокаинист-тапер в одном из баров, куда Алекс регулярно наведывался за данью. Как я уже сказал, Алекс был родом из округа Мейзон.

Мы с Дафи сидели в задней комнате у Слейда и ждали Алекса, с которым я надеялся провернуть одно дельце. Я был газетчиком, и Алекс располагал нужными мне сведениями. Пригласил его Дафи, потому что Дафи был моим другом. Выражаясь точнее, Дафи знал, что я работаю в газете «Кроникл», которая

поддерживала Джо Гарисона. Джо Гарисон был тогда губернатором. А Дафи – одним из его мальчиков.

Итак, однажды жарким утром, в июне или июле 1922 года, я сидел в задней комнате у Слейда и слушал тишину. Морг в полночь – камнедробилка по сравнению с задней комнатой такого бара, если вы в нем первый посетитель. Вы сидите и вспоминаете, как уютно здесь было вчера вечером от испарений дружественных тел и мурлыканья пьяной братии, смотрите на тоненькие полосы влажных опилок, оставленные старой метлой старого, охладевшего к своему ремеслу негра, и вам кажется, будто вы наедине с

Одиночеством и сейчас – Его ход.

Итак, я сидел в тишине (Дафи бывал необщителен по утрам, пока ему не удавалось опрокинуть пару-другую стаканчиков) и слушал, как распадаются мои ткани и тихо стреляют капельками пота железы в обильной плоти моего соседа.

Алекс пришел не один, и стало ясно, что разговор по душам у нас не получится. Дело мое было весьма деликатного свойства и не предназначалось для чужих ушей. Я решил, что Алекс нарочно привел своего приятеля. Скорее всего, так оно и было, потому что военные хитрости Алекса всегда отдавали дилетантизмом. Так или иначе,

привел он с собой Хозяина.

Только это не был Хозяин. По крайней мере в глазах неискушенного *homme sensuel*^[4]. С точки зрения метафизической, этот человек, конечно, был Хозяином — но откуда я мог знать? Судьба входит через дверь — ростом в метр восемьдесят, с широковатой грудью и коротковатыми ногами, одетая в бумажный полосатый костюм за семь пятьдесят, в длинноватых брюках, спадающих гармошкой на черные штиблеты (их не мешало бы почистить), в высоком крахмальном воротничке, как у старост в воскресных школах, с галстуком в синюю полосу — который явно был

подарен женой на прошлое рождество и хранился в папиросной бумаге вместе с рождественской карточкой («Счастливого рождества желает дорогому Вилли любящая жена»), пока его владелец не собрался в город, — и в серой фетровой шляпе с потеками пота на ленте. Судьба является в таком обличье — и как ее распознаешь? Она входит за Алексом Майклом, который представляет собой — вернее, представлял, пока с ним не разделался тапер, — сто восемьдесят девять сантиметров великолепных костей; хрящей и суставов, с жестким, костлявым, хорошо прожаренным лицом и маленькими

кариими глазками, бегающими наподобие мексиканских жучков и оттого плохо гармонирующими с этим лицом и классическим торсом. Так вот, Судьба скромно пробирается вслед за Алексом Майклом, а тот подходит к столу, имея на лице выражение властности, которое не обманет и ребенка.

Алекс пожал мне руку, сказал: «Привет, дружище», хлопнул меня по плечу ладонью достаточно твердой, чтобы колоть грецкие орехи, почтительно приветствовал Дафи, который подал руку, не вставая, и после всего этого, вспомнив о своем незначительном спутнике, ткнул через плечо большим пальцем и

объявил:

— Это Вилли Старк. Тоже из Мейзон-Сити. Мы с ним вместе учились. Наш Вилли был книжный червь, учительский любимчик. Скажи, Вилли. — Алекс заржал в полном восторге от своего утонченного юмора и ткнул любимчика под ребра. Потом, овладев собой, добавил: — Он и сейчас учительский любимчик. Скажи, нет, Вилли? Скажи.

И прежде чем снова огласить бар жизнерадостными звуками случного стойла, Алекс обернулся к нам и пояснил:

— Наш Вилли, он на учительнице женился!

Мысль эта казалась Алексу чудовищно смешной. Тем временем Вилли, не имея возможности подтвердить или опровергнуть этот факт, покорился стихии. Он стоял, держа в руке старую фетровую шляпу с потеками пота на ленте, и его широкое лицо над жестким деревенским воротничком не выражало ничего.

— Да, да — на учительнице! — подтвердил Алекс с прежним жаром.

— Что ж, — сказал м-р Дафи, чьи опыт и такт выручали его в любой ситуации, — говорят, у учительниц эта штука на том же месте, что и у всех. — М-р Дафи вздернул губу над золотыми зубами, но не издал ни

звука, ибо, будучи человеком светским и ненавязчивым, предпочитал высказать шутку и, полагаясь на ее внутреннюю ценность, спокойно ожидать аплодисментов публики.

Алекс обеспечил аплодисменты. Я тоже внес свою лепту в виде улыбки, которая, наверно, выглядела болезненной. Лицо же Вилли было пустынно.

— Ей-богу, — выговорил Алекс, отдышавшись. — Ей-богу, мистер Дафи, ну и фрукт же вы! Ей-богу же, вы фрукт. — И он снова ткнул под ребра любимчику, желая пробудить в нем дремлющее чувство юмора. Не добившись результата, он еще раз

пихнул своего спутника и спросил без всяких околичностей: — Ну не фрукт ли наш мистер Дафи?

— Да, — сказал Вилли, глядя на м-ра Дафи наивно, оценивающе и бесстрастно. — Да, — сказал он, — мистер Дафи — это фрукт.

После этого признания, пусть запоздалого и по форме несколько расплывчатого, облачко, омрачившее чело м-ра Дафи, растаяло бесследно.

Вилли воспользовался минутным затишьем, чтобы завершить ритуал знакомства, легкомысленно нарушенный Алексом. Он переложил свою старую шляпу в левую руку, сделал два шага к столу и чинно протянул мне

правую. Столько воды утекло с тех пор, как Алекс ткнул большим пальцем в сторону деревенского незнакомца и сказал: «Это Вилли Старк», что мне кажется, будто я знал Вилли с пеленок. Я не сразу сообразил, что Вилли хочет обменяться со мною рукопожатиями. Я вопросительно посмотрел на его протянутую руку, с недоумением перевел взгляд на его неподвижное, вполне заурядное с виду лицо и, ничего не прочтя в нем, снова посмотрел на руку. Тут я пришел в себя и, не желая уступить ему в галантности, отодвинул задом стул, привстал и пожал его руку. Рука была солидных размеров. Сперва вам

казалось, что она мягковата, да и ладонь была немного влажная, хотя в определенных широтах нельзя ставить это в вину человеку, но потом в ней прощупывалась жесткая основа. Это была рука деревенского парня, который совсем недавно бросил плуг и стал торговать в придорожной лавке. Вилли трижды тряхнул мою руку, сказал: «Рад познакомиться с вами, м-р Берден» так, будто долго учил эту фразу наизусть, и тут — могу поклясться — подмигнул мне. Но, взглянув на его неподвижное лицо, я решил, что это мне показалось. Лет двенадцать спустя, когда его личность стала больше занимать меня в редкие часы

раздумья, я спросил:

— Хозяин, помнишь, как мы познакомились в задней комнате у Слейда?

Он сказал «да», и неудивительно, потому что, как слон из цирка, он запоминал всех — и того, кто кинул ему орешков, и того, кто насыпал ему в хобот нюхательного табаку.

— А помнишь, как ты пожал мне руку?

— Ага, — ответил он.

— Тогда скажи, ты подмигнул мне в тот раз или не подмигнул?

— Мальчик, — сказал он, вертя стакан с виски и упираясь пыльными тридцатидолларовыми туфлями

ручной работы в лучшее покрывало, какое имелось в гостинице Сент-Реджис, — мальчик, — сказал он с отеческой улыбкой, — это тайна.

— Значит, не помнишь?

— Конечно, помню, — ответил он.

— Ну?

— А может, мне соринка в глаз попала? — спросил он.

— Ни черта тебе не попало.

— Может, и не попало.

— А может, ты потому подмигнул, что думал, будто мы одинаково смотрим на поведение тех двоих?

— Вполне возможно, — согласился Вилли. — Ни для кого не секрет, что мой школьный друг Алекс

был сволочью. И не секрет, что ни одно кресло в штате не видало другой такой ж..., как Крошка Дафи.

— Дафи — сукин сын, — подтвердил я.

— Точно, — с радостью согласился Хозяин, — но он полезный член общества. Если знаешь, на что его употребить.

— Ага, — сказал я, — и ты, наверно, знаешь, раз сделал его помощником губернатора. (Это был последний срок правления Хозяина, и Дафи ходил у него в дублерах.)

— Конечно, — кивнул Хозяин, — кто-то ведь должен быть помощником губернатора.

— Ну да, — сказал я. — Крошка

Дафи.

— Точно, — отозвался он. — Крошка Дафи. Прелесть Крошки в том, что ему никто не верит, и ты это знаешь. А то возьмешь человека, которому кто-нибудь может доверять, и потом не спи по ночам, ломай голову — ты ли этот самый кто-нибудь или не ты. Возьми Крошку — и спи спокойно. Надо только припугивать его, чтобы штаны на нем не просыхали.

— Хозяин, ты подмигнул мне тогда у Слейда?

— Мальчик, — сказал он, — если бы я ответил, над чем бы тебе осталось думать?

Так я этого и не узнал.

Но в то давнее утро я видел, как Вилли знакомился с Крошкой Дафи и совсем ему не подмигивал. Он стоял перед м-ром Дафи, и, когда великий человек, не поднимаясь, протянул ему руку со сдержанностью папы, протягивающего баптисту туфлю для поцелуя, Вилли трижды потрянул ее, как требовал, по-видимому, этикет в Мейзон-Сити.

Алекс сел за стол, а Вилли стоял, словно дожидаясь, когда Алекс двинет ногой четвертый стул и скажет:

— Чего топчешься, Вилли, садись.

Тогда он сел и поставил серую фетровую шляпу перед собой. Поля

ее легли на мрамор волнами, как лист теста на начинку пирога. Вилли сидел позади своей шляпы и полосатого рождественского галстука и, сложив руки на коленях, ждал.

Из переднего зала вышел Слейд и спросил:

– Пива?

– На всех, – распорядился м-р Дафи.

– Большое спасибо, мне не надо, – сказал Вилли.

– На всех, – снова приказал м-р Дафи, сделав плавное движение рукой, украшенной бриллиантовым перстнем.

– Большое спасибо, мне не надо, – сказал Вилли.

М-р Дафи с легким удивлением, но без доброжелательства посмотрел на Вилли, который, не сознавая всей значительности этой минуты, все так же прямо сидел на стульчике позади своей шляпы и галстука. Затем м-р Дафи повернулся к Слейду и, кивнув на Вилли, произнес:

— Ай, да принеси ему пива.

— Нет, спасибо, — сказал Вилли, вложив в эти слова не больше чувства, чем вы вкладываете в таблицу умножения.

— Захмелеть боитесь? — осведомился м-р Дафи.

— Нет, — ответил Вилли, — но спасибо, мне не надо.

— Может, ему учительница не

велела? – предположил Алекс.

– Люси не одобряет спиртного, – тихо сказал Вилли, – это верно.

– Чего она не знает, то ей не повредит, – сказал м-р Дафи.

– Подай ему пива, – сказал Алекс Слейду.

– На всех, – повторил м-р Дафи, закрывая прения.

Слейд посмотрел на Алекса, Слейд посмотрел на м-ра Дафи и посмотрел на Вилли. Потом, без особой горячности замахнувшись полотенцем на муху, витавшую над ними, он сказал:

– Я продаю пиво, если кто его хочет. А пить людей не заставляю.

Может быть, в этот миг и

повернулась к нему фортуна. Причудлива и переменчива наша жизнь; кристалл блестит на изломе стали, во лбу у жабы – изумруд, и смысл мгновения неуловим, как дуновение ветерка в осиновых листьях.

Как бы там ни было, но после отмены сухого закона, когда почтальоны вагонами свозили в муниципалитет прошения о выдаче лицензий, Слейд лицензию получил. Он получил ее сразу, нашел участок на бойком месте и деньги на покупку уютных кожаных кресел и круглого бара. И Слейд, у которого когда-то гроша не оставалось после уплаты акциза и аренды, стоит теперь в

полумраке под сенью фресок с голыми дамами, среди сверкающего хрома и цветных зеркал, в двубортном синем костюме, с глянцевитым заемом на лысине и посматривает одним глазом на черных парней в белом, разносящих отраву, а другим — на блондинку-кассиршу, которая знает, что работа ее не кончается в два часа ночи, когда гасят свет и расходятся посетители, убаюканные струнным трио.

Как ему удалось сразу получить лицензию? Как он добыл помещение, за которым гонялась половина тузов его профессии? Откуда он взял деньги на кожаные кресла и струнный ансамбль? Слейд мне этого

не рассказывал, но, как я понимаю, в то утро он показал себя честным человеком и был вознагражден за свою честность.

После того как Слейд провозгласил свои принципы торговли пивом, дебаты на эту тему закончились. Крошка Дафи поднял к нему лицо с таким выражением, какое бывает у бычка, когда его треснут по темени, но быстро пришел в себя и обрел прежнее достоинство. А Алекс решил состричь напоследок. И сказал:

– У тебя, случаем, не найдется для него ситро?

Когда последние отзвуки ржания замерли в комнате, Слейд ответил:

– Найдется и сидро. Ежели он хочет.

– Да, – сказал Вилли, – сидро бы я выпил.

Подали пиво и бутылку сидро. Вилли поднял обе руки, которые в течение всего разговора покоились на коленях, и обхватил ими бутылку. Слегка наклонив ее и не отрывая от стола, он взял соломинку губами. Губы у него были мясистые, но не пухлые. Нет. Может быть, на первый взгляд они и казались пухлыми. И вы могли подумать, что рот у него детский, не совсем оформившийся – особенно в ту минуту, когда он сосал соломинку и губы морщились. Но, посидев с ним немного, вы замечали

кое-что другое. Вы замечали, что губы, хоть они и мясистые, плотно пригнаны одна к другой. Лицо у него тоже было мясистое, но с тонкой кожей и в веснушках. С этого тонкокожего, конопатого и как будто толстого лица (оно могло показаться и толстым, но опять-таки лишь на первый взгляд) прямо на вас смотрели глаза, большие и карие. Спутанная влажноватая прядь густых курчавых темно-каштановых волос прикрывала его лоб, и без того не слишком высокий. Таков был маленький Вилли с его рождественским галстуком, дядя Вилли из деревни, что под Мейзоном, — и не мешало бы сводить

его в парк, показать ему лебедей.

Алекс наклонился к Дафи и доверительно сообщил:

— Вилли у нас политик.

Черты Дафи изобразили вялое любопытство, но движение это быстро затерялось в обширной трясине, каковой было лицо Дафи в состоянии покоя.

— Угу, — продолжал Алекс, наклонившись еще ближе и кивнув на Вилли. — Он политик. В Мейзон-Сити.

Голова м-ра Дафи повернулась на четверть оборота, а бледно-голубые глаза сфокусировались на Вилли как на очень удаленном предмете. Его поразило, конечно, не

громкое название города. Но то, что Вилли вообще мог заниматься политикой, пусть даже в Мейзон-Сити, где свиньи, несомненно, чешутся о завалинку почты, — этот факт представлял собой проблему и заслуживал некоторого внимания. Поэтому м-р Дафи обратил на Вилли внимание и решил проблему. Он решил ее, заключив, что никакой проблемы тут нет. Вилли не мог заниматься политикой. Ни в Мейзон-Сити, ни в каком другом месте. Алекс Майкл — лжец, и нет правды в речах его. У Вилли на лице написано, что он никогда не был и не будет политиком. И Дафи прочел это на его лице. Поэтому он сказал «ага»

тоном, в котором звучала
тяжеловесная ирония и недоверие.

Я не виню Дафи. Он стоял у порога тайны, где прахом рассыпаются наши расчеты, где река времени исчезает в песках вечности, где гибель формулы заключена в пробирке, где царят хаос и древняя ночь и сквозь сон мы слышим в эфире хохот. Но Дафи не знал этого, и он сказал «ага».

— Ага, — отозвался Алекс, но без иронии, — в Мейзон-Сити. Вилли окружной казначей. Точно, Вилли?

— Да, — ответил Вилли, — окружной казначей.

— Боже мой, — прошептал Дафи с видом человека, обнаружившего, что

он строил на песке и якшался с манекенами.

– Ну да, – продолжал Алекс, – Вилли приехал сюда по делу. Скажи нет, Вилли?

Вилли кивнул:

– Насчет облигаций. Они хотят строить школу и выпускают облигации.

Алекс говорил правду. Вилли был тогда окружным казначеем и приехал в город, чтобы договориться о выпуске облигаций на постройку школы. Облигации были выпущены, школа построена, и через двенадцать с лишним лет, когда большой черный «кадиллак» Хозяина проехал мимо этой школы, Рафинад от души нажал

на газ, и мы понеслись все по тому же почти новому шоссе N58.

С милю мы ехали молча, а потом Хозяин обернулся ко мне и сказал:

– Джек, запиши себе – разузнать насчет сына Малахии и убийства.

– Как его зовут? – спросил я.

– А шут его знает. Но он хороший парень.

– Да нет, Малахию.

– Малахия Уин, – сказал Хозяин.

Я вытащил записную книжку и записал это. И записал: «убийство».

– Узнай, на когда назначен суд, и пошли туда адвоката. Хорошего адвоката, в том смысле хорошего, чтобы сумел его вытащить и не очень

заботился о своей славе. И передай, что пусть лучше не ленится.

— Альберт Ивенс, — сказал я, — он подходящий человек.

— Бриолином мажется, — сказал Хозяин. — Бриолином мажется, и башка прилизана, как бильярдный шар. Ты в своем уме? Найди такого, чтобы люди не думали, будто он поет по вечерам в кабаке.

— Ладно, — сказал я и записал: «в духе Эйба Линкольна». Я записывал не потому, что боялся забыть. Просто у меня была такая привычка. За шесть лет можно приобрести уйму привычек и исписать уйму черных книжечек; лучше всего отдавать их на сохранение в банк, потому что такие

вещи не должны валяться где попало и потому что некоторые люди оценили бы их на вес золота, если бы им удалось их заполучить. Правда, им это не удавалось — я никогда не доходил до такой нищеты. Но я привык их беречь. Человек должен вынести из пучин и дебрей времени что-нибудь помимо изъеденной печени — так почему бы не вынести черные книжечки? Черные книжечки спрятаны в банковских сейфах — в них дела и дни ваши, — и лежат они в уютной темноте маленьких ящичков, а огромные оси мира поскрипывают и поскрипывают.

— Найди его, — сказал Хозяин, — но сам держись в тени. Пошли кого-

нибудь из своих приятелей. И подумай, кого послать.

– Понял, – ответил я, ибо я его понял.

Хозяин хотел уже вернуться к созерцанию шоссе и спидометра, но Дафи откашлялся и сказал:

– Хозяин.

– Ну?

– Вы знаете, кого он зарезал?

– Нет, – ответил Хозяин, собираясь отвернуться, – мне плевать кого – хоть святую непорочную тетку апостола Павла.

М-р Дафи прочистил горло – в последние годы это означало, что его душит мокрота и одолевают мысли.

– Я случайно заметил в газете, –

начал он, — я случайно заметил еще тогда, когда это случилось, что он зарезал сына здешнего доктора. Не помню его фамилии, но помню, что это был доктор. Так писала газета. Вот я и думаю. — М-р Дафи обращался теперь к затылку Хозяина. А Хозяин как будто не слушал его. — Вот я и думаю, — м-р Дафи снова прочистил горло, — что доктор, наверно, пользуется здесь большим влиянием. Вы же знаете, как у нас в деревне... Они думают, что доктор — это шишка. А если узнают, что вы помогли младшему Уину выпутаться, это вам повредит. Сами понимаете — политика, — пояснил он. — А мы-то с вами знаем, что такое политика. Вот

я и...

Хозяин повернулся к нему так резко, что голова его на миг слилась в одно неясное пятно. Большие выпуклые карие глаза уставились на Дафи, как будто из затылка, прямо сквозь волосы. Это, конечно, преувеличение, но вы понимаете, что я хочу сказать. Это и поражало в Хозяине. Он казался человеком неторопливым, медлительным, сидел в расслабленной позе, мигал, как филин в клетке, и вид у него был такой, словно он погружен в себя и уже никогда оттуда не вынырнет. И тут он ошарашивал вас внезапным движением. Например, выбрасывал руку, чтобы схватить надоедливую

муху на лету — я видел, как показывал этот фокус один спившийся боксер, который ошивался у нас в баре. Он держал пари, что поймает муху на лету двумя пальцами, — и ловил. Хозяин тоже ловил. Или вот так поворачивался, когда вы говорили с ним и думали, что он вас не слушает. Он повернулся к Дафи, посмотрел на него и произнес просто и выразительно:

— Господи. — Потом сказал: — Ни черта же ты, Крошка, не смыслишь. Во-первых, я знаю Малахию Уина с детских лет, сын у него хороший малый, и мне наплевать, кого он зарезал. Во-вторых, драка была честная, и ему не повезло; а к тому

времени, когда дело дойдет до суда, все уже будут жалеть парня, если его судят за убийство просто потому, что ему не повезло и тот, другой, умер. В-третьих, если бы ты вынул вату из ушей, то услышал бы, что я велел Джеку нанять адвоката через приятеля, и нанять такого, который не захочет на этом деле прославиться. Этот защитник и все прочие могут себе думать, что его пригласил папа римский. Все, что его интересует, — это будут ли на тех бумажках, которые он получит, такие тоненькие извилистые прожилочки. Теперь тебе ясно или картинку нарисовать?

— Ясно, — сказал м-р Дафи и

облизнул губы.

Но Хозяин его не слушал. Он снова обратился к шоссе и спидометру и сказал Рафинаду:

— Ты думаешь, мы пейзажами любоваться поехали? И так опаздываем.

И Рафинад поддал газу.

Но ненадолго. Примерно через полмили показался поворот. Рафинад свернул на щебенку, и камешки затрещали под днищем, как сало на сковородке. Второй машине мы оставили большой хвост пыли.

Потом мы увидели дом.

Он стоял на пригорке — большой двухэтажный ящик, серый, некрашенный, с двумя толстыми

трубами по бокам и железной кровлей, тоже некрашеной и блестящей на солнце, — кровля была новая и не успела заржаветь. Мы подъехали к воротам. Дом стоял у самой дороги; в углу небольшого дворика, огороженного проволокой, стояли мирты с розоватыми, как малиновое мороженое, прохладными на вид цветами; перед домом рос захиревший, сухой с одного боку дуб, а в стороне — две магнолии с ржавыми, жестянными листьями. Травы тут было мало, в пыли под магнолиями купался и кудахтал пяток кур. Большая белая лохматая собака, похожая на колли, лежала на маленьком крыльце, прилепившемся

к коробке дома, словно довесок.

Дом был как все крестьянские дома, мимо которых проезжаешь в жаркий полдень: куры под деревьями, оловелый пес и ни одной живой души, кроме хозяйки; сейчас она помыла посуду, подмела в кухне и поднялась наверх прилечь; сняла платье, скинула туфли и лежит на спине в полутемной комнате с закрытыми глазами и потной, спутанной прядью на лбу. Зажужжит муха, зашумит ваш мотор на дороге и утихнет — и опять только муха жужжит. Вот какой это был дом.

Раньше я удивлялся, почему Хозяин его не покрасил, когда добрался до кормушки и уже не голод

сгонял его по утрам с постели. Потом я сообразил, что Хозяин знал, что делает.

Положим, он этот дом покрасил, тогда встречается один сосед другого и говорит:

— Видал, дед Старк дом покрасил? С чевой-то они загордились? Жили в нем всю жизнь, и вроде неплохо жили, а теперь, как его малый перебрался в город, все стало не по нем. Эдак скоро он нужду станет в доме справлять, а капусту на дворе тушить прикажет. (По сути дела, дед и так справлял нужду в доме, потому что Хозяин построил водопровод и ванную. Воду качал маленький электрический

насос. Но стульчака с дороги не видно, из-под ворот он не прыгает, за ноги не кусает. И не мозолит глаза избирателям.)

Впрочем, если бы дом был покрашен, он и вполтину так хорошо не вышел бы на карточке, как должен был выйти сегодня – когда на крыльце разместятся Хозяин и дед, Люси Старк, мальчик Том и старая белая собака.

Дед встречал нас на ступеньках. Как только мы прошли через калитку, к которой были подвешены на проволоке старые лемеха, чтобы захлопывать ее и звяканьем оповещать о посетителях, дед появился в дверях. Он ждал нас на

крыльце — не очень высокий дед и худой, в синих джинсах, в синей рубашке, застиранной до бледной пастельной голубизны, и в черной бабочке на резинках. Мы подошли поближе. И увидели его лицо в коричневой, словно тисненой коже, туго обтянувшей кости, а под костями висевшей свободно, отчего лицо приобретало то терпеливое выражение, которое вообще свойственно старикам; седые волосы его прилипли к узкому, тонкому, как скорлупа, старческому черепу — заслышав автомобиль, дед, наверно, пригладил их мокрой щеткой, чтобы встретить нас при полном параде. С коричневого морщинистого лица

смотрели спокойные голубые глаза, такие же бледные и вылинявшие, как рубашка. Ни усов, ни бакенбард он не носил и побрился, наверно, совсем недавно, потому что еще видны были два или три пореза там, где бритва застряла в складках сухой коричневой кожи.

Он стоял на ступеньках, и вид у него был такой спокойный, как будто мы еще находились в Мейзон-Сити.

Хозяин подошел к нему и протянул руку:

— Здравствуй, папа. Как поживаешь?

— Ничего, — сказал дед и тоже протянул руку, вернее, согнул ее в локте таким же движением, как

Кожаная Морда в аптеке.

Потом подошла Люси Старк и молча поцеловала его в левую щеку. Он тоже ничего не сказал. Только обнял ее правой рукой, даже не обнял, а положил ей на плечо свою корявую, узловатую коричневую руку, чересчур крупную по сравнению с запястьем, и потрепал устало и словно за что-то извиняясь. Потом рука упала, повисла вдоль синей парусиновой штанины, и Люси сделала шаг назад. Он сказал негромко:

– Здравствуй, Люси.

– Здравствуй, папа, – ответила она, и рука у синей штанины дернулась, будто снова хотела обнять

ее, но не обняла.

Да и не надо было, наверно. Зачем говорить Люси Старк о том, что она и сама знала без всяких слов, знала с тех пор, как вышла за Вилли Старка, переехала сюда и стала коротать вечера у камина с дедом, чья жена давным-давно умерла и чей дом давным-давно не видел женщины. О том, что у них много общего – у деда и Люси Старк, жены Вилли Старка, который, пока они молчали у камина, сидел наверху, в своей комнате, склонившись над учебником права, с лицом серьезным и озадаченным и чубом, падающим на лоб; да, он был не с ними у камина, и даже не наверху в комнате,

а дальше, в своем собственном мире, где что-то набухало болезненно, прорастало тупо и незаметно, словно гигантская картофелина в темном, сыром погребе. А у них был общим тихий мир возле камина, поглощавший легко и разом все их дела и поступки за минувший день, за все прошлые дни, за дни, которых еще не было. В камине шипели, коробились, исходили паром чурки, и они сидели, объединенные общим знанием, общим подспудным ритмом биений и пауз их жизни. Вот что роднило их, и отнять этого не мог никто. И еще одно роднило их: они не имели того, что у них было, и знали это. У них был Вилли Старк,

но он им не принадлежал.

Хозяин представил м-ра Дафи, который был счастлив познакомиться с м-ром Старком — да, сэр, — и компанию из второй машины. Потом показал пальцем на меня и спросил:

— Ты ведь помнишь Джека Бердена?

— Помню, — сказал старик и пожал мне руку.

Мы вошли в гостиную и разместились в креслах с волосяной набивкой, щекотавшей ноздри кислым запахом мумии, и на плетеных стульях, принесенных дедом и Хозяином из кухни. Пылинки плавали в лучах солнца, пробивающихся сквозь ставни

западных окон и пожелтевшие тюлевые занавески, которые свисали с карнизов, словно рыбачьи сети в ожидании починки. Мы ерзали на стульях и в креслах, разглядывая некрашенные доски пола или рисунок на коврике из линолеума так, словно присутствовали на похоронах человека, которому задолжали деньги. Коврик из линолеума был новый, с еще свежим глянцевым рисунком красных, синих и бежевых тонов — гладкий геометрический чужеродный остров, парящий в безуглом сумраке с кислым запахом мумии, над мерной зыбью Времени, которое с давних пор стекало в эту комнату, словно во внутреннее море,

где рыба передохла и вода разъедает солью язык. Казалось, что если все мы – Хозяин, Дафи, Сэди Берк и я с фотографом и репортерами – соберемся на этом коврике, он по волшебству поднимется с пола и, описав прощальный круг по комнате, вымахнет в дверь или через крышу, словно летучий остров Гулливера или ковер-самолет из арабских ночей и унесет вас всех туда, где вам место, а дед Старк, очень чистый, в царапинках от бритвы, с приглаженными седыми волосами, будет сидеть как ни в чем не бывало у стола с плюшевым альбомом, большой Библией и лампой, под пустым пронзительным взглядом

лица с бакенбардами, изображенного на пастельном портрете над камином.

Шаркая старыми теннисными туфлями по некрашеному полу, вошла негритянка с подносом, на котором стоял графин воды и три стакана. Один взяла Люси, другой – Сэди Берк, а третий мы пустили по кругу.

Потом фотограф украдкой взглянул на часы, откашлялся и сказал:

– Губернатор...

– Да? – сказал Вилли.

– Я просто подумал... если вы и миссис Старк отдохнули и так далее... – он сидя отвесил Люси поясной поклон – поклон, который

создавал впечатление, что фотограф малость перебрал по такой жаре и вот-вот уснет, — если все вы...

Хозяин встал.

— Ладно, — сказал он, ухмыляясь.

— Кажется, я вас понял. — И вопросительно посмотрел на жену.

Люси Старк тоже встала.

— Всем семейством, папа, — сказал он деду, и дед тоже встал.

Хозяин вывел всех на крыльцо. Мы потянулись за ним вереницей. Фотограф залез во вторую машину, распаковал свой штатив и прочее добро и установил аппарат напротив ступенек. Хозяин стоял на крыльце, моргая и улыбаясь так, словно он засыпал и знал, какой сон ему

предстоит увидеть.

— Сперва снимем вас, губернатор, — сказал фотограф, и мы отошли в сторонку.

Фотограф залез под черное покрывало, но вдруг высунулся, осененный новой идеей.

— Собаку, — сказал он, — возьмите к себе собаку, губернатор. Вы ее гладите или еще чего-нибудь. Прямо тут на ступеньках. Это будет конец света. Вы ее гладите, а она к вам лапами на грудь, как будто рада, что вы приехали домой. Конец света.

— Точно, — сказал Хозяин, — конец света.

Он повернулся к старому белому псу, который ни разу не шевельнулся

с тех пор, как мы подъехали к воротам, и валялся на крыльце, точно вытертая медвежья шкура.

— Эй, Бак, — сказал Хозяин и щелкнул пальцами.

Пес и ухом не повел.

— Сюда, Бак, — позвал Хозяин.

Том Старк ободряюще пнул пса носком ботинка, но с таким же успехом он мог пинать диванный валик.

— Бак стареет, — сказал дед Старк. — Отяжелел маленько. — Старик сошел с крыльца и наклонился над собакой так, что казалось, вот-вот услышишь скрип заржавленных амбарных петель. — Бак, ну, Бак, — улещал он пса без

всякой надежды в голосе. Отчаявшись, он поднял взгляд на Хозяина. — Если бы он был голодный, — сказал старик и покачал головой. — Если бы он был голодный, мы бы его подманили. Но он сейчас не голодный. Зубы у него испортились.

Хозяин поглядел на меня, и я понял, за что мне платят.

— Джек, — сказал он, — подтащи сюда эту лохматую скотину и придай ей радостный вид.

Мне полагалось делать самые разные вещи, и в том числе поднимать в жаркий день пятнадцатилетних четырехпудовых псов и сообщать их преданным лицам выражение невыразимого

блаженства, когда они смотрят в глаза Хозяину. Я взял его за передние лапы, как тачку, и поднатужился. Ничего не вышло. Я приподнял его передний конец, но как раз в эту секунду я сделал вдох, а он – выдох. И с меня было довольно. Меняшибануло, как из гнезда канюка. Я был парализован. Бак шлепнулся о доски крыльца и остался лежать, как и полагалось вытертой шкуре белого медведя.

Тогда Том Старк с одним репортером взяли за хвостовую часть, я, задержав дыхание, за переднюю, и вдвоем мы перетащили его на два метра, к Хозяину. Хозяин приосанился, мы приподняли

переднюю часть, и Хозяин нюхнул Бака.

Этого было достаточно.

– Господи спаси, – взмолился он, когда совладал со спазмой, – чем ты кормишь свою собаку, папа?

– Он совсем не кушает, – сказал дед Старк.

– Фиалок он не кушает, – сказал Хозяин и плюнул на землю.

– Почему он падает, – заметил фотограф, – это потому, что отказывают задние ноги. Если мы сможем поставить его на попу, все остальное надо делать быстро.

– Мы? – сказал Хозяин. – Мы! Это кто же такие – мы? Ты поди поцелуйся с ним. Ему дыхнуть разок

— и молоко свернется, сосна осыплется. Мы, черт подери!

Хозяин набрал побольше воздуха, и мы снова поднатужились, Ничего не вышло. В Баке не было никакой твердости. Мы пробовали раз шесть или семь, и все впустую. В конце концов Хозяину пришлось сесть на ступеньки, а мы положили голову верного Бака ему на колени. Хозяин опустил руку на голову и стал смотреть на птичку. Фотограф щелкнул и сказал: «Это будет конец света», и Хозяин откликнулся: «Угу, конец света».

Он сидел на крыльце, держа руку на голове Бака.

— Собака, — сказал он, — лучший

друг человека. Лучше друга, чем старый Бак, у меня не было. — Он почесал у Бака за ухом. — Да, добрый старый Бак... он был моим лучшим другом. Но черт возьми, — сказал он и поднялся так неожиданно, что голова пса стукнулась об пол, — пахнет от него не лучше, чем от всех прочих.

— Это для печати, Хозяин? — спросил один из репортеров.

— Конечно, — ответил Хозяин, — воняет от него, как от всех прочих.

Затем мы сволокли Бака с крыльца, а фотограф занялся работой. Он запечатлел Хозяина с семьей во всех возможных сочетаниях. Закончив, он сложил треногу и сказал:

— Знаете, губернатор, мы хотели снять вас наверху. В комнате, где вы жили мальчиком. Это будет конец света.

— Угу, — отозвался Хозяин, — конец света.

Идея принадлежала мне. Конец света — ни дать ни взять. Хозяин в своей каморке со старым школьным учебником в руках. Славный пример малышам. И мы двинулись наверх.

Комната была маленькая, с голым дощатым полом и шпунтовыми стенами, на которых шелушились последние следы желтой краски. В комнате стояла большая деревянная кровать с белым покрывалом и слегка покосившимися

высокими спинками. И еще стоял стол — сосновый стол, пара стульев, ржавая печка-временка, а у стены за печкой две самодельные полки, забитые книгами. На одной были хрестоматии, учебники географии, алгебры и прочее, а на другой — пухлые старые книги по юриспруденции.

Хозяин встал посреди комнаты и медленно огляделся, мы толпились в дверях.

— Да-а, — сказал он, — поставить бы под кровать старый ночной горшок, и было бы совсем как дома.

Я заглянул под кровать — посуды там не было. Только ее и недоставало в комнате. И еще круглолицего

конопатого парнишки с русым чубом, склонившегося над столом при свете керосиновой лампы – только в лампе горел, наверно, не керосин, а угольное масло, – да изгрызенного карандаша в его руке, подернутых синью углей в железной печурке и ветра из далекой Дакоты, который колотился в северную стену, – ветра, прилетевшего из-за равнин, покрытых твердым, вылизанным снегом, жемчужно-тусклым и мерцающим в темноте, из-за высохших речек, из-за холмов, где некогда стояли сосны и стонали на ветру, а теперь не стоит ничего на пути у ветра. Ветер тряс раму в северном окне, огонек в лампе

дрожал и гнулся, но мальчик не поднимал головы. Он грыз карандаш и склонялся над столом все ниже и ниже. Потом он задувал лампу, раздевался и залезал в постель в нижнем белье. Простыни были холодные и жесткие. Он лежал в темноте и трясся. Ветер налетал из-за тысячи миль, колотился в дом, дребезжал в стеклах, и что-то большое свивалось, скручивалось у мальчика внутри, перехватывало дыхание, и кровь начинала стучать в голове так гулко, будто голова была пещерой, большой, как темнота за окном. Он не знал названия тому, что росло у него внутри. А может быть, этому и нет названия.

Вот чего не доставало в комнате — ночного горшка и мальчика. Все остальное было на месте.

— Да, — говорил Хозяин, — куда-то он задевался. Ну да невелика потеря. Может, и правда, что от сидения над проточной водой заводится слизь в кишках, как говорят старики; но, ей-богу же, учить кодексы было бы куда удобнее. И не пришлось бы терять столько времени.

Хозяин любил посидеть. Сколько раз мы вершили с ним судьбы штата через дверь ванной комнаты — Хозяин сидел внутри, а я — снаружи, на стуле, с черной книжечкой на колене, и телефон в

комнате звонил как оглашенный.

Теперь в комнате распоряжался фотограф. Он усадил Хозяина за стол. Хозяин углубился в затрепанную хрестоматию, вспыхнул блиц, и первое фото было готово. За ним последовал пяток других; Хозяин с учебником права на коленях, Хозяин на стуле у печки и бог знает где еще.

Я предоставил им увековечивать себя для потомства и спустился вниз.

На нижней ступеньке я услышал голоса из гостиной и догадался, что это Люси, Сэди Берк и Том с дедом. Тогда я вышел на заднее крыльцо. Слышно было, как в кухне хлопочет негритянка и мурлычет что-то про

себя и про Иисуса. Я пересек задний двор, на котором трава не росла. Когда польют осенние дожди, здесь будет только грязь с бестолковыми куриными следами. Но сейчас тут было пыльно. У ворот, которые вели на участок, росло мыльное дерево, и упавшие ягоды хрустели у меня под ногами, как жуки.

Я миновал рядок островерхих курятников, поставленных для сухости на кипарисовые чурбаки и обшитых дранкой. Я пошел дальше, к сараю и хлеву, где у большого железного котла для варки патоки, понурясь от вечного стыда за свой род, стояла пара крепких, но траченных молью мулов. Котел был

превращен в поилку. Над ним торчала труба с краном. Одно из нововведений Хозяина, которых не видно с дороги.

Я миновал хлев, сложенный из бревен, но крытый новым железом, и прислонился к изгороди, за которой поднимался бугор. Позади сарая земля была размыта, угадывался будущий овраг; там и сям в промоинах был навален хворост, чтобы помешать воде. Как будто и впрямь мог помешать. Метрах в ста, под самым бугром, стоял низкорослый дубняк. Там, наверно, было топко, потому что трава под деревьями росла густо-зеленая, сочная. На фоне плешивого косогора

зелень эта выглядела неестественно яркой. Две свиньи лежали там, как пара серых волдырей на теле земли.

Солнце склонялось к горизонту. Облокотясь на изгородь, я смотрел на запад, откуда протягивался в небо косой свет, и вдыхал сухой чистый аммиачный запах, какой всегда висит над стойлами на исходе летнего дня. Я решил, что меня отыщут, когда понадобится. Когда это случится, я понятия не имел. Хозяин с семьей, подумал я, заночуют у папы. Репортеры, фотограф и Сэди Берк вернутся в город. М-ра Дафи, наверное, отправят в гостиницу, в Мейзон-Сити. А может быть, нас обоих оставят здесь. Но если они

вздумают положить нас в одну постель, я пешком уйду в Мейзон-Сити. Остается еще Рафинад. Но мне надоело об этом думать. Плевать мне, как они устроятся.

Я облокотился на изгородь, отчего материя на задней части моих брюк натянулась и прижала бутылку к бедру. С минуту я размышлял над этим, любуясь одновременно красками заката и вдыхая чистый сухой аммиачный воздух, потом вытащил бутылку. Я глотнул, сунул ее обратно, снова оперся на изгородь и стал ждать, когда краски заката вспыхнут у меня в животе. Что они и сделали.

Сзади кто-то отворил и

захлопнул калитку, но я не оглянулся. А раз я не оглянулся, значит, никто и не открывал скрипучей калитки, и это — чудесный принцип, если вы им овладели. Лично я постиг этот принцип еще в колледже, вычитал в одной книжке и держался за него изо всех сил. Своим успехом в жизни я обязан этому принципу. Он сделал меня тем, что я есть. Чего вы не знаете, то вам не вредит, ибо не существует. В моей книжке это называлось Идеализмом, и, овладев этим принципом, я стал Идеалистом. Я был твердокаменным Идеалистом в те дни. Если вы Идеалист, то неважно, что вы делаете и что творится вокруг вас, ибо все это

нереально.

Шаги, заглушенные пылью, все приближались и приближались. Потом проволока на ограде скрипнула и подалась, потому что кто-то прислонился к ней и тоже стал любоваться закатом. Минуты две м-р Х и я любовались закатом в полной тишине. Если бы не его дыхание, я бы не знал, что он рядом.

Потом послышалось какое-то движение, и проволока ослабла — м-р Х перестал на нее опираться. Потом чья-то рука хлопнула меня по левому бедру и чей-то голос сказал:

— Дай мне глотнуть. — Это был голос Хозяина.

— Возьми, — ответил я, — ты

знаешь, где она живет.

Он задрал полу моего пиджака и вытащил бутылку. До меня донеслось опустошительное бульканье. Потом проволока снова натянулась под его тяжестью.

— Я так и думал, что ты придешь сюда, — сказал он.

— А тебе захотелось выпить, — добавил я без горечи.

— Да, — согласился он, — а папа не одобряет спиртного. Никогда не одобрял.

Я посмотрел на него. Он держал закупоренную бутылку в ладонях и, положив руки на проволоку, наваливался на нее всей своей тяжестью; это не сулило ограде

ничего хорошего.

— А раньше не одобряла Люси, — сказал я.

— Все меняется, — ответил Хозяин. Он открыл бутылку, снова приложился к ней и снова закупорил. — Кроме Люси. Не знаю, изменилась она или нет. Не знаю, одобряет теперь спиртное или не одобряет. Сама она не притрагивается. Может, она поняла, что мужчине это успокаивает нервы.

Я засмеялся:

— Откуда у тебя нервы?

— Я просто комок нервов, — сказал он и ухмыльнулся.

Мы стояли, облокотясь на проволоку. Свет заката стелился по

земле и ударял в кроны дубов под бугром. Хозяин вытянул шею, собрал на губах крупный шарик слюны и уронил его между рук в свиное корыто, стоявшее по ту сторону изгороди. Корыто было сухое, в нем и рядом на земле валялось несколько зернышек кукурузы, почему-то красных, и немного очистков.

— Да и тут мало что меняется, — сказал Хозяин.

Отвечать было нечего, и я не ответил.

— Будь я неладен, если не перетаскал в эту кормушку полсотни тонн помоев, — сказал он и снова плюнул в корыто. — И не выкормил полтыщи свиней. Будь я неладен, —

сказал он, — если и теперь не занимаюсь тем же самым. Помоги таскаю.

— Что поделаешь, — сказал я, — ежели они едят одни помои. Верно?

На это он не ответил.

Позади опять скрипнула калитка, и я оглянулся. Теперь у меня не было причин не оглядываться. К нам шла Сэди Берк. Вернее, бежала; ее белые туфли взбивали пыль, льняная полосатая юбка грозила лопнуть при каждом шаге, и вид у нее был самый озабоченный. Хозяин повернулся, в последний раз посмотрел на бутылку и отдал мне.

— Что там? — спросил он ее шагов за пять.

Она подошла, но ответила не сразу. Она запыхалась после бега. Свет заката падал на ее вспотевшее рябоватое лицо, бил в глубокие, черные горящие глаза, путался в черной копне коротких наэлектризованных волос.

— Что там? — повторил Хозяин.

— Судья Ирвин... — выговорила она, тяжело переводя дух.

— Да? — сказал Хозяин. Он все еще подпирал спиной изгородь, но смотрел на Сэди так, будто она вот-вот выхватит пистолет и придется ее обезоруживать.

— Мэтлок звонил... по междугородному... сказал... в вечерней газете...

– Короче, – посоветовал Вилли.

– Короче.

– К свиньям! – сказала Сэди. –

Потерпишь. Подождешь, пока я отдышусь. Вот когда я отдышусь, а ты...

– Так ты никогда не отдышишься, – сказал Хозяин, и голос его был мягче кошачьей спины под рукою.

– А тебе какое дело до моего дыхания? Ты его не купил еще, – огрызнулась Сэди. – Бежишь сломя голову, хочешь сказать ему, а он заладил как попугай – короче, короче. Да я отдышаться еще не успела. И я тебе вот что скажу: пока я не отдышусь и не приду в себя,

ничего ты...

– По-моему, ты уже отдышалась,
– заметил Хозяин, с улыбкой
облокотившись на изгородь.

– По-твоему, это очень смешно,
– сказала Сэди, – безумно смешно.

Хозяин не ответил. Он опирался на изгородь так, словно впереди у него был целый день, и продолжал ухмыляться. Я давно заметил, что эта ухмылка никогда не действовала на Сэди успокаивающе. А по симптомам судя, успокаивающее ей сейчас бы не помешало.

Поэтому я тактично отвел взгляд и вновь погрузился в созерцание умирающего дня и элегического ландшафта, расстилавшегося за

скотным двором. Это не значит, что их смущало мое присутствие. Державы, троны, империи могли рушиться вокруг, но, если на Сэди находило, она не знала удержу, да и Вилли не отличался кротостью. Порой все начиналось с пустяков, но Хозяин принимал ленивую позу, ухмылялся и подзуживал Сэди до тех пор, пока ее черные горящие глаза чуть не выскакивали из орбит и клочок черных волос, выбившихся из копны, не падал на лицо так, что ей все время приходилось откидывать его тыльной стороной руки. Распалившись, Сэди не лезла за словом в карман; Хозяин же бывал немногословен. Он только

ухмылялся. Он располагался поудобнее и заводил, заводил ее, наблюдал, как она злится, и получал от этого полное удовольствие. Даже схлопотав как-то раз оплеуху, и притом увесистую, он продолжал смотреть на нее так, словно она гавайская девушка и танцует для него хулу. Он получал полное удовольствие, пока Сэди не наступала ему на любимую мозоль. Она одна знала, как это сделать. Или имела смелость. Тут-то и начиналось настоящее представление. Помешать им никто не мог. А я и подавно, поэтому не было нужды проявлять деликатность и отводить взор. Я уже давно стал чем-то вроде мебели, но

остатки хороших манер, привитых бабкой, еще обременяли меня и время от времени одерживали верх над любопытством. Конечно, я был мебелью — о двух ножках и с оплатой в рассрочку, — и все же я отвернулся.

— Безумно смешно, — продолжала Сэди, — но посмотрим, как ты засмеешься, когда дослушаешь до конца. — Она помолчала. — Судья Ирвин выступил за Келахана.

Секунды на три установилась полная тишина, только голубь в роще под бугром, где лежали свиньи, сделал неудачную попытку разбить сердце себе и мне; три секунды тянулись как неделя. Затем я услышал голос Хозяина:

— Сволочь.

— Это напечатано в вечерней газете, — бесстрастно проговорила Сэди. — Из города звонил Мэтлок. Чтобы поставить вас в известность.

— Бесстыжая сволочь, — сказал Хозяин.

Проволока подо мной ослабла, и я обернулся. Похоже было, что конклав близится к концу. Так оно и оказалось.

— Пошли, — сказал Хозяин и направился к дому. Сэди заспешила рядом с ним, подхватив юбку, я двинулся следом.

Подойдя к калитке, где росло мыльное дерево и под ногами лопались ягоды, Хозяин сказал Сэди:

– Выгони их.

– Крошка рассчитывал здесь поужинать, – сказала Сэди, – Рафинад собирается отвезти его к восьмичасовому поезду. Вы его сами пригласили.

– Я передумал, – сказал Хозяин.
– Всех выгони.

– С великим удовольствием, – ответила Сэди, и, как мне показалось, от чистого сердца.

Она их выгнала быстро. Выдавливая в окна начинку, приседая на задние рессоры, автомобиль покатился по гравию, и на землю низошла вечерняя тишина. Я отправился за дом, где между столбом и дубом висел гамак,

сделанный, как принято в этой части света, из проволоки и клепок. Я снял пиджак, повесил на столб, сунул в его боковой карман бутылку, чтобы она не сломала мне бедро, когда я лягу, и забрался в гамак.

На той стороне двора, где росли мирты, по пыльной траве расхаживал Хозяин. Ну что ж, кому детей родить, тому их и кормить. А я лежал себе в гамаке. Я лежал, смотрел на сухую серо-зеленую изнанку дубовой листвы и кое-где замечал на ней ржавые пятна. Этим листьям недолго осталось висеть, они слетят не от ветра, просто волокна ослабнут, может быть, даже в разгаре дня, когда воздух ноет от тишины, как

ноет дырка в десне, где с утра еще рос зуб — до визита к дантисту, — или как сердце в груди, когда ты стоишь на перекрестке, ждешь зеленого света и вдруг вспомнишь все, что было и могло бы быть, если бы не случилось то, что случилось.

Потом, глядя на листья, я вдруг услышал короткий сухой треск со стороны сарая. Потом он раздался снова. Потом я понял, что он означает. Это Рафинад на заднем дворе баловался со своим 9,65 — «спешал». Он ставил бутылку или консервную банку на столб, поворачивался к столбу спиной и шел прочь, держа погремушку левой рукой за ствол и не снимая ее с

предохранителя, — шел неторопливо на своих коротеньких ножках, одетых, как всегда, в синие диагоналевые штаны, болтавшиеся мешком на его висловатом задуг, и последние лучи солнца высвечивали лысину, словно белесый лишайник, в жестких побегах его волос. Потом он вдруг останавливался, перехватывал погремушку в правую руку, поворачивался неуклюже, но стремительно, словно внутри у него спустили пружину, и погремушка грохала, и либо банка слетала со столба, либо бутылка разбивалась вдребезги. Почти наверняка. Тогда голова Рафинада дергалась, и, брызгая слюной, он говорил:

– 3-3-зар-раза.

Раздавался короткий сухой треск, и наступала тишина. Значит, он попал с первого раза и тащился назад, чтобы поставить новую. Потом опять раздавался треск, и опять тишина. Или треск раздавался два раза подряд. Значит, он промахнулся в первый раз и попал со второго.

Потом я, наверно, задремал и проснулся оттого, что рядом со мной оказался Хозяин и произнес:

– Пора ужинать.

Мы пошли ужинать.

Мы сели за стол, дед Старк – на одном конце, на другом – Люси. Люси смахнула со щеки влажную

прядь и, как генерал, объезжающий войска, в последний раз окинула взглядом стол, проверяя, все ли на месте. Да, она попала в свою стихию. Теперь ей это редко удавалось, но, когда удавалось, прыти ей было не занимать.

Челюсти работали вокруг стола, Люси наблюдала за их работой. Сама она почти не ела и только следила, чтобы не оставалась пустой ни одна тарелка, смотрела, как жуют челюсти, и лицо ее разглаживалось от тихой веры в счастье, смягчалось, как лицо механика, когда он входит в машинное отделение и видит слившийся в круг маховик, тяжелое снование поршней, балетные скачки

стальных шатунов по их строгим орбитам, и в электрическом свете все гудит, поет, сверкает перед ним, словно вечный механизм головы господней, а корабль отмеривает свои двадцать два узла по стеклянному, застывшему под звездами морю.

Челюсти жевали, и Люси сидела с блаженным видом человека, выполнившего свое предназначение.

Едва я успел проглотить последнюю ложку шоколадного мороженого, которую мне пришлось заталкивать в себя, точно цементный раствор в яму для столба, как Хозяин, едок столь же мощный, сколь и методичный, дожевал последний

кусок, поднял голову, утер салфеткой подбородок и сказал:

– Так, а теперь Рафинад и мы с Джеком поедem прокатиться по шоссе.

Люси Старк бросила на Хозяина быстрый взгляд, потом отвернулась и поправила на столе солонку. Сначала вам могло показаться, что это самый обычный взгляд, каким награждают мужа, когда, отвалившись от ужина, он объявляет о своем намерении сбегать в город прогуляться. Но потом вы понимали, что это не так. В нем не было ни вопроса, ни протеста, ни укора, ни приказа, ни обиды, ни слез – никаких этих «значит-ты-меня-больше-не-

любишь». В нем ничего не было, и именно это было в нем самое замечательное. Это был подвиг. Всякий акт чистого восприятия — подвиг, и, если вы не верите мне, проверьте сами.

Дед же поднял глаза на Хозяина и сказал:

— А я-то думал... я думал, ты заночуешь здесь.

И догадаться, что он имел в виду, было гораздо легче. Сын приезжает домой, и родитель расставляет свои сети. Старику — или старухе — нечего сказать сыну. Им и надо всего-навсего, чтобы ребенок посидел час-другой в кресле да лег с ними спать под одной крышей. Это

не любовь. Я не утверждаю, что нет такой вещи, как любовь. Я просто говорю о том, что отличается от любви, но иногда пользуется ее именем. Вполне может случиться, что без того, о чем я говорю, вообще бы не было никакой любви. Но само по себе это не любовь. Это в крови человека. Тяга к родной крови – это всем предопределено. Она и отличает человека от довольной твари. Когда вы рождаетесь, ваши отец и мать что-то теряют и лезут из кожи вон, чтобы это вернуть, а это и есть вы. Они знают, что всего им не вернуть, но постараются вернуть кусок побольше. И возвращение в лоно семьи, с обедом под кленами,

очень похоже на ныряние в бассейн к осьминогам. По крайней мере так я сказал бы в тот вечер. И вот дед Старк двинул кадыком, поднял пасмурные старые голубые глаза на Хозяина, который был плотью от плоти его, хотя вы никогда бы этого не угадали, и закинул сеть. Но сеть вернулась пустой. По крайней мере без Вилли.

— Нет, — сказал Хозяин, — надо двигаться.

— Я-то думал, — начал старик, но сдался и затих. — Ну, коли дела...

— Какие там дела, — сказал Хозяин. — Так, забава. Я, во всяком случае, намерен позабавиться. — Он рассмеялся, встал из-за стола, звучно

чмокнул Люси в левую щеку, хлопнул сына по плечу с той неловкостью, с какой все отцы хлопают сыновей по плечу (словно извиняются за что-то, а впрочем, всякому, кто хлопнул по плечу Тома, лучше было извиниться, потому что мальчишка был заносчивый и даже головы не повернул, когда Хозяин его хлопнул).

Затем Хозяин сказал:

– Вы ложитесь, не ждите нас, – и направился к двери. Мы с Рафинадом пошли за ним. До сих пор я и не подозревал, что хочу прокатиться. Но Хозяин редко предупреждал о чем-нибудь заранее. И я достаточно хорошо его знал, чтобы не удивляться.

Когда я подошел к «кадиллаку», Хозяин уже сидел впереди на своем месте. Я влез на заднее сиденье, мысленно готовясь к тому, как меня начнет швырять из стороны в сторону на поворотах. Рафинад заполз к себе под руль, нажал на стартер и заухал: «Хку-хку-хку», как неясить ночью на болотах. Если бы ему хватило времени и слюны, он спросил бы: «Куда?» Но Хозяин не стал дожидаться. Он сказал:

– В Берденс-Лендинг.

Значит, вот что. Берденс-Лендинг. Мог бы и сам догадаться.

Берденс-Лендинг лежит в ста тридцати милях от Мейзон-Сити, к

юго-западу. Если умножить сто тридцать на два, получится двести шестьдесят миль. Было часов девять, светили звезды, в низинах стлался туман. Один бог знает, когда мы ляжем спать и во сколько встанем завтра, чтобы, плотно позавтракав, ехать назад, в столицу.

Я откинулся на спинку и закрыл глаза. Гравий стучал под крыльями, потом перестал, машина накренилась, вместе с ней накренился я, и это означало, что мы снова на шоссе и сейчас дадим ходу.

Мы помчимся по бетону, белеющему под звездами среди перелесков и темных полей, залитых туманом. В стороне от дороги вдруг

возникнет сарай, торчащий из тумана, как дом из воды, когда река прорывает дамбу. Покажется у обочины корова, стоящая по колено в тумане, с мокрыми и перламутрово-белыми от росы рогами, она будет смотреть на черную тень, где спрятаны мы, а мы будем рваться в пылающий коридор, но он будет убегать от нас, все так же рассекая тьму перед самым носом. Корова будет стоять по колено во мгле, смотреть на черную тень и сноп света, а потом на то место, где была тень и был свет, с тяжелым, смутным кротким равнодушием, с каким смотрел бы Бог, или Судьба, или я, если бы я стоял по колено во мгле, а

черная тень и слепящий свет
проносились мимо меня и таяли
среди полей и перелесков.

Но я не стоял в поле среди мглы,
мгла не текла вокруг моих колен, и в
голове моей не тикало ночное
безмолвие. Я сидел в машине и ехал
в Берденс-Лендинг, названный так по
имени людей, от которых и я
получил свое имя, — в Берденс-
Лендинг, где я родился и вырос.

Мы будем ехать среди полей до
самого города. Потом вдоль дороги
встанут деревья, а под ними — дома, в
которых гаснут окна, потом мы
вылетим на главную улицу с ярко
освещенным входом в кино, где жуки
врезаются в лампочки, летят

рикошетом на тротуар и хрустят под ногами прохожих. Люди у пивной проводят взглядом громоздкий черный призрак, один из них плюнет на бетон и скажет:

— Сволочь, тоже мне шишка на ровном месте. — И ему захочется сидеть в черной большой машине, большой, как катафалк, и мягкой, как мамина грудь, дышащей без хрипа на скорости семьдесят пять миль, и катить куда-то в темноту. Что же, я и катил куда-то. Я катил на родину, в Берденс-Лендинг.

Мы въедем в город по новому приморскому бульвару. Соленый воздух отдает там рыбным печальным, нежным и чистым

запахом отмелей. Мы приедем, наверно, в полночь, когда три квартала деловой части города погружены в темноту. За этими кварталами идут маленькие домишки, а за ними, у залива, — другие дома, обсаженные магнолиями и дубами; их белые стены мерцают в темноте под деревьями, и зеленые жалюзи на окнах кажутся черными дырами. В комнатах спят люди, укрывшись только простыней. В одной из этих комнат за зелеными жалюзи родился я. В одной из них, в ночной рубашке, отороченной кружевом, спит моя мать; лицо у нее гладкое, как у девушки, и лишь морщинки в углах

глаз и рта, которых все равно не видно в темноте, да лежащая на простыне хрупкая, сухая рука с крашеными ногтями выдают ее возраст. Там же спит и Теодор Марел, и тихое аденоидное посапывание льется из-под его золотистых усов. Но все это законно – мать замужем за Теодором Марелом, который намного моложе ее, у которого золотистые волосы курчавятся на круглой голове, как сливочная помадка, и который доводится мне отчимом. Ладно, он у меня не первый отчим.

А дальше, под своими собственными дубами и магнолиями, стоит дом Стентонов, запертый и пустой, потому что Анна и Адам

давно выросли, живут в городе и больше не ездят со мной на рыбалку, а сам старик умер. Еще дальше, где опять начинаются поля, стоит дом судьи Ирвина. Мы не остановимся, пока туда не приедем. Мы нанесем судье небольшой визит.

— Хозяин, — сказал я.

Он обернулся, и я увидел тяжелые очертания его головы на фоне ярко освещенного бетона.

— Что ты собираешься ему сказать? — спросил я.

— Этого никогда не знаешь заранее, — ответил он. — Я, может, вообще ничего не скажу. Черт его знает, может, мне и нечего ему говорить. Я только хочу на него

поглядеть как следует.

— Судью на испуг не возьмешь.

Нет, не возьмешь его на испуг, подумал я, вспоминая прямую спину человека, который, соскочив с седла, забрасывал поводья на стентоновский забор и шагал по ракушечной аллее с панамой в руке, — его крючковатый нос, высокий череп с жесткой темно-рыжей гривой и глаза, желтые, ясные, твердые, как топазы. Правда, с той поры минуло почти двадцать лет, и спина у него, наверное, не такая прямая, как раньше (перемена происходит так медленно, что ее не замечаешь), и глаза, наверное, помутнели, но я не верил, что судью можно взять на

испуг. В чем, в чем, а в этом я мог поручиться: он не струсит. И если бы я оказался неправ, меня бы это огорчило.

— Я и не надеюсь взять его на испуг, — сказал Хозяин. — Я просто хочу поглядеть на него.

— Нет, черт возьми! — выпалил я и сам не заметил, как мои лопатки оторвались от спинки сиденья. — Ты сошел с ума, если думаешь его запугать.

— Спокойно, Джек, — сказал Хозяин и рассмеялся.

Я не видел его лица. Я видел черную кляксу на фоне освещенного бетона, и она смеялась.

— Говорят тебе, я просто хочу на

него поглядеть, — сказал он.

— Ты выбрал чертовски удобное время и чертовски удобный способ, чтобы на него глядеть, — сварливо пробурчал я, опускаясь лопатками на то место, где им и полагалось быть. — Ты что, не мог подождать, пока он приедет в город?

— Захочешь жениться — ночью не спится, — ответил Хозяин.

— Черт тебя надоумил, — сказал я, — к нему ехать.

— Ага, ты считаешь, что это ниже моего достоинства? — спросил Хозяин.

— Тебе виднее, ты губернатор. Так я слышал.

— Да, я губернатор, Джек, и беда

губернаторов в том, что они думают, будто должны беречь свое достоинство. Но видишь ли, нет на свете стоящего дела, из-за которого не пришлось бы поступиться достоинством. Можешь ты назвать мне хоть одно дело, которое ты хотел бы сделать и мог бы сделать, не уронив своего достоинства? Нет, не так человек устроен.

— Ладно, — сказал я.

— И когда я стану президентом и захочу кого-нибудь увидеть, я сяду и поеду к нему.

— Ну да, — сказал я, — среди ночи. Но надеюсь, что меня ты оставишь дома, дашь мне выспаться.

— Черта с два, — сказал он. —

Когда я стану президентом, я буду брать тебя с собой. Я буду держать вас с Рафинадом прямо в Белом доме, чтобы вы все время были под рукой. Рафинаду я устрою тир в задней комнате, и республиканцы из конгресса будут расставлять для него консервные банки. А ты сможешь водить к себе девочек прямо через главный вход, и министр будет принимать у них пальто и подбирать за ними шпильки. Для этого у нас будет специальный министр. Он будет зваться Будуар-Секретарь Джека Бердена, будет помнить все телефоны и отсылать по нужным адресам маленькие розовые предметы, если кто их забудет.

Сложение у Крошки подходящее, я ему сделаю маленькую операцию, наряжу в шелковые шаровары и тюрбан, дам кривую саблю из жести, как какому-нибудь великому визирю, и будет он сидеть на пуфе у твоей двери и называться Будуар-Секретарем. Ну как, тебе это подходит? — Он перевесился через спинку и хлопнул меня по колену. Ему пришлось далеко тянуться, потому что от переднего сиденья в «кадиллаке» до моего колена — расстояние порядочное, хоть я и лежал на лопатках.

— Ты войдешь в историю, — сказал я.

— А то как же. — И он

рассмеялся. Он повернулся и стал смотреть на дорогу, продолжая смеяться.

Мы проехали какой-то городок и остановились на окраине возле заправочной станции с баром. Рафинад заправил машину и принес нам с Хозяином по бутылке кока-колы. Мы двинулись дальше.

До самого Берденс-Лендинга Хозяин не произнес ни слова. А там он сказал только:

— Джек, объясни Рафинаду, как найти дом. Твои ведь дружки тут живут.

Да, тут живут мои дружки. Вернее, жили. Жили Анна и Адам Стентоны — в белом доме, вместе с

вдовым отцом, губернатором. Они были моими друзьями, Анна и Адам. Адам и я рыбачили и ходили под парусом по всей этой части Мексиканского залива, и спокойная глазастая худенькая Анна всегда была рядом и всегда молчала. Адам и я охотились и бродили по всей округе, и рядом была Анна, тонконогая маленькая девочка, четырьмя годами младше нас. Мы сидели у камина в доме Стентонов или в нашем доме — играли, читали книжки, и рядом сидела Анна. А потом Анна уже не была маленькой девочкой. Она стала большой, и я любил ее так, что жил точно во сне. И во сне этом мое сердце готово было разорваться,

потому что весь мир жил в нем и рвался наружу, чтобы стать настоящим миром. Но то лето кончилось. Прошли годы, и не случилось того, что непременно должно было случиться. Анна теперь старая дева, живет в столице, и если выглядит еще молодо и не носит уродливых платьев, то смех ее стал ломким, а лицо напряженным, словно она пытается что-то вспомнить. Что она старается вспомнить? Мне-то стараться незачем. Я бы мог вспомнить, да не хочу. Если бы род людской ничего не помнил, он был бы совершенно счастлив. Когда-то я учился истории в университете, и это, пожалуй,

единственное, что я оттуда вынес. Вернее сказать, думал, что вынес.

Мы поедем по набережной, где все дома смотрят на залив, — там жили все мои приятели. Анна — без пяти минут старая дева. Адам — знаменитый хирург, который по-прежнему ласков со мной, но больше не ездит со мной ловить рыбу. И на самом краю — судья Ирвин, который был другом нашей семьи, брал меня на охоту, учил стрелять и ездить верхом и читал мне в своем большом кабинете исторические книги. После ухода Элиса Бердена судья был мне больше отцом, чем те, кто женился на матери и жил в доме Элиса Бердена. И судья был человеком.

И вот я сказал Рафинаду, как проехать по городу на набережную, где живут или жили все мои дружки. Все огни в городе были погашены, кроме лампочек на телефонных столбах, и стены домов на набережной белели среди магнолий и дубов, как кости.

Вы проезжаете ночью по городу, где жили когда-то, и надеетесь встретить себя самого в коротких штанишках, одного на перекрестке под фонарями, где жуки стучат по жестяным рефлексорам и, оглушенные, сыплются на мостовую. Вы надеетесь встретить на улице мальчика в этот поздний час и собираетесь сказать ему, чтобы он

поскорее отправлялся спать, если не хочет, чтобы ему влетело. А может быть, вы дома, в кровати, спите и не видите снов, и все, что как будто бы случилось с вами, на самом деле не случилось. Но кто же тогда, черт побери, сидит на заднем сиденье в черном «кадиллаке», который несется по городу? Да ведь это Джек Берден! Неужели вы не помните маленького Джека Бердена? Днем он удил рыбу в заливе со своей лодки, а потом отправлялся домой, ужинал, целовал свою красивую маму, говорил ей «спокойной ночи» и, прочтя молитвы, в половине десятого ложился спать. А, так это мальчик старого Элиса Бердена? Да, его и

этой женщины, которую он привез из Техаса — или из Арканзаса? — этой большеглазой худенькой женщины, что живет в доме Бердена с этим новым своим мужчиной. А что же случилось с Элисом Берденом? Не знаю — сколько уж лет от него ни слуху ни духу. Чудак он был. Да, кто еще, черт подери, уйдет из дому и бросит такую красотку, как эта женщина из Арканзаса? А может, он не мог ей дать того, чего она хотела? А все-таки дал он ей этого мальчика, этого Джека Бердена. Да.

Вы приезжаете ночью в город, и слышатся голоса.

Набережная осталась позади, и я увидел дом, белевший, как кость,

среди темных дубовых сучьев.

– Приехали, – сказал я.

– Останови, – сказал Хозяин. А потом, обращаясь ко мне: – Свет горит. Не лег еще старый хрыч. Поди постучись и скажи, что я хочу его видеть.

– А если он не откроет?

– Откроет, – сказал Хозяин. – А не откроет – заставь его. За что я тебе деньги плачу, черт побери?

Я вылез из машины, открыл калитку и двинулся по темной ракушечной аллее к дому. Потом я услышал за спиной шаги Хозяина. Он так и шел за мной по пятам до самой веранды.

Потом он отошел в сторону, а я

распахнул дверь с сеткой и постучал в прихожую. Я постучал еще раз и увидел через стекло, что дверь в прихожую открылась — она ведет из библиотеки, вспомнил я, — а затем в прихожей зажегся боковой свет. Он шел к двери. Через стекло было видно, как он возится с замком.

— Кто там? — спросил он.

— Добрый вечер, судья, — отозвался я.

Он стоял на пороге, мигая и пытаясь разглядеть в темноте мое лицо.

— Это Джек Берден, — сказал я.

— Да ну! Джек, подумать только!

— И он протянул руку. — Заходи. — Он, казалось, даже рад моему приходу.

Я пожал ему руку и шагнул в прихожую, где в тусклом свете канделябров поблескивали зеркала в облезлых золоченых рамах и стекла больших керосиновых фонарей на мраморных консолях.

— Ну, чем я могу быть тебе полезен, Джек? — спросил он, взглянув на меня желтыми глазами. Они не очень изменились за эти годы — не знаю, как остальное.

— Да вот... — начал я и уже не знал, как закончить. — Я просто хотел узнать, не спите ли вы и не можете ли поговорить с...

— Конечно, Джек, заходи. Сынок, у тебя что-то случилось? Подожди, я закрою дверь и...

Он повернулся, чтобы закрыть дверь, и, не будь его тикалка в полной исправности, несмотря на седьмой десяток, он свалился бы замертво. Потому что в дверях стоял Хозяин. Тихо, как мышь.

Однако судья не свалился замертво. Лицо его было невозмутимо. Но я чувствовал, как он весь подобрался. Вы хотите ночью закрыть дверь, и вдруг из темноты возникает фигура мужчины — тут поневоле задумаешься.

— Нет, — сказал Хозяин, непринужденно улыбаясь, снимая шляпу и делая шаг вперед, как будто его пригласили войти, чего на самом деле не было, — нет, с Джеком ничего

не случилось. Насколько я знаю. И со мной также.

Теперь судья смотрел на меня.

— Прошу прощения, — сказал он голосом, который при желании становился холодным и скрипучим, как старая игла на пластинке граммофона. — Я упустил из виду, что теперь ты в хороших руках.

— Да, Джеку грех жаловаться, — сказал Хозяин.

— А вы, сэр? — Судья повернулся к Хозяину, поглядел на него из-под опущенных век — он был на полголовы выше, — и я увидел, как вздулись и заходили желваки под ржаво-красными сухими складками на его длинной челюсти. — Вы

желали мне что-то сказать?

— А я еще не решил, — небрежно уронил Хозяин. — Пока ничего.

— Ну, — сказал судья, — в таком случае...

— А может, и найдется о чем поговорить, — перебил Хозяин. — Разве заранее знаешь? Если мы дадим ногам отдых...

— В таком случае, — продолжал судья, и снова его голос скрежетал безжизненно, как старая игла по пластинке или рашпиль по жести, — я хотел бы сообщить вам, что собираюсь ко сну.

— Ну, время детское, — сказал Хозяин и неторопливо смерил взглядом судью. На судье была

старомодная бархатная куртка, брюки от смокинга и крахмальная рубашка; однако галстук и воротничок он уже снял, и под старым красным кадыком блестела золотая запонка. — Да и спать вы будете лучше, — продолжал Хозяин, закончив осмотр, — если подождете ложиться и как следует переварите ваш сытный ужин. И он двинулся по прихожей туда, откуда шел свет, — в библиотеку.

Судья Ирвин смотрел ему в спину, а он как ни в чем не бывало шел к двери в своем жеваном, обтянувшем плечи пиджаке с темными от пота подмышками. Желтые глаза судьи выкатились, а

лицо стало багровым, как говяжья печень в лавке у мясника. Потом он пошел за Хозяином.

Я проследовал за ними.

Когда я вошел в библиотеку, Хозяин уже сидел в большом вытертом кожаном кресле. Я стал у стены под книжными полками, которые уходили к потолку, теряясь в тени; книги, многие из них — по юриспруденции — были старые, в кожаных переплетах, и пахло от них в комнате плесенью, старым сыром. Здесь ничего не изменилось. Я помнил этот запах по долгим вечерам, которые проводил здесь, читая или слушая, как читает судья; в камине трещали поленья, и часы в

углу, большие старинные часы, роняли на нас редкие маленькие катышки времени. Комната была все та же. На стенах висели большие офорты Пиранези в тяжелых резных рамах – Тибр, Колизей, развалины храма. На каминной доске и на столе лежали стеки, стояли серебряные кубки, выигранные собаками судьи на полевых испытаниях и им самим на стрельбищах. Стойка с ружьями у двери пряталась от света бронзовой настольной лампы, но я знал каждое ружье на ней, помнил на ощупь.

Судья не стал садиться. Он стоял посреди комнаты и смотрел сверху на Хозяина, раскинувшего ноги по красному ковру. Судья молчал. Что-

то творилось у него в голове. Вы знали: если бы в стенке этого высокого черепа, там, где поредела и поблекла некогда густая темно-рыжая грива волос, было бы окошко, вы увидели бы сквозь него работу колесиков и пружин, храповиков и зубчаток, блестящих, как во всяком ухоженном и точном механизме. Но может быть, кто-то нажал не на ту кнопку. Может, он так и будет работать вхолостую, пока что-нибудь не треснет или не выйдет весь завод, — может быть, все это ничем не кончится.

Однако Хозяин заговорил. Он кивнул на письменный стол, где стоял серебряный поднос с бутылкой,

кувшином воды, серебряной чашей, двумя стаканами, бывшими в употреблении, и тремя или четырьмя чистыми, и сказал:

— Вы не возражаете, судья, если Джек нальет мне стаканчик? В порядке, так сказать, южного гостеприимства.

Судья Ирвин ему не ответил. Он повернулся ко мне и сказал:

— Я не подозревал, Джек, что, помимо всего прочего, ты выполняешь обязанности слуги; но, конечно, если я ошибаюсь...

Я чуть не заехал ему по физиономии. Я чуть не заехал по этой проклятой ржаво-красной гордой старой физиономии с

орлиным носом и глазами, отнюдь не старыми, но твердыми, ясными и лишенными глубины, — я чуть не заехал по этим глазам, взгляд которых был оскорблением. И Хозяин засмеялся, и я чуть было не заехал ему по роже. Я мог бы встать и уйти и оставить их вдвоем в этой провонявшей сыром комнате — плюнуть на них и уйти куда глаза глядят. Но я не ушел — и, должно быть, правильно сделал, потому что вы никогда не можете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете.

— Чепуха, — сказал Хозяин, оборвав смех. Он встал с кресла, приблизился к столу, налил в стакан

виски и, улыбаясь судье, подошел ко мне и протянул стакан.

— На, Джек, — сказал он, — выпей.

Не могу сказать, что я взял стакан, — мне сунули его в руку, а я держал его, не поднося ко рту, и смотрел, как Хозяин улыбается судье Ирвину и говорит:

— Иногда Джек наливает мне виски, иногда я ему наливаю виски... а иногда, — он опять шагнул к столу, — я сам себе наливаю виски.

Он плеснул из бутылки, добавил воды и бросил на судью косой насмешливый взгляд.

— Угощают меня или нет, ты не много получишь, судья, если станешь

дожидаться, пока тебя угостят. А я — человек нетерпеливый. Я очень нетерпеливый человек, судья. Поэтому-то я и не джентльмен, судья.

— Вот как? — ответил судья. Он стоял посреди комнаты и наблюдал сверху за этим спектаклем.

А я смотрел на них из своего угла. «Ну их к черту, — думал я, — к чертовой матери их обоих». Пусть они катятся к чертовой матери со своими разговорами.

— Да, — говорил Хозяин, — а вы — джентльмен, судья, и вам не к лицу проявлять нетерпение. Даже когда хочется выпить. Разве по вас скажешь, что вам хочется выпить, а

ведь это вы платили за бутылку. Но вы все же выпейте. Выпейте, я вас прошу. Выпейте со мной, судья.

Судья Ирвин не произнес ни слова. Он стоял, выпрямившись, посреди комнаты.

— Да выпейте же, — со смехом сказал Хозяин и сел в кресло, разбросав ноги по красному ковру.

Судья не налил себе виски. И не сел.

Хозяин посмотрел на него из кресла и сказал:

— Судья, у вас случайно не найдется вечерней газеты?

Газета лежала на кресле у камина, под воротничком и галстуком судьи, а на спинке висел

белый пиджак.

— Да, — сказал судья, — у меня найдется вечерняя газета.

— Я не успел ее просмотреть, мотаясь весь день по дорогам. Не возражаете, если я взгляну?

— Ни в коей мере, — ответил судья, и снова это был напильник, царапающий по жести. — Но по одному вопросу я, видимо, сам смогу удовлетворить ваше любопытство. В газете опубликовано мое выступление в поддержку кандидатуры Келахана, баллотирующегося в сенат. Если вас это интересует.

— Просто хотел услышать это из ваших уст, судья. Кто-то сказал мне,

но вы ведь знаете: скажешь с ноготок – перескажут с локоток, а газетчики склонны к преувеличениям, язык у них впереди ума рыщет.

– В данном случае никаких преувеличений не было, – сказал судья.

– Просто хотел услышать это непосредственно от вас. Из ваших драгоценных уст.

– Вот вы и услышали, – сказал судья, стоя все так же прямо посреди комнаты. – А посему, если вас не затруднит, – лицо его опять стало багровым, как говяжья печень, хотя говорил он холодно и размеренно, – и если вы допили...

– Ах, да, спасибо, судья, – сказал

Хозяин голосом слаще меда. – Я, пожалуй, еще налью. – И потянулся за бутылкой. Он выполнил свое намерение и сказал: «Благодарю».

Вернувшись в кресло с полным стаканом, он продолжал:

– Да, судья, я услышал, но я хотел бы услышать от вас кое-что еще. Вы уверены, что возносили его имя в своих молитвах? А?

– Для себя я этот вопрос решил, – ответил судья.

– Так, но если память мне не изменяет, – Хозяин задумчиво повертел стакан, – в городе во время той небольшой беседы вы вроде бы не возражали против моего человека Мастера.

— Я не брал никаких обязательств, — резко ответил судья. — Я ни перед кем не брал обязательств, кроме своей совести.

— Вы давно уже варитесь в политике, — заметил Хозяин как бы вскользь, — и то же самое, — он отхлебнул из стакана, — ваша совесть.

— Простите? — угрожающе переспросил судья.

— Забудем, — ответил Хозяин, осклабясь. — Так чем же не угодил вам Мастерс?

— До моего сведения дошли некоторые подробности его карьеры.

— Кто-то полил его грязью, да?

— Если вам угодно, да, — ответил судья.

– Смешная это штука – грязь, – сказал Хозяин. – Ведь если подумать, весь наш зеленый шарик состоит из грязи, кроме тех мест, которые под водой и опять же состоят из грязи. Трава – и та растет из грязи. А что такое бриллиант, как не кусок грязи, которому однажды стало жарко? А что сделал господь бог? Взял пригоршню грязи, подул на нее и сделал вас и меня, Джорджа Вашингтона и весь человеческий род, благословенный мудростью и прочими добродетелями. Так или нет?

– Это не меняет дела, – сказал судья откуда-то с высоты, куда не достигал свет настольной лампы, –

Мастерс не представляется мне человеком, заслуживающим доверия.

— Пусть попробует не заслужить, — сказал Хозяин, — я ему шею сверну.

— В этом вся и беда. Он постарается заслужить *ваше доверие*.

— Это факт, — сокрушенно признал Хозяин и покачал головой, всем своим видом выражая смирение перед роковой неизбежностью. —

Мастерс постарается не обмануть моего доверия. Ничего не попишешь. Но Келахан — возьмем, к примеру, Келахана, — сдается мне, что он станет оправдывать *ваше доверие*, доверие треста Алта Пауэр и бог знает чье еще. Так в чем же разница? А?

– Ну...

– Ну-гну! – Хозяин выпрямился в кресле с той взрывчатой быстротой, с какой хватал на лету муху или поворачивал к вам лицо с выпученными глазами. Он выпрямился, и каблуки его вонзились в ковер. Виски пролилось на его тонкие брюки. – Я объясню вам, в чем разница! Я могу провести Мастерса в сенат, а вы не можете провести Келахана. И это большая разница.

– Все же я попытаю счастья, – сказал судья оттуда, сверху.

– Счастья? – засмеялся Хозяин. – Судья, – сказал он, перестав смеяться, – оно все вышло, ваше

счастье... Сорок лет вы пытались счастья в этом штате, и вам везло. Вы сидели тут в кресле, а негритята бегали на цыпочках и таскали вам пунш, и вам везло. Вы тут сидели и улыбались, а ваши ребята потели на трибунах и щелкали подтяжками, и, когда вам чего-нибудь хотелось, вы просто протягивали руку и брали. А когда у вас оставалось свободное время после охоты на уток и защиты трестов на процессах, вы могли развлечься, изображая генерального прокурора. Или поиграть в судью. Вы долго были судьей. А как вам понравится, если вы перестанете им быть?

— Никому, — сказал судья Ирвин,

выпрямившись еще больше, — никому еще не удавалось меня запугать.

— Да я и не пугал, — сказал Хозяин, — до нынешнего дня. И сейчас не пугаю. Я хочу, чтоб вы сами одумались. Вы говорите, кто-то полил грязью Мастерса? Ну, а если я открою вам глаза на Келахана? Стоп, не прерывайте меня. Не лезьте в бутылку. — Он поднял руку. — Я пока не занимался раскопками, но могу — и ежели я выйду на задний двор, воткну лопату, захвачу ароматный кусок и поднесу его к носу вашей совести, вы знаете, что она вам скажет? Она вам скажет, чтобы вы отреклись от Келахана. Репортеры налетят сюда тучей, как навозные

мухи к дохлomu псу, и вы сможете рассказать им все про себя и про свою совесть. Вам даже не надо выступать за Мастера. Вы со своей совестью можете прогуливаться под ручку и рассказывать друг другу, как вы друг друга любите.

— Я поддержал кандидатуру Келахана, — сказал судья Ирвин. Он не дрогнул.

— Я мог бы произвести для вас раскопки, — задумчиво сказал Хозяин. — Келахан давно в обращении, а где это видано, чтоб с сажей играть да рук не замарать? Сами знаете: тут только выйди бос, как ступишь в навоз. — Он смотрел на лицо судьи — шурился, вглядывался,

наклонял голову набок.

Я вдруг осознал, что старинные часы в углу не стали моложе. Они роняли ТИК, и ТИК падал мне на мозги, как камень в колодец, шли круги, замирали, и ТИК тонул в темноте. Потом в продолжение какого-то времени — ни долгого, ни короткого, а может, и вообще не времени — не было ничего. Потом в колодец падал ТАК, и шли круги, замирали.

Хозяин перестал изучать лицо судьи, которое было непроницаемо. Он развалился в кресле, пожал плечами и поднес стакан ко рту. Потом сказал:

— Поступайте как знаете, судья.

Но можно ведь сыграть и по-другому. Скажем, кто-нибудь копнет прошлое другого человека и поднесет на лопате Келахану, а у Келахана ни с того ни с сего разыграется совесть, и он отречется от своего покровителя. Когда дело доходит до совести, нипочем не угадаешь, какой номер она выкинет, а копать только начни...

Судья Ирвин шагнул к большому креслу, и лицо его уже не было багровым, как говяжья печень, оно прошло через эту стадию и побелело, начиная от основания крупного носа.

— Благоволите встать из кресла и выйти вон!

Хозяин не поднял головы со спинки кресла. Он посмотрел на

судью благодушно, доверчиво, потом
скосился на меня.

– Джек, – сказал он, – ты был
прав. Судью на испуг не возьмешь.

– Вон! – сказал судья, на этот
раз тихо.

– Не слушаются старые кости, –
пробормотал Хозяин удрученно. – Но
теперь, когда я исполнил свой
христианский долг, позвольте мне
удалиться. – Он осушил свой стакан,
поставил его на пол возле кресла и
поднялся. Он стоял перед судьей,
глядя на него снизу вверх и наклонив
голову набок, как крестьянин,
покупающий лошадь.

Я поставил стакан на полку
позади себя. Оказалось, что после

первого глотка я даже не притронулся к виски. «Черт с ним», — подумал я и не стал допивать. Какой-нибудь негр допьет завтра утром.

Затем, точно раздумав покупать эту лошадь, Хозяин помотал головой и прошел мимо судьи, словно тот был не человеком и даже не лошадью, а деревом или углом дома, обогнул его и направился к прихожей, ступая легко и неторопливо по красному ковру. Без спешки.

Секунду или две судья стоял неподвижно, потом резко повернулся и проводил взглядом Хозяина. Глаза его блеснули в тени абажура.

Хозяин взялся за ручку, открыл дверь и, не отпуская ручки, оглянулся.

— Что ж, судья, — сказал он, — скорее с тоской, чем с гневом, ухожу я. А если ваша совесть решит начхать на Келахана, дайте мне знать. Понятно, — улыбнулся он, — если это случится не слишком поздно.

Потом он перевел взгляд на меня, сказал: «Айда, Джек» — и скрылся в прихожей.

Прежде чем я успел включить первую скорость, судья обратил ко мне лицо, устремил на меня взгляд, и губа под этим выдающимся носом вздернулась в улыбке, преисполненной, я бы сказал,

монументальной иронии.

— Ваш наниматель зовет вас, мистер Берден.

— Я еще не нуждаюсь в слуховой трубке, — ответил я и, двинувшись к двери, подумал: «Ну ты даешь, Джек, нечего сказать, отбрил — как сопляк отвечаешь».

Когда я подошел к двери, он сказал:

— На этой неделе я обедаю с твоей матерью. Передать ей, что тебе по-прежнему нравится твоя работа?

«Отвяжись от меня», — подумал я, но он не желал, и верхняя губа снова вздернулась.

Тогда я сказал:

— Как вам будет угодно, судья. Но

на вашем месте я бы не стал звонить об этом посещении. Не дай бог, вы передумаете, и кому-нибудь взбредет в голову, что вы унизились до грязной политической сделки с Хозяином. Под покровом ночной темноты.

И я прошел через дверь, через прихожую, через дверь прихожей, оставив ее открытой, и хлопнул дверью веранды.

«Черт бы его побрал, чего он ко мне привязался?»

Но он не струсил.

Залив остался позади, и с ним — соленый, томительный и свежий запах отмелей. Мы возвращались на

север. Стало еще темнее. Туман сгустился на полях, а в низинах перетекал через шоссе, застилая фары. Изредка навстречу нам из темноты вспыхивала пара глаз. Я знал, что это глаза коровы, несчастной, доброй, стоической твари, которая встала со своею жвачкой на обочине, потому что законов для скота еще не придумали. Но глаза ее горели в темноте, словно череп был полон расплавленного, яркого, как кровь, металла, и, если свет фар падал правильно, мы могли заглянуть в этот череп, в это кровавое жаркое сияние, даже не успев увидеть очертаний тела, построенного так, чтобы удобнее

было швырять в него комьями. Я знал, чьи это глаза, и знал, что внутри этой корявой, невзрачной головы нет ничего, кроме горсти холодной, загустевшей серой каши, в которой что-то тяжело ворочается, когда мы проезжаем мимо. Мы и были тем, что ворочалось в мозгу коровы. Так бы сказала корова, будь она твердокаменным идеалистом вроде маленького Джека Бердена.

Хозяин сказал:

— Ну, Джеки, тебе подвалила работенка.

А я сказал:

— Келахан?

А он сказал:

— Нет, Ирвин.

А я сказал:

— Едва ли ты что-нибудь найдешь на Ирвина.

А он сказал:

— Ты найдешь.

Мы продолжали буравить тьму еще восемнадцать минут — еще двадцать миль. Плазменные пальцы тумана протягивались к нам из болот, выползали из черноты кипарисов, чтобы схватить нас, но безуспешно. Из болота выскочил опоссум, хотел перебежать дорогу и перебежал бы, но Рафинад оказался проворнее. Рафинад слегка шевельнул руль, повернул на волос. Не было ни удара, ни толчка — просто тукнуло под левым крылом, и

Рафинад сказал: «З-з-зар-раза». Он мог продеть этот «кадиллак» в иголку.

Спустя восемнадцать минут и двадцать миль я сказал:

— А если я ничего не успею найти до выборов?

Хозяин ответил:

— Плевать на выборы. Я и так проведу Мастерса без сучка без задоринки. Но если тебе понадобится десять лет — все равно найди.

Спидометр отстучал еще пять миль, и я сказал:

— А если за ним ничего нет?

А Хозяин сказал:

— Всегда что-то есть.

А я сказал:

— У судьи может и не быть.

А он сказал:

— Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его — от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть.

Еще через две мили он добавил:

— Сработай на совесть.

С тех пор минуло много лет.

Мастерс давно мертв, лежит в могиле, но Хозяин был прав — он прошел в сенат. А Келахан жив, но жалеет об этом: ему так не везло, что он даже не умер вовремя. И мертв Адам Стентон, который удил рыбу и лежал на песке под горячим солнцем рядом со мной и Анной. И мертв

судья Ирвин, который хмурым зимним утром наклонялся ко мне среди высокой седой осоки и говорил: «Ты води за ней ствол, Джеки. Надо вести ствол за уткой». И мертв Хозяин, который сказал: «Сработай на совесть».

Маленький Джеки сработал на совесть, это точно.

В последний раз мне довелось увидеть Мейзон-Сити, когда я прикатил туда по новой бетонке на большом черном «кадиллаке» вместе с Хозяином и его компанией; это было давно, потому что сейчас уже 1939-й, и три года, прошедшие с тех пор, кажутся мне вечностью. Впервые же я увидел его гораздо раньше – в 1922 году, и ехал я на своем «форде-Т», то стискивая зубы при въезде на изрытую щебенку, чтобы от тряски на них не скололась эмаль, то хватаясь за стойку руля, когда машину тащило юзом по серой

пыли, которая тянулась хвостом на целую милю и оседала на листья хлопчатника, окрашивая их в серый цвет. Надо отдать должное Хозяину; когда он стал губернатором, вы могли прокатиться с ветерком и не растерять своих коронок. Во времена моего первого посещения это было невозможно.

Меня вызвал главный редактор «Кроникл» и сказал:

— Садись в свою машину, Джек, и поезжай в Мейзон-Сити — выясни, шут его дери, кто такой этот Старк, который возомнил себя Иисусом Христом и выгоняет менял из их обшарпанного муниципалитета.

— Он женился на учительнице, —

сказал я.

– Наверно, это повлияло ему на мозги, – сказал Джим Медисон, главный редактор «Кроникл». – Он думает, до него никто не спал с учительницами?

– Облигации выпущены для сбора средств на постройку школы, и, по-моему, Люси думает, что часть этих средств можно использовать по назначению.

– Какая еще, к черту, Люси?

– Люси – это учительница, – сказал я.

– Недолго ей быть учительницей, – сказал он. – Недолго ей получать жалованье в округе Мейзон, если она не уймется. Совсем

недолго, или я не знаю округ Мейзон.

– Кроме того, Люси не одобряет спиртного.

– Кто из вас спит с Люси – ты или этот малый? Слишком много ты знаешь о Люси.

– Я знаю то, что рассказал мне Вилли.

– Какой еще, к черту, Вилли?

– Вилли – это малый в рождественском галстуке, – объяснил я. – Он же дядя Вилли из деревни. Он же Вилли Старк, учительский любимчик; я познакомился с ним месяца два назад в задней комнате у Слейда, и он мне сказал, что Люси не одобряет спиртного. А что она не

одобряет воровства — это мое предположение.

— Она не одобряет Вилли Старка в роли окружного казначея, — заметил Джим Медисон, — если подбивает его на такое дело. Она что, не знает, какие у них там порядки, в округе Мейзон?

— У них там такие же порядки, как у нас тут, — ответил я.

— Да, — Джим Медисон вынул из угла рта слюнявый, изжеванный огрызок того, что некогда было двадцатицентовой сигарой, осмотрел его и, вытянув в сторону руку, уронил в большую латунную плевательницу, утопавшую в зеленом и буйном, как клевер, ковре, который цвел подобно

оазису среди четырехэтажного запустения редакции «Кроникл». — Да, — сказал Джим Медисон, проследив за падением окурка, — но отправляйся-ка ты отсюда и поезжай туда.

И я поехал в Мейзон-Сити, стискивая зубы при въезде на щебенку и цепляясь за стойку руля, когда машину бросало юзом по пыли, — и было это очень давно.

Я прибыл в Мейзон-Сити в середине дня, посетил кафе «Мейзон-Сити», Домашние Обеды для Леди и Джентльменов, с видом на площадь, заказал жареной ветчины с картофельным пюре и зеленью и, держа стакан с

разливным виски в одной руке, другой боролся с семью или восемью мухами за обладание пирогом с драченой.

Я вышел на улицу, где в тени под навесами из гофрированного железа спали собаки, и, пройдя квартал, очутился перед шорной мастерской. Одно место там было свободно, поэтому я сказал «здрасте» и присоединился к собравшимся. От младшего из них меня отделяло сорок лет, но я решил, что мои руки тоже успеют распухнуть, покрыться коричневыми пятнами и лечь на набалдашник старой ореховой палки, прежде чем кто-нибудь из них произнесет первое слово. В таком

городе, как Мейзон-Сити, вернее, в таком, каким он был двадцать лет назад, до постройки нового бетонного шоссе, скамья перед шорной мастерской – это место, где у времени заплетаются ноги, где оно ложится на землю, как старая гончая, и затихает. Это место, где вы сидите, дожидаясь ночи и атеросклероза. Это – место, на которое гробовщик глядит уверенно, зная, что не останется без куска хлеба при таком заделе. Но если вы сидите на этой лавке днем, в конце августа, рядом со стариками, то кажется, что вы никогда ничего не дождетесь, даже собственных похорон, и солнце палит, и не движутся тени на яркой

пыли, которая, если взглядеться
получше, полна крупинок, блестящих
как кварц. Старики сидят, положив
свои веснушчатые руки на
набалдашники ореховых палок, и
выделяют некую метафизическую
эманацию, под влиянием которой
изменяются все ваши категории.
Время и движение перестают
существовать. Как в эфирном
дурмане, все кажется приятным,
грустным и далеким. Вы восседаете
среди старших богов, в тишине,
нарушаемой лишь легким [gale](#)^[5] того,
у которого астма, и ждете, чтобы они
сошли с олимпийских, прогретых
солнышком высот и высказались,
независтливые, насмешливые

провидцы, о делах людей, бьющихся в тенетах суеты житейской.

– Смотрю я, Сим Сондерс новый сарай построил.

И в ответ: – Да, не иначе денег девать некуда. И третий:

– Да-а.

Так я сидел и ждал. И один из них сказал, а другой передвинул во рту жвачку и ответил, и последний сказал: «Да». Я подождал немного, потому что знал свое место, а затем сказал: «Я слышал, новую школу будут строить». И подождал еще немного, пока затихнут мои слова и всякое воспоминание о них улетучится из воздуха. Тогда один из них сплюнул янтарем на сухую

землю, потрогал пятно концом палки и сказал: «Да, и, слышать, с паровым отоплением».

И номер Второй:

— Легкими ребятишки хворают от этого отопления.

И номер Третий:

— Да.

И номер Четвертый:

— Пушай построют сперва.

Я посмотрел через площадь на часы, нарисованные на башне суда, — часы, по которым старики считали свое время, — и подождал. Потом спросил:

— А кто им мешает?

И номер Первый ответил:

— Старк. Все Старк этот.

И номер Второй:

— Да, все этот баламутит, Вилли Старк.

И номер Третий:

— Высоко взлетел, да как бы из порток не выпал. Начальством, видишь, сделался, да как бы из порток не выпал.

И номер Четвертый:

— Да-а.

Я подождал, а потом спросил:

— Говорили мне, что он подрядчика нашел подешевле.

И номер Первый:

— Да, нашел подрядчика, у которого негры работают.

И номер Второй:

— А наши пущай без работы

погуляют. Это значит стройка.

И номер Третий:

— А ты с нами захочешь работать, с неграми? Тем паче с чужими неграми. Хоть школу, хоть сортир работать, это тебе понравится.

И номер Четвертый:

— Белые тоже работать хотят.

И номер Первый:

— Да-а. Да, сказал я себе, *значит, вот такая история*, потому что округ Мейзон — крестьянский округ и там не любят негров, по крайней мере чужих негров, а своих там не так уж много.

— И много они выгадают, — спросил я, — на дешевом подряде?

И номер Первый:

— Столько выгадают, что на дорогу не хватит, привезти этих негров.

И номер Второй:

— А наши пущай без работы погуляют.

Я подождал приличия ради, потом поднялся и сказал:

— Пора мне двигаться. Всего хорошего, джентльмены.

Один из стариков поднял на меня глаза, словно я только что подошел, и сказал:

— Ты сам-то по какой части будешь, сынок?

— Да я ни по какой, — ответил я.

— Стало быть, хвораешь? —

спросил он.

— Да нет, не хвораю. Просто честолюбия маловато, — ответил я и, уже шагая по улице, подумал, что это святая правда.

Я подумал также, что достаточно убил времени и вполне могу отправиться в окружной суд и получить там тот материал, которого от меня ждут. Ни один порядочный газетчик не стал бы добывать материал, рассиживаясь перед шорной лавкой. Ничего подходящего для газеты там не узнаешь. И я отправился в окружной суд.

Вестибюль окружного суда был пуст и темен, черный линолеум на полу вытерт, покрыт бугорками и

ложбинками, а в воздухе, сухом и пыльном, застоялась такая тишина, что, казалось, вместе с ней выдыхаете последние усохшие шепотки, остатки речей и разговоров, которые звучали здесь семьдесят пять лет; но вот в другом конце вестибюля я увидел комнату, где сидели люди. Над дверью была табличка с полустершимися буквами. Их еще можно было прочесть: «Шериф».

Я вошел в комнату, где на плетеных стульях, запрокинувшись, сидели трое мужчин, а на бюро бессильно гудел вентилятор. Я сказал лицам «здрассе», и самое большое из них, которое было

красным и круглым и сидело, положив ноги на доску бюро, а руки на живот, сказало «здрате».

Я вытащил из кармана визитную карточку и отдал ему. С минуту он смотрел на нее, держа в вытянутой руке, словно опасаясь, что она плюнет ему в глаза, потом повернул обратной стороной и долго смотрел на обратную сторону, пока не утвердился в мысли, что она пуста. Тогда он положил руку с карточкой на живот и стал смотреть на меня.

— Большой конец вы отмахали, — сказал он.

— Это точно, — сказал я.

— Зачем пожаловали?

— Узнать, что тут происходит со

школой.

— Отмахали такой конец, — сказал он, — чтобы совать нос не в свое дело.

— Это точно, — радостно согласился я, — но мой начальник смотрит на это по-другому.

— А ему какое дело?

— Никакого, — сказал я. — Но раз уж я отмахал такой конец, что там за волынка со школой?

— Это не мое дело. Я — шериф.

— Хорошо, шериф, — сказал я, — а чье это дело?

— Тех, кто им занимается. Когда не лезут всякие посторонние и не путаются под ногами.

— А кто это те?

– Совет, – ответил шериф, – окружной совет, который выбрали избиратели, чтобы он занимался своим делом и гнал в шею всяких посторонних.

– Ну да, конечно. Совет. А кто в совете?

Маленькие глазки шерифа мигнули раза два, и он сказал:

– Вас надо забрать в участок за бродяжничество.

– Идет, – сказал я. – А «Кроникл» пришлет другого, чтобы написать про мой арест, и, когда его тоже прихватят, «Кроникл» пошлет еще одного, и так далее, пока вы не пересажаете нас всех. Но это может попасть в газеты.

Шериф лежал, и глазки на его большом круглом лице мигали. Может быть, я ничего и не сказал. Может, меня и не было.

— Кто в совете? Или они скрываются?

— Один из них сидит вот тут, — сказал шериф и катнул свою большую круглую башку по плечам, чтобы указать на одного из соседей. Голова откатилась на место, пальцы выпустили мою карточку, которая упала на пол, кружась в слабой струе вентилятора, глазки снова мигнули, и он как будто погрузился на дно илистого водоема. Он сделал все, что мог, и отпасовал мяч партнеру.

— Вы член совета? — спросил я

соседа, на которого было указано. Это был просто сосед, созданный богом по своему образу и подобию: в белой рубашке, черной бабочке на резинках и джинсах с плетеными подтяжками. Город – выше пояса, деревня – ниже пояса. Оба голоса наши.

– Ага, – сказал он.

– Он у нас главный, – почтительно заметил другой сосед, старый выскочка с лысым бугристым черепом и лицом, которого он сам не мог вспомнить от одного бритья до другого, – из тех сморчков, которые крутятся под ногами и садятся на стул, если большие люди оставят его свободным, и пытаются вылезти на

таких вот замечаниях.

— Вы председатель? — спросил я первого соседа.

— Да, — ответил он.

— Не откажетесь сообщить мне свое имя?

— А чего скрывать? Дольф Пилсбери.

— Рад познакомиться, мистер Пилсбери, — сказал я и протянул ему руку. Не поднимаясь, он взял ее так, словно ему подали рабочий конец мокасиновой змеи в период линьки.

— Мистер Пилсбери, — сказал я, — в силу своего положения вы, безусловно, осведомлены о ситуации, связанной с заключением контракта на постройку школы. Вы,

несомненно, заинтересованы в том, чтобы правда об этой ситуации стала достоянием общественности.

– Тут нет никакой ситуации, – ответил м-р Пилсбери.

– Ситуации, может, и нет, – сказал я, – зато жульничество налицо.

– Нет тут никакой ситуации. Совет собирается и принимает смету, которая ему представлена. Смету Д.Х.Мура.

– Смета этого Д.Х.Мура – низкая смета?

– Не совсем.

– Иначе говоря, не низкая?

– Ну, – сказал м-р Пилсбери, и по лицу его пробежала тень, которую

можно было приписать рези в кишечнике. — Если хотите, можно и так сказать.

— Прекрасно, так и запишем.

— Извиняюсь, — тень исчезла с лица м-ра Пилсбери, и он выпрямился на стуле так порывисто, как будто его укололи булавкой. — Вы вот ведете такие разговоры, а у нас все делается по закону. Никто не может указывать совету, какую смету ему принять. Всякий может принести свою грошовую смету, но принимать ее совет не обязан. Нет, сэр. Совет договаривается с тем, кто может хорошо выполнить работы.

— А кто это приносил грошовую смету?

— Есть такой Джеферс, — проворчал м-р Пилсбери, словно это имя пробуждало у него неприятные воспоминания.

— Компания «Джеферс констракшн»? — спросил я.

— Да.

— Чем же не подошла вам «Джеферс констракшн»?

— Совет выбирает того подрядчика, который может хорошо выполнить работы, и всех остальных это не касается.

Я вынул карандаш и набросал кое-что в блокноте. Потом сказал м-ру Пилсбери:

— Вот, послушайте. — И начал читать: — «Мистер Дольф Пилсбери,

председатель совета округа Мейзон, заявил, что подряд на строительство школы округа Мейзон отдан Д.Х.Муру, несмотря на то, что его проект не является экономичным, ибо совету нужен такой подрядчик, «который может хорошо выполнить работы». Как заявил мистер Пилсбери, экономичный проект, представленный компанией «Джеферс констракшн», был отвергнут. Мистер Пилсбери заявил также...»

– Извиняюсь... – м-р Пилсбери сидел очень прямо, но не как на булавке, а как на раскаленном пятаке, – извиняюсь! Ничего я не заявлял. Вы тут написали и говорите, что я

заявлял. Извиняюсь, но...

Шериф грузно повернулся в кресле и уставился на м-ра Пилсбери.

— Дольф, скажи этому лопуху, чтобы катился отсюда.

— Ничего я не заявлял, — сказал Дольф, — и катитесь отсюда.

— Сейчас, — ответил я и спрятал блокнот в карман. — Но не будете ли вы так добры сказать мне, где сидит Старк?

— Так я и знал, — взорвался шериф и, опустив ноги на пол с грохотом рухнувшей печной трубы, впился в меня апоплексическим взглядом. — Это Старк, так я и знал, что Старк!

– Чем вам насолил Старк? – спросил я.

– Господи боже мой! – взревел шериф, и лицо его побагровело от невозможности извергнуть слова, скопившиеся в организме.

– Чванится он, вот что, – высказался м-р Дольф Пилсбери. – Пролез в казначеи и чванится.

– Он – негритянский прихвостень, – почтительно вставил старый, лысый шишкоголовый сморчок.

– И он, и он, – в озарении указал на меня м-р Пилсбери, – он тоже негритянский прихвостень. Бьюсь об заклад...

– Зря, – сказал я, – пальцем в

небо. Но раз уж вы подняли этот вопрос, при чем тут симпатии к неграм?

– То-то и оно! – воскликнул м-р Пилсбери, как человек за бортом, поймавший спасительную доску. – «Джеферс констракшн» как раз и...

– Ты, Дольф, – рявкнул на него шериф, – заткнись наконец и скажи ему, чтобы катился отсюда.

– Катитесь отсюда, – сказал м-р Пилсбери послушно, но без особой энергии.

– Сейчас, – ответил я и вышел в вестибюль.

Они нереальны, думал я, шагая по вестибюлю, все до одного. Но я знал, что они реальны. Вы

приезжаете в незнакомое место, такое, как Мейзон-Сити, и они кажутся нереальными, но вы знаете, что это не так. Вы знаете, что они были пацанами и лазили босиком в ручей, а когда подросли, выходили на закате во двор и смотрели, прислонившись к изгороди, на поле и на небо, не зная, что творится у них в душе, грустны они или счастливы, а потом они выросли и спали со своими женами, щекотали детишек, чтобы рассмешить их, уходили утром на работу и не знали, чего хотят, но знали, почему поступают так, а не иначе, и хотели поступать по-хорошему, потому что доводы в пользу этих поступков всегда были

хорошие, а потом, состарившись и забыв обо всяких доводах, перестав совершать поступки, они сидят на лавочке перед шорной мастерской и облакают в слова доводы и поступки других людей, уже забыв о смысле этих доводов и поступков. И в одно прекрасное утро они будут лежать на кровати и смотреть в потолок, почти не видя его, потому что лампа прикрыта газетой, и не узнают лиц, склонившихся над кроватью, потому что комната полна дыма или тумана, от которого режет глаза и перехватывает горло. Да, они реальны, ничего не скажешь, и, может быть, потому кажутся вам нереальными, что сами вы не очень

реальны.

К этому времени я очутился перед дверью в конце коридора и, поглядев на очередную жестяную табличку, понял, что это и есть одноместный лепрозорий города Мейзон-Сити.

Прокаженный сидел в комнате один как перст и ничего не делал. Некому было посидеть с ним под вентилятором, поболтать, поплевать на пол.

— Привет, — сказал я, и он посмотрел на меня, как на привидение, разговаривающее по-иностранному. Ответил он не сразу, и мне подумалось, что он одичал вроде тех людей, которые проводят

двадцать лет на необитаемом острове, — когда к берегу подваливает баркас и веселая матросня выпрыгивает на песок и спрашивает, черт подери, откуда он взялся, он не может произнести ни слова — до того закоснел его язык.

Правда, Вилли был не так плох и в конце концов ухитрился ответить на приветствие, сказать, что помнит, как мы познакомились у Слейда несколько месяцев назад, и спросить, чего мне нужно. Я объяснил ему, он улыбнулся, скорее тоскливо, чем радостно, и спросил, зачем мне это нужно знать.

— Редактор велел разобраться, — ответил я, — а зачем ему это нужно —

один бог знает. Затем, наверно, что это – хороший материал.

Ответ как будто удовлетворил его. Поэтому я не стал рассказывать, что, помимо моего главного редактора, существовал еще целый мир высоких причин – для такой мелкой сошки, как я, это был мир трепещущих прозрачных крыльев, тихих ангельских голосов, не всегда мне понятных, – мир астральных влияний.

– Да, пожалуй, хороший, – согласился Вилли.

– Что тут у вас происходит?

– Могу рассказать, – ответил он.

Он начал рассказывать, а кончил рассказывать часов в одиннадцать

вечера, когда Люси Старк, уложив сына спать, уже сидела с нами в гостиной папиного дома, где мне было предложено заночевать, где он и Люси проводили лето и собирались провести зиму, потому что Люси выгнали из школы перед началом учебного года и не было причин оставаться в городе, платить большие деньги за комнату. И судя по всему, была еще одна причина, почему у них не было причин оставаться в городе: приближались перевыборы, а шансы Вилли равнялись примерно шансам блохи прокормиться мраморным львом у подъезда. Как выяснилось, он и место получил только потому, что Дольф Пилсбери, председатель

окружного совета, приходился седьмой водой на киселе деду Старку – то ли со стороны жены, то ли с другой какой – и вдобавок не поладил с другим человеком, который хотел стать казначеем. Пилсбери хозяйничал в округе на пару с шерифом, а Вилли сидел у него в печенках. И теперь его должны были выгнать, как уже выгнали Люси.

– А мне все равно, – сказала Люси Старк. Она сидела с нами, шила у лампы за столом, на котором лежали большая Библия и альбом в плюшевом переплете. – Все равно, пусть не дают работать. Я проработала шесть лет, если считать

тот семестр, когда у меня на руках был маленький Томми, и никто никогда слова против меня не сказал, а теперь они пишут в письме, что на меня много жалоб и я не сработалась с коллективом.

Она подняла свое шитье и откусила нитку, как всегда делают женщины, если хотят, чтобы у вас по спине поползли мурашки. Когда она наклонилась, свет лампы упал на ее голову, загорелся рыжим в каштановых волосах, которых не смогли окончательно спалить щипцы парикмахера во вновь открытом салоне красоты города Мейзон. Рыжий блеск еще жил в них, но смотреть на них было обидно. Ей

было в ту пору лет двадцать пять, по обликом она напоминала девушку: и тонкой, стройной талией, которая переходила в приятные, не постные бедра, и узкими лодыжками, скрещенными перед креслом, и спокойным, мягким девичьим овалом лица, и большими темно-кариими глазами, которые наводили на мысли о задушевном разговоре в сумерках перед калиткой старой усадьбы, где у забора цветет сирень. Но на волосы ее, коротко обрезанные и мелко завитые по тогдашней моде, смотреть было обидно, потому что такое лицо требовало иного обрамления: густых и длинных сумрачно-блестящих локонов,

перепутанных на белоснежной подушке. Они, наверно, и были густые – до этого надругательства.

– А мне все равно, – сказала она, подняв голову. – Я не хочу преподавать в школе, которую строят для того, чтобы кто-то мог на этом нажиться. А Вилли не хочет быть казначеем, если надо иметь дело с такими бесчестными людьми.

– Я буду баллотироваться, – угрюмо сказал Вилли, – они меня не остановят.

– Ты сможешь гораздо основательнее заняться правом, если не будешь сидеть все время в городе.

– Я буду баллотироваться, – повторил он и тряхнул головой,

чтобы откинуть со лба волосы. — Я буду баллотироваться, — повторил он еще раз, словно говоря не с Люси и не со мной, а со всем белым светом, — даже если ни одного голоса не соберу.

И точно, когда подошел срок, Вилли выставил свою кандидатуру; собрал он больше одного голоса, но ненамного больше, и Пилсбери со своими дружками выиграл этот забег. Человек, которого выбрали вместо Вилли, повесил шляпу в своей конторе не раньше, чем подписал аванс Д.Х.Муру. И Д.Х.Мур построил школу. Но об этом речь впереди.

Вилли же рассказал мне такую историю: компания «Джеферс

констракшн» представила экономичную смету на 142 тысячи долларов. Однако существовали еще два проекта, стоимостью выше этой, но ниже цифры Мура, которая составляла 165 тысяч с гаком. И вот, когда Вилли поднял скандал из-за Мура, Пилсбери зашумел насчет негров. Джеферс был крупный подрядчик с Юга, и в некоторых его бригадах работало много негров — каменщиков, штукатуров, плотников. Пилсбери поднял вой, что Джеферс навезет сюда негров (а Мейзон, как я уже говорил, крестьянский округ) и, что еще хуже, негры, как квалифицированные рабочие, будут получать больше, чем местные,

которых наймут на стройку. Пилсбери трудился в поте лица.

Труды его не пропали даром: все в округе позабыли и о том, что, помимо проектов Мура и Джеферса, существуют два других, и о том, что у Пилсбери есть шурин, у которого есть кирпичный завод, в котором у Мура есть доля, и о том, что совсем недавно большая партия кирпича была забракована строительным инспектором штата, и было судебное разбирательство, и было ясно как божий день, что кирпичи этого самого завода лягут в стены школы. На заводе Мура и шурина Пилсбери работали заключенные, и обходились они дешево, потому что у шурина

были хорошие связи в штате. Связи эти, как я узнал позднее, были настолько хорошие, что строительный инспектор, забраковавший кирпич, вылетел с работы. Но была ли тут виной его честность или просто недостаточная осведомленность, я так и не выяснил.

В борьбе с Пилсбери и шерифом Вилли не добился успеха. Существовала фракция противников Пилсбери, но она была малочисленна, и Вилли не прибавил ей популярности. Он выходил из дому, ловил за пуговицу прохожих и пытался объяснить им что к чему. Вы могли его встретить где-нибудь на

углу в пропотевшем насквозь бумажном полосатом костюме, с чубом, упавшим на глаза, с карандашом в руке и старым конвертом, на котором он писал цифры, объясняя, из-за чего разгорелся сыр-бор; но люди не будут вас слушать, если ваш голос терпелив и тих, если вы держите их на солнцепеке и заставляете заниматься арифметикой. Вилли хотел, чтобы об этом деле высказался «Вестник округа Мейзон», но газета отказалась. Тогда он составил длинное заявление об этой возне со сметами и в виде листовок хотел отпечатать за свой счет в типографии газеты, но типография тоже

отказалась. Тогда он поехал в столицу штата и отпечатал их там. Он вернулся с листовками, нанял двух мальчишек, и они стали разносить листовки по домам. Но одному мальчику это запретили родители, а другого, которому никто не запрещал, избили какие-то большие ребята.

И Вилли разносил их сам по всему городу, он ходил от дома к дому со старым школьным ранцем, стучал в дверь и, когда появлялась хозяйка, вежливо приподнимал шляпу. Но чаще всего хозяйка не появлялась. За окнами слышался шорох занавесок, но никто не появлялся. Вилли совал листок под

дверь и шел к следующему дому. Обработав Мейзон-Сити, он стал разносить листовки по Тайри, другому городку округа, а потом занялся придорожными поселками.

Избирателей он не поколебал. Казначеем выбрали другого. Д.Х.Мур построил школу, и ремонт ей потребовался раньше, чем успела просохнуть краска. Вилли остался без работы. Пилсбери и его друзья, конечно, получили мзду от Мура и думать забыли об этой истории. Вернее, забыли на три года, после чего и начались их беды.

Тем временем Вилли жил на отцовской ферме, возился по хозяйству или, чтобы подзаработать

денег, торговал вразнос патентованными наборами «Почини сам»: снова ходил от двери к двери, ездил из поселка в поселок на своей старой машине, заворачивал по дороге на фермы, стучался, приподнимал шляпу, показывал женщине, как починить кастрюлю. А по ночам сидел за книгами, готовясь к экзаменам на адвоката.

Но до всего этого Вилли, Люси и я сидели ночью в гостиной, и Вилли сказал:

– Они хотели перешагнуть через меня. Думали, я на все пойду, если мне прикажут. Они хотели переступить через меня, как через лужу.

И, опустив шитье на колени, Люси ответила:

– Но ты же сам не хочешь иметь с ними дела, правда, милый? Теперь, когда ты знаешь наверняка, что они бесчестные люди и жулики.

– Они хотели через меня перешагнуть, – угрюмо повторил он, тяжело завозившись в кресле. – Как через лужу.

– Вилли, – сказала она, слегка подавшись к нему, – они все равно были бы жуликами, даже если бы не хотели через тебя переступить.

Он ее не слушал.

– Они все равно были бы жуликами, правда? – повторила она мягко, но настойчиво, как

разговаривала, наверно, в классе. Она смотрела на лицо Вилли, но это лицо было обращено не к ней и не ко мне, а к пространству, словно он не ее слушал, а какой-то другой голос или сигнал, звучащий в темноте за шторой открытого окна.

— Правда? — спросила она, возвращая его назад, в комнату, в круг мягкого света на столе, где лежали большая Библия и плюшевый альбом. Лампа была в виде фарфоровой вазы, разрисованной букетиками фиалок.

— Правда? — спросила она, и я поймал себя на том, что прислушиваюсь к сухому, маниакально-убедительному треску полевых сверчков в траве.

— Конечно, конечно, жулики, — ответил он наконец и раздраженно заерзал в кресле, как человек, которому помешали думать.

Затем он снова погрузился в свои мысли.

Люси поглядела на меня, вскинув голову по-птичьи, резко и уверенно, словно она мне что-то доказала. Отсвет круга на столе падал на ее лицо, и при желании я мог бы подумать, что этот свет исходит от нее самой — ровное, нежное фосфоресцирование ее духовной сущности.

Естественно: Люси была женщина и поэтому, наверно, была прекрасна, как все женщины. Она

посмотрела на меня, и на лице ее было написано: «Вот видите, я же вам говорила». Вилли сидел сам по себе. Глаза его смотрели в даль, которая была не далью, а, если можно так выразиться, просто им самим.

Люси шила и разговаривала со мной, не поднимая глаз от шитья; Вилли встал и начал расхаживать по комнате, чуб свесился ему на глаза. Мы с Люси разговаривали, а он ходил. Это хождение взад-вперед начинало раздражать. Наконец Люси оторвалась от шитья и сказала: «Милый...»

Вилли обернулся к ней; чуб на лбу придавал ему сходство с

норовистой лошадью, когда ее загонят в угол, а она, пригнув голову с растрепанной челкой, следит дикими и хитрыми глазами, как вы подступаете к ней с недоуздком, и готовится задать стрекача.

— Сядь, милый, — сказала Люси, — ты действуешь мне на нервы. Ты совсем как Томми, минуты не посидишь на месте. — Она засмеялась, а Вилли с виноватой улыбкой подошел к столу и сел.

Она была чудесная женщина, и ему повезло, что он ее встретил.

Но, с другой стороны, ему повезло, что он встретил шерифа и Дольфа Пилсбери, ибо они, сами того не зная, оказали ему услугу. В то

время он не знал, как ему с ними повезло. А может быть, какая-то главная часть его существа знала это с самого начала, только не успела сообщить другим, второстепенным частям. А может быть, такие люди, как Вилли, рождаются вне удачи, и удача, которая делает вас и меня тем, что мы есть, не имеет к ним никакого отношения, ибо они остаются сами собой с тех пор, как впервые завозятся в материнском чреве, и до самой смерти. А если так, то жизнь их — история открытия самого себя, а не так, как у нас с вами, — процесс превращения в то, что делает из нас случай. И если так, то встреча с Люси не была его

удачей. Или неудачей. Люси была лишь частью того окружения, в котором раскрывался истинный характер Вилли.

Но, грубо говоря, с шерифом и Пилсбери ему все же повезло. Я этого не понимал, когда мы сидели вечером в папиной гостиной, не понимал и тогда, когда вернулся в город, чтобы сдать Джиму Медисону свою статью. А вскоре Вилли стал фигурировать на страницах «Кроникл» в роли героического мальчика на пылающей палубе, мальчика, который заткнул плотину пальцем, мальчика, который отвечает: «Готов», когда Долг тихо шепчет ему: «Ты должен».

«Кроникл» печатала все больше и больше статей о коррупции в окружных советах нашего штата. Чистым пальцем презрения и праведного гнева водила она по всей карте. И тут я начал улавливать смысл того, что творилось в высях над столом Джима Медисона, ощущать трепыханье прозрачных легких крыл и флейтовые переливы ангельских голосов. А именно: счастливая гармония государственной машины штата была делом прошлым, и «Кроникл», став в строй недовольных, долбила окружной фундамент этой машины. Она еще только начинала, прощупывала почву, ставила

декорации, вешала задник для настоящего представления. Это было не так трудно, как может показаться. Обычно у деревенских ребят из окружных советов хватает сметки; они знают все ходы и выходы, и их не просто поймать за руку; но машина слишком долго работала без серьезного противодействия, и эта легкость развратила их. Они забыли об осторожности. Вот почему «Кроникл» делала хорошие сборы.

И лучшим ее экспонатом был округ Мейзон. Благодаря Вилли. Этой грязной истории он сообщил элемент драматизма. Выражаясь фигурально, он стал глашатаем косноязычной массы честных

граждан. Когда он провалился на окружных выборах, «Кроникл» напечатала его фотографию с подписью: ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРИТ. Ниже шло его заявление, которое я привез из второй поездки в Мейзон-Сити, после того как кончились выборы и Вилли потерял место. Заявление было такое:

«Да, они своего добились, работа была чистая, этого у них не отнимешь. Я возвращаюсь на отцовскую ферму, буду доить коров и дальше заниматься правом — думаю, что оно мне еще очень пригодится. Но я по-прежнему верю в людей округа Мейзон. Правда возьмет свое».

Я отправился туда послушать, что он скажет, но на ферму мне ехать не пришлось. Я столкнулся с ним на улице. Он строил ограду, сломал тали для натягивания проволоки и приехал в город за новыми. На нем была старая черная фетровая шляпа и слишком широкий в шагу комбинезон, который делал его похожим на малыша в больших, не по росту ползунках.

Мы пошли в аптеку и выпили кока-колы. Там, у стойки с газированной водой, я положил перед Вилли рядом с его старой шляпой мой блокнот и дал ему карандаш. Он послунил кончик, глаза его остекленели, будто он

собирался делать сложение на грифельной доске, и, привалившись к мраморной стойке в своих просторных штанах, он написал это заявление большими круглыми каракулями.

— Как поживает Люси? — спросил я.

— Прекрасно, — ответил он. — Ей там очень нравится, и папе с ней не скучно.

— Это прекрасно, — сказал я.

— И мне неплохо, — добавил он, глядя не на меня, а на свое отражение в большом зеркале над стойкой. — Все к лучшему. — Вилли опять посмотрел на свое лицо в зеркале; полное, веснушчатое,

тонкокожее, оно было ясно и безмятежно под всклокоченным чубом, как лицо путника, который одолел последний подъем и смотрит вниз на дорогу, бегущую прямо к месту его назначения.

Как я уже говорил, если к человеку, подобному Вилли, применимо понятие удачи, то шериф и Дольф Пилсбери были для него сущей находкой. Они обошли его и отдали подряд Д.Х.Муру. Д.Х.Мур использовал кирпич родственника Пилсбери. Школа получилась самая обыкновенная – большая кирпичная коробка с пожарными лестницами по бокам. Лестницы были не из тех, что

похожи на силосную башню с винтовым скатом, по которому дети съезжают на задуг. Это были прямые железные лестницы, прикрепленные к наружным стенам.

Никакого пожара в школе не было. Была просто учебная тревога.

Это случилось через два года после постройки. Была учебная тревога, и ребята с верхних этажей полезли на пожарные лестницы. В западном крыле, первыми вылезли на лестницу самые младшие, и они не умели быстро спускаться по перекладинам. За ними пошли большие ребята из седьмых и восьмых классов. Маленькие задерживали движение, поэтому

лестница и железная площадка наверху были забиты детьми. Кладка не выдержала, болты, крепившие лестницу к стене, вырвало, и сооружение завалилось, раскидав ребят во все стороны.

Трое были убиты на месте. Они упали на бетонную дорожку. Десять или двенадцать сильно расшиблись, и некоторые из них остались калеками на всю жизнь.

Для Вилли это было большой удачей.

Но он не пытался на ней сыграть. Ему и не нужно было пытаться. Люди сами поняли что к чему. Вилли пошел на похороны троих ребятешек, устроенные

городом, и скромно стоял позади. Но старый мистер Сандин, отец одного из них, заметил его в толпе, и не успел еще заглухнуть стук комьев по крышкам гробов, а он уже протолкался к Вилли, схватил его за рукав и, подняв руку над головой, закричал: «О господи, я наказан за то, что мирился с подлостью и голосовал против честного человека».

Это произвело фурор. Женщины начали плакать. К Вилли подходили другие люди и хватали его за руки.

Вскоре плакала уже вся толпа. У самого Вилли глаза тоже были на мокром месте.

Для Вилли это было удачей. Но

удача всегда приходит к тому, кто в ней не нуждается.

Округ Мейзон упал ему прямо в руки. Все столичные газеты печатали его фотографии. Но он держался в тени. Он по-прежнему работал на отцовской ферме, а по ночам изучал юридические науки. Его политическая деятельность ограничивалась тем, что он иногда выступал с речью на предвыборных собраниях демократов, поддерживая человека, который был соперником тогдашнего конгрессмена, старого приятеля Пилсбери. Ничего интересного не было в его речах, по крайней мере в той, которую я слышал. Но этого и не требовалось.

Люди их не слушали. Они приходили просто взглянуть на Вилли и похлопать ему, а потом голосовали против приятеля Пилсбери.

В одно прекрасное утро Вилли проснулся кандидатом в губернаторы. Вернее, одним из тех, кто баллотировался в кандидаты от демократической партии, а в нашем штате это все равно что баллотироваться в губернаторы.

Конечно, баллотироваться в губернаторы не бог весть какое достижение. Каждый, кто мог наскрести несколько долларов на квалификационный взнос, имел право выставить свою кандидатуру и полюбоваться на свою фамилию в

избирательном бюллетене. Но с Вилли дело обстояло несколько иначе.

В нашем штате демократы разбились на две основные фракции – Джо Гарисона и Макмерфи. Джо Гарисон был губернатором раньше, а Макмерфи – теперь и хотел остаться на этом посту. Гарисона, человека городского, поддерживали практически только крупные города. Макмерфи тоже нельзя было назвать человеком от сохи, потому что он родился и вырос в Дюбуасвилле, довольно большом городе, тысяч на девяносто, но за ним стояли сельские местности и маленькие города. Он ловко заигрывал с

провинцией и получал ее голоса. Шансы были примерно равные. Это обстоятельство и вернуло Вилли к политической жизни.

Кого-то из команды Гарисона осенила мысль — видит бог, не очень свежая, — выдвинуть еще одного кандидата, пешку, которая отобрала бы у Макмерфи часть голосов. Для этого требовался человек, популярный в провинции. Таким был Вилли, за которым многие шли на севере штата. Выяснилось, что ему даже не предлагали никакой сделки. В Мейзон-Сити к нему приехали на прекрасной машине несколько столичных джентльменов в полосатых брюках. Один из них был

м-р Дафи, Крошка Дафи, успевший сильно прибавить в весе со времени их знакомства в пивной у Слейда. Столичные джентльмены убедили Вилли, что он спаситель штата. Надо полагать, что, как всякий нормальный человек, Вилли был не лишен здоровой подозрительности и осторожности, но эти свойства склонны улетучиваться, когда вам говорят то, что вы хотите услышать. К тому же здесь был затронут божественный вопрос. Люди поговаривали, что в истории со школой видна рука божья. Что бог, дескать, заступился за Вилли. Бог его поддержал. По обычным понятиям Вилли не был религиозен, но

история со школой, возможно, поселила в нем мысль, которую разделяли многие из его сограждан, что он находится в особых отношениях с Богом, Судьбой или просто Удачей. Неважно, каким словом вы это называете и ходите ли вы в церковь. А поскольку пути господни неисповедимы, Вилли, должно быть, не очень удивился тому, что Он избрал своим орудием толстых людей в полосатых брюках и в большом лимузине. Бог взывал к Вилли, а Крошка Дафи был богато одетым рассыльным на «кадиллаке» вместо велосипеда — не более. И Вилли расписался на повестке.

Вилли был готов к заезду. Теперь

он был адвокатом. И довольно давно, потому что, не пройдя в казначеи, он всерьез взялся за книги и тратил на них все время, остававшееся после работы на ферме и торговли патентованными наборами. Он сидел у себя в комнате летними ночами и, преодолевая сон, пережевывал страницу за страницей, а мотыльки трепыхались в занавесках и летели к огню керосиновой лампы, тихо сопевшей на столе. Он сидел, склонясь над книгой, зимними ночами, когда дотлевали угли в ржавой временке и ветер, прилетев из-за тысячи миль темноты, колотился в северную стену, тряс рамы. В свое время, задолго до того,

как он встретился с Люси, Вилли проучился год в баптистском колледже города Марстона, в соседнем округе. Колледж этот немногим отличался от простой начальной школы, но там Вилли узнал великие имена, записанные в толстых книгах. Запомнив эти имена, он ушел из колледжа, потому что денег у него не было. Потом началась война, он потел на войну и проторчал все время в лагере, где-то в Оклахоме, чувствуя, что его надули, что он упустил свой случай. А после войны — работа на отцовской ферме и чтение книг по ночам — не юридических книг, а всяких, какие удавалось достать. Он хотел узнать

историю страны. Был у него учебник из колледжа, большой и толстый. Много лет спустя, показывая его мне и тыча в обложку пальцем, он сказал: «Я чуть не наизусть выучил эту чертову книжку. Я могу назвать любое имя. Я могу назвать любую дату». И, снова потыкав в нее пальцем, уже с презрением добавил: «А малый, который написал ее, ни шиша не знал про прежнюю жизнь. Ни шиша он не знал. Потому что прежняя жизнь и теперешняя — одно и то же. Куча мала — и кто кого подомнет». И были еще великие имена. Была записная книжка — гроссбук в матерчатом переплете, куда он выписывал мудрые изречения

и мудрые мысли, вычитанные из книг. Он показал мне и ее; и пока я рассеянно листал страницы с цитатами из Эмерсона, Маколея, Бенджамина Франклина и Шекспира, исписанные корявым детским почерком, он продолжал все с тем же добродушным презрением: «Хм, тогда я думал, что ребята, которые писали эти книжки, знают все на свете. И думал: стоит попотеть, чтобы подзанять у них этого знания. Да, попотею, — думал, — но урву сколько можно. — Он засмеялся. И добавил: — Да, я много о себе воображал».

Он хотел урвать от всего на свете. Но все кончилось

юриспруденцией. Появилась Люси, мальчик Том, а затем была работа, казначейство, но право он все же изучил. Ему помогал старый адвокат из Тайри — давал книги, объяснял непонятное. На это ушло три года. Если бы он захотел просто сдать экзамены, лишь бы сдать, то мог бы стать адвокатом гораздо раньше, ибо тогда, да и сейчас, если на то пошло, не нужно было большого ума, чтобы стать адвокатом. «Ну и дурак же я был, — сказал мне однажды Вилли, — я и в самом деле верил, что надо учить всю эту дрянь. Я думал, они всерьез хотят, чтобы ты знал право. Черт, я пришел на экзамен, поглядел на их вопросы и чуть не лопнул со

смеху. Надо же было сидеть, корпеть над книгами — и получить эти паршивые вопросыки. Самый зачуханный негр ответил бы на них, если бы умел писать. Если бы я в свое время удосужился как следует поглядеть на знакомых юристов, я давно бы понял, что эти экзамены сдаст слабоумный. Но нет, я сидел как дурак и зубрил право». Он засмеялся и, оборвав смех, сказал с оттенком горечи, которая осталась, наверно, от тех долгих ночей, когда он наклонялся над временкой или слушал в августовской темноте шорох мотыльков за занавеской: «Что ж, я выучил право. Я мог подождать». Он умел ждать. Он прочел книги старого

адвоката из Тайри и стал покупать новые, посылая по почте деньги, которые заработал трупом на ферме или продажей патентованных наборов. Наконец пришло время, и, надев выходной костюм из синей диагонали с лоснящимся задом, он сел на поезд и поехал в столицу на экзамены. Ему пришлось подождать, но он действительно знал все, что было в книгах.

Он стал адвокатом. Теперь он мог повесить на гвоздь комбинезон, залубенелый от пота. Он мог снять комнату над мануфактурной лавкой в Мейзоне, назвать ее конторой и ждать, пока кто-нибудь взойдет по лестнице, затхлой, как внутренности

старого сундука, простоявшего на чердаке двадцать лет, и такой темной, что надо было пробираться ощупью. Теперь он стал адвокатом, но на это ушло много лет. Ушло много лет, потому что он должен был стать адвокатом безоговорочно, на своих условиях. Теперь это было позади. Но, может быть, он слишком долго ждал. Если ждешь чего-то слишком долго, с тобой что-то происходит. Ты становишься тем и только тем, чем хотел стать, и ничем больше, ибо заплатил за это слишком дорогой ценой — слишком долгим ожиданием, слишком долгой жаждой, слишком долгими усилиями. А под конец тебе задают

паршивые вопросы.

Но теперь ожидание и жажда кончились, и Вилли постригся, приобрел новую шляпу, новый портфель, куда был положен текст его речи (он написал ее полностью и прочел Люси с жестами и выражением, словно готовясь к школьному диспуту), много новых друзей с обвислыми синими щеками и острыми белыми носами, и друзья хлопали его по спине, а один из них, руководитель предвыборной кампании Крошка Дафи, представляя его, лучезарно улыбался и говорил: «Познакомьтесь с Вилли Старком, будущим губернатором штата». И Вилли подавал руку с важностью

епископа. Он ни о чем не догадывался.

Я часто себя спрашивал: как мог он дойти до жизни такой? Если бы он баллотировался в свой окружной совет, он бы таким не был. Он взглянул бы на вещи трезво и подсчитал свои шансы. Или если бы он баллотировался в губернаторы на свой страх и риск, он тоже не терял бы здравого смысла. Но тут было другое. Он был призван. Он услышал глас. Он увидел свет. И это слегка потрясло его. Кажется невероятным, чтобы он, взглянув на Крошку Дафи и новых друзей, не сообразил, что тут не все чисто. Но в сущности, как я понял, здесь не было ничего

невероятного. Ибо голос Крошки Дафи, призвавший его, был лишь эхом уверенности и слепого стремления, которые жили в нем и заставляли сидеть наверху ночь за ночью, растирая слипающиеся глаза, выписывать мудрые фразы и мудрые мысли в гроссбух и с неистовым, почти физическим напряжением вчитываться в пожелтелые страницы старых юридических книг. Для него не внять голосу Крошки Дафи было так же немыслимо, как святому послушаться божественных голосов в ночи.

Он почти потерял контакт с действительностью. Он был зачарован не только голосом

Крошки. Он был зачарован величию
должности, на которую посягал.
Исходившее от нее сияние ослепило
его. В конце концов он только что
вышел из темноты, оттуда, где он
целыми днями возился в земле,
никого не видя, кроме родных (да и
среди них он ходил, наверно, так,
словно они были тенью), а по ночам
сидел в своей комнате за книгами,
изнывая от труда и беспросветного
ожидания. Немудрено, что он ослеп
от этого блеска.

Конечно, он кое-что знал о
человеческой природе. Он
достаточно долго просидел в
окружном совете, чтобы узнать о
некоторых ее сторонах. (Правильно,

он там не удержался. Но не оттого, что не понимал человеческую природу. Он, возможно, знал не вообще человеческую природу, а именно свою природу – нечто более глубокое и важное, чем вопрос правоты и неправоты. Он принял муку, не по неведению и не только за правое дело, но за некое самосознание, идущее дальше правоты и неправоты.) Да, по-своему он знал человеческую природу, но что-то встало между ним и этим знанием. В каком-то смысле он ее приукрашивал. Он полагал, что другие также ошеломлены величию и ослеплены блеском должности, к которой он стремится, и будут

прислушиваться лишь к речам, столь же возвышенным и блестящим. И речи его были скроены по этой мерке. Они представляли собой дикую мешанину фактов и цифр, с одной стороны (его налоговая программа, его дорожная программа), и возвышенных чувств — с другой (приглушенное временем эхо цитат, записанных детским корявым почерком в грессбухе).

Вилли колесил по штату в хорошем подержанном автомобиле, купленном в рассрочку на восемнадцать взносов, и видел свое лицо на плакатах, прибитых к заборам, телефонным столбам и стенам сараев. Приехав в город, он

наведывался на почту – узнать, нет ли письма от Люси, шел на встречу с местными политиками и, покончив с непременными рукопожатиями (тут он бывал не особенно ретив – чересчур много разговоров о принципах и слабовато по части обещаний), забирался в номер гостиницы (2 долл. без ванной) и принимался дорабатывать очередную речь. Он оттачивал и отшлифовывал это сокровище. Он во что бы то ни стало хотел сделать из каждой вторую геттисбергскую речь^[6]. Навозившись с ней всласть, он вставал и начинал расхаживать по комнате. Расхаживал, расхаживал и вдруг начинал свою речь

произносить. Попав случайно в соседний номер, вы слышали, как он расхаживает и декламирует, а когда хождение прекращалось, знали, что он встал перед зеркалом, дабы отшлифовать жест.

Мне случалось попадать в соседний номер, потому что я должен был освещать его предвыборную кампанию в «Кроникл». Я лежал в ямке посреди кровати, там, где пружины устали от тяжести странствующего человечества, лежал на спине одетый и смотрел в потолок, наблюдая, как медленно поднимается табачный дым и растекается по потолку, словно призрак перевернутого

водопада в замедленной съемке или бледная, неясная душа, выходящая у вас изо рта с последним вздохом, наподобие того, как рисовали себе египтяне, чтобы навсегда покинуть горизонтальное вместилище из праха, одетого в плохо сшитые брюки и жилет. Я лежал там, пуская дым изо рта, не испытывая ничего и только следя за дымом, словно у меня не было ни прошлого, ни будущего, — и вдруг в соседней комнате Вилли принимался за свое. Топанье и бормотанье.

Это был живой укор — и смех и слезы. Знать то, что ты знаешь, и лежать за стеной, слушая, как он собирается стать губернатором, и

запихивая в рот подушку, чтобы не расхохотаться. Несчастный придурок со своими речами. Но голос за стеной все бубнил и бубнил, ноги топали и топали, словно лапы тяжелого зверя, который мечется взад-вперед по запертой комнате или клетке, мотая тяжелой башкой, ища слабины, чтобы вырваться на волю, в свирепой и непримиримой уверенности, что найдется где-то хлипкая доска, или прут, или задвижка — не сейчас, но рано или поздно найдется. И, слушая это, вы теряли уверенность, что доски и прутья выдержат. А ноги не останавливались, они топали как заводные — не человечесьи и не

зверинные, — они били, как перст в ступе, как штемпель в прессе, и в ступе лежали вы — вас занесла туда нелегкая. А песту было все равно, вы или не вы лежите в ступе. Он будет бить, пока ничего от вас не останется, и еще долго после этого — пока не износится машина или кто-нибудь не вырубит ток.

И потому, что вы хотите лежать в сумерках на чужой кровати, следить за сигаретным дымом и ни о чем не думать — ни о том, чем вы были, ни о том, чем станете, — и потому, что ноги, зверь, пест, придурок не останавливаются, вы вскакиваете, садитесь на край кровати и хотите выругаться. Но вы

не ругаетесь. Нет, вы начинаете удивляться, уже чувствуя боль и неуверенность в себе, – что же сидит в этих ногах, что не дает им покоя? Пусть он придурок, пусть он не станет губернатором, пусть никто не захочет слушать его речей, кроме Люси, но он не уймется.

Никто и не слушал его речей, включая меня. Они были ужасны. Они были полны цифр и фактов, которые он собрал, разъезжая по штату. Он говорил: «Теперь, друзья, если вы запасетесь терпением, я сообщу вам цифры», откашливался, шелестел бумажками, и люди потихоньку сползали на стульях, принимались чистить ногти

перочинными ножиками. Если бы Вилли догадался говорить с трибуны так же, как говорил с вами наедине – горячась, сверкая выпученными глазами и подавшись вперед всем телом, точно каждое его слово шло от чистого сердца, – он, может быть, расшевелил бы избирателей. Но куда там – он пытался оправдать свое высокое назначение.

Пока он резвился в своей округе, это не играло большой роли. В памяти у всех была еще свежа история со школой. Господь стоял на стороне этого человека и явил свое знамение. Господь повалил пожарную лестницу специально, чтобы это доказать. Но вскоре Вилли

перебрался в центральную часть штата, и тут у него начались неприятности. Стоило ему приехать в более или менее крупный город, как выяснялось, что людям неинтересно, которая из сторон — господня сторона.

Вилли видел, что происходит, но не понимал почему. Он осунулся, тонкая кожа как будто туже обтянула его лицо, но беспокойства он не проявлял. Это казалось странным. Кто-кто, а Вилли имел основания выглядеть озабоченным. Но не выглядел. Он напоминал человека, который досматривает последний сон перед пробуждением, а на трибуну выходил с просветленным и

благостным лицом, какое бывает у выздоравливающего после тяжелой болезни.

Вилли, однако, не выздоравливал. У него была злокачественная политическая анемия.

Он не мог понять, в чем корень зла.

Так иногда человеку в ознобе кажется, что неожиданно изменилась погода, и он удивляется, почему не трясет всех остальных. И может быть, как раз потребность в простом человеческом тепле создала у него привычку приходить ко мне в номер среди ночи, когда кончались речи и рукопожатия. Он сидел, я выпивал на

сон грядущий свой стаканчик, и мы почти не разговаривали; только раз в Мористауне, где ему был оказан поистине ледяной прием, он, помолчав, вдруг спросил меня:

– Джек, как, по-твоему, идут мои дела?

Это был один из тех мучительных вопросов: «Как вы думаете, жена мне верна?» или: «А вы знаете, что я еврей?» – которые ставят в тупик не потому, что на них трудно ответить правдой или ложью, а потому, что их вообще нельзя задавать. Но я ему ответил:

– Чудесно, по-моему, все идет чудесно.

– Ты правда так думаешь? –

спросил он.

— Конечно, — сказал я.

Он пожевал это с минуту и проглотил. Затем сказал:

— Мне кажется, они сегодня не очень хорошо меня слушали, когда я пытался объяснить мою налоговую программу.

— Может быть, ты слишком много им объясняешь. Это парализует их мозговые клетки.

— Хотя мне кажется, им было бы интересно узнать про налоги, — сказал Вилли.

— Ты слишком много объясняешь. Пообещай, что прижмешь толстых, — и хватит про налоги.

— Нам необходима сбалансированная налоговая система. Сейчас пропорция между подоходным налогом и общим доходом штата такова, что индекс...

— Ну да, — сказал я, — слышали. Но им на это плевать. Елки зеленые, заставь их плакать, заставь их смеяться, втолкуй, что ты им друг-приятель, заблудшая душа или что ты господь всемогущий. Разозли их, наконец. Пусть хоть на тебя злятся. Только расшевели их — все равно чем и как, — и они тебя полюбят. Будут есть из твоих рук. Ущипни их за мягкое место... Они не живые, почти все — уже лет двадцать не живые. Пойми ты, их жены расплылись,

растеряли зубы, спиртного у них не принимает желудок, в бога они не верят — кому же, как не тебе, расшевелить их, чтобы они почувствовали себя живыми людьми? Хоть на полчаса. Они затем и приходят. Говори им что угодно. Но ради всего святого, не пытайся учить.

Я откинулся в изнеможении, а Вилли погрузился в задумчивость. Он сидел не шевелясь, со спокойным и ясным лицом, но казалось, если приблизить к нему ухо, вы услышите, как в голове у него топочут ноги, кто-то запертый там ходит взад и вперед. Потом он рассудительно заметил:

— Да, я знаю, что некоторые так думают.

— Ты же не вчера родился, — ответил я с внезапной злобой. — Ты ведь не был глухонемым, пока сидел в Мейзонском совете, хоть и попал туда благодаря Пилсбери.

— Да, — сказал он, кивнув, — я слышал такие разговоры.

— Ничего удивительного. Это не такая уж тайна.

Тогда он спросил:

— Ты думаешь, это правда?

— Правда? — переспросил я не то его, не то самого себя. — Не знаю. Но очень на нее похоже.

Он посидел еще минуту, потом встал и, пожелав мне спокойной ночи, вышел. Скоро я услышал за стеной его шаги. Я разделся и лег.

Шаги не затихали. Мудрый Советчик лежал, слушал шаги за стеной и говорил себе: «Наш друг придумывает шутку для завтрашней речи в Скидморе, он намерен их рассмешить».

Мудрый Советчик был прав. Кандидат пошутил в Скидморе. Но публика не смеялась.

В Скидморе после митинга я сидел в кабинке греческого кафе и пил кофе, чтобы успокоить нервы и спрятаться от людей, от запаха тел, гогота толпы и ее глаз, когда появилась Сэди Берк и, окинув взглядом помещение, заметила меня, зашла ко мне в кабинет и села напротив.

Сэди принадлежала к числу новых друзей Вилли, но я ее знал давно. По слухам, еще более тесная дружба связывала ее с неким Сен-Сеном Пакеттом, который сосал сен-сен, чтобы хорошо пахло изо рта, имел большой вес как в физическом, так и в политическом смысле и раньше (а возможно, и сейчас) дружил с Джо Гарисоном. Говорили, что именно Сен-Сену принадлежала блестящая мысль использовать Вилли в качестве пешки. Сэди была чересчур хороша для Сен-Сена, хотя его бы никто не назвал уродом. Она же не отличалась красотой, особенно если встать на точку зрения судей, которые выбирают мисс Орегон и

мисс Нью-Джерси. У нее была складная фигура, но вы не замечали этого из-за безобразных платьев и резкой, неуклюжей манеры жестикулировать. Ее волосы, совершенно черные и немыслимо остриженные, торчали во все стороны, будто их зарядили электричеством. Точно так же вы обращали внимание не на то, что у нее приятные черты лица, а на то, что оно рябое. Но глаза у нее действительно были прекрасны — глубоко посаженные, бархатные, черные, как чернила.

Однако Сэди была чересчур хороша для Сен-Сена не из-за своей красоты. Сен-Сен не стоил ее

потому, что он был холуй. Но он был недурен собой, и Сэди подобрала его, а затем — опять же по слухам — пристроила к этому грязному делу. Сэди была ловкая дама. Она давно занималась политикой и прошла огонь и воду.

В Скидмор она прибыла со штабом Старка в несколько неопределенной роли секретаря (и, видимо, сенсеновского соглядатая). Она вела организационные дела и сообщала Вилли полезные сведения о местных знаменитостях.

Теперь она приблизилась к столу обычной своей бурной походкой и, посмотрев на меня сверху, спросила:

– Можно с вами сесть?

И села, не дожидаясь ответа.

– Не только сесть, – учтиво ответил я. – Встать, сесть, лечь – я на все согласен.

Она критически оглядела меня глубоко посаженными чернильно-черными глазами, блестевшими на рябом лице, и покачала головой.

– Нет, спасибо, – сказала Сэди, – предпочитаю что-нибудь попитательнее.

– Вы хотите сказать, что у меня непривлекательная наружность?

– Меня не волнует наружность, – ответила она, – но и не привлекают люди, похожие на коробку макарон. Сплошные локти и сухой треск.

– Ладно, – сказал я. – Снимаю свое предложение. С достоинством. Но скажите мне одну вещь, раз уж мы заговорили о питательности. Как вы думаете, ваш кандидат Вилли – питательное кушанье? Для избирателей?

– О господи, – прошептала она, закатив глаза.

– Хорошо, – сказал я. – Когда вы намерены сказать своим мальчикам в городе, что это пустой номер?

– Что значит пустой? Они устраивают в Аптоне митинг и грандиозное угощение с жареным поросенком. Если верить Дафи.

– Сэди, вы же знаете не хуже моего, что им надо было бы зажарить

большого косматого мастодонта и положить на бутерброды десятидолларовые бумажки вместо салата. Почему вы не скажете вашим хозяевам, что это пустой номер?

– С чего вы взяли?

– Послушайте, Сэди, – сказал я, – мы ведь старые приятели, не надо дядю обманывать. Я не сразу бегу в газету, если что-нибудь узнаю, а я знаю, что кандидатом Вилли сделали не ораторские таланты.

– Правда, он ужасен?

– Я знаю, что это подстроено, – сказал я. – Все знают, кроме Вилли.

– Пожалуй, – признала она.

– Так когда же вы скажете своим мальчикам в городе, что они бросают

деньги на ветер? Что Вилли не отнял бы ни единого голоса даже у Эйба Линкольна в колыбели Конфедерации?

— Надо было давно это сделать, — сказала она.

— Когда же вы соберетесь? — спросил я.

— Да нет, — сказала она. — Я им говорила с самого начала. Но они не желают слушать Сэди. Болваны. — И, выпятив круглую красную блестящую нижнюю губу, она вдруг извергла облако табачного дыма.

— Почему вы сейчас им не скажете, что это пустой номер, и не избавите беднягу от мучений?

— Пусть тратят свои вонючие

деньги, – раздраженно сказала она и мотнула головой, словно дым ел ей глаза. – Жалко еще, что мало истратили. Жалко, что этот недотепа не догадался содрать с них как следует за то, что пошел на экзекуцию. Теперь он ничего не получит, кроме бесплатной поездки. Ну и на здоровье. Вот уж правда – блаженное неведение.

Подошла официантка с чашкой кофе – Сэди, наверное, заказала его перед тем, как подсесть ко мне. Она отхлебнула кофе и глубоко затаилась.

– Знаете, – сказала она, яростно раздавив окурок в чашке и глядя на него, а не на меня. – Знаете, даже

если ему скажут. Даже если он поймет, что остался в дураках, он все равно не перестанет.

— Да, — закончил я, — произносить речи.

— Господи, какой бред, — сказала она.

— Да.

— Все равно не перестанет, — сказала она.

— Да.

— Дубина, — сказала Сэди.

Мы вернулись в гостиницу и не виделись с Сэди до самого Аптона — только раз или два мимоходом. Дела у Вилли за это время не поправились. Я уехал примерно на неделю, бросив кандидата на

произвол судьбы; потом услышал новости. Накануне митинга с угощением я сел в аптонский поезд.

Аптон расположен на западе штата, это столица захолустья, чьи жители должны были выскочить из зарослей на запах предвыборного поросенка. Чуть к северу от него есть небольшие залежи угля, там в лачугах компании живут шахтеры и молятся о полном рабочем дне. Подходящее место для митингов с угощением — сбор тут обеспечен. Эти люди из лачуг живут так, что готовы пробежать пятнадцать миль за кусочком свежатины. Если у них хватит сил, а мясо дают бесплатно.

Пыхтя и зевая, дергаясь и теряя

ход, пригородный поезд тащился среди хлопковых полей. Мы въезжали на запасные пути, стояли полчаса, чего-то ждали, и я смотрел на сходящиеся к разогретому горизонту ряды хлопчатника, среди которых торчало черное пнище. К концу дня дорога пошла по вырубкам, заросшим полынью. Поезд останавливался у желтой, похожей на ящик станции, вокруг теснились некрашенные домишки, вдалеке, в конце улицы, был виден центр города; потом поезд трогался, и мимо проплывали задние дворы, огороженные проволокой или тесом, словно для того, чтобы отогнать пустоту полынной бугристой страны,

которая подползла, разевая пасть на эти домишки. Дома выглядели ненужными, хлипкими, случайно сюда заброшенными, и казалось, их вот-вот покинут. На веревках сохнет белье, но люди уйдут и бросят его. У них не будет времени сорвать белье с веревок. Скоро стемнеет, и им лучше поторопиться.

Но поезд уходит, и в задней двери одного из домов появляется женщина — фигура женщины, потому что лица не видно, — в руках у нее сковорода, она выплескивает воду, и вода сверкает серебряными лоскутами. Женщина возвращается в дом. К тому, что в доме. Пол его тонок на голой земле, стены и крыша

слабы перед напором пространства, но вы не видите сквозь них той тайны, к которой ушла женщина.

Поезд уходит прочь все быстрее, а женщина уже внутри, там, где она хочет остаться. Там она и останется. И тогда вам кажется, что это вы бежите, бросив все, и должны бежать поскорее, куда бежите, потому что скоро стемнеет. Теперь поезд идет быстро, но ему трудно преодолеть упрямую перенасыщенную вязкость воздуха — как если бы угорь пытался плыть в сиропе, — а может, ему трудно осилить неумолимо растущий магнетизм земли. И кажется, что если по земле пробежит судорога, как по шкуре собаки во сне, то поезд

слетит под откос, паровоз сблюет, подавившись паром, и задранное колесо его провернется с тяжелой, сонной медлительностью.

Но ничего не случилось, и вы вспоминаете, что женщина даже не взглянула на поезд. Вы забываете о ней, поезд едет быстро, еще быстрее по короткой эстакаде. Вы ловите взглядом трезвый, ясный металлический блеск спокойной воды между тесных берегов под темнеющим небом, а выше по течению у одинокой согнутой ивы в воде стоит корова. И вдруг вам хочется заплакать. Но поезд едет быстро и уносит вас от того, что зам хочется.

Дурак, ты думаешь, тебе хочется доить корову?

Тебе не хочется доить корову.

И вот вы в Аптоне.

В Аптоне с легким чемоданом и пишущей машинкой в руках, проталкиваясь в толпе народа, под медленными, долгими, по-деревенски откровенными взглядами я шел к гостинице; люди не уступали дорогу, пока я не налетал на них, — так не уступает дороги корова, пока радиатор машины чуть не толкнется в ее обвислые ребра. В гостинице я съел бутерброд, поднялся к себе в номер, включил вентилятор, заказал кувшин воды со льдом, снял туфли и рубашку и сел в кресло с книгой.

В половине одиннадцатого в дверь постучали. Я крикнул «да», и вошел Вилли.

— Где ты был? — спросил я.

— Я еще днем приехал, — ответил он.

— Дафи возил тебя знакомиться с отцами города?

— Да, — сказал он угрюмо.

Эта угрюмость заставила меня поглядеть на него внимательно.

— В чем дело? — спросил я. — Здешние люди плохо с тобой разговаривали?

— Нет, они нормально разговаривали. — Он налил воды в стакан, стоявший на подносе рядом с моей бутылкой сивухи, выпил и

повторил: — Нормально
разговаривали.

Я снова взглянул на Вилли. Лицо похудело, кожа туго обтянула его и казалась почти прозрачной под россыпью веснушек. Он сидел понуро, не обращая на меня внимания, будто твердя про себя беспрерывно какую-то фразу.

— Что тебя гложет? — спросил я.

Вилли никак не отозвался; потом он повернулся ко мне, но и это, казалось, не имело никакой связи с моими словами. Движение было вызвано ходом его мыслей, а не тем, что к нему обратились.

— Человеку не обязательно быть губернатором, — произнес он.

— А? — сказал я с изумлением, потому что этих слов меньше всего ожидал от Вилли. Встреча в последнем городе (в мое отсутствие) была, наверно, совсем неважная, если даже его проняло.

— Человеку не обязательно быть губернатором, — повторил он, и, взглянув на него, я не увидел мальчишеского тонкокожего лица: из-под него, словно из-под стеклянной маски, на меня смотрело другое лицо. И я внезапно увидел тяжелые, плотные, как каменная кладка, губы, вздувшиеся желваки.

— Ну, — с запозданием сказал я, — голоса еще не сосчитаны.

Он еще раз взвесил мысль, над

которой перед тем трудился. Потом ответил:

– Я не отрицаю, что хотел этого. Не буду тебе врать. – И слегка подался ко мне, словно пытаюсь убедить меня в том, что и так было для меня очевиднее существования собственных рук и ног. – Я хотел этого. Я не спал ночами и только об этом думал. – Он сжал большие руки на коленях, так что пальцы хрустнули. – Черт, человек может лежать и хотеть – хотеть и больше ничего, так хотеть, что он сам забывает, чего ему хочется. Это как если ты мальчик и сок в тебе забродит в первый раз, и кажется, что однажды ночью ты сойдешь с ума

— до того тебе хочется. И до того тебе тошно от этого хотения, что чуть не забываешь, чего тебе надо. Что-то жрет тебя изнутри... — Он наклонился, не сводя с меня глаз, и сгреб в кулак грудь своей пропотевшей голубой рубашки. Сейчас порвет и докажет, что там, внутри, подумал я.

Но он откинулся в кресле, перевел взгляд с меня на стену и задумчиво сказал:

— Но одного хотения мало. И не надо жить до ста лет, чтобы понять это.

Истина была настолько бесспорной, что не нуждалась в моем подтверждении.

Вилли не замечал моего молчания — до того он был погружен в свое собственное. Но через минуту он ожил и, посмотрев на меня, сказал:

— Я был бы хорошим губернатором. Ей-богу, — он стукнул кулаком по колену, — ей-богу, лучше их всех. Пойми, — и он опять наклонился ко мне, — новая налоговая система — вот что нужно штату. Надо повесить налоги на добычу угля. А дороги — стоит тебе выехать за город, и ты не найдешь ни одной приличной дороги. Кроме того, я мог бы сберечь штату немало денег, объединив некоторые ведомства. А школы? Ты погляди на

меня — ведь я ни дня не учился почеловечески; до всего, что я знаю, я дошел сам. Почему, скажи мне...

Все это я уже слышал. С трибуны, где он стоял, благородный и светлый лицом, а всем вокруг было наплевать.

Он, наверно, почувствовал, что и мне наплевать. И сразу замолчал. Он встал и начал расхаживать по комнате, опустив голову с растрепанным чубом. Остановился передо мной.

— Ведь надо это сделать?

— Конечно, — ответил я, не кривя душой.

— Но они не желают меня слушать, — сказал он. — Будь они

прокляты. Идиоты. Они приходят слушать речь и не слушают ни слова. Им все равно. Будь они прокляты. Так им и надо: рыться в земле и всю жизнь бурчать брюхом. Не желают слушать.

— Да, — согласился я, — не желают.

— И я не буду губернатором. Будет тот, кого они заслуживают. Идиоты, — заключил он.

— Пожать тебе руку в знак сочувствия? — Я вдруг разозлился. За каким дьяволом он пришел? Чего он от меня хочет? С чего он взял, будто мне интересно слушать о нуждах штата? Я и так знаю, будь он неладен. Все знают. Тоже мне оракул.

Порядочное правительство – вот что нужно. А откуда оно возьмется? И кому интересно, бывают такие правительства или не бывают? И о чем он тут плачется? Об этом? Или о том, как ему приспичило стать губернатором и как он не спит по ночам? Все это промелькнуло у меня в голове, я разозлился и мерзким голосом спросил, не пожать ли ему руку.

Он оглядел меня с ног до головы не торопясь и задержался взглядом на моем лице. Но он не обиделся. Это меня удивило – я хотел его обидеть, так обидеть, чтобы он ушел. Но он даже не удивился.

– Нет, Джек, – сказал он

наконец, качая головой, — я не искал у тебя сочувствия. Что бы ни случилось, я не буду искать сочувствия — ни у тебя, ни у кого другого. — Он тяжело отряхнулся, как большая собака, проснувшаяся или вылезшая из воды. — Можешь мне поверить, — сказал он, но обращаясь уже не ко мне, — ни у кого на свете я не буду искать сочувствия. Сейчас не ищу и впредь не собираюсь.

Кое-что прояснилось. Вилли сел.

— Что ты намерен делать? — спросил я.

— Мне надо подумать, — ответил он. — Я не знаю. Я должен подумать. Идиоты. Эх, если бы я мог заставить

их слушать.

Тут как раз и вошла Сэди. Вернее, постучала в дверь, я заорал «да», и она вошла.

— Привет, — сказала она и, окинув взглядом комнату, направилась к нам. Взгляд ее упал на мою бутылку с сивухой.

— Тут угощают? — спросила она.

— Пейте, — ответил я, но, по-видимому, не очень радушно, а может быть, она сама почуяла, чем пахнет в воздухе, — по этой части Сэди не знала себе равных.

Как бы там ни было, она остановилась на полпути и спросила:

— Что случилось?

Я ответил не сразу, и она подошла к письменному столу своей быстрой и нервной походкой, облаченная в грязно-синий летний костюм, который купила, наверное, в лавке старьевщика — зашла туда, закрыла глаза и ткнула наугад пальцем: «Это».

Она взяла сигарету из моей пачки, постучала ею по костяшкам пальцев и навела на меня свои фары.

— Ничего особенного, — сказал я, — просто Вилли рассказывал, почему он не будет губернатором.

Пока я говорил, она успела зажечь спичку, но спичка так и не дошла до сигареты. Она замерла в воздухе.

– Значит, вы рассказали ему. –
Сэди смотрела на меня.

– Ни черта, – ответил я. – Я
никогда ничего не рассказываю. Я
слушаю.

Безобразно вихнув запястьем,
чтобы погасить спичку, она
обратилась к Вилли:

– Кто тебе сказал?

– Что сказал? – спросил Вилли,
пристально на нее глядя.

Она поняла, что сделала ошибку.
А Сэди Берк не свойственны были
такие ошибки. Из хижины на
болотистой равнине она вышла на
свет божий с прекрасным умением:
узнать, что знаете вы, не ставя вас в
известность о том, что известно ей.

Не в ее характере было идти у языка на поводу — она предоставляла это вам, сама же предпочитала следовать позади, с аккуратным обрезком свинцовой трубы в руках, и ждать, пока вы оступитесь. Но сегодня все вышло наоборот. Где-то в глубине ее души жила надежда, что я расскажу Вилли. Или кто-то другой. Не она, Сэди Берк, расскажет Вилли, но Вилли Старку все будет рассказано, и Сэди Берк не придется этого делать. А может, ничего такого конкретного. Просто где-то в потемках ее сознания носилась мысль о Вилли и мысль о том, чего Вилли не знает, — как две щепки, втянутые водоворотом, которые кружатся

медленно и слепо в темной глубине.
Но рядом, все время.

Так эта мысль, еще не осознанная, или страх, или надежда, столь же безотчетные, лишили Сэди бдительности. И, стоя у стола, катая в сильных пальцах незажженную сигарету, она уже понимала это. Но монета упала в щель, и, глядя на Вилли, вы видели, как приходят в действие колесики и шестерни и конфетки перекатываются с места на место.

— Что сказал? — спросил Вилли.
Снова.

— Что ты не будешь губернатором, — выпалила Сэди легкомысленной скороговоркой. Но

она кинула на меня взгляд — и это был, наверно, первый и единственный «SOS» в жизни Сэди Берк.

Кашу заварила она, и я не собирался ее расхлебывать.

Вилли неотрывно смотрел на нее, наблюдая, как она поворачивается к столу, открывает мою бутылку и наливает себе подкрепляющего. Она приняла его без дамских ужимок и покашливаний.

— Что сказал? — повторил Вилли.

Сэди не ответила. Она только посмотрела на него.

И, глядя ей в глаза, он произнес голосом, подобным смерти и

подходящему налогу:

— Что сказал?

— Иди ты к черту! — взорвалась Сэди, и стакан, опущенный наугад, звякнул о поднос. — Иди ты к черту, растяпа!

— Ладно, — сказал Вилли тем же голосом, прилипая к ней, как боксер к противнику, когда тот входит в раж. — Говори.

— Ладно, растяпа, — сказала она, — тебя надули!

Секунд тридцать он смотрел на нее, и в комнате не раздавалось ни звука, только его дыхание. И я его слушал.

Затем Вилли сказал:

— Надули?

— И как! — воскликнула Сэди, наклонившись к нему. Какое-то злобное торжество блесло в ее глазах и звенело в голосе. — У, ты, чучело, мякинная башка, ты сам на это нарывался! Ну да, ты ведь думал, что ты агнец божий, — и, кривя губы, она изобразила ему издевательски-жалобное «б-е-е-е», — агнец, белый маленький ягненок. А знаешь, кто ты такой?

Она замолчала, словно дожидаясь ответа, но Вилли только смотрел на нее и не издавал ни звука.

— Ты козел, — объяснила она. — Козел отпущения. Безмозглый баран. Размазня. Ты сам нарвался. Ты даже не получил за это ни гроша. Они бы

тебе заплатили за удовольствие, но на кой им платить такому растяпе, как ты? На кой, если ты и так раздувался, словно мыльный пузырь, и ног под собой не чуял, и думал, какой ты Иисус Христос? Если в голове у тебя одно: как бы встать на задние лапы и сказать речь? Друзья мои, — жеманно и злобно косоротясь, передразнила она, — хорошая пятицентовая сигара — вот что нужно нашему штату. О господи! — Она разразилась надсадным смехом и вдруг умолкла.

— Почему? — Вилли смотрел на нее, тяжело дыша, но лицо его было спокойно. — Почему они так поступили? Со мной.

— О господи! — воскликнула она, обернувшись ко мне. — Вы только послушайте этого размазню. Он желает знать почему! — тут она опять повернулась к нему и, наклонившись, сказала: — Послушай и постарайся вбить это в свою трухлявую башку. Они хотели, чтобы ты отнял голоса у Макмерфи. В провинции. Ты понял или сказать по буквам? Теперь ты понял, дубина?

Он медленно перевел взгляд на меня, облизнул губы и произнес:

— Это правда?

— Он желает знать, правда ли это, — объявила Сэди, молитвенно воздев глаза к потолку. — О господи!

— Это правда? — спросил он

меня.

— Не знаю, ходят такие слухи.

Ну, это попало под вздох. Его лицо скривилось, словно он старался что-то произнести или хотел заплакать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он протянул руку к столу, взял бутылку, налил себе порцию, которая свалила бы быка, и залпом выпил.

— Эй, — сказал я, — полегче с этим делом, ты ведь не привык.

— Мало ли к чему он не привык, — сказала Сэди, пододвигая к нему бутылку. — Например, к мысли, что он не будет губернатором. Правда, Вилли?

— Оставьте его в покое, — сказал

я.

Но Сэди не замечала меня. Она наклонилась к нему и медовым голосом спросила:

– Правда, Вилли?

Он взял бутылку и повторил операцию.

– Говори, – потребовала Сэди.

– Раньше – да, – ответил он, глядя на нее снизу, из-под спутанного чуба, наливаясь кровью и шумно дыша. – Раньше – да, теперь – нет.

– Что нет? – спросила Сэди.

– Не привык к этой мысли.

– Ты лучше привыкай к ней. – Сэди захохотала и подтолкнула к нему бутылку.

Он взял ее, налил, выпил,

медленно опустил стакан и ответил:

— Нет, не буду. Лучше мне не привыкать.

Она снова разразилась надсадным смехом и, вдруг оборвав его, передразнила:

— Слышали, лучше ему не привыкать. О господи!

И опять захохотала.

Он сидел вялый, но не прислоняясь к спинке; пот выступал у него на лице и сбегал к подбородку блестящими капельками. Он сидел, не чувствуя, что потеет, не утираясь, и смотрел в ее разинутый рот.

Вдруг он вскочил. Я подумал, что он сейчас набросится на Сэди. Она и сама так подумала, потому что

смех оборвался. На самой середине арии. Но он не набросился. Он даже не смотрел на нее. Он обвел взглядом комнату и вытянул руки перед собой, словно собираясь кого-то схватить.

— Я убью их, — сказал он. — Убью!

— Сядь, — сказала она и ткнула его в грудь.

Ноги его уже сильно обмякли, и он упал. Прямо в кресло.

— Я убью их! — сказал он, потя.

— Ни черта ты не сделаешь, — объявила она. — Ты не будешь губернатором, ты ни гроша за это не получишь, ты никого не убьешь. И знаешь почему?

— Я убью их! — сказал он.

— Я объясню тебе почему, — сказала она, наклоняясь к нему. — Потому что ты размазня. Рохля, маменькин сынок, которого кормят с ложечки, которому вытирают сопли, ты...

Я встал.

— Я не знаю, в какие игры вы играете, — сказал я, — и не желаю знать. Но смотреть на вас мне противно.

Она даже головы не повернула. Я вышел из номера, и последнее, что я услышал, — это голос Сэди, пытавшейся уточнить, к какого рода растяпам принадлежит Вилли. Я решил, что так, сразу, этого не сделаешь.

В ту ночь я основательно ознакомился с Антоном. Я смотрел на людей, выходявших с последнего сеанса во Дворце кино, любовался воротами кладбища и зданием школы при лунном свете, стоял на мосту и, перевесившись через перила, плевал в речку. На это ушло часа два. Затем я вернулся в гостиницу.

Когда я открыл свою дверь, Сэди сидела в кресле за письменным столом и курила. В воздухе впору было вешать топор, и дым, пронизанный светом настольной лампы, клубился и плавал вокруг Сэди так, что мне показалось, будто она сидит на дне аквариума с мыльной водой. Бутылка на столе

была пуста.

Сначала я подумал, что Вилли нет. Затем я увидел готовый продукт.

Он лежал на моей кровати.

Я вошел и прикрыл дверь.

— Кажется, все успокоилось, — отметил я.

— Да.

Я подошел к кровати и осмотрел останки. Они лежали на спине. Пиджак сбился под мышками, руки были благочестиво сложены на груди, как в реалистическом надгробье, рубашка вылезла из-под пояса, две нижние пуговицы на ней расстегнулись, оголив треугольную полоску слегка вздутого живота — белого, с жесткими черными

волосиками. Рот был полуоткрыт, и нижняя губа вяло колыхалась в такт мерным выдохам. Очень красиво.

— Он немного побушевал, — объяснила Сэди. — Рассказывал, что он собирается делать. О, его ждут большие дела. Он будет президентом. Он будет убивать людей голыми руками. Господи! — Она затянулась сигаретой, выдохнула дым и яростно замахала правой рукой, отгоняя его от лица. — Но я его утихомирила, — сообщила она с угрюмым и каким-то даже стародевичьим удовлетворением, которое пристало бы скорее вашей двоюродной бабке.

— Он поедет на митинг? — спросил я.

– А я почему знаю, – огрызнулась Сэди. – Станет он тратить порох на такие мелочи, как митинг. О, это птица высокого полета. – Сэди затянулась и повторила все манипуляции с дымом. – Но я его утихомирила.

– Похоже, что вы его просто оглушили, – заметил я.

– Нет, – сказала она. – Но я ему дала по мозгам. Втолковала ему, какой он растяпа. И тут он у меня живо утихомирился.

– Сейчас он тихий, это факт, – сказал я и подошел к столу.

– Он не сразу стал таким тихим. Но достаточно тихим, чтобы сидеть в кресле и искать утешения в бутылке.

И бубнить про какую-то паршивую Люси, которой надо сообщить эти новости.

— Это его жена, — сказал я.

— А говорил он так, будто она его мамочка и будет вытирать ему носик. Потом он заявил, что идет к себе в номер писать ей письмо. Но, — сказала она, оглянувшись на кровать, — он туда не добрался. Он дошел до середины комнаты и свернул к кровати.

Она встала, подошла к Вилли и наклонилась над ним.

— А Дафи знает? — спросил я.

— Плевать я хотела на Дафи, — ответила она.

Я тоже подошел к кровати.

– Придется его оставить здесь, – сказал я. – Пойду спать в его номер. – Я нагнулся и стал шарить у него в карманах, ища ключ от номера. Найдя его, я вынул из чемодана зубную щетку и пижаму.

Сэди все еще стояла возле кровати. Она обернулась ко мне:

– Мог бы по крайней мере снять с него туфли.

Я положил свои вещи на кровать и снял с него туфли. Потом забрал пижаму и щетку и направился к столу, чтобы выключить свет. Сэди по-прежнему стояла у кровати.

– Вы лучше сами напишите этой маме Люси, – сказала она, – и спросите, куда привезти останки.

Взявшись за выключатель, я обернулся: Сэди стояла все там же, держа в левой, ближней ко мне, руке между кончиками пальцев сигарету, над которой вился и медленно уходил к потолку дым; нагнув голову, она смотрела на останки и задумчиво выдувала дым через оттопыренную глянцевою нижнюю губу.

Да, это была Сэди, которая прошла большой путь от хижины на болотистой равнине. Она прошла его, потому что играла наверняка и играла не на спички. Она знала: чтобы выиграть, надо поставить на верный номер, а если твой номер не выпал, то рядом стоит человек с лопаткой, который сгребет твои

деньги, и они уже не будут твоими. Она давно привыкла иметь дело с мужчинами и смотреть им в глаза как мужчина. Многие из них любили ее, а те, кто не любил, прислушивались к ее словам — хотя говорила она не часто, — ибо если ее глаза, большие и черные той чернотой, о которой не знаешь, откуда она — из глубины или только сверху, — смотрели на колесо перед тем, как оно завертится, то вы почему-то верили, что они заранее видят, в какой миг замрет колесо и в какую ямку упадет шарик. Некоторые очень ее любили, например Сен-Сен. Было время, когда я не мог этого понять. Я видел куль из твида или

мешок из рогожки — в зависимости от солнцестояния, — рябое лицо с жирным пятном помады и черными лампами, а над ними — черные космы, которые отхватил на уровне уха секач мясника.

Но в один прекрасный день я увидел ее по-другому. Вы давно знакомы с женщиной и считаете ее уродом. Вы смотрите на нее, как на пустое место. Но однажды ни с того ни с сего начинаете думать, какая она под этим твидовым или полотняным балахоном. И вдруг из-под рябой маски проглядывает лицо — доверчивое, робкое, чистое лицо, — и оно просит вас снять с него маску. Вот так же, наверное, старик,

взглянув на свою жену, на миг увидит черты, которые он знал тридцать лет назад. Только в моем случае вы не вспоминаете то, что давно видели, а открываете то, чего никогда не видели. Это – образ будущего, а не прошлого. И это может выбить из колеи. И выбило на какое-то время. Я сделал заход, но – безрезультатно.

Она рассмеялась мне в лицо и сказала:

– Я занята и не меняю своих занятий, покуда эти занятия у меня есть.

Я не знал, о каких занятиях идет речь. Это было до Сен-Сена Пакетта. До того, как он начал пользоваться ее даром ставить на верный номер.

Ничего такого не было у меня в мыслях, когда я опустил руку на выключатель лампы и оглянулся на Сэди Берк. Рассказывая об этом, я просто хочу объяснить, что за женщина стояла у кровати, созерцая останки, пока я держал руку на выключателе, — что за женщина была Сэди Берк, которая проделала большой путь благодаря своему умению держать язык за зубами, но так сплеховала в тот вечер.

По крайней мере так мне тогда показалось.

Я выключил свет, мы вышли с ней в коридор и пожелали друг другу спокойной ночи.

На следующее утро часов в девять Сэди постучала в мою дверь, и я, словно размокший кусок дерева со дна взбаламученного пруда, качаясь и поворачиваясь, всплыл на поверхность из мутных глубин сна. Я подошел к двери и высунул голову.

– Слушайте, – заговорила она, не поздоровавшись, – Дафи уже отправляется на эту ярмарку, и я еду с ним. Ему надо поговорить с местными шишками. Он хотел и растяпу поднять пораньше, чтобы тот пообщался с народом, но я сказала, что он неважно себя чувствует и приедет немного погодя.

– Ладно, – сказал я, – хоть мне и не платят за это, я попытаюсь его

доставить.

— Мне все равно, приедет он или нет, — ответила она. — Плевать мне с высокой горы.

— И тем не менее я попытаюсь его доставить.

— Валяйте, — сказала она и пошла по коридору, раздирая юбку.

Я посмотрел в окно, увидел, что впереди у меня опять целый день, побрился и пошел вниз пить кофе. Потом я поднялся к своему номеру и постучал. Внутри слышался странный звук — как будто в бочке с пухом дудели на гобое. Тогда я вошел. Дверь я накануне не запер.

Был уже одиннадцатый час. Вилли лежал на кровати. На том же

месте, в том же смятом пиджаке, со сложенными на груди руками и бледным ясным лицом. Я подошел к кровати. Голова его оставалась неподвижной, но глаза повернулись в мою сторону – так, что я удивился, почему не слышу скрипа в глазницах.

– Доброе утро, – сказал я.

Он осторожно приоткрыл рот, оттуда высунулся кончик языка и медленно пополз по губам, проверяя их и смачивая одновременно. Затем он слабо улыбнулся, словно пробуя, не лопнет ли кожа на лице. И поскольку она не лопнула, прошептал:

– Кажется, я вчера напился?

– Да, удачнее слова не

подберешь, — ответил я.

— Это со мной в первый раз, — сказал он. — Я никогда не напивался. Только раз в жизни попробовал виски.

— Знаю. Люси не одобряет спиртного.

— Но она, наверное, поймет, когда я ей расскажу. Поймет, что меня довело до этого. — И он погрузился в задумчивость.

— Как ты себя чувствуешь?

— Нормально, — сказал он и принял сидячее положение, свесив ноги на пол. Он сидел в носках, прислушиваясь к напряженным процессам в своем организме. — Да, — заключил он, — нормально.

– Ты едешь на митинг?

Он с усилием повернул голову и посмотрел на меня, причем на лице его изобразился вопрос, как будто отвечать была моя очередь.

– Почему ты спрашиваешь?

– Ну столько разных событий.

– Да, – сказал он. – Еду.

– Дафи и Сэди уже отбыли.

Дафи хочет, чтобы ты приехал пораньше и пообщался с народом.

– Хорошо, – сказал он. Затем, упершись взглядом в воображаемую точку на полу, метрах в трех от своих носков, снова высунул язык и стал облизывать губы. – Пить хочется, – сказал он.

– Обезвоживание, – объяснил я,

— результат чрезмерного принятия алкоголя. Но только так его и можно принимать. Только так он приносит человеку пользу.

Но он не слушал. Он встал и поплелся в ванную.

Я услышал плеск воды, шумные глотки и вздохи. Он, должно быть, пил из крана. Примерно через минуту звуки смолкли. Некоторое время было тихо. Потом раздался новый звук. Потом мучительный процесс окончился.

Он появился в дверях, цепляясь за косяк, с выражением печальной укоризны на лице, орошенном холодным потом.

— Зачем ты на меня так

смотришь, — сказал я, — виски было хорошее.

— Меня вырвало, — сказал он с тоской.

— Ну, не тебя первого, не тебя последнего. Кроме того, теперь ты сможешь съесть горячий, жирный, питательный кусок жареной свинины.

Эта шутка, по-видимому, не показалась ему удачной. Как и мне. Но неудачной она ему тоже не показалась. Он просто держался за косяк и смотрел на меня, как глухонемой на незнакомца. Затем он еще раз удалился в ванную.

— Я закажу тебе кофе, — крикнул я, — он тебя взбодрит.

Но он не взбодрил. Вилли выпил его, но он даже не успел дойти до места.

Потом он прилег. Я положил ему на лоб мокрое полотенце, и он закрыл глаза. Руки его покоились на груди, и веснушки выглядели как крапинки ржавчины на отшлифованном алебастре.

В четверть двенадцатого позвонил портье и сказал, что м-ра Старка ожидают два джентльмена с машиной — отвезти его на митинг. Я прикрыл трубку рукой и обернулся к Вилли. Глаза его были открыты и смотрели в потолок.

— За каким чертом тебе ехать на митинг? — спросил я. — Я им скажу,

чтоб убирались.

— Я поеду на митинг, — возвестил он загробным голосом, по-прежнему глядя в потолок.

Поэтому я спустился в холл, чтобы отделаться от двух местных полулидеров, которые готовы были ехать с кандидатом хоть на кладбище — лишь бы попасть в газеты. Я их спровадил. Я сказал, что м-ру Старку нездоровится и мы с ним выедем примерно через час.

В двенадцать часов я повторил кофейную процедуру. Она не дала желаемого эффекта. Дала нежелательный. Позвонил Дафи, он хотел знать, какого черта мы не едем. Я посоветовал ему приступить к

раздаче хлебов и рыб и молиться богу, чтобы Вилли приехал к двум.

– В чем дело? – спросил Дафи.

– Друг мой, – ответил я, – чем позже вы узнаете, тем легче будет у вас на душе, – и повесил трубку.

Ближе к часу, после того как Вилли сделал еще одну неудачную попытку выпить кофе, я сказал:

– Слушай, Вилли, зачем тебе ехать? Может, останешься? Передай им, что ты болен, и избавь себя от лишних огорчений. А попозже, если...

– Нет, – сказал он и, с трудом приподнявшись, сел на край кровати. Лицо у него было ясное и одухотворенное, как у мученика,

восходящего на костер.

— Ладно, — отозвался я без энтузиазма, — если ты так уперся, остается последнее средство.

— Опять кофе? — спросил он.

— Нет, — ответил я и, расстегнув чемодан, достал вторую бутылку. Я налил в стакан и дал ему. — Если верить старикам, лучший способ — залить колотый лед двумя частями абсента и добавить одну часть ржаного виски. Но нам не до тонкостей. При сухом законе.

Он выпил. Была томительная пауза, затем я перевел дух. Через десять минут я повторил вливание. Потом я велел ему раздеться и наполнил ванну холодной водой.

Пока он лежал в ванне, я позвонил портье и заказал машину. После этого я зашел в номер Вилли, чтобы принести ему другой костюм и свежее белье.

Он кое-как оделся, сел на край кровати, и на груди его появилась надпись: «Не кантовать! — Стекло — Верх». Я отвел его в машину.

Потом мне пришлось вернуться за текстом речи, который остался в верхнем ящике стола. Текст может ему пригодиться, объяснил он, когда я вернулся. Может, у него отшибло память, и тогда придется читать по бумажке.

— Про белого бычка и гуся-губернатора, — сказал я, но он

пропустил это мимо ушей.

Драндулет поехал, подпрыгивая по щебенке, Вилли откинулся на спинку и закрыл глаза.

Вскоре я увидел рощу, и на ее опушке – ярмарочные сооружения, ряды фургонов, колясок, дешевых автомобилей, а в синем небе – поникший на древке американский флаг. Потом, перекрывая дребезжание нашего рыдвана, донеслись обрывки музыки. Дафи помогал пищеварению масс.

Вилли протянул руку к бутылке.

– Дай еще.

– Осторожнее, – сказал я. – Ты ведь не привык. Ты уже...

Но он уже поднес ее ко рту, и я

решил не тратить слов понапрасну, тем более что их все равно бы заглушило бульканье в его горле.

Когда он вернул мне бутылку, ее уже не стоило класть в карман. Я наклонил ее, но того, что собралось в уголке, не хватило бы и школьнице.

— Ты уверен, что не хочешь ее прикончить? — вежливо осведомился я.

Рассеянно помотав головой, он сказал:

— Нет, спасибо. — И передернулся, словно его знобило.

Тогда я допил остатки и выкинул пустую поллитровку в окно.

— Постарайтесь подъехать ближе, — сказал я водителю.

Он подъехал довольно близко; я вылез, помог Вилли и расплатился с шофером. Затем мы продрейфовали по бурой, утоптанной траве к трибуне – и глаза Вилли обозревали далекие горизонты, а толпа вокруг была ничем, и оркестр отрывал «Кейси Джонса».

Я бросил его под палящим солнцем, на бурой лужайке возле трибуны, и он остался посреди чужой страны, одинокий, погруженный в грезы.

Я нашел Дафи и сказал:

– Груз доставлен, пожалуйста расписочку.

– Что с ним стряслось? – поинтересовался Дафи. – Он же не

пьет. Он пьян?

— Он в рот не берет спиртного, — сказал я. — Просто он был на пути в Дамаск, увидел великий свет и окосел от него.

— Что с ним стряслось?

— Надо почаще заглядывать в Священное писание, — ответил я и подвел его к кандидату. Это была трогательная встреча. Я замешался в толпе.

Давка была порядочная, ибо запах пригорелого мяса может творить чудеса. Люди уже собирались перед помостом и занимали сидячие места. Сбоку на помосте стоял оркестр, который играл теперь «Ура, ура, вся шайка в

сборе». Тут же на помосте находились два местных деятеля без политического будущего, заезжавшие утром в гостиницу, еще один человек — должно быть, проповедник, которому полагалось прочесть вступительную молитву, и Дафи. И с ними был Вилли, тихо исходивший потом. Они сидели рядом на стульях перед задником из флагов и позади накрытого флагом стола, где стоял большой кувшин с водой и несколько стаканов.

Первым встал один из местных деятелей, который обратился к друзьям и землякам и представил проповедника, который обратился к всемогущему господу, вытягивая

тощую, жилистую шею из синей диагонали и жмурясь на солнце. Затем первый местный деятель снова встал и окольными путями начал подбираться к тому, чтобы предоставить слово второму местному деятелю. Поначалу я думал, что от второго местного деятеля будет больше проку, ибо его сильной стороной была, по-видимому, не живость ума, а выносливость. Но проку в нем оказалось не больше, чем в первом местном деятеле, проповеднике или всемогущем госпoде. Просто ему понадобилось больше времени, чтобы признаться в этом и кивнуть на Вилли.

Потом Вилли одиноко стоял у стола, говорил «Друзья мои», неосмотрительно поворачивал голову из стороны в сторону, рылся в правом кармане пиджака, пытаясь выудить текст речи.

Пока он копошился со своими листками и водил по ним смущенным взглядом, словно там было написано на иностранном языке, кто-то дернул меня за рукав. Сэди.

— Ну, как это было? — спросила она.

— Судите сами, — ответил я.

Она внимательно поглядела на помост и спросила:

— Как вам это удалось?

— Стаканчик на опохмелку — и все дела.

Она снова посмотрела на помост.

— Стаканчик, — сказала она. — Тут бочкой пахнет, а не стаканчиком.

Я критически оглядел Вилли, который стоял наверху, потев, качаясь и безмолвствуя под палящим солнцем.

— Да, вид у него какой-то пришибленный, — заметила она.

— Он с утра не в себе, — отозвался я. — С тех пор как проснулся.

Она продолжала его разглядывать — почти так же, как прошлой ночью, когда его

безжизненное тело покоилось в кровати. Во взгляде ее не было ни жалости, ни презрения. Это был оценивающий взгляд, в нем угадывалась работа мысли. Затем она сказала:

– Нет, наверно, врожденное.

Тон ее слов подразумевал, что для нее это вопрос решенный. Но она продолжала смотреть на него с прежним выражением.

Кандидат еще держался на ногах, правда прислонившись боком к столу. Он даже начал разговаривать. Он уже назвал их своими друзьями – трижды или четырежды, на разные лады – и объяснил, как он рад, что здесь очутился. Теперь он стоял,

вцепившись обеими руками в текст речи, нагнув голову, как безрогая корова среди злых собак, и обливался потом под жарким солнцем. Потом он взял себя в руки и выпрямился.

— Вот тут у меня речь написана, — сказал он. — Речь о том, что нужно штату. Но не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат. Вы сами знаете, что вам нужно. Поглядите на свои штаны. Разве нет у вас заплат на коленях? Прислушайтесь к своему брюху. Разве в нем не бурчит от голода? Посмотрите на ваш урожай. Разве не гнил он на корню из-за того, что нету дорог и вы не можете свезти его на рынок? Посмотрите на ваших детей.

Разве не растут они темными, как ночь и как вы, из-за того, что у них нет школы?

Вилли замолчал и, мигая, оглядел толпу.

– Нет, – сказал он. – Я не буду читать вам проповеди. Я не буду рассказывать, что вам нужно, вы это лучше знаете. Но я расскажу вам одну историю.

Он замолчал, оперся на стол и глубоко вздохнул; пот катился с него ручьями.

Я шепнул Сэди:

– К чему он клонит?

– Помолчите, – сказала она, не сводя с него глаз.

Он снова начал.

– Это смешная история, – сказал он. – Приготовьтесь посмеяться. Вы надорвете животики – до того она смешная. Это история про вахлака. Про голодранца, такого же, как вы. Да, как вы. Он рос, как все деревенские пацаны, у проселочных дорог и оврагов, на севере штата. Он знал, что такое быть вахлаком. Он знал, что такое вставать до зари, шлепать босиком по навозу, доить и кормить корову и выносить помои до завтрака, чтобы с восходом выйти из дому и пройти шесть миль до однокомнатной халупы, которая называется школой. Он знал, что такое расплачиваться большими налогами за эту развалюху из

горбыля, за размытые дороги, где ты месишь глину, ломаешь тележные оси и должен погонять своих мулов камнями.

Да, он знал, каково быть вахлаком — и зимой и летом. Он решил, что если он хочет чего-то добиться, то должен добиться сам. И он сидел по ночам над книгами, учил законы и надеялся, что они помогут ему исправить жизнь. Он не ходил ни в какие школы и университеты. Он учил законы ночью, проработав целый день в поле. Для того, чтобы стало легче жить. И ему и другим, таким же, как он. Я вам не буду врать. Он не сразу начал думать о других вахлаках и как он их

осчастливит. Он начал думать раньше всего о себе и заодно задумался о других. О том, что он не поможет себе, не помогая другим, и не поможет себе, если другие ему не помогут. Один за всех, все за одного. Вот что он понял.

И была на то воля божья и грозное знамение Его, чтобы он понял это в тот страшный день, два года назад, когда первая кирпичная школа в округе обрушилась, потому что политиканы построили ее из негодного кирпича, и убила и искалечила десять ни в чем не повинных ребятишек. Вы знаете эту историю. Он воевал с политиканами, чтобы они не строили школу из

негодного кирпича, но они победили, и школа рухнула. И тогда он задумался. Это не должно повториться.

Люди верили ему, потому что он воевал против негодного кирпича. А некоторые деятели в городе поняли это, приехали в дом его папаши на большой красивой машине и сказали, что помогут ему стать губернатором.

Я ущипнул Сэди за руку.

— Неужели он хочет...

— Замолчите, — прошипела она.

Я посмотрел на Дафи, сидящего на помосте за спиной у Вилли. Лицо у Дафи было встревоженное. Оно было красное, круглое, потное, и оно было встревоженное.

— Да, они наговорили с три короба, — продолжал Вилли. — А он и уши развесил. Он заглянул себе в душу и решил, что попытается изменить жизнь. При всем своем смирении он решил, что должен попытаться. Он был простым человеком, обыкновенным деревенским парнем, но верил, как все мы здесь верим, что даже самый простой, самый бедный человек может стать губернатором, если его земляки решат, что у него хватит на это ума и характера.

Эти люди в полосатых брюках раскусили его и обвели вокруг пальца. Они стали рассказывать ему, какая никчемная флюгарка —

Макмерфи, и что Джо Гарисон — слуга столичных заправил, и как они хотят, чтобы вахлак вмешался и дал штату честное правительство. Вот что они говорили. Но, — Вилли замолчал и воздел руку с манускриптом к небесам, — знаете ли вы, кто они были? Холуи и подручные Джо Гарисона, и хотели они, чтобы вахлак отнял у Макмерфи вахлацкие голоса. Догадался я об этом? Нет, не догадался. Нет, потому что я поверил их елейным речам. Я бы и сегодня не знал правду, если бы у этой женщины, — он показал на Сэди, — если бы у этой вот женщины...

Я толкнул локтем Сэди и сказал:

— Сестренка, считай себя безработной.

— ...Если бы у этой чудесной женщины не хватило честности и благородства открыть мне глаза на их гнусную аферу, от которой смердит на все небеса.

Дафи был уже на ногах и робко, бочком двигался к переднему краю помоста. Он бросал отчаянные взгляды — то на оркестр, словно умоляя его заиграть, то на толпу, словно хотел что-нибудь сказать ей, но не мог придумать что. Наконец он пробрался к Вилли и зашептал ему на ухо.

Но едва он открыл рот, как Вилли круто повернулся к нему.

– Вот! – взревел Вилли. – Вот! –
И взмахнул рукописью. – Вот он,
Иуда Искарот, холуй и подчищала!

И снова перед лицом Дафи
мелькнула его правая рука с
листками. Дафи пытался что-то ему
сказать, но Вилли не слушал, он
махал рукописью перед носом Дафи
и кричал: «Смотрите! Смотрите на
него!»

Дафи, отступая, оглянулся на
оркестр, протянул к нему руки и
завопил:

– Играйте! Играйте! Играйте
«Звездное знамя»!

Но оркестр не заиграл. А когда
Дафи опять повернулся к Вилли, тот
произвел трепещущей рукописью

особенно энергичный пас перед его носом и крикнул:

– Вот он, гарисоновский лакей!

– Неправда! – закричал Дафи, пятась от неумолимой длани.

Не знаю, сделал ли это Вилли умышленно. Но так или иначе, он это сделал. Не то чтобы он спихнул Дафи с помоста. Он просто шел за Дафи, а Дафи, пятась по краю помоста, исполнял свой танец – воздушное, застенчивое адажио, а перед лицом у него вертелись чужие руки, а лицо его было – удивленная ватрушка с дырой посередине, и из дыры не выходило ни звука. Ни звука не слышалось на двух гектарах потеющей толпы. Толпа следила за

танцем Дафи.

Последнее па он сделал в воздухе. Он приземлился и, полусидя-полулежа, застыл, спиной к помосту, с разинутым ртом. И опять изо рта не вышло ни звука — он даже дышать забыл.

Такое дело, а я без камеры.

Вилли не потрудился заглянуть через край помоста.

— Пусть валяется, боров! — крикнул он. — Пусть валяется, боров, а вы, голодранцы, слушайте. Да, вы — тоже голодранцы, и вас они тоже дурачили каждый день, как меня. Ведь они думают, что мы для этого созданы. Сидеть в дураках. Но на этот раз я сам кое-кого надую. Я

выхожу из игры. А почему, знаете? — Он замолчал и резким движением левой руки отер с лица пот. — Не потому, что задето мое мелкое самолюбие. Оно не задето, в жизни я так хорошо себя не чувствовал — потому что знаю правду. Мне давно полагалось ее знать. Если голодранцу что-то нужно, он должен взять сам. Эти златоусты с «кадиллаками» ничего ему не подарят. Когда я снова захочу стать губернатором, я приду сам, без них, и они будут харкать кровью. Но сейчас я ухожу...

Я отказываюсь в пользу Макмерфи. Видит бог, все, что я сказал о нем, — правда, и я повторяю ее где угодно. Но я соберу для него

свои голоса. Я и другие вахлаки – мы так пришибем Джо Гарисона, что он в золотари свою кандидатуру не выставит. И тогда мы посмотрим, как покажет себя Макмерфи. Это для него – последний случай. Время пришло. Правда должна быть сказана – и я скажу ее. Я скажу ее всему штату – из края в край, – даже если мне придется ездить на буфере или на краденном муле. И ни один человек – ни Гарисон, ни кто другой – мне рта не заткнет. Ибо я узрел свет и...

Я наклонился к Сэди.

– Слушайте. Мне надо позвонить. Я бегу в город. До первого телефона. Надо передать в газету. Вы оставайтесь здесь и, ради бога,

постарайтесь все запомнить.

— Хорошо, — сказала она, не обернувшись.

— Поймайте Вилли, когда тут все кончится, и везите в город. Дафи вас не повезет, можете быть спокойны. Поймайте растяпу и сразу...

— Хорош растяпа, — сказала она. И добавила: — Ну, давайте, давайте.

Я ушел. Я пробирался через толпу вдоль края трибуны, а голос Вилли бил по моим барабанным перепонкам и стряхивал с дубов сухие листья. Обогнув трибуну, я оглянулся и увидел, как Вилли расшвыривает свои листки, которые падают, кружась, к его ногам, и колотит себя в грудь, крича, что

правда там и незачем писать ее на бумажках. Он стоял среди листков, подняв руку, заголившуюся до локтя, с лицом мокрым и красным, как тертая свекла, с чубом на лбу и выпученными, сверкающими глазами, пьяный как сапожник, а за ним висели сине-бело-красные флаги, и над ним – раскаленные медные небеса.

Я прошел немного по щебенке, а потом поймал грузовик, ехавший в город.

Ночью, когда все успокоилось и поезд, в котором сидел Дафи (с отчетом для Джо Гарисона), уже тащился под звездами по полынной

степи, а Вилли уже несколько часов лежал в постели, отсыпаясь после похмелья, я в своем номере аптонской гостиницы взял со стола бутылку и сказал Сэди:

– Не хотите ли еще лекарства, которое ломает прутья и вышибает доски?

– Что? – сказала Сэди.

– Вы все равно не поймете мысли, которую я выразил в столь грамматически безупречной форме, – сказал я и налил ей виски.

– А-а. Я забыла. Вы ведь ходили в университет.

Да, я с грамматической безупречностью ходил в университет, но, видимо, не усвоил там всего, что

полагалось бы знать человеку.

Вилли сдержал слово. Он собрал голоса для Макмерфи. Он не катался на буфере, не покупал мулов и не крал. Но он заездил до полусмерти свой приличный подержанный автомобиль — он гонял на нем по изрытой щебенке, по пыли, доходящей до ступиц, а в дождь застревал в черной грязи и сидел, дожидаясь, когда на подмогу придет пара мулов. Он стоял на приступках школ, на ящиках, одолженных в мануфактурной лавке, на возах, на верандах придорожных лавок и говорил. «Друзья, мякинные головы, голодранцы и братья вахлаки», —

начинал он, наклонившись вперед, всматриваясь в их лица. И замолкал, выжидая, пока до них дойдет. В тишине толпа начинала шевелиться и негодовать — они знали, что так их обзывают за глаза, но никто еще не осмеливался встать и сказать им это в лицо. «Да, — говорил он, кривя рот, — да, больше вы никто, и нечего злиться, если я говорю правду. А хотите злиться — злитесь, но я все равно скажу. Больше вы никто. И я — тоже. Я тоже голодранец, потому что всю жизнь копался в земле. Я — мякинная башка, потому что меня охмуряли златоусты в дорогих автомобилях. На тебе соску, и не ори! Я — вахлак, и они хотели, чтобы я

заставил вахлаков голосовать по-ихнему.

Но я встал с четверенек, потому что даже собака может этому научиться — дай только срок. Я научился. Не сразу, но научился — и теперь стою на своих ногах. А вы, вы стоите? Хоть этому вы научились? Сможете вы этому научиться?»

Он говорил им неприятные вещи. Он называл их неприятными именами, но каждый раз, почти каждый, беспокойство и негодование утихали, и он наклонялся к ним, выпучив глаза, и лицо его лоснилось под горячим солнцем или в красных отблесках факелов. Они слушали, а он приказывал им подняться с

четверенек. «Идите голосовать, — говорил он. — Сегодня голосуйте за Макмерфи, — говорил он, — потому что у вас нет другого кандидата. Голосуйте все, как один, — покажите им, на что вы способны. Выбирайте его, и если он обманет — пригвоздите к позорному столбу. Да, — говорил он наклоняясь, — пригвоздите его, если он обманет. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Голосуйте, — говорил он. — Выбирайте Макмерфи», — говорил он.

Он наклонялся к ним и внушал: «Слушайте меня, голодранцы. Слушайте меня и взгляните в лицо святой, не засиженной мухами

правде. Если у вас осталась хоть капля разума, вы увидите и поймете ее. Вот она, эта правда: вы – вахлаки, и никто никогда не помогал вахлакам, кроме них самих. Эти, из города, они не помогут вам. Все в ваших руках и в божьих. Но бог-то бог, да и сам не будь плох».

Он преподносил им это, а они стояли перед ним, засунув большие пальцы за лямки комбинезонов, и щурились на него из-под полей надвинутых шляп, словно он был пятнышком на другом краю долины или бухты и они еще не могли сообразить, что там виднеется, или как будто на том краю долины или поля вдруг зашевелился кустарник и

они гадали, что оттуда выскочит, а под полями надвинутых шляп челюсти трудились над жвачкой, в движении пунктуальном и неумолимом, как ход Истории. А Время — ничто для быдла, и для Истории тоже. Они наблюдали за ним, и если бы вы вгляделись в их лица, то заметили бы, как в них что-то просыпается. Они стояли совсем тихо, даже не переминались с ноги на ногу, — у них талант быть тихими; вы понаблюдайте их, когда они приезжают в город и стоят где-нибудь на углу, не шевелясь и не разговаривая, или сидят на корточках у дороги и просто смотрят туда, где дорога переваливает через холм, — и

прищуренные глаза их не мигая смотрели на человека, стоявшего перед ними. У них – талант быть тихими. Но иногда тишина нарушается. Она обрывается внезапно, как натянутая струна. Один из них тихо сидит на радении под открытым небом и вдруг поднимет руки и вскочит с воплем: «О Господи! Я увидел Его имя!» Или один из них спускает курок и сам удивляется звуку выстрела.

Вилли стоит над ними. Под солнцем или в красных отблесках бензиновых факелов. «Вы спрашиваете, какая у меня программа. Вот она, голодранцы. И запомните как следует. Распни их!

Распни Джо Гарисона. Распните всех, кто стоит у вас на пути. Распните Макмерфи, если он обманет. Распните всех, кто стоит на пути. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Пригвоздите их к двери хлева! И не стоняйте с них навозных мух индюшачьими крылышками!»

Да, это был Вилли. Имя у этого человека было прежнее.

Губернатором стал Макмерфи. И не без помощи Вилли: больше всего голосов было подано в тех округах, где он выступал, и цифры оказались рекордными за всю историю. Но Макмерфи с самого начала не знал, как себя с ним держать. Сперва он

открещивался от Вилли, потому что тот отзывался о нем не очень лестно, но потом, когда стало ясно, что к Вилли прислушиваются, он заегозил. А под конец Вилли встал на дыбы и начал рассказывать, как люди Макмерфи предлагали оплатить его расходы, но он выступает от себя и он не помощник Макмерфи, хотя призывает голосовать за Макмерфи. Он сам за себя заплатит, даже если придется в последний раз перезаложить папину ферму. Да, и если у кого нет двух долларов, чтобы заплатить избирательный налог, пусть придет и скажет прямо, и он, Вилли Старк, за него заплатит из денег, взятых под заклад папиной

фермы. Вот до чего он был убежден в своих словах.

Макмерфи пришел к власти, а Вилли вернулся в Мейзон-Сити и занялся адвокатской практикой. Год или около того он перебивался делами о краже кур, о потравах, о мелкой поножовщине (непременном развлечении на субботних танцах в Мейзон-Сити). Затем на мосту через реку Акамалджи, который строился штатом, обвалилась какая-то ферма, и при аварии пострадала бригада рабочих. Двое или трое из них погибли. Многие рабочие были из Мейзон-Сити и взяли адвокатом Вилли. Тут о нем написали все газеты. А дело он выиграл. Потом в

округе Акамалджи, к западу от округа Мейзон, нашли нефть, и Вилли участвовал в тяжбе нескольких независимых арендаторов с нефтяной компанией. Его сторона выиграла, и он впервые в жизни пощупал бумажные деньги. В большом количестве.

Все это время я не видел Вилли. Снова я встретился с ним только в 1930 году, когда его выдвинули кандидатом на первичных выборах в демократической партии. Но это были не выборы. Это был ад кромешный, а также бой в Крыму и субботняя ночь в салуне Кейзи, вместе взятые, и, когда дым рассеялся, на стенах не осталось

висеть ни одной картины. И не было никакой демократической партии. Был только Вилли — с чубом на глазах, в прилипшей к животу рубашке. В руках он держал мясницкий топор и кричал: «Крови!» А на заднем плане, под беспокойным красноватым небом, усеянным зловещими белыми пятнами, похожими на клочья пены, по обе стороны от Вилли маячили две фигуры — Сэди Берк и высокий сутулый мужчина с неторопливой речью, грустным загорелым лицом и тем, что называют глазами мечтателя. Мужчина был Хью Милер, юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайета, Groix de

guerre^[7], чистые руки, честное сердце, без политического прошлого. Этот человек сидел тихо многие годы, пока кто-то (Вилли Старк) не вложил в его руку бейсбольную биту, и тогда он почувствовал, как его пальцы сами собой сомкнулись на рукояти. Он был мужчиной и был генеральным прокурором. А Сэди Берк была просто Сэди Берк.

За гребнем холма прятались, конечно, и другие люди. Например, джентльмены, которые некогда были преданы Джо Гарисону, но, обнаружив, что никакого Джо Гарисона больше не предвидится – в политическом смысле, – ощутили потребность в новых друзьях. И

таким новым другом оказался Вилли. Он был для них последним прибежищем. Они решили наняться к Вилли Старку и расти вместе со страной. Вилли их нанял и в результате получил голоса избирателей, не принадлежащих к разновидности сиволапых. Немного спустя Вилли нанял даже Крошку Дафи, который стал начальником дорожного отдела, а затем, в последний срок правления Вилли, — помощником губернатора. Я не мог понять, для чего он нужен Вилли. Иногда я спрашивал Хозяина: «Зачем ты держишь этого обормота?» Иногда он только смеялся и ничего не отвечал. Иногда он говорил: «Черт

возьми, должен ведь кто-то быть помощником губернатора, а они все на одно лицо». Но однажды он сказал: «Я держу его потому, что он мне кое о чем напоминает».

— О чем?

— О том, чего я не хочу забывать.

— О чем не хочешь?

— О том, что, если они приходят к тебе с задушевными разговорами, лучше их не слушать. И это я не намерен забывать.

Значит, вот в чем было дело. Крошка был одним из тех, кто приезжал к Вилли на большой машине и вел задушевные разговоры, когда Вилли был маленьким провинциальным адвокатом.

Но в этом ли было дело? Вернее, только ли в этом? Мне казалось, что есть еще одна причина. Хозяин, наверно, испытывал какое-то удовлетворение оттого, что мог вознести Крошку Дафи. Он уничтожил Крошку Дафи, а потом собрал по кусочкам – и Дафи стал творением его рук. Хозяину было приятно смотреть на золотую оснастку Дафи, на его бриллиантовый перстень и думать, что все это – бутафория, пшик, что стоит ему пальцем шевельнуть, и Дафи растает, как струйка дыма. В каком-то смысле карьера Крошки была не только делом рук Хозяина, но и его местью Крошке, ибо всякий

раз, когда Вилли обращал на Крошку сонный, задумчивый взгляд, тот вспоминал, холодея жирным своим сердцем, что стоит Хозяину моргнуть, и от него останется одно воспоминание. В каком-то смысле успех Крошки был для Вилли окончательным подтверждением его собственного успеха.

Но только ли в этом было дело? В конце концов я решил, что главная причина запрятана глубже. Странный вывих природы сделал Крошку Дафи вторым «я» Вилли Старка; гадливость и оскорбления, которые доставались Крошке от Хозяина, были выражением неосознанной внутренней необходимости и на

самом деле обращены одним «я» Вилли Старка на его другое «я».

Но это я понял гораздо позже, когда все кончилось.

А пока что Вилли просто стал губернатором, и никто не знал, чем это кончится.

А пока что — во время предвыборной кампании — я потерял работу. Работал я политическим обозревателем в «Кроникл». Я вел колонку. Я был элитой.

В один прекрасный день Джим Медисон призвал меня на зеленый ковер, который окружал его стол, как пастбище.

— Джек, — сказал он, — тебе известно, какова линия «Кроникл»

на этих выборах?

— Конечно, — ответил я, — «Кроникл» хочет переизбрать Сэма Макмерфи за его выдающиеся достижения на административном поприще и за его безупречную репутацию как государственного деятеля.

Он кисло улыбнулся и сказал:

— Да, она хочет переизбрать Сэма Макмерфи.

— Прошу прощения, я забыл, что нахожусь в лоне семьи. Я думал, что еще пишу свой обзор.

Улыбка сошла с его лица. Он поиграл карандашом.

— Насчет твоих обзоров я и хотел поговорить.

– Ну? – сказал я.

– Ты не можешь немного подбавить пару? У нас ведь выборы, а не собрание Эпвортской лиги^[8].

– Правильно. Выборы.

– А ты не можешь подбавить пару?

– Когда речь идет о Сэме Макмерфи, – сказал я, – у тебя даже мухи нет, чтобы сделать слона. Я делаю что могу.

Он на минуту задумался. Затем начал:

– Видишь ли, то, что этот Старк твой приятель, вовсе...

– Никакой он мне не приятель, – огрызнулся я. – Я его даже не видел с прошлых выборов. Лично мне все

равно, кто будет губернатором штата или какая свинья сядет на это место. Но я человек подневольный и стараюсь изо всех сил, чтобы на страницах «Кроникл» не отразилось мое пламенное убеждение, что Макмерфи — одна из самых фантастических свиней...

— Тебе известна линия «Кроникл», — мрачно произнес Джим Медисон, изучая изжеванный окурок своей сигары.

День был знойный, ветер от вентилятора целиком доставался Джиму Медисону, а не мне, и в горле у меня тянулась нитка кислой, желтой на вкус слюны, вроде той, какая появляется при расстройстве

желудка, а голова трещала, как сушеная тыква, в которой перекачивается пара семечек. Поэтому я посмотрел на Джима Медисона и сказал:

– Хорошо.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил он.

– То, что я сказал, – ответил я и направился к двери.

– Послушай, Джек, я... – начал он и положил окурок в пепельницу.

– Знаю, – сказал я, – у тебя жена и дети, и надо платить за мальчика в Принстоне.

Я сказал это на ходу. За дверью в коридоре стоял бачок с холодной водой; я подошел к нему, взял

остроконечный бумажный стаканчик и выпил с десятков стаканчиков ледяной воды, пытаясь смыть с неба эту желтую пакость.

Потом я постоял в коридоре, ощущая тяжесть в животе, словно туда засунули пузырь со льдом.

Теперь я мог спать допоздна, а проснувшись — лежать неподвижно и просто смотреть на горячие, цвета топленого масла лучи, проникавшие сквозь дырки в шторе, потому что моя гостиница была не лучшей в городе, а мой номер — не лучшим в гостинице. Когда моя грудь поднималась при вдохе, мокрая простыня прилипала к голому телу —

потому что в летнее время здесь спят только так. С улицы доносился лязг трамваев и отдаленные гудки машин — не слишком громкая, но пестрая и не ослабевающая смесь звуков, ворсисто-грубая для нервных окончаний; изредка слышался стук подносов, потому что мой номер был по соседству с кухней. А время от времени там заводил свою песню негр. Я мог лежать сколько душе угодно и тасовать в голове картинки того, что бывает нужно человеку — кофе, женщина, деньги, выпивка, белый песок и синее море, — а потом скидывать их одну за одной, ссыпать, словно колоду карт с ладони. Наверно, вещи, которые вам нужны,

похожи на карты. Они вам нужны не сами по себе, хотя вы этого не понимаете. Карта нужна вам не потому, что вам нужна карта, а потому, что в совершенно условной системе правил и ценностей и в особой комбинации, часть которой уже у вас на руках, эта карта приобретает значение. Но скажем, вы не участвуете в игре. Тогда, даже если вы знаете правила, карта ничего не означает. Все они одинаковы.

Вот я и лежал, хотя знал, что немного погодя встану — не решу встать, а просто окажется, что я уже стою посреди комнаты; и точно так же с некоторым изумлением обнаружу потом, что я пью кофе,

размениваю деньги, развлекаюсь с девушкой, потягиваю виски, плаваю в воде. Как больной амнезией за пасьянсом в лечебнице. Я встану и сдам себе карты, да-да. Позже. А сейчас я буду лежать, зная, что вставать мне нет нужды, и испытывая блаженную пустоту и усталость, словно святой после ночной беседы с Богом. Ибо Бог и Ничто имеют много общего. Взгляните на секунду любому из них в лицо — и эффект будет один и тот же. Ложился я спозаранку. Иногда сон становится серьезным и захватывающим делом. Вы уже не спать ложитесь для того, чтобы встать утром, а встаете для того,

чтобы опять лечь спать. И среди дня вы ловите себя на том, что стоите неподвижно, ждете и прислушиваетесь. Вы как мальчик на железнодорожной станции, который хочет уехать на поезде, а поезда все нет. Вы смотрите на полотно, но пятнышко черного дыма никак не появляется. Вы слоняетесь по перрону и вдруг замираете на полшаге и прислушиваетесь. Ничего не слышно. Тогда вы становитесь коленками на шпалы в своем выходном костюмчике, за который мать пообрывает вам уши, прижимаетесь щекой к рельсу и ждете первого беззвучного шороха, который придет задолго до того, как

черное пятнышко дыма начнет расти в небе. Так среди дня вы прислушиваетесь к наступлению ночи — задолго до того, как она выползет из-за горизонта, задолго, задолго до того, как надвинется на вас ее гремющая жаркая черная махина, и черные вагоны, заскрежетава, остановятся точно вкопанные, и проводник с лоснящимся черным лицом подсадит вас на ступеньки и скажет: «Да, саа, молодой хозяин, да, саа». В таком сне вам ничего не снится, но вы постоянно ощущаете присутствие сна, словно вам давно снится, что вы спите, и в этом внутреннем сне вам тоже снится, что вы спите, спите и

видите сон о сне — и так без конца, до самой сердцевины.

Так было со мной после того, как я потерял работу. И было не в первый раз. Я уже испытал это дважды. Я даже дал этому название —

Великая Спячка. Еще тогда, когда ушел из университета за несколько месяцев до окончания дипломной работы по американской истории. Она была почти закончена и преподавателям нравилась. Отпечатанные листки стопкой лежали на столе возле пишущей машинки. Рядом стояли ящики с карточками. Я вставал поздно, смотрел на них и видел, как углы верхнего листка заворачиваются

вокруг пресс-папье. Я видел их вечером, после ужина, ложась спать. Наконец однажды утром я вышел за дверь и больше не вернулся – оставил их на столе. А во второй раз Великая Спячка напала на меня, когда я ушел из своей квартиры и Лоис возбудила дело о разводе. На этот раз не было ни американской истории, ни Лоис. Но Великая Спячка была.

Встав, я начинал бездельничать. Я ходил в кино, торчал в барах, плавал или ехал в загородный клуб и лежал там на траве, глядя, как пара ражих коблов гоняет ракетками маленький белый мячик, вспыхивающий на солнце. А иногда играла девушка, и ее короткая белая

юбка завинчивалась и полоскалась вокруг загорелых бедер, тоже вспыхивая на солнце.

Несколько раз я навещал Адама Стентона, человека, с которым мы вместе выросли в Берденс-Лендинге. Он был теперь выдающимся хирургом, и под нож к нему лезло больше народу, чем он успевал резать; он был профессором университета, без конца печатал статьи в научных журналах и читал доклады на съездах в Нью-Йорке, Балтиморе, Лондоне. Он так и не женился. «Не хватило времени», — говорил он. Ему ни на что не хватало времени. Но для меня ему изредка удавалось выкроить время, и тогда он

сажал меня на обшарпанное кресло в своей обшарпанной квартире, где все было забито бумагами и цветная служанка развозила по мебели пыль. Я удивлялся, почему он так живет — ведь заработки у него должны быть неплохие, но в конце концов понял, что он не берет ни гроша со многих своих пациентов. У него сложилась репутация простачка. А когда он получал деньги, то любой мог их у него выманить, если имел про запас хоть сколько-нибудь жалостливую историю. Единственным стоящим предметом в его квартире был рояль — действительно самый дорогой и самый лучший.

Почти все время, пока я

находился у Адама, он сидел за роялем. Мне объясняли, что он хорошо играет, я в этом не разбираюсь. Но послушать я мог, если кресло было мягкое и удобное. Я не раз говорил, и Адам, наверное, слышал, что к музыке я равнодушен; но либо он это забыл, либо не мог поверить, что такие люди бывают на свете. Как бы там ни было, он поворачивал ко мне голову и говорил: «Это... нет, ты послушай... это же, ей-богу...» Но голос его замирал, и слова о том, какая это, ей-богу, несказанная красота, так и оставались произнесенными. Он оставлял фразу висеть и медленно раскручиваться в воздухе, как кусок

перетершейся веревки, смотрел на меня ясными, глубоко посаженными, льдисто-голубыми, отрешенными глазами — такие глаза и такой взгляд бывают у вашей совести в четыре часа утра, — а затем, в отличие от вашей совести, начинал улыбаться — не широкой, но смущенной, почти извиняющейся улыбкой, которая преображала крепко сжатый рот и квадратную челюсть и, казалось, говорила: «Черт, ну что я могу сделать, дружище, если у меня такой взгляд, если я не умею смотреть по-другому». Затем улыбка исчезала, он поворачивался к роялю и опускал руки на клавиши.

Рано или поздно, устав играть,

он усаживался в другое обшарпанное кресло. Иногда, спохватившись, он мог налить мне виски с содовой, а иногда даже сам выпивал стаканчик — бледного, как солнечный свет зимой, и почти такого же крепкого. Мы сидели молча, потихоньку отхлебывали виски, и глаза его горели холодным голубым огнем, особенно голубым из-за смуглости кожи, туго обтянувшей кости его лица. Это было похоже на те времена, когда мы мальчишками отправлялись из Берденс-Лендинга удить рыбу. Час за часом мы сидели в лодке под жарким солнцем — без единого слова. Или валялись на берегу. Или уходили в поход и после

ужина лежали у дымного костра, чтобы спастись от москитов, и не произносили ни слова.

Может быть, Адам потому и сидел со мной, что я напоминал ему о Берденс-Лендинге и о тех днях. Сам он не говорил об этом. Но один раз заговорил. Он сидел в кресле, глядя на свой стакан с глазной примочкой и медленно поворачивая его в длинных твердых нервных пальцах. Потом он поднял на меня глаза и сказал:

— А хорошо нам жилось, правда? Когда мы были ребятами.

— Да, — сказал я.

— Ты, я и Анна, — сказал он.

— Да, — сказал я и подумал об

Анне. Потом я сказал:

— А сейчас тебе разве плохо живется?

Он принял вопрос на рассмотрение и с полминуты думал, словно вопрос был серьезным. Каковым он, возможно, и был. Потом Адам ответил:

— Знаешь, кажется, я никогда об этом не задумывался. — И немного погодя: — Нет, я никогда об этом не задумывался.

— Разве плохо тебе живется? Ведь ты знаменитый. Разве знаменитым плохо живется? — приставал я. Я понимал, что человек не имеет права задавать такие вопросы, особенно таким тоном, как

я; но отвязаться я не мог. Вы росли с ним вместе — и он добился успеха, он — знаменитый, а вы — неудачник; но обращается, он с вами, как раньше, словно ничто не изменилось. Именно это и заставляет вас подковыривать — какими бы именами вы себя ни обзывали. Есть снобизм неудачников. Это — общество, это — старая школа, это — Череп и Кости^[9], и нет усмешки кривее и высокомернее, чем усмешка пьяного, когда он привалится грудью к стойке рядом со старым приятелем, который сделался знаменитым, но совсем не изменился, или когда старый приятель приводит его к себе обедать и знакомит с хорошенькой

ясноглазой женщиной и румяными ребятишками. В обшарпанной комнате Адама не было хорошенькой женщины, но он был знаменитым, и я себе позволил.

А он этого не заметил. Он только обратил на меня свой правдивый голубой взгляд, слегка затуманенный мыслью, и сказал: «Я вообще не задумываюсь о таких вещах». Потом улыбка сделала этот фокус с его ртом, который в обычных обстоятельствах выглядел как точный, чистый хирургический надрез, хорошо залеченный, без всяких морщин.

Теперь, в меру сил отыгравшись за свои неудачи, я мягко нажал на

тормоза и ответил:

– Да, нам хорошо жилось, когда мы были ребятами. Ты, Анна и я.

Да, Адаму Стентону, Анне Стентон и Джеку Бердену хорошо жилось в Берденс-Лендинге – у моря, где край Земли. С залива мог налететь и налетал порою шквал, небо застилал дождь, пальмы раскачивались не стройно, а потом пригибались разом, и листья их, как мокрая жесьть, ловили последние отблески вспухшего, желтушного, клочковатого неба; но нас у моря, где край Земли, ветер убить и сгубить не мог; мы прятались в белом доме – их доме или моем, – стояли у окна и смотрели, как за дамбой, словно

сбитые сливки, растет прибой. А позади нас, в комнате сидел губернатор Стентон, или мистер Элис Берденс, или оба, потому что они были друзьями, или судья Ирвин, потому что он тоже был другом, и не было на свете ветра, который осмелился бы нарушить покой губернатора Стентона, мистера Элиса Берденс и судьи Ирвина.

«Ты, Анна и я», — сказал мне Адам Стентон, и я сказал это ему. Поэтому однажды утром, выбравшись из постели, я позвонил Анне и сказал:

— Я давно о тебе не вспоминал, но на днях зашел к Адаму, и он сказал, что тебе, ему и мне хорошо

жилось, когда мы были ребятишками. Не пообедать ли нам с тобой по этому случаю? Пусть мы на костылях...

Она ответила, что согласна. До костылей, конечно, ей было далеко, но время мы провели не очень весело.

Она спросила, что я делаю, и я ответил ей: «Ни черта. Жду, пока кончатся деньги». Она не сказала, что я должен чем-нибудь заняться, и, судя по лицу, даже не подумала. Что уже было неплохо. Поэтому я сам спросил, что она делает, и она, засмеявшись, ответила: «Ни черта». Но я ей не поверил, потому что она вечно возилась с какими-то

сиротами, идиотами и слепыми неграми, не получая за это ни гроша. И, глядя на нее, нетрудно было понять, что она многое растрчивает понапрасну — речь идет не о деньгах. Поэтому я сказал:

— Что ж, надеюсь, ты занимаешься этим в приятной компании.

— Не особенно.

Я посмотрел на нее внимательно и увидел то, что ожидал увидеть и видел много раз, когда мы не сидели друг против друга. Я увидел Анну Стентон, которая, может, и не была красавицей, но была Анной Стентон. Анна Стентон: смуглое, с золотистым отливом лицо,

но не такое темное, как у Адама; под кожей угадывается основательный костяк, и натянута она так же туго, как у Адама, словно изготовитель не желал расходовать материал на излишние припухлости и отформовал продукт довольно аккуратно. Темные волосы с ровным пробором зачесаны гладко, почти туго. Голубые глаза смотрят с той же прямоотой, что и у Адама, но ясная, отрешенная, льдистая голубизна уступила здесь место более глубокой и тревожной. По крайней мере иногда уступала. Они были очень похожи, Анна и Адам. Они могли сойти за близнецов. Даже улыбка у них была одинакова. Но не рот. В

данном случае он ничем не напоминал решительного, чистого, хорошо залеченного хирургического разреза. На эту деталь формовщик позволил себе потратить немного лишнего материала. Не слишком много. Но достаточно. Такой была Анна Стентон, и я увидел то, что ожидал увидеть.

Она сидела передо мной очень прямо, высоко держа голову на ровном круглом стебле шеи, поднимавшемся из узких прямых плеч, и ее тонкие, но округлые голые руки были с математической правильностью прижаты к бокам. Глядя на нее, я представлял себе, как правильно и симметрично сложены

под столом ее ноги – бедро к бедру, колено к колену, лодыжка к лодыжке. В ней всегда было что-то стилизованное, что-то напоминавшее барельефы и статуэтки царевен позднего Египта, где изящество и мягкость, не переставая быть изяществом и мягкостью, схвачены в математически строгой форме. Анна Стентон всегда смотрела прямо на вас, но вам казалось, что она смотрит вдаль. Она всегда держала голову высоко, и вам казалось, что она прислушивается к какому-то голосу, которого вам не слышать. Она всегда стояла прямо, подобравшись, и вам казалось, что ее изящество и мягкость подчинены

строгой идее, которой вам не разгадать.

Я сказал:

– Решила остаться старой девой?

Она засмеялась и ответила:

– Я ничего не решила. Давно не строю никаких планов.

Потом мы танцевали в тесном, с носовой платок, пространстве между столами бара, уставленными бутылками дешевого красного вина и тарелками с куриными костями и недоеденными макаронами. Минут пять этот танец для меня еще что-то значил, но потом он стал напоминать выполнение какой-то сложной и мрачной работы во сне – в ней как будто и есть смысл, но что за смысл,

ты понять не можешь. Потом музыка смолкла, и окончание танца было похоже на пробуждение, когда ты рад проснуться, избавиться от сна, но вместе с тем подавлен, потому что уже никогда не узнаешь, в чем там было дело.

Она, должно быть, чувствовала то же самое: когда я снова пригласил ее потанцевать, она сказала, что ей не хочется и давай лучше просто поговорим. Мы разговаривали долго, но это было не лучше танца. Нельзя без конца разговаривать о том, до чего же, черт подери, хорошо тебе жилось в детстве. Я проводил ее до дома, который был много приличнее, чем притон Адама, потому что

губернатор Стентон умер не нищим. В вестибюле она сказала мне «спокойной ночи» и «будь хорошим мальчиком, Джек».

— Ты пойдешь еще со мной обедать? — спросил я.

— Конечно, когда захочешь, — ответила она. — В любое время дня и ночи. Сам знаешь.

Да, я это знал.

И она ходила со мной обедать, несколько раз. В последний раз она сказал:

— Я видела твоего отца.

— Ага, — отозвался я равнодушно.

— Не будь таким, — сказала она.

— Каким таким?

— Ты прекрасно понимаешь, о

чем я говорю. Неужели тебе не интересно, как живет твой отец?

— Я знаю, как он живет, — ответил я. — Сидит в своей норе, или возится с дармоедами в благотворительном обществе, или пишет эти дерьмовые листовки, которые они раздают на улице — все тот же самый Марк 4,6 и Нов 7,5, — и очки у него на кончике носа, а перхоть на черном пиджаке — как буран в Дакоте.

Помолчав с минуту, она сказала:

— Я встретила его на улице, он плохо выглядит. У него совсем больной вид. Я его даже не узнала.

— Пытался всучить тебе это барахло?

— Да, — сказала она. — Он протянул мне листок, а я так торопилась, что взяла его совершенно механически. Потом заметила, что он на меня смотрит. Я его не сразу узнала. Это было недели две назад.

— Я его почти год не видел, — сказал я.

— Джек, ты не должен так поступать. Надо к нему пойти.

— Да пойми ты, что я могу ему сказать? Ему со мной тоже не о чем говорить, честное слово. Кто его заставляет так жить? Почему он ушел из своей конторы и даже дверь не потрудился за собой закрыть?

— Джек, — сказала она, — ты...

– Он живет как ему хочется. А кроме того, он дурак, если поступил так только потому, что не мог ужиться с женщиной, особенно с такой, как моя мамаша. Если он не мог ей дать то, чего ей надо – не знаю, какого рожна ей надо, – и он не мог ей дать...

– Не смей так говорить, – резко сказала она.

– Слушай, – сказал я, – если твой старик был губернатором и умер на кровати из красного дерева с балдахином, и над ним куковала парочка дорогих врачей, и прикидывала в уме сумму гонорара, и если ты думаешь, что он был святым угодником в черном галстуке, то это

не значит, что ты должна разговаривать со мной, как старая тетя. Я не о твоей семье говорю. Я говорю о своей, и все, что я говорю, — чистая правда. А если ты...

— Не обязательно говорить об этом со мной, — прервала она. — И с кем бы то ни было.

— Это правда.

— О, правда! — воскликнула она, сжав на столе руку в кулак. — Откуда ты знаешь, что это правда? Ничего ты о них не знаешь. Ты не знаешь, что их заставляло поступать так, как они поступали.

— Я знаю правду. Я знаю что такое моя мать. И ты знаешь. И я знаю, что отец мой дурак, если

позволил ей превратить себя в ничтожество.

– Почему в тебе столько горечи?
– сказала она и, схватив меня за руку повыше запястья так, что я почувствовал сквозь рукав ее сильные пальцы, слегка тряхнула ее.

– Нет во мне горечи. Плевать мне, что они с собой сделали. И делают. И почему.

– Джек, – сказала она, все еще сжимая мою руку, но уже слабее, – неужели ты не можешь хоть немножко их любить, или простить их, или хотя бы о них не вспоминать? Относиться к ним не так, как относишься.

– Я могу прожить всю жизнь и

не вспомнить о них, — ответил я. Тут я заметил, что она тихонько покачивает головой из стороны в сторону, что глаза у нее стали совсем темными и чересчур блестят и что она прикусила нижнюю губу. Я снял ее руку со своей, положил на скатерть и накрыл ладонью. — Прости, я жалею, что затеял этот разговор, — сказал я.

— Нет, Джек, — отозвалась она, — ты не жалеешь. Нет. Ты никогда ни о чем не жалеешь. И ничему не радуешься. Ты просто... ох, не знаю кто.

— Я жалею, — сказал я.

— Нет, тебе только кажется, что жалеешь. Или радуешься. А на самом

деле — нет.

— Если тебе кажется, что ты жалеешь, какой дьявол имеет право говорить тебе, что это не так? — возразил я, ибо, как известно, я был тогда твердокаменным Идеалистом и не собирался устраивать плебисцит о том, жалею я или нет.

— Это правильно, на словах, — сказала она. — И все равно неправильно. Я не знаю почему... Нет, знаю — если ты никогда этого не испытывал, откуда ты можешь знать теперь, жалеешь ты или нет, радуешься или не радуешься?

— Хорошо, — ответил я, — скажем так: что-то во мне происходит, и мне угодно называть это сожалением.

– Сказать так ты можешь, но тебе это неизвестно. – И, вырвав руку из-под моей, она добавила: – Ну да, ты начинаешь жалеть, или радоваться, или еще что-нибудь, но этим все и кончается.

– Ты хочешь сказать – как зеленое яблочко, в котором завелся червяк, и оно падает, не успев созреть?

Она засмеялась и ответила:

– Да, зеленое яблочко, которое зачервивело.

– Ладно, – сказал я, – вот тебе зеленое яблочко с червяком – я сожалею.

Я жалел – или испытывал то, что в моем лексиконе называется

сожалением. Я жалел, что испортил вечер. Но внутренняя честность подсказывала мне, что тут почти нечего было портить.

Я больше не приглашал ее обедать – по крайней мере пока я был без работы и предавался сну. Я уже отыскал Адама и послушал, как он играет на рояле. Я уже посидел за тарелкой макарон и красным вином и посмотрел на Анну Стентон. И, поддавшись ее уговорам, я отправился в трущобы и повидал старика – не очень высокого, когда-то плотного старика, чьи волосы стали седыми, лицо в очках, сидевших на кончике носа, обвисло пухлыми серыми складками, а плечи, усохшие

и засыпанные перхотью, опустились под тяжестью самостоятельно существующего аккуратного животика, который торчал над поясом мешковатых штанов, распирая черный пиджак. И во всех трех случаях я нашел то, что ожидал найти, ибо жизнь их сложилась и никаких изменений не могло произойти в том, что сложилось. Я погружался в сон, как в воду, и они вновь мелькнули перед моими глазами, как, по рассказам, мелькает прошлое перед глазами утопающего.

Что же, теперь я мог вернуться ко сну. Во всяком случае, пока не кончатся деньги. Я мог стать Рипом Ван Винклем. Только, на мой взгляд,

про него рассказали неправду. Вы засыпаете на долгое время, а когда просыпаетесь, оказывается, что все на свете осталось по-прежнему. Сколько бы вы ни проспали, ничто не меняется.

Но спал я недолго. Я нашел работу. Вернее, работа меня нашла. Однажды утром меня разбудил телефонный звонок. Это была Сэди Берк, и она сказала:

— Приезжайте сюда, в Капитолий, к десяти. Хозяин хочет вас видеть.

— Кто? — сказал я.

— Хозяин, — ответила она, — Вилли Старк, губернатор Старк. Вы что, газет не читаете?

– Нет, но мне говорили что-то в парикмахерской.

– Правильно говорили. Хозяин просил вас приехать к десяти. – Она повесила трубку.

«Да, – сказал я себе, – возможно, кое-что и меняется, пока ты спишь». Но в душе я в это не верил, не верил даже тогда, когда входил в большой кабинет, обшитый черными дубовыми панелями, и шагал по длинному красному ковру под взглядами бородатых стариков, смотревших на меня с настоящих портретов маслом, – к человеку, который не был ни старым, ни бородатым, но сидел за столом спиной к высоким окнам и встал при

моем приближении. «Черт, – подумал я, – это ведь просто Вилли».

Это был просто Вилли, хоть и одетый не в ту деревенскую синюю диагональ, которой он щеголял в Антоне. Но и новое было надето кое-как: пуговица на воротничке расстегнута, узел галстука сбился на сторону. Волосы свисали на лоб, как всегда. Сначала мне показалось, что мясистые губы сжаты плотнее обычного, но, прежде чем я успел в этом убедиться, он с улыбкой вышел из-за стола. И тогда я опять решил, что передо мной просто Вилли.

Он протянул руку и сказал:

– Привет, Джек.

– Поздравляю, – сказал я.

– Я слышал, тебя выгнали?

– Ты ослышался, – сказали. – Я сам ушел.

– Молодец, – сказал он, – когда я рассчитаюсь с этой конторой, она не то что тебе – негру не сможет платить, который плевательницы чистит.

– Не возражаю.

– Хочешь работать? – спросил он.

– Готов выслушать предложение.

– Три сотни в месяц, – сказал он, – плюс дорожные расходы. Если придется ездить.

– На кого я работаю? На штат?

– Нет. На меня.

– Похоже, что ты будешь

работать на меня. Губернатор получает всего пять тысяч в год.

— Ладно, — сказал он и рассмеялся. — Значит, я буду работать на тебя.

Тут я вспомнил, что он неплохо преуспел на адвокатском поприще.

— Попробуем, — сказал я.

— Прекрасно, — сказал он. — Люси хочет тебя видеть. Завтра вечером приходи обедать.

— Куда, в резиденцию?

— А куда же еще, черт возьми? На турбазу? В меблированные комнаты? Конечно, в резиденцию.

Да, в резиденцию. Он будет обходиться со мной, как в старое время, приведет к себе обедать и

познакомит с хорошенькой женщиной и румяным ребенком.

— Мы совсем заблудились в этом сарае, — говорил он, — Люси, Том и я.

— Что я должен делать? — спросил я.

— Кушать, — сказал он. — Прийти в полседьмого и как следует покушать. Позвони Люси и скажи ей, чего ты хочешь на обед.

— Я спрашиваю: что я должен делать на работе?

— Понятия не имею, — ответил он. — Что-нибудь подвернется.

Тут он был прав.

Когда я приезжал домой и встречался с матерью, каждый раз происходило одно и то же. Я удивлялся, что это происходит, хотя заранее знал, что произойдет. Я приезжал домой с твердым убеждением, что я ей совершенно безразличен, что я — лишь один из мужчин, которых она хочет иметь около себя, ибо она была из той породы женщин, которые хотят, чтобы около них вились мужчины и плясали под их дудку. Но стоило мне ее увидеть, как я обо всем этом забывал. Иногда забывал, еще и не

успев ее увидеть. Так или иначе, забыв, я удивлялся, почему мы не можем с ней ужиться. Я удивлялся, хотя прекрасно знал, что произойдет, знал, что сцена, в которой я должен выступить, и слова, которые я произнесу, — все это уже было и будет, что сейчас я шагну в просторную, высокую белую прихожую с полом, отсвечивающим, как темный лед, и в дальнем конце ее, в дверях комнаты, освещенной неверными отблесками камина, появится моя мать и улыбнется невинно-радостной улыбкой, как девочка. Она пойдет мне навстречу, дробно и нетерпеливо постукивая каблуками, смеясь торопливым

горловым смехом, подойдет, прищипнет большими и указательными пальцами борта моего пиджака — по-детски слабым и в то же время требовательным жестом — и поднимет ко мне лицо, слегка наклонив его набок, чтобы я мог запечатлеть на нем положенный поцелуй. Щека ее будет твердой и гладкой, прохладной; я вдохну запах ее любимых духов, увижу аккуратно выщипанную линию брови, тонкую сетку морщин на коричневатых веках и в углу быстро мигающего голубого глаза. Глаз, блестящий и чуть-чуть выпуклый, будет смотреть на что-то за моей спиной.

Так бывало каждый раз: когда я

возвращался из школы, когда я возвращался из летних походов, когда я возвращался из университета, когда я приезжал в отпуск, — и так же точно было в тот дождливый день на пороге весны 1933 года, когда я вернулся домой после долгого отсутствия. С последнего моего приезда прошло месяцев шесть или восемь. Тогда мы поссорились из-за того, что я работаю у губернатора Старка. Рано или поздно мы ссорились всякий раз, а в последние два с половиной года, с тех пор, как я начал работать у Вилли, все ссоры в конечном счете сводились именно к этому предмету. Даже если не упоминалось его имя, тень его все

время стояла у нас за плечами. Впрочем, и неважно, что было поводом для ссоры. Над нами стояла другая тень, длиннее и сумрачнее тени Старка. Но я всегда возвращался — вернулся и на этот раз. Что-то помимо воли тянуло меня домой. И всегда казалось, будто начинаешь с чистой страницы, отмечаешь все, что на самом деле нельзя отместить.

— Оставь чемоданы в машине, — сказала она, — их принесут. — И повела меня к открытой двери гостиной, где горел камин, и через всю гостиную к длинной кушетке. На стеклянном столике я увидел вазу со льдом, сифон содовой и бутылку шотландского виски; на них играли

отблески камина.

— Садись, — сказала она, — сядь, мальчик, — и пальцами правой руки прикоснулась к моей груди, как бы толкая. Толчка почти не было, я не потерял равновесия, но все же сел и откинулся на кушетке. Она налила мне стакан и чуть-чуть плеснула себе, из вежливости, потому что пила мало. Протянув мне стакан, она опять засмеялась быстрым горловым смехом.

— Выпей, — сказала она с таким выражением лица, будто предлагала мне нечто совершенно исключительное и по ценности не сравнимое ни с чем на земном шаре.

Много виски есть на свете —

есть даже шотландское, но я взял стакан и, отпив, почувствовал, что это и в самом деле нечто исключительное.

Она легко опустилась на кушетку, напомнив мне этим движением птичку, которая вспорхнула на ветку и начинает охорашиваться. Отпив из стакана, она закинула голову, словно желая поскорее пропустить виски в горло. Одну ногу она подвернула под себя, а другую вытянула, едва касаясь пола острым носком серой замшевой туфельки — изящно, как балерина. Затем она повернулась ко мне всем торсом, не сгибая талии, отчего ее серое платье слегка перекрутилось.

Свет камина обрисовывал ее тонкие правильные черты, оставляя половину лица в тени и оттеняя голодную, призывную впадинку под скулой (я всегда думал — с тех пор, как подрос настолько, чтобы думать, — что этим она и брала их, трогательной впадинкой) и плавный стремительный подъем ее взбитой прически. Волосы у нее были желтоватые, как металл, тронутые уже сединой, но и седина отливала металлом, словно канитель, вплетенная в желтое. Казалось, все так и было задумано с самого начала — дьявольски дорогая штучка.

Я смотрел на нее и думал: «Да, ей пошел пятьдесят пятый, однако

надо отдать ей должное». И вдруг я почувствовал себя стариком, и начало моих тридцати пяти лет утонуло в бесконечно далеком прошлом. Однако надо отдать ей должное.

Она смотрела на меня молча, тем взглядом, который всегда говорит: «У тебя есть то, что я хочу, что мне нужно, что я должна иметь» и еще говорит: «У меня для тебя тоже что-то есть, я пока не скажу, что, но и для тебя что-то есть». Впадинки под скулами: голод. Блеск в глазах: обещание. И оба – вместе. Целый фокус.

Я допил и продолжал держать стакан в руке. Она взяла его, глядя на меня по-прежнему, и поставила на

столик. Затем сказала:

— Мальчик, у тебя усталый вид.

— Нет, — ответил я, чувствуя, как во мне пробуждается упрямство.

— Ты устал, — сказала она и, взяв меня за рукав, потянула к себе. Сначала я не поддавался. Я просто расслабил руку. Она тянула едва-едва, но все-время смотрела мне в лицо.

Я сдался, опрокинулся на нее. Я лег на спину, головой к ней на колени, как и предвидел с самого начала. Левую руку она опустила мне на грудь и двумя пальцами стала крутить пуговицу рубашки, а правую положила на лоб. Потом накрыла ею глаза и медленно провела вверх, по

лбу. Руки у нее всегда были прохладные. Это одно из первых моих детских впечатлений.

Она долго молчала. Она просто водила ладонью по моим глазам и лбу. Я знал, что из этого выйдет, знал, что выходило всегда и будет выходить потом. Но она умела устроить маленький островок прямо посреди времени и вашего знания, которое — всего лишь след, оставленный на вас временем. Наконец она сказала:

— Ты устал, мальчик.

А я не был усталым, и неусталым тоже не был, и усталость не имела никакого отношения к тому, что происходит. Потом, немного погодя:

– Ты много работаешь, мальчик?
Я сказал:

– Так, не очень.

И погода еще немного:

– Этот человек... этот человек, у которого ты работаешь...

– Ну что еще? – сказал я. Рука на моем лбу остановилась, и я знал, что остановил ее мой голос.

– Ничего, – сказала она. – Только тебе не обязательно работать у этого человека. Теодор мог бы устроить тебя...

– Мне не нужно никакой работы от Теодора, – сказал я и попробовал сесть, но попробуйте сесть, если вы лежите навзничь на мягкой кушетке и кто-нибудь держит руку у вас на

лбу.

Крепко прижав ладонь к моему лбу, она наклонилась и сказала:

– Ну зачем ты, зачем? Теодор – мой муж и твой отчим, зачем ты так говоришь – он с удовольствием...

– Слушай, – сказал я, – можешь ты понять...

Но она перебила:

– Тсс, мальчик, тсс, – накрыла мне ладонью глаза и снова стала гладить меня по лбу.

Больше она ничего не сказала. Но она уже сказала то, что сказала, и ей пришлось опять начинать свой фокус с островком. Может, она для того и завела разговор, чтобы показать фокус еще раз, показать, на

что она способна. Словом, она его показала, и он опять получился.

Вскоре хлопнула входная дверь, и в прихожей раздались шаги. Я понял, что это Теодор Марел, и опять попробовал сесть. Но даже сейчас она не отпускала меня и нажимала ладонью на лоб до самой последней секунды, пока шаги Теодора не зазвучали в гостиной.

Я встал, чувствуя, что пиджак у меня сбился на плечи, а узел галстука съехал под ухо, и увидел Теодора, у которого были прекрасные золотистые усы, щеки яблочками, светлые волосы, уложенные на круглой голове, как сливочная помадка, брюшко, набирающее

солидность (делай наклоны, балда, сто наклонов каждое утро, и доставай пальцами до пола, балда, иначе миссис Марел тебя разлюбит — и где ты тогда будешь?), и слегка гнусавый голос, будто в отверстие под золотистыми усами засунули ложку горячей овсянки. Мать подошла к нему своей радостной походкой, откинув плечи назад, и остановилась прямо перед Молодым Администратором. Молодой Администратор обнял ее правой рукой за плечи и поцеловал отверстием из-под золотистых усов; она схватила его за рукав, подвела ко мне, и он сказал:

— Здравствуй, здравствуй,

старина, рад тебя видеть. Ну как она, жизнь? Как делишки у старого политика?

— Прекрасно, — ответил я, — только я не политик, я наемная сила.

— Хо-хо, — сказал он, — не разыгрывай меня. Говорят, вы с губернатором вот так. — И он сцепил два толстоватых, очень чистых и наманикюренных пальца, чтобы я мог ими полюбоваться.

— Ты не знаешь губернатора, — ответил я, — потому что единственный, с кем губернатор вот так, — я сцепил два не очень чистых и совсем неухоженных пальца, — это сам губернатор и время от времени — господь бог, если губернатору нужно,

чтобы кто-нибудь придержал свинью, пока он режет ей глотку.

– Да, судя по его поступкам... – начал Теодор.

– А ну, садитесь, – приказала мать.

Мы сели и послушно взяли протянутые нам стаканы.

Она зажгла свет.

Я откинулся в кресле, сказал «да», потом «нет» и окинул взглядом длинную комнату, которую знал, как ни одну другую комнату на свете, и в которую возвращался всегда, что бы я себе ни говорил. Я заметил новую мебель. Высокое шератоновское бюро сменило прежний письменный стол. Стол теперь, наверно, стоял на

чердаке, в запаснике музея, в то время как мы находились на выставке, а Боуман и Хидерфорд лимитед, Лондон, вписывали большую цифру в свой гроссбук. Я каждый раз заставлял здесь перемены. Приехав домой, я оглядывался в поисках новых предметов, потому что через эту комнату прошла целая вереница отборных вещей — спинетов, секретеров, столов, кресел, — одна отборнее другой, и каждая отправлялась на чердак, уступая место новому шедевр. С тех пор как я помню, комната проделала большую эволюцию к некоему идеальному совершенству, созданному воображением матери

или торговцев из Нью-Орлеана, Нью-Йорка, Лондона. Может, перед самой ее смертью комната достигнет идеального совершенства — и она сядет тут, подтянутая старая дама с высокой седой прической, шелковистыми складками под красивым подбородком и быстро мигающими голубыми глазами, и выпьет чашку чая в ознаменование этого события.

Мебель менялась, но менялись и обитатели. Когда-то здесь жил коренастый, сильный человек с копной черных волос, очками в стальной оправе, привычкой криво застегивать жилет и большой золотой цепочкой от часов, за

которую я любил цепляться. Потом он исчез, а мать прижала мою голову к своей груди и сказала:

— Папа больше не вернется, мальчик.

— Он умер? — спросил я. — У нас будут похороны?

— Нет, — сказала она, — он не умер. Он уехал, но ты можешь думать о нем, как будто он умер.

— Почему он уехал?

— Потому что он не любил маму. Вот почему он уехал.

— Я люблю тебя, мама, — сказал я. — Я всегда тебя буду любить.

— Да, мальчик, да, ты любишь маму, — сказала она и крепко прижала меня к груди.

Итак, Ученый Прокурор исчез.
Мне было тогда лет шесть.

Затем появился Магнат, который был худ и лыс и задыхался на лестнице.

— Почему папа Росс пыхтит, когда идет по лестнице? — спросил я.

— Тсс, — сказала мама, — тсс, мальчик.

— Почему, мама?

— Потому что папа Росс нездоров, мальчик.

Затем Магнат умер. Он протянул у нас недолго.

И мама отдала меня в школу в Коннектикуте, а сама уехала за океан. Когда она вернулась, с ней приехал другой мужчина, который

был высок и строен, курил длинные тонкие сигары, носил белые костюмы и тонкие черные усики. Он был Графом, а моя мама была Графиней. Граф сидел в комнате с гостями, часто улыбался, но говорил мало. Люди смотрели на него искоса, а он смотрел им в глаза и улыбался, показывая белейшие зубы под тонкими черными усиками. Когда никого не было, он целый день играл на рояле, а потом выходил в черных сапогах и тесных белых брюках и катался на лошади, заставляя ее прыгать через изгородь и скакать по берегу до тех пор, пока бока ее не покрывались пеной и не начинали ходить так, что казалось, она вот-вот

падет. Потом Граф возвращался домой, пил виз-кии, держал на коленях персидскую кошку и гладил ее рукой, небольшой, но такой сильной, что мужчины хмурились, когда он жал им руку. А однажды я увидел на правой руке моей матери, повыше локтя, четыре иссиня-черные отметины.

— Мама, — сказал я, — смотри! Что случилось?

— Ничего, — ответила она. — Я ушиблась. — И она стянула шаль на руку.

Фамилия Графа была Ковелли. Люди говорили: «Этот малый, Граф, — сукин сын, но верхом ездит как черт».

Потом он уехал. Я жалел об этом, потому что Граф мне нравился. Мне нравилось смотреть, как он скачет на лошади.

Потом довольно долго не было никого.

Потом появился Молодой Администратор, который стал Молодым Администратором при последних потугах его матери и будет Молодым Администратором до тех пор, пока ему не выпустят кровь и не впустят бальзамирующую жидкость. Но это случится не скоро, потому что ему всего сорок четыре года и сидение за столом в нефтяной компании, где он зарабатывает себе на карманные расходы, не подрывает

его здоровья.

Я сиживал в этой комнате с каждым из них — с Ученым Прокурором, с Магнатом, с Графом, с Молодым Администратором — и наблюдал, как менялась обстановка. Вот и сейчас я сидел, глядя на Теодора и на новое шератоновское бюро, и спрашивал себя, надолго ли они тут задержатся. Я приехал домой. Я был предметом, который никуда не девается.

Всю ночь шел дождь. Я лежал в большой старой семейной кровати, которая раньше принадлежала другой фамилии (когда-то в моей комнате на циновках стояла белая железная кровать, а в комнате матери —

фамильная красного дерева кровать Берденов, большая, старая и красивая, но недостаточно красивая, почему она и попала на чердак), и прислушивался к шипению дождя на листьях дубов и магнолий. Утром дождь перестал и выглянуло солнце. Я вышел во двор и увидел на черной земле лужицы, тонкие, как листочки слюды. Вокруг камелии в мерцающих черных лужицах плавали белые, красные и коралловые лепестки, сбитые дождем. У одних края загнулись вверх, как у лодок, другие уже зачерпнули воды или плавали перевернутые, словно после веселого сражения в далекой безалаберной счастливой стране, где

боевой корабль дал пару залпов по флотилии гондол и карнавальных барж.

Толстая камелия росла около самых ступенек. Я наклонился и подобрал несколько лепестков. Вода была очень холодная. С лепестками в руке я пошел по кривой дорожке к воротам. Там я остановился, сжимая лепестки в кулаке и глядя на залив, блестящий за белесой полоской песка, исчирканной плавником.

К полудню опять пошел дождь — нудный сеянец с пропитанного, как губка, неба — и зарядил на двое суток. В этот день и в следующий я надевал дождевик Молодого Администратора и гулял. Я не большой любитель

прогулок как способа проветривать легкие озоном. Но тут мне захотелось погулять. В первый день я прошелся по берегу мимо дома Стентонов, остывшего и пустого среди мокрой листвы, и заглянул к судье Ирвину, который усадил меня в кресло перед камином, открыл бутылку старого ржаного виски и пригласил завтра вечером пообедать. Но, выпив стаканчик, я вышел от него и двинулся туда, где уже нет домов, а только кустарник и дубовые заросли, среди которых там и сям поднимается сосна и изредка, на прогалине, — серая лачуга.

Назавтра я пошел в другую сторону, по городским улицам и

дальше, к полукруглой бухточке, где сосновая роща спускается прямо к белому песку. Я пересек рощу, глубоко увязая ботинками в рыхлом игольнике, и очутился на берегу. Там есть место, где лежит обугленное бревно, совсем черное от воды, а вокруг него — намокшие угли и черный плавник, особенно черные оттого, что под ними белый песок. Люди до сих пор устраивают здесь пикники. Я и сам когда-то устраивал. Я знал, какие здесь получаются пикники.

Один из них я хорошо помню.

Однажды, много лет назад, я приехал сюда с Анной и Адамом; но дождя тогда не было. Он начался в

самом конце. Было очень жарко и очень тихо. Видно было, как море за бухтой, наклонно поднимаясь, врастает в небо, словно горизонта нет. Мы выкупались, позавтракали, лежа на песке, и стали удить рыбу. Но в тот день не клевало. Потом набежали тучи, затянули все небо, кроме маленького уголка на западе за соснами, где еще пробивался свет. Вода стала гладкой и вдруг потемнела темнотой неба, а на другом краю залива, над белой полоской далекого берега, полоска леса из зеленой превратилась в черную. В той стороне, наверно в миле от нас, маячила лодка с гафельным парусом, и под

пасмурным небом, над темной водой, на черной стенке леса вы в жизни не увидите ничего белее и ослепительнее этого косого паруса.

— Надо уходить, — сказал Адам, — будет гроза.

— Еще не скоро, — отозвалась Анна, — давайте выкупаемся.

— Не стоит. — Адам нерешительно посмотрел на небо.

— Ну давайте, — настаивала она, дергая его за руку.

Он не отвечал и по-прежнему глядел на небо. Вдруг она выпустила его руку, засмеялась и побежала к воде. Она бежала не прямо к воде, а вдоль берега к маленькой косе, и ее короткие волосы трепались в

воздухе. Я смотрел, как она бежит. Она бежала, слегка отставив согнутые локти, движения ее ног были легкими и свободными, но немного угловатыми, словно она еще не совсем отвыкла бегать по-старому, по ребячьи, и не совсем научилась бегать по-новому, по-женски. Ноги держались чересчур свободно, даже разболтанно в маленьких ягодицах, не совсем еще округлившихся. Тут я заметил, что ноги у нее длинные. Раньше я этого не замечал.

Не звук, а, наоборот, тишина заставила меня обернуться к Адаму. Он смотрел на меня. Когда я встретил его взгляд, он покраснел и отвел глаза, как будто от смущения.

Потом хрипло сказал: «Не догонишь» — и пустился за ней. Я тоже побежал, и песок из-под ног Адама летел мне навстречу.

Анна уже плыла. Адам бросился в воду и поплыл быстро и энергично, все больше отрываясь от меня. Он миновал Анну, не сбавляя скорости. Он был сильным пловцом. Он не хотел купаться, но теперь плыл быстро и энергично.

Я поравнялся с Анной, поплыл тише и сказал: «Привет». Она подняла голову грациозным движением, как всплывший тюлень, улыбнулась и, вильнув спиной, мягко ушла под воду в длинном нырке. Ее сжатые острые пятки болтнулись в

воздухе и исчезли. Я догнал ее, и она опять нырнула. Каждый раз, когда я догонял ее, она поднимала голову над водой, улыбалась мне и ныряла. На пятый раз она не стала нырять. Она лениво перевернулась и легла на спину, раскинув руки, глядя в небо. Тогда я тоже перевернулся и стал смотреть в небо.

Небо стало еще темнее и отливало теперь пурпуром и зеленью. Как спелый виноград. Но оно еще казалось высоким, и под ним была бездна свободного воздуха. Прямо надо мной в вышине пролетела чайка. На фоне туч она была белее, чем даже парус. Она пересекла все небо надо мной и

скрылась из глаз. Мне захотелось узнать, видела ли ее Анна. Когда я посмотрел на нее, она лежала с закрытыми глазами. Руки ее были широко раскинуты, а волосы колыхались в воде вокруг головы. Затылок ее ушел в воду, и подбородок смотрел вверх. Лицо было совсем спокойное, будто она спала. Лежа на воде, я видел ее четкий профиль на черном фоне далекого леса.

Вдруг она перевернулась затылком ко мне, словно меня не было, и поплыла к берегу. Ее медленные гребки казались заторможенными, но в то же время легкими, не требующими усилий. Ее худые руки поднимались и входили в

воду с рассеянной, вялой, изысканной размеренностью, какую вы чувствуете в своих движениях во сне.

Мы еще плыли к берегу, когда начался дождь и первые редкие капли зачмокали по глянцевой поверхности воды. Потом дождь хлынул, и поверхность воды исчезла.

Мы вышли на берег и стояли на песке, следя за Адамом. Дождь хлестал нас по коже. Адам был еще далеко. Позади него, на юге, в темном небе над заливом зажигались вилки молний и мерно перекачивались громы. То и дело Адама скрывала подвижная пелена дождя, подметавшая бухту. Анна

следила за ним, нагнув, словно в задумчивости, голову, скрестив руки на маленькой груди и обняв себя за плечи, так что казалось, она сейчас задрожит. Коленки у нее были сжаты и слегка согнуты.

Адам вышел из воды, мы подобрали свои пожитки, сунули ноги в размокшие сандалии и побежали через рощу, где ветер раскачивал черные кроны сосен и скрип сучьев изредка прорывался сквозь рев грозы. Мы влезли в нашу машину и поехали домой. В то лето нам с Адамом было по семнадцать лет, а Анне — на четыре года меньше. Это было еще до первой мировой войны, вернее, до того, как мы в нее

вступили.

Тот пикник я запомнил на всю жизнь.

В тот день, наверное, Анна и Адам впервые предстали передо мной как самостоятельные, независимые личности — каждая со своей особой манерой поведения, полной таинственной значительности. Возможно, в тот день я и себя впервые осознал как личность. Но речь сейчас не об этом. Произошло же вот что: в моем уме запечатлелся образ, сохранившийся на всю жизнь. Мы многое видим и многое можем вспомнить, но это — другое. В голове у нас редко остается законченный образ, такой, о котором

я говорю, — такой, который с каждым годом становится все живее и живее, словно бег лет не затемняет его, а наоборот, снимает один покров за другим, обнажая смысл, о котором вначале мы лишь смутно догадывались. Может быть, последний покров так и не спадет, потому что век наш короток; но образ становится все яснее, и мы все больше убеждаемся, что ясность — это смысл образа или знак смысла, и без этого образа наша жизнь была бы лишь старым куском пленки, брошенным в ящик стола вместе с письмами, на которые мы не собрались ответить. Образом, запечатлевшимся во мне тогда, было

лицо Анны на воде, очень спокойное, с закрытыми глазами, под пурпурно-зеленоватым небом, в котором плывет чайка.

Это не значит, что я уже в тот день влюбился в Анну. Она была ребенком. Это пришло позднее. Но образ остался бы, даже если бы я никогда не полюбил Анну, или больше не увидел ее, или она стала бы мне отвратительна. Потом бывали времена, когда я не любил Анну. Анна сказала, что не пойдет за меня, и вскоре я женился на Лоис, девушке более красивой, чем Анна — таких провожают глазами на улице, — и я любил Лоис. Но тот образ не исчезал, он делался все яснее, роняя

один покров за другим и обещая еще большую ясность.

Поэтому когда я вышел из рощи в дождливый весенний день много лет спустя и увидел обугленное бревно на белом песке, где кто-то устраивал пикник, я вспомнил пикник летом 1915 года – последний перед моим отъездом в колледж.

Мне не пришлось ехать за знаниями к черту на кулички. Всего-навсего в университет штата.

– Мальчик, – сказала моя мать, – почему ты упрямишься и не хочешь в Гарвард или Принстон? – Для женщины из арканзасского захолустья моя мать была замечательно осведомлена о наших

показательных учебных заведениях. — Или, например, в университет Вильямса — говорят, это очень культурный институт.

— Я уже ходил в школу, которая тебе нравилась, — сказал я, — и она была культурная, дальше некуда.

— Или, например, в Виргинский, — продолжала она, глядя на меня чистыми глазами и не слыша ни слова из того, что я говорю. — В Виргинском университете учился твой отец.

— Казалось бы, для тебя это не такая уж хорошая рекомендация, — ответил я и подумал, как ловко мне удалось ввернуть. Я приобрел привычку в спорах с ней делать

намеки на его уход.

Но этого она тоже не расслышала.

— Если бы ты учился на востоке, тебе бы проще было приезжать ко мне на лето.

— Там сейчас воюют, — сказал я.

— Война скоро кончится, — ответила она, — и тогда это будет проще.

— Ага, а тебе будет проще говорить, что твой сын — в Гарварде, а не в какой-то дыре, о которой они слыхом не слышали, вроде нашего университета. Они даже названия штата не слышали, в котором этот университет.

— Я забочусь только об одном,

мальчик, — чтобы ты учился в приличном месте и имел приличных друзей. И опять-таки тебе будет проще приезжать ко мне на лето.

(Она поговаривала о новой поездке в Европу и была очень раздосадована войной. Граф отбыл довольно давно, еще до войны, и она снова собиралась за океан. За океан она съездила после войны, но новых графов не привезла. Возможно, она решила, что выходить за графов замуж слишком дорого. В следующий раз она вышла за Молодого Администратора.)

Ну, а я сказал ей, что не желаю учиться в приличном месте, не желаю приличных друзей, не

намерен ехать в Европу и не намерен брать у нее никаких денег. Последнее замечание, насчет денег, вырвалось у меня сгоряча. Тут я, конечно, зарвался, но эффект настолько превзошел все мои ожидания, что я уже не мог идти на попятный.

Это был удар в солнечное сплетение. Он почти уложил ее. Надо полагать, что никто еще, одетый в брюки, с ней так не разговаривал. Она пыталась меня переубедить, но спесь во мне выиграла, и я уперся на своем. Сколько раз я проклинал себя в последующие четыре года. Я был официантом, печатал на машинке, а в последний год даже подрабатывал в газете и все время вспоминал, как

выкинул чуть не пять тысяч долларов только из-за того, что прочел где-то в книжке, будто мужчине подобает самому зарабатывать на жизнь в колледже. Мать, конечно, присылала мне деньги. На рождество и на день рождения. Я брал их и устраивал большой загул, с многодневной заправкой, а затем возвращался на работу в ресторан. В армию меня не взяли. Плоскостопие.

А он с войны вернулся живчиком. Он был полковником артиллерии и прекрасно провел время. Он отправился туда достаточно рано, чтобы всласть пострелять в немцев и поклоняться под их гостинцами. В испано-

американской войне дело у него не пошло дальше дизентерии во Флориде. Зато теперь его счастье не имело границ. Он чувствовал, что все годы, проведенные за составлением карт кампаний Цезаря и строительством действующих моделей катапульт, баллист, «скорпионов», «онагров» и таранов по средневековым образцам, не пропали даром. Они и не пропали, если говорить обо мне, потому что в детстве я помогал их строить, и это были чудесные машинки. Для ребенка, во всяком случае. Война тоже не пропала даром, потому что он посетил Ализ-Сент-Рен, где Цезарь разбил Верцингеторикса, и к

концу лета, когда он вернулся домой, Фош и Цезарь, Першинг и Хейг, Верцингеторикс, и Веркассивеллаун, и Критогнат, и Людендорф, и Эдит Кейвел порядком перемешались в его голове^[10]. Он достал все свои катапульты и «скорпионы» и принялся стирать с них пыль. Говорили, однако, что он показал себя хорошим офицером и храбрецом. В доказательство этого он мог предъявить медаль.

Помню, я долго относился с пренебрежением к героизму судьи — одно время была мода пренебрежительно относиться к героям, а я рос в это время. А может быть, все дело в том, что у меня

нашли плоскостопие и я не попал ни в армию, ни даже в корпус высшей вневойсковой подготовки, когда учился в университете, — старая история с лисой и виноградом. Может быть, если бы я попал в армию, все пошло бы по-другому. Но судья был храбрым человеком, хоть и мог доказать это медалью. Он доказывал свою храбрость и до медали. И ему предстояло доказать ее вновь. Однажды, например, человек, которого он засудил в свое время, остановил его на улице и сказал, что убьет. Судья рассмеялся, повернулся к нему спиной и пошел дальше. Человек вытащил пистолет и окликнул судью два или три раза.

Наконец судья оглянулся. Увидев, что человек целится в него из пистолета, он повернулся и, не говоря ни слова, пошел прямо на этого человека. Он подошел к нему и отнял пистолет. Что он делал на войне, он не рассказывал.

Пятнадцать лет спустя, в тот вечер, когда мы с матерью и Молодым Администратором пришли к нему в гости, он снова вытащил свои игрушки. Кроме нас, там была чета Патонов, тоже обитатели набережной, и девица по фамилии Дьюмонд, приглашенная, как я понял, в мою честь, а также в честь судьи Ирвина и всех остальных. Баллиста, наверно, тоже была

вытащена в мою честь, хотя он всегда проявлял склонность наставлять гостей в военном искусстве допороховой эры. Весь обед мы жевали былые дни — опять же в мою честь, ибо, когда ты приезжаешь в родной город, они выкапывают эту кость: былые дни. Былые дни перед самым десертом подошли к тому, как я, бывало, помогал ему строить модели. Поэтому он встал, вышел в библиотеку и вернулся с полуметровой баллистой и, сдвинув в сторону свой десерт, поставил ее на стол. Потом он взвел ее, поворачивая ручку маленького барабана, оттягивающего тетиву, — так, словно не мог сделать это одним движением

пальца. Затем оказалось, что нечем стрелять. Он позвонил и велел негру принести булочку. Разломив булочку, он попытался скатать из мякиша пульку. Пулька получилась неважная, поэтому он обмакнул ее в воду. Он зарядил баллисту. «Вот, – сказал он, – она работает таким образом». И тронул спуск.

Она сработала. Пулька была тяжелой от воды, а баллиста за эти годы, как видно, не потеряла убойности: через мгновение в люстре что-то взорвалось, миссис Патон вскрикнула, выронила изо рта мороженое на свой черный бархат, и осколки стекла дождем посыпались на стол и в большую вазу с

камелиями. Судья залепил прямо в лампочку. Кроме того, он сбил хрустальную подвеску люстры.

Судья сказал, что он очень виноват перед миссис Патон. Он сказал, что он очень глупый старик и впал в детство, забавляясь со своими игрушками; после этого он выпрямился в кресле, и гости могли убедиться, что грудь и плечи у него не так сильно пострадали от времени. Миссис Патон доедала оставшееся мороженое, перемежая эту деятельность подозрительными взглядами в сторону подлой баллисты. Затем все перешли в библиотеку, чтобы выпить кофе и коньяку.

Я же задержался на минуту в гостиной. Я сказал, что за эти годы баллиста не потеряла убойности. Но это было неточное утверждение. Она и не могла потерять. Я подошел к машине и осмотрел ее — из побуждений скорее сентиментальных, чем научных. Тут я обратил внимание на жгуты, от которых и зависит ее убойность. Во всех этих штуках — баллистах, некоторых типах катапульт, «скорпионов» и «онагров» — есть два жгута жил, в которые вставлены концы рычагов, связанных тетивой как бы в виде двух половинок лука и образующих вместе некий свержарбалет. Мы жульничали,

вплетая в жгуты кетгута для большей упругости тонкие стальные струны. И вот, посмотрев на машину, я увидел, что жгуты в ней – совсем не те жгуты, которые я скручивал в прекрасные былые дни. Ни черта похожего. Они были совершенно новые.

И вдруг мне представилось, как по ночам в библиотеке судья Ирвин сидит у стола с проволочками, струнами, кетгутом, ножницами и плоскогубцами и, нагнув старую рыжую лобастую голову, разглядывает прищуренными желтыми глазами свое ремесло. И, вообразив себе эту картину, я почувствовал грусть и растерянность.

Когда-то увлечение судьи этими игрушками не вызывало у меня никаких чувств — ни плохих, ни хороших. В детстве мне казалось естественным, что всякий человек в здравом уме хочет строить эти штуки, читать о них книжки и рисовать карты. Я и до нынешнего дня не видел ничего странного в том, что судья строил их раньше. Но теперь картина, возникшая перед моим мысленным взором, выглядела иначе. Я почувствовал грусть и растерянность, почувствовал себя в чем-то обманутым.

Я присоединился к гостям, навсегда оставив часть Джека Бердена в гостиной, у баллисты.

Они пили кофе. Все, кроме судьи, который откупоривал бутылку коньяку. Когда я вошел, он поднял голову и спросил:

— Рассматривал наш старый самострел, а?

Он сделал легкое ударение на слове наш.

— Да, — ответил я.

Секунду его желтые глаза буравили меня, и я понял, что он догадался о моем открытии.

— Я починил ее, — сказал он и рассмеялся самым чистосердечным и обезоруживающим смехом. — На днях. Чего ты хочешь от старика — заняться нечем, поговорить не с кем. Нельзя же целый день читать

юридические книги, историю и Диккенса. Или удить рыбу.

Я улыбнулся ему, ощущая необходимость отдать этой улыбкой дань чему-то, что я не смог бы определить вполне точно. Но я знал, что улыбка моя так же убедительна, как холодный куриный бульон в пансионе.

Затем я отошел от него и подсел к девушке Дьюмонд, приглашенной для моего удовольствия. Девушка была хорошенькая, темноволосая, со вкусом одетая, но чего-то ей не хватало; слишком хрупкая и оживленная, она все время старалась заарканить вас своими жадными карими глазами, а затягивая петлю,

хлопала ресницами и говорила то, чему ее научила мама десять лет назад. «Мистер Берден, говорят, что вы занимаетесь политикой – о, это, должно быть, так увлекательно». Этому ее, несомненно, научила мать. Однако ей было уже под тридцать, а наука до сих пор не помогла. Но ресницы все еще не знали покоя.

– Нет, я не занимаюсь политикой, – сказал я. – Я просто служу.

– Расскажите мне о вашей службе, мистер Берден.

– Я мальчик на побегушках.

– Говорят, что вы очень влиятельная особа, мистер Берден. Говорят, что вы человек с большим

весом. Это, должно быть, так увлекательно, мистер Берден. Пользоваться влиянием.

— В первый раз слышу, — сказал я и обнаружил, что все на меня смотрят так, словно я сижу на кушетке рядом с мисс Дьюмонд совершенно голый, с чашечкой кофе на колене. Такова судьба человека. Всякий раз, когда вы налетаете на даму, подобную мисс Дьюмонд, и начинаете разговаривать с ней так, как приходится разговаривать с дамами, подобными мисс Дьюмонд, все поворачиваются и начинают вас слушать. Я увидел на лице судьи улыбку, полную, как мне показалось, злорадства.

Затем он сказал:

— Не позволяйте себя обманывать, мисс Дьюмонд. Джек очень влиятельная персона.

— Не сомневаюсь, — ответила мисс Дьюмонд, — это, должно быть, так увлекательно.

— Ладно, я влиятельный. Есть у вас дружки в тюрьме, для которых я мог бы выхлопотать помилование? — сказал я и подумал: «Ну и манеры у тебя, Джек. Мог хотя бы улыбнуться, если уж хочешь так разговаривать». И я улыбнулся.

— Да, кое-кому не миновать тюрьмы, — вмешался старый мистер Патон, — прежде чем все кончится. То, что происходит в городе. Весь

ЭТОТ...

— Джордж, — шепнула ему жена, но напрасно, потому что м-р Патон был из породы грубоватых толстяков, с кучей денег и мужественной прямо́той в речах. Он продолжал:

— Да, сэ́р, весь этот сумасшедший дом. Человек разбазаривает наш штат. Это — бесплатно, да то бесплатно, да се бесплатно. Скоро всякая деревенщина будет думать, что все на свете бесплатно. А платить кто будет? Вот что я желаю знать. Что он об этом думает, Джек?

— А я его не спрашивал, — ответил я.

— Ну, так спросите, — сказал м-р

Патон. — И спросите заодно, кто на этом наживается. Сколько денег проходит через их руки — только не рассказывайте мне, что к ним ничего не прилипает. И спросите его, что он будет делать, когда его отдадут под суд. Скажите ему, что у штата есть конституция, вернее, была, пока он не послал ее к чертям. Скажите ему.

— Скажу, — пообещал я и рассмеялся, и рассмеялся снова, представив себе, какое будет лицо у Вилли, если я ему это расскажу.

— Джордж, — сказал судья, — вы старый ретроград. В наши дни правительство берет на себя такие функции, о каких мы с вами в молодости и не слышали. Мир

меняется.

— Да, он уже так изменился, что один человек может прибрать к рукам целый штат. Дайте ему еще несколько лет, и его не скинешь никакими силами. Половину штата он купит, а другая половина побоится голосовать. Шантаж, запугивание, бог знает что.

— Он крутой человек, — сказал судья, — и взялся за дело круто. Но одно он хорошо усвоил: лес рубят — щепки летят. Щепок от него много, и, может быть, он срубит лес. Не забывайте, что верховный суд до сих пор поддерживал его по всем спорным вопросам.

— Еще бы, это его суд. С тех пор,

как он ввел туда Армстронга и Талбота. И речь идет о вопросах, которые были подняты. А как насчет тех, которые не были подняты? Поскольку люди боятся их поднять?

— Да, разговоров идет много, — спокойно сказал судья, — но мы, в сущности, мало знаем.

— Я одно знаю: он хочет задушить штат налогами, — сказал м-р Патон, глядя злобно и двигая своими окороками. — Выжить отсюда всех предпринимателей. Он повысил арендную плату за угольные залежи. Нефтяные залежи. За...

— Да, Джордж, — засмеялся судья, — и хлопнул по нас с вами высоким подоходным налогом.

— Что касается положения с нефтью, — оживился Молодой Администратор, услышав священное имя этого минерала, — насколько я понимаю, положение...

Да, мисс Дьюмонд определенно открыла ворота загона, заговорив о политике, и теперь был лишь стук копыт да туча пыли, а я сидел на голой земле, прямо под ногами. Сначала я не видел в этом разговоре ничего странного. Но потом увидел. Ведь я в конце концов ходил в подручных у парня с хвостом и рожками, и это было — или стало теперь — великосветским событием. Я вдруг вспомнил об этом факте и сообразил, что дискуссия приняла

странный характер.

Потом я решил, что, по сути дела, в ней нет ничего странного. М-р Патон, Молодой Администратор, и миссис Патон, которая от них не отставала, и даже судья — все они считали, что я, хоть и работаю у Вилли, душою — с ними. От Вилли мне просто перепадает кое-какая мелочь — может быть, даже много мелочи, — но сердце мое в Берденс-Лендинге, и у них нет от меня секретов, они знают, что я на них не обижусь. Пожалуй, они были правы. Пожалуй, мое сердце и было в Берденс-Лендинге. Пожалуй, я на них не обижался. Но, промолчав час и надышавшись тонкими духами

мисс Дьюмонд, я вмешался в разговор. Не помню, на каком месте я их прервал, да и неважно: разговор вертелся вокруг одного и того же. Я сказал: «Нет ли тут простого объяснения? Если бы правительство штата за много лет сделало хоть что-нибудь для народа, разве смог бы Старк так легко прорваться наверх и прижать их всех к ногтю? Пришлось бы ему идти напролом, чтобы наверстать то, что могло быть сделано много лет назад, если бы кто-нибудь ударил пальцем о палец? Я предлагаю вам этот вопрос в качестве темы для дискуссии».

Полминуты не раздавалось ни звука. М-р Патон надвигался на меня

своим гранитным ликом, словно падающий монумент; подбородки миссис Патон прыгали, как мешок с котятками; тихо шумели аденоиды Молодого Администратора; судья сидел, обводя собрание желтыми глазами; ладони матери поворачивались на коленях. Наконец она сказала:

— Ну, мальчик, я не думала, что... что ты так... к этому относишься!

— Да... ээ... нет, — сказал м-р Патон, — я тоже не знал... ээ...

— Я говорю не о своем отношении, — сказал я. — Я предлагаю вам тему для дискуссии.

— Дискуссии! Дискуссии! —

взорвался м-р Патон, придя в себя. — Меня не интересует, какое правительство было у штата в прошлом. Такого никогда не было. Никто еще не пытался прибрать к рукам целый штат. Никто еще...

— Это очень интересная тема, — сказал судья, потягивая коньяк.

И пошло, и пошло. Только мать сидела молча, поворачивая ладони на коленях, и свет камина взрывался в большом бриллианте, который был подарен отнюдь не Ученым Прокурором. Они не унимались, пока не настало время расходиться по домам.

— Кто такая эта мисс Дьюмонд?

– спросил я у матери на другой день, когда мы сидели возле камина.

– Дочь сестры мистера Ортона, – ответила мать, – и его наследница.

– Ясно, – сказал я, – надо подождать, пока она получит наследство, а потом жениться на ней и утопить ее в ванне.

– Не надо так говорить.

– Не бойся, – ответил я, – я с удовольствием утопил бы ее, но зачем мне ее деньги? Деньги меня вообще не интересуют. Иначе мне стоило бы только руку протянуть, чтобы получить десять тысяч. Двадцать тысяч. Я...

– Мальчик... Мистер Патон тут говорил... Эти люди, с которыми ты

связан... мальчик, держись подальше от их махинаций.

— Махинацией это называется тогда, когда человек, который это делает, не знает, какой вилкой что едят.

— Все равно, мальчик... эти люди...

— Эти люди, как ты их называешь, — я не знаю, что они делают. Я вообще стараюсь поменьше знать, кто что делает и когда.

— Мальчик, пожалуйста, не надо, не надо...

— Чего не надо?

— Не надо ввязываться... ну, ни во что.

– Я только сказал, что в любую минуту могу получить десять тысяч. Без всяких афер. За информацию. Информация – это деньги. Но говорю тебе, меня не интересуют деньги. Совершенно. И Вилли они не интересуют.

– Вилли? – повторила она.

– Хозяина. Хозяина деньги не интересуют.

– Что же его интересует?

– Его интересует Вилли. Очень просто и непосредственно. А если человек интересуется собой очень просто и непосредственно, так, как интересуется собой Вилли, то он называется гением. Только недоделанные Патоны интересуются

деньгами. Даже тузы, которые действительно умеют зарабатывать деньги, деньгами не интересуются. Генри Форда не интересуют деньги. Его интересуется Генри Форд, и поэтому он – гений.

Она взяла меня за руку и серьезно сказала:

– Не надо, мальчик, не надо так говорить.

– Как так?

– Когда ты так говоришь, я просто не знаю, что и думать. Просто не знаю. – Она смотрела на меня с мольбой, и оттого, что свет камина скользил по ее щеке, впадинка под скулой казалась глубже и голоднее. Свободной рукой она

накрыла мою ладонь, которая покоилась в другой ее руке, а когда женщина делает такой сандвич из вашей ладони, это означает прелюдию к чему-то. В данном случае вот к чему: «Мальчик... не пора ли тебе... не пора ли тебе остепениться? Почему ты не найдешь себе какую-нибудь славную девушку и...»

– Я уже пробовал, – напомнил я.
– А если ты хочешь свести меня с девушкой Дьюмонд, то это напрасный труд.

Ее чересчур блестящие глаза смотрели на меня напряженно, испытующе, как на далекий и не понятный еще предмет. Затем она

сказала:

— Мальчик, знаешь, вчера вечером ты вел себя как-то странно... держался особняком... и потом этот твой тон...

— Ладно, — сказал я.

— Тебя как будто подменили, раньше ты таким не был, ты...

— Если я когда-нибудь стану таким, как раньше, я застрелюсь, — сказал я, — а если тебе было неловко за меня перед этими слабоумными Патонами и слабоумной Дьюмонд, прошу прощения.

— Судья Ирвин... — начала она.

— Оставь его в покое, — перебил я. — Судья тут ни при чем.

— Мальчик, — воскликнула она, —

почему ты так себя ведешь? Мне не было неловко, но почему ты стал таким? Все из-за этих людей... из-за этой работы... почему ты не женишься, не подыщешь приличной работы — ведь и судья Ирвин, и Теодор могли бы тебя...

Я вырвал свою руку из сэндвича и сказал:

— Мне ничего от них не нужно. Ни от кого не нужно. Мне не нужна семья, не нужна жена, не нужна другая работа, а что до денег...

— Мальчик, мальчик, — сказала она, складывая руки на коленях.

— ...денег... мне хватает тех, которые у меня есть. Кроме того, мне нечего беспокоиться о деньгах. У

тебя их достаточно... — Я встал с кушетки, зажег сигарету и кинул обгорелую спичку в камин. — Достаточно, чтобы оставить и меня и Теодора вполне обеспеченными людьми.

Она не пошевелилась и ничего не сказала. Она только посмотрела на меня, и я увидел, что в глазах у нее слезы и что она любит меня, своего сына. И что Время ничего не значит, но что лицо с блестящими, большими глазами — старое лицо. Кожа под впадинками на щеках и под блестящими глазами обвисла.

— Не думай, мне не нужны твои деньги, — сказал я.

Нерешительным, робким

движением она взяла меня за правую руку, не за ладонь, а за пальцы, и крепко их сжала.

— Мальчик, — сказала она, — ты ведь знаешь, все, что есть у меня, — твое. Разве ты не знаешь?

Я ничего не ответил.

— Разве ты не знаешь? — повторила она, держась за мои пальцы, словно за конец каната, который ей бросили в воду.

— Ладно, — услышал я свой голос и зашевелил пальцами, стараясь освободиться и чувствуя при этом, что сердце размякло и размокло у меня в груди, как снежок, когда его сдавишь в кулаке. — Ты извини, что я так разговаривал, — сказал я. — Но

черт подери, зачем мы вообще разговариваем? Почему я не могу приехать домой на день или два и не открывать рта, не заводить с тобой никаких разговоров?

Она не ответила, но продолжала держать меня за пальцы. Я отнял их и сказал: «Пойду наверх, приму ванну до обеда» — и двинулся к двери. Я знал, что она не обернется и не посмотрит мне вслед, но, шагая по комнате, чувствовал себя так, словно за мной забыли опустить занавес и тысячи глаз смотрят мне в спину, а аплодисментов нет. Может, эти кретины не поняли, что пора хлопать.

Я поднялся по лестнице и лег в

горячую ванну с ощущением, что все кончилось. Все кончилось еще раз. Я сяду в машину сразу после обеда и рвану в город по новому бетонному шоссе среди темных полей, покрытых полосами тумана, приеду в город к полуночи, поднимусь в свой номер, где нет ничего моего, где никто не знает моего имени и никто не скажет ни слова о том, как я жил и живу.

Лежа в ванной, я услышал шум автомобиля и понял, что это вернулся Молодой Администратор, что сейчас он откроет входную дверь и женщина с хрупкими прямыми красивыми плечами встанет с кушетки, быстро пойдет ему навстречу и поднесет ему

свое старое лицо как подарок.

И пусть он попробует не выразить благодарности.

Двумя часами позже я сидел в машине, Берденс-Лендинг и залив были позади, и дворники на ветровом стекле деловито отдувались и пощелкивали, словно какая-то машинка внутри вас, которую лучше не останавливать. Потому что опять шел дождь. Капли криво влетали из темноты в огонь моих фар, будто автомобиль раздвигал портьеру из блестящих металлических бисерин.

Нет одиночества более полного, чем в машине, ночью, под дождем. Я был в машине. И был рад этому.

Между одной точкой на карте и другой точкой на карте лежит одиночество в машине под дождем. Говорят, что вы проявляетесь как личность только в общении с другими людьми. Если бы не было других людей, не было бы и вас, ибо то, что вы делаете — а это и есть вы, — приобретает смысл лишь в связи с другими людьми. Это очень утешительная мысль, если вы едете один в машине дождливой ночью, ибо вы уже не вы, а не будучи собой и вообще никем, можно откинуться на спинку и по-настоящему отдохнуть. Это отпуск от самого себя. И только ровный пульс мотора у вас под ногой, тянущего, словно паук,

тонкую пряжу звука из своих металлических внутренностей, — только эта нематериальная нить, только этот волосок связывает того вас, которого вы оставили в одном месте, с тем, кем вы станете, прибыв в другое.

Стоило бы как-нибудь свести обоих этих вас на одной вечеринке. А то можно устроить семейную встречу со всеми вами и зажарить где-нибудь под деревом поросенка. Забавно будет послушать, что они скажут друг другу.

Но пока что ни одного из них нет, и я еду в машине, ночью, под дождем.

Вот почему я в машине.

Тридцать семь лет назад, в 1896 году, коренастый положительный человек лет сорока, в очках со стальной оправой и темном костюме – Ученый Прокурор – приехал в лесопромышленный городок южного Арканзаса, чтобы опросить свидетелей и провести расследование по крупному делу о лесоразработках. Городок, наверно, был неказистый. Деревянные домишки, пансион для инженеров и начальников, почта, магазин компании – все это растет прямо из красной глины, а вокруг, насколько хватает глаз, пни, и вдалеке среди пней – корова, и визг пилы, как потревоженный нерв в глубине

вашего мозга, и сырой тошнотворно-сладкий запах опилок.

Я не видел этого городка. Нога моя вообще не ступала на землю штата Арканзас. Но мысленно я вижу этот городок. На крыльце магазина стоит девушка с тяжелыми желтыми косами, большими голубыми глазами и едва наметившимися нежными впадинками под скулами. Скажем, она одета в ситцевое платье салатного цвета, потому что салатный цвет свеж и к лицу светловолосой девушке, если она стоит на крыльце под утренним солнцем, слушая визг пил и глядя на плотного человека в темном, который осторожно пробирается по

красной грязи, оставшейся от последнего весеннего ливня.

Девушка стоит на крыльце магазина, потому что в магазине работает ее отец. Это все, что я знаю об ее отце.

Мужчина в темном костюме проводит здесь два месяца, занимаясь своими юридическими делами. Вечером перед закатом он и девушка гуляют по улице города, теперь уже пыльной, и идут дальше, туда, где пни. Я вижу, как они стоят на разоренной земле, а за ними вижу латунно-кровавый летний закат Арканзаса. Я не могу разобрать, о чем они говорят.

Закончив свои дела, мужчина

уезжает из города и забирает девушку с собой. Он — добрый, наивный, застенчивый человек, и в поезде, сидя рядом с девушкой на красном плюшевом диване, он держит ее руку в своей, неловко и осторожно, словно боясь разбить дорогую вещь.

Он приводит ее в большой белый дом, построенный его дедом. Перед домом — море. Это ново для нее. Каждый день она проводит много времени, глядя на море. Иногда она выходит на берег и стоит там одна, глядя на воду, поднимающуюся к горизонту.

Я знаю, что это было — это стояние у моря, — потому что много лет спустя, когда я уже вырос, мать

мне однажды сказала: «Вначале, когда я сюда приехала, я подолгу стояла в воротах и смотрела на воду. Я могла стоять целыми часами, сама не знаю почему. Но это прошло. Это прошло задолго до того, как ты родился, мальчик».

Когда-то Ученый Прокурор поехал в Арканзас, а на крыльце магазина стояла девушка, и вот почему я был в машине, ночью, под дождем.

Я вошел в вестибюль моей гостиницы около полуночи. Портье поманил меня и дал номер телефона, по которому меня просили позвонить.

— Довели телефонистку до

бесчувствия, – сказал он. Номер был незнакомый. – Велели попросить дамочку по фамилии Берк, – добавил портье.

Я не стал подниматься к себе в комнату и позвонил из будки в вестибюле. «Гостиница Маркхейм», – ответил бодрый голос; я попросил мисс Берк, и в трубке слышалось: «Ну, слава богу, наконец-то. Я звонила в Берденс-Лендинг бог знает когда, и вас уже не было. Вы что, пешком шли?»

– Я не Рафинад, – ответил я.

– Ладно, давайте скорей сюда. Девятьсот пятый номер. Тут черт знает что творится.

Я аккуратно повесил трубку,

подошел к портье, попросил его отдать мой чемодан коридорному, выпил стакан воды из фонтанчика, купил две пачки сигарет у сонной продавщицы в киоске, распечатал пачку, закурил и, глубоко затянувшись, окинул взглядом пустой вестибюль, словно меня нигде не ждали.

Но меня ждали. И я поехал туда. Быстро – раз уж поехал.

Сэди сидела в холле номера 905 возле телефона и пепельницы, полной окурков; вокруг ее обкромсанных черных волос витал дым.

– Ну, – сказала она из-за дымовой завесы тоном

надзирательницы дома для
заблудших девиц, но я не отозвался.
Я подошел прямо к ней, минуя
очертания Рафинада, храпевшего в
кресле, сгреб в горсть черные
ирландские лохмы, чтобы откинуть
ей голову, и чмокнул ее в лоб, прежде
чем она успела послать меня к черту.

Она это сделала
незамедлительно.

— Вы и не подозреваете, почему
я так поступил, — сказал я.

— Мне все равно, лишь бы это не
вошло у вас в привычку.

— Это не относилось лично к
вам, — объяснил я. — Я это сделал
потому, что ваша фамилия не
Дьюмонд.

— А из вас сделают котлету, если вы сейчас же не явитесь туда. — Она кивнула головой на дверь.

— А может, я хочу уволиться, — сказал я по-прежнему игриво, и вдруг, словно вспышка магния, в голове у меня сверкнула мысль, что, может, я и вправду хочу.

Сэди собиралась мне что-то сказать, но тут зазвонил телефон и, кинувшись на него так, словно она хотела его удушить, Сэди сорвала трубку.

По дороге к двери в смежную комнату я услышал, как она говорит:

— Ага, поймали его? Везите в город, прямо к нам... Черт с ней, с женой... Скажите ему, что он хуже ее

заболеет, если не явится... Да, скажите...

Затем я постучал в дверь и, услышав голос, вошел.

Хозяин без пиджака сидел, завалившись в кресле и положив ноги в носках на стул; галстук его свесился набок, глаза были выпучены, а указательный палец вытянут вперед, как кнутовище. Потом я увидел, с чего сшибал бы мух кнут, если бы палец Хозяина был кнутовищем: передо мной стоял Байрам Б.Уайт, ревизор штата, его длинное, тощее, парафиновое лицо выделяло нездоровые капельки пота, а его глаза протянулись ко мне и уцепились за меня, как за

последнюю надежду.

Я понял, что помешал разговору.

— Извините, — сказал я и попятился к двери.

— Закрой дверь и сядь, — сказал Хозяин и, взмахнув кнутовищем, без всякого перехода в голосе закончил фразу, прерванную моим появлением: — И заруби себе на носу, что тебе не положено быть богатым. Такому человеку, как ты — на шестом десятке, с язвой желудка, с чужими зубами и без гроша всю жизнь, — если бы господь бог собирался сделать тебя богатым, то давно бы сделал. Да ты погляди на себя, черт возьми! Это же чистое кощунство — думать, будто ты можешь сделаться

богатым. Погляди на себя. Разве это не факт? – И указательный палец направился на Байрама Б.Уайта.

М-р Уайт не ответил. Он стоял и горестно смотрел на палец.

– Ты что, язык проглотил, мать твою за ногу? – спросил Хозяин. – Не можешь ответить на простой вопрос?

– Да, – выдохнул м-р Уайт, едва шевеля серыми губами.

– Отвечай, не мямли, повтори: «Да – это факт, это кощунственный факт», – требовал он, наставив на м-ра Уайта палец.

Губы м-ра Уайта посерели еще больше, и, хотя в голосе его не было металла, он повторил. Слово в слово.

– Так, это уже лучше, – сказал

Хозяин. – Теперь ты знаешь, что тебе полагается делать. Тебе полагается быть бедным и послушным. Твое целомудрие меня не интересует, судя по твоему виду, на него никто не покушается – я говорю о бедности и послушании, и запомни это. Особенно последнее. Время от времени кое-какая мелочь может приплыть тебе в руки, но за этим присмотрит Дафи. Никакого частного предпринимательства – понял? Никаких персональных Клондайков здесь не будет. Ты понял меня? Отвечай!

– Да, – ответил м-р Уайт.

– Громче! Говори: «Я вас понял».

Он проговорил. Громче.

— Ладно, — сказал Хозяин. — Я не отдам тебя под суд, прекращу это дело. Но не думай, что из любви к тебе. Просто я не хочу, чтобы эти ребята решили, будто они могут кого-то съесть. Мои мотивы ясны?

— Да, — сказал м-р Уайт.

— Так, теперь сядь за стол. — Хозяин указал на письменный столик, на котором стояли телефон и чернильный прибор. — Вынь из ящика лист бумаги и возьми ручку в руку.

М-р Уайт призраком скользнул по комнате и сел за стол, сделавшись вдруг удивительно маленьким, словно джинн, уходящий в бутылку;

он скрючился и вжался в стул, будто хотел вновь принять утробное положение, спрятаться в темноте, где ему было когда-то так тепло и уютно. Но Хозяин продолжал:

– Теперь пиши, что я скажу. – И он начал диктовать: – «Дорогой губернатор Старк, в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, которое не позволяет мне добросовестно выполнять... – Тут Хозяин остановился и сказал: – Ты написал «добросовестно»? Не вздумай пропустить. – Затем деловито продолжал: – Обязанности ревизора... прошу освободить меня от занимаемой должности в ближайшее удобное для Вас время. –

Он взглянул на сгорбленную фигуру и добавил: — Уважающий Вас».

Наступила тишина, только перо царапало по бумаге и наконец замерло. Но узкая лысая голова м-ра Уайта не поднималась от стола, словно он был близорук, или молился, или просто потерял ту косточку от затылка, которая держит голову прямо.

Хозяин осмотрел его спину и склоненную голову. Потом спросил:

— Ты подписал?

— Нет, — сказал голос.

— Так подписывай, черт возьми!

— И когда перо перестало царапать бумагу, Хозяин добавил: — Числа не ставь. Я сам поставлю, когда захочу.

Голова м-ра Уайта не поднималась. С моего места мне было видно, что его пальцы еще держат ручку, а перо так и остановилось на последней букве его фамилии.

– Давай сюда, – сказал Хозяин.

М-р Уайт встал, повернулся, и я заглянул в его опущенное лицо, чтобы увидеть там то, что там можно было увидеть. Во взгляде, скользнувшем мимо меня, не было мольбы. В нем не было ничего. Глаза были пустые и окоченелые, как пара серых устриц на половинках раковин.

Он протянул листок Хозяину, тот прочел его, сложил и бросил в ноги кровати, возле которой сидел.

— Да, — сказал он, — я поставлю число, когда понадобится. Если понадобится. Все зависит от тебя. Знаешь, Уайт, сам не могу понять, почему я сразу не взял у тебя такого заявления об отставке, без даты. У меня их целая пачка. Но тебя я не раскусил. Я увидел тебя в первый раз и подумал: чепуха, старикашка совсем безвредный. Такой забитый — я думал, ты сам понимаешь, что господь не собирался сделать тебя богатым. Чепуха, подумал я, в тебе не больше пороха, чем в мокрой тряпке на полу ванной в пансионе для старых дев. Я был не прав, Уайт, могу в этом признаться. Пятидесяти лет от роду — и все пятьдесят лет ты ждал

своего часа. Ждал праздника на своей улице. Приберегал закваску, как малосильный к свадебной ночи. Ждал своего часа, и вот он пришел, и все должно было пойти по-другому. Но, — он снова наставил палец на м-ра Уайта, — ты просчитался, Байрам. Твой час не пришел. И не придет никогда. К таким, как ты, он не приходит. А теперь убирайся!

М-р Уайт убрался. Исчезновение произошло почти беззвучно: секунду назад он был здесь, и вот уже его нет. Осталось только пустое место — на месте пустого места по имени Байрам Б.Уайт.

— Ну, — сказал я Хозяину, — ты, я вижу, повеселился.

— А, черт, — ответил он, — у них глаза такие, что ты не можешь разговаривать по-другому. Он холуй, этот Уайт, это сразу видно, с ним просто нельзя обращаться по-другому.

— Да, — сказал я, — в эту чашу можно плевать всю жизнь, и она не переполнится.

— А кто ему велел терпеть? — угрюмо отозвался Хозяин. — Кто ему велел? Кто ему велел писать под диктовку? Кто ему велел меня слушать? Он мог уйти и хлопнуть дверью. Мог поставить число на этом заявлении. Мог сделать что угодно. А сделал он? Нет, черт подери. Нет, он будет стоять, и

моргать глазами, и жаться к ноге, как собака, когда ее хочешь ударить. И честное слово, кажется, что если его не ударишь, то пойдешь против воли божьей. Ты просто помогаешь Байраму выполнить свое предназначение.

— Мое дело, конечно, сторона, — сказал я, — но из-за чего шум?

— Ты газет не читал?

— Нет. Я был в отпуске.

— И Сэди тебе не сказала?

— Я только что приехал, — ответил я.

— Уайт, видишь ли, придумал план, как стать богатым. Снюхался с компанией по торговле недвижимостью, а потом — с

Хемилом из Бюро земельных налогов. Все бы хорошо, но они не хотели ни с кем делиться, а кто-то обиделся, что его не взяли в долю, и накапал ребятам Макмерфи из законодательного собрания. И если я доберусь до того, кто это сделал...

— Что сделал?

— Накапал людям Макмерфи. Должен был пойти к Дафи. Все знают, что жалобы рассматривает он. Теперь против него возбуждено дело.

— Против кого?

— Уайта.

— А что с Хемилом?

— Переехал на Кубу. Знаешь, климат мягче. И судя по газетам, он времени не терял. Сегодня утром там

был Дафи, и Хемил успел на поезд. Но на руках у нас — дело Уайта.

— Вряд ли они чего-нибудь добьются.

— А они и не попробуют добиваться. Тут только позволь начать — и неизвестно, что из этого выйдет. Сейчас самое время прижать их к ногтю. Мои ребята собирают всех нытиков и ненадежных и свозят сюда. Сэди с утра сидит на телефоне — следит за новостями. Кое-кто из пташек попрятался — почуяли, что пахнет жареным, но ребята их достанут из-под земли. Трое уже побывали здесь, и мы их взяли в работу. У нас на всех на них кое-что припасено. Ты бы посмотрел на

Джефа Хопкинса, когда он узнал, что мне известно о том, как его папаша подторговывает спиртным в своей захудалой аптечке в Толмадже, а потом подделывает рецепты для отчета. Или на Мартена, когда он узнал, что мне известно, что банк в Окалусе держит закладную на его дом, которая кончается через пять недель. Ну, – и Хозяин самодовольно зашевелил пальцами в носках, – я им успокоил нервы. Старое лекарство, но оно еще действует.

– А что от меня требуется?

– Поезжай завтра к Симу Хармону и постарайся вправить ему мозги.

– Больше ничего?

Прежде чем он успел ответить, Сэди просунула голову в дверь и сказала, что ребята доставили Уидерспуна, который был представителем северной окраины штата.

— Посадите его в соседнюю комнату, пусть дойдет. — И когда голова Сэди скрылась, он повернулся, чтобы ответить на мой вопрос: — Да, только до отъезда дай мне все, что у тебя есть на Эла Койла. Ребята вот-вот найдут его, а я хочу подготовиться к разговору.

— Ладно, — сказал я и поднялся.

Он посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Мне показалось, что он даже подбирает

слова, и я подождал, стоя возле своего стула. Но тут высунулась Сэди.

— Тебя хочет видеть мистер Милер, — произнесла она тоном, не обещающим ничего приятного.

— Зови, — сказал Хозяин, и я увидел, что он уже забыл, о чем хотел говорить со мной, и сейчас на уме у него совсем другое. Хью Милер — юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайета, Croix de guerre, честное сердце, чистые руки, генеральный прокурор — вот кто был у него на уме.

— Ему это не понравится, — сказал я.

— Да, — отозвался он, — не понравится.

А в дверях уже стоял высокий, худой, сутуловатый человек со смуглым лицом и черными нечесаными волосами, чернобровый, с грустными глазами и ключом Фи-Бета-Каппа на мятом синем пиджаке. С секунду он стоял там, мигая грустными глазами, словно вышел из темноты на яркий свет или по ошибке попал не в ту дверь. Что и говорить – не такие люди появлялись в этой двери.

Хозяин поднялся и зашлепал по комнате в носках, протягивая руку:

– Привет, Хью.

Хью Милер пожал ему руку, вошел в комнату, а я начал пробираться к двери. Но тут я

встретился взглядом с Хозяином, и он кивнул мне на стул. Тогда я тоже пожал руку Хью Милеру и вернулся на свое место.

— Присаживайтесь, — сказал Хозяин Милеру.

— Нет, спасибо, Вилли, — медленно и торжественно отвечал тот. — А вы садитесь, Вилли.

Хозяин упал в свое кресло, снова задрал ноги и спросил:

— Что там у вас?

— Думаю, что вы сами знаете, — ответил Хью Милер.

— Думаю, что да, — сказал Хозяин.

— Вы пытаетесь спасти Уайта, так ведь?

– Плевал я на Уайта, – сказал Хозяин. – Я спасаю кое-что другое.

– Он виновен.

– На все сто, – весело согласился Хозяин. – Если понятие виновности применимо к такому предмету, как Байрам Б.Уайт.

– Он виновен, – сказал Хью Милер.

– Господи, вы говорите так, как будто Байрам человек! Он – вещь! Вы не судите арифмометр, если в нем соскочила пружина и он начал врать. Вы его чините. Я и починил Байрама. Я его так починил, что его праправнуки намочат в штаны в годовщину этого дня и сами не поймут почему. Говорю вам, это

будет шок в генах. Байрам — это вещь, которой вы пользуетесь, и с сегодняшнего дня от нее будет польза, можете поверить.

— Все это прекрасно, Вилли, но суть в том, что вы спасаете Уайта.

— Плевать мне на Уайта, — ответил Хозяин. — Я не его спасаю. Нельзя, чтобы шайка Макмерфи в законодательном собрании решила, что такие номера сойдут ей с рук, — тогда с ней сладу не будет. Вы думаете, им нравится то, что мы делаем? Налог на добычу полезных ископаемых? Повышение аренды за разработку недр? Подоходный налог? Программа дорожного строительства? Законопроект о

здоровоохранении?

— Нет, — признал Хью Милер. — Вернее, не нравится тем, кто стоит за спиной Макмерфи.

— А вам нравится?

— Да, — сказал Хью Милер. — Это мне нравится. Но мне не нравится то, что иногда сопутствует этому.

— Хью, — сказал Хозяин и улыбнулся, — беда ваша в том, что вы юрист. Юрист до мозга костей.

— Вы тоже юрист, — возразил Хью Милер.

— Нет, — поправил Хозяин, — я не юрист. Я знаю право. Даже хорошо знаю. Я ведь зарабатывал этим. Но я не юрист. Поэтому-то я понимаю, что такое право. Право — это узкое

одеяло на двуспальной кровати, когда ночь холодная, а на кровати — трое. Одеяла не хватит, сколько его ни тащи и ни натягивай, и кому-то с краю не миновать воспаления легких. Черт возьми, законы — это штаны, купленные мальчишке в прошлом году, а у нас всегда — нынешний год, и штаны лопаются по шву, и щиколотки наружу. Законы всегда тесны и коротки для подрастающего человечества. В лучшем случае ты можешь что-то сделать, а потом сочинить подходящий к этому случаю закон; но к тому времени, как он попадет в книги, тебе уже нужен новый. Вы думаете, половина того, что я сделал,

записана черным по белому в конституции штата?

— Верховный суд постановил... — начал Хью Милер.

— Да, они постановили, потому что я посадил их туда, и они поняли, что от них требуется. Половины того, что я сделал, не было в конституции, а теперь есть. А как это туда попало? А очень просто — кто-то взял и вставил.

Кровь прилила к лицу Хью Милера, и он начал подергивать головой — тихо, едва заметно, словно медлительное животное, когда ему досаждают муха. Наконец он произнес: «В конституции ничего не сказано о том, что Байрам Уайт

может безнаказанно совершить уголовное преступление».

– Хью, – мягко начал Хозяин, – неужели вы не понимаете, что сам по себе Байрам ничего не значит? В этом скандале. У них одна цель – свалить нынешнюю администрацию. Байрам их не интересует – разве лишь в той мере, в какой человеку вообще ненавистна мысль, что кто-то другой набивает карман, а ты нет. Их одно интересует – поломать все, что сделала нынешняя администрация. И сейчас самая пора поставить их на место. Когда начинаешь работать, – он выпрямился в кресле, оперся на ручки и приблизил лицо к Хью Милеру, – приходится работать с

теми, кто у тебя есть. Приходится работать с такими, как Байрам, Крошка Дафи и эта мразь из законодательного собрания. Ты не слепишь кирпичей без соломы, а солома твоя — по большей части прелая солома, из коровьей подстилки. И если ты думаешь, что можно работать по-другому, ты спятил.

Хью Милер слегка распрямил плечи. Он смотрел не на Хозяина, а на стену за его спиной.

— Я ухожу в отставку с поста генерального прокурора, — сказал он. — Вы получите мое заявление утром с посыльным.

— Вы долго собирались это

сделать, — мягко сказал Хозяин. — Долго, Хью. Почему вы так долго собирались?

Хью Милер не ответил, но и не перевел взгляда со стены на лицо Хозяина.

— Я вам сам скажу, Хью, — продолжал Хозяин. — Вы пятнадцать лет сидели в своей адвокатской конторе и смотрели, как сукины дети протирают здесь штаны и ничего не делают, а богатые богатеют и бедные беднеют. Потом пришел я, сунул вам в руку дубинку и шепнул на ушко: «Хотите их раздраконить?» И вы их раздраконили. Вы отвели душу. От них только пух летел. Вы посадили девять хапуг — из тех, кто играет по

маленькой. Но тех, кто стоял за ними, вы не тронули. Закон для этого не приспособлен. Все, что вы можете, — это отнять у них правительство и не подпускать их к нему. Любым способом. И в душе вы это знаете. Вы хотите сохранить свои гарвардские руки в чистоте, но в душе вы знаете, что я говорю правду, вам надо просто, чтобы марался кто-то другой. Вы знаете, что дезертируете, подавая в отставку. Вот почему, — сказал он еще мягче прежнего и наклонился вперед, заглядывая в глаза Хью Милеру, — вы так долго собирались это сделать. Выйти из игры.

С полминуты Хью Милер

смотрел сверху на поднятое мясистое лицо с выпуклыми немигающими глазами. Собственное его лицо омрачилось, стало озадаченным, словно он пытался что-то прочесть, и не то свет был тусклым, не то написано было на языке, который он плохо знал. Потом он сказал: «Мое решение – окончательное».

– Я знаю, что окончательное, – сказал Хозяин. – Я знаю, что не смогу вас переубедить, Хью. – Он встал с кресла, поддернул брюки привычным движением человека, полнеющего в талии, и зашлепал в носках к Хью Милеру. – Очень жалко, – сказал он. – Мы с вами – хорошая пара. Ваши мозги и мой

напор.

На лице Хью Милера появилось слабое подобие улыбки.

— Расстаемся приятелями? — сказал Хозяин и протянул руку.

Хью Милер пожал ее.

— Если вы не бросили пить, может, зайдете как-нибудь, выпьем? — сказал Хозяин. — Я не буду говорить о политике.

— Хорошо, — сказал Хью Милер и повернулся к двери.

Он почти подошел к ней, когда Хозяин его окликнул. Хью Милер обернулся.

— Хью, вы бросаете меня одного, — сказал Хозяин с полушутливой скорбью, — с сукиными детьми.

Моими и чужими.

Хью Милер улыбнулся натянуто и смущенно, покачал головой, сказал: «Черт... Вилли...» – умолк, так и не досказав того, что начал, – и юридического факультета Гарварда, эскадрильи Лафайета, *Groix de guerre*, чистых рук, честного сердца больше не было с нами.

Хозяин опустился на кровать, закинул левую щиколотку на колено и, задумчиво почесывая ступню, как фермер, разувшийся перед сном, посмотрел на закрытую дверь.

– С сукиными детьми, – повторил он и уронил левую ногу на пол, не переставая смотреть на дверь.

Я снова встал. Это была моя третья попытка выбраться отсюда и вернуться в гостиницу, чтобы поспать. Хозяин мог не ложиться всю ночь, несколько ночей подряд, на нем это никак не сказывалось, но для сотрудников было сущим проклятием. Я опять двинулся к двери, но Хозяин перевел взгляд на меня, и я понял, что будет разговор. Поэтому я остановился и стал ждать, а глаза Хозяина ощупывали мое лицо и пытались проникнуть в серое вещество моего мозга, словно пинцеты.

Наконец он сказал:

— По-твоему, надо было отдать Уайта на растерзание?

– Ну и время ты выбрал задавать такие вопросы.

– По-твоему, надо?

– Надо – смешное слово, – сказал я. – Если ты спрашиваешь, надо ли для победы, на это ответит будущее. Если ты спрашиваешь, надо ли, чтобы быть правым, – на это тебе никто и никогда не ответит.

– А ты как думаешь?

– Думать – не моя специальность, – сказал я. – И тебе я тоже советую не думать, поскольку ты и так прекрасно знаешь, что ты намерен делать. Ты намерен делать то, что делаешь.

– Люси собирается уйти от меня, – сказал он спокойно, словно в

ответ на мои слова.

— Что за черт! — сказал я с искренним изумлением, ибо давно занес Люси в разряд долготерпеливых, на чью грудь проливаются в конце концов слезы раскаяния. В конце концов и не ранее того. Я невольно перевел взгляд на закрытую дверь, за которой сидела Сэди Берк, с ее черными, как вар, глазами, рябым лицом и буйными обкромсанными волосами, в которых, словно утренний туман в сосновой чаще, запутался табачный дым.

Он поймал мой взгляд.

— Нет, — сказал он, — не это.

— Да? По обычным понятиям и

этого было бы достаточно.

— Она не знает. Насколько я знаю.

— Она — женщина, — сказал я, — они это чувствуют.

— Не в этом дело, — ответил он. — Она сказала, что, если я заступлюсь за Байрама, она уйдет.

— Похоже, что все хотят распоряжаться твоими делами вместо тебя.

— Проклятье! — сказал он и, вскочив с кровати, в ярости заходил по ковру — четыре шага, поворот, четыре шага обратно, — и, глядя на это хождение, на тяжелые взмахи головы при поворотах, я вспомнил те ночи в бедных гостиницах, когда его

шаги доносились до меня из соседней комнаты, — те времена, когда Хозяин был еще Вилли Старком, Вилли Старк был растяпой с наивными ученическими речами, полными фактов и цифр, и с вывеской «дай мне пинка» под хлястиком.

Теперь я видел воочию это тяжелое безостановочное движение, которое слышалось прежде за тонкими перегородками в соседних комнатухах гостиниц. Но теперь оно вышло из пределов комнаты. Теперь он рыскал по вельду.

— Проклятье! — повторил он. — Они ничего об этом не знают, ничего не смыслят, и объяснить им

невозможно.

Он прошелся еще раз два и повторил:

— Ничего не смыслят.

Потом он снова повернул, прошел по ковру, остановился, вытянул шею ко мне:

— Ты знаешь, что я сделаю? Как только переломаю кости этой шайке?

— Нет, — сказал я, — не знаю.

— Я построю громаднейшую, роскошнейшую, никелированную, формалинно-вонючейшую бесплатную больницу и медицинский центр, каких еще свет не видывал. И, клянусь тебе, в каждой комнате будет по клетке с канарейками, которые умеют петь

итальянские арии, и не будет няньки, которая не победила бы на конкурсе красоты в Атлантик-Сити, и каждое судно будет из золота 76-й пробы, и в каждом судне будет музыкальный ящик и будет играть «Индюшку в соломе» или секстет из «Лючии» — выбирай на вкус.

— Замечательно, — сказал я.

— Я ее построю, — сказал он. —

Ты мне не веришь, но я построю.

— Я верю каждому твоему слову,

— ответил я.

Я падал с ног — так мне хотелось спать. Я раскачивался с носков на пятки и видел сквозь туман, как он мечется по комнате, поворачивается и мотает большой головой с упавшим

на глаза чубом.

Тогда мне казалось необъяснимым, почему Люси давно не упаковала свои чемоданы. Я удивлялся, как она может не знать о том, что почти ни для кого не было секретом. Когда это началось, я не знаю. Но когда я об этом узнал, все уже было в полном разгаре. Месяцев через шесть или восемь после того, как его выбрали губернатором, Хозяин поехал в Чикаго по кое-каким частным делишкам и взял меня с собой. С городом нас знакомил Джош Конклин, человек для этого самый подходящий — большой дородный мужчина, рано поседевший,

краснолицый, с черными кустистыми бровями, во фраке, который сидел на нем как корсет, с квартирой, похожей на кинодекорацию, и записной книжкой в два пальца толщиной. Он не был золотым парнем, но хорошей имитацией — безусловно, а это зачастую еще лучше, потому что золотой парень может утомиться, а имитатор не имеет права, он все время должен доказывать, что в нем хоть на золотник, да больше золота, чем в просто золотом парне. Он повел нас в ночной клуб, где на полу развернули рулон чистой воды льда и под комнатными сполохами на настоящих коньках выехали

«северные нимфы» в серебряных лифчиках с серебряной бахромой на бедрах – и кружились, и скакали, и раскачивались, и вскидывали ноги под музыку, а коньки сверкали, и белые коленки сверкали, и белые руки извивались в голубом свете, а маленькие сдвоенные упруго-мягкие полосы мускулов на голых спинах ездили и работали в изумительно согласном движении, а то, что под лифчиками, дрожало в такт, и девственные распущенные серебряные шведские волосы плавали и развевались в воздухе.

Мальчика из Мейзон-Сити разобрало – он в жизни не видел другого льда, кроме инея на

лошадиных яслях. «Ух ты», — произнес мальчик из Мейзон-Сити в хладнокровном восхищении. И опять: «Ух ты», глотая с усилием, словно в горле у него застрял кусок черствой кукурузной лепешки.

Представление окончилось, и Джош Конклин вежливо осведомился: «Вам понравилось, губернатор?»

— Ничего катаются, — ответил губернатор.

Потом одна из нимф со шведскими волосами появилась из своей уборной без коньков, в серебряном плаще, накинутом на голые плечи, и подошла к нашему столику. Она оказалась подружкой

Джоша Конклина, и такую подругу приятно иметь, даже если волосы ее не из Швеции, а из аптеки. У нее была подруга в труппе, она позвала ее, и подруга быстро подружилась с губернатором, который на все остальное время нашего пребывания в Чикаго стал для меня практически недостижим, если не считать ежевечерних посещений клуба, где происходили танцы на льду. Там он сидел, наблюдая за теловращением и заглатывая сухую кукурузную лепешку, застрявшую у него в горле. Потом, когда кончился последний номер, он говорил: «Спокойной ночи, Джек» – и вместе с подругой подруги Джоша Конклина уходил в

НОЧЬ.

Люси, по-моему, так и не узнала о фигуристках, а Сэди узнала. Ибо у Сэди имелись каналы связи, недоступные домашним хозяйкам. Когда мы с Хозяином вернулись домой и «северные нимфы» стали всего лишь приятным воспоминанием, мягким сладким пятнышком на сердце, как ямка на боку побитой дыни, Сэди подняла великий ирландский содом. В то утро, когда мы с Хозяином прибыли в город и я стоял в его приемной, болтая с молоденькой секретаршей, которая сообщала мне последние сплетни, из его кабинета донесся грохот. Я услышал шум, как будто

кто-то хлопнул книгой по столу, и потом голос — голос Сэди.

— Скажите, что тут происходит?
— спросил я у секретарши.

— Сначала вы скажите, что происходило в Чикаго.

— Да, — простодушно воскликнул я, — вон оно что.

— Аа, — передразнила она, — оно самое.

Я ретировался в свою комнатку, дверь которой выходила в приемную. Я еще стоял на пороге, не успев закрыть дверь, когда из кабинета Хозяина вылетела Сэди — так, как, должно быть, выскакивали большие кошки из клетки в дальнем конце арены, чтобы броситься на

христианского мученика. Ее волосы развевались, а лицо, совершенно белое, походило из-за оспин на выщербленный гипс — скажем, на алебастровую маску Медузы, служившую какому-нибудь мальчишке мишенью для духового ружья. Но посреди алебастровой маски происходило явление, не имевшее ничего общего с алебастром: ее глаза, и они были как двойное бедствие, как черный взрыв, как пожар. Она неслась на всех парах — вот-вот взорвется, — и было слышно, как трещит по швам ее юбка.

Потом она заметила меня, не сбавляя хода, завернула ко мне в

комнату и захлопнула за собой дверь.

— Сукин сын, — проговорила она, тяжело дыша и сверкая глазами.

— Я ни в чем не виноват, — сказал я.

— Сукин сын, — повторила она, не сводя с меня глаз, — я его убью, клянусь богом, я убью его.

— Вижу, вы чем-то озабочены, — сказал я.

— Я его уничтожу, выживу из штата, клянусь богом. Сукин сын, обманывать меня после всего, что я для него сделала. Слушайте, — сказала она, схватила меня сильными руками за лацканы и потрянула. (Руки у нее были широкие, сильные и жесткие, как у мужчины.) —

Слушайте...

— Душить меня не обязательно, — сварливо запротестовал я, — а слушать вас я не хочу. Я и так знаю черт знает сколько лишнего.

Я не шутил. Я не хотел ее слушать. Мир был полон вещей, о которых я не желал знать.

— Слушайте, — она опять потрянула меня, — кто сделал из этой свиньи человека? Кто его сделал губернатором? Кто подобрал его, когда он был Первым Растяпой страны, и сделал ему карьеру? Кто вел всю его игру, ход за ходом, чтобы он не проиграл?

— По-видимому, вы хотите, чтобы я сказал, что это сделали вы.

– Да, я, – подтвердила она, – и в награду за все этот двуличный...

– Нет, – возразил я, пытаюсь освободить лацканы из ее клешней, – о двуличии могла бы говорить Люси, а вам тут нужна какая-то другая арифметика. Не знаю только, умножать или делить надо в подобных случаях.

– Люси! – крикнула она, кривя губы. – Люси дура. Если бы она могла поставить на своем, он пас бы теперь свиней в Мейзон-Сити, и он это знает. Он знает, что бы она из него сделала. Если бы он ее слушался. У нее была возможность, она... – Сэди остановилась, чтобы перевести дух, но было ясно, какие

слова горят у нее в мозгу, пока она ловит ртом воздух.

– Я вижу, вы думаете, что время Люси истекает, – сказал я.

– Люси, – произнесла она и замолчала, но тон ее выразил, все, что следовало сказать о Люси, которая была деревенской девушкой, ходила в заштатный баптистский колледж, где верили в бога, учила белобрых сопляков в школе округа Мейзон, вышла за Вилли Старка, родила ему ребенка и прозевала свое счастье. Потом Сэди добавила, тихо и с какой-то мрачной деловитостью:

– Вот увидите, он ее вытурит, сукин сын.

– Вам лучше знать, – ответил я

просто потому, что не мог устоять перед этой логикой; но не успел я кончить фразу, как она дала мне пощечину. На что вы и напрашиваетесь, когда лезете в чужие дела, частные и общественные.

— Вы ошиблись адресом, — сказал, я, трогая щеку и отступая на шаг от жара, потому что она была на грани воспламенения, — не я герой этой пьесы.

Вдруг весь ее пыл погас. Она как будто оцепенела в своем мешковатом костюме. Я увидел, как во внутренних уголках ее глаз собираются слезы, собираются очень медленно, набухают и обе

одновременно, с правильностью крохотных заводных игрушек ползут вниз по обе стороны от ее рябоватого носа и разливаются по жирному темному пятну губной помады. Я увидел, как высунулся кончик языка и осторожно прошелся по верхней губе, словно пробуя вкус соли.

Она все время смотрела мне в лицо, точно надеялась, что если будет смотреть достаточно упорно, то прочтет в нем какой-то ответ.

Потом она прошла мимо меня к стене, где висело зеркало, и стала в него смотреть, близко придвинув лицо к стеклу и поворачивая из стороны в сторону. Ее отражения я не видел — только затылок.

– Какая она из себя? – спросила она надменно и бесстрастно.

– Кто? – спросил я, искренне недоумевая.

– В Чикаго, – сказала она.

– Нормальная потаскушка, – ответил я, – с фальшивыми шведскими волосами на голове, с коньками на ногах и почти без ничего в промежутке.

– Хорошенькая? – произнес высокомерный, бесстрастный голос.

– Черт, – сказал я, – я ее не узнаю, если встречу завтра на улице.

– Она была хорошенькая? – повторил голос.

– Да почему я знаю, – сказал я сварливо, – в той обстановке, в

которой она зарабатывает свой хлеб, просто не успеваешь заметить, какое у нее лицо.

— Она была хорошенькая?

— Да забудьте вы о ней, Христа ради, — взмолился я.

Она повернулась и пошла на меня, держа руки примерно на уровне подбородка, слегка согнув пальцы, но не касаясь щек. Она подошла ко мне вплотную и остановилась.

— Забыть? — повторила она, будто только что услышала мои слова.

Потом она немного подняла руки и прикоснулась к выщербленной алебастровой маске, чуть-чуть дотронулась до щек, словно

они распухли и болели.

– Смотрите, – приказала она.

Она придвинула лицо, чтобы я мог получше его разглядеть.

– Смотрите! – мстительно приказала она и вонзила ногти в кожу. Потому что это была живая кожа, а совсем не алебастр. – Да, смотрите, – сказала она, – мы валялись в нашей богом забытой халупе – оба, брат и я, – еще маленькие – у нас была оспа, а отец был пьяница – пил без просыпу, плакал, и пил в салуне, и кланчил медяки – плакал и рассказывал, как его детки болеют, милые ангельские детки, – он был никчемный, добрый, запойный слезливый ирландец и бил

нас немилосердно – и брат умер – а ему бы жить, ему бы это было не страшно – мужчине все равно, – а я не умерла – я не умерла и выздоровела, – а отец, он смотрел на меня, а потом хватал и начинал целовать, все лицо, каждую дырку и плакал и пускал слюни и дышал перегаром – или вдруг посмотрит и скажет: «У-у» и начинает бить меня по лицу – это было одно и то же – все равно, потому что не я умерла – я осталась...

Придушенный речитатив вдруг оборвался. Она протянула ко мне руки, схватила меня за пиджак и прижалась головой к моей груди. И я стоял, обняв ее правой рукой за

плечи, похлопывал ее, похлопывал и делал такие разглаживающие движения ладонью по ее спине, которая вздрагивала, как я понял, от беззвучных рыданий.

Потом, не поднимая головы, она заговорила:

— Так всегда будет, от этого никуда не денешься, это на всю жизнь...

Это, подумал я, и подумал, что она говорит о лице.

Но она говорила о другом: всегда... целуют и пускают слюни... а потом бьют по лицу... что бы ты для них ни сделала, как бы ни старалась... вытаскиваешь их из канавы, делаешь из них людей... и

они бьют тебя по лицу... при первом удобном случае... потому что у тебя была оспа... увидят голую шлюху на коньках — и плюют тебе в морду...

Я продолжал похлопывать и делать разглаживающие движения, потому что ничего другого мне не оставалось.

— ...всегда так будет — какая-нибудь шлюха на коньках — какая-нибудь...

— Слушайте, — сказал я, продолжая похлопывать, — все обойдется. Не все ли равно вам, как он развлекается?

Она вскинула голову.

— Что вы в этом понимаете? Ни черта, — сказала она и, вцепившись

пальцами в мой пиджак, снова
тряхнула меня.

– Если вам так тяжело, – сказал
я, – отпустите его на все четыре
стороны.

– Отпустите! Отпустите! Я его
убью сначала! – крикнула она,
свирепо глядя на меня
покрасневшими глазами. –
Отпустите? Вот что, – она снова
тряхнула меня, – если он побежал за
какой-то шлюхой, он все равно
вернется. Должен вернуться.
Должен, понятно? Потому что он не
может без меня обойтись. И он это
знает. Без этих шлюх он может
обойтись, а без меня – нет. Он знает,
что ему не обойтись без Сэди Берк.

Она подняла ко мне лицо так, будто я должен был чертовски гордиться тем, что мне его показали.

— Он всегда будет возвращаться, — заверила она меня угрюмо.

И она была права. Он всегда возвращался. На свете было полно шлюх на коньках, даже если некоторые из них были без коньков. Некоторые из них танцевали в мюзик-холле, некоторые стучали на пишущей машинке, некоторые выдавали номерки на вешалке, некоторые были замужем за членами законодательного собрания, но он всегда возвращался. Правда, его не обязательно встречали с распростертыми объятиями и

нежной улыбкой. Иногда это было холодное молчание, подобное полярной ночи. Иногда – белая горячка для всех сейсмографов на континенте. Иногда – один хорошо подобранный эпитет. Однажды, например, нам с Хозяином пришлось совершить небольшую поездку на север штата. Когда мы вернулись и вошли в Капитолий, там в пышном вестибюле под большим бронзовым куполом нас встретила Сэди. Мы подошли к ней. Она дождалась, пока мы приблизимся, и тогда сказала, просто и без всяких предисловий:

– Ты, выродок.

– Ну-у, Сэди, – сказал Хозяин и улыбнулся улыбкой обаятельного

шалунишки, – у тебя даже не хватает терпения выслушать человека.

– Ты просто не можешь ходить застегнувшись, выродок, – сказала она так же лаконично и пошла прочь.

– Ну вот, – удрученно сказал мне Хозяин, – в этот раз я ничего не сделал, а посмотри, что получается.

Знала ли что-нибудь Люси Старк? Не знаю. Судя по всему, она не знала ничего. Даже когда она сказала Хозяину, что уходит, она объяснила это тем, что он не отдал под суд Байрама Б.Уайта.

Но она и тут не ушла.

Она не ушла потому, что была слишком благородной, слишком доброй или слишком еще какой-то,

чтобы толкнуть его, когда он и без того, как ей казалось, падал. Или был на грани этого. Она не хотела и пальцем тронуть ту чашу весов, где лежало нечто похожее на аккуратный сверток несчастий с пятнами крови, проступавшими на оберточной бумаге. Ибо преследование Байрама Б.Уайта отошло на задний план. Они откопали настоящую жилу: дело Вилли Старка.

Не знаю, так ли они его планировали. Или они были вынуждены начать атаку раньше запланированного срока, когда увидели, что Хозяин загнал их в угол и у них нет другого способа отбить его нападение. А может, они решили,

что господь отдал врага в их руки и теперь любой суд признает его виновным в попытке подкупа, принуждения и шантажа законодателей, не говоря уже о прочих мелких злодеяниях и злоупотреблениях. Возможно, они уже нашли героев, готовых присягнуть, что губернатор оказывал на них давление. А для этого действительно были нужны герои (или хорошие деньги), потому что ни один человек в здравом уме не поверил бы, памятуя о прошлой деятельности Хозяина, что сейчас он блефует. Но, по-видимому, они решили, что им удалось найти (или купить) таких героев.

Во всяком случае, они сделали попытку, и жизнь наша завертелась так, что все вокруг слилось. Я сильно сомневаюсь, чтобы Хозяин спал хоть раз за две недели. Вернее, спал в постели. Конечно, ему удавалось урвать несколько минут на задних сиденьях автомобилей, носившихся ночью по шоссейным дорогам, или в кресле, в промежутке между тем, как из кабинета выходил один человек и входил другой. Он носился по штату со скоростью восемьдесят миль, ревя клаксоном, из города в город, из поселка в поселок — от пяти до восьми выступлений в день. На трибуну он поднимался лениво, вразвалочку, словно времени у него

было сколько угодно и он не знал, куда его девать. Он начинал спокойно:

— Друзья, в городе у нас начинается небольшая заваруха. Между мной и гиеноголовыми, собакорожими, вислобрюхими, брыластыми сукиными детьми, которые засели в законодательном собрании. Вы знаете, о ком я говорю. Я так долго смотрел на них и на их родичей, что решил, не пора ли мне проехаться и поглядеть, на что похожи человеческие лица, пока я их начисто не забыл. Ну вот, вы тут похожи на людей. Более или менее. И на людей разумных. Несмотря на то что они говорят о вас в

законодательном собрании — и получают за эти разговоры по пять долларов в день из вашего кармана. Они говорят, что у вас куриные мозги, если вы выбрали меня губернатором штата. Может, у вас и вправду куриные мозги. Меня не спрашивайте, я — лицо заинтересованное. Но... — и он уже не стоял в небрежной позе, задумчиво наклонив голову и глядя из-под опущенных век, он вдруг бросал массивную голову вперед, и глаза, красные от недосыпа, выкатывались, — я задам вам один вопрос и хочу получить ответ. Я хочу, чтобы вы ответили мне честно, как на духу. Отвечайте: обманул я вас?

Обманул? – И не успевало еще затихнуть последнее слово, как он, резко подавшись вперед, вскидывал правую руку и выкрикивал: – Стоп! Не отвечайте, пока не заглянете к себе в душу и не увидите правды. Потому что правда – там. Не в книгах. Не в сводах законов. Она – не на бумаге. В вашем сердце. – Потом в долгой тишине он обводил взглядом толпу. Потом: – Отвечайте!

Я ждал рева. Тут ничего не поделаешь. Я знал, что он будет, но все равно ждал его, и молчание перед ним казалось невыносимо долгим. Это похоже на глубокий нырок. Ты начинаешь всплывать к свету, и знаешь, что вдохнуть еще нельзя, еще

нет, и чувствуешь только одно – стук крови в висках, в невыносимом безвременье. Потом раздавался рев, и ощущение было такое, как будто ты выскочил на поверхность, воздух хлынул в легкие и свет пошел кругом. Нет ничего подобного реву толпы, когда он вырывается вдруг и одновременно у всех людей в толпе – из того, что сидит в каждом из них, но не является им самим. Рев поднимался и нарастал, затихал и снова рос, а Хозяин стоял, воздев правую руку к небесам, с выпученными красными глазами.

И когда рев умолкал, он говорил, не опуская руки:

– Я заглянул в ваши лица!

И они ревели.

Он говорил:

– О господи, я увидел знак!

И они опять ревели.

Он говорил:

– Я видел росу на шерсти, а
землю – сухую.

И снова рев.

Потом:

– Я видел кровь на луне! Бочки
крови! Я знаю, чья это будет кровь. –
Потом, наклонившись вперед и
хватая правой рукой воздух, словно
что-то висело в нем: – Дайте мне
топор!

Это или что-нибудь похожее
происходило каждый раз. И, гудя,
завывая клаксоном, носился по штату

«кадиллак», и Рафинад проскакивал под носом у бензовозов, и слюна его брызгала на стекло, и беззвучно работали губы, выговаривая застрявшее в горле: «З-з-зар-раза». И Хозяин стоял на возвышении, с поднятой рукой (иногда — под дождем, иногда — под ярким солнцем, иногда — ночью при красном свете бензиновых факелов, зажженных на крыльце деревенской лавки), и толпа редела. И голова у меня пухла от недосыпа, становилась огромной, как небо, а ноги были ватными, и казалось, будто ходишь не по земле, а по облакам взбитого хлопка.

Вот как это было.

Но бывало и так: Хозяин сидит в машине с потушенными огнями, в переулке, возле дома, поздно за полночь. Или за городом, у ворот. Хозяин наклоняется к Рафинаду или к одному из приятелей Рафинада, Большому Гарису или Элу Перкинсу, и говорит, тихо и быстро: «Вели ему выйти. Я знаю, что он дома. Скажи, пусть лучше выйдет и поговорит со мной. А не захочет — скажи, что ты друг Эллы Лу. Тогда он зашевелится». Или: «Спроси его, слышал ли он о Проныре Уилсоне». Или что-нибудь в этом роде. И вскоре выходил человек в пижамной куртке, заправленной в брюки, дрожащий, с лицом, белеющим в темноте, как мел.

И еще: Хозяин сидит в прокуренной комнате, на полу возле него – кофейник или бутылка; он говорит: «Впусти гада. Впусти».

И когда гада впускают, Хозяин не торопясь оглядывает его с головы до ног и произносит: «Это твой последний шанс». Он произносит это спокойно и веско. Потом он внезапно наклоняется вперед и добавляет, уже не сдерживаясь: «Сволочь ты такая, знаешь, что я могу с тобой сделать?»

И он правда мог. У него были средства.

Во второй половине дня 4 апреля 1933 года улицы, ведущие к

Капитолию, были запружены народом, но не тем народом, какой вы привыкли видеть на этих улицах. По крайней мере – видеть в таких количествах. Вечером «Кроникл» сообщила, что, по слухам, готовится поход на Капитолий, но заверила, что никакие запугивания не пошатнут законности. К полудню пятого апреля число загорелых лиц, войлочных шляп, синих комбинезонов и крепдешиновых, неровно подрубленных платьев с запорошенными красной пылью подолами заметно увеличилось; к ним прибавилось множество лиц и одежд менее захолустного происхождения – в стиле окружающих

центров и заправочных станций. Толпа двигалась к Капитолию без пения и криков и рассеивалась по большой лужайке, где стояли статуи.

В толпе сновали люди со штативами и фотоаппаратами, расставляли свои треножки на ступенях Капитолия и карабкались на постаменты фрачных статуй, чтоб снимать оттуда. Там и сям вокруг толпы возвышались синие мундиры конных полицейских, а на свободном пространстве лужайки, между толпой и Капитолием, тоже стояли полицейские и несколько патрульных из службы движения, очень складные и деловитые с виду в своих ярко-синих мундирах, черных ботинках и

широких черных ремнях с
отвисшими кобурами.

Толпа начала скандировать:
«Вилли, Вилли, Вилли, мы хотим
Вилли!»

Все это я увидел из своего окна
на втором этаже. Интересно,
подумал я, доходит ли этот шум до
тех, кто спорит, причитает и
разглагольствует сейчас в палате
представителей? Снаружи, на
лужайке, под ярким весенним
солнцем все было очень просто.
Никаких споров. Очень просто. «Мы
хотим Вилли, Вилли, Вилли, Вилли!»
В протяжном ритме, с хриплыми
подголосками, как прибой.

Потом я увидел, как к

Капитолию медленно подъехала большая черная машина и остановилась. Из нее вылез человек, помахал рукой полицейским и подошел к эстраде на краю лужайки. Это был толстый человек. Крошка Дафи.

Потом он обратился к толпе. Я не мог расслышать его слов, но знал, что он говорит. Он говорил, что Вилли Старк просит их мирно разойтись, подождать до темноты и вернуться сюда, на лужайку, к восьми часам — тогда он сможет им кое-что сказать.

Я знал, что он скажет. Я знал, что он встанет перед ними и скажет, что он еще губернатор этого штата.

Я знал это потому, что накануне вечером, около половины восьмого, Хозяин вызвал меня и дал мне большой коричневый конверт.

— Лоудан в гостинице «Хаскел», — сказал он. — У себя в номере. Пойди туда и покажи ему это, но в руки не давай. И скажи, чтобы оттащил свою свору. Впрочем, не так уж важно, согласится он или нет, потому что они все равно передумали. (Лоудан был вожаком у ребят Макмерфи в палате представителей.)

Я пошел в гостиницу и поднялся в номер Лоудана, не предупредив о своем приходе. Я постучал в дверь и, услышав его голос, сказал: «Почта». Он открыл мне — большой

жизнерадостный человек с хорошими манерами, в цветастом халате. Сначала он меня не узнал — он увидел просто большой коричневый конверт и над ним какое-то лицо. Но когда он протянул руку, я отвел конверт и шагнул в дверь. Тогда он, наверно, заметил и лицо.

— А, добрый вечер, мистер Берден, — сказал он, — говорят, последние дни вы в хлопотах.

— Слоняюсь, — ответил я, — просто не знаю, куда себя девать. Случайно оказался в вашем районе и решил зайти, показать вам одну вещь, которую мне дал приятель. — Я вынул из конверта длинный лист бумаги и

поднес к его глазам. — Нет, не трогайте, бо-бо, — сказал я.

Он не тронул, но стал смотреть очень пристально. Его кадык подпрыгнул раз или два; потом он вынул изо рта сигару (хорошую сигару, центов на двадцать пять, не меньше, судя по запаху) и сказал:

— Фальшивка.

— Подписи, по-моему, настоящие, — сказал я, — но, если вы сомневаетесь, можете позвонить одному из ваших друзей, чье имя стоит здесь, и спросить его как мужчина мужчину.

Он подумал над моим предложением, кадык его подпрыгнул, уже с усилием, но он

принял удар как солдат. Или все еще думал, что это фальшивка. Затем он сказал:

— Рискну вам не поверить, — и пошел к телефону.

Дожидаясь соединения, он оглянулся на меня и сказал:

— Может быть, присядете?

— Нет, спасибо, — ответил я, ибо не рассматривал свой визит как светский.

Наконец его соединили.

— Монти, — сказал он в трубку, — тут у меня заявление, в котором сказано, что нижеподписавшиеся считают привлечение губернатора к ответственности необоснованным и вопреки любому давлению будут

голосовать против. Так и сказано: «любому давлению». Под заявлением ваша фамилия. Как это объяснить?

Наступило долгое молчание, потом мистер Лоудан сказал:

— Ради бога, перестаньте крутить и мямлить, скажите по-человечески!

Опять наступило молчание, после чего мистер Лоудан завопил: «Вы... вы...» Но, так и не подобрав слова, бросил трубку и поворотил свое еще недавно жизнерадостное лицо ко мне. Он ловил воздух ртом, но не издавал ни звука.

— Ну что, — сказал я, — сделаем еще попытку?

— Это шантаж, — сказал он очень

спокойно, но сипло, словно в его легких не осталось воздуха. Потом, как будто слегка отдышавшись: – Это шантаж. Насилие. Подкуп, это подкуп. Говорю вам, вы запугали, вы подкупили этих людей...

– Я не знаю, почему эти люди подписали заявление, – ответил я, – но если ваши подозрения справедливы, то я вывожу отсюда такую мораль: Макмерфи не должен был выбирать законодателей, склонных к мздоимству или совершивших поступки, которыми можно шантажировать.

– Макмерфи... – начал он и опять погрузился в молчание, склонив свой расцвеченный корпус

над тумбочкой с телефоном. У него еще будут неприятные разговоры с Макмерфи.

— Маленькая деталь, — сказал я. — И вам, и в особенности подписавшим этот документ, по-видимому, будет спокойнее снять свой проект, не доводя его до голосования. Вы могли бы проследить, чтобы это было сделано к завтрашнему вечеру. У вас будет достаточно времени, чтобы предпринять все необходимые шаги и найти наиболее достойный путь отступления. Разумеется, губернатор добился бы большего политического эффекта, если бы этот вопрос был поставлен на голосование, но он не хочет доставлять вам лишних

огорчений, тем более что в городе наблюдается повышенный интерес к этому делу.

Насколько я мог судить, он не обращал на меня ни малейшего внимания. Я подошел к двери, открыл ее и обернулся.

– В конечном счете губернатору безразлично, какой путь вы предпочтете.

Затем я закрыл дверь и стал спускаться.

Это было вечером четвертого апреля. А пятого я смотрел из высокого окна на толпы, заполнившие улицы и просторную лужайку за статуями перед Капитолием, испытывая легкую

грусть оттого, что знаю всю подоплеку происходящего. Если бы я не знал, то, может быть, стоял бы здесь, с волнением ожидая исхода, гадая, что будет дальше. Но я знал, чем кончится пьеса. Это было похоже на генеральную репетицию после того, как пьесу сняли с репертуара. Я стоял у окна и чувствовал себя, как Господь Бог, размышляющий над ходом Истории.

А это, должно быть, скучное занятие для Господа Бога, который заранее знает, чем все кончится. Который, в сущности, знал это еще тогда, когда не знал, что История вообще будет. Впрочем, это рассуждение — полная бессмыслица,

ибо предполагает наличие Времени, а Бог – вне Времени, ибо Бог – это Полнота Бытия и в Нем Конец есть Начало. О чем вы можете прочесть в брошюрах, которые пишет и раздает на перекрестках толстый неопрятный старик с обсыпанными перхотью плечами и в очках с железной оправой, бывший некогда Ученым Прокурором и женившийся где-то в Арканзасе на девушке с золотыми косами и свежими, слегка впалыми щеками. Но брошюрки его безумны, думал я. Я думал тогда, что Бог не может быть Полнотой Бытия. Ибо Жизнь – это Движение.

(Я пользуюсь заглавными буквами, как и старик в своих

брошюрах. Я сидел напротив него, за столом, заваленным с одного конца грязной посудой, а с другого – бумагами и книгами, в комнате, смотревшей окном на железную дорогу, и старик говорил, и я слышал в его голосе эти заглавные буквы. Он сказал: «Бог – это Полнота Бытия». А я ответил: «Ты неправильно к этому подходишь. Потому что Жизнь – это Движение. Потому что...»

Потому что Жизнь – это Движение к Знанию. Если Бог – это Полное Знание, то Он – Полная Неподвижность, то есть Безжизненность, то есть Смерть. Следовательно, если есть такой Бог Полноты Бытия, значит, мы

поклоняемся Смерти-Отцу. Вот что ответил я старику, который, мигая склеротическими глазами, смотрел на меня из-за стола, заваленного грязной посудой и бумагами, поверх железной оправы очков, сползших на кончик носа. Он тряхнул головой, и несколько хлопьев перхоти выпало из редких седых волос, окаймлявших череп, в чьей волокнистой, губчатой, напитанной кровью темноте маленькие электрические судороги складывались в слова. Затем он сказал: «Аз есмь Воскресение и Жизнь». И я ответил: «Ты неправильно к этому подходишь».

Ибо Жизнь – это огонь, бегущий по фитилю (или по запальному

шнуру к пороховой бочке, которую мы называем Богом?), и фитиль – это то, чего мы не знаем, наше Неведение, а хвостик пепла, который сохраняет строение фитиля, если его не сдует ветром, – это История, человеческое Знание, но оно мертво, и, когда огонь добежит до конца фитиля, человеческое Знание сравняется с Божьим Знанием и огонь, который есть Жизнь, погаснет. Или если фитиль ведет к пороховой бочке, то вспыхнет чудовищное пламя и разнесет даже этот хвостик пепла. Так я сказал старику.

Но он ответил: «Ты мыслишь конечными категориями». А я сказал: «Я вообще не мыслю, я просто рисую

картинку». Он воскликнул: «Ха!» — и я вспомнил, что он восклицал так давным-давно, играя в шахматы с судьей Ирвином в длинной комнате, в белом доме у моря. Я сказал: «Я нарисую тебе другую картину. Картину человека, который пытается написать картину заката. Но не успеет он окунуть кисть, как все перед ним меняется — и цвет и контуры. Дадим название картине, которую он пытается написать: Знание. Следовательно, если предмет, на который смотрит этот человек, непрерывно меняется, так что Знание постоянно оказывается ложным и потому остается Незнанием, то Вечное Движение

возможно. И Вечная Жизнь. Следовательно, мы только тогда можем верить в Вечную Жизнь, когда отрицаем Бога, который есть Полное Знание».

Старик сказал: «Я буду молиться о спасении твоей души».)

Но, хотя я и не верил в его Бога, в то утро, стоя у окна в Капитолии и глядя на толпу, я чувствовал себя Богом, ибо знал, что из этого выйдет. Я чувствовал себя как Бог, размышляющий над ходом Истории, потому что маленький отрезок Истории был сейчас у меня перед глазами. На лужайке на пьедесталах стояли бронзовые люди – во фраках, с правой рукой за пазухой; в военных

мундирах, с правой рукой на эфесе сабли; и даже один в штанах из оленьей кожи, с правой рукой на стволе длинного ружья, поставленного прикладом на пьедестал. Они уже стали Историей, и трава вокруг них была коротко подстрижена, а цветы на клумбах рассажены звездами, кругами и полумесяцами. Дальше за статуями были люди, которые еще не стали Историей. Не совсем. Они были Историей для меня — потому что я знал исход событий, в которых они участвуют. Или думал, что знал.

Кроме того, я знал, как расценят эту толпу газеты, когда и им станет известен исход. Они сочтут толпу

причиной. «Позорное проявление
трусости со стороны
законодательного собрания...
растерялось перед угрозой...
прискорбное свидетельство слабости
руководителей...» Глядя на толпу и
слыша эти хриплые подголоски, как в
прибое, вы могли бы подумать, что
причиной событий в Капитолии
была и в самом деле толпа. Нет,
могли бы ответить вам, причина
событий – Вилли Старк, купивший и
запугавший законодательное
собрание. Но на это можно было бы
возразить: нет, Вилли Старк лишь
дал возможность законодателям
поступать в соответствии с их
натурой, а подлинным виновником

был Макмерфи, который провел этих людей в конгресс, надеясь использовать их трусость и алчность в своих целях. Но и на это можно было бы возразить: нет, в конечном счете виновницей все же была толпа — косвенно, поскольку она позволила Макмерфи провести этих людей, и непосредственно, поскольку она, вопреки Макмерфи, выбрала Вилли Старка. Но почему она выбрала Вилли Старка? Потому ли, что обстоятельства сделали ее тем, что она есть, или потому, что Вилли Старк умел наклоняться к ней, воздев к небесам руку и выпучив глаза?

Одно было ясно: это хриплое

песнопение с его приливами и отливами ничего не решает, ровно ничего. Я стоял у окна в Капитолии, тешился этой мыслью, словно жгучей, бесценной тайной, и больше ни о чем не думал.

Я наблюдал, как толстый человек вылезает из черного лимузина и поднимается на эстраду. Я видел, как всколыхнулась и замерла, а потом поредела и рассосалась толпа.

Я смотрел на широкую, залитую ярким весенним солнцем лужайку, на которой остались лишь одинокие и праздные теперь полисмены да статуи людей во фраках, мундирах и кожаных штанах. Я выдохнул

последнюю затяжку, швырнул окурок в открытое окно и провожал его глазами, пока он не упал, кружась, далеко внизу на каменные ступени.

В восемь часов вечера на этих ступенях, залитых светом, должен был появиться Вилли – маленькая фигурка перед громадой здания, на вершине каменной лестницы.

В тот вечер толпа прихлынула к самым ступеням, заполнив все пространство вокруг четко очерченного пятна света. (Прожекторы были установлены на пьедесталах двух статуй – фрака и кожаных штанов.) Она выкрикивала и распевала: «Вилли – Вилли – Вилли», тесня полицейскую цепь у

подножия лестницы. Потом из высокой двери Капитолия вышел он. Когда он остановился на пороге, мигая от яркого света, выкрики смолкли, наступила короткая тишина, а затем раздался рев. Казалось, прошло много времени, прежде чем он поднял руку, чтобы успокоить их. Рев постепенно замер под давлением опускающейся руки.

Я стоял в толпе с Адамом Стентоном и Анной и видел, как он появился на ступенях Капитолия. Когда все кончилось, когда он сказал все, что хотел сказать, и ушел, оставив за собой ничем не сдерживаемый рев, я пожелал Анне и Адаму спокойной ночи и отправился

к Хозяину.

В резиденцию мы ехали вместе. Он не сказал ни слова, когда я присоединился к нему в машине. Рафинад выводил ее по задним улицам, и все время за спиной мы слышали рев, выкрики и длинные гудки автомобильных сигналов. Наконец Рафинад выбрался на тихую улочку, где кроны деревьев с набухшими почками смыкались над нами, а дома с освещенными окнами и людьми в освещенных комнатах стояли, отступя от тротуаров. На перекрестках под фонарями уже можно было различить зелень первых листочков.

Рафинад подрулил к заднему

входу в резиденцию. Хозяин вылез из машины и вошел в дом. Я последовал за ним. Он пересек задний холл, где никого не было, и вступил в большой холл. Он прошел через весь холл, под люстрами и зеркалами, мимо лестницы, заглянул в зал, пересек холл еще раз, чтобы сунуть голову в заднюю гостиную, и еще раз, чтобы заглянуть в библиотеку. Я понял, кого он ищет, и перестал за ним ходить. Я стоял посреди холла и ждал. Он не говорил мне, что я ему нужен, но и не говорил, что нет. До сих пор он вообще не говорил. Ни слова.

Когда он вернулся из библиотеки, из столовой вышел негр-слуга в белом пиджаке.

– Ты видел миссис Старк? – спросил Хозяин.

– Да, саа.

– Да где же, черт подери? – рывкнул Хозяин. – Ты думаешь, мне не с кем язык почесать, кроме тебя?

– Нет, саа, я... я ничего не думаю, я...

– Где? – произнес Хозяин голосом, от которого звякнула люстра.

После первого паралича губы на черном лице зашевелились. Сначала – безрезультатно. Потом слышался звук: «Наверху – они ушли наверх – они, наверно, легли – они...»

Хозяин стал подниматься.

Он вернулся почти сразу и, не

говоря ни слова, прошел мимо меня в библиотеку. Я поплелся за ним. Он плюхнулся на большую кожаную кушетку, положил на нее ноги и сказал:

– Закрой, к черту, дверь.

Я закрыл дверь, а он разместился на подушках под углом градусов в тридцать к горизонту и стал угрюмо рассматривать костяшки пальцев.

– Казалось бы, сегодня вечером она могла подождать меня и не ложиться, – произнес он наконец, разглядывая костяшки. Потом поднял на меня глаза. – Легла спать. Легла и заперла дверь. Сказала, что голова болит. Поднимаюсь наверх, а там в

комнате напротив сидит Том, уроки делает. Берусь за ручку, он подходит и говорит: «Она просила ее не беспокоить». Словно я какой-нибудь рассыльный. «А я не буду ее беспокоить, — говорю я, — я просто хочу рассказать, что сегодня было». Он поглядел на меня и говорит: «У нее болит голова, она просила не беспокоить». — Он запнулся, опять посмотрел на костяшки, потом на меня и добавил, как бы оправдываясь: — Я просто хотел рассказать ей, чем все кончилось.

— Она хотела, чтобы ты отдал Байрама на растерзание, — сказал я. — Может, она хотела, чтобы ты и себя отдал на растерзание?

— Не знаю, какого черта она хочет. И какого черта им всем надо. Кто их разберет? Но одно я знаю твердо: если ты хоть наполовину будешь поступать, как им хочется, — кончишь под забором. Интересно, как ей это понравится.

— Я думаю, что Люси бы это пережила.

— Люси? — повторил он с некоторым изумлением, словно я вдруг перевел разговор на другую тему. Тут я сообразил, что имя Люси еще не произносилось. Разумеется, он говорил о Люси — он это знал, и я это знал. Но как только вместо слова «она» было произнесено имя Люси, все почему-то переменялось. Как

будто она сама вошла в комнату и посмотрела на нас.

— Люси... — повторил он. — Ладно, Люси. Она бы пережила. Она могла бы спать под забором и питаться бобами, но мир-то от этого не изменится, черт подери, ни капли. Может Люси это понять? Нет, не может Люси. — Теперь он произносил ее имя с видимым удовольствием, словно, говоря «Люси», он что-то доказывал — про нее, или про себя самого, или еще про что-то. — Люси, — продолжал Хозяин, — она могла бы спать под забором. Она и Тома этому научит, дай ей волю. Она его так воспитает, что шестилетние ребята будут

стрелять в него из рогатки и убегать поленятся. Он хороший крепкий парень – прекрасно играет в футбол, наверняка будет в сборной, когда поступит в колледж, но она его хочет погубить. Вырастить из него слюнтяя. Стоит мне слово сказать парню – и вижу, как она вся каменеет. Сегодня вечером я позвонил сюда, чтобы Том приехал посмотреть на народ. Хотел прислать за ним Рафинада – мне некогда было заезжать. Ну и что, думаешь, она его отпустила? Как же. Велела сидеть дома и заниматься. Заниматься. – Он помолчал. – Просто не хотела, чтобы он это видел. Меня и толпу.

– Не расстраивайся, – сказал я. –

Все женщины так обращаются с детьми. А кроме того, разве сам ты не через книжки вышел в большие люди?

— Том способный, хоть и не маменькин сынок, — сказал он. — У него хорошие отметки, пусть бы попробовал хватать плохие. Конечно, я хочу, чтобы он учился. Пусть только попробует бросить. Но я одного не могу понять...

В холле раздался грохот, голоса, потом в дверь постучали.

— Посмотри, кто там, — сказал Хозяин.

Я открыл дверь, и ворвались знакомые лица в легком подпитии. Крошка Дафи впереди. Сопя, пихаясь

и хихикая, они окружили Хозяина кольцом.

— Теперь мы с ними разделались! Начисто разделались! А? Поломали им ножки! Теперь они надолго захромают!

А Хозяин лежал на подушках все в той же наклонной позиции, и глаза его под нависшими веками перебегали с лица на лицо с таким выражением, будто он подглядывал в глазок.

Он не произнес ни слова.

— Шампанское! — суетился один из ребят. — Настоящее шампанское. Целый ящик, первый сорт. Французское, из Франции. В кухне Самбо поставил его на лед. Хозяин,

надо отпраздновать!

Хозяин молчал.

— Отпраздновать — ведь праздник, Хозяин, неужели вы не отпразднуете?

— Дафи, — негромко сказал Хозяин, — если ты не слишком пьян, то догадаешься, что я не желаю видеть это стадо. Забери свою бражку, закрой дверь с той стороны, и чтобы я тебя не видел. — Он замолчал; в наступившей тишине глаза его пробежали по лицам и опять остановились на Дафи, которого он спросил: — Как ты думаешь, ты уловил намек?

Крошка Дафи уловил намек. Но другие тоже его уловили, и мне

показалось, что между братьями
ложи завязалось небольшое
соревнование – кто первый попадет
наружу.

Минуты две Хозяин разглядывал
нарядные филенки закрытой двери.
Потом он произнес:

– Ты знаешь, что сказал
Линкольн?

– Что? – спросил я.

– Он сказал, что дом,
разделившийся в самом себе, не
устоит^[11]. И был не прав.

– Да?

– Да, – сказал Хозяин. – Потому
что в нашем правительстве половина
– рабы, а другая – мерзавцы, и оно
стоит.

— Кто из них кто? — спросил я.

— Рабы — в законодательном собрании, а мерзавцы — здесь, — ответил он. И добавил: — Только иногда они работают по совместительству.

Но Люси Старк не ушла от Хозяина и после того, как все неприятности с привлечением его к суду кончились. Не ушла она и после новых выборов, в 1934 году, на которых Хозяин опять победил. (В нашем штате губернатор может быть переизбран на второй срок, и Хозяин был переизбран с триумфом. Никто еще не добивался такого перевеса.) Я думаю, что она осталась из-за Тома.

Когда она все же ушла, никакого шума не было. Здоровье. Она надолго отправилась отдыхать во Флориду. Вернувшись, она поселилась за городом, у сестры, которая держала небольшую птицеферму с инкубатором. Том проводил у нее много времени, но теперь, наверно, Люси понимала, что он не маленький. Теперь это был здоровый самоуверенный парень, с хорошим рывком, прирожденный куотербек, который знал, что в бутылках продается не только пастеризованное молоко и что половина человечества принадлежит к очень интересному и непохожему на его собственный полу. Люси, видимо, надеялась, что

сможет совладать с Томом, поэтому открытого разрыва с Вилли не было. Время от времени, но не часто, они появлялись на людях вместе. Например, в той поездке в Мейзон-Сити, когда мы нанесли судье Ирвину ночной визит, Люси сопровождала Хозяина. Это было в 1936-м, и к тому времени Люси прожила у сестры почти год.

Хозяин и сам изредка наведывался на птицеферму, чтобы соблюсти приличия. Два или три раза газеты — точнее, правительственные газеты — помещали снимки Хозяина с женой и сыном на птичьем дворе или перед инкубатором. Да и в самом деле, что

может быть дурного в курах? Они создавали теплую домашнюю атмосферу. Внушали доверие.

В ту ночь, когда мы с Хозяином посетили судью Ирвина, а потом в темноте, среди черных полей неслись назад к Мейзон-Сити, он сказал мне:

– Всегда что-то есть.

А я сказал:

– У судьи может и не быть.

А он сказал:

– Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его – от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть.

И он приказал мне откопать, выкопать этогодохлогокота в

ключьях шерсти, еще не облезших с раздутой, сизой кожи. Дело было самое для меня подходящее, ибо я, как известно, когда-то изучал историю. А историку все равно, что он выкопает на свалке, из кучи золы, из заоблачной горы дерьма, каковой является человеческое прошлое. Ему безразлично, что это:дохлая киска или алмаз английской короны. Так что задание я получил самое подходящее: экскурс в прошлое.

В моей жизни это было вторым экскурсом в прошлое, более интересным и волнующим, чем первый, и гораздо более успешным. Да, этот второй экскурс в прошлое увенчался полным успехом. А в

первый раз мне не повезло. Я не добился успеха потому, что в ходе исследования пытался обнаружить не факты, а истину. Когда же выяснилось, что истину обнаружить нельзя, а если и можно, то я ее все равно не пойму, — мне стало невмоготу выносить холодную укоризну фактов. И тогда я вышел из комнаты, где в большой картотеке помещались эти факты, и шел куда глаза глядят, пока не дошел до своего следующего исторического исследования, которое полагалось бы назвать «Делом честного судьи».

Но мне стоит рассказать и о моем первом путешествии в волшебную страну прошлого. Правда,

оно не имело прямого отношения к истории Вилли Старка, зато имело прямое касательство к Джеку Бердену, а история Вилли Старка и история Джека Бердена в некотором смысле — одна история.

Некогда Джек Берден был студентом; он только что кончил курс наук и собирался защищать диплом по американской истории в университете своего родного штата. Тот Джек Берден (чьим юридическим, биологическим, а возможно, и духовным преемником является нынешний Джек Берден, я) жил в неопрятной квартире с двумя другими дипломниками: прилежным, тупым, незадачливым

пьяницей и ленивым, умным, удачливым пьяницей. Вернее сказать, пьянствовали они какое-то время после первого числа, когда получали от университета свои жалкие гроши в уплату за свою жалкую работу в качестве ассистентов. Прилежание и невезучесть одного уравнивались ленью и удачливостью другого; они стояли друг друга и пили все, что попало и когда попало. Пили они потому, что ни в малейшей степени не интересовались своей работой и не питали ни малейших надежд на будущее. Они не могли даже помыслить о том, чтобы поднапрячься и защитить диплом,

потому что это означало бы расстаться с университетом (то есть пьянками по первым числам, трепотней насчет «труда» и «идей» в продымленных комнатах, девицами, которые нетвердо держались на ногах и нескромно хихикали на темной лестнице в их квартиру), поступить на работу в педучилище в каком-нибудь раскаленном городишке или в заштатный колледж, где надо ладить с богом, а не с мамоной; примириться с неизбежностью иссушающего, нудного труда, соглядатайских глаз и с увяданием зеленого ростка мечты, который поднялся, как цветок в комнате инвалида, из горлышка

бутылки. Только в бутылке была не вода. В ней было нечто похожее на воду, но пахло оно керосином, а вкусом напоминало карболку — словом, неочищенная кукурузная водка.

Джек Берден жил с ними в неопрятной квартире, где в раковине и на столе громоздилась немытая посуда, кисло пахло табачным дымом, а по углам валялись грязные сорочки и майки. Ему даже нравилась эта грязь, возможность безнаказанно уронить на пол кусок гренка с маслом, который будет лежать там, пока чей-то каблук случайно не втопчет его в засаленный до черноты ковер;

нравилось наблюдать, сидя в ванной, за жирным тараканом, бегущим по растрескавшемуся линолеуму. Как-то раз он пригласил на чай свою мать; она сидела на краешке бугристого кресла, держала треснувшую чашку и вела беседу с обаятельной улыбкой, которую сохраняла на лице только благодаря большому усилию воли. Она видела таракана, нахально вышедшего из кухни. Она видела, как один из приятелей Джека Бердена раздавил муравья в сахарнице и щелчком сбросил с ногтя его останки. Сам ноготь тоже был не слишком чистый. Но она, не дрогнув, продолжала пленительно улыбаться застывшими губами. Тут надо было

отдать ей должное.

Но потом, когда он шел с ней по улице, мать сказала:

— Почему ты так живешь?

— Видно, это моя стихия, — ответил Джек.

— Да еще с такими людьми, — добавила она.

— Люди как люди, — сказал он, мысленно спросив себя, правда ли они люди и правда ли, что сам он человек.

Мать минутку помолчала, звонко, весело постукивая каблучками по асфальту, расправив узкие плечи и подставляя заходящему апрельскому солнцу, словно бесценный подарок, свое невинное

лицо с голубыми глазами и впалыми, будто от недоедания, щеками.

Потом она задумчиво сказала:

— Тот брюнет, если бы его помыть, был бы не так уж дурен собой...

— Да, так думают многие женщины, — ответил Джек Берден и вдруг почувствовал тошнотворную брезгливость к брюнету, который раздавил муравья в сахарнице и у которого были черные ногти. Но что-то тянуло его за язык. — Да, и многие согласны взять его немывтым. Как есть. Он у нас в квартире герой-любовник. Это из-за него на диване так просели пружины.

— Не говори пошлостей, —

сказала мать — она не любила, когда говорят то, что принято называть пошлостями.

— Это правда, — возразил он.

Она ничего не ответила, только ее каблучки весело постукивали по тротуару. Потом она сказала:

— Если бы он выбросил эти ужасные тряпки и заказал приличный костюм...

— Ну да, — сказал Джек Берден. — Получая семьдесят пять долларов в месяц.

Теперь она оглядела и его костюм.

— Твой тоже довольно безобразен.

— Думаешь? — спросил Джек

Берден.

– Я пришлю тебе денег, чтобы ты оделся поприличнее, – сказала она.

Через несколько дней он получил чек и записку, где было сказано, чтобы он купил «два приличных костюма и все, что к ним полагается». Чек был на двести пятьдесят долларов. Он не купил даже галстука. Со своими сожителями по квартире он устроил грандиозный загул на целых пять дней; в результате прилежного и невезучего выгнали с работы, а ленивый и везучий стал чересчур общителен и, несмотря на свое везение, подхватил дурную болезнь.

А с Джеком Берденом не случилось ничего, ибо с Джеком Берденом никогда ничего не случалось, он был неуязвим. Может, она и была проклятием Джека Бердена — его неуязвимость.

Итак, Джек Берден жил в неопрятной квартире с двумя другими дипломниками, потому что невезучий, но прилежный не выехал, даже когда его выгнали с работы. Он просто перестал платить за что бы то ни было, но не выехал. Он занимал деньги на сигареты. Угрюмо съедал то, что приносили и готовили двое других. Днем валялся на диване, потому что прилежание потеряло всякий смысл отныне и навеки.

Однажды ночью Джек Берден проснулся — ему показалось, что из гостиной, где на откидной кровати спал невезучий, но прилежный, доносятся рыдания. В один прекрасный день невезучий, но прилежный товарищ исчез. Они так и не узнали, куда он девался, и больше о нем не слышали.

Но до этого у них в квартире царило братство и взаимопонимание. Их сближало то, что все трое скрывались. Разница была лишь в том, от чего они скрывались. Те двое прятались от будущего, от того дня, когда они получат свои дипломы и покинут университет. Джек Берден прятался от настоящего. Те двое

искали убежища в настоящем. Джек Берден искал убежища в прошлом. Те двое сидели в гостиной, спорили, пили, играли в карты или читали, а Джек Берден вечно сидел в спальне перед сосновым столиком, разложив заметки, записки, книги, и не слышал доносившихся сюда голосов. Время от времени он мог выйти, выпить, сыграть партию в карты, поспорить — словом, вести себя, как и те двое, но по-настоящему существовало для него только то, что лежало на сосновом столе в спальне.

А что лежало на сосновом столе в спальне?

Толстая пачка писем и восемь потрепанных бухгалтерских книг в

черных переплетах, перевязанных
выгоревшим красным шнурком,
наклеенная на картон фотография 13
на 18 с потеками внизу и мужское
обручальное кольцо с надписью,
надетое на веревочку. Прошрое. Или,
вернее, часть прошлого, которая
звалась когда-то Кассом Мастерном.

Касс Мастерн был одним из двух
дядей Ученого Прокурора Элиса
Бердена, братом его матери, Лавинии
Мастерн. Другого дядю звали
Гилберт Мастерн; он умер в 1914
году в возрасте девяноста четырех
или девяноста пяти лет, богачом,
железнодорожным магнатом,
директором ряда компаний, оставив
пачку писем, черные конторские

книги, фотографию и кучу денег своему внуку (и ни гроша Джеку Бердену). Лет десять спустя его наследник, вспомнив, что Джек Берден, с которым он не был знаком, изучает историю или что-то в этом роде, переслал ему связку писем, конторские книги и фотографию, спрашивая, имеют ли, по его, Джека Бердена, мнению, эти вещи материальную ценность, так как он, наследник, слышал, будто библиотеки порою платят «солидную сумму за старые документы, реликвии и сувениры времен до Гражданской войны». Джек Берден ответил, что, так как личность Касса Мастерна не представляет

исторического интереса, он сомневается, чтобы какая-нибудь библиотека дала приличную сумму или вообще заплатила за эти материалы. Он спрашивал, как ему ими распорядиться. Наследник ответил, что в таком случае Джек Берден может их оставить себе «на память».

Так Джек Берден познакомился с Кассом Мастерном, умершим в атлантском военном госпитале в 1864 году. Прежде он только слышал это имя, но забыл его, а теперь на него с фотографии смотрели темные, широко расставленные глаза, которые, казалось, горели под слоем более чем полувековой пыли и грязи.

Эти глаза смотрели с длинного, худого, но молодого лица с пухлыми губами и жидковатой черной кудрявой бородкой. Губы совсем не подходили к худому лицу и горящим глазам.

Молодой человек был снят стоя, почти во весь рост, в просторном мундире с чересчур широким воротом и короткими рукавами, из которых высывались сильные костлявые руки, сложенные на животе. Густые темные волосы, зачесанные назад с высокого лба и подстриженные скобкой по моде того времени, места и сословия, спускались чуть не до воротника грубого мешковатого наряда, который

был мундиром пехотинца армии южан.

Но все на этой фотографии казалось случайным по контрасту с темными, горящими глазами. Мундир, однако, не был случайностью. Его надели обдуманно, с душевной болью, с гордостью и самоуничижением, с решимостью носить его до самой смерти. Но смерть была суждена его обладателю не такая уж скорая и легкая. Его ждала мучительная и тяжкая смерть в вонючем госпитале Атланты. Последнее письмо в связке было написано чужой рукой. Касс Мастерн продиктовал прощальное письмо своему брату Гилберту

Мастерну, лежа в госпитале с гнойной раной. Письмо и последняя из конторских книг, в которых Касс Мастерн вел дневник, были отосланы домой, в Миссисипи, а сам Касс похоронен в Атланте, никто не знает, где именно.

В каком-то смысле правильно, что Касс Мастерн в своем сером пропотевшем мундире, грубом, как власяница, который и был для него власяницей и в то же время эмблемой скупой отпущенной славы, вернулся в Джорджию, чтобы сгнить там заживо. Ведь он и родился в Джорджии – он, Гилберт Мастерн и Лавиния Мастерн – среди рыжих холмов недалеко от реки Теннесси.

«Я родился, — написано на первой странице первой книги дневника, — в бревенчатой хижине на севере Джорджии, в бедности, и, если в более поздние годы я спал на мягком и ел на серебре, пусть Господь не убьет в моей душе памяти о стуже и грубой пище. Ибо все мы приходим в мир наги и босы, а достигнув благоденствия, «устраемляемся к злу, как искры к небесам». Эти строки были написаны в Трансильванском университете штата Кентукки, когда Кассу после «затмения и беды», по его выражению, Бог ниспослал покой. Дневник и начинался описанием «затмения и беды» —

вполне реальной беды, где были и мертвец, и женщина, и длинные царапины на худых щеках Касса Мастерна.

«Я описываю это, — сообщал он в своем дневнике, — со всей правдивостью, на какую способен грешник, дабы, если моим духом или плотью когда-нибудь овладеет гордыня, я перечел бы эти страницы и вспомнил со стыдом, сколько жило во мне зла, а быть может, живет и поныне, ибо кто знает, какой ветер раздует тлеющую головню и снова разожжет пламя?»

Потребность писать дневник родилась из «затмения и беды», но склад ума у Касса Мастерна был явно

методический, и поэтому он начал с самого начала, с бревенчатой хижины среди красных холмов Джорджии. Из этой бревенчатой хижины вытащил всю их семью брат Гилберт, который был старше Касса лет на пятнадцать. Гилберт, еще мальчиком сбежавший из дому на Миссисипи, к тридцати годам, то есть в 1850-м, стал одним из «хлопковых нуворишей». Нищий и, без сомнения, голодный мальчонка, который босиком шагал по черной земле Миссисипи, лет через десять или двенадцать уже гарцевал перед белой верандой на гнедом жеребце (по кличке Поухатан^[12], сказано в дневнике). Как Гилберт заработал

свой первый доллар? Перерезал глотку какому-нибудь путнику в камышах? Чистил сапоги где-нибудь в трактире? Сведений об этом не сохранилось. Но он сколотил состояние, сидел теперь на белой веранде и голосовал за вигов. И неудивительно, что после войны, когда белая веранда превратилась в груды золы, а от богатства ничего не осталось, Гилберт, сумевший сколотить одно состояние, сумел и теперь, во всеоружии своего опыта, хитрости и суровости (а суровости у него прибавилось за четыре бесплодных года, проведенных в седле и впроголодь), сколотить еще одно состояние, куда больше первого.

Если на старости лет он и вспоминал брата Касса, перечитывая его последнее письмо, продиктованное в атлантском госпитале, на губах его, вероятно, была снисходительная усмешка. Ибо там говорилось:

«Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло — то мне. Я обрету покой и надеюсь на милость Вечного Судии, на Его божественное снисхождение. А тебе, дорогой мой брат, суждено есть горький хлеб озлобления, строить на пепелище, болеть душой за разорение и грехи нашей дорогой родины и за пороки всего человечества. На соседней койке лежит молодой парень из Огайо. Он

умирает. Его стоны, проклятия и молитвы не громче других в этой юдоли страдания. Он пришел сюда во грехе, как и я. И через греховность своей родины. Пусть же на обоих нас снизойдет Божия благодать и поднимет нас из смертного праха. Дорогой мой братец, я молю Господа дать тебе силы перед лицом грядущего».

Гилберт наверняка улыбался, вспоминая прошлое, потому что горький хлеб ему пришлось есть недолго. А сил у него хватало своих собственных. К 1870 году он снова стал человеком зажиточным. В 1875 или 1876-м – богачом. К 1880-му он уже владел огромным состоянием,

жил в Нью-Йорке, стал важной персоной, раздобыл, приобрел вальяжность, и голова его казалась высеченной из гранита. Он пережил одну эпоху и стал современником другой. Возможно, новая пришлась ему больше по душе, чем старая. А может, такие Гилберты Мастерны чувствуют себя как дома в любой эпохе. Так же как Кассы Мастерны — чужие всегда и везде.

Но вернемся к делу: Джек Берден получил эти бумаги от внука Гилберта Мастерна. Когда пришло время выбирать тему диплома, профессор предложил ему издать дневник и письма Касса Мастерна, написать о нем биографический

очерк и социальное исследование, основываясь на этих и других материалах. Так Джек Берден начал свое первое путешествие в прошлое.

Поначалу все шло легко. Легко было воспроизвести жизнь в бревенчатой хижине посреди рыжих холмов. Сохранились и первые письма Гилберта домой – в ту пору только начиналось его возвышение. (Джеку Бердену удалось раздобыть и другие довоенные документы о Гилберте Мастерне.) Уклад этой жизни был известен, он лишь постепенно менялся к лучшему, по мере того как издали стало чувствоваться растущее благосостояние Гилберта. Потом

чуть не сразу умерли мать и отец, и Гилберт — этот блистательный пройдоха — вернулся домой, поразив Касса и Лавинию своим немыслимым великолепием — черным костюмом из двойного сукна, лаковыми сапогами, белоснежным бельем и массивным золотым перстнем. Он отдал Лавинию в школу в Атланте, купил ей целые сундуки нарядов и расцеловал на прощанье. («Неужели ты не мог взять меня с собой, дорогой братец Гилберт? Я была бы тебе такой любящей и покорной сестрой, — писала она ему бурыми чернилами, ученическим почерком и чужими словами, по всем правилам

школьного этикета. — А нельзя ли приехать к тебе сейчас? Неужели я не смогу быть тебе хоть в чем-нибудь полезной?» Однако у Гилберта были другие планы. Она должна появиться в его доме только тогда, когда ее как следует отшлифуют.) Но Касса он с собой взял — и деревенский увалень был обряжен в черный костюм и посажен на кровную кобылу.

Прошло три года, и Касс перестал быть увальнем. Он провел эти три года в монашеской строгости «Валгаллы» — дома Гилберта, обучаясь у мистера Лоусона и у своего брата. У брата он научился управлять плантацией. Мистер Лоусон — чахоточный, рассеянный

юноша из Принстона, Нью-Джерси, — преподавал ему начатки геометрии и латыни и напичкал пресвитерианским богословием. Касс любил читать, и однажды Гилберт (как описано в дневнике) появился в дверях и, увидев брата, погруженного в книгу, сказал:

— Может, ты годен хотя бы на *это*!

Однако он был годен не только на это. Когда Гилберт отдал ему маленькую плантацию, Касс управлял ею два года так умело (и так удачно, ибо и погода и спрос на рынке словно сговорились ему помогать), что к концу этого срока он уже мог вернуть Гилберту

значительную часть стоимости земли. Потом он поехал, вернее, был отправлен в Трансильванский университет. Идея принадлежала Гилберту. Однажды ночью он приехал на плантацию Касса, вошел в дом и застал брата за чтением. Он подошел к столу, заваленному книгами, и Касс встал. Гилберт постучал по одной из книг стеком.

– Может, ты что-нибудь из нее и выудишь, – сказал он. В дневнике не говорится, по какой именно книжке Гилберт постучал хлыстом. Да и неважно, какая это была книга. А может, и важно – нам почему-то хочется это знать. Мы мысленно видим белую манжету и красную,

короткопалую сильную руку («брат мой крепкого сложения и румян»), которая сжимает хлыст — в этом кулачище он кажется просто былинкой. Мы видим, как щелкает кожаная петелька по открытой странице, щелкает не то чтобы презрительно, но отрывисто, а что это за страница, мы разобрать не можем.

Книга, по-видимому, не была богословской, потому что тогда Гилберт не выразился бы: «Может, ты что-нибудь из нее и выудишь». Скорее это были стихи какого-нибудь из римских поэтов — Гилберт, наверно, уже понял, что в маленьких дозах они годятся в политике и в

юриспруденции. Короче говоря, он выбрал для брата Трансильванский университет — как потом выяснилось, по совету своего соседа и друга, мистера Дэвиса, мистера Джефферсона Дэвиса [\[13\]](#), который там когда-то учился. Мистер Дэвис изучал греческий язык.

В Трансильванском университете города Лексингтона Касс познал мирские радости.

«Я обнаружил, что в пороках совершенствуются так же, как в добродетелях, и научился всему, чему можно научиться за игорным столом, за бутылкой, на скачках и в запретных радостях плоти».

Он расстался с нищетой

бревенчатой хижины, с аскетическим режимом «Валгаллы» и с заботами о своей маленькой плантации, вырос, возмужал и, если судить по фотографии, был совсем недурен собой. Стоит ли удивляться, что он «познал мирские радости» или что мирские радости поработили его. И хотя в дневнике ничего об этом не говорится, события, приведшие к «затмению и беде», показывают, что Касс, по крайней мере вначале, был не охотником, а дичью.

Охотника называют в дневнике «она», но Джек Берден узнал ее имя. «Она» была Аннабеллой Трайс, женой Дункана Трайса, а Дункан Трайс – молодым банкиром из города

Лексингтона, штат Кентукки, приятелем Касса Мастерна и, по-видимому, одним из тех, кто ввел его на стезю мирских радостей. Джек Берден нашел это имя, проглядывая подшивки лексингтонских газет за середину пятидесятых годов прошлого века, где он искал сообщений об одной смерти. Это была смерть мистера Дункана Трайса. В газетах ее изображали как несчастный случай. «Мистер Дункан Трайс, — писала газета, — нечаянно застрелился, когда чистил свои пистолеты. Один из пистолетов, уже вычищенный, лежал рядом с покойным на диване в библиотеке, где и произошел несчастный случай.

Другой выстрелил, упав на пол». Джек Берден знал из дневника, как было дело, и поэтому, напав на описание всех его обстоятельств, выяснил личность «ее». Вдовой мистера Трайса, по словам газеты, была урожденная Аннабелла Пакет из Вашингтона, округ Колумбия.

Аннабелла впервые увидела Касса вскоре после его приезда в Лексингтон. Его привел в дом Дункан, получивший письмо от мистера Дэвиса, который рекомендовал Дункану познакомиться с братом его близкого друга и соседа Гилберта Мастерна. (Дункан Трайс приехал в Лексингтон из Кентукки, где его отец дружил с

отцом Джефферсона Дэвиса, Сэмюелем, который жил в Фейрвью и разводил скаковых лошадей.) И вот Дункан Трайс привел к себе домой этого высокого юношу — теперь уже не увальня, — посадил на диван, сунул ему в руку бокал, позвал хорошенькую жену, которой он так гордился, и представил ей гостя.

«Приближался вечер, в комнате сгущались тени, но свечей еще не зажигали, и, когда она вошла, глаза ее показались мне черными, что разительно контрастировало с ее белокурыми волосами. Я заметил, какая легкая у нее поступь; она словно скользила по полу, что придавало ей, несмотря на скорее

малый рост, истинно королевское величие.

...et avertens rosea cervice
refulsit

Ambrosia eque comae
divinum vertice odorem

Spiravere, pedes vestis
defluxit ad imos,

Et vera incessu patuit Dea. [\[14\]](#)

Так писал мантуанец о появлении Венеры; богиню можно было узнать по ее поступи. Она вошла в комнату, и по ее движениям я узнал богиню, ту, которой суждено стать моей гибелью. (Я могу лишь

надеяться на милосердие
Всевышнего, но снизойдет ли оно на
такое исчадие зла, как я?) Подав мне
руку, она заговорила грудным,
хрипловатым голосом, и у меня сразу
возникло такое же ощущение, какое
бывает, когда гладишь рукой мягкую,
ворсистую ткань, бархат или мех.
Голос этот нельзя было назвать
певучим, чем обычно восхищаются.
Я это знаю, но могу лишь описать то
впечатление, которое этот голос
произвел на мои органы слуха».

Истязая себя, Касс старательно
описывает каждую ее черту и
пропорцию тела, словно в минуты
«затмения и беды», в минуты
душевной муки и раскаяния он

должен в последний раз оглянуться на нее, даже рискуя превратиться в соляной столб. «Лицо у нее было небольшое, хотя скорее круглое. Рот волевой, но губы алые, влажные, приоткрытые или готовые приоткрыться. Подбородок маленький, но твердо очерченный. Кожа у нее была необычайной белизны, особенно в сумерки, но, когда засветили свечи, я увидел на щеках ее румянец. Волосы, поразительно густые и очень светлые, были зачесаны назад, собраны в большой узел, лежавший низко на затылке. Талия у нее была крошечная, а грудь, от природы высокая, пышная и округлая,

казалась еще выше благодаря корсету. Синее шелковое платье, как я помню, было с большим вырезом, открывавшим всю покатость плеч и два приподнятых полушария груди».

Так описывал ее Касс. Он признавал, что она не красавица.

«Хотя лицо ее и приятно гармоническим сочетанием своих черт, — добавлял он. — Зато волосы прекрасны и поразительной мягкости. На ощупь они мягче и шелковистее любого шелка». Словом, даже в минуты «затмения и беды» в дневнике помимо воли автора появляется воспоминание о том, как эти густые светлые пряди скользили у него между пальцами. «Но вся ее

красота заключалась в глазах», — пишет он.

Касс говорит, что, когда она вошла в полутемную комнату, глаза ее казались черными. Но потом он обнаружил, что ошибся, и это открытие было первым шагом к его гибели. Поздоровавшись («она поздоровалась со мной просто и вежливо, а потом попросила меня снова сесть»), она обратила внимание на то, как темно в комнате, заметив, что осень всегда подступает негаданно. Затем она позвонила, и вошел мальчик-негр. «Она приказала ему принести свет и подкинуть дров в камин, который почти угасал. Слуга вскоре вернулся с семисвечником и

поставил его на стол за диваном, где я сидел. Он зажег спичку, но она сказала: «Я сама зажгу свечи». Я рассеянно повернул голову, чтобы поглядеть, как она зажигает свечи. Нас разделял только столик. Она склонилась над канделябром и стала подносить спичку к одному фитилю за другим. Она нагнулась, я видел ее грудь, приподнятую корсетом, но ее веки были опущены и скрывали от меня глаза. Потом она подняла голову и поглядела прямо на меня, стоя над зажженными свечами, и я вдруг увидел, что глаза у нее совсем не черные. Они были голубые, но такого темно-голубого цвета, что я могу его сравнить лишь с синевой

вечернего неба осенью, когда погода стоит ясная, луны нет, а звезды только появляются. Я и не подозревал, как огромны эти глаза. Я помню совершенно ясно, что повторял про себя: «А я и не подозревал, как огромны эти глаза». Повторял медленно, раз за разом, словно пораженный чудом. Потом я почувствовал, что краснею, во рту у меня пересохло, и мной овладело желание.

Я очень явственно вижу выражение ее лица, даже сейчас, но не могу его разгадать. Порой мне казалось, что она прячет улыбку, но я не могу этого утверждать. (Я могу утверждать только одно: видит Бог,

наш спаситель, человека на каждом шагу подстерегает вечное проклятие. Я сидел, сжав одной рукой колено, а другой – пустой бокал, и чувствовал, что не могу вздохнуть. Тогда она сказала мужу, стоявшему за моей спиной: «Дункан, разве ты не видишь, что у нашего гостя пустой бокал?»»

Прошел год. Касс, который был много моложе Дункана Трайса и на несколько лет моложе Аннабеллы Трайс, близко сошелся с Дунканом Трайсом и многому у него научился. Дункан Трайс, богач, гуляка, умница и модник («очень любил веселье и был неутомим»), приобщил Касса к вину, азартным играм и бегам, но

отнюдь не к «запретным радостям плоти». Дункан Трайс страстно и беззаветно любил жену. («Когда она входила в комнату, глаза его бесстыдно впивались в нее, и я не раз видел, как она отворачивала лицо и краснела под его дерзким взглядом в присутствии посторонних. Но по-моему, он сам не сознавал, что делает, так он был ею пленен»). Нет, к «запретным радостям плоти» Касса приобщили другие молодые люди из окружения Транса. Но несмотря на новые интересы и увлечения, Касс успевал сидеть над книгами. Ему хватало времени и на них, такая у него была тогда сила и выносливость.

Так прошел год. Касс часто бывал в доме у Трайсов, но, помимо «шуток и изъявлений вежливости», не обменялся с Аннабеллой Трайс ни единым словом. В июне один из друзей Дункана Трайса устроил у себя танцы. Дункан Трайс, его жена и Касс вышли в сад и сели в беседке, увитой жасмином. Дункан Трайс вернулся в дом, чтобы принести всем им пунш, оставив Касса наедине с Аннабеллой. Касс заметил вслух, как сладко пахнет жасмин. Вдруг у нее вырвалось («Голос у нее был низкий и, как всегда, хрипловатый, но в нем звучала такая горячность, что я поразился»: «Да, да, слишком сладкий. Задохнуться можно. Я

задыхаюсь». И она прижала правую руку к обнаженной груди, вздымавшейся над корсетом.

«Решив, что она заболела, — пишет Касс в дневнике, — я спросил, не дурно ли ей. Она сказала «нет» очень тихим грудным голосом. Тем не менее я встал и выразил намерение принести ей стакан воды. Вдруг она сказала очень резко, сильно меня удивив, потому что всегда отличалась безукоризненной вежливостью: «Сядьте, сядьте. Не нужно мне воды». Думая, что я ее нечаянно обидел, я огорчился и снова сел. Я поглядел в другой конец сада, где при свете луны по дорожкам между подстриженными цветущими

изгородями прогуливались пары. Я слышал ее дыхание. Оно было прерывистое и тяжелое. Вдруг она спросила: «Сколько вам лет?» Я ответил, что мне двадцать два. Тогда она сказала: «А мне двадцать девять». Я от удивления что-то пробормотал. Она засмеялась словно над моим смущением и сказала: «Да, я на семь лет вас старше. Вас это удивляет?» Я ответил утвердительно. Тогда она сказала: «Семь лет — долгий срок. Семь лет назад вы были ребенком». Тут она неожиданно засмеялась, но сразу же прервала свой смех и добавила: «А я вот не была ребенком. Во всяком случае, семь лет назад». Я ничего не ответил,

потому что в голове у меня не было ни единой отчетливой мысли. Я сидел в растерянности, но, несмотря на это, старался себе представить, как она выглядела ребенком. Однако воображение мне ничего не подсказывало. Вскоре вернулся ее муж».

Через два-три дня Касс уехал на Миссисипи, чтобы посвятить несколько месяцев своей плантации, и по настоянию Гилберта побывал в столице штата Джексоне и в Вicksберге. Дел в то лето было много. Теперь Кассу стали понятны намерения Гилберта: брат хотел, чтобы он нажил деньги и занялся политикой. Перспектива заманчивая,

блестящая и не такая уж призрачная для молодого человека, чьим братом был Гилберт Мастерн. («Брат мой человек в высшей степени молчаливый и целеустремленный; и, хотя он не краснбай и не ищет ничьего расположения, все, особенно люди солидные, имеющие влияние и вес, внимательно прислушиваются к его словам».)

Так он провел это лето — под твердой рукой и холодным взглядом Гилберта. Когда Касс стал уже подумывать о возвращении в университет, из Лексингтона на его имя пришло письмо, написанное незнакомым почерком. Когда Касс развернул письмо, из него выпал

маленький засушенный цветок. Сначала он не мог понять, почему этот предмет оказался у него в руке. Потом он понюхал цветок. Аромат, уже слабый и отдающий пылью, был ароматом жасмина.

Листок был сложен вчетверо. На одной четвертушке ясным, твердым, не очень крупным почерком было написано: «Ах, Касс!» И все.

Но этого было достаточно.

В дождливый осенний день, сразу после возвращения в Лексингтон, Касс нанес визит Трайсам, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Дункана Трайса не было, он прислал сказать, что его неожиданно задержали в городе и он

будет обедать поздно.

Об этом дне Касс пишет:

«Я оказался с ней наедине. Смеркалось, как тогда, почти год назад, когда я впервые увидел ее в этой же комнате и подумал, что глаза у нее черные. Она вежливо поздоровалась со мной, я ей ответил и, пожалав ей руку, отступил назад. Тут я заметил, что она смотрит на меня так же пристально, как и я на нее. Вдруг губы ее приоткрылись, и из них вырвался не то вздох, не то сдавленный стон. Потом, словно сговорившись, мы двинулись навстречу друг другу и обнялись. Мы не обменялись ни словом. Простояли мы с ней долго, по крайней мере так

мне казалось. Я крепко прижимал к себе ее тело, но мы ни разу не поцеловались, что теперь мне кажется странным. Но так ли это было странно? Так ли уж странно, что последние остатки стыда мешали нам взглянуть друг другу в глаза? Я чувствовал, я слышал, как мое сердце колотится в груди — у меня было такое ощущение, будто оно сорвалось с места и мечется в огромной пустоте моего тела. И в то же время я не отдавал себе отчета в том, что со мной происходит. Когда я стоял и вдыхал аромат ее волос, мне казалось, что чувства меня обманывают, и даже не верилось, что я — это я. Нельзя было поверить, что

я — это Касс Мастерн и веду себя так в доме своего друга и покровителя. В душе моей не было ни раскаяния, ни ужаса перед низостью моего поступка, как я уже сказал, мною владела одна растерянность. (Человек чувствует растерянность, когда впервые нарушает какую-нибудь привычку, но испытывает ужас, изменив своим принципам. Следовательно, если во мне когда-нибудь и жили добродетель и честь, они были лишь случайностью, привычкой, а не сознательным проявлением моей воли. А может ли добродетель вообще быть проявлением нашей воли? Внушить такую мысль может только гордыня.)

Итак, мы долго стояли, крепко обнявшись, ее лицо было прижато к моей груди, а я смотрел через всю комнату в окно, где сгущались вечерние тени. Когда она наконец подняла голову, я увидел, что она беззвучно плачет. Почему она плакала? Я не раз задавал себе этот вопрос. Потому ли, что, будучи готова совершить роковую ошибку, она все же могла плакать над последствиями поступка, которого не в силах была избежать? Потому ли, что человек, который ее обнимал, был намного ее моложе и она стыдилась его молодости и семи разделявших их лет? Потому ли, что он опоздал на семь лет и теперь не

мог прийти к ней беспорочно? Неважно, какова была причина ее слез. Если первая, значит, слезы показывали, что чувство не может подменить долга; если вторая — это бы доказывало, что жалость к себе не может заменить благоразумия. Но, выплакавшись, она подняла наконец ко мне свое лицо, и в ее больших глазах блеснули слезы. И даже теперь, зная, что эти слезы стали моей погибелью, я не жалею, что они пролились, ибо они говорят о том, что сердце ее не было каменным и, каково бы ни было ее прегрешение (а также и мое), она шла на него не с легкой душой и в глазах ее не горела похоть и плотское вожделение.

Слезы эти были моей погибелью, потому что, когда она подняла ко мне лицо, к чувствам моим примешалась нежность и сердце в груди расширилось, заполнив ту огромную пустоту, в которой оно раньше билось. Она сказала:

– Касс... – Впервые она назвала меня по имени.

– Что? – спросил я.

– Поцелуй меня, – сказала она очень просто. – Теперь ты можешь это сделать.

И я ее поцеловал. А потом, ослепленные бунтом крови и жадностью чувства, мы соединились. В этой самой комнате, при том, что

где-то в доме неслышно бродили слуги, дверь была открыта и вот-вот мог вернуться муж, а темнота еще не наступила. Но безрассудство страсти, казалось, берегло нас, словно окутывая непроницаемым мраком; так и Венера когда-то прикрыла облаком Энея, чтобы, скрытый от людских взоров, он мог приблизиться к городу Дидоны. В таких историях, как наша, сама отчаянность служит защитой, точно так же как сила страсти словно оправдывает ее и освящает.

Несмотря на слезы и на то, что отдавалась она мне с тоской и отчаянием, сразу же после этого голос ее показался мне веселым. Она

стояла посреди комнаты, приглаживая волосы, и я, заикаясь, что-то сказал насчет нашего будущего, что-то очень бессвязное — я еще не пришел в себя. Но она ответила:

— Ах, стоит ли сейчас об этом думать? — словно я заговорил о чем-то совсем незначительном. Она поспешно позвала слугу и попросила принести свечи. Их принесли, и я смог разглядеть ее лицо — оно было свежим и спокойным. Когда пришел муж, она поздоровалась с ним очень ласково, при виде чего сердце мое готово было разорваться, однако, признаюсь, совсем не от раскаяния. Скорее от бешеной ревности. Когда

он обратился ко мне и пожал мне руку, я был в крайнем смятении и не сомневался, что мое лицо меня выдаст».

Так началась вторая часть истории Касса Мастерна. Весь этот год он, как и раньше, часто бывал в доме Дункана Трайса, как и раньше, занимался с ним спортом, играл в карты, пил и ездил на бега. Он научился, по его словам, сохранять «безмятежность чела» и мириться с существующим положением вещей. Что же касается Аннабеллы Трайс, то впоследствии ему с трудом верилось, что она «проливала слезы». По его словам, у этой женщины было «доброе сердце,

опрометчивая и страстная натура, ненависть ко всяким разговорам о будущем (она не разрешала мне даже заикнуться о том, что нас ждет); веселая, ловкая и находчивая, когда речь шла о том, как утолить наше желание, она была наделена такой женственностью, что украсила бы любой семейный очаг». В ловкости и находчивости ей не откажешь, потому что скрывать любовную связь в том месте и в то время было делом нелегким. В глубине сада Трайсов стояло нечто вроде беседки, куда можно было незаметно войти с аллеи. Некоторые их свидания происходили там. Любовникам, по-видимому, помогала сводная сестра

Аннабеллы, жившая в Лексингтоне, а может, не помогала, а только смотрела сквозь пальцы на их связь, да и то после долгих уговоров, потому что Касс упоминает о «бурной ссоре сестер». Словом, несколько свиданий произошло у нее. Время от времени Дункану Трайсу приходилось уезжать из города по делам, и Касса поздно ночью впускали в дом, даже тогда, когда там гостили отец и мать Аннабеллы, и Касс в буквальном смысле слова лежал в постели Дункана Трайса.

Были у них и другие встречи, неожиданные и непредвиденные минуты, когда они вдруг оставались

вдвоем. «Едва ли не каждый уголок, закоулок и укромное местечко в доме моего доверчивого друга мы осквернили в то или иное время, даже при ярком бесстыжем свете дня», — писал в дневнике Касс, и, когда студент исторического факультета Джек Берден поехал в Лексингтон и пошел осматривать старый дом Трайсов, он вспомнил эту фразу. Город вокруг дома разросся, и сад, если не считать небольшого газона, был застроен. Но дом сохранился в порядке — там жили люди по фамилии Милер, гордившиеся этой старинной обителью; они разрешили Джеку Бердену осмотреть свои владения.

Джек Берден прошелся по комнате, где состоялось знакомство Касса с Аннабеллой, и где он увидел ее глаза при свете только что зажженных свечей, и где год спустя она издала громкий вздох или сдавленный стон и упала к нему в объятия; потом Джек Берден осмотрел просторную переднюю с изящной лестницей наверх; маленькую сумрачную библиотеку и заднюю комнату — нечто вроде черной прихожей, которая вполне могла служить «укромным уголком» и была, кстати сказать, удобно для этой цели обставлена. Стоя в тихой прохладной передней, где в полутьме тускло блестел паркет, Джек Берден

воображал себе, как почти семьдесят лет назад здесь украдкой обменивались, взглядом, тихонько перешептывались и тишину нарушало только шуршание юбок (костюмы той поры не были приспособлены для разврата впопыхах), тяжелое дыхание, неосторожный стон... Ну что ж, все это было давным-давно; и Аннабелла Трайс и Касс Мастерн давно на том свете, а хозяйку, миссис Милер, которая пожелала напоить Джека Бердена чаем (ей льстило, что ее дом представляет «исторический интерес», хотя она и не подозревала об истинных обстоятельствах дела), никак нельзя было назвать «ловкой»

или «находчивой» — всю свою энергию она, как видно, отдала «Гильдии хранительниц алтаря епископальной церкви св. Луки» и «Дочерям Американской Революции».

Второй период истории Касса Мастерна — его любовная связь — длился весь учебный год, часть лета (Кассу пришлось уехать на Миссисипи, чтобы позаботиться о своей плантации и присутствовать на свадьбе сестры Лавинии, вышедшей замуж за Виллиса Бердена, молодого человека со связями) и большую часть следующей зимы, которую Касс снова провел в Лексингтоне. Но вот 19 марта 1854 года умирает в

своей библиотеке (в одном из «укромных уголков» своего дома) Дункан Трайс; в груди его свинцовая пуля величиной почти с большой палец. С ним, очевидно, произошел несчастный случай.

Вдова сидела в церкви прямо и неподвижно. Когда она подняла вуаль, чтобы утереть платочком глаза, лицо ее, по словам Касса Мастерна, «было бело, как мрамор, и только на щеке горело лихорадочное пятно». Но под вуалью он различал ее пристальный, горящий взгляд, который сверкал в «этой искусственной полутьме».

Касс Мастерн и еще пятеро молодых людей из Лексингтона,

приятелей и собутыльников покойного, несли гроб.

«Гроб, который я нес, казалось, ничего не весит, хотя друг мой был человеком крупным, склонным к полноте. Когда мы несли его, я удивлялся, до чего он легкий, и мне даже пришла в голову шальная мысль, что гроб пуст, в нем никого нет, а вся эта история – шутовство, кощунственный маскарад, долгий и бессмысленный, как сон. А может статься, подсказывала мне фантазия, все это придумано, чтобы обмануть меня. Я – жертва этой мистификации, а все остальные сговорились и действуют заодно. Но когда эта мысль у меня родилась, я

вдруг почувствовал страшное возбуждение. Я чересчур умен, чтобы так легко попасться. Я разгадал их обман. Мне вдруг захотелось швырнуть гроб оземь, увидеть, как он разверзнется, зияя пустотой, и с торжеством захохотать. Но я удержался и увидел, как гроб опускают в яму у наших ног и на него падают первые комья.

Как только я услышал стук первых комьев земли о крышку гроба, я почувствовал огромное облегчение, а потом непреодолимое желание обладать ею. Я посмотрел на нее. Она стояла на коленях у края могилы, и я не мог понять, что у нее на душе. Голова ее была чуть-чуть

наклонена, и вуаль покрывала лицо. Одета в черное фигура была залита ярким солнцем. Я не мог отвести глаз от этого зрелища. Поза, казалось, подчеркивала ее прелести, и воспаленное воображение рисовало мне ее гибкое тело. Даже траур и тот придавал ей соблазнительность. Солнце пекло мне шею и сквозь ткань сюртука — плечи. Свет его был противоестественно ярок, он слепил мне глаза и распалял мою страсть. Но все это время я слышал как будто очень издалека скрежет лопат, разбирающих насыпь, и приглушенный стук комьев земли, падающих в яму».

В тот вечер Касс отправился в беседку. Сговора между ними не было, он пошел по наитию. Ему пришлось долго ждать, но наконец она появилась, вся в трауре, который был «едва ли темнее той ночи». Он молчал, стоя в самом темном углу беседки, и не шевельнулся при ее приближении, а она «скользила как тень среди теней». Когда она вошла, он ничем не выдал своего присутствия.

«Я не уверен, что молчание мое было намеренным. Его вызвала какая-то непреодолимая потребность, которая овладела всем моим существом, сдавила мне горло, парализовала руки и ноги. До этого

мгновения и после я понимал, что шпионить бесчестно, но в тот миг такое соображение меня не остановило. Глаза мои были прикованы к ней. Мне казалось, если она не подозревает, что здесь, кроме нее, кто-то есть, я смогу проникнуть в ее душу, узнать, как на нее повлияла, какую перемену в ней произвела смерть мужа. Страсть, душившая меня днем, у края могилы моего друга, теперь прошла. Я был совершенно холоден. Но я должен был узнать, хотя бы попытаться узнать. Как будто поняв ее, я пойму самого себя. (Обычное человеческое заблуждение: пытаться узнать себя через кого-то другого. Себя можно

познать только в Боге и через Его всевидящее око.)

Она вошла в беседку и опустилась на скамью в нескольких шагах от того места, где находился я. Я долго стоял, вглядываясь в нее. Она сидела выпрямившись, как каменная. В конце концов я шепотом, едва слышно назвал ее имя. Если она и услышала, то ничем этого не показала. Тогда я снова таким же образом назвал ее имя, а потом опять. В ответ на третий мой оклик она прошептала: «Да», но не шевельнулась и не повернула ко мне головы. Тогда я заговорил громче, снова произнес ее имя, и она вдруг вскочила в диком испуге, издала

сдавленный крик и закрыла руками лицо. Она покачнулась и, казалось, едва не упала, но потом овладела собой и замерла, не сводя с меня глаз. Я, заикаясь, стал извиняться, уверяя, что не хотел ее пугать – ведь она отозвалась на мой шепот, прежде чем я заговорил громче. Я спросил ее:

– Разве ты не отозвалась на мой шепот?

Она ответила, что да, отозвалась.

– Почему же ты так испугалась, когда я заговорил снова?

– Потому что не знала, что ты здесь, – сказала она.

– Но ты же говоришь, что

слышала мой шепот и ответила мне, а теперь уверяешь, будто не знала, что я здесь!

— Я не знала, что ты здесь, — повторяла она тихо, и тут до меня дошел смысл ее слов.

— Но когда ты услышала шепот, — сказал я, — ты узнала мой голос?

Она смотрела на меня молча.

— Скажи, — требовал я, потому что мне надо было это знать.

Она по-прежнему не сводила с меня глаз и наконец, запинаясь, ответила:

— Не знаю.

— Ты думала, что это... — начал я, но не успел договорить: она кинулась ко мне, цепляясь за меня судорожно,

как человек, который тонет, и восклицая:

— Нет, нет, все равно, что я думала, раз ты здесь, раз ты здесь! — Она притянула мое лицо, прижалась губами к моему рту, чтобы помешать мне говорить. Губы ее были холодны, но не отрывались от моих.

Я тоже был холоден, словно и меня коснулось дыхание смерти. Эта холодность была самым мерзостным в наших объятиях — мы были с ней словно куклы, которые подражают постыдному сластолюбию людей, превращая его в пародию вдвойне постыдную. После всего она сказала:

— Если бы я тебя сегодня здесь не нашла, между нами все было бы

кончено.

– Почему? – спросил я.

– Это было знамение, – сказала она.

– Знамение? – спросил я.

– Знамение того, что мы обречены, что... – И она замолчала, а потом горячо зашептала в темноте: – Я и не желаю другой судьбы... но это знак... что сделано, то сделано. – Она на мгновение затихла, а потом продолжала: – Дай мне руку.

Я подал ей правую руку. Она схватила ее, но тут же откинула, говоря: «Другую, другую руку!»

Я протянул ей руку через себя, потому что сидел от нее слева. Она схватила ее левой рукой, подняла и

прижала к груди. Потом ощупью, в темноте надела мне на безымянный палец кольцо.

— Что это? — спросил я.

— Кольцо, — ответила она и, помолчав, объяснила: — Это его кольцо.

Тогда я вспомнил, что он, мой друг, носил обручальное кольцо, и почувствовал холод металла.

— Ты сняла у него с пальца? — спросил я, потрясенный этой мыслью.

— Нет, — сказала она.

— Нет? — переспросил я.

— Нет, — сказала она. — Он его снял сам. В первый раз снял.

Я сидел рядом с ней, ожидая

неизвестно чего, а она прижимала мою руку к своей груди. Я чувствовал, как вздымается ее грудь, но не мог произнести ни слова.

Тогда она сказала:

– Хочешь знать, как... как он его снял?

– Да, – ответил я в темноте и, ожидая ответа, провел языком по пересохшим губам.

– Слушай! – приказала она мне властным шепотом. – В тот вечер, после... после того, как это случилось... после того, как в доме все опять стихло, я сидела у себя в комнате, на стульчике возле туалета, где я всегда сижу, когда Феба распускает мне на ночь волосы. Я,

наверно, села там по привычке, потому что все внутри у меня словно омертвело. Феба стелила постель. (Феба была ее горничная, смазливая, светлокожая негритянка, обидчивая и капризная.) Я увидела, что Феба подняла валик и смотрит на то место, где этот валик лежал, на моем краю кровати. Она там что-то взяла и подошла ко мне. Смотрит на меня — а глаза у нее желтые, ничего в них не прочтешь, — она смотрела на меня долго-долго... а потом протянула кулак и, не сводя с меня глаз, медленно, очень медленно разжала пальцы... и там у нее на ладони лежало кольцо... Я сразу поняла, что это его кольцо, но думала тогда

только о том, что оно золотое и лежит на золотой руке. Потому что рука у Фебы как золотая... Я никогда раньше не замечала, что ее ладони так похожи цветом на чистое золото. Тогда я подняла глаза, а она все смотрела на меня, и глаза у нее тоже золотые, светлые и непрозрачные, как золото. И я поняла, что она знает.

— Знает? — переспросил я, хотя и сам теперь знал. Мой друг обо всем догадался — либо почувствовал холодность жены, либо насплетничали слуги, — снял с пальца золотое кольцо, отнес на кровать, где спал с женой, положил ей под подушку, а потом спустился вниз и застрелился, но обставил дело

так, чтобы никто, кроме жены, не усомнился в том, что это несчастный случай. Он не предусмотрел только одного — что его кольцо найдет желтая служанка.

— Она знает, — прошептала Аннабелла, крепко прижимая мою руку к своей груди, которая стала лихорадочно вздыматься. — Знает... и смотрит на меня... она всегда будет так смотреть. — Внезапно голос ее стал тише, и в нем появилась плаксивая нотка. — Она всем расскажет. Все будут знать. Все в доме будут на меня смотреть и знать... когда подают еду... когда входят в комнату... а шагов их никогда не слышишь! — Она вскочила,

отпустив мою руку. Я остался сидеть, а она стояла рядом, спиной ко мне, и теперь белизна ее лица и рук больше не проступала из тьмы; чернота ее платья сливалась с чернотой ночи даже в такой близости. И вдруг голосом, до неузнаваемости жестоким, она произнесла в темноте над моей головой:

— Я этого не потерплю. Я этого не потерплю! — Потом она обернулась и неожиданно прижалась губами к моим губам. Потом она убежала, и я услышал, как шуршит гравий у нее под ногами. Я еще долго сидел в темноте, вертя на пальце кольцо».

После свидания в беседке Касс

несколько дней не видел Аннабеллы Трайс. Он узнал, что она уехала в Луисвилл, где, кажется, жили ее близкие друзья. И как обычно, взяла с собой Фебу. Потом до него дошел слух, что она вернулась, и в ту же ночь он отправился в беседку. Она была там, сидела одна в темноте. Они поздоровались. Позднее он писал, что в ту ночь она была какой-то рассеянной, далекой, отрешенной, как сомнамбула. Он стал расспрашивать ее о поездке в Луисвилл, и она коротко ответила, что спустилась по реке до Падьюки. «Я не знал, что у тебя есть друзья в Падьюке», — сказал он, но она ответила, что никаких друзей у нее

там нет. Вдруг она повернулась к нему и уже не рассеянно, а с яростью воскликнула:

— Все пытаешься...

Вмешиваешься в мои дела... я этого не допущу!

Касс, заикаясь, стал бормотать извинения, но она его прервала:

— Но если уж так хочешь знать, пожалуйста, я скажу. Я ее туда отвезла.

В первую минуту Касс ничего не понял.

— Ее? — переспросил он.

— Фебу. Я отвезла ее в Падьюку, ее больше нет.

— Нет? Как нет?

— Продала, — ответила она и

повторила: — Продала, — а потом резко захохотала и добавила: — Ничего, теперь она больше не будет на меня смотреть.

— Ты ее продала?

— Да, продала. В Падьюке одному человеку, собиравшему партию рабов для Нью-Орлеана. А меня в Падьюке никто не знает, никто не знает, что я там была, никто не знает, что я ее продала, я ведь скажу, что она сбежала в Иллинойс. Но я ее продала. За тысячу триста долларов.

— Тебе дали хорошие деньги, — сказал Касс. — Даже за такую светлокожую и резвую девушку, как Феба. — И, как он сам описывает,

засмеялся «зло и грубо», хотя и не объясняет почему.

— Да, — ответила она. — Я получила хорошую цену. Заставила заплатить за нее то, что она стоит, до последнего цента. А потом знаешь, что я сделала с этими деньгами?

— Не знаю.

— Когда я сошла с парохода в Луисвилле, там на пристани сидел старик негр. Он был слепой, подыгрывал себе на гитаре и напевал «Старый Дэн Такер». Я вынула из сумки деньги, подошла к нему и положила их в его старую шляпу.

— Если ты все равно отдала эти деньги... если ты чувствовала, что деньги эти грязные, почему ты не

отпустила ее на свободу? – спросил Касс.

– Она бы осталась здесь, она бы никуда не уехала, она бы осталась здесь и смотрела на меня. Ах нет, она бы ни за что не уехала, она ведь замужем за кучером мистера Мотли. Нет, она бы здесь осталась, смотрела на меня и рассказывала всем, всем рассказывала... А я этого не желаю!

Тогда Касс сказал:

– Если бы ты мне сказала, я бы купил этого кучера у мистера Мотли и тоже отпустил бы на свободу.

– Его бы не продали, – сказала она. – Мотли не продают своих слуг.

– Даже если их хотят отпустить на свободу? – настаивал Касс, но она

его прервала:

— Говорю тебе: не желаю, чтобы ты вмешивался в мои дела, понимаешь? — Она поднялась со скамейки и встала посреди беседки. Он видел ее белое лицо в темноте и слышал ее прерывистое дыхание.

— Я думал, что ты ее любишь, — сказал Касс.

— Да, любила, — сказала она, — пока... пока она на меня так не смотрела.

— А ты знаешь, почему тебе за нее так дорого дали? — спросил Касс и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Потому что она светлокожая, смазливая и хорошо сложена. Нет, барышник не повезет ее в цепях на

юг вместе со всей партией рабов. Он будет ее беречь. И повезет на юг с удобствами. А знаешь почему?

— Да, знаю, — сказала она. — А тебе-то что? Неужели она тебе так приглянулась?

— Нехорошо так говорить, — сказал Касс.

— Ага, понимаю, господин Мастерн, — сказала она. — Я вас понимаю. Вы бережете честь кучера. Какая душевная деликатность, господин Мастерн! А почему, — она подошла к нему ближе и встала над ним, — а почему же вы не проявили такой душевной заботы о чести вашего друга? Того, который умер.

Если верить дневнику, в эту

минуту в груди его «поднялась целая буря». Касс пишет: «Так мне впервые бросили обвинение, которое всегда и везде смертельно ранит человека, от природы порядочного и щепетильного. Но то, что человек, уже очерствевший, может снести от несмелого голоса своей совести, будучи услышано из чужих уст, становится таким тяжким обвинением, что кровь стынет в жилах. И ужас был не только в этом обвинении самом по себе, ибо, клянусь, я уже давно жил с этой мыслью и она была со мной неотступно. Ужас был не только в том, что я предал друга. Не только в смерти друга, в чью грудь я всадил

пулю. С этим я еще мог бы жить. Я вдруг почувствовал, как весь мир вокруг меня пошатнулся в самой основе основ и в нем начался процесс распада, центром которого был я. В тот миг полнейшей душевной смуты, когда на лбу у меня выступил холодный пот, я не смог бы отчетливо выразить это словами. Но потом я оглянулся назад и заставил себя додумать все до конца. Меня потрясло не то, что рабыню вырвали из дома, где с ней хорошо обращались, оторвали от мужа и продали в притон разврата. Я слышал о подобных историях, я был уже не дитя, потому что, приехав в Лексингтон и попав в общество

гуляк, спортсменов и лошададников, я сам развлекался с такими девушками. И дело было не только в том, что женщина, ради которой я пожертвовал жизнью друга, смогла бросить мне такие жестокие слова и проявить бессердечие, прежде ей несвойственное. Дело было в том, что все это — и смерть моего друга, и предательство по отношению к Фебе, страдания, ярость и душевная перемена в женщине, которую я любил, — все это было следствием моего греха и вероломства и произошло, как ветви из единого ствола или листья из единой ветви. Или же, если представить себе это по-другому, мой подлый поступок

отозвался дрожью во всем мироздании, отзвук его рос и рос и расходился все дальше, и никто не знает, когда он замрет. Тогда я не мог выразить все это ясно, словами, и стоял, онемев от обуревавших меня чувств». Когда Касс несколько справился со своим волнением, он спросил:

— Кому ты продала девушку?

— А тебе-то что? — ответила она.

— Кому ты продала девушку? — повторил он.

— Я тебе не скажу.

— Я все равно узнаю. Поеду в Падьюку и узнаю.

Она вцепилась в его руку пальцами, «точно дьявольскими

когтями», и спросила:

– Зачем... зачем ты поедешь?

– Чтобы найти ее, – сказал он. –

Найти, купить и отпустить на волю.

– Он не обдумывал этого заранее. Но, произнося эти слова и записывая их в дневник, он знал, что таково было его намерение. – Найти ее, купить и отпустить на волю, – сказал он и почувствовал, что пальцы, впившиеся в его руку, разжались, а в следующий миг ногти разодрали его щеку, и он услышал ее «исступленный шепот»:

– Если ты это сделаешь... если ты сделаешь... ну, я этого не потерплю... ни за что!

Она отшатнулась и упала на скамью. Он услышал ее рыдания,

«сухие, скупые мужские рыдания». Он не пошевелился. Потом раздался ее голос:

— Если ты это сделаешь... если сделаешь... она так на меня смотрела... я этого не вынесу... если ты... — Потом она очень тихо сказала: — Если ты это сделаешь, ты никогда больше не увидишь меня.

Касс не ответил. Постояв несколько минут, он вышел из беседки, где она осталась сидеть, и зашагал по аллее.

Утром он уехал в Падьюку. Там он узнал имя работоторговца, но узнал также, что торговец уже продал Фебу («светлокожую девку», отвечавшую ее приметам) «частному лицу»,

которое остановилось в Падьюке ненадолго, а потом проехало дальше, на юг. Имени его в Падьюке не знали. Торговец, по-видимому, избавился от Фебы, чтобы сопровождать партию рабов, когда она соберется. А сейчас он направился, по слухам, в южную часть Кентукки с несколькими молодыми неграми и негритянками, чтобы там прикупить еще рабов. Как и предсказывал Касс, он не хотел изматывать Фебу мучительным путешествием в общей партии. Поэтому, когда ему предложили хорошую цену в Падьюке, он ее там и продал. Касс двинулся на юг, доехал до Боулинг-Грина, но потерял следы того, кого искал. Отчаявшись, он

написал письмо торговцу рабами на адрес невольничьего рынка в Нью-Орлеане, прося сообщить имя покупателя Фебы и какие-нибудь сведения о нем. После этого он вернулся на север, в Лексингтон.

В Лексингтоне он отправился на Уэст-Шорт-стрит в невольничий барак Льюиса Ч.Робардса, вот уже несколько лет помещавшийся в бывшем лексингтонском театре. Касс предполагал, что мистер Робардс, самый крупный работорговец в округе, сможет через свои связи на юге разыскать Фебу, если ему хорошо заплатить. В конторе не оказалось никого, кроме мальчика, который сообщил, что мистер Робардс на юге,

но что «всем заправляет» мистер Симс, который сейчас в «заведении» и проводит «осмотр». Касс пошел в соседний дом, где помещалось «заведение». (Когда Джек Берден приехал в Лексингтон, чтобы проследить жизнь Касса Мастерна, он увидел, что «заведение» еще стоит — двухэтажный кирпичный дом, типичный особняк с двускатной крышей, парадной дверью в центре фасада, окнами по обеим сторонам от нее, с двумя трубами и деревянной пристройкой сзади. Здесь, а не в обычных курятниках Робардс держал «отборный товар», сюда приходили его «осматривать».)

Касс обнаружил, что парадная

дверь в дом отперта, вошел в переднюю, никого там не встретил, но слышал доносившийся сверху смех. Он поднялся по лестнице и увидел в конце коридора несколько мужчин, столпившихся возле открытой двери. Кое-кого из них он узнал — это были молодые завсегдатаи злачных мест и ипподрома. Подойдя, он спросил мистера Симса.

— Внутри, — сказал один из мужчин, — показывает.

Касс заглянул в комнату поверх голов. Сперва он увидел приземистого, мускулистого и словно лоснившегося человека с черными волосами и большими блестящими

черными глазами, в черном сюртуке и черном галстуке, с хлыстом. Касс сразу понял, что это французский «барышник», покупающий «девочек» для Луизианы. Француз что-то разглядывал, что именно Кассу не было видно. Тогда он подошел поближе к двери и заглянул внутрь.

Он увидел невзрачного мужчину в цилиндре — должно быть, самого мистера Симса, а за ним женскую фигуру. Женщина была очень молодая, лет двадцати, не больше, тонкая, с кожей чуть-чуть темнее слоновой кости — видимо, только на одну восьмую негритянка; волосы у нее были скорее волнистые, чем курчавые, а темные, влажные, слегка

воспаленные глаза с поволокой смотрели в одну точку над головой француза. Она была не в грубом клетчатом платье и косынке, какие обычно надевают невольницам на продажу, а в белом свободном платье до полу, с рукавами по локоть; волосы у нее были схвачены лентой. За ее спиной в уютно обставленной комнате («совсем как в хорошем доме», — пишет Касс, отмечая, правда, решетки на окнах) стояла качалка, столик, а на нем — корзинка для рукоделия и вышивание с воткнутой в него иглой, «словно какая-то молодая дама или домохозяйка отложила его, вставая, чтобы поздороваться с гостем». Касс

пишет, что почему-то не мог отвести глаз от этого рукоделия.

— Так, — говорил мистер Симс, — та-ак... — И, схватив девушку за плечо, медленно повернул ее для обозрения. Потом он взял ее запястье, поднял руку до уровня плеча и помотал взад-вперед, чтобы показать ее гибкость, повторяя при этом: — Та-ак. — Потом дернул руку вперед, на француза. Кисть безжизненно висела (в дневнике написано, что она была «хорошей формы, с длинными пальцами»). — Та-ак, — сказал мистер Симс, — поглядите на эту руку. У какой-нибудь дамочки и то не найдешь такой крохотной ручки. А уж до чего

кругла и мягка, так?

— А что-нибудь еще мягкое и круглое у ней найдется? — осведомился один из мужчин, стоявших у двери, и все загоготали.

— Та-ак, — произнес мистер Симс и, нагнувшись, схватил подол ее платья, легким, игривым движением поднял выше талии, а другой рукой собрав материю, превратил ее в «нелепое подобие пояса». Приминая пальцами ткань, он обошел девушку кругом, заставляя ее при этом тоже поворачиваться (она двигалась «покорно, как в забытьи»), пока ее маленькие ягодицы не повернулись к двери. — Кругленькая и мягкая, ребята, — сказал мистер Симс, смачно

шлепнув ее по ягодице, чтобы показать, как она дрожит. – Небось не щупали ничего мягче и круглее? – спросил он. – Ну прямо подушечка, право слово. И дрожит, как желе.

– Господи спаси, да еще и в чулках! – сказал один из мужчин.

Другие снова загоготали, а француз подошел к девушке и, вытянув хлыст, дотронулся кончиком до маленькой ямки на крестце. Он деликатно его там подержал, а потом, прижав хлыст к спине, медленно провел им сверху вниз, проверяя, достаточно ли пышны округлости.

– Поверните ее, – произнес он с иностранным акцентом.

Мистер Симс услужливо потянул валик ткани, и тело покорно сделало пол-оборота. Один из мужчин у двери присвистнул. Француз положил хлыст поперек ее живота, словно «плотник, который что-то меряет, или же для того, чтобы показать, до чего живот плоский». Снова хлыст прошел сверху вниз по изгибам тела и остановился на бедрах, пониже треугольника. Потом француз опустил руку с хлыстом и сказал девушке:

– Открой рот. – Она открыла, и он внимательно осмотрел зубы. Потом наклонился и понюхал, как пахнет изо рта. – Дыхание чистое, –

признал он словно нехотя.

– Та-ак, – сказал мистер Симс, – та-ак, чище дыхания и не сыщете.

– А другие у вас есть? – спросил француз. – Тут, на месте?

– У нас есть, – ответил мистер Симс.

– Давайте посмотрим, – сказал француз и двинулся к двери, по-видимому «нахально рассчитывая», что люди перед ним расступятся. Пока мистер Симс запирал дверь, Касс ему сказал:

– Если вы мистер Симс, я желал бы с вами поговорить.

– Э? – произнес мистер Симс («крякнул», как сказано в дневнике), но, оглядев Касса, понял по его

платью и манерам, что он не просто зевака, и сразу стал вежливее. Проводив француза в соседнюю комнату для осмотра, он вернулся к Кассу. Касс пишет, что если бы разговор шел наедине, можно было бы избежать неприятностей, но, по его уверению, в ту минуту он был так поглощен своими поисками, что люди, стоявшие вокруг, для него не существовали.

Он изложил свое дело мистеру Симсу, описал как сумел Фебу, сообщил имя работоторговца в Падьюке и посулил щедрое вознаграждение. Мистер Симс явно сомневался в успехе, но пообещал сделать все, что можно. Он сказал:

– Десять против одного, что вы ее не найдете, сударь. У нас тут есть кое-что и получше. Вы же видели Дельфи, она почти такая же белая, как наши женщины, но куда аппетитней, а та, о которой вы говорите, всего-навсего желтая. Дельфи, она...

– Но молодого джентльмена потянуло на желтеньких, – с хохотом прервал его один из зевак. Остальные загоготали хором.

Касс дал ему в зубы. «Я ударил его наотмашь, – писал Касс, – так, что пошла кровь. Ударил, не подумав, и помню, как сам удивился, заметив, что по его подбородку течет кровь и что он вытащил из-за пазухи

охотничий нож. Я попытался увернуться от удара, но он пырнул меня в левое плечо. Прежде чем он успел отскочить, я схватил правой рукой его за запястье, пригнул его так, чтобы помочь себе левой рукой, в которой еще была какая-то сила, и, резко повернувшись, сломал его руку о свое правое бедро, а потом сшиб его на пол. Подняв нож, я обернулся к другому парню, по-видимому приятелю того, кто лежал. У него тоже был нож, но он, видно, потерял охоту продолжать спор».

Касс отклонил помощь мистера Симса, зажал рану носовым платком, вышел из дому и свалился без сознания на Уэст-Шорт-стрит. Его

отнесли домой. На другой день ему стало лучше. Он узнал, что миссис Трайс уехала из города, кажется, в Вашингтон. Дня два спустя его рана воспалилась, и какое-то время он пролежал в бреду, между жизнью и смертью. Выздоровливал он медленно, ему мешало, по-видимому, то, что он в дневнике называл своей «жаждой тьмы». Но здоровый организм оказался сильнее, и он встал на ноги, ощущая себя «величайшим из грешников и проказой на теле человечества». Касс покончил бы самоубийством, если бы не боялся вечного проклятия, ибо хотя он «и потерял надежду на высшее милосердие, все же цеплялся

за эту надежду». Но порою именно вечное проклятие за самоубийство и толкало на самоубийство — он ведь довел до самоубийства своего друга; друг, совершив этот поступок, был обречен на вечное проклятие, поэтому справедливости ради и он, Касс Мастерс, должен был подвергнуть себя такому же наказанию. «Но Господь уберег меня от самоуничтожения — для своих целей, недоступных моему разуму».

Миссис Трайс в Лексингтон не вернулась.

Он уехал на Миссисипи. Два года работал у себя на плантации, читал Библию, молился и, как ни странно, разбогател почти что

помимо своей воли. В конце концов он выплатил долг Гилберту и отпустил на свободу рабов. Он рассчитывал, что сможет получать с плантации тот же доход, выплачивая работникам жалованье.

— Дурень ты, — говорил ему Гилберт. — И хотя бы постарался это скрыть, а не выставлял перед всем светом. Неужели ты думаешь, что их можно освободить и заставить работать? День покопаются, а день будут бездельничать. Неужели ты думаешь, что можно иметь свободных негров рядом с плантациями, где живут рабы? Если уж тебе непременно надо было их освободить, нечего тратить жизнь на

то, чтобы с ними нянчиться. Высели их отсюда и займись адвокатурой или медициной. Либо проповедуй слово божие, заработаешь хотя бы на хлеб своими бесконечными молениями.

Касс больше года пытался обрабатывать плантации с помощью свободных негров, но вынужден был признать неудачу.

— Высели их куда-нибудь отсюда, — говорил ему Гилберт. — Да и сам поезжай с ними. Почему тебе не поехать на север?

— Мое место здесь, — отвечал Касс.

— Тогда почему бы тебе здесь не проповедовать аболиционизм? —

спросил Гилберт. — Займись чем-нибудь, займись чем хочешь, но перестань валять дурака и не пытайся возделывать хлопок руками свободных негров.

— Может, я когда-нибудь начну проповедовать аболиционизм, — сказал Касс. — Даже здесь. Но не теперь. Я недостойн учить других. Еще недостойн. Но я хотя бы показываю пример. И если это хороший пример, он не пропадет даром. Ничто не пропадает даром.

— Кроме разума, который тебе дан, — сказал Гилберт и тяжело зашагал из комнаты.

В воздухе пахло грозой. Лишь огромное богатство Гилберта, его

престиж и едва скрываемое ироническое отношение к Кассу спасли Касса от остракизма или чего-нибудь похуже. («Его презрение — мой щит, — писал Касс. — Он обращается со мной как с капризным, неразумным дитятей, которое еще повзрослеет. А пока что меня нечего принимать всерьез. Поэтому соседи и не принимают меня всерьез».) Но гроза разразилась. У одного из негров Касса на плантации по соседству жила жена-рабыня. После того как у нее вышли небольшие неприятности с надсмотрщиком, муж ее выкрал и сбежал. Пару схватили недалеко от границы Теннесси. Муж оказал

сопротивление полиции, и его застрелили. Жену привезли обратно.

– Видишь, – сказал Гилберт, – вот чего ты добился: негра застрелили, а ее высекли плетьюми. Я тебя поздравляю.

После этого Касс посадил своих негров на пароход, шедший вверх по реке, и больше ничего о них не слышал.

«Я смотрел, как пароход выходит на стремнину и, вспенивая колесами воду, борется с течением; но на душе у меня было смутно. Я знал, что негры уходят от одной беды только для того, чтобы попасть в другую, и что все надежды, окрыляющие их сегодня, будут разбиты. Они

целовали мне руки и плакали от радости, но я не мог разделить их ликования. Я не тешил себя тем, что облегчил их участь. То, что я сделал, я сделал для себя. Я хотел снять со своей души бремя, бремя их мучений, и не чувствовать больше на себе их взгляда. Жена моего покойного друга не вынесла взгляда Фебы, обезумела, перестала быть собой и продала девушку в вертеп. Я не мог вынести взгляд моих негров, освободил их, обрек их на жалкую жизнь, чтобы не сделать худшего. Ибо многие не могут вынести их взгляд и в отчаянии доходят до изуверства и жестокости. Лет за десять или более до моего приезда в Лексингтон там

жил богатый адвокат по имени Филдинг Л. Тернер, который женился на знатной бостонской даме. Эта дама, Каролина Тернер, никогда не жившая среди черных и воспитанная в понятиях, враждебных рабству, скоро стала знаменита своей отвратительной жестокостью, проявляемой в припадках гнева. Вся округа возмущалась тем, что она секла слуг своими руками, издавая при этом, как говорили, странные горловые звуки. Как-то раз, когда она секла слугу на втором этаже своего роскошного особняка, в комнату зашел маленький негритенок и стал хныкать. Она схватила его и вышвырнула в окно, так что он,

ударившись внизу о камни, сломал позвоночник и остался на всю жизнь калекой. Для того чтобы спасти ее от преследования закона и негодования общества, судья Тернер поместил ее в лечебницу для душевнобольных. Но врачи сочли, что она в здравом уме, и отпустили ее. Муж по завещанию не оставил ей рабов, ибо, как там было сказано, не желал обрекать их на мучения при жизни и скорую гибель. Но она раздобыла рабов, и в том числе мулата-кучера по имени Ричард, кроткого с виду, рассудительного и покладистого. В один прекрасный день она приказала приковать его к стене и принялась его сечь. Но он разорвал цепи,

набросился на эту женщину и задушил ее. Потом его поймали и повесили за убийство, хотя многие и жалели, что ему не дали убежать. Эту историю мне рассказали в Лексингтоне. Одна дама заметила:

– Миссис Тернер не понимала негров.

А другая добавила:

– Миссис Тернер вела себя так, потому что она была из Бостона, где правят аболиционисты.

Тогда я не понял их. Но позже начал понимать. Я понял, что миссис Тернер была негров потому же, почему жена моего друга продала Фебу на юг: она не выносила их взгляда. Я это понимаю, потому что

и я больше не могу выносить их взгляд. Быть может, только такой человек, как Гилберт, способен посреди всего этого зла сохранять чистоту и силу духа, выдерживать их взгляд и в условиях всеобщей несправедливости творить хоть какую-то справедливость».

И вот Касс, хозяин плантации, которую некому было обрабатывать, уехал в столицу штата Джексон и занялся изучением права. Перед отъездом к нему пришел Гилберт с предложением отдать ему в аренду плантацию — он будет обрабатывать ее руками своих рабов, а потом делить с братом доходы. Повидимому, он все еще надеялся

сделать и Касса богачом. Но Касс отклонил его предложение, и Гилберт сказал:

— Ты не желаешь, чтобы ее обрабатывали рабы, а? Имей в виду, если ты ее продашь, на ней все равно будут работать невольники. Это черная земля, и она будет полита черным потом. Какая же тебе разница, чей пот прольется на нее?

Касс ответил, что не продаст плантацию. И тогда Гилберт заорал, налившись кровью:

— Господи спаси, мой милый, ведь это же земля, понимаешь, земля! А земля страждет по руке, которая ее возделает!

Но Касс не продал своей земли.

Он поселил в доме сторожа и сдал небольшой участок соседу под пастбище.

В Джексоне он допоздна сидел над своими книгами, наблюдая, как над страной собирается гроза. Ибо он приехал в Джексон осенью 1858 года. А 9 января 1861 года штат Миссисипи объявил о выходе из федерации^[15].

Гилберт был против этого решения и писал Кассу:

«Болваны, ведь в штате нет ни одной оружейной мастерской. Болваны, если они предвидели эту свару, надо было подготовиться. Болваны, если не предвидели, нечего было себя так вести вопреки всякой

очевидности. Болваны, что не пытаются выиграть время — если им так нейдет, надо собрать силы и тогда нанести удар. Я говорил влиятельным людям, что надо готовиться. Но все они болваны».

На это Касс ответил: «Я прилежно молюсь за то, чтобы был мир». Но позже он писал: «Я беседовал с мистером Френчем, который, как ты знаешь, командует инженерной службой артиллерии, и он говорит, что у них есть только старинные кремневые мушкеты. Интенданты по приказу губернатора Петаса объездили весь штат, собирая дробовики. Дробовики! — скривившись, сказал мистер Френч.

И какие дробовики, добавил он, а потом описал одно ружье, пожертвованное на общее дело: ржавый мушкетный ствол, прикрепленный железкой к куску кипарисовых перил, да еще кривой вдобавок! Старый раб отдал свое сокровище, внес вклад в общее дело — что тут, плакать или смеяться?»

После того как Джефферсон Дэвис вернулся в Миссисипи, отказавшись от звания сенатора, и принял командование войсками штата в чине генерал-майора, Касс посетил его по просьбе Гилберта и написал брату:

«Генерал говорит, что под его началом 10 тысяч солдат, но у них

нет ни одного современного ружья. Генерал также сообщил, что ему выдали очень красивый мундир с четырнадцатью медными пуговицами и черным бархатным воротником. «Быть может, мы сумеем использовать пуговицы вместо пуль», — сказал он и улыбнулся».

Касс еще раз увидел мистера Дэвиса, когда плыл с братом на пароходе «Натчез», на котором новый президент конфедерации проделал первую часть пути от своего поместья «Брайрфилд» до Монтгомери.

«Мы ехали на пароходе старого Тома Лезера, — писал Касс в своем

дневнике, — который должен был
взять на борт президента у пристани
в нескольких милях от
«Брайрфилда». Но мистер Дэвис
задержался дома и встретил нас на
лодке. Я стоял у борта и увидел, что
по красной воде к нам приближается
черный ялик. С него нам махал
какой-то человек. Капитан «Натчеза»
заметил это; по реке разнесся
сильный гудок, от которого у нас
заложило уши. Пароход остановился,
и ялик подошел к борту. Мистер
Дэвис поднялся на палубу. Когда
пароход снова тронулся, мистер
Дэвис оглянулся назад и помахал
рукой своему слуге-негру (Исайе
Монтгомери — я встречал его в

«Брайрфилде»). Негр стоял в ялике, который качался на волнах, оставленных пароходом, и махал в ответ. Позднее, когда мы приближались к обрывистым берегам Виксберга, мистер Дэвис подошел к моему брату, с которым мы гуляли по палубе. Мы еще раньше с ним поздоровались. Брат мой еще раз и уже менее официально поздравил мистера Дэвиса, но тот ответил, что оказанная ему честь его не радует».

«Я всегда относился к федерации с суеверным почтением и не в одном бою рисковал жизнью за дорогое мне знамя. Вы, джентльмены, можете понять мои

чувства теперь, когда предмет моей долголетней привязанности у меня отнят». И он продолжал: «В настоящее время мне остается лишь с грустью утешать себя, что совесть моя чиста». Тут он улыбнулся, что бывало с ним редко, а потом, простившись, покинул нас. Я заметил, какое осунувшееся, изможденное болезнью и заботой было у него лицо. Я сказал брату, что мистер Дэвис плохо выглядит, а он ответил:

– Больной человек, хорошенькое дело – иметь президентом больного!

Я ответил, что не известно, будет ли еще война, – ведь мистер Дэвис надеется сохранить мир. Но

брат на это сказал:

— Не надо себя обманывать, янки будут драться, и будут драться отменно, а мистер Дэвис — болван, если он надеется сохранить мир.

— Все порядочные люди надеются на мир, — ответил я.

На это брат буркнул что-то нечленораздельное, а потом сказал:

— Нам, раз уж мы эту кашу заварили, нужен теперь не порядочный человек, а такой, который сможет победить. Такие тонкости, как совесть мистера Дэвиса, меня не интересуют.

После этих слов мы молча продолжали нашу прогулку, и я думал, что мистер Дэвис человек

честный. Но на свете много честных людей, а мир наш катится прямо в бездну и в кровавый туман. И теперь, поздно ночью, когда я пишу эти строки в номере виксбергской гостиницы, я спрашиваю себя: «Какова же цена нашей добродетели? Да услышит Господь наши молитвы!»

Гилберт получил чин полковника кавалерии. Касс записался рядовым в стрелковый полк Миссисипи.

— Ты мог бы стать капитаном, — сказал Гилберт, — или даже майором. На это у тебя хватит ума. А его, — добавил он, — чертовски редко здесь встретишь.

Касс ответил, что предпочитает

быть рядовым и «шагать в строю с солдатами». Но он не мог открыть брату причину, не мог сказать ему, что, хотя и пойдет в одном строю с солдатами и будет нести оружие, он никогда не посягнет на чужую жизнь.

«Я должен шагать вместе с теми, кто идет в строю, — пишет он в своем дневнике, — ибо это мои соотечественники, и я должен делить с ними все тяготы, сколько их будет отпущено. Но я не могу отнять жизнь у человека. Как посмею я, отнявший жизнь у своего друга, лишиться жизни врага, раз я исчерпал свое право на кровопролитие?» И Касс отправился на войну, неся ружье, которое было

для него лишь обузой, и на голой груди под серым мундиром – кольцо на веревочке, обручальное кольцо его друга, надетое ему на палец Аннабеллой Трайс той ночью в беседке, когда рука его лежала у нее на груди.

По зеленеющим полям – было начало апреля – он дошагал до церкви Шайло [\[16\]](#), а потом двинулся в лес за рекой. (В то время, должно быть, уже зацвели кизил и багряник.) В лесу у него над головой пел свинец, и земля покрывалась трупами; а на другой день он вышел из леса вместе с хмуро отступавшим войском и двинулся к Коринфу. Он был уверен, что не выйдет живым из

боя. Но он остался жив и шагал по запруженной дороге «как во сне». Он пишет:

«Я почувствовал, что отныне всегда буду жить в этом сне». Сон повел его назад, в Теннесси. У Чикамоги, Ноксвилла, Чаттануги^[17] и во множестве безымянных стычек пуля, которую он так ждал, его не нашла. При Чикамоге, когда его рота дрогнула под огнем противника и атака, казалось, захлебнется, он твердо шел вверх по склону, удивляясь своей неуязвимости. И солдаты перестроились, пошли за ним.

«Мне было удивительно, – писал он, – что тот, кто с Божиего

соизволения искал смерти и не мог найти, в поисках ее повел к ней тех, кто ее совсем не жаждал». Когда полковник Хикман поздравил его, у него «не нашлось слов для ответа».

Но если он надел серый мундир в смятении чувств и в надежде на искупление, он стал носить его с гордостью, потому что в таких же мундирах шагали с ним рядом другие.

«Я видел, как люди проявляют отвагу, — пишет он, — и ничего не требуют за это». И добавляет: «Можно ли не любить людей за те страдания, которые они терпят, и за те жалобы, которых не произносят вслух?» В дневнике все чаще и чаще

попадают — среди молитв и моральных сентенций — замечания профессионального солдата — критика командиров (Брагга после Чикамоги), гордость и удовлетворение тактическими маневрами и точной стрельбой («действия батареи Марло были великолепны») и, наконец, восхищение сдерживающими действиями и отвлекающими ударами, которые так мастерски осуществлял Джонстон под Атлантой, у Баззардс-Руста, Снейк-Крика, церкви Нью-Хоуп и горы Кинисоу^[18]. («Во всем, что человек делает хорошо, есть какое-то величие, пусть омраченное или

вынужденное, а генерал Джонстон делает свое дело хорошо».)

Но вот под Атлантой пуля его нашла. Он лежал в госпитале и гнил заживо. Но еще до того, как началось заражение, когда рана в ноге еще казалась несерьезной, он уже знал, что умрет.

«Я умру, — пишет он в дневнике, — и меня минует развязка войны и горечь поражения. Я прожил жизнь, не сделав никому добра, и видел, как другие страдают за мою вину. Я не усомнился в правосудии Божию, хотя другие и страдали за мою вину, ибо, может быть, лишь через страдания невинных внушает нам Бог, что все люди — братья, братья

именем Его пресвятым. Здесь, где я лежу, рядом со мной страдают другие — и за чужие и за свои грехи. Меня же утешает то, что я страдаю лишь за свои собственные». Он знал не только что умрет, но и что война кончена. «Она кончена. Кончено все, кроме смертной муки, а она еще будет длиться. Нарыв созрел и прорвался, но гной еще должен вытечь. Люди еще сойдутся и будут гибнуть за общую вину и за то, что привело их сюда из дальних мест, от родных очагов. Но Господь в своей милости не даст мне увидеть конца. Да святится имя Его».

Дневник на этом кончался. К нему было приложено только письмо

Гилберту, написанное чужой рукой, когда Касс так ослабел, что уже не мог писать сам.

«Вспоминай меня, но без всякой скорби. Если одному из нас двоих и повезло, то — мне...»

Атланта пала. В сумятице могила Касса Мастерна осталась безымянной. Один из лежавших с ним в госпитале, некий Альберт Колоуэй, сберег бумаги Касса и кольцо, которое он носил на груди. Позднее, уже после войны, он послал все это с любезной запиской Гилберту Мастерну, Гилберт сохранил дневник, письма Касса, его портрет и кольцо на веревочке, а после смерти Гилберта его

наследник переслал пакет Джеку Бердену, изучавшему историю. И вот все это лежало теперь на сосновом столике в спальне Джека Бердена, в той неопрятной квартире, которую он занимал с двумя другими дипломниками — невезучим, прилежным пьяницей и везучим, ленивым пьяницей.

Джек Берден полтора года не расставался с бумагами Мастерна. Ему хотелось знать все о мире, где жили Касс и Гилберт Мастерны, и он очень много о нем знал. Он понимал Гилберта Мастерна. Гилберт Мастерн не вел дневника, но Джек Берден понимал этого человека с головой, словно высеченной из

гранита, который жил сперва в одной эпохе, а потом в другой и в обеих чувствовал себя как дома. Но настал день, когда, сидя за сосновым столом, Джек Берден вдруг осознал, что не понимает Касса Мастерна. Ему и не нужно было понимать Касса Мастерна, чтобы получить диплом; ему надо было знать факты из жизни общества во времена Касса Мастерна. Но, не понимая самого Касса Мастерна, он не мог изложить эти факты. Не то чтобы Джек Берден отдавал себе в этом отчет. Он просто сидел за сосновым столом ночь за ночью, уставившись на фотографию, и ничего не мог написать. Время от времени он вставал, чтобы напиться,

и долго простаивал в темной кухне с банкой из-под варенья в руке, дожидаясь, пока вода в кране станет похолоднее.

Как я уже сказал, Джек Берден не мог изложить историю того времени, когда жил Касс Мастерн, потому что не понимал самого Касса. Джек Берден не мог бы объяснить, почему он не понимает Касса Мастерна. Но я (тот, кем стал Джек Берден), оглядываясь назад через много лет, попытаюсь это сделать.

Касс Мастерн прожил короткую жизнь и за это время понял, что все в мире взаимосвязано. Он понял, что жизнь — это гигантская паутина, и, если до нее дотронуться, даже

слегка, в любом месте, колебания разнесутся по всей ее ткани, до самой дальней точки, и сонный паук почувствует дрожь, проснется и кинется, чтобы обвить прозрачными путами того, кто дотронулся до паутины, а потом укусит и впустит свой черный мертвящий яд ему под кожу. И все равно, нарочно или нет задела вы паутину. Вы могли задеть ее нечаянно — по легкомыслию или в порыве веселья, но что сделано, то сделано — и он уже тут, паук с черной бородой и огромными гранеными глазами, сверкающими, как солнце в зеркалах или как очи Всевышнего, со жвалами, с которых каплет яд.

Но разве мог Джек Берден — тот,

каким он был, — все это понять? Он мог только прочесть слова, написанные много лет назад в опустелом доме после того, как Касс Мастерн освободил своих рабов; в адвокатской конторе в Джексоне, Миссисипи; при свече в номере виксбергской гостиницы, после беседы с Джефферсоном Дэвисом; при свете догорающего костра на каком-нибудь биваке, когда в темноте вокруг лежали фигуры солдат, а темнота была полна тихим печальным шелестом — но то не ветер перебирал сосновые ветки, то было дыхание тысяч спящих людей. Джек Берден мог прочесть эти слова, но разве он мог их понять? Для него

это были только слова, ибо для него в то время мир состоял из разрозненных явлений, обрывков и осколков фактов и был похож на свалку поломанных, ненужных, запыленных вещей на чердаке. Либо это был поток явлений, проходивших у него перед глазами (или в его сознании), и ни одно из них не было связано с другим.

А может, он отложил дневник Касса Мастерна не потому, что не мог его понять, а потому, что боялся понять, ибо то, что могло быть там понято, служило бы укором ему самому.

Во всяком случае, он отложил дневник, и у него начался один из

периодов Великой Спячки. Вечерами он возвращался домой и, зная, что все равно не сможет работать, сразу ложился спать. Он спал по двенадцать, по четырнадцать, по пятнадцать часов и чувствовал, что все глубже и глубже погружается в сон, словно ныряльщик, который все глубже уходит в темную пучину и ощупью ищет там что-то нужное ему, что блеснуло бы в глубине, будь там светлее, — но там нет света. А по утрам он валялся в постели, не испытывая никаких желаний, даже голода, слушая, как под дверь, сквозь стекла, щели в стенах, сквозь поры дерева и штукатурки в комнату пробираются, просачиваются слабые

звуки внешнего мира. И он думал: «Если я не встану, я не смогу снова лечь в постель». Тогда он вставал и выходил на улицу, которая казалась ему незнакомой, но как-то томительно незнакомой, как мир детства, в который возвращается старик.

Но вот в одно прекрасное утро он вышел на улицу и не вернулся в свою комнату, к сосновому письменному столу. Дневники в черных переплетах, кольцо, фотография, связка писем лежали там рядом с объемистой рукописью — полным собранием сочинений Джека Бердена, — поля которой уже начинали загибаться вокруг пресс-

папье.

Через несколько недель квартирная хозяйка переслала ему большой пакет со всем тем, что он оставил на сосновом столе. Нераспечатанный пакет странствовал с ним из одной меблированной комнаты в другую, из квартиры, где он какое-то время жил со своей красивой женой Лоис и откуда вышел однажды, чтобы никогда больше не вернуться, в другие меблированные комнаты и гостиничные номера — увесистый квадратный пакет, перевязанный ослабшей бечевкой, в выгоревшей коричневой бумаге, на которой постепенно стирались слова:

«Мистеру Джеку Бердену».

Так закончилось мое первое путешествие в волшебную страну прошлого, моя первая исследовательская работа по истории. Как я уже отметил, она не принесла мне успеха. Зато вторая моя работа имела сенсационный успех. Это было «Дело честного судьи», и я мог от души поздравить себя с прекрасными достижениями. Это было безупречное исследование, и его технический блеск омрачался лишь одной деталью: оно затрагивало живых людей.

Все началось, как известно,

ночью, в черном «кадиллаке», когда Хозяин сказал мне (мне, который был тем, в кого превратился студент-историк Джек Берден): «Всегда что-то есть».

А я сказал: «У судьи может и не быть».

А он сказал: «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его — от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть».

Черный «кадиллак», гудя, мчался сквозь ночь, пели шины, и черные поля в полосах тумана пробегали мимо. Рафинад лежал на баранке, чересчур большой для него, Хозяин, выпрямившись, сидел рядом

с ним. Я видел массивные очертания его головы перед туннелем света, в который неслась машина. Потом я задремал.

Проснулся я оттого, что машина затормозила. Я понял, что мы вернулись к дому Старка. Я выбрался наружу. Хозяин уже стоял на дворе, за воротами, при свете звезд; Рафинад запирал машину.

Когда я вошел во двор, Хозяин сказал:

— Рафинад ляжет внизу на кушетке, а тебе постелили койку наверху, от лестницы вторая дверь налево. Советую вздремнуть, потому что завтра ты начнешь раскапывать, на чем поскользнулся судья.

– Раскопки будут долгие, – сказал я.

– Слушай, – сказал он, – если ты не хочешь этим заниматься, тебя никто не заставляет. Я всегда могу нанять другого. Может, ты хочешь прибавки?

– Нет, я не хочу прибавки, – ответил я.

– Хочешь ты или нет, я прибавлю тебе сотню в месяц.

– Пожертвуй ее церкви, – сказал я. – Если бы я нуждался в деньгах, я нашел бы себе заработок полегче.

– Значит, ты со мной работаешь из любви ко мне, – сказал Хозяин.

– Я не знаю, почему я у тебя работаю, но только не из любви к

тебе. И не из-за денег.

— Да, — сказал он в темноте, — ты не знаешь, почему работаешь у меня. А я знаю. — И он засмеялся.

Во двор вошел Рафинад, пожелал нам спокойной ночи и скрылся в доме.

— Почему? — спросил я.

— Мальчик, — ответил он, — ты работаешь у меня, потому что я — это я, а ты — это ты. Это сотрудничество, вытекающее из природы вещей.

— Очень вразумительное объяснение.

— А это не объяснение, — сказал он и опять засмеялся. — Никаких объяснений не бывает. Ни для чего. В лучшем случае ты можешь сослаться

на природу вещей. Если у тебя хватает ума разглядеть ее.

— У меня не хватает, — сказал я.

— Хватит, чтобы найти, чем замарался судья.

— Может, и ничем.

— Ерунда, — сказал он, — ложись спать.

— А ты не ложишься?

— Нет, — сказал он. И когда я оставил его, он прохаживался по двору в темноте, сложив руки за спиной и опустив голову, — прохаживался не спеша, словно это был воскресный день и он вышел в парк на прогулку. Но это было не днем, а в 3:15 ночи.

Я лег на койку, но заснул не

сразу. Я думал о судье Ирвине. О том, как он посмотрел на меня сегодня ночью, повернув свою длинную старую голову, как блеснули его желтые глаза и скривилась губа над крепкими старыми желтыми зубами, когда он сказал: «На этой неделе я обедаю с твоей матерью. Передать ей, что тебе по-прежнему нравится твоя работа?» Но это ушло, я увидел, как он сидит за шахматами напротив Ученого Прокурора в длинной комнате, в белом доме у моря — он не старик, он молодой человек, и его длинное красное лицо с орлиным профилем склонилось над доской. Но и это ушло, и серым зимним утром лицо склонилось ко мне среди

высокой седой осоки и сказало: «Ты веди за ней ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой. Ну ничего, я сделаю из тебя охотника». И лицо улыбнулось. А я хотел заговорить, спросить: «Есть ли за вами что-нибудь, судья? Найду я что-нибудь?» Но я не успел заговорить и уснул – он еще улыбался.

Потом наступил новый день, и я начал откапывать дохлую кошку, выковыривать личинку из сыра, добывать червя из розы, искать запеченную муху среди изюмин в рисовом пудинге.

Я нашел ее.

Но не сразу. Ее не находишь сразу, если ищешь специально. Она

погребена под печальными наносами времени, там ей и место. А ты и не хочешь найти ее сразу, если ты студент-историк. Если ты найдешь ее сразу, то не сможешь продемонстрировать свои методы. Но я смог их продемонстрировать.

Первый шаг я сделал к концу дня, сидя за баррикадой пустых пивных бутылок в столичном пивном зале. Я зажег сигарету от своего же окурка и задал себе следующий вопрос: «Что, помимо первородного греха, скорее всего толкнет человека на скользкую дорожку?»

Я ответил: «Честолюбие, любовь, страх, деньги».

Я спросил: «Честолюбив ли

судья?»

Я ответил: «Нет. Честолюбивый человек – это такой человек, который хочет, чтобы другие верили в его величие. Судья уверен в своем величии, и ему все равно, что думают другие».

Я спросил: «А как насчет любви?»

Я был твердо убежден, что у судьи были свои маленькие радости, но так же твердо я был убежден в том, что в Берденс-Лендинге никто об этом не знает. Ибо, если в маленьком городке кто-то что-то про кого-то знает, не нужно много времени, чтобы об этом узнали все.

Я спросил: «Пуглив ли судья?»

Я ответил: «Судья не из пугливых».

Теперь оставались деньги.

И я спросил: «Любит ли судья деньги?»

«Судье нужно ровно столько денег, сколько нужно, чтобы судья мог жить беззаботно».

Я спросил: «Был ли в жизни судьи случай, когда судье не хватало денег для беззаботной жизни?» А ему не мало надо.

Я закурил новую сигарету и стал обдумывать этот вопрос. Я не нашел ответа. Какой-то голос шептал мне из детства, но я не мог разобрать, что он шепчет.

Из глубины времени и моей

памяти выплывало смутное
впечатление: я — ребенок, я захожу в
комнату к взрослым, я понимаю, что
они оборвали разговор при моем
появлении, мне не полагается знать,
о чем они говорят. Поймал ли я конец
их разговора? Я прислушивался к
голосу, шептавшему мне из детства,
но голос был слишком далек. Он не
давал мне ответа. Поэтому я
поднялся из-за стола и, оставив
после себя окурки и пустые пивные
бутылки, вышел на улицу. Был конец
дня, улица дымилась после дождя,
как турецкая баня, и пленка воды,
лежавшая на асфальте, жарко шипела
под шинами. Если нам повезет, к
вечеру может подуть ветерок с

залива. Если нам повезет.

Наконец я нашел такси, сказал шоферу: «Угол улицы Сент-Этьен и Южной пятой», развалился на сиденье и стал слушать, как шипит под колесами вода, словно сало на сковородке. Я ехал за ответом. Если человек, который знает ответ, захочет мне ответить.

Человек этот много лет был близким другом судьи, его вторым «я», его Дамоном, его Ионафаном^[19]. Человек этот был когда-то Ученым Прокурором. Он должен знать.

Я вышел на тротуар возле мексиканского ресторанчика, где работал музыкальный автомат, от чего студенистый воздух вздрагивал.

Заплатив шоферу, я повернулся и посмотрел на третий этаж дома, сотрясаемого музыкальной машиной. Вывески были на месте — подвешенные на проволоке к железному балкончику, прибитые к стене деревянные щиты — белые, красные, черные, зеленые — с надписями контрастных цветов. Большая вывеска под балконом гласила: «С Богом не шутят». На другой было написано: «День Спасения настал».

«Ага, — сказал я себе, — он еще живет здесь». Он жил здесь, над чистеньким ресторанчиком, а в соседнем квартале среди голодающих кошек играли голые

негритята, и негритянки перед закатом сидели на ступеньках, томно обмахиваясь веерами из пальмовых листьев. Я приготовился войти в подъезд и уже полез за сигаретами, но обнаружил, что они кончились. Поэтому я зашел в ресторан, где музыкальный ящик затормаживал со скрипом.

За стойкой, пригнувшись, стояла приземистая, как бочонок, старуха с кустистыми и очень белыми по сравнению с коричневым мексиканским лицом и черной rebozo^[20] бровями; я сказал ей: Cigarillos?^[21]

– Que tipo?^[22] – спросила она.

– «Лаки», – ответил я и, когда

она выложила пачку, показал на потолок и спросил:

— Esta arriba el viejo?[\[23\]](#) —
довольный, что сумел это
выговорить.

— Quen sabe? — ответила она. —
Viene y va[\[24\]](#).

Так. Он приходит и уходит. По
божьим делам.

— Старик вышел, — довольно
чисто произнес голос в тени у конца
стойки.

— Спасибо, — сказал я старому
мексиканцу, который сидел в кресле.
Потом повернулся к старухе и,
показав на кран, попросил: — Дайте
мне пива.

Отхлебнув пива, я поднял глаза и

увидел над стойкой еще одну надпись, выведенную на большом листе фанеры, висевшем на гвозде. Доска была ярко-красная, с завитушками из голубых цветов и черными буквами, оконтуренными белым.

На ней было написано: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Матф. 3,2».

Я показал на вывеску.

— De el?[\[25\]](#) — спросил я. — Старика, а?

— Si, senor, — сказала старуха. И добавила без видимой связи: — Es como un santito[\[26\]](#).

— Может, и блаженный, — согласился я, — но, кроме того,

тронутый.

– Тронут?

– Esloco^[27], – объяснил я, – es

тронутый.

На это она не ответила, и я продолжал пить пиво, пока старый мексиканец в кресле не сказал:

– Смотрите, вот идет старик.

Повернувшись, я увидел за мутным стеклом двери фигуру в черном; потом дверь отворилась, и вошел он, еще более старый, чем мне помнилось: белые слипшиеся патлы свисали из-под старой панамы, очки в стальной оправе едва держались на кончике носа, за ними мигали линиялые глаза, а плечи были сведены и согнуты тяжестью самостоятельно

существующего аккуратного дрянного животика, словно у лоточника с тяжелым подносом или ящиком. Черный пиджак на животе не сходил.

Он стоял, важно моргая, глядел на меня и не узнавал, потому что в ресторане было сумрачно, а он вошел с улицы, где еще светило солнце.

– Добрый вечер, *senor*, – сказал ему старый мексиканец.

– *Buenas tardes*^[28], – сказала старуха.

Ученый Прокурор снял панаму, повернулся к старухе и слегка поклонился, сделав головой движение, которое заставило меня вспомнить длинную комнату в белом

доме у моря и в комнате – человека, этого, но другого, молодого, без седины.

– Добрый вечер, – сказал он мексиканке, а затем повернулся к старику мексиканцу и повторил: – Добрый вечер, сэр.

Мексиканец показал на меня и проговорил:

– Он ждет.

Тогда Ученый Прокурор впервые, должно быть, обратил внимание на меня. Но он меня не узнавал, глаза его напрасно мигали в сумерках. Вполне естественно, что он не ожидал встретить меня здесь.

– Здравствуй, – сказал я, – ты меня узнаешь?

– Да, – сказал он, глядя на меня по-прежнему. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Она была холодная и влажная.

– Давай уйдем отсюда, – сказал я.

– Вам нужен хлеб? – спросил старый мексиканец.

Ученый Прокурор обернулся к нему.

– Да, пожалуйста. Если вас не затруднит.

Мексиканец поднялся, подошел к краю стойки, достал большой бумажный мешок, чем-то набитый, и отдал ему.

– Спасибо, – сказал Ученый Прокурор, – большое спасибо, сэр.

– De nada^[29], – поклонившись, сказал мексиканец.

– Я желаю вам всего хорошего, – сказал Ученый Прокурор и поклонился старику, потом старухе, сделав головой движение, которое снова напомнило мне комнату в белом доме у моря.

Потом я вышел за ним на улицу. На другой стороне был сквер с вытоптанной бурой травой, теперь блестевшей после дождя; там на скамейках сидели бродяги, голуби ворковали нежно, как чистая совесть, и какали деликатными известково-белыми капельками на цемент вокруг фонтана. Я поглядел на голубей, потом – на мешок, набитый,

как выяснилось, хлебными корками.

— Будешь кормить голубей? — спросил я.

— Нет, это для Джорджа, — сказал он, подвигаясь к своему подъезду.

— Завел собаку?

— Нет, — сказал он, ведя меня через вестибюль к деревянной лестнице.

— Кто же этот Джордж? Попугай?

— Нет, — сказал он, задыхаясь, потому что лестница была крутая, — Джордж — это несчастный.

Что означало, насколько я помнил, бродягу. Несчастный — это бродяга, которому посчастливилось попасть к смиреннику в дом и

пустить там корень. После чего его производят из бродяг в несчастные. Ученый Прокурор не раз давал приют несчастным. Один несчастный застрелил органиста в миссии, где подвизался Ученый Прокурор. Другой свистнул его часы и ключ Фи-Бета-Каппа.

Значит, Джордж был очередной несчастный. Я посмотрел на хлеб и сказал:

— Да, похоже, что ему порядком не посчастливилось, если больше нечего есть.

— Он съедает только часть хлеба, — ответил Ученый Прокурор, — но это почти случайно. Он с ним работает. Но часть, очевидно, проглатывается,

и поэтому он никогда не хочет есть. Только сладости, — добавил он.

— Господи спаси, как это можно работать с корками, да еще чтобы часть их случайно проглатывалась?

— Не поминай имени Господа всуе, — сказал он. И добавил: — Работа у Джорджа очень тонкая. И художественная. Ты увидишь.

Я увидел. Мы одолели второй марш, свернули в узкий коридор с растрескавшейся стеклянной крышей и вошли в дверь. В углу большой, скудно обставленной комнаты сидел по-портняжьи на куске старого одеяла тот, кого, видимо, звали Джорджем; на полу перед ним были две большие миски и большой,

примерно полметра на метр, кусок фанеры.

Когда мы вошли, Джордж поднял голову и сказал:

— У меня кончился хлеб.

— Вот возьми, — сказал Ученый Прокурор и протянул ему бумажный мешок.

Джордж высыпал корки в миску, потом взял одну в рот и стал жевать, тщательно и целеустремленно. Это был среднего роста человек, мускулистый, с бычьей шеей, и, когда он стал жевать, жилы на шее плавно заходили. Он был блондин, почти лысый, с гладким плоским лицом и голубыми глазами. Разжевывая корку, он смотрел прямо перед собой, в

одну точку.

— Зачем он это делает? — спросил я.

— Он делает ангела.

— А-а, — сказал я. В это время Джордж наклонился над миской и выпустил изо рта полностью пережеванную массу. Потом он положил в рот новую корку.

— Вот этого он уже кончил, — проговорил Ученый Прокурор, показав на другой угол комнаты, где стоял другой кусок фанеры. Я пошел осмотреть ее. Часть фанеры занимала крылатая фигура ангела в ниспадающих складками одеждах, выполненная в виде барельефа из материала, похожего на замазку. —

Сейчас он сохнет, – объяснил Ученый Прокурор. – Когда он высохнет и затвердеет, Джордж его покрасит. Потом покроет шеллаком. Потом будет покрашена доска и написано изречение.

– Очень красиво, – сказал я.

– Он делает и статуи ангелов. Посмотри. – Он подошел и открыл кухонный шкаф, где на одной полке стояли горшки и тарелки, а на другой – шеренга расписных ангелов.

Я стал рассматривать ангелов. Тем временем Ученый Прокурор вынул из шкафа банку супа, буханку хлеба, кусок подтаявшего масла, перенес все это на стол посреди комнаты и зажег горелку

двухконфорочной плиты, стоявшей в углу.

– Ты поужинаешь со мной? – спросил он.

– Нет, спасибо, – сказал я и продолжал рассматривать ангелов.

– Иногда Джордж продает их на улицах, – сказал он, выливая суп в кастрюлю, – но с лучшими он не может расстаться.

– Это и есть лучшие, да? – спросил я.

– Да, – ответил Ученый Прокурор. И добавил: – Хорошо сделаны, правда?

Я сказал «да», потому что больше сказать было нечего. Потом, посмотрев на скульптора, спросил:

– А кроме ангелов, он ничего не делает? Собачек там или кукол?

– Он делает ангелов. Из-за того, что с ним случилось.

– А что случилось?

– Жена, – сказал Ученый Прокурор, мешая суп в кастрюле. – Из-за нее он и делает ангелов. Они работали в цирке, знаешь?

– Нет, я не знал.

– Да, воздушными гимнастами – так их называют. У нее был номер – полет ангела. Джордж говорит, что у нее были большие белые крылья.

– Белые крылья, – сказал Джордж, но из-за хлеба у него вышло *беые кыя*; он помахал большими руками, как крыльями, и улыбнулся.

– Она падала с большой высоты, и белые крылья трепетали, как будто она летела, – терпеливо объяснял Ученый Прокурор.

– И однажды веревка лопнула, – подсказал я.

– В аппарате что-то испортилось. Это очень тяжело подействовало на Джорджа.

– Интересно, как это подействовало на нее?

Старик, не оценив моей шутки, продолжал:

– Настолько, что он уже не мог выступать.

– А какой у него был номер?

– Он был человек, которого вешают.

— А-а, — сказал я и посмотрел на Джорджа. Мне стало понятно, почему у него такая шея. — У него тоже испортился аппарат — задушил его или что?

— Нет, — сказал Ученый Прокурор, — просто им овладело отвращение к его работе.

— К работе? — сказал я.

— Да, отвращение, — сказал Ученый Прокурор. — Дело приняло такой оборот, что он не получал никакой радости от своего ремесла. Каждый раз, когда он засыпал, ему снилось, что он падает. И он мочился в постель, как дитя.

— Падает, падает, — сказал Джордж, что прозвучало у него как

наает, наает, — и радостно заулыбался, не переставая жевать. — Однажды, когда он поднялся на свою площадку с петлей на шее, он не мог прыгнуть. Он не мог даже пошевелиться. Он опустился на платформу и, плача, припал к доскам. Его сняли и вынесли на руках, — сказал Ученый Прокурор. —

Потом он какое-то время был полностью парализован.

— Да, — сказал я, — кажется, ремесло висельника и в самом деле стало ему отвратительно, как ты справедливо заметил.

— Он был полностью парализован, — повторил Ученый Прокурор, снова не оценив моего

остроумия. — По причине отнюдь не физической, если, — он помолчал, — если вообще что-нибудь можно объяснить физическими причинами. Ибо физический мир, хотя он существует и отрицать его существование было бы богохульством, никогда не бывает причиной, он — только результат, только симптом, глина под пальцами гончара, а мы... — Он замолчал, припадочный блеск, вспыхнувший было в его глазах, потух, и рука опустилась, не докончив жеста. Он наклонился над плитой и помешал суп. — Болезнь была здесь, — продолжал он, поднося палец ко лбу. — В его душе. Душа — всегда

причина... поверь... — Он
остановился, покачал головой,
испытующе посмотрел на меня и
закончил с грустью: — Но ты меня не
поймешь.

— Боюсь, что нет, — согласился я.

— Он оправился от паралича, —
сказал старик. — Но Джорджа нельзя
назвать здоровым. У него боязнь
высоты. Он не может смотреть в
окно. Когда он идет на улицу
продавать свои работы и я свожу его
по лестнице, он закрывает глаза
руками. Теперь я вывожу его очень
редко. Он не хочет сидеть на стуле и
спать на кровати. Он всегда должен
быть на полу. Он не любит стоять. У
него просто подгибаются ноги, и он

плачет. Счастье еще, что его всегда тянуло к искусству. Это помогает ему отвлечься. И он много молится. Я научил его молиться. Это помогает. Утром я встаю и молюсь, а он повторяет молитвы за мной. И ночью, когда он просыпается от страшных снов и не может уснуть.

— Он еще мочится в постели? — спросил я.

— Иногда, — серьезно ответил Ученый Прокурор.

Я оглянулся на Джорджа. Он беззвучно плакал, слезы бежали по его гладким плоским щекам, но челюсти не прекращали работы над коркой.

— Посмотри, — сказал я.

Ученый Прокурор посмотрел на него.

— Ах как глупо, глупо, — всполошившись, забормотал он и затряс головой, отчего на черный воротник слетело еще несколько хлопьев перхоти. — Ах, как глупо — рассказываю при нем. Глупый старик — я все забываю. — И, кудахча, бормоча, сердито трясая головой, он налил в миску супа, взял ложку и подошел к Джорджу. — Смотри, смотри, — сказал он, наклонившись и подсовывая к лицу Джорджа ложку с супом, — вкусный, это вкусный суп... суп... поешь супа.

Но по лицу Джорджа катились слезы, и он не открывал рта.

Челюсти, однако, перестали работать. Теперь они были крепко сжаты.

Старик поставил миску на пол и, не отнимая ложки ото рта Джорджа, другой рукой стал поглаживать его по спине, непрерывно издавая тихое, встревоженное родительское кудахтанье. Вдруг он поднял глаза на меня — очки совсем сползли на кончик носа — и проговорил поматерински сварливо: — Просто не знаю, что с ним делать. Не хочет есть суп. Он вообще ничего не ест, кроме сладостей... шоколада... не знаю просто... — Голос его замер.

— Может, ты чересчур его

балуешь? – сказал я.

Он положил ложку в миску, которая стояла рядом на полу, и принялся шарить в карманах. Наконец он вытащил плитку шоколада, довольно квелую от тепла, и стал сдирать с нее прилипшую фольгу. По щекам Джорджа сбегали последние слезы; раскрыв рот в радостном и нетерпеливом ожидании, он следил за процессом. Но толстых своих лапок не протягивал.

Потом, глядя Джорджу в лицо, старик отломил кусочек шоколада, вложил в его влажные губы – и вкусовые бугры жарко занялись в темной полости, и железы с

усталым, сладким, счастливым вздохом дали сок, и на лице Джорджа изобразилось тихое, глубокое блаженство, как у святого.

«Ну, — чуть не сказал я старику, — ты говоришь, что физических причин не бывает, но кусок шоколада — физический, а посмотри, что он делает, — глядя на это лицо, можно подумать, что Джордж причастился тела Христова, а не плитки Херши. И как ты обнаружишь разницу, а?»

Но я не сказал этого, потому что смотрел на старика, который стоял наклонившись, в сползших очках, в обвисшем костюме, с отвисшим брюшком, который держал в руке новую порцию шоколадки, который

нежно кудахтал с выражением счастья на лице, ибо другим словом этого не назовешь, — и, глядя на него, я вдруг увидел человека в длинной комнате в белом доме у моря — этого же человека, но другого, — и в ранней темноте по оконным стеклам хлещет шквальный дождь, налетевший с моря, но это мирный, уютный шум, потому что в камине пляшет огонь, и в дождевые струйки, сбегаящие по стеклу, ссучивается чернота ночи с серебром и серебро — с отблесками огня, и человек этот наклоняется, протягивает что-то, говорит: «Смотри, что папа тебе принес, но только кусочек, — и он отламывает и дает кусочек, — только один, скоро

будем ужинать, а после ужина...»

Я смотрел на старика, и в животе у меня стало тепло, а в груди растаял какой-то ком, словно я носил этот ком так долго и так привык к нему, что вспомнил о нем, только когда он исчез, и дыхание стало свободным.

— Отец, — сказал я, — отец...

Старик поднял голову и брюзгливо спросил:

— Что? Что ты сказал?

«Отец, отец!» — но его больше не было в длинной белой комнате у моря и никогда не будет, потому что он ушел оттуда — зачем? зачем? затем, что у него не хватило характера быть хозяином в своем

доме, затем, что он был дурак, затем... и он ушел далеко, на эту лестницу, в эту комнату, где старик протянул шоколадку и счастье — если это было оно — мелькнуло на его лице. А сейчас уже и счастья не было. Было лишь раздражение старого человека, который не совсем понял, что ему сказали.

Но я и сам далеко ушел от длинной белой комнаты у моря — встав с коврика у камина, где я сидел со своим игрушечным цирковым фургоном, цветными карандашами, где я слушал стук дождя по стеклу и где папа наклонялся ко мне и говорил: «Смотри, что принес папа», — я ушел оттуда и очутился в этой

комнате, где стоял, прислонясь к стене, с сигаретой в зубах Джек Берден. И никто не предлагал ему шоколадки.

И вот, взглянув на лицо старика, я ответил на его брюзгливый вопрос:

— Так, ничего.

Я сказал правду. То, что было раньше, теперь было ничем. Ибо того, что было, нет, и того, что есть, не будет, и пена, такая солнечно-белая на гребнях волн, разрываемых ветром, остается после отлива на твердом песке и похожа на хлопья в раковине, где мыли посуду.

Но что-то все-таки было: пена на твердом песке. И я сказал:

— Нет, подожди.

— Ну что?

— Расскажи мне про судью Ирвина.

Он выпрямился, стал ко мне лицом, мигая линиялыми глазами из-за очков — так же, как мигал, войдя с улицы в темный мексиканский ресторанчик.

— Про судью Ирвина, — повторил я, — помнишь, твой закадычный товарищ.

— То было другое время, — прокаркал он, глядя на меня и держа в руке разломанную шоколадку.

— Конечно, — сказал я и, глядя на него, подумал: «Будь я проклят, если не другое». И сказал: — Конечно, но ты ведь помнишь.

– Я похоронил то время, – сказал он.

– Да, но ты-то жив.

– Тот грешник, которым я был, искавший суеты и порока, умер. Если я грешу теперь, то по слабости, а не по умыслу. Я отвратился от мерзости.

– Слушай, – сказал я. – Это очень простой вопрос. Всего один вопрос.

– Я похоронил то время, – сказал он, отталкивая воздух ладонями.

– Только один вопрос, – настаивал я.

Он смотрел на меня молча.

– Слушай, – сказал я, – судья Ирвин когда-нибудь разорялся? Было так, что он нуждался в деньгах?

Сильно нуждался?

Он смотрел на меня откуда-то издалека, из-за миски с супом на полу, из-за шоколадки в руке, сквозь время. Потом он спросил:

– Зачем, зачем тебе это знать?

– Честно говоря, – вырвалось у меня против воли, – это не мне нужно. Одному человеку, который платит мне деньги первого числа каждого месяца. Губернатору Старку.

– Мерзость, – сказал он, глядя из-за чего-то, что лежало между нами, – мерзость.

– Разорялся когда-нибудь Ирвин?

– Мерзость, – заключил он.

– Слушай, – сказал я, – я не

считаю, что губернатор Старк занят только богоугодными делами – если к этому относится бормотание насчет мерзости, – но хоть раз ты задумался о том, в какой кабак превратили штат твои чистоплюи-друзья вроде Стентона и Ирвина, с их цилиндрами, цитатами из Горация и хождением в церковь? Хозяин хоть что-то делает, а они... они тут просиживали штаны, они...

– Все мерзость! – воскликнул он, исступленно взмахнув рукой, в которой была стиснута, почти раздавлена шоколадка. Часть шоколадки упала на пол. Питомец подобрал ее.

– Если ты хочешь этим сказать, –

ответил я, — что политика, включая политику твоих бывших друзей, не похожа на пасхальную неделю в женском монастыре, ты прав. Но на этот раз у нас с тобой будет метафизическая ничья. Политика — это действие, а всякое действие — лишь изъян в совершенстве бездействия, которое есть покой, точно так же как всякое бытие — лишь изъян в совершенстве небытия. Которое есть Бог. Ибо если Бог — это совершенство, а единственное совершенство это небытие, то Бог есть небытие. Значит, Бог — ничто. А Ничто не может служить основанием для критики вещи в ее вещности. Кто же дал тебе право так говорить? Как

ты из этого выкрутишься?

– Глупость, глупость, – сказал он, – глупость и мерзость.

– Пожалуй, ты прав, – сказал я. – Это глупость. Но не более глупая, чем все разговоры такого сорта. Слова, слова.

– Ты говоришь мерзости.

– Нет, просто слова, – сказал я, – а слова все одинаковы.

– С Богом не шутят, – сказал он, и я увидел, что голова у него трясется.

Я быстро шагнул к нему и стал вплотную.

– Ирвин был разорен?

Он как будто хотел ответить, шевельнул губами. Потом они

сжались.

— Был или нет? — не отступался я.

— Никогда больше не прикоснусь я к миру мерзости, — сказал он, твердо глядя на меня снизу вверх, — дабы смрад его не остался на руке моей.

Мне захотелось схватить старика и встряхнуть так, чтобы застучали зубы. Мне захотелось вытрясти из него ответ. Но стариков нельзя хватать и трясти. Я повел все дело неправильно. Надо было подготовить его постепенно, взять его хитростью. Надо было к нему подольститься. Но каждая встреча с ним так меня взвинчивала и так

раздражала, что я только об одном думал: как бы поскорее уйти. А оставив его, я чувствовал себя еще хуже, пока не удавалось выкинуть его из головы. Словом, я дал маху.

Вот и все, что я узнал. Выходя, я оглянулся и увидел, что питомец уже покончил с упавшей шоколадкой и задумчиво водит рукою по полу, собирая крошки. Старик снова наклонился к нему, медленно, с усилием.

Спускаясь по лестнице, я подумал, что если бы и попытался обвести старика, то едва ли бы что-нибудь узнал. Не в том дело, что я повел себя неправильно. Не в том дело, что я проболтался о Старке.

Что ему до Старка, что он о нем знает? Все дело в том, что я спросил его о прошлом, о мире, из которого он ушел. «Тот мир и весь мир — мерзость», — сказал он, и он не хочет к нему прикасаться. Он не хотел разговаривать о прошлом, и заставить его я не мог.

Но кое-что я выяснил. Я был уверен, что старик когда-то что-то знал. Значит, было что знать. И я это узнаю. Рано или поздно. И вот, оставив Ученого Прокурора и мир прошлого, я вернулся в мир настоящего.

Где:

Овальное поле с геометрической сеткой белых линий, расчертивших

дерн, зеленеет, как купорос, под лучами прожекторов, установленных высоко на парапете массивных трибун. Над полем — разбухший, пульсирующий клубок света, лохматый и редющий по краям, за которыми — душная темнота; но тридцать тысяч пар глаз, повисших над внутренними скатами каменной чаши, смотрят не в темноту, а на средоточие света, где люди в красных шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах сшибаются с людьми в голубых шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах и разлетаются брызгами, валятся на яркий купоросно-зеленый дерн, как куклы, и леденящий свисток

рассекает ватный воздух, как ятаган подушку.

Где:

Гвалт оркестра, рев, как в море, вопли, как в муках, тишина, потом женский крик, тонкий и серебряный, рассыпающийся в тишине, как крик погибшей души, и снова рев, от которого приподнимается жаркий воздух. Потому что из спутанного блестящего клубка на зелени вырвался красный осколок, вылетел по касательной и, вертясь, понесся, покатился по земле, почти неподвижный в этом миге застывшего времени, под страшным грузом ответственности, обрушенной людским ревом.

Где:

Человек колотит меня по спине и орет – человек с тяжелым лицом и жестким темным чубом на лбу, – орет: «Это мой сын! Это Том, Том, Том! Это он, он выиграл, они не успеют отыграться – он выиграл – первую игру в университете – он выиграл – Том, мой мальчик!»

Человек колотит меня по спине и стискивает в могучих объятиях, он обнимает меня, как брата, как любимую, как сына, и в глазах у него слезы, пот и слезы текут по мясистым щекам, и он вопит: «Это мой сын – другого такого нет – он будет в сборной Америки – Люси хочет, чтоб я ему запретил – жена

хочет, чтобы он перестал играть — говорит, это губит его — губит его — ни черта, он будет в сборной Америки — ты видишь — быстрый — быстрый — быстрый сукин сын! Ты видишь, видишь?»

— Да, — сказал я, и это было правдой.

Он был быстрый, и он был сукин сын. По крайней мере если он и не был еще сукиным сыном, то продемонстрировал хорошие задатки в этой области. Трудно было винить Люси за то, что она восставала против футбола: его имя — на всех спортивных страницах газет — фотографии — Чудо первокурсников — Молния второкурсников —

приветствия – большие жирные руки, вечно хлопающие по плечу – рука Крошки Дафи – да, Хозяин, у него папашина закваска – придорожные кабаки – тонконогие, тугогрудые девочки, взвизги: «Ах, Том, ох, Том!» – бутылки – охотничьи домики – рев толпы, и обязательно – женский крик, рассыпающийся во внезапной тишине, как проклятье.

Но Люси была бессильна. Потому что его ожидала сборная Америки. Любая команда возьмет его куотербеком. Если бутылка и постель не расстроят прежде времени этот точный, как часы, и четкий, как курок, взрывчатый восьмидесятикилограммовый

механизм, которым был сын Хозяина, Молния второкурсников. Папина радость, Том Старк. В тот вечер он стоял посреди гостиничного номера с полоской пластыря на носу и самоуверенной улыбкой на чистом, красивом мальчишеском лице – а оно было и чистым, и красивым, и мальчишеским, – и руки папиных друзей хватали его и колотили его по плечам, Крошка Дафи хлопал его по плечу, Сэди Берк, а сидевшая несколько в стороне от взволнованной группы, в своем персональном облаке табачного дыма и спиртных паров, с недвусмысленным выражением на рябом, ярком лице, сказала:

– Верно, Том, кто-то мне говорил, что ты сегодня играл в футбол.

Но Том Старк едва ли мог услышать и оценить ее иронию – он был окружен своим собственным, золотым облаком того, что он – Том Старк, который играл сегодня в футбол.

Наконец Хозяин сказал:

– А теперь иди спать, сынок. Тебе надо выспаться. Отдохни, чтобы накидать им как следует в будущую субботу. – Он положил руку на плечо Тому и сказал: – Мы очень гордимся тобой, мальчик.

А я сказал себе: «Если его глаза опять подернутся влагой, меня

вырвет».

— Ложись спать, сынок, — сказал Хозяин.

Том Старк процедил: «Ага» — и пошел к двери.

Меня окружал мир настоящего.

Но было еще и прошлое. Был вопрос. Была дохлая киска, закопанная в куче золы.

Поэтому немного погодя я стоял перед большим окном-фонарем и смотрел туда, где с жестяных листьев магнолий соскальзывали последние отблески дневного света и в сгущавшихся сумерках тускнела пена прибоя. За спиной у меня была комната, немногим отличавшаяся от той длинной белой комнаты у моря,

где, может быть, в эту самую минуту
моя мать подносила
помадочноволосому Молодому
Администратору свое лицо, как
дьявольски дорогой подарок, при
виде которого было бы дьявольски
неразумно сдерживать свое
восхищение. Здесь же, в комнате,
едва освещенной огарком свечи на
каминной доске, мебель была
закутана в саваны и дедушкины часы
в углу безмолвствовали так же
непоправимо, как сам дедушка. Но я
знал, что если обернусь, то, кроме
погребальных чехлов и тишины
остановившегося времени, здесь
будет женщина, которая стоит на
коленях перед холодной черной

дырой камина и засовывает под поленья сосновые шишки и щепки. Она сказала мне: «Нет, дай я сама. Ведь это мой дом, понимаешь, я сама должна растопить камин, когда возвращаюсь. Понимаешь – ритуал. Я сама хочу. Адам мне всегда разрешает. Когда мы приезжаем вместе».

Эта женщина была Анной Стентон, а дом – домом губернатора Стентона, чье лицо, мраморно-невозмутимое над квадратной черной бородой и черным фраком, смотрело при свете огарка из золотой массивной рамы вниз, на камин, где, словно у его ног, сидела его дочь и чиркала спичкой. Я знал

эту комнату с тех времен, когда губернатор был не мраморным ликом в массивной золотой раме, а высоким мужчиной и сам сидел у камина, осторожно перебирая рукой распущенные шелковистые волосы маленькой девочки, которая смотрела в огонь, прислонясь головой к его колену. А сейчас я был здесь потому, что Анна Стентон — уже не маленькая девочка — сказала: «Приезжай в Берденс-Лендинг, мы собираемся туда в субботу вечером на воскресенье — просто затопить камин, перекусить какими-нибудь консервами и переночевать под старой крышей. У Адама всего полтора дня свободных. А теперь это

редко бывает». И я приехал вместе со своим вопросом.

Я услышал, как чиркнула спичка, и отвернулся от окна, за которым было темное море. Смолистые щепки занялись, огонь запрыгал по ним, выплевывая маленькие звездочки, теплый свет заплясал сначала на лбу Анны, а потом, когда я подошел к камину и она, не вставая, повернулась ко мне, — на ее щеке и шее. Глаза ее заблестели, как у ребенка, которому сделали сюрприз, и она вдруг рассмеялась гортанным звенящим смехом. Так смеются женщины от счастья. Они никогда не смеются так из вежливости или над шуткой.

Женщина смеется так всего несколько раз в жизни. Она смеется так только тогда, когда что-то затронет самые глубины ее души, и счастье, выплеснувшееся наружу, так же естественно, как дыхание, как первые нарциссы или горный ручей. Когда женщина так смеется, что-то происходит и с вами. И неважно, какое у нее лицо. Вы слышите этот смех и чувствуете, что постигли какую-то чистую и прекрасную истину. Чувствуете потому, что этот смех — откровение. Это — великая, не обращенная ни к кому искренность. Это — свежий цветок на побеге, отходящем от ствола Всебытия, и имя женщины, ее адрес ни черта тут не

значат. Вот почему такой смех нельзя подделывать. Если бы женщина научилась подделывать этот смех, то рядом с ней Нелл Гвин^[30] и мадам Помпадур были бы парой туристок-кашеварок в бифокальных очках, бутсах и с шинами на челюстях. Из-за нее передрался бы весь свет. Ибо единственное, чего, в сущности, хочет мужчина, — это услышать такой вот смех.

Анна обернулась ко мне, подставив щеку свету камина, и, блестя глазами, рассмеялась. Я тоже рассмеялся, глядя на нее сверху. Она протянула мне руку, чтобы я помог ей встать, поднялась легко и ловко — господи, до чего я ненавижу

женщин, которые, вставая, собирают себя по частям, — и слегка качнулась, выпрямившись во весь рост. Она стояла очень близко ко мне, все еще смеясь, и ее смех отзывался эхом у меня внутри; я держал ее за руку так, как держал давным-давно, пятнадцать лет назад, двадцать лет назад, когда помогал ей встать и ловил ее откачнувшуюся талию, чувствуя, как она подается под моей рукой. Так было раньше. Теперь я тоже наклонился к ней, глядя на ее смеющееся лицо, и ее голова немного запрокинулась, как запрокидывается голова девушки, когда она знает, что сейчас вы ее обнимете, и не имеет ничего против.

Но вдруг ее смех оборвался. Словно кто-то опустил штору перед ее лицом. Я почувствовал себя так, как бывает, когда, проходя по темной улице, ты заглянешь в освещенное окно — там, в комнате, люди разговаривают, поют, смеются, по ним пробегают волнами отсветы камина, и сюда, на улицу, доносятся звуки музыки; а потом рука — ты никогда не узнаешь, чья она, — опускает штору. И ты остаешься один, снаружи.

И я остался один снаружи.

Может, мне все равно надо было это сделать — обнять ее. Но я не обнял. Да, она обернулась ко мне и засмеялась. Но не мне. Она была

счастлива оттого, что вернулась в комнату, где еще сохранилось прошлое, частью которого я был когда-то, но перестал быть, и сидела возле камина, ощущая на лице его тепло, как ладонь.

Этот смех предназначался не мне. Поэтому я отпустил ее руку, сделал шаг назад и спросил:

— Судья Ирвин когда-нибудь разорялся? По-настоящему?

Я спросил ее внезапно и резко, потому что, если вопрос ваш внезапен и резок, как гром среди ясного неба, вам, может быть, удастся получить ответ, которого вы никак иначе не получите. Если человек, которого вы спрашиваете,

все забыл, то внезапный и резкий вопрос может пришпорить его память, вырвать ответ из трясины забвения, а если человек помнит, но не хочет вам рассказать, то внезапный и резкий вопрос может поймать его врасплох, и он ответит, не успев подумать.

Но ничего не вышло. Либо она не знала, либо ее нельзя было застать врасплох. Мне следовало бы раньше догадаться, что такой человек, как она, — человек с глубокой внутренней уверенностью в себе, проистекающей из того, что он сделан целиком из одного куска, а не составлен из лоскутов, обрывков и старых шестеренок, скрепленных

ржавой колючей проволокой, бечевками и слюнями, как большинство из нас, — мне следовало бы догадаться, что такого человека нельзя застать врасплох и вырвать ответ против его воли. Это — если она знала ответ. Но может, она и не знала.

Она удивилась.

— Что? — спросила она.

Я повторил.

Она отвернулась, подошла к кушетке, села, зажгла сигарету и спокойно на меня посмотрела.

— Почему тебя это интересует? — спросила она.

Глядя ей в глаза, я ответил:

— Это не меня интересует.

Одного моего друга. Он мой лучший друг. Он платит мне по первым числам.

— Джек! — воскликнула она и, швырнув только что зажженную сигарету в камин, встала с кушетки. — Почему тебе надо все портить! Только-только мы вспомнили прошлое. А ты все портишь. У нас...

— У нас? — сказал я.

— ...тогда что-то было, а ты хочешь все испортить, помогаешь ему все испортить — этому человеку — он...

— У нас? — переспросил я.

— ...задумал что-то плохое...

— У нас! — сказал я. — Если у нас было такое замечательно прекрасное

прошлое, почему ты не вышла за меня замуж?

— При чем тут это? Я говорю тебе...

— Да, ты мне говоришь, что у нас было замечательное и прекрасное прошлое, а я тебе говорю: если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда, черт подери, взялось это совсем не замечательное и не прекрасное настоящее — откуда, если этого незамечательного и непрекрасного не было у нас в прошлом? Объясни мне.

— Не надо, — сказала она, — не надо, Джек.

— Нет, ты объясни. Ведь не скажешь же ты, что у нас

замечательное и прекрасное настоящее? Это настоящее вышло из прошлого, и теперь тебе почти тридцать пять лет, и ты вырываешься сюда, как на праздник, чтобы посидеть среди этой пыльной, зашитой в тряпки мебели, в доме с отрезанными проводами, а Адам — о, у него тоже чертовски прекрасная жизнь — кромсает людей с утра до ночи, пока не свалится с ног, и внутри весь завязан узлами, а...

— Оставь Адама в покое, — сказала она и выбросила руки ладонями вперед, будто отталкивая меня, хотя до меня было больше пяти шагов, — он хоть что-то делает, хоть что-то...

— ...а Ирвин играет там своими игрушками, а моя мать с этим Теодором, а я...

— Да, ты, — сказала она, — ты.

— Ладно, — сказал я. — Я.

— Да, ты. С этим человеком.

— Этим человеком, этим человеком, — передразнил я, — все здешние так его называют, разные Патоны, люди, которых поперли с теплых местечек. А ведь он тоже кое-что делает. Делает не меньше Адама. Больше. Он строит медицинский центр, где будет лечиться весь штат. Он...

— Знаю, — сказала она устало, не глядя на меня, и опустилась на кушетку, тоже накрытую чехлом.

— Знаешь, но тоже говоришь о нем свысока, как все прочие. Ты такая же, как они.

— Ладно, — сказала она, по-прежнему не глядя на меня. — Свысока. Так свысока, что я на прошлой неделе с ним завтракала.

Ну, если бы дедушкины часы в углу не стояли, тут бы они стали наверняка. Лично я стоял как в столбняке. Я слышал, как гудит огонь в камине, обгладывая дрова. Потом прекратилось и гудение и не было вообще ничего.

Потом я сказал: «Господи Иисусе». И тишина впитала мои слова, как промокательная бумага.

— Ладно, — сказала она. —

Господи Иисусе.

— Ну и ну, — сказал я, — представляю себе, как подскочил бы редактор светского отдела «Кроникл», увидев дочь губернатора Стентона за завтраком с губернатором Старком. А платье, моя дорогая, в каком вы были платье? А цветы? Вы пили шампань-коктейли? А...

— Я пила кока-колу и ела бутерброд с сыром. В закусочной, в нижнем этаже Капитолия.

— Простите за любопытство, но...

— Ты хочешь спросить, как я туда попала? Скажу. Я пришла к губернатору Старку, чтобы добиться

денег для детского дома. И я...

— Адам знает? — спросил я.

— ...и я их получу. Я должна составить подробную докладную записку и...

— Адам знает?

— Какая разница, знает Адам или нет, — и принести эту записку...

— Представляю себе, что скажет Адам, — угрюмо заметил я.

— Я сама как-нибудь справлюсь со своими делами, — сказала она с легкой досадой.

— Вон что, — сказал я и заметил, что щеки ее слегка порозовели. — А я думал, что вы с Адамом всегда так. — И, подняв правую руку, я сложил вместе указательный и средний

пальцы.

— Да, так, — ответила она, — но меня не интересует, что...

— А что сказал бы об этом он, — я ткнул большим пальцем в сторону величественного, мраморно-невозмутимого лица, смотревшего из массивной золотой рамы, — тебя тоже не интересует?

— Джек, — сказала она и раздраженно, что было на нее непохоже, вскочила с кушетки. — Зачем ты это говоришь? Ты что, не понимаешь? Я добиваюсь денег для детского дома. Это деловая встреча. Чисто деловая. — Она вздернула подбородок с таким видом, будто вопрос исчерпан; но это еще больше

меня взбудоражило.

— Слушай, — сказал я и почувствовал, что начинаю злиться, — дело делом, а тебе это будет стоить репутации, если заметят, что ты шляешься с...

— Шляешься, шляешься! — воскликнула она. — Не будь дураком. Я с ним завтракала. По делу.

— По делу или без дела, ты рискуешь своей репутацией, а...

— Репутацией! — сказала она. — Я достаточно взрослая и как-нибудь сама позабочусь о своей репутации. Ты только что сказал, что я почти старуха.

— Я сказал, что тебе почти тридцать пять, — уточнил я.

— Джек, — сказала она, — тридцать пять, а я ничего не сделала. И не делаю. Ничего стоящего не делаю. — Она замолчала и рассеянно поправила волосы. — Ничего. Я не могу без конца играть в бридж. А те мелочи, которыми я занимаюсь, — детский дом, спортплощадка...

— Кто-то ведь должен поставлять материал для светской хроники, — сказал я. Но она пропустила это мимо ушей.

— ...этого недостаточно. Почему я ничем не занялась, не выучилась чему-нибудь? Хоть на врача, на медсестру? Я могла бы стать ассистенткой Адама. Могла бы заниматься декоративным

садоводством. Могла бы...

— Ты могла бы делать абажуры, — сказал я.

— Хотя что-нибудь, все равно что.

— Ты могла бы выйти замуж, — сказал я. — Ты могла бы выйти замуж за меня.

— Нет, я имею в виду не просто выйти замуж, я...

— Сама не знаешь, что ты имеешь в виду, — сказал я.

— Ах, Джек, — сказала она и, взяв мою руку, прижалась к ней, — наверно, ты прав. Сама не знаю, что сегодня со мной творится. Иногда я приезжаю сюда и чувствую себя так хорошо, я бываю просто счастлива,

НО ПОТОМ...

Больше она об этом не говорила. Теперь голова ее лежала на моей груди, я успокоительно похлопывал ее по плечу, а она убеждала меня, что я должен быть ее другом, и я говорил «конечно», вдыхая между делом запах ее волос. Они пахли по-прежнему, как у маленькой девочки, которую ведут в гости, — свежим, хорошо промытым запахом. Но никаких гостей сегодня не было в помине. И не было клубничного мороженого и шоколадного торта, игрушечных дудок и игры, где ты должен был петь про Вильяма, сына короля Якова, а потом становиться перед кем-то, как лист перед травой,

на этот самый коврик и отвечать, кого ты любишь больше всех.

Минуту или две она стояла, прижав голову к моей груди. Если бы в доме было светлее, вы без труда различили бы просвет между ней и ее другом, и друг терапевтически и бескорыстно похлопывал ее по плечу. Потом она отошла от него и стала у камина, глядя в огонь, который уже окончательно разгорелся и создавал в комнате, как говорится, теплую атмосферу.

Потом входная дверь распахнулась, в комнату, словно большая отряхивающаяся собака, влетел ветер с холодного моря, и огонь взвился в камине. В теплую

атмосферу вернулся Адам Стентон. Он был нагружен пакетами, потому что ездил в город за провизией.

— Привет, — сказал он из-за пакетов и улыбнулся длинным, тонким, твердым ртом, похожим на чистый, хорошо залеченный хирургический надрез, но неузнаваемо изменявшемся при улыбке, которая удивляла вас и согревала.

— Слушай, — проговорил я быстро, — хоть раз на твоей памяти судья Ирвин разорялся? Вчистую?

— А? Нет, не знаю... — начал он, и лицо его затуманилось.

Анна круто повернулась к нему, потом ко мне. Мне показалось, будто

она хочет что-то сказать. Но она молчала.

– Ну как же, – сказал Адам, все еще обнимая свои пакеты.

На этот раз у меня клюнуло.

– Как же, – повторил он с довольным и веселым видом, какой бывает у людей, вспомнивших давно забытый факт из прошлого, – сейчас, дай вспомнить... я был мальчишкой... году в тринадцатом или четырнадцатом... я помню, отец говорил что-то дяде Джону, он забыл, что я тут же, в комнате... и судья там был, и они с отцом... мне показалось, что они ссорятся, они разговаривали так громко... что-то насчет денег.

– Спасибо, – сказал я.

– Не за что, – ответил он с несколько озадаченной улыбкой и подошел к кушетке, чтобы сбросить пакеты на мягкое.

– Так, – сказала Анна, глядя на меня, – ты хотя бы приличия ради объяснил ему, зачем тебе это нужно.

– Конечно, – ответил я. И повернулся к Адаму: – Мне надо выяснить это для губернатора Старка.

– Политика, – сказал он, и рот его захлопнулся, как капкан.

– Да, политика, – сказала Анна, улыбнувшись довольно хмуро.

– Ну мне, слава богу, не приходится иметь с ней дело, –

сказал Адам. — По крайней мере теперь. — Но тон его был какой-то легкомысленный. Что меня удивило. Потом он добавил: — А на кой черт Старку знать, разорялся ли судья Ирвин? Больше двадцати лет прошло. И никакие законы не запрещают человеку разоряться. На кой ему черт?

— Да, на кой ему черт? — сказала Анна и посмотрела на меня все с той же хмурой улыбкой.

— А ты что тут делаешь? — смеясь, спросил Адам, схватив ее за руку. — Ты тут стоишь и прохлаждаешься, а кто еду будет готовить? А ну, давай, кислая рожица, живее! — Он подтолкнул ее к

кушетке, где были свалены пакеты.

Она наклонилась, чтобы собрать их, а он шлепнул ее по заду и сказал: «Живее!» И расхохотался. Анна тоже расхохоталась от души, и все было забыто, потому что Адам не часто оттаивал и смеялся, но, когда на него находило, он становился человеком легким и жизнерадостным, и мы знали, что вам будет весело.

Нам было весело. Пока Анна готовила, а я накрывал на стол и ставил бутылки, Адам сорвал простыню с рояля (они держали его настроенным, рояль и сейчас был неплох) и начал наяривать так, что дом заходил ходуном. Он даже выпил до обеда три порции виски вместо

одной. Потом мы поели, и он опять стал играть – «В Пикардии розы цветут», «В три часа ночи» и тому подобное, а мы с Анной танцевали; иногда он начинал играть что-нибудь сентиментальное – тогда Анна напевала мне на ухо, и мы раскачивались тихо и плавно, как топольки на ветру. Потом он вскочил из-за рояля и, насвистывая «Прекрасную леди», выхватил сестру из моих рук и закружил в медвежьем залихватском вальсе. Она перегнулась на его руке, откинув голову, томно прикрыв глаза и придерживая оттопыренными пальчиками развевающуюся юбку.

Адам танцевал хорошо, даже

когда паясничал. Это было врожденное, потому что он уже давно не практиковался. Да и раньше не взял всего, что ему полагалось. Ни в чем, кроме работы. А стоило ему захотеть, они бы сами ползли к нему и набивались. И только раз в пять лет, не чаще, на него нападала бешеная, безудержная веселость, словно прорвавший дамбу поток, который с корнем выворачивает кусты и деревья — а кустами и деревьями были вы. Вы и все окружающие. Глаза его загорались, и он размахивал руками, не в силах обуздать энергию, вырвавшуюся из его нутра. Вам приходила на ум огромная турбина или

динамомашина, раскрученная до миллиона оборотов в минуту, содрогающаяся от собственной мощи, готовая сорваться с фундамента. Размахивая своими сильными длинными гибкими руками, он преображался в какую-то помесь Свенгали^[31] с машиной для расщепления атомов. Вот-вот посыплются синие искры. Тут уж они ни ползти не могли, ни набиваться. Тут они падали кверху лапками. Только и это не помогало. Но Адам редко бывал таким. И недолго. Он остывал и скоро опять замыкался.

В тот вечер он не бушевал. Он просто улыбался, хохотал, острил,

колотил по клавишам и кружил в залихватском вальсе сестру. В камине прыгал огонь, на нас из массивной золотой рамы глядело благородное лицо, с моря дул ветер, и в темноте позвякивали листья магнолий.

Конечно, в комнате, за музыкой и потрескиванием камина мы не могли расслышать тихий шум листьев на ветру. Только позже, лежа наверху в темноте, я услышал через окно это слабое сухое позвякивание и подумал: «Мы были счастливы сегодня потому, что мы были счастливы, или потому, что были счастливы когда-то, давным-давно? Не похоже ли наше нынешнее счастье

на свет луны, которая холодна и светит не своим светом, а чужим, пришедшим издалека?» Я поворачивал эту мысль и так и эдак, пытаюсь сделать из нее маленькую складную метафору, но метафоры не получалось, ибо ты должен быть и холодной, мертвой, бездомной луной и вместе с тем, в далеком прошлом, солнцем – а как ты ухитришься быть и тем и другим? Это несовместимо. Метафора была нескладной. «Черт с ней», – подумал я, прислушиваясь к шуму листьев.

Потом подумал: «Ладно, теперь я по крайней мере знаю, что Ирвин был разорен».

До этого я уже докопался, и

назавтра мне предстояло оставить Берденс-Лендинг и прошлое и вернуться к настоящему. Я и вернулся к настоящему.

Где:

Крошка Дафи сидел в большом мягком кресле, растекаясь большими мягкими ляжками по коже и большим мягким брюхом — по большим мягким ляжкам, изо рта его небрежно, наискось торчал длинный мундштук с зажженной сигаретой (мундштук был последним новшеством, позаимствованным у одного джентльмена — наиболее выдающегося члена партии, служению которой посвятил себя Дафи), его большое мягкое лицо

растекалось по воротнику, а на пальце сидел бриллиант величиной с грецкий орех — и вся эта неправдоподобная комбинация была Крошкой Дафи, который, видимо, сверялся с карикатурами из «Харперс уикли» 90-х годов на предмет того, как должен выглядеть, вести себя и одеваться преуспевающий политик.

Где:

Крошка Дафи говорил:

— Господи, Хозяин хочет ухлопать шесть миллионов на больницу — шесть миллионов! — И, откинувшись в кресле, окутанный голубым табачным дымом, глядел на кессоны потолка и мечтательно шептал: — Шесть миллионов.

А Сэди Берк отвечала:

— Да, шесть миллионов, и вам из них ни цента не удастся захватать.

— Я мог бы устроить для него контракт в Четвертом округе, где до сих пор хозяйничает Макмерфи. Он и Гумми Ларсон. Но если отдать подряд Ларсону...

— Он продаст Макмерфи. Верно?

— Ну зачем же — я бы выразил это по-другому. Гумми урезонил бы Макмерфи, скажем так.

— И вам бы кое-что от него перепало. Верно?

— Я не о себе говорю. Я говорю о Гумми. Гумми обработал бы его для Хозяина.

— Хозяин справится с этим

делом без помощников. Придет пора, он сам обработает Макмерфи, раз и навсегда. Господи, Крошка, вы столько лет знакомы с Хозяином и не смогли его изучить. Вы же знаете, ему удобнее расправиться с человеком, а не покупать его. Правильно, Джек?

– Почем я знаю, – сказал я. Но я знал.

По крайней мере знал, что Хозяин намерен расправиться с человеком по фамилии Ирвин. И раскопки доверены мне. И я возобновил раскопки.

Но на следующий день, прежде чем я приступил к работе, позвонила Анна Стентон.

– Умник, – сказала она, – ты думал – ах, какой ты умник!

Я услышал далекий смех на том конце провода, потом в трубке зажужжало, и я представил себе ее смеющееся лицо.

– Умник! Ты узнал у Адама, что судья Ирвин когда-то был разорен, но я тоже кое-что узнала!

– Да? – сказал я.

– Да, умник! Я пошла в гости к старой тете Матильде, которая все знает, что с кем было за последние сто лет. Я только завела разговор про судью, и она тут же начала рассказывать. С ней заговорить о чем-то – все равно что бросить монетку в музыкальный ящик. Да,

судья Ирвин тогда разорился – или почти разорился, – но ты все равно в дураках, Джеки, все равно, умник! Вместе с твоим Хозяином! – И снова из черной трубки у меня в руке слышался далекий смех.

– Да? – сказал я.

– Он женился тогда! – сказала она.

– Кто? – спросил я.

– О ком мы говорим, умник?

Судья Ирвин, вот кто.

– Конечно, женился. Всем известно, что он был женат, но при чем тут...

– Он женился на деньгах. Это говорит тетя Матильда, а она все знает. Он разорился и женился на

деньгах. Заруби это себе на носу, умник!

— Спасибо, — сказал я, но на полуслове услышал щелчок — она повесила трубку.

Я закурил, развалился в кресле и закинул ноги на стол. Конечно, всем известно, что судья был женат. Более того, он был женат дважды. Первую жену, на которой он женился, когда я был маленьким, сбросила лошадь, и она провела остаток своих дней в кровати, глядя в потолок или, если чувствовала себя получше, — в окно. Она умерла, когда я был ребенком, и я ее почти не помнил. Но его вторую жену тоже почти забыли. Она была нездешняя — я попытался вспомнить,

как она выглядела. Я видел ее несколько раз, что верно, то верно. Но мальчишка пятнадцати лет или около того редко обращает внимание на взрослых женщин. Я вызвал в памяти облик женщины, темной, худой, с большими черными глазами, в длинном белом платье, с белым зонтиком. Возможно, это был совсем не ее облик. Возможно, совсем не эта женщина вышла замуж за судью Ирвина и, приехав в Берденс-Лендинг, принимала любопытных улыбающихся дам в длинном белом доме судьи и, двигаясь по проходу в церкви св. Матфея перед началом службы, ощущала на себе их взгляды во внезапной тишине и за спиной —

взрывы свистящего шепота, а потом заболела и так долго жила на втором этаже с сиделкой-негритянкой, что люди забыли о самом ее существовании и вспомнили с удивлением только на ее похоронах. А после похорон уже ничто не напоминало о ней, ибо тело отправилось назад, туда, откуда она приехала, и даже имени ее не осталось на кладбище у церкви св. Матфея, где у Ирвинов было свое место под дубами, а печальные гирлянды мха висели на сучьях, словно в преддверии празднества теней.

Судье не везло с женами, и люди его жалели. Обе долго болели и

умерли у него на руках. Ему очень сочувствовали.

Но оказывается, его вторая жена была богата. Это объясняло, почему лицо, которое я вызвал в памяти, было не красивым, не таким, какое подобало бы жене Ирвина, а желтоватым, худым, не молодым даже, с одним только достоинством — большими черными глазами.

Итак, она была богата, а это опрокидывало мою догадку, что в 1913 или 1914 году судья очутился без денег и пошел по скользкой дорожке. И это обрадовало Анну. Обрадовало потому, что Адам даже нечаянно не послужил Хозяину осведомителем. Ну что же, что

радует Анну, то радует и меня. Кроме того, ей, наверное, радостно сознавать, что судья невиновен. Ну что же, это и для меня радость. Единственное, чего я хочу, — это доказать его невиновность. Рано или поздно я смогу прийти к Хозяину и заявить: «Пустой номер, Хозяин. Он чист как стеклышко».

«Вот сукин сын», — скажет Хозяин. Но ему придется поверить мне на слово. Потому что он знает мою дотошность. Я очень дотошный и очень вышколенный историк. Лишь правду я ищу, не ведая ни жалости, ни гнева. А там хоть трава не расти. Словом, 1913 год в программе больше не значился. Это установила

Анна Стентон.

Или?

Когда вы ищете завешание, спрятанное в старом особняке, вы простукиваете пядь за пядью превосходные, красного дерева стенные панели, надежную кладку подвалов и ждете глухого звука. Услышав его, вы нажимаете потайную кнопку или суετε фомку. Я постучал и обнаружил полость. Судья Ирвин был разорен. Но нет, сказала Анна Стентон, там нет никакого тайника, там просто проходит вытяжка. И все же я постучал снова. Просто чтобы послушать глухой звук, пусть там всего-навсего вытяжка.

Я спросил себя: если человеку нужны деньги, где он их достает? Ответ был прост: он занимает. А если занимает, то под какое-нибудь обеспечение. А какое обеспечение мог предложить судья Ирвин? Скорее всего, свой дом в Берденс-Лендинге или свою плантацию на реке.

Если нужны были большие деньги, он заложил бы плантацию. Поэтому я сел в машину и отправился вверх по реке, в Мортонвил, центр округа Ла-Салль, изрядный кусок которого приходится на старую плантацию Ирвинов, где хлопок растет белый, как взбитые сливки, и счастливые негры поют круглый день, как Ал Джолсон.

В Мортонвиле в управлении округа я получил дело на плантацию Ирвина. Всю ее историю – от пожалования испанской короной в XVIII веке до нынешнего дня. И в 1907 году была запись: «Закладная, Монтегю Ирвин, Мортонвилскому коммерческому банку, 42000 долл., до 1 января 1910 года». В конце января 1910 г. была выплачена часть долга, 12000 долл., и закладная продлена. В середине 1912 г. выплачены проценты. В марте 1914 г. начато дело о лишении права выкупа. Но судью спас гонг. В начале мая была запись о полном погашении долга. Больше никаких записей в инвентарном деле не было.

Я снова стал простукивать и слышал глухой звук. Когда человек разорен, звук всегда глухой, как в склепе.

Но он женился на богатой невесте.

А была ли она богата? Никаких сведений об этом, кроме слов тети Матильды, у меня не было. И желтого лица миссис Ирвин. Я решил работать фомкой.

Я сопоставляю дату женитьбы с датами в инвентарном деле. Может быть, что-нибудь прояснится. Но что бы там ни выяснилось, фомку я всуну.

Я ничего не знал о миссис Ирвин — ни дня свадьбы, ни ее

имени, ни прежнего места жительства. Но это было просто. Час среди газетных подшивок в публичной библиотеке (опять в столице) – час работы со страницами светской хроники, ломкими, пожелтевшими за двадцать с лишним лет и поутратившими прежний налет беспечной пышности, – и я вышел на свет божий с раскисшим воротником и грязными руками, но в кармане у меня лежал конверт, на обороте которого было нацарапано: «Мейбл Карузерс, единств. дочь Ле Мойна Карузерса, Саванна, Джорджия. Вышла замуж 12 янв. 1914».

Эта дата мало о чем говорила. Правильно, дело о лишении права

выкупа заведено после свадьбы, но это еще не значит, что Мейбл была бедна: у судьи, может, ушел весь медовый месяц на то, чтобы подобраться к низменному вопросу о зелененьких. Судья не позволил бы себе нечуткости. Так что она вполне могла снести золотое яичко. Тем не менее вечером я ехал на поезде в Саванну.

Четверть века – малый срок в глазах Всевышнего, но попробуйте, не обладая его глазами, узнать что-либо о частной жизни человека, даже такого именитого, как Ле Мойн Карузерс, если человек этот мертв уже двадцать пять лет. Я не обладал глазами Всевышнего. Мне пришлось

допытываться и разнюхивать,
ворошить старые газеты и
устанавливать контакт с
разрушенным стариком, отставным
редактором, наслаждаться
обществом бывшего своего
знакомого, ныне местного гения
страхового дела, и водиться с его
друзьями. Я ел утку, фаршированную
устрицами и бататами, индийский
соус, который так чудесно готовят в
Саванне, что даже человеку вроде
меня, ненавидящему всякую еду, он
кажется вкусным; я пил ржаное
виски, гулял по прекрасным улицам,
проложенным генералом
Оглторпом [\[32\]](#), любовался
прекрасными строгими фасадами,

особенно строгими в это время года, когда деревья, смыкающиеся сводом над улицами, стоят без листьев и комья серого неба, принесенные ветром с Атлантики, тащатся над самой землей, цепляясь пузом за мачты и дымоходы, словно поросые свиньи по стерне.

Я видел дом Ле Мойна Карузерса. Старикан жил богато, ничего не скажешь. Он умер в 1904 году и, если судить по копии завещания, тоже богатым. Но за девять лет, с 1904 до 1913 многое могло случиться. Мейбл жила на широкую ногу. Так рассказывали. Но все говорили, что это было ей по средствам. И насколько я мог

выяснить, не было причин сомневаться, что ее нью-йоркский дядя-душеприказчик умело распоряжался ее ценными бумагами.

Придаться как будто бы не к чему. Но есть одна вещь, о которой никогда нельзя забывать: книга судебных решений, которая хранится в суде.

Я о ней не забыл. И нашел в ней имя Мейбл Карузерс. Людям было трудно получать с нее деньги. Но это ничего не доказывало. Многие богатые девушки настолько богаты, что не снисходят до оплаты счетов, пока их не притянут к суду. Но я заметил одну деталь. Этой дурной привычки у Мейбл не было до 1911

года. Другими словами, она охотно оплачивала счета первые семь лет после получения наследства. Далее, рассуждал я, если эта милая слабость объясняется темпераментом, а не нуждой, то почему она возникла так внезапно? А возникла она внезапно и оптом. Не то чтобы от нее страдал один бакалейщик. Их была целая компания, потому что Мейбл забывала уплатить и Ле Клерку из Нью-Йорка за бриллиантовый кулон, и портнихе, и местному виноторговцу за вполне отборный товар. Да, Мейбл жила на широкую ногу.

Последний иск был подан банком Сиборд по поводу ссуды в 750

долларов. Гроши для Мейбл. Теперь в Саванне не было банка Сиборд. Это я узнал из телефонной книги. Но в суде старик, сидевший на плетеном стуле, сказал мне, что году в двадцатом Сиборд был проглочен банком «Джорджия фиделити». В «Джорджия фиделити» мне сказали: да, в 1920 году. Кто был тогда председателем Сиборда? Одну минутку, они посмотрят. Вот – м-р Перси Пойндекстер. Он в Саванне? Ну, это они не могут сказать наверняка – ведь время идет так быстро. Но м-р Петис должен знать, м-р Чарльз Петис, его зять. О, не за что, сэр. Всегда рады помочь.

М-р Перси Пойндекстер

пребывал теперь не в Саванне и едва ли на этом свете, потому что после каждого выдоха вы ждали и ждали, пока это хрупкое сооружение из лучинок и прозрачного пергамента с филигранью синих вен соберет силы для очередного слова. М-р Пойндекстер полулежал в каталке, сложив прозрачные руки на вишневом шелковом халате, глядя бледно-голубыми глазами в метафизическую даль, и, отрабатывая каждый вдох и выдох, говорил: «Да, юноша, конечно, вы говорите неправду, но мне безразлично. Безразлично, зачем вы спрашиваете — теперь это не имеет значения — ни для кого — ведь все они

умерли — Ле Мойн Карузерс умер — он был моим другом — моим лучшим другом — но это было так давно, и я не помню даже его лица — и его дочь Мейбл — я делал для нее все, что мог, — даже после всех ее денежных неудач она могла бы жить прилично — даже в умеренной роскоши — но нет, она швыряла деньги, не считая, — я давал ей в банке большие ссуды — часть она вернула, когда я ее пристыдил, — по двум или трем векселям я заплатил сам — из уважения к памяти Ле Мойна — и послал ей погашенные векселя, чтобы пристыдить ее, образумить, но нет — нет, она забыла стыд и совесть, она приходила снова и смотрела на

меня своими большими глазами — они были большие, недобрые и горели как в лихорадке — и говорила, мне нужны деньги — и в конце концов я опротестовал один вексель — чтобы ее пристыдить — напугать — для ее же блага — потому что деньги текли как вода — она давала бал за балом, обед за обедом, как в лихорадке — наряжалась — она была дурнушка — хотела выйти замуж, но мужчины были с ней вежливы — и не более. Мужа она все-таки нашла — по слухам, богатого человека, откуда-то с Запада — он женился быстро и увез ее — она умерла, и тело привезли сюда — похороны — погода была плохая, почти никто не пришел —

даже из уважения к Ле Мойну – даже некоторые его друзья не пришли – умер двенадцать лет назад, они его забыли – люди забывают...»

Воздух вышел, и несколько долгих секунд казалось, что дыхание не возобновится. Но он опять вдохнул и сказал: «Но это – теперь не имеет – значения».

Я поблагодарил его, пожал руку, которая напоминала холодный воск и оставила холодок в моей ладони, вышел, сел в свою взятую напрокат машину, вернулся в город и выпил – не по случаю успеха, но чтобы растопить ледок в костях, выстуженных стариком, а не ветром.

Я выяснил, что Мейбл Карузерс

разорилась и вышла замуж за богатого человека с Запада. Вернее, из тех мест, которые зовутся «Западом» в Саванне. Какая ирония! Богатый человек с Запада сам женился на ней из-за денег. Веселые, наверно, были у них деньки, когда это выяснилось. Я уехал из Саванны на другой день, но не раньше, чем осмотрел фамильный склеп Карузерсов, где мох посягал на буквы славного имени и у ангела не хватало руки. Но это теперь не имело значения, потому что все Карузерсы находились внутри.

Я постучал – и звук был очень, очень глухой. Я всунул фомку глубже. В 1914 году судья расплатился по

закладной не деньгами жены. Чем же он занимался в 1914 году, чтобы достать деньги? Он обрабатывал плантацию и служил при губернаторе Стентоне генеральным прокурором штата. На хлопковой плантации не заработаешь в сезон 44000 долларов (а внес он именно такую сумму, потому что, как выяснилось, 12000 долларов, которые он выплатил в 1910 году, были получены под залог дома в Берденс-Лендинге, и теперь он рассчитался по обоим закладным сразу). А жалованье генерального прокурора составляло 3400 долларов в год. В южном штате вы не разбогатеете, сделавшись

генеральным прокурором. По крайней мере законом это не предусмотрено.

Но в марте 1915 года судья нашел хорошую работу, очень хорошую. Он ушел с поста генерального прокурора и стал адвокатом и вице-президентом компании «Америкэн электрик пауэр» с очень хорошей зарплатой, 20000 долларов в год. Действительно, почему бы им не нанять судью Ирвина — такого хорошего юриста? Но можно нанять сколько угодно хороших юристов за сумму гораздо меньшую, чем 20000 долларов в год. И деньгами, заработанными в 1915 году, нельзя расплатиться в 1914-м.

Стук мой по-прежнему отдавался глухо.

И я впервые в жизни пустился в биржевую игру. Одна обыкновенная акция компании «Америкэн электрик пауэр» — теперь, в разгар депрессии, они были дешевле грибов. Но кое-кому этот листок бумаги дорого обошелся. Многим людям.

Теперь я был держателем ценных бумаг, и я желал знать, как позаботится компания о моих капиталовложениях. Я воспользовался правом акционера. Я пошел и просмотрел учетные книги компании «Америкэн электрик пауэр». Буквально из пыли времен я

извлек любопытные факты: в мае 1914 года Монтегю М.Ирвин продал по номинальной стоимости пятьсот обыкновенных акций Уилберу Сатерфилду и Алексу Кантору, которые, как я установил позднее, были служащими компании. Это означало, что в мае у Ирвина не только хватило денег расплатиться по закладной, но и кое-что осталось. Но когда он приобрел эти акции? Выяснить было просто. В марте 1914-го компания была реорганизована и выпустила большой пакет новых акций. Пакет Ирвина был частью этого нового пакета. Одни люди подарили (или продали?) его Ирвину, а другие

купили его обратно. (Ирвин, наверно, локти себе кусал после продажи, потому что акции сразу поползли вверх и ползли довольно долго. Может, господа Сатерфилд и Кантор надули Ирвина? Старые сотрудники, они наверняка были в курсе всех дел. Но Ирвин должен был продавать, и спешно. Закладной лист не ждал.)

У Ирвина были акции, и он продал их господам Сатерфилду и Кантору. Прекрасно. Но как же он добыл эти акции? Может быть, ему подарили их за красивые глаза? Вряд ли. А за что люди дарят вам увесистую пачку новеньких красивых акций с золотыми печатями? Ответ прост: за то, что вы оказали им

любезность.

Значит, задача состояла в том, чтобы выяснить, оказал ли судья Ирвин — в то время генеральный прокурор — любезность компании «Америкэн электрик пауэр». И это потребовало серьезных раскопок. На дне же ямы не оказалось ничего. Ибо в то время, когда Ирвин занимал пост генерального прокурора, компания «Америкэн электрик пауэр» была образцовым членом общества. Она могла смотреть народу в глаза не краснея. В яме было пусто.

Хорошо, а чем ознаменовалось пребывание судьи Ирвина на посту генерального прокурора?

Как выяснилось, ничем особенным. Правда, один раз чуть было не получилось громкое дело. Из-за взыскания арендной платы с компании «Саудерн бель фьюил», которая разрабатывала на арендных началах угольные залежи штата. Иск сопровождался кое-каким шумом, кое-каким переполохом в законодательном собрании, разными передовицами и речами; но теперь все это было лишь тенью шепота. Может быть, я один в целом штате знал об этой истории. Разве что еще Ирвин знал, просыпался по ночам и лежал с открытыми глазами.

Речь шла об истолковании арендного договора между штатом и

компанией. Это был очень расплывчатый договор. Возможно, что так его и задумали. Так или иначе, согласно одному толкованию, компании надлежало выплатить 150000 долларов за истекший срок аренды и сколько-то там еще до конца действия договора. Но договор был очень расплывчатый. До того расплывчатый, что перед самым началом перестрелки генеральный прокурор решил: для иска оснований нет. «Мы сознаем, однако, — сказал он в своем публичном заявлении, — что люди, ответственные за этот контракт, заслуживают всяческого порицания, ибо, приняв условия, согласно которым штат должен был

отдать почти даром ценнейшее свое достояние, они проявили нетерпимую халатность в деле защиты общественных интересов. Но вместе с тем мы сознаем, что, поскольку контракт существует и допустимо лишь единственное разумное его истолкование, наш штат в своем желании способствовать развитию промышленности и частной инициативы не имеет иного выхода, как подчиниться этому соглашению, которое при всей его очевидной несправедливости скреплено законом. Даже в такой ситуации, как сейчас, мы не должны забывать, что сама справедливость обязана жизнью закону».

Это было напечатано в старой «Таймс кроникл» 26 февраля 1914 года — недели за две до того, как началось дело о лишении Ирвина права выкупа плантации. И примерно за три недели до реорганизации компании «Америкэн электрик», когда появились новые акции. Эта связь была связью во времени.

Но всякая ли связь есть связь во времени, и только во времени? Я ем хурму, а рот вяжет у медника в Тибете. Теория цветка в расселине стены [\[33\]](#). Мы вынуждены принимать ее, потому что рот наш так часто вяжет от хурмы, которой мы не ели. Поэтому я сорвал цветок и

обнаружил поразительный ботанический факт. Я обнаружил, что нежный корешок его, петляя и извиваясь, тянется до самого Нью-Йорка и там уходит в роскошную навозную кучу, которая называется корпорацией «Медисон». А цветком в расселине была компания «Саудерн бель фьюил». Тогда я сорвал другой цветок, под названием «Америкэн электрик пауэр», и обнаружил, что его нежный корешок берет начало в той же навозной куче.

Утверждать, будто я знаю, что такое Бог и человек, я еще не мог, но готов был высказать догадку об одном конкретном человеке. Пока лишь догадку.

И она долго оставалась догадкой. Ибо я достиг той стадии в своих поисках, когда остается только молиться. Вы делаете все, что в ваших силах, молитесь, пока хватает сил, а потом ложитесь спать в надежде, что найдете разгадку во сне, посредством озарения. «Кубла-Хан»^[34], бензольное кольцо^[35], песня Кэдмона^[36] — все они явились во сне.

Явилось и мне. Однажды ночью, когда я только что заснул. Это было всеголишь имя. Смешное имя. *Мортимер Л.Литлпо*. Имя плавало в моем сознании, я думал, какое оно смешное, и потом уснул. Но когда я проснулся утром, моя первая мысль была: Мортимер Л.Литлпо. В тот

день, проходя по улице, я купил газету и, заглянув в нее, увидел имя Мортимер Л.Литлпо. Только было оно не в той газете, которую я купил. Оно было на желтой, ломкой, пахнущей старым сыром странице, которая вдруг возникла перед моим мысленным взором. «Мортимер Л.Литлпо – следствием установлена смерть от несчастного случая». Вот оно. Потом, словно размокшая деревяшка со дна взбаламученного пруда, всплыла, колыхаясь, фраза: «Адвокат компании «Америкэн электрик пауэр». Вот оно.

Я вернулся к подшивкам и узнал, как было дело. Мортимер выпал из окна гостиницы, вернее, за железные

перила балкончика, проходящего под окном. Он упал с пятого этажа, и тут пришел конец Мортимеру. На следствии его сестра, жившая с ним, показала, что последнее время он был нездоров и жаловался на головокружения. Возникла версия о самоубийстве: как выяснилось, дела Мортимера были в запутанном состоянии, а перила — слишком высоки, чтобы упасть случайно. И еще была непонятная история с письмом: коридорный показал под присягой, что вечером накануне смерти Мортимер дал ему письмо и полдоллара на чай с просьбой отправить письмо немедленно. Коридорный клялся, что письмо

было адресовано мисс Литлпо. Мисс Литлпо клялась, что никакого письма не получала. Итак, Мортимер страдал головокружениями.

Кроме того, он был адвокатом в «Америкэн электрик». Я узнал, что его освободили от работы незадолго до того, как взяли Ирвина. Ниточка была сомнительная и могла завести в тупик, но меня это уже не пугало. За шесть или восемь месяцев расследования я навидался этих тупиков.

Но тупика не было. Была мисс Лили Мей Литлпо, которую после пяти недель охоты я выследил в темной, грязной, пропахшей лисами норе — в меблированных комнатах на

окраине трущоб Мемфиса. Худая, опустившаяся старуха с выветренным лицом, в черном платье, запачканном пищей, сидела в полутемной комнате, источая этот лисий запах, который мешался с запахом ладана и восковых свечек, и, медленно мигая, смотрела на меня красными подслеповатыми глазами. Стены были сплошь увешаны картинками божественного содержания, а в углу на столике помещалось подобие алтаря с пологом из выгоревшего вишневого бархата; внутри же — не Мадонна и не распятие, что отвечало бы духу остальных картинок, но идол из фетра, в котором я усмотрел сначала увеличенную до

несообразных размеров подушечку для иголок в виде подсолнуха, а потом, разобравшись, – изображение солнца с лучами. Дарующий Жизнь. И в такой-то комнате. Перед ним на столике свечка горела жирно, словно огонь питался не только воском, но и сальной материей этого воздуха.

Посреди комнаты стоял стол с вишневой бархатной скатертью, а на нем – стакан воды, тарелка с ядовито-яркими леденцами и пара длинных тонких труб или рожков, с виду оловянных. Я сел подальше от стола. Мисс Литлпо, которая сидела по другую его сторону и ощупывала меня красными глазами, произнесла неожиданно звучным голосом:

– Ну, можно начинать?

Она продолжала меня изучать и наконец заметила, словно про себя:

– Если вас прислала миссис Далзел, я думаю...

– Да, она.

Она меня прислала. Это обошлось мне в двадцать пять долларов.

– Тогда, я думаю, все в порядке.

– Все в порядке, – сказал я.

Она встала и пошла к свечке, по-прежнему не спуская с меня глаз, словно в последнюю секунду, перед тем как задуть огонек, она могла обнаружить, что тут далеко не все в порядке. Затем она задула свечу и вернулась на свое место.

После этого были стоны, пыхтение, металлическое звяканье — видимо, одного из рожков, — не очень внятная и вразумительная беседа с Принцессой Пятнистой Ланью — духом, вещающим через мисс Литлпо, — и еще менее вразумительные высказывания обладателя хриплого, гортанного голоса, который доказывал с Того Берега, что его зовут Джимми и что он друг моей юности. Радиатор у меня за спиной бурчал и ухал, а я вдыхал густую тьму и потел. Джимми говорил, что мне предстоит дорога.

Я наклонился в темноте к столу и сказал:

– Попросите Мортимера. Я хочу задать Мортимеру вопрос.

Один из рожков мягко звякнул, и Принцесса сделала замечание, которого я не расслышал.

– Мне нужен Мортимер Л., – сказал я.

В рожке захрипело совсем невнятно.

– Он пытается пройти, – произнес голос мисс Литлпо, – но вибрации слишком слабы.

– Я хочу задать ему вопрос, – сказал я. – Позовите Мортимера. Вы знаете Мортимера Л. Л. означает Лонзо.

Вибрации все еще были слабые.

– Я хочу спросить его про

самоубийство.

Вибрации, видимо, совсем ослабли, потому что не раздавалось ни звука.

– Позовите Мортимера, – сказал я. – Я хочу спросить его о страховке. Я хочу спросить его о последнем письме.

Вибрации достигли страшной силы, потому что рожок хлопнулся о стол, слетел на пол, за столом зашуршало и загремело, и, когда зажегся свет, у двери, держа руку на выключателе и буравя меня красными глазками, стояла мисс Литлпо, и дыхание ее с явственным шипом прорывалось между остатками зубов.

– Вы обманули, – сказала она, – вы обманули меня!

– Нет, я вас не обманывал, – сказал я. – Меня зовут Джек Берден, и меня прислала миссис Далзел.

– Дура, – прошипела она, – дура, прислала такого... такого...

– Она сочла, что я в порядке. И не такая уж она дура, чтобы отказаться от двадцати пяти долларов.

Я достал бумажник, вытащил деньги и показал ей.

– Может, я и нет, но эти штуки всегда в порядке, – сказал я.

– Что вам надо? – сказала она, и взгляд ее скакал с моего лица на зеленую пачку и обратно на лицо.

— Я же сказал, — ответил я. — Мне надо поговорить с Мортимером Лонзо Литлпо. Если вы можете нас соединить.

— Что вам от него надо?

— Я же сказал. Мне надо спросить его о самоубийстве.

— Это был несчастный случай, — тупо проговорила она.

Я вынул из пачки бумажку.

— Вот посмотрите, — сказал я. — Это сто долларов. — Я положил бумажку на стол и пододвинул к ней.

— Посмотрите хорошенько, — сказал я, — они ваши. Возьмите.

Она с испугом смотрела на бумажку.

Я вытянул еще две бумажки.

– Еще две, – сказал я. – Такие же. Триста долларов. Если вы соедините меня с Мортимером, деньги будут ваши.

– Вибрации, – пробормотала она, – иногда вибрации...

– Да, – сказал я, – вибрации. Но сто долларов сильно улучшат вибрации. Берите. Они ваши.

– Нет, – проговорила она быстро и хрипло, – нет.

Я взял вторую сотенную и положил на стол поверх первой.

– Берите, – сказал я, – и к черту вибрации! Вы что, не любите деньги? Вам не нужны деньги? Когда вы ели досыта в последний раз? Берите, и давайте поговорим.

– Нет, – прошептала она, глядя на деньги. Она прижималась к стене и держалась за дверную ручку, как будто хотела убежать. Потом перевела взгляд на меня и вдруг, вытянув шею, сказала: – Я знаю... знаю – вы хотите обмануть меня – вы из страховой компании.

– Ошибаетесь, – сказал я. – Но мне, известно о страховке Мортимера. После самоубийства страховку не выдают. Вот почему вы...

– Он... – прошептала старуха, и лицо ее исказилось гримасой – то ли горя, то ли ярости, то ли отчаяния, понять было невозможно, – он занял под свою страховку почти столько же

— и мне не сказал — он...

— Значит, вы солгали почти задаром, — сказал я. — Получили страховку, но оказалось, что получать почти нечего.

— Да, — ответила она, — нечего. Он бросил меня — одну — ничего не сказал — бросил без денег — и вот-вот... — Она обвела взглядом комнату, поломанную мебель, грязь и вздрогнула, съежилась, будто только что вошла и увидела все это впервые. — Вот... — сказала она, — вот...

— Три сотни будут очень кстати, — сказал я и кивнул на две бумажки на бархате.

— Вот... вот... — сказала она. — Он бросил меня — он был трус — для

него это было просто – ему только и надо было...

– Прыгнуть, – докончил я.

Это привело ее в чувство. Она уставилась на меня тяжелым взглядом и после долгой паузы произнесла:

– Он не прыгал.

– Дорогая моя мисс Литлпо, – произнес я голосом, который обычно называют «проникновенным», – почему вы это отрицаете? Брат ваш давно умер, и ему ничего не грозит. Страховая компания забыла об этом деле. Никто не осудит вас за ложь – вам надо было жить. А...

– Не из-за денег, – сказала она. – Я боялась позора. Я хотела, чтобы его

похоронили как христианина. Я хотела... – Она вдруг умолкла.

– А, – сказал я и посмотрел на стену, увешанную религиозными картинками.

– Тогда я была верующей, – сказала она и, помолчав, поправилась: – Я и сейчас верую, но это другое.

– Да, да, – успокоил я ее и взглянул на рожок, лежавший на столе. – И глупо, конечно, считать это позором. Если он и сделал это...

– Это был несчастный случай, – перебила она.

– Ну, мисс Литлпо, вы же только что сами сказали.

– Это был несчастный случай, –

повторила она, прячась в свою раковину.

– Нет, – сказал я, – он покончил с собой, но это не его вина. Его вынудили. – Я следил за ее лицом. – Он отдал этой компании лучшие годы, и они его выкинули, чтобы взять человека, который совершил бесчестный поступок. Который довел вашего брата до гибели. Так ведь? – Я встал, шагнул к ней. – Так или нет?

Она пристально смотрела на меня, потом не выдержала:

– Да! Он довел его, он его убил, его наняли, потому что надо было дать ему взятку – брат это знал, – он сказал им, что знает, но они его

выгнали — они сказали, что у него нет фактов, и выгнали его.

— Были у него факты? — спросил я.

— Да, он все знал. Он знал про это жульничество с шахтами — давно знал, но не думал, что с ним так поступят, — тогда они были с ним очень любезны, а сами только и ждали, чтобы его выгнать, — тогда он пошел к губернатору и рассказал...

— Что? Что вы сказали? — Я подошел к ней.

— К губернатору, он...

— К кому?

— К губернатору Стентону, а губернатор не стал слушать, он просто...

Я крепко схватил старуху за руку.

— Стойте, — сказал я. — Вы говорите, что ваш брат ходил к губернатору Стентону и рассказал ему?

— Да, а губернатор Стентон не стал его слушать. Не стал слушать. Он сказал, что у него нет фактов, он не будет расследовать и что...

— Вы говорите неправду? — сказал я и тряхнул ее тонкую, как щепка, руку.

— Нет, правду, правду, ей-богу! — крикнула она, задрожав. — И это его убило. Губернатор его убил. Он вернулся в гостиницу и написал мне письмо, все написал — и в ту же ночь...

– Письмо, – перебил я, – что стало с письмом?

– ...В ту же ночь – перед рассветом – но всю ночь он ждал у себя в комнате – и перед самым рассветом...

– Письмо, – оборвал я, – что стало с письмом?

Я снова потрянул ее, но она продолжала шептать: «Перед самым рассветом...» Наконец она вырвалась из-под гипноза этой мысли, подняла глаза и ответила:

– Оно у меня.

Я отпустил ее руку, сунул сто долларов ей в ладонь и силой согнул ей пальцы.

– Тут сто долларов, – сказал я. –

Дайте мне письмо, и вы получите остальные. Триста долларов!

— Нет, — проговорила она, — нет, вы хотите избавиться от письма. Потому что в нем написана правда. Тот человек — ваш друг. — Ее мигающие глаза смотрели мне в лицо и скреблись, как скребутся слабые старушечьи пальцы, пытаюсь открыть шкатулку. Наконец она оставила свои попытки и жалобно спросила: — Он ваш друг?

— Если бы он меня сейчас увидел, — сказал я, — ему бы вряд ли пришла такая мысль.

— Вы ему не друг?

— Нет, — сказал я. Она посмотрела на меня подозрительно.

– Нет, – повторил я. – Я не друг ему. Дайте мне письмо. Если его когда-нибудь используют, то используют против него. Клянусь вам.

– Я боюсь, – сказала она, но я почувствовал, что ее пальцы, согнутые в моей ладони, потихоньку щупают бумажку.

– Страховой компании не бойтесь. Это было слишком давно.

– Когда я пришла к губернатору... – начала она.

– Как, и вы ходили к губернатору?

– Когда это случилось – после всего – я хотела отплатить тому человеку – я пошла к губернатору...

– Боже мой, – сказал я.

— ...и просила наказать его — за взятку — за то, что он погубил моего брата — но он сказал, что у меня нет фактов, что этот человек — его друг, и у меня нет фактов.

— А письмо — вы показали ему письмо?

— Да, я пошла с письмом.

— Вы показали письмо губернатору Стентону?

— Да... да... а он встал и говорит: «Мисс Литлпо, вы показали под присягой, что не получали письма, вы дали ложные показания, это лжесвидетельство, а за лжесвидетельство полагается суровое наказание, и, если об этом письме узнают, вы будете наказаны

по всей строгости закона».

— И что вы сделали? — спросил я.

Седая, обтянутая желтой кожей голова, в которой не хранилось уже ничего, кроме старых воспоминаний, качнулась на тонком черенке шеи легко и сухо, словно под дуновением ветерка.

— Сделала, — повторила она, качая головой, — сделала. Я бедная, одинокая женщина. Мой брат умер. Что я могла сделать?

— Вы сохранили письмо, — сказал я, и она кивнула.

— Доставайте его, — сказал я, — доставайте. Теперь вас никто не потревожит. Клянусь вам.

Она достала его. Она долго

разгребала ворох желтых, пропахших кислым бумажек, старых лент, слежавшейся одежды в жестяном сундуке, который стоял в углу, а я, изнывая, следил из-за ее плеча за копошением непослушных пальцев. Наконец она нашла.

Я выхватил конверт у нее из рук и вытряхнул письмо. Оно было написано на бланке гостиницы Монкастело и датировано 3 августа 1915 года. Я прочел:

«Дорогая сестра,
Я ходил сегодня к
губернатору Стентону и
рассказал ему, как меня
выгнали на улицу, словно

собаку, после стольких лет службы, потому что Ирвин отвел обвинение от «Саудерн бель фьюил» и надо было дать ему взятку, и как он занял мое место и получает жалованье, о котором я и мечтать не мог, а я им отдавал все силы. И теперь они называют его вице-президентом. Они врили мне, обманули меня и сделали его вице-президентом за то, что он взял взятку. Но губернатор Стентон не стал меня слушать. Он спросил, какие у меня факты, а я рассказал

ему то, что говорил мне несколько месяцев назад Сатерфилд, — как было прекращено это дело и как наша компания хочет отблагодарить Ирвина. Теперь Сатерфилд от всего отказывается. Он отказывается, что говорил мне об этом, и смотрит мне в глаза. У меня нет доказательств, и губернатор Стентон не будет расследовать.

Я ничего не могу сделать. Как ты знаешь, я ходил к политическим противникам губернатора

Стентона, но они не стали меня слушать. Потому что этот негодяй и безбожник Маккол, который всем у них заправляет, связан с «Саудерн бель». Сначала они заинтересовались, а потом осмеяли меня. Что мне остается? Я стар и болен. Я никогда не оправлюсь. Я буду тебе обузой, а не подмогой. Что мне остается, сестра?

Ты была добра ко мне. Я благодарю тебя. Прости меня за то, что я собираюсь сделать, но я хочу уйти к нашей святой матери и к

нашему дорогому отцу,
которые были так добры к
нам, и встретят меня в
лучшем мире, и осушат мои
слезы.

До свиданья и до
встречи там, где мы все
будем счастливы.

Мортимер.

P.S. Я довольно много
занял под свою страховку.
Из-за неудач на бирже. Но
кое-что там остается, и,
если узнают, что я сделал
то, что я хочу сделать, тебе
не заплатят.

P.S. Отдай мои часы,
которые мне оставил отец,

Джулиану. Он будет дорожить ими, хотя он только двоюродный брат.

P.S. Мне было бы легче сделать то, что я хочу, если бы не забота о страховке; Я выплатил ее, и ты должна ее получить».

Итак, проинструктировав сестру, как обмануть страховую компанию, бедняга отправился в лучший мир, где мать и отец осушат его слезы. Он весь был тут, Мортимер Лонзо, — растерянность, слабость, благочестие, жалость к себе, мелкое жульничество, мстительность — и все это в тонкой вязи старомодного

бухгалтерского почерка, может быть менее твердого, чем обычно, но со всеми точками над «и» и палочками над «т».

Я вложил письмо в конверт и опустил в карман.

— Я сниму с него фотокопию, — сказал я, — и отдам обратно. Фотокопию мне надо заверить. А вам придется сделать у нотариуса заявление о вашем визите к губернатору Стентону. — Я взял со стола двести долларов и вручил ей. — После заявления у нотариуса вы получите еще сто. Надевайте шляпу.

Так после многих месяцев я нашел. Ибо ничто не пропадает бесследно, ничто и никогда. Всегда

есть ключ, оплаченный чек, пятно от губной помады, след на клумбе, презерватив на дорожке парка, ноющая боль в старой ране, первый детский башмачок, оставленный на память, чужая примесь в крови. И все времена — одно время, и все умершие не жили до тех пор, пока мы не дали им жизнь, вспомнив о них, и глаза их из сумрака зовут к нам.

Вот во что верим мы, историки.
И мы любим истину.

Когда я посетил провонявшую лисами нору мисс Литлпо в Мемфисе и закончил свои изыскания, на исходе был март 1937 года. Работа отняла у меня почти семь месяцев. Но за это время произошло немало других событий. Второкурсник Том Старк стал куотербеком символической сборной Юга и на радостях загнал дорогую желтую спортивную машину в кювет на одном из многочисленных новых шоссе, носящих имя его папы. К счастью, его нашли не какие-нибудь сплетники-горожане, а патрульные

дорожной полиции, и полупустая бутылка улик, выброшенная в ночь, утонула в черной воде болота. Рядом с бесчувственным телом Молнии второкурсников лежало другое тело, хоть и не бездыханное, но покалеченное, ибо в дорогой желтой машине с Томом находился более дешевый предмет той же масти, по имени Карес Джонс. Карес закончила прогулку не в болоте, а в операционной. Она не умерла, что было с ее стороны очень любезно, но в дальнейшем вряд ли могла служить украшением такого рода прогулок. Папа ее был менее любезен. Он топал ногами, требовал крови, грозил судом, тюрьмой и публичным

скандалом. Однако пыл его остудили довольно быстро. Понятно, это стоило денег. Но в конце концов все уладилось тихо-мирно. М-р Джонс занимался грузовыми перевозками, и кто-то объяснил ему, что грузовики ездят по дорогам штата, а владельцы грузовиков дорожат дружбой некоторых ведомств штата.

Том не был ранен, но три часа пролежал без сознания в больнице, и Хозяин, белый, как накрахмаленная простыня, растрепанный, потный, с остановившимся взглядом, мерил шагами приемную, колотя кулаком о ладонь и дыша так же шумно, как его сын в соседней комнате. Потом появилась Люси Старк – было часа

четыре утра, – ошеломленная, с красными, но сухими глазами. Они поссорились. Но уже после того, как им сказали, что Том вне опасности. До сих пор Хозяин, тяжело дыша, расхаживал по приемной, а Люси сидела и смотрела в пустоту. Когда их успокоили, она подошла к Хозяину и сказала:

– Ты должен положить этому конец. – Голос ее был едва слышен.

Он стоял, тупо глядя на нее, потом протянул руку, дотронулся до нее с опаской, словно медведь до улья, и проговорил пересохшими губами:

– Все... все обошлось, Люси. С ним ничего не случилось.

Она покачала головой:

– Нет, случилось.

– Врач... – он неуверенно шагнул к ней, – врач говорит...

– Нет, случилось, – повторила она. – И будет случаться, если ты не прекратишь этого.

Он вдруг налился кровью.

– Если ты опять насчет футбола, если... – Начинался старый спор.

– Не только футбол. И футбол плохо... Возомнил себя героем, ничего больше на свете не существует... И все, что связано с футболом... Он распушенный, эгоист, лодырь...

– Слюнтяем мой сын не будет. Этого ты добиваешься?

– Лучше бы он умер у меня на глазах, чем стал негодяем из-за твоего тщеславия.

– Не будь дурой!

– Ты его погубишь. – Ее голос был тих и ровен.

– Не мешай ему быть мужчиной. Я в детстве не видел никаких радостей. Пусть хоть он проживет в свое удовольствие. Я хочу, чтобы ему жилось весело. Я видел, как люди вокруг веселятся, а сам был лишен этого. Пусть хоть он...

– Ты его погубишь, – произнесла она голосом, тихим и спокойным, как рок.

– Да ты поймешь или нет наконец... – начал он, но тут я

выскользнул за дверь и осторожно прикрыл ее за собой.

Несчастный случай с Томом был не единственным событием той зимы.

Анна Стентон добивалась от штата денег для детского дома. Она получила солидную подачку и была ужасно довольна собой. Скоро она должна была получить субсидию еще на два года – крайне необходимую, утверждала она, и, наверно, не без оснований, потому что в 1929 году родники частной благотворительности почти иссякли и лет семь после этого цедили по капле.

В четвертом округе, где еще

прочно сидел Макмерфи, было
неспокойно. Его человек попал в
конгресс в Вашингтоне, до которого,
правда, было далеко, но не так, как
до луны, и высказывал там свое
мнение о Хозяине, поставляя
заголовки для газет всей страны;
поэтому Хозяин купил время у
радиостанции и в нескольких
передачах высказал свое мнение о
конгрессмене Петите, ознакомив
народ с подробностями биографии
конгрессмена Петита, чьей корове,
как выяснил исследовательский
отдел Хозяина, лучше было не
мычать. Хозяин не опровергал
рассказов Петита, он занялся
личностью самого рассказчика. Он

знал, что *argumentum ad hominem* ложен. «Может, он и ложный, – говорил Хозяин, – зато полезный. Если ты подобрал подходящий *argumentum*, всегда можно пугнуть *hominem*’а так, чтобы он лишний раз сбегал в прачечную».

Петиту это вышло боком, но надо отдать справедливость Макмерфи – он не отступался. Крошка Дафи тоже не отступался. Он во что бы то ни стало хотел уговорить Хозяина, чтобы тот отдал подряд на постройку больницы Гумми Ларсону, который пользуется влиянием в четвертом округе и переубедит, или, проще говоря, продаст Макмерфи. Хозяин слушал

Крошку так же внимательно, как вы — шелест дождя по крыше, и отвечал: «Ясно, Крошка, ясно, мы как-нибудь об этом потолкуем» или: «К черту, Крошка, смени пластинку». Или вообще не отвечал, а только смотрел на Дафи тяжелым, оценивающим взглядом, словно прикидывая его вес, — голос Крошки таял, и в тишине слышалось только их дыхание: Крошкино — свистящее, частое, короткое для такой туши, и Хозяина — ровное и глубокое.

А Хозяин грезил больницей и во сне и наяву. Он ездил на север и осматривал самые лучшие и большие больницы: Центральную массачусетскую, Пресвитерианскую

в Нью-Йорке, Центральную
филадельфийскую и многие другие:
«Ну и что ж, что они хорошие, —
говорил он, — клянусь чем хочешь,
моя будет лучше, ну и что, что они
большие — моя будет больше, и
последний бедняк в штате сможет
прийти туда и получить любое
лечение задаром». В этих поездках
он проводил все время с врачами,
архитекторами и директорами
больниц, а не с букмекерами или
эстрадными певицами. Когда он
возвращался, его кабинет бывал
завален синьками, блокнотами с его
каракулями, справочниками по
архитектуре, отоплению, диететике и
организации больниц. Вы входили к

нему, он поднимал глаза и начинал с места в карьер, как будто вы давно уже были тут: «Значит, в Центральной массачусетской устроены...» Да, больница была его любимым детищем.

Но Крошка не сдавался.

Однажды вечером я пришел в резиденцию, увидел в высоком строгом холле Рафинада, который сидел с газетным листом на коленях, разобранном 9,65 мм в руке и банкой ружейного масла у ног, спросил его, где Хозяин, посмотрел, как брызжет слюна и кривятся его губы в попытке вытолкнуть слова и, заключив из его кивка, что Хозяин в библиотеке, двинулся туда и постучал в большую

дверь. Открыв ее, я наткнулся на его взгляд, словно на дуло десятизарядной двустволки, и стал.

— Полюбуйся! — приказал он, приподнявшись на большой кожаной кушетке. — Полюбуйся!

И он наставил дуло на Крошку, который стоял перед ним на каминном коврике и превращался в шкварку быстрее, чем если бы его поджаривал сзади камин.

— Полюбуйся, — сказал он, — эта вошь хотела меня обдурить, хотела подсунуть мне Гумми Ларсона, чтобы я с ним поговорил, — везла его из самого Дюбуасвилла, думала, я буду вежливым. Черта с два! — Он опять повернулся к Крошке. — Что,

был я вежливым?

Крошка не мог издать ни звука.

— Говори, был или нет? — потребовал Хозяин.

— Нет, — слышался голос Крошки, как будто со дна колодца.

— Правильно, — сказал Хозяин. — Я его на порог не пустил. — Он показал на закрытую дверь за моей спиной. — Сказал, что если захочу его видеть, то пришлю за ним, и выгнал к чертовой матери. Но ты, — он ткнул указательным пальцем в сторону Крошки, — ты...

— Я думал...

— Ты думал надуть меня, чтобы я его купил. А я его не покупаю. Я его раздавлю. Хватит с меня, накупил

сволочей. Раздави его – и никаких забот, а купи – и не знаешь, сколько раз еще его придется покупать. Хватит, накупил я их. И тебя я зря не раздавил. Но я думал, что покупаю навсегда. Что ты побоишься перепродаться.

– Мотай отсюда, – произнес Хозяин более твердо.

– Ну, Хозяин, – сказал Крошка, – это несправедливо, Хозяин. Вы же знаете, как к вам относятся ваши ребята. И вообще. Не потому, что мы боимся, мы...

– А зря ты не боишься, – сказал Хозяин неожиданно тихо и нежно. Как мать ребенку в люльке.

И Крошка опять покрылся

испаринной.

Я посмотрел на дверь, которая закрылась за проворно отступившей фигурой, и заметил:

— Да, здорово ты обхаживаешь своих избирателей.

— Черт, — сказал он и развалился на кушетке, оттолкнув в сторону несколько синек. Он попробовал расстегнуть ворот, повозился с пуговицей, вырвал ее в сердцах и спустил узел галстука. Потом покрутил большой головой, словно воротник душил его.

— Черт, — повторил он ворчливо, — неужели непонятно — я не желаю, чтобы он лез в это дело. — И снова оттолкнул синьки.

– Чего ты хочешь? – сказал я. – Тут пахнет шестью миллионами. Ты видел когда-нибудь, чтобы мухи улетали от медогонки, когда качают мед?

– Пусть лучше не суется к этому меду.

– Он вполне последователен. Видимо, Ларсон готов продать Макмерфи. За контракт. Он – опытный строитель. Он...

Хозяин рывком сел и уставился на меня.

– И ты туда же?

– Мое дело – сторона, – сказал я и пожал плечами. – По мне, хоть ты сам ее строй. Я просто говорю, что если стать на точку зрения Крошки,

то он ведет себя вполне разумно.

— Ты что, не понимаешь? Черт подери, неужели и ты не можешь понять?

— А чего тут понимать, когда все понятно.

— Ты что, не понимаешь? — Он вскочил с кушетки, и тут по легкому пошатыванию я догадался, что он пьян. Он подступился ко мне, схватил меня за лацкан, дернул, заглядывая мне в лицо, — теперь вблизи я видел, что глаза у него налиты кровью. — Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире, я не позволю таким, как Крошка, пакостить это дело, я назову ее

больницей Вилли Старка, она будет стоять, когда от нас с тобой ничего не останется и от всей этой сволочи ничего не останется, и каждый, пусть у него ни гроша за душой, сможет прийти туда...

— И проголосовать за тебя, — сказал я.

— Я сдохну, и ты сдохнешь, и мне все равно, за кого он проголосует, — он придет туда и...

— И благословит твое имя, — сказал я.

— Ах ты... — Он смял мой лацкан в большом кулаке и сильно потрянул меня. — Чего лыбишься — перестань, перестань, или я...

— Знаешь что, — сказал я, — ты

меня не путай со своей шпаной — когда хочу, тогда улыбаюсь.

— Джек, черт, Джек, ты же знаешь, я не то хотел сказать, но зачем ты так улыбаешься? Черт, неужели ты не понимаешь? А? — Не отпуская лацкана и глядя мне в глаза, он придвинул ко мне свое большое лицо. — А? Неужели не ясно, я не желаю, чтобы эти сволочи пакостили мое дело. Больницу Вилли Старка. Неужели не ясно? И директора я поставлю самого лучшего. Будь спокоен. Лучше не бывает. Будь спокоен. Я знаю кого — да, да, мне его советовали в Нью-Йорке. И ты, Джек...

— Да? — сказал я.

– Ты мне его приведешь.

Я вытащил из его руки свой лацкан, разгладил и упал в кресло.

– Кого его? – спросил я.

– Доктора Стентона, – ответил он. – Доктора Адама Стентона.

Я чуть не подпрыгнул в кресле. Пепел моей сигареты упал на грудь рубашки.

– Давно у тебя эти симптомы? – спросил я. – А розовых слонов ты не видишь?

– Давай мне Стентона, – сказал он.

– Ты болен, – сказал я.

– Давай его, – повторил он непреклонно.

– Хозяин, – сказал я. – Адам мой

старый друг. Я знаю его с пеленок. Он тебя на дух не переносит.

– Я не прошу, чтобы он меня любил. Я прошу его заведовать моей больницей. Я никому не предлагаю меня любить. Даже тебе.

– Мы все вас любим, – передразнил я Крошку, – вы же знаете, как к вам относятся ваши ребята.

– Давай мне Стентона.

Я встал, потянулся, зевнул и направился к двери.

– Я пошел, – объявил я. – Завтра, когда твое сознание прояснится, я тебя выслушаю.

И захлопнул за собой дверь.

Назавтра, когда его сознание

прояснилось, я услышал то же самое: «Поддай мне Стентона».

И я пошел в обшарпанную келью, где рояль глумливо скалился среди грязи и наваленных на кресла книг и бумаг, где в чашке, не убранной цветной служанкой, засохла кофейная гуща, — и друг детства встретил меня так, будто он не был Знаменитостью, а я — Неудачником (оба слова — с большой буквы), положил руку мне на плечо, произнес мое имя и рассеянно поглядел льдисто-голубыми глазами, которые были укором всему двусмысленному, всему криводушному и нечистому на свете и, как совесть, не знали колебаний.

Но улыбка, осторожно снимавшая тугой шов с его рта, согревала тебя робким теплом, какое с удивлением чувствуешь, выйдя на солнце в конце февраля. Этой улыбкой он извинялся за то, что он — это он, за то, как он смотрит на тебя, за то, что он видит. Улыбка не столько прощала тебя и остальное человечество, сколько просила прощения за то, что он смотрит в упор на все, включая тебя. Но улыбался он редко. И мне улыбнулся не потому, что я был тем, кто я есть, а потому, что я был его Другом Детства.

Другу Детства суждено быть единственным вашим другом, ибо вас он, в сущности, не видит. Он

мысленно видит лицо, давно не существующее, он произносит имя — Спайк, Бад, Снип, Ред, Расти, Джек, Дейв, — которое принадлежало тому ныне не существующему лицу, а сейчас из-за какой-то маразматической путаницы во вселенной досталось незваному и тягостному незнакомцу. Но, поддакивая вселенской околесице, он вежливо зовет этого скучного незнакомца именем, по праву принадлежащим мальчишескому лицу, и тем временам, когда тонкий мальчишеский голос разносился над водой, шептал ночью у костра или днем на людной улице: «А ты знаешь это: «Стонет лес на краю Венлока.

Гнется чаша, Рикина руно»^[38]. Друг Детства потому остается вашим другом, что вас он уже не видит.

А может, и никогда не видел. Вы были для него лишь частью обстановки чудесного, впервые открывающегося мира. А дружба – неожиданной находкой, которую он должен подарить кому-нибудь в знак благодарности, в уплату за этот новый, захватывающий мир, распускающийся на глазах, как луноцвет. Кому подарить – неважно, важно только подарить; и если рядом оказались вы, вас наделяют всеми атрибутами друга, а ваша личность отныне не имеет значения. Друг Детства навсегда становится

единственным вашим другом, ибо ему нет дела ни до своей выгоды, ни до ваших достоинств. Ему плевать на Преуспеяние и на Преклонение перед Более Достойным — два стандартных критерия дружбы взрослых, — и он протягивает руку скучному незнакомцу, улыбается (не видя вашего настоящего лица), произносит имя (не относя его к вашему настоящему лицу) и говорит: «Здорово, Джек, заходи, как я рад тебя видеть!»

И я сидел в одном из его колченогих кресел, с которых он снял книги, пил его виски и ждал удобной минуты, чтобы вернуть: «Послушай-ка, я скажу тебе одну

вещь, но не начинай орать, пока я не кончу».

Он не заорал, пока я не кончил. Правда, мне не понадобилось много времени. Я сказал: «Губернатор Старк хочет, чтобы ты был директором новой больницы и медицинского центра».

Строго говоря, он и тогда не заорал. Он не издал ни звука. Целую минуту он смотрел на меня сосредоточенным клиническим взглядом, словно симптомы заслуживали особого внимания, потом помотал головой. «Подумай как следует, — сказал я, — может, это не так плохо, как кажется, может, тут есть свои выгоды...» Но я не

закончил фразы – он опять помотал головой и улыбнулся мне улыбкой, которая не прощала, а смиренно просила простить его за то, что он не такой, как я, не такой, как другие, что он не от мира сего.

Если б не эта улыбка. Если бы он улыбнулся, но улыбнулся нахальной иронической улыбкой «пошел-ты-знаешь-куда». Или даже улыбкой, прощавшей меня. Если бы его улыбка не просила – смиренно, но с достоинством – моего прощения, все могло бы повернуться иначе. Но улыбка его шла от полноты чего-то, чем он обладал, от цельности идеи, которой он жил – не знаю уж, какая там была идея и

какого черта он так жил, — и все повернулось туда, куда мы в конце концов пришли. С этой своей улыбкой он был похож на богача, который остановился, чтобы кинуть нищему доллар, и открыл бумажник с толстой пачкой денег. Если бы нищий не увидел пачки, он не стал бы провожать богача до темного закоулка. И не так нужна ему эта пачка, как ненавистен ее владелец, кинувший доллар.

Когда он улыбнулся и сказал: «Меня не интересует выгода», я впервые в жизни не почувствовал в его улыбке робкого тепла, как в зимнем солнце, — то, что я почувствовал, было больше похоже на

самую зиму, на сосульку, воткнувшуюся в сердце. И я подумал: «Ага, вон как мы улыбаемся – ладно, улыбайся...»

И тогда, хотя эта мысль уже исчезла – если вообще можно сказать, что она исчезла, ибо мысль выплывает на поверхность сознания и в нем же тонет, – тогда я сказал: «Ты ведь не знаешь, какие выгоды. Например, Хозяин хочет, чтобы ты сам назначил себе жалованье».

– Хозяин, – повторил он, причем его верхняя губа изогнулась больше обычного и открыла зубы, а звук «з» вышел свистящим, – напрасно рассчитывает меня купить. У меня есть, – он обвел глазами

захламленную, грязную комнату, — все, что мне нужно.

— Хозяин не такой дурак. Ты правда думаешь, что он хочет тебя купить?

— Он все равно не смог бы, — сказал Адам.

— А чего он, по-твоему, хочет?

— Запугать меня. Это будет следующий ход.

— Нет, — помотал я головой, — не то. Он не может тебя запугать.

— На этом он стоит. На подкупе и угрозах.

— Подумай еще, — сказал я.

Он встал, нервно прошелся по вытертому зеленому ковру и обернулся ко мне.

— Лестью он тоже ничего не добьется, — сказал он со злобой.

— Не только он, — мягко сказал я, — тебя вообще нельзя взять лестью. И знаешь почему?

— Почему?

— Видишь ли, был такой писатель Данте, он говорил, что человек, знающий себе цену, истинно гордый человек, не мог бы впасть в грех зависти, ибо не нашел бы людей, которым стоит завидовать. С таким же успехом Данте мог сказать, что гордый человек, знающий себе цену, недоступен лести, потому что никто не откроет ему таких его достоинств, о которых он сам не знал бы. Нет, на лесть ты не клюнешь.

– Во всяком случае, на его лезть,
– угрюмо сказал Адам.

– Ни на чью. И он это знает.

– На чем же он хочет сыграть?

Уж не думает ли он, что я...

– Ну, догадайся.

Он стоял на вытертом зеленом ковре, смотрел на меня исподлобья, и на его чистых голубых глазах как будто лежала прозрачная тень – но не сомнения и не беспокойства. Это была тень вопроса, озадаченности.

Но и она кое-что значила. Не много, но кое-что. Это – не справа в челюсть, с ног не сбивает. От этого не перехватывает дыхания. Это – тычок в нос, скользящий удар грубой перчатки. Ничего смертельного –

минутное замешательство. Но уже успех. Развивай его.

И я повторил:

— Ну, догадайся.

Он молча смотрел на меня, и тень в его глазах стала гуще, как от облачка на синей воде.

— Так и быть, объясню, — сказал я. — Он знает, что ты тут лучший врач и не наживаешься на этом. Значит, деньги тебя не интересуют — иначе ты брал бы, сколько другие берут, или хотя бы не разбазаривал того, что получаешь. Тебе не нужны развлечения — ты мог бы иметь их, потому что ты знаменит, сравнительно молод и не калека. Тебе не нужна роскошь — иначе ты не

работал бы как вол и не жил в этой
трущобе. Но он знает, что тебе
нужно.

– От него мне ничего не нужно,
– отрезал Адам.

– Ты уверен, Адам? – спросил я.
– Ты уверен?

– Иди ты... – побагровев, начал
он.

– Он знает, что тебе нужно, –
перебил я. – Могу объяснить в двух
словах.

– Что?

– Делать добро, – сказал я.

Он опешил. Рот у него открылся,
как у рыбы, вытащенной из воды.

– Ну да, – сказал я. – Он знает
твой секрет.

– Не понимаю, при чем тут... – начал он опять со злобой.

Но я перебил:

– Не сердись, тут нет ничего зазорного. Невинное чудачество. Ты не можешь спокойно видеть больного, чтобы тут же не наложить на него руки. Не можешь, старик, спокойно видеть переломанной конечности, чтобы тут же ее не вправить. Человека с болячкой внутри, чтобы тут же не взять нож в свои сильные белые ученые-преученные пальцы и не вырезать ее. Своего рода чудачество. Или сверхболезнь, которой ты сам болен.

– На свете полно больных, – хмуро ответил он, – но я не вижу...

– Боль есть зло, – весело сказал я.

– Боль – одно из зол, – повторил он, – но сама по себе еще не зло. – И он шагнул ко мне, глядя на меня как на врага.

– Когда у меня зуб болит, я не вдаюсь в такие тонкости, – возразил я. – Но важно не это, важно, что ты так устроен. И Хозяин, – я деликатно подчеркнул последнее слово, – это знает. Он знает, чего ты хочешь. Ты хочешь делать добро, старик, и он даст тебе возможность пустить это дело на конвейер.

– Добро, – сказал он, по-волчьи вздернув тонкую длинную губу, – добро! Самое подходящее слово для

его художеств.

— Правда? — уронил я.

— Всякому плоду нужен свой климат, а ты знаешь, какой климат создает этот человек. Должен знать.

Я пожал плечами:

— Вещь хороша сама по себе — если она хороша. Человек втрескался и написал сонет. Станет ли хуже сонет — если он хороший, в чем я сомневаюсь, — оттого, что дама, в которую он втрескался, замужем и страсть его, как говорится, незаконна? Перестает ли роза быть розой оттого...

— Это к делу не относится, — сказал он.

— Ах, не относится, — сказал я и

встал с кресла. — Сто лет назад, когда мы были мальчишками, и спорили целыми ночами, и я припираю тебя к стенке, ты говорил то же самое. Кто сильнее — лучший борец или лучший боксер? Кто сильнее — лев или тигр? Кто лучше — Китс или Шелли? Добро, истина, красота. Есть ли бог? Мы спорили целыми ночами, и я всегда побеждал, но ты — ты, гад, — и я хлопнул его по плечу, — ты всегда говорил, что я отклоняюсь. Маленький Джеки никогда не отклоняется. И не ведет беспредметных разговоров. — Я оглянулся, подхватил свое пальто и шляпу. — Я ухожу, а ты подумай хорошенько над этой мыслью.

– Ну и мысль, – сказал он, но он уже улыбался, он снова был моим товарищем, моим Другом Детства.

Но я не обратил на это внимания.

– Ты не можешь сказать, что я не раскрыл своих карт, своих и Хозяина, но сейчас я убегая – надо успеть на ночной в Мемфис, где мне предстоит интервью с медиумом.

– С медиумом? – удивился он.

– С профессиональным медиумом по имени мисс Литлпо, она передаст мне с Того Света весть, что директором новой больницы будет интересный брюнет и известный сукин сын по фамилии Стентон. – С этими словами я

захлопнул за собой дверь и побежал по лестнице, спотыкаясь на каждом шагу, потому что в таких домах никто не меняет перегоревших лампочек, на площадке стоит детская коляска, коврик протерт до дыр и пахнет сыростью, собаками, пеленками, капустой, старухами, пригорелым салом и извечной судьбой человека.

Я вышел на темную улицу и оглянулся на дом. Штора на одном окне была поднята, и я увидел в нише, занятой под «кухню-столовую», грузного лысого мужчину в рубашке, который навис над своей тарелкой, как мешок, поставленный на попу; рядом стояла девочка и дергала его за рукав; женщина в

застиранном платье, с прямыми
неубранными волосами сняла с
плиты дымящуюся кастрюлю супа –
потому что папа пришел, как всегда
поздно, и у него болит косточка на
ноге, и за квартиру не плачено, и у
Джонни прохудились ботинки, а
Сюзи принесла плохие отметки, – и
Сюзи теребила его, и глядела
придурковатыми глазами, и не могла
закрыть рта из-за полипов, и под
потолком ослепительно горела голая
лампочка, и на криво повешенной
картинке Максфилда Парриша^[39]
бушевали колера медного купороса.
И где-то в доме лаяла собака, и еще
где-то заходилась младенец. И все это
было – Жизнь, и Адам Стентон жил в

ее гуще – или старался жить, – он лепился к ней, дышал капустным чадом, спотыкался о детскую коляску, кланялся чете жующих резинку молодоженов, слышал за тонкой перегородкой звуки, издаваемые старухой, которая не доживет (рак – сказал он мне) до лета, расхаживая по вытертому ковру среди книг и колченогой мебели. Он жался к Жизни, чтобы согреться, потому что своей жизни у него не было – только скальпель, кабинет и эта келья. А может, он вовсе не грелся возле нее. Может, он наклонялся к изголовью Жизни, щупал ей пульс, наблюдая ее глазами диагноста, готовый сунуть таблетку,

вливать микстуру, взяться за скальпель. Может, он тянулся к ней, чтобы найти оправдание своей деятельности. Чтобы и его дела стали Жизнью. А не только испытанием сноровки, которая дается человеку потому, что из всех животных у него одного развит большой палец.

Что, в общем, ерунда, ибо, чем бы ты ни жил, все равно это – Жизнь. И надо помнить об этом, когда встречаешь бывшего одноклассника и он говорит: «Так вот, в нашей последней экспедиции на Конго...» – или другого, который говорит: «Что ты, у меня жена-красавица и трое ребятишек, такие...» Ты должен

помнить об этом, когда сидишь в вестибюле гостиницы или за стойкой, беседуя с барменом, или стоишь на темной улице ночью в начале марта и заглядываешь в чужое окошко. Помни, что у Сюзи – полипы, что суп, наверно, подгорел, и ступай своей дорогой, ибо – поезд полуночный меня ждет, от грехов моих меня он увезет.

Ибо чем бы ты ни был жив, все равно это – Жизнь.

Только я двинулся дальше, как в доме загремела музыка; она заглушала крик младенца, крошила известь в швах старой кладки. Адам играл на рояле.

Я успел на поезд, пробыл в

Мемфисе три дня, провел сеанс с мисс Литлпо и вернулся. С фотокопиями и письменными показаниями.

Вернувшись, я нашел в почтовом ящике телефонный вызов.

Это был номер Анны, потом в трубке раздался голос Анны, и, как всегда, в груди у меня что-то подскочило и плюхнулось, будто лягушка нырнула в пруд с кувшинками. И побежали круги.

Анна сказала, что ей надо меня видеть. Я ответил, что нет ничего проще, она может видеть меня до конца своих дней. Она пропустила мимо ушей мою незамысловатую шутку (которая большего, разумеется,

и не заслуживала) и сказала, что хочет встретиться сейчас же. В «Бухте», предложил я, и она согласилась. «Бухтой» назывался ресторан Слейда.

Я пришел раньше Анны и выпил со Слейдом. Нежно играла музыка, матово светили лампы, блестел хром, и, глядя на круглый, цвета слоновой кости череп Слейда, на его дорогой костюм, на белокурую фаворитку за кассой, я с грустью вспоминал то далекое утро во времена сухого закона, когда в засиженной мухами пивной Слейд, еще при волосах и без гроша в кармане, отказался пособничать Крошке, пытавшемуся влить пиво в дядю Вилли из деревни,

который хотел лимонаду и оказался впоследствии Вилли Старком. Это решило судьбу Слейда. И теперь я пил с ним и, глядя на него, дивился, от какой же малости зависит спасение и гибель человека.

Я посмотрел в зеркало за стойкой и увидел, что в дверь входит Анна. Вернее, что ее отражение входит в отражение двери. Я не сразу обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности. Вместо этого я смотрел на ее отражение в стекле, словно на образ прошлого, вмерзший в память, — вот так бывает, зимой ты увидишь в чистом льду застывшего ручья багровый с золотом лист и вспомнишь дни, когда все эти

багровые и золотые листья висели на ветвях и солнечный свет лился на них таким потоком, что, казалось, конца ему не будет. Но тут было не прошлое – сама Анна Стентон стояла в прохладном пространстве зеркала над строем блестящих бутылок и сифонов, в конце синего ковра – девушка, ну, не совсем уже девушка – молодая женщина, ростом в метр шестьдесят три, с тонкими крепкими лодыжками, узковатыми бедрами, но такими круглыми, словно их вытачивали на токарном станке, с талией, которую, казалось, можно обхватить пальцами, – все это в сером фланелевом костюме, скроенном якобы по-мужски строго,

но на самом деле кричащем — иначе не скажешь — о некоторых отнюдь не мужских приспособлениях, спрятанных внутри.

Она стояла у входа и, правда, еще не постукивала от нетерпения носком по синему ковру, но уже оглядывала зал, медленно поворачивая из стороны в сторону гладкое, свежее лицо (под голубой шляпой). В зеркале блеснули голубым ее глаза.

Потом она заметила мою спину возле бара и пошла ко мне. Я не оглянулся и не встретил ее взгляда в зеркале. Подойдя сзади, она позвала меня:

— Джек.

Я не обернулся.

— Слейд, — сказал я, — незнакомая женщина ходит за мной по пятам, а я думал, у вас приличное заведение. Примите же наконец меры.

Слейд повернулся к незнакомой женщине, чье лицо сразу побелело, а глаза вспыхнули, как пара дуговых ламп.

— Леди, — сказал Слейд, — послушайте-ка, леди...

Тут леди поборола внезапную немоту и густо покраснела.

— Джек Берден! — сказала она. — Если ты не...

— Она знает ваше имя, — сказал Слейд.

Я обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности — не заледенелому следу в памяти, но чему-то раскаленному, кошачьему, смертоносному, электрическому, пережигающему пробки.

— Вот так штука, — обратился я к Слейду, — ведь это моя невеста! Познакомьтесь, Слейд, — Анна Стентон. Мы хотим пожениться.

— Вон что, — произнес Слейд с каменным лицом. — Очень...

— Мы поженимся в две тысячи пятидесятом году, — сказал я. — Это будет веселая весенняя свадьба...

— Не свадьба, а убийство, — сказала Анна, — и прямо сейчас. — Щеки ее приняли нормальный цвет,

и она, улыбнувшись, протянула руку Слейду.

— Очень рад с вами познакомиться, — сказал Слейд, и, хотя лицо его было неподвижно, как у деревянного индейца на табачном киоске, глаза не упустили ни одной подробности под фланелевым жакетом. — Выпьете? — предложил он.

— Спасибо, — ответила Анна и попросила мартини.

Когда мы выпили, она сказала: «Надо идти, Джек» — и вывела меня в ночь, полную неоновых огней, бензиновых паров, автомобильных гудков и запаха жареного кофе.

— У тебя замечательное чувство

юмора, — сказала она.

— Куда мы идем? — попробовал уклониться я.

— Хлыщ.

— Куда мы идем?

— Ты когда-нибудь повзрослеешь?

— Куда мы идем?

Мы шли бесцельно по переулку, мимо пивных с дверями-вертушками, мимо устричных баров, газетных киосков и старух цветочниц. Я купил ей гардении и сказал:

— Наверно, я хлыщ, но это тоже способ убивать время.

Мы прошли еще полквартила в толпе, втекавшей и вытекавшей через стеклянные вертушки баров.

— Куда мы идем?

— Я бы никуда с тобой не пошла,

— сказала Анна, — но надо поговорить.

Мы проходили мимо очередной цветочницы, поэтому я взял еще букет гардений, выложил сорок центов и сунул цветы Анне.

— Если ты не будешь вести себя вежливо, — сказал я, — удушю тебя этими проклятыми растениями.

— Хорошо, — сказала она и засмеялась, — буду вести себя вежливо. — Она взяла меня под руку, приноровила свой шаг к моему, держа цветы в свободной руке, а сумку под мышкой.

Еще полквартила мы шли в ногу,

не разговаривая. Я смотрел вниз, наблюдал, как мелькают ее ноги — раз-два, раз-два. Ее черные замшевые туфли, очень простые, очень строгие, отстукивали по тротуару властно, но они были маленькие, и тонкие щиколотки мелькали завораживающе — раз-два, раз-два.

Потом я спросил:

— Куда мы идем?

— Никуда, — сказала она, — гуляем. Не могу сидеть на месте, беспокойство какое-то.

Мы шли к реке.

— Я хочу с тобой поговорить, — сказала она.

— Так говори. Пой. Декламируй.

– Не сейчас, – серьезно сказала она, посмотрев на меня, и при свете уличного фонаря я увидел, что лицо у нее озабоченное. Кожа на лице была гладкая, как будто натянутая на безупречную лепку костяка. В этом лице не было ничего лишнего и всегда угадывалось напряжение, долгой тренировкой загнанное внутрь, спрятанное под невозмутимой гладкой оболочкой, как пламя под стеклом. Но я видел, что сегодня она напряжена больше обычного. Казалось, если вывернуть фитиль еще чуть-чуть, стекло лопнет.

Я молчал. Мы сделали еще несколько шагов, и она сказала:

– Потом. Пройдемся немного.

Мы шли. Позади остались бары, бильярдные и рестораны, где за вращающимися дверьми гоготала и хныкала музыка. Мы шагали по грязной темной улочке, а в тени стен неслись двое мальчишек, перебрасываясь краткими, глухими, одиноко звучащими окликаками, как болотные птицы. Все ставни были заперты, кое-где сквозь них проникало тонкое лезвие света или слабый звук голосов. Ближе к лету, когда потеплеет, здесь на крылечках по вечерам будут сидеть и переговариваться люди, а изредка — если вы мужчина и проходите мимо — женщина позовет вас скучным голосом: «Эй, дорогой, хочешь?»

Потому что здесь начинается район притонов и некоторые из этих домов — притоны. Но в начале весны, ночью, всякая жизнь — и хорошая жизнь, и плохая — прячется в скорлупки из мокрого щербатого кирпича и трухлявого дерева. А через месяц, в начале апреля, когда за городом водяные гиацинты покроют каждый вершок черной воды в старице, заводи, ручье и лагуне диким мясом всех оттенков от церковно-лилового до похабно-багрового; когда свежая зелень на старых кипарисах, туманная и томительная, как девичий сон, станет хвоей, а не черт знает чем; когда глянцевого, склизкого, красно-

бурые мокасиновые змеи толщиной в руку потянутся из болота, поползут через шоссе и передняя шина — крраш, — переехав одну из них, шваркнет ею по изнанке крыла; когда мошкара закипит над болотами, днем и ночью будоража воздух шумом электрического вентилятора; когда совы в болотах заухают и заплачут голосами любви, смерти и вечного проклятия или одна из них всплывет из крошечной тьмы в луч вашей фары и взорвется на радиаторе, словно вспоротая перьевая подушка; когда поля утонут в буйной ворсистой или клейкой сочной траве, которую скотина жрет и жрет и не нагуливает мяса, потому

что трава растет из чернозема и, куда бы ни шли ее корни, в какую бы ни забирались глубь, они не находят ничего, кроме жирной черной комковатой земли — ни камушка, чтобы отдал траве кальций, — так вот, через месяц, в начале апреля, когда все это будет твориться за городом, треснут скорлупки старых домов на улице, где очутились мы с Анной Стентон, и выплеснется на ступеньки и тротуар закупоренная в скорлупках жизнь.

Но теперь улица была пуста и темна, в конце квартала стоял покосившийся фонарь, маслянисто блестел в его лучах булыжник, и все это, вместе с запертыми ставнями,

напоминало декорацию. Сейчас ленивой походкой выйдет героиня, прислонится к фонарному столбу и закурит сигарету. Однако героиня не появилась, и мы с Анной продолжали идти среди декораций, которые только тогда переставали казаться картонными, когда ты трогал бархатистый влажный кирпич или шершавую штукатурку. Мы молчали. Может быть, потому, что любое слово, произнесенное в таком похожем на декорацию месте и таком безумно коло-ри-итном, прозвучит так, будто его написал патлатый, вихлявый в бедрах молодой человек, ютящийся в мансарде одного из этих картонных домов (с окнами на

внутренний дворик — о господи, непременно на внутренний дворик) и сочинивший для театра-студии пьесу, в начале которой героиня идет ленивой походкой по темной улочке между картонных домов и прислоняется к покосившемуся фонарю, чтобы закурить сигарету. Но Анна Стентон не была героиней — она не прислонилась к столбу и не произнесла ни слова.

Наконец мы вышли к реке, где стояли склады и пирсы выдавались в воду, точно пальцы. Железные крыши тускло поблескивали в лучах фонарей. Над громадами пирсов плавал и клубился густой туман; в редких его разрывах то отливала

бархатом, то мерцала, как железо, то лоснилась, как черный прилизанный мех котика, неподвижная поверхность воды. В темном небе за доками едва виднелись куцые трубы грузовых пароходов. Где-то ниже по течению вскрикивал и жаловался гудок. Мы шли мимо пирсов и смотрели на черную реку, застланную ватным, клочковатым одеялом тумана. Туман висел над самой водой, и, глядя на него сверху, легко было вообразить, что ты стоишь ночью на горе и под тобой — земля, затянутая облаками. На том берегу горело несколько огоньков.

Мы вышли к пристани, где летом, в поту и сутолоке, с детьми на

руках, грузятся на ночную прогулку при луне толпы орущих, пьющих виски и лимонад экскурсантов. Но сейчас тут не было большого колесного парохода, белого, как свадебный торт, с золотыми и красными украшениями, вычурного и неправдоподобного; не слышалось ни свистков, ни каллиопы, играющей «Дикси». Тут было тихо, как в могиле, и пусто, как в Гоби безлунной ночью. Мы дошли до конца причала и прислонились к перилам.

— Ну так что? — сказал я.

Она не ответила.

— Ну так что? — повторил я. —

Мы, кажется, хотели поговорить?

– Насчет Адама, – сказала она.

– Что насчет Адама? – спокойно спросил я.

– Сам знаешь – прекрасно знаешь, ты был у него и...

– Слушай, – сказал я, чувствуя, что голос мой стал резким, а в голову бросилась кровь, – да, я был у него и предложил ему работу. Он – взрослый человек и, если работа ему не нравится, пусть не берет. Чем же я виноват...

– Я тебя не виню, – сказала она.

– Нечего на меня наскокивать, – сказал я, – если Адам не может ни на что решиться и ему нужна нянька, я не виноват.

– Я тебя не виню, Джек. Какой

ты стал раздражительный и обидчивый. — Она накрыла ладонью мою руку на перилах, похлопала, и я почувствовал, что давление во мне упало на несколько атмосфер.

— Если он не может о себе позаботиться, ты... — начал я.

Но она резко оборвала меня:

— Не может. В том-то и беда.

— Да пойми, я просто предложил ему работу.

Рука, которая должна была успокоить меня и сбавить давление, внезапно сжалась и запустила пальцы дьявольски глубоко в мое мясо. Я вздрогнул, но, даже вздрогнув, расслышал, как она произнесла, тихо и напряженно,

почти шепотом:

– Ты можешь его убедить.

– У него своя голова на... –

начал я.

Но она опять меня перебила:

– Ты должен его уговорить –

должен.

– Что за чертовщина! – сказал я.

– Должен, – повторила она

прежним голосом, и под ее пальцами на моей руке, наверно, выступила кровь.

– Минуту назад ты набросилась

на меня за то, что я предложил ему

работу, – сказал я, – а теперь,

выходит, я же должен его

уговаривать.

– Надо, чтобы он согласился, –

сказала она, отпустив мою руку.

— Ничего не понимаю, — пробормотал я, обращаясь к черному межзвездному пространству, и посмотрел на нее. Было темно — я различал только ее неестественно белое, меловое лицо и темный блеск глаз, но видел, что ей не до шуток. — Значит, ты хочешь, чтобы он согласился? — медленно проговорил я. — Ты, дочь губернатора Стентона и сестра Адама Стентона, хочешь, чтобы он пошел на эту работу?

— Ему это необходимо, — сказала она, и я увидел, как ее маленькие руки в перчатках сжали перила, и пожалел перила. Она смотрела на клубящийся ковер тумана, словно на

ночной мир под горой, скрытый облаками.

– Почему? – спросил я.

– Я пошла к нему, – сказала она, по-прежнему глядя на реку, – чтобы поговорить об этом. Когда я к нему шла, я еще не была уверена, что ему это нужно. Но когда я его увидела, я поняла.

Что-то в ее словах меня беспокоило, как шум за сценой, как соринка в углу глаза, как зуд, когда у тебя заняты руки и ты не можешь почесаться. Я прислушивался к ее словам, но дело было не в них. В чем-то другом. Я не мог понять в чем. Тогда я на время отодвинул этот вопрос и стал слушать дальше.

– Сразу поняла, как только его увидела, – продолжала она. – Джек, он был такой взвинченный, это ненормально – я ведь только спросила его. Он отгородился от всего, от всех. Даже от меня. Ну, не совсем... но у нас все не так, как раньше.

– Он страшно занят, – вяло возразил я.

– Занят, – откликнулась она, – занят, да, он занят. Он со студенческих лет работает, как негр. Что-то подхлестывает его... подхлестывает. Не деньги, не репутация, не... Я не знаю что... – Голос ее затих.

– Все очень просто, – сказал я. –

Он хочет творить добро.

— Добро, — повторила она. — Раньше я тоже так думала... Да, он делает много добра... Но...

— Но что?

— Ну, я не знаю... Нехорошо так говорить... Нехорошо... Но иногда мне кажется, что работа... желание приносить пользу... все это для того, чтобы отгородиться. Даже от меня... Даже от меня...

Потом она сказала:

— Ох, Джек, мы так поссорились. Это было ужасно. Я пришла домой и проплакала всю ночь. Ты знаешь, как мы всегда дружили. И такая ссора. Ты знаешь, как мы относились друг к другу?

Знаешь? – Она схватила меня за руку, словно принуждая меня признать, подтвердить, как они дружили.

– Да, – сказал я, – знаю. – Я посмотрел на нее и вдруг испугался, что она опять заплачет, но она не заплакала, я зря испугался, потому что такие плачут только ночью, в подушку. Если вообще плачут.

– Я сказала ему... сказала, что если он хочет приносить пользу – действительно приносить пользу, – то это самое подходящее место. И самый подходящий случай. Взять в свои руки медицинский центр. И даже расширить его. Словом, понимаешь. А он сразу стал как чужой... сказал, что близко не

подойдет к этому месту. Я упрекала его в эгоизме, в эгоизме и гордости — что он свою гордость ставит выше всего. Выше общей пользы, выше своего долга. А он посмотрел на меня с такой яростью, потом схватил меня за руку и сказал, что я ничего не понимаю, что у человека есть перед собой обязательства. Я сказала, что это гордыня, просто гордыня, а он сказал: «Я горжусь тем, что не пачкался в грязи, и, если тебе это не нравится, можешь...» — Она замолчала и вздохнула, по-видимому набираясь духу, чтобы закончить фразу. — В общем, он хотел сказать, чтобы я убиралась. Но не сказал. Слава богу... — она снова замолчала,

– слава богу, не сказал. Хотя бы этого не сказал.

– Да он и не хотел сказать.

– Не знаю... Не знаю. Ты бы видел, какие злые у него были глаза и какое белое, искаженное лицо. Джек, – она дернула меня за руку, словно я увиливал от ответа, – почему он не хочет? Почему он так ведет себя? Неужели он не понимает, что это его долг? Что лучше его никто с этим не справится? Почему. Джек? Почему?

– Если говорить грубо, – ответил я, – потому что он – Адам Стентон, сын губернатора Стентона, внук судьи Пейтона Стентона и правнук генерала Моргана Стентона и всю свою жизнь прожил с мыслью, что

был такой век, когда всем распоряжались возвышенные, симпатичные люди в чулках и башмаках с серебряными пряжками, в мундирах континентальной армии, или во фраках, или даже в енотовых и оленьих шапках – могло быть и так, ведь Адам Стентон у нас не сноб, – которые собирались за круглым столом и пеклись о народном благе. Потому что он – романтик, он создал в своей голове картину мира, и, когда мир не похож на эту картину, ему хочется послать мир к чертям. Даже если придется выплеснуть с водой ребенка. А этого, – добавил я, – не миновать.

Она слушала меня внимательно.

Потом отвернулась, посмотрела на затянутую туманом реку и прошептала:

— Надо, чтобы он согласился.

— Ну, — сказал я, — если ты хочешь, чтобы он согласился, ты должна изменить картину мира в его голове. Насколько я знаю Адама Стентона. — А я знал Адама Стентона и в эту минуту мысленно видел его худое, жесткое лицо с сильным ртом, похожим на аккуратно зашитую рану, и глубоко посаженные глаза, сверкающие, как голубой лед.

Она не ответила.

— Другого способа нет, — сказал я, — и советую тебе примириться с этой мыслью.

– Надо, чтобы он согласился, – прошептала она, глядя на реку.

– Ты очень этого хочешь?

Она повернулась ко мне, и я внимательно посмотрел на ее лицо. Потом она сказала:

– Больше всего на свете.

– Ты серьезно говоришь? – сказал я.

– Серьезно. Он должен. Для своего же спасения. – Она опять схватила меня за руку. – Это нужно ему. Больше чем кому бы то ни было. Ему.

– Ты уверена?

– Да, да, – сказала она с жаром.

– Значит, ты правда хочешь, чтобы он согласился? Больше всего

на свете?

— Да, — ответила она.

Я вглядывался в ее лицо. Это было прекрасное лицо — а если не прекрасное, то лучше, чем прекрасное: гладкое, вылепленное экономно и безупречно, матово-белое в сумраке, с темными мерцающими глазами. Я вглядывался в ее лицо, забыв обо всем, и все вопросы уплыли куда-то, словно упали в туман под нами и их унесло масляное беззвучное течение.

— Да, — повторила она шепотом.

Но я продолжал вглядываться в ее лицо — теперь я видел его по-настоящему, впервые за все эти годы, ибо верно, вблизи можно увидеть

предмет, только отшелушив его от времени и вопросов.

– Да, – прошептала она и мягко опустила руку на мой рукав.

Это прикосновение заставило меня очнуться.

– Хорошо, – сказал я, встряхнувшись, – но ты не знаешь, о чем просишь.

– Это неважно. Ты можешь его убедить?

– Могу.

– Почему же ты этого не сделал? Чего... чего ты ждал?

– Вряд ли... – медленно начал я, – ...вряд ли я бы взялся за это... взялся таким образом... если бы ты, ты сама меня не попросила.

– Как ты это сделаешь? – спросила она, сжав мою руку.

– Просто, – сказал я. – Я могу исправить картину мира, которую он себе нарисовал.

– Как?

– Я могу преподать ему урок истории.

– Урок истории?

– Да, я же историк, разве ты забыла? А нам, историкам, полагается знать, что человек очень сложная штука и что он не бывает ни плохим, ни хорошим, но и плохим и хорошим одновременно, и плохое выходит из хорошего, а хорошее – из плохого, и сам черт не разберет, где конец, а где начало. Но Адам, он

ученый, и у него все разложено по полочкам: молекула кислорода всегда ведет себя одинаково, когда встретит две молекулы водорода, вещь всегда остается сама собой — а поэтому, когда романтик Адам создает в своей голове картину мира, она получается точно такой же, как картина, с которой работает Адам-ученый. Все аккуратно. Все по полочкам. Молекула хорошего всегда ведет себя одинаково. Молекула плохого всегда ведет себя одинаково. Тут...

— Прекрати, — приказала она, — прекрати, скажи мне. Ты не хочешь отвечать. Ты нарочно морочишь мне голову. Говори.

— Ладно, — сказал я. — Помнишь,

я спросил тебя, был ли судья Ирвин разорен? Так вот, он был разорен. Жена его тоже оказалась бедной. Он только думал, что она богата. И он взял взятку.

– Судья Ирвин? Взятку?

– Да, – сказал я. – И я могу это доказать.

– Он... Он был другом отца, он... – Она замолчала, выпрямилась, отвернулась от меня, посмотрела на реку и твердым голосом, словно обращаясь не ко мне, а ко всему свету, сказала: – Ну, это ничего не доказывает. Судья Ирвин.

Я не ответил. Я тоже смотрел в темноту, в клубящийся туман.

Но хотя я и не смотрел на нее, я

почувствовал, что она опять ко мне повернулась.

— Ну, скажи что-нибудь, — попросила она, и я уловил в ее голосе тревогу.

Но я ничего не сказал. Я стоял и ждал; ждал. В тишине было слышно, как плещет о сваи скрытая туманом вода.

Потом она сказала:

— Джек... А отец... Отец... он...

Я не ответил.

— Трус! Боишься сказать?

— Почему? — сказал я.

— И он тоже? Взятку? И он? —

Она с силой дергала меня за руку.

— Не совсем, — сказал я.

— Не совсем, не совсем, —

передразнила она и расхохоталась, не выпуская моей руки. Вдруг она отпустила меня, гадливо оттолкнула мою руку и отодвинулась. — Не верю, — объявила она.

— Это правда, — сказал я. — Он знал про Ирвина и покрывал его. Могу доказать. У меня есть документы. Очень жаль, но это правда.

— А-а, жаль! Тебе жаль. Ты раскопал... всю эту грязь — для него... для этого Старка... для него — и теперь тебе жаль. — Она опять расхохоталась и вдруг бросилась бежать по причалу, спотыкаясь и не переставая смеяться.

Я побежал за ней.

Я почти нагнал ее у конца пристани, но тут из тени складов появился полицейский и крикнул:

– Эй, друг!

В ту же секунду Анна споткнулась, и я схватил ее за руку. Она плохо держалась на ногах.

Полицейский подошел.

– В чем дело? – спросил он. – Вы зачем гоняетесь за дамой?

– У нее истерика, – быстро заговорил я, – я хочу ей помочь, она немного выпила, самую малость, и у нее истерика, у нее большое потрясение, горе...

Полисмен, грузный, приземистый, волосатый, неуклюже шагнул к нам, наклонился к ее рту и

шумно втянул носом воздух.

— ...у нее потрясение, она расстроена, поэтому она немного выпила, и у нее истерика. Я хочу отвести ее домой.

Его мясистое, в черной щетине лицо повернулось ко мне.

— Я вас отвезу домой, — протянул он, — в фургоне. Если будете нарушать.

Это была трепотня. Я понимал, что он просто треплется от нечего делать, от скуки — время позднее, и ему охота себя послушать. Я понимал это, и мне надо было сказать с почтением, что я больше не буду, или засмеяться, может, даже подмигнуть — мол, конечно, капитан, мы поедем

домой. Но я не сказал ни того, ни другого. Я был взбудоражен, а она качалась у меня в руках, шумно дыша и всхлипывая, и эта одутловатая, сизая рожа торчала у меня перед глазами. И я сказал:

— А ну попробуй.

Глаза у него слегка выкатились, щеки налились черной кровью, и он пододвинулся к нам вплотную, поигрывая дубинкой.

— И пробовать не буду, заберу вас обоих. А ну!

Потом он сказал: «Пройдемте», ткнул меня концом дубинки и повторил: «Пройдемте», толкая меня к концу пристани, где, наверно, был их телефон.

Я сделал два или три шага, чувствуя конец дубинки на пояснице и волоча Анну, которая не произносила ни слова. Потом я вспомнил:

— Вот что, если ты не хочешь завтра утром вылететь со службы, лучше послушай меня.

— Поговори, — отозвался он и ткнул меня в почку, посильнее.

— Если бы не дама, — сказал я, — я бы тебе не мешал нарываться на неприятности. Я могу поехать в участок. Но пеняй на себя.

— Пеняй, — откликнулся он, сплюнув в сторону, и снова меня ткнул.

— Я полезу к себе в карман, —

сказал я, — не за пистолетом, за бумажником и покажу тебе одну вещь. Ты когда-нибудь слышал про Вилли Старка?

— Ну, — сказал он. И ткнул.

— А про Джека Бердена слышал, — спросил я, — про газетчика, который вроде секретаря у Вилли?

Он задумался на секунду, не переставая меня подталкивать.

— Ну, — буркнул он.

— Тогда, может, посмотришь на мою визитную карточку? — сказал я и полез за бумажником.

— Не лезь, — сказал он, положив дубинку на мою поднятую руку, — не лезь, сам достану.

Он залез ко мне в карман, вынул

бумажник и начал его открывать. Из принципа.

– Открой, – сказал я, – и я тебя все равно уволю, забереешь ты меня или нет. Давай сюда.

Он отдал мне бумажник. Я вытащил карточку и сунул ему.

Он разглядывал ее в потемках.

– Щ-щерт, – прошипел он, как спущенный детский шарик, – откуда же я знал, что вы из Капитолия?

– В другой раз узнай, – сказал я, – раньше чем начнешь развлекаться. Ну-ка, вызови мне такси.

– Сейчас, сэр, – сказал он, ненавидя меня заплывшими свинячьими глазками. – Сейчас, сэр, – сказал он и пошел к телефону.

Вдруг Анна вырвалась, и я подумал, что она хочет убежать. Я опять схватил ее.

— О, ты такой замечательный, — хрипло прошептала она, — такой замечательный... ты великолепен... перехашил хама... справился с полицейским... ты замечательный...

Я стоял и держал ее, стараясь не слушать и ощущая только тяжесть внутри, словно холодный камень.

— ...ты такой замечательный — и чистый, и все так замечательно... и чисто...

Я не отвечал.

— ...до чего же ты замечательный... чистый, сильный — герой...

– Извини, я вел себя как сукин сын, – сказал я.

– Не понимаю, что именно ты имеешь в виду? – прошептала она издевательски ласково, с ударением на «именно», расчетливо всаживая это слово мне в бок, как бандерилью. Потом она отвернулась и больше на меня не смотрела; локоть, который я сжимал, вполне мог быть локтем манекена, а холодный камень у меня в животе был покрыт слизью, и свинячьи глазки на опухшем, сизом лице вернулись и ненавидели меня в промозглой темноте, и на реке завывал гудок, а в такси Анна Стентон сидела у двери, очень прямо, как можно дальше от меня, и

свет уличных фонарей
проскальзывал по ее белому лицу. Со
мной она не разговаривала. До тех
пор пока мы не выехали на улицу, где
проходил трамвай. Тогда она сказала:

– Выходи. Отсюда доедешь на
трамвае. Я не хочу, чтобы ты меня
проводил.

И я вышел.

На шестой вечер я услышал
голос Анны Стентон в трубке.

Он сказал:

– Эти... эти бумаги, которые ты
раздобыл... пришли их мне.

Я сказал:

– Я принесу.

Голос сказал:

– Нет. Пришли их.

Я сказал:

– Ладно. У меня есть одна лишняя фотокопия. Завтра я сниму копии с остальных и пришлю все вместе.

Голос сказал:

– Фотокопия. Значит, ты мне не веришь.

Я сказал:

– Завтра пришлю.

В черной трубке щелкнуло, потом слышалось жалобное гудение – звук уносящихся от вас пространств, бесконечности, абсолютной пустоты.

Каждый вечер, вернувшись к

себе в номер, я смотрел на телефон. Я говорил себе: «Он зазвонит». Однажды мне даже показалось, что он зазвонил, потому что этот звон жил в каждом моем нерве. Но телефон не звонил. Я просто задремал. Однажды я снял трубку и поднес ее к уху, чтобы послушать слабое гудение — звук тех разнообразных вещей, которые я перечислил выше.

Каждый вечер я спрашивал у портъе, не звонили ли мне. Да, иногда мне звонили и оставляли свои номера. Но ее номера не было.

Тогда я подымался в свою комнату, где был телефон и портфель с фотокопией и письменным

свидетельством из Мемфиса. Я до сих пор не отдал их Хозяину. Я даже не сказал ему, что они существуют. Я собирался отдать — это входило в мои планы. Но не сейчас. Попозже. После того, как зазвонит телефон.

Но он не звонил.

А примерно через неделю, вечером, пройдя поворот в своем коридоре, я увидел женщину, которая сидела на скамейке недалеко от моей двери. Я достал ключ, вставил его и уже собирался войти, как вдруг почувствовал, что женщина стоит со мной рядом. Я повернулся. Это была Анна Стентон.

Она подошла беззвучно по толстому ковру, у нее была легкая

походка.

— Ты доведешь меня до разрыва сердца, — сказал я и, распахнув дверь, добавил: — Заходи.

— А ты не боишься за мою репутацию? — спросила она. — Ты ведь так за нее беспокоился.

— Помню, — сказал я, — но все равно заходи.

Она вошла в комнату и остановилась посередине, спиной ко мне; я захлопнул дверь. Я заметил, что в руке у нее, кроме сумки, коричневый конверт.

Не обернувшись, она подошла к столу у стены и бросила на него конверт.

— Вот они, — сказала она. —

Фотокопии. Я их возвращаю. Я вернула бы и оригиналы, если бы ты их мне доверил.

— Я знаю.

— Это ужасно, — сказала она, не поворачиваясь ко мне.

Я подошел к ней и тронул ее за плечо.

— Мне очень жаль, — сказал я.

— Это ужасно. Ты себе не представляешь.

Я не представлял себе, как это ужасно. Поэтому я и стоял позади нее, боясь до нее дотронуться.

— Ты не представляешь, — повторила она.

— Да, — сказал я, — не представляю.

— Это ужасно. — Потом она повернулась, и я, взглянув в ее широко раскрытые глаза, будто оступился в колодец. — Это ужасно, — сказала она. — Я показала ему эти... Он прочел их и стоял... Не пошевелился... Не сказал ни слова... Он стал белый, как простыня, и я слышала, как он дышит. Потом я тронула его... И он на меня посмотрел... долго смотрел. Потом сказал... Посмотрел на меня и сказал: «Ты». Больше ничего: «Ты». И смотрит.

— Черт подери, — сказал я, — ты-то в чем виновата, лучше бы он винил губернатора Стентона.

— Нет, — ответила она. — Он его

винит. В том-то и весь ужас. Как он его винит. Отца. Ты помнишь... ты помнишь, Джек... – она дотронулась до моей руки, – ...ты помнишь... отец... как он... как он читал нам... как он нас любил... как он учил Адама и гордился им... сам его учил и не жалел на это времени... Джек, как он сидел у камина – я была девочкой... и он читал нам, а я клала голову ему на колени... Джек, ты помнишь?

– Помню, – сказал я.

– Да, – сказала она, – да... мама умерла, и отец делал все, что мог... Он так гордился Адамом... А теперь Адам... теперь... – Она отпустила мою руку, отошла и в отчаянии сжала

пальцами виски. — Джек, что я наделала? — прошептала она.

— Ты сделала то, что считала правильным, — твердо ответил я.

— Да, — прошептала она, — да, конечно.

— Сделанного не воротишь.

— Да, не воротишь, — сказала она громко, и лицо ее вдруг напомнило мне Адама — твердой линией рта, туго натянутой кожей. Она вскинула голову, словно собираясь взглянуть в глаза всему миру, и я почувствовал, что могу заплакать. Если бы это было в моем обычае.

— Да, — сказал я, — не воротишь.

— Он сделает это, — сказала она.

И я чуть не спросил: «Что, что

сделает?» Ибо у меня вылетело из головы, зачем я рассказал Анне об отце, зачем я дал ей фотокопии, зачем она показала их брату. Я забыл, что это делалось ради чего-то. Но теперь я вспомнил и спросил:

– Ты его уговорила?

– Нет, – она покачала головой, – нет, я ничего не сказала. Отдала ему бумаги. Он сам понял.

– И что потом?

– Больше ничего. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты». И все. Потом я сказала: «Адам, Адам, не говори так, не надо, Адам, не надо!» А он говорит: «Почему?» Я говорю: «Потому что я люблю тебя, потому что я люблю отца». А он все глядит

на меня. Потом сказал: «Любишь его!» А потом: «Будь он проклят!» Я крикнула: «Адам, Адам!» – но он повернулся ко мне спиной, прошел в спальню и захлопнул дверь. Тогда я ушла и долго гуляла, одна, ночью. Нагуливала сон. Три дня он не звонил. Потом попросил меня прийти. Я пришла, и он мне их отдал. – Она показала на конверт. – Просил передать тебе, что согласен. Чтобы ты обо всем договорился. Больше ничего.

– А чего больше, – сказал я.

– Да, – ответила она и двинулась мимо меня к двери. Она взялась за ручку, повернула ее и приотворила дверь. Потом обернулась ко мне и

закончила: — Куда уж больше.

И вышла.

Но за порогом остановилась, положила руку на косяк.

— Вот что... — сказала она.

— Да?

— У меня к тебе просьба. Прежде чем ты дашь им ход... этим бумагам, покажи их судье Ирвину. Дай ему шанс. Хотя бы шанс.

Я согласился.

Сыто бормоча, тускло поблескивая капотом под фонарями — я видел его с заднего сиденья, — большой черный «кадиллак» катился по улице под деревьями, на которых уже распустились листья — было

начало апреля. Потом мы свернули на улицу, где деревьями и не пахло.

— Здесь, — сказал я, — справа, сразу за бакалеей.

Рафинад подвел машину к тротуару с бережностью матери, которая укладывает свое сокровище баиньки. Потом он выскочил и побежал открывать дверцу Хозяину, но Хозяин уже был на улице. Я тоже выкарабкался из машины и встал рядом с ним.

— Вот его берлога, — сказал я, двинувшись к подъезду.

Потому что мы приехали к Адаму Стентону.

Когда я сообщил Хозяину, что Адам Стентон согласен и просил

меня обо всем договориться, Хозяин сказал:

– Хорошо. – Потом он оглядел меня с головы до ног и заметил:

– Ты, наверно, Свенгали.

– Ага, – сказал я, – Свенгали.

– Надо с ним встретиться, – сказал Хозяин.

– Попробую его привезти.

– Сюда? – сказал Хозяин. – Я сам к нему съезжу. Черт подери, он сделал мне одолжение.

– А? Но ты ведь вроде губернатор?

– Ты прав, как никогда, – сказал Хозяин, – зато он – доктор Стентон. Когда мы едем?

Я сказал, что надо ночью, иначе

его не застанешь. И вот мы приехали ночью, вошли в подъезд большого грязного дома, взобрались по темной лестнице, натыкаясь на детские коляски, вдыхая запахи капусты и пеленок.

— Ну и место он себе выбрал, — заметил Хозяин.

— Ага, — согласился я, — многие не могут этого понять.

— Я, кажется, могу, — сказал Хозяин.

И пока я раздумывал, понятно ему или нет, мы оказались у двери, постучались, вошли и встретили спокойный взгляд Адама Стентона.

Какую-то долю секунды, пока в комнату пробирался Рафинад и я

закрывал за ним дверь, Адам и Хозяин молча смотрели друг на друга. Затем я повернулся и сказал:

— Губернатор Старк, познакомьтесь с доктором Стентоном.

Хозяин шагнул вперед и протянул руку. Может быть, мне показалось, но на лице Адама как будто мелькнуло сомнение, прежде чем он пожал ее. Впрочем, от Хозяина это тоже не ускользнуло, потому что, когда Адам подал ему руку, Хозяин, пожимая ее, вдруг ухмыльнулся и сказал:

— Ну вот, а ты боялся, я же тебя не съем.

И тут, честное слово, Адам тоже

улыбнулся.

Потом я сказал:

– А это мистер О’Шиин. – Рафинад проковылял к Адаму, протянул коротенькую ручку, на конце которой, как надутая перчатка, висела ладонь, скривил лицо и начал:

– Оч... оч...

– Очень приятно, – сказал Адам. Взгляд его задержался на выпуклости под левым локтем Рафинада. Он повернулся к Хозяину.

– Так это и есть один из ваших гангстеров? – спросил он, теперь уже определенно не улыбаясь.

– Да ну, – ответил Хозяин, – Рафинад его таскает просто для интереса. Рафинад – просто

приятель. А за баранкой он бог.

Рафинад смотрел на него как собака, которой только что почесали за ухом.

Адам стоял и молчал. Я подумал, что сделка вот-вот расстроится. Однако Адам сказал очень официально:

— Может быть, присядете, джентльмены?

Мы сели.

Рафинад потихоньку вытащил из кармана пальто кусок сахара, сунул в рот, втянул изможденные ирландские щеки, и глаза его блаженно затуманились.

Адам ждал, выпрямившись в кресле.

Хозяин, развалившись в другом, по видимости, не спешил. Наконец он произнес:

— Ну так что ты о ней думаешь, док?

— О ком? — осведомился Адам.

— О моей больнице.

— Я думаю, что она принесет нашим людям пользу, — ответил он. Потом добавил: — А вам — голоса.

— Насчет голосов ты можешь не беспокоиться, — сказал Хозяин. — Много есть способов добывать голоса, сынок.

— Это мне известно, — сказал Адам и отпустил Хозяину еще один увесистый ломоть молчания.

Посмаковав его, Хозяин сказал:

– Да, она принесет пользу. Но вряд ли большую, если ты не будешь директором.

– Я не потерплю никакого вмешательства, – сказал Адам и точно откусил конец фразы.

– Не беспокойся, – засмеялся Хозяин. – Выгнать тебя я могу, но вмешиваться не буду.

– Если это угроза, – сказал Адам, и в глазах его зажегся бледно-голубой огонек, – вы напрасно теряете время. Вы знаете мое мнение о нынешней администрации. Я не делаю из него секрета. И не собираюсь делать в дальнейшем. Это, надеюсь, понятно?

– Док, – сказал Хозяин, – док, ты

просто не разбираешься в политике. Скажу тебе прямо. Я могу управлять этим штатом и еще десятком таких, даже если ты будешь выть на каждом углу, как собака с прищемленным хвостом. Пожалуйста, сколько угодно. Но ты просто не понимаешь.

— Кое-что я понимаю, — угрюмо сообщил Адам, и рот его захлопнулся.

— А кое-чего не понимаешь, так же как и я, но одна вещь, которую понимаю-я и не понимаешь ты, это — от чего кляча скачет. Я могу расшевелить клячу. И еще одно — раз уж мы заговорили начистоту... — Хозяин вдруг замолчал, наклонил голову набок и улыбнулся Адаму: —

Или как?

— Вы сказали «и еще одно», — ответил Адам, игнорируя вопрос и не меняя позы.

— Да, еще одно. Постой, док, ты знаешь Хью Милера?

— Да, — сказал Адам, — знаю.

— Ну так вот, он работал со мной... генеральным прокурором — и ушел в отставку. А знаешь почему? — И продолжал, не дожидаясь ответа: — Он ушел в отставку потому, что не хотел пачкать ручки. Хотел дом строить, да не знал, что кирпичи из грязи лепят. Он был вроде того человека, который любит бифштексы, но не любит думать о бойне, потому что там нехорошие,

грубые люди, на которых надо жаловаться в Общество защиты животных. Вот он и ушел.

Я наблюдал за лицом Адама. Белое и застывшее, оно как будто было высечено из гладкого камня. Он был похож на человека, который ожидает приговора судьи. Или врача. На своем веку Адам, наверно, перевидел множество таких лиц. Ему приходилось смотреть этим людям в глаза и говорить то, что он должен был сказать.

— Да, — продолжал Хозяин, — ушел. Он из тех, которые хотят, чтобы волки были сыты и овцы целы. Знаешь эту породу, док?

Он кинул на Адама взгляд, как

кидают муху на крючке в ручей с форелью. Но у него не клюнуло.

– Да, старик Хью... Он так и не уразумел, что ты не можешь иметь все сразу. Что можешь иметь только самую малость. И только то, что сделал своими руками. А он, потому что получил в наследство кое-какие деньжата и фамилию Милер, он думал, что можно иметь все. И хотел он той последней пустяковины, которую как раз и нельзя получить в наследство. Знаешь какой? – Он пытливо смотрел на Адама.

– Какой? – сказал Адам после долгой паузы.

– Добра. Да, самого простого, обыкновенного добра. А его-то и

нельзя получить в наследство. Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла. Зла. Знаешь почему, док? – Он тяжело приподнялся в старом кресле, подался вперед, уперев руки в колени и задрал плечи, и из-под волос, упавших на глаза, уставился в лицо Адаму. – Из зла, – повторил он. – Знаешь почему? Потому что его больше не из чего сделать. – И, снова развалившись в кресле, ласково повторил: – Это ты знаешь, док?

Адам молчал.

Тогда Хозяин спросил еще мягче, почти шепотом:

– Ты знал это, док?

Адам облизнул губы и сказал:

– Я хочу задать вам один вопрос. Если, по-вашему, можно отправляться только от зла и только из зла можно делать добро, то откуда вы можете знать, что такое добро? Как вы его распознаете? Если вам приходится делать его из зла. Ответьте мне.

– С удовольствием, док, с удовольствием, – сказал Хозяин.

– Так ответьте.

– Ты изобретаешь его по ходу дела.

– Что изобретаю?

– Добро, – сказал Хозяин. – О чем мы тут толкуем битый час? Добро – с большой буквы.

– Значит, ты изобретаешь его по

ходу дела? — вежливо повторил Адам.

— А чем еще, по-твоему, занимаются люди вот уже миллион лет? Когда твой прапрадедушка слез с дерева, у него было столько же понятия о добре и зле, о правильном и неправильном, сколько у макаки, которая осталась на дереве. Ну, слез он с дерева, начал заниматься своими делами и по дороге придумывать Добро. Он придумывал то, что ему нужно было для дела, док. И то, что он придумывал, чему других заставлял поклоняться как добру и справедливости, всегда отставало на пару шагов от того, что ему нужно для дела. Вот потому-то у нас все и меняется, док. То, что люди

объявляют правильным, всегда отстают от того, что им нужно для дела. Ладно, какой-нибудь человек откажется от всякого дела — он, видите ли, понял, что правильно, а что нет, — и он герой. Но люди в целом, то есть общество, док, никогда не перестанут заниматься делом. Общество просто состряпает новые понятия о добре. Общество никогда не совершит самоубийства. По крайней мере не таким способом и не с такой целью. И это факт. Так или нет?

— Факт? — сказал Адам.

— Ты прав, док, это факт. А справедливость — это запрет, который ты налагаешь на

определенные вещи, хотя они ничем не отличаются от тех, на которые запрета нет. И не было еще придумано такого понятия справедливости, чтобы среди людей, которым его навязали, многие не подняли визга, что оно не дает им заниматься никаким человеческим делом. Да возьми хотя бы людей, которые не могут получить развод. Посмотри на хороших женщин, которых лупят мужья, на хороших мужчин, которых пилят жены, а они ни черта не могут с этим поделать. И тут оказывается, что развод — это благо. И до чего еще дойдет очередь, ты не знаешь. И я не знаю. Но я знаю одно. — Он замолчал и опять

наклонился вперед, уперев руки в колени.

– Да? – сказал Адам.

– Вот что. Я не отрицаю – должно быть понятие о справедливости для того, чтобы заняться делом; но, ей-богу, всякое такое понятие рано или поздно становится вроде затычки в бутылке с водой, которую бросили в горячую печь, как мы ребятами делали в школе. И дело человеческое, которое надо сделать, – как пар; он разорвет бутылку, он доведет учительницу до родимчика, он разорвет все, во что бы ты его ни закупорил. Но ты найди ему подходящее место, дай ему удобный выход, и он потянет

товарный поезд. — Он опять откинулся в кресло, веки его отяжелели, но глаза из-под спутанных волос смотрели внимательно, словно из засады.

Адам вдруг встал и прошелся по комнате. Он остановился перед холодным камином, где еще лежала зола и обгорелая бумага, хотя на дворе стояла весна и камин уже давно не топился. Окно было открыто, и в комнату с темной улицы втекал ночной воздух, с запахом не капусты и пеленок, а сырой травы и листьев — запахом в этой комнате неуместным. И я почему-то вспомнил, как однажды ночью в комнату, где я сидел, влетела ночная

бабочка – бледная, яблочно-зеленая, с красивым именем сатурния луна – большая, как летучая мышь, мягкая и беззвучная, как сон. Кто-то забыл закрыть дверь террасы, и бабочка кружилась над столами и стульями, словно большой бледно-зеленый шелковистый лист, кружилась и порхала неслышно под электрической лампой, где ей, конечно, было не место. И так же неуместен был в комнате Адама воздух ночи.

Адам облокотился на каминную полку, где грудой валялись книги, стояла чашка с засохшей кофейной гущей и можно было расписаться пальцем по пыли. Он стоял там,

словно в комнате не было ни души.

Хозяин наблюдал за ним.

– Да, – сказал Хозяин, не сводя с него глаз, – потянет товарный поезд и...

Но Адам перебил его:

– В чем вы пытаетесь меня убедить? Убеждать меня незачем. Я сказал, что берусь за работу. И это все! – Он с яростью поглядел на грузного человека в кресле и повторил: – Все! Мои мотивы вас не касаются.

Хозяин лениво улыбнулся, сел поудобнее и сказал:

– Да, твои мотивы меня не касаются, док. Но я подумал, что, может, тебе захочется узнать кое-что

о моих. Как-никак мы будем работать вместе.

– Я буду руководить больницей,
– ответил Адам и добавил, кривя губы: – Это у вас называется работать вместе?

Хозяин громко рассмеялся.
Потом встал с кресла.

– Док, – сказал он, – главное, не беспокойся. Я позабочусь, чтобы ты не испачкал лапок. Я позабочусь, чтобы ты был чистый как стеклышко. Я посажу тебя в эту красивую, антисептическую, стерильную, шестимиллионную больницу и заверну в целлофан, чтобы ни одна рука тебя не коснулась. – Он шагнул к Адаму и хлопнул его по плечу. –

Главное, не беспокойся, док.

— Я сам о себе позабочусь, — пообещал Адам и покосился на руку, лежавшую на его плече.

— Конечно, ты сам, док, — сказал Хозяин. И убрал руку с его плеча. Затем, неожиданно переменив тон, заговорил деловито и спокойно: — Ты, конечно, захочешь ознакомиться со всеми проектами. Они поступят к тебе на утверждение, как только ты проконсультируешься с архитекторами. По этому вопросу с тобой свяжется мистер Тод из компании «Тод и Уотерс». И можешь набирать себе штат. Теперь это твое хозяйство.

Он отвернулся, взял свою шляпу

с крышки рояля. Потом повернулся к Адаму и, как бы подводя итог, в последний раз окинул его взглядом.

— Ты большой человек, док, — сказал он, — и не верь, если тебя станут в этом разубеждать.

Затем он круто повернулся к двери и вышел, не дав Адаму ответить. Если тут было что отвечать.

Мы с Рафинадом двинулись за ним. Мы не задержались, чтобы сказать «спокойной ночи» и поблагодарить за гостеприимство. Это казалось излишним. В дверях я все же оглянулся и сказал: «Пока», но Адам не ответил.

На улице, у автомобиля, Хозяин замешкался. Потом сказал:

– Езжайте. Я пешком.

Он направился к центру мимо облезлого жилища Адама и маленькой бакалеи, мимо пансиончиков и наспех сколоченных домишек с верандами.

Когда я влез в машину на место Хозяина, в доме грянула музыка. Окно было открыто, музыка разносилась по всей улице. Адам дорвался до рояля, и тот гремел в ночной тишине, как Ниагарский водопад.

Мы тронулись, обогнали Хозяина, который шел, опустив голову, и даже не посмотрел на нас. Мы выехали на одну из хороших улиц, где деревья смыкались над

головой — листья их казались черными на фоне неба и бледными, почти белесыми вокруг фонарей. Теперь музыка Адама не достигала наших ушей.

Я откинулся на спинку, закрыл глаза и, отдавшись мягким покачиваниям и приседаниям машины, стал вспоминать, как Хозяин и Адам Стентон глядели друг на друга из разных углов комнаты. Я никогда не думал, что увижу эту сцену. Но она произошла.

Я обнаружил истину, выкопал ее из золы, из кладбищенской земли, из груды мусора на помойке и послал этот обрывок истины Адаму Стентону. Я не мог перекраивать

истину по мерке его представлений. Что ж, придется ему подгонять свои представления к истине. Так полагаем мы, историки... Истина сделает вас свободными.

Я ехал и думал об Адаме и об истине. И о Хозяине, о том, в чем, по его мнению, истина. В чем добро. В чем справедливость. И, убаюканный «кадиллаком», я спрашивал себя: верит ли он в то, что сказал? Он сказал: «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего делать». Что ж, он сотворил кое-какое добро из зла. Больницу. Больницу Вилли Старка, которая будет стоять, когда от самого Вилли Старка ничего не останется. Так

сказал Вилли Старк. Но если Вилли Старк верит, что добро всегда приходится делать из зла, почему он так забеспокоился, когда Крошка выступил с вполне логичным и невинным предложением насчет подряда? Неужели он так распалился из-за того, что Крошкина разновидность Зла может попасть в сырье, из которого он намерен сотворить Добро? «Ты, что, не понимаешь? — спрашивал меня Хозяин, выкручивая мой лацкан. — Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире, я не позволю таким, как Крошка, пакостить это дело. Я назову ее больницей Вилли Старка, и она

будет стоять, когда от нас с тобой ничего не останется и от всей этой сволочи ничего не останется...» Тут плохо сходятся концы с концами. Совсем не сходятся. Надо будет спросить об этом Хозяина.

Однажды я уже спрашивал его, но по другому поводу. В ту ночь, когда он отбился от судебного преследования. В ту ночь, когда народ, нахлынувший в город, стоял на лужайке у Капитолия, вытаптывая клумбы под бронзовыми статуями людей во фраках, мундирах и кожаных штанах, — людей, которые были Историей. Когда из высокой черной двери Капитолия навстречу голубым огням прожекторов вышел

Вилли Старк и, мигая, остановился на площадке высокой лестницы, грузный и медлительный с виду. Он стоял наверху один и казался таким затерянным и маленьким перед каменной машиной, вздымавшейся за его спиной; он стоял и мигал. Протяжный крик толпы: «Вилли, Вилли, мы хотим Вилли!» – утих при его появлении. Он ждал, и не было ни звука. И вдруг толпа взревела. Вилли не скоро поднял руку, чтобы ее успокоить. Потом рев стих, словно под нажимом медленно опускающейся руки.

Тогда он сказал: «Они хотели погубить меня – и погибли».

Снова раздался рев – и утих под

его рукой.

Он сказал: «Они хотели погубить меня, потому что им не нравятся мои дела. Вам мои дела нравятся?»

Раздался рев и утих.

Он продолжал: «Я скажу вам, что я намерен делать дальше. Я намерен построить больницу. Самую большую, самую лучшую на свете. Она будет принадлежать вам. Всякий больной или страждущий – будь то мужчина, женщина или ребенок – придет к ее дверям с уверенностью, что для него сделают все, что в человеческих силах. Излечат болезнь, облегчат страдания. Бесплатно. Не из милости. А по праву. Это ваше право.

Вы слышите? Это ваше право!»

Раздался рев.

Он сказал: «И это ваше право — чтобы каждый ребенок получил образование. Чтобы ни престарелый, ни инвалид не нуждались в хлебе, не просили подаяния. Чтобы человек, который производит товар, мог отвезти его на рынок, не завязнув по ступицу, беспошлинно. Чтобы дом и земля бедняка не облагались налогом. Чтобы богачи и большие компании, которые тянут деньги из штата, платили штату справедливую долю. Чтобы ни у одного из вас не отнимали надежду!»

Раздался рев, и, когда он замер, Анна Стентон, державшая меня под

руку и притиснутая ко мне толпой, спросила: «Он правда собирается это сделать? В самом деле?»

«Уже сделал, и немало», — сказал я.

«Да, — сказал Адам Стентон, кривя губы, — кинул им кость».

Я не ответил, я не успел придумать ответ, потому что наверху, на лестнице Вилли Старк снова заговорил:

«Я сдержу свое слово. И да поможет мне бог. Я буду жить вашей волей и вашим правом. И если кто-нибудь помешает мне осуществлять ваше право и вашу волю, я уничтожу его. Я уничтожу его вот так! — Он раскинул руки на высоте плеч и с

размаху всадил правый кулак в левую ладонь. – Вот так! Я разmozжу его. Я перебью ему голени и бедра, таз и позвоночник. В почку, в затылок, в челюсть, в солнечное сплетение. Я буду бить чем попало. Без разбору!»

Под рев толпы я закричал в ухо Анне: «Будь уверена, это он сделает».

Не знаю, слышала ли меня Анна. Она следила за человеком на лестнице, который наклонялся к толпе с выпученными глазами и говорил: «Я зарублю его. Я зарублю его мясницким топором!»

Он вскинул руки над головой так, что рукава пиджака сползли и открыли манжеты, распрямил ладони и сжал. Он завопил: «Дайте

мне этот топор!»

И толпа взревела.

Он медленно опустил руки, призывая к молчанию.

Потом сказал: «Ваша воля — моя сила».

И, выждав, произнес в тишине: «Ваша нужда — мой закон».

Потом: «Все».

Он повернулся, медленно вошел в высокую дверь Капитолия и скрылся в темноте. Воздух наполнился ревом, еще более громким, чем прежде, и, подчиняясь его раскатам, что-то набухало и опадало во мне, распирало меня, словно кровь или радость победы. И пока толпа ревела, я не мог отвести

глаз от черного проема в двери, где он скрылся.

Анна Стентон дергала меня за рукав. Она спросила меня: «Он правда этого хочет, Джек?»

«Черт, – сказал я и услышал в своем голосе бешенство, – а я почему знаю, черт подери?»

Адам Стентон вмешался, кривя рот: «Закон! Он толкует о законе».

И вдруг меня полоснула ненависть к Адаму Стентону.

Я сказал им, что должен идти – это была правда, – и пробился сквозь толпу к полицейскому заграждению. Затем я обогнул Капитолий и у заднего выхода встретился с Хозяином.

А поздно ночью в резиденции, после того, как он выгнал из кабинета Крошку с компанией, я задал Хозяину вопрос. Я спросил его: «Ты все это говорил серьезно?»

Развалившись на большой кожаной кушетке, он пристально посмотрел на меня: «Что?»

«Ну что ты говорил сегодня вечером, — ответил я. — Что их воля — твоя сила. Что их нужда — твой закон. И прочее».

Он продолжал смотреть на меня, цепляя, щупая своими выпученными глазами.

«Ты же это сказал».

«Черт меня подери, — выкрикнул он, не сводя с меня глаз, — черт меня

подери... — Он сжал кулак и дважды ударил себя в грудь. — Черт меня подери, что-то сидит вот тут, что-то прет...»

Он оборвал фразу. Он отвел от меня взгляд и хмуро уставился в камин. Я больше не настаивал.

Вот так однажды я задал ему вопрос; это было давно. А теперь я хотел задать ему новый вопрос. Если он полагает, что добро приходится делать из зла, ибо больше его не из чего сделать, то зачем было так волноваться и так усердно ограждать от Крошки больницу Вилли Старка?

Был и еще один вопросик. Его мне придется задать Анне Стентон. Он возник у меня в ту ночь на

пристани, когда Анна сказала, что ходила к Адаму Стентону, «чтобы поговорить об этом» — о предложении заведовать больницей Вилли Старка. Что-то в ее словах меня беспокоило, как зуд, когда у тебя заняты руки и ты не можешь почесаться. В пылу разговора я не мог определить, что меня беспокоит. Тогда я отставил эту кашу на край печки, чтобы она допрела. И там она допревала несколько недель. Но однажды ни с того ни с сего она перекипела через край, и я понял, что меня беспокоило: откуда Анна Стентон узнала об этом предложении?

Одно было несомненно. Я ей не

говорил.

Может быть, ей сказал Адам, а потом она пошла к нему, «чтобы поговорить об этом»? И я отправился к Адаму, который остервенело работал (кроме обычной практики и преподавания, на нем теперь был проект больницы) и вот уже месяц, по его словам, не мог добраться до рояля. Он совсем осунулся от недосыпания и на меня смотрел холодно, а в обращении выказывал учтивость, чересчур никелированную для друга детства. Встретив такую учтивость, я не сразу собрался с духом, чтобы задать ему вопрос. Но в конце концов задал. Я сказал:

— Адам, в первый раз, когда

Анна говорила с тобой о... о работе... ну, о больнице... ты до этого...

А он отрезал, точно скальпелем:

— Не желаю это обсуждать.

Но мне надо было знать. И я спросил:

— Ты говорил ей об этом предложении?

— Нет, — сказал он, — и повторяю, я не желаю это обсуждать.

— Ладно, — сказал я и сам не узнал своего голоса, такой он был монотонный. — Ладно.

Он пристально посмотрел на меня, потом встал со стула и шагнул ко мне.

— Извини, — сказал он. — Извини,

Джек. Я немного не в себе. — Он помотал головой, как бы стараясь стряхнуть сон. — Не высыпаюсь. — Он подошел ко мне — я стоял, прислонившись к каминной доске, — заглянул мне в лицо, дотронулся до моей руки и сказал: — Извини, пожалуйста, Джек... что я так разговариваю, Анне я ничего не говорил. Извини.

— Забудь об этом.

— Я забуду, — пообещал он с замороженной улыбкой, похлопывая меня по руке, — если ты забудешь.

— Ну ясно, — сказал я, — ясно, забуду. Конечно, забуду. Все равно это не имеет никакого значения. Кто ей сказал. Наверно, я сам ей сказал.

Просто выскочило у меня из головы.

— Я говорю, постарайся забыть, как я тебя встретил, — уточнил он, — налетел ни с того ни с сего.

— А-а, — сказал я, — аа-а, ты про это. Конечно, забуду.

Он внимательно посмотрел на меня, в глазах у него появилось сомнение. Он помолчал. Потом сказал:

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Просто так, — ответил я, — просто так. Пустое любопытство. Но теперь я вспомнил. Я сам ей сказал. Ну да, наверно, так и было. Я не хотел ее впутывать в это дело. Как-то само получилось. Не хотел

устраивать переполох. Я нечаянно...
— И все время какая-то холодная,
безддушная часть мозга — эта старая
дева, это зеркало в уборной, в
которое смотрится пьяный, этот
тихий, размеренный голос, этот
червь, подтачивающий уважение к
себе, этот комментатор
наркотического кошмара, эта
мертвоголовая рассудочность,
безносая гостя каждого вашего
праздника, — все время эта часть
моего мозга твердила: «Ты только
путаешься: ты врешь и путаешься еще
больше, заткнись, болван!»

Адам, бледнея, говорил:

— Какой переполох? О чем ты?

Но я не мог остановиться. Вот

так, когда ваша машина въезжает на гололед за макушкой бугра и вы опоздали нажать на тормоза, вы испытываете восхитительное чувство свободного скольжения и готовы расхохотаться — до того вам легко и свободно, как в детстве.

Я слышал свой голос:

— ...ну, не то чтобы переполох, но... просто зря я напустил ее на тебя... я не хотел никаких осложнений... просто...

— Я не желаю это обсуждать, — повторил он и захлопнул рот. Он отошел в дальний угол комнаты, подобравшись, как на параде.

Я поспешил уйти, и никелированная его учтивость была

такой холодной и пронзительной, что «Пока» застряло у меня в горле, словно черствая корка.

Выходит, не он сказал Анне Стентон. И я не говорил. Кто же ей сказал? Я находил только одно объяснение: кто-то проболтался, пошли слухи, пересуды, которые докатились до Анны. Я принял это объяснение — если я действительно его принял, — наверно, потому, что с ним мне было легче всего примириться. Но в глубине души я знал, что Хозяин болтает только тогда, когда это в его интересах. А ему наверняка было ясно, что если поползут сплетни, то не видать ему Адама Стентона как своих ушей. Я

понимал это, но ум мой закрылся, как устрица, когда над ней проплывает тень. Ведь и устрице хочется жить, верно?

Но я узнал, кто рассказал Анне Стентон.

Было прекрасное утро в середине мая, как раз то утро и тот час, около половины десятого, когда белесоватостью воздуха и легкой молочной дымкой над рекой, виднеющейся вдали за окном, в последний раз напоминает о себе весна, которую ты почти забыл. Это время года — словно красивая грудастая дочка какого-нибудь нищего, запаленного издольщика, девушка, на которой лопается

ситцевое платье, но пока еще с тонкой талией, румяная, ясноглазая, с капельками молодой испарины на лбу, у корней льняных волос (в других кругах она называлась бы платиновой блондинкой), — но вы смотрите на нее и знаете, что скоро она превратится в старую каргу, в мешок костей, с лицом как ржавый багор. А сейчас вам становится страшно от ее красоты — если хорошенько в нее взгляните, — и точно такое же чувство вызывает этот час и это время года, хотя вы знаете, что июнь обернется мешком костей и лицом ведьмы, липкой от пота простыней при пробуждении и вкусом во рту, как от старой латуни.

Но сейчас листья на деревьях висели сочные, мясистые и еще не начали сворачиваться. Я смотрел из моего кабинета в Капитолии на раздутые шары, громадные пучки зелени, какими казались деревья с высоты моего окна, и воображал себе лабиринт листвы, тенистые залы близ ствола, где, может быть, сейчас уселась большая сварливая сойка и, словно восточный царек, уставилась черным блестящим, как бусина, глазом в зеленую чашу. Потом она бесшумно сорвется с сука, пробьет завесу зелени, растворится в солнечном свете и вдруг закричит, от натуги чуть не выворачивая себя наизнанку. Я смотрел вниз и

воображал, что сам спрятался в одном из этих шаров, в водяном полумраке зеленого зала и со мной нет никого, даже сойки, потому что она улетела, и ничего не видно, кроме зеленых листьев — так они густы, ничего не слышно, кроме слитного далекого бормотания улиц, похожего на шум океана, жующего свою жвачку.

Это была приятная, умиротворяющая мысль, и я, оторвавшись от созерцания деревьев, развалился в кресле, положил ноги на письменный стол, закрыл глаза и представил себе, как слетаю вниз и, пробив листву, окунаюсь в эту зеленую тишину. Я лежал, закрыв

глаза, слушал сонное жужжание вентилятора и почти физически ощущал полет и вслед за ним — тишину и неподвижность. Чудесное занятие. Если у тебя есть крылья.

Потом я услышал шум в приемной и открыл глаза. Хлопнула дверь. Потом послышалось шуршание какого-то быстро движущегося тела, в мою конуру по дуге влетела Сэди Берк, с маху захлопнула дверь и устремилась в моем направлении. Она стала перед столом, тяжело переводя дух.

Это было как в прежние времена. Я не видел ее в таком возбуждении с того утра, когда она узнала о чикагской Северной Нимфе,

которая закатилась на коньках в постель к Хозяину.

В то утро она вырвалась из его кабинета и, описав параболу, влетела в мой, с развевающимися черными волосами и лицом, похожим на выщербленную алебастровую маску Медузы, на которой горели, словно раздутые мехами, угольно-черные глаза.

С тех пор, конечно, у нее с Хозяином не раз возникали трения. Хозяин перепробовал все, от Северной Нимфы и до обозревательницы, ведущей колонку домашних советов в «Кроникл», и, хотя всепрощение было не в характере Сэди, в конце концов они

как-то притерлись, достигли своеобразного равновесия. «Черт с ним, – сказала мне как-то Сэди, – с кобелем, пусть побегает. Все равно ко мне вернется. Он знает, что без меня ему не обойтись». И угрюмо добавила: «Пусть лучше и не пробует». Но при всей своей ярости, при всех издевках, проклятиях и даже взрывах отчаяния, при всех словесных порках, которым она подвергала Хозяина – а язык у нее был как плетка о семи хвостах, – при всем том она, казалось, получала какое-то извращенное удовольствие, наблюдая за ходом нового, наперед известного во всех подробностях романа и дожидаясь, когда «сучке»

дадут пинка и Хозяин явится к ней, медлительный, уверенный, с терпеливой улыбкой на губах, чтобы получить очередную головомойку. Она и сама, наверно, перестала верить в пользу головомоек и даже перестала думать, что говорит. Сочные эпитеты давно потеряли аромат, а в монологах появилось что-то скрипучее, механическое, как у патефона, где игла застряла в бороздке, или у стосковавшегося по курятинке проповедника, который рысью пробирается по буеракам ортодоксии. Слова были те же, но душу в них не вкладывали.

Однако в то прекрасное майское утро все было по-другому. Как будто

вернулись прежние времена: грудь ее бурно вздымалась, а стрелка манометра ушла далеко за красную черту. Потом сработал предохранительный клапан.

— Он опять, — зашумела она, — опять за свое — клянусь богом...

— Что опять? — спросил я, хотя прекрасно знал, что опять. Новая сучка.

— Двуличная сволочь! — сказала она.

Я откинулся в кресле и посмотрел на нее. На лицо ее падал яркий, безжалостный утренний свет, но глаза были великолепны.

— Сволочь двуличная! — повторила она.

— Сэди, — запротестовал я, наблюдая ее в перекрестье своих башмаков на столе, — мы ведь уже проходили эту арифметику. Вы не имеете права упрекать его в двуличии. О двуличии может говорить Люси. Называйте его проделки столичными или неприличными, какими угодно. Только не двуличными. — Говоря это, я следил за ее глазами — нельзя ли ее еще немного раззадорить. Оказалось, можно.

Потому что она сказала:

— Вы... вы... — Но дальше у нее не хватило слов.

— Что я? — спросил я с обидой.

— Вы... вы... и ваши

благородные друзья... что они понимают... что они знают о жизни... Нужно вам было их впутывать.

— Это вы о чем?

— Может, я не благородная, может, я выросла в лачуге, но, если бы не я, он не был бы сейчас губернатором, и он это знает, и зря она радуется, потому что, будь она хоть трижды благородная, я ей покажу. Она у меня своих не узнает!

— Да о чем вы?

— Вы знаете о чем, — отрезала она и перегнулась ко мне через крышку стола, грозя пальцем, — вы сидите тут с улыбочкой и корчите из себя благородного. Да если б вы были

мужчиной, вы пошли бы и излупили его до полусмерти. Я думала, она ваша. А может, он и вас захомутал? Как этого доктора. — Она придвинулась ко мне еще ближе. — Может, он вас сделает директором больницы? Директором чего он вас сделает?

Под потоком слов, под разгневанным перстом и горящим взглядом я согнулся в пояснице, сбросил ноги на пол, встал перед ней, и кровь застучала у меня в висках, а перед глазами поплыли красные шарики, как бывает, когда ты резко поднимаешься; а слова все сыпались и сыпались. Пока не закончились вопросом.

— Вы хотите сказать, — начал я решительно, — что... что... — Я чуть не произнес имя Анны Стентон — оно стояло у меня перед глазами, словно написанное на вывеске, но почему-то застряло в горле, и я с удивлением почувствовал, что не могу его произнести. Я продолжал: — Что она... что она...

Но Сэди Берк как будто читала у меня в мыслях — и сунула мне это имя, как кулак под нос.

— Да, да, она самая, эта девица Стентон, Анна Стентон!

Я посмотрел в лицо Сэди, и на миг мне стало жалко ее до слез. Вот что меня удивило. Мне стало жалко Сэди. Затем я перестал чувствовать

что бы то ни было. Мне даже не было жалко себя. Я одеревенел, как деревянная ложка, и помню только, с удивлением обнаружил, что ноги мои, хотя и деревянные, прекрасно действуют и шагают прямо к вешалке, где моя правая рука, хотя и деревянная, поднимается, чтобы снять с крючка старую панаму, надевает ее на мою голову, а затем ноги шагают прямо к выходу и через длинную приемную по ковру, толстому и мягкому, как ухоженный газон, и через дверь выносят меня на звонкие мраморные плиты.

И — наружу, в мир, который казался еще больше, чем казался всегда. Он казался бесконечным

вдоль белой, залитой солнцем
бетонной дороги, которая петляла
между бронзовых статуй и ярких
клумб в форме звезд и полумесяцев;
бесконечным поперек зеленой
лужайки, уставленной большими
зелеными шарами деревьев;
бесконечным вверх, откуда солнце
обрушивало хрустальную лаву зноя,
чтобы испепелить тебя, ибо
последние следы весны исчезли,
исчезли навсегда — красивая, налитая
девушка в ситце, со сливочно-
персиковым лицом и чистыми
капельками испарины на лбу у
льняных волос тоже исчезла
навсегда, и отныне на твою долю —
мешок костей, лицо ведьмы, как

ржавый багор, зеленая ряска на усохшем пруду и обнажившееся дно его, в шелухе и трещинах, как короста.

Я не переставал удивляться, как хорошо действуют ноги, несущие меня по белому бетонному въезду, и как, несмотря на бесконечность въезда и лужайки с деревьями, они остаются за спиной и я двигаюсь по улице, словно вместившей в себя поток хрустальной лавы. С величайшим любопытством я вглядывался в лица прохожих, но не находил в них ничего прекрасного или примечательного и не вполне был уверен в их реальности. Ибо величайшее усилие требуется, чтобы

поверить в их реальность — чтобы
поверить в их реальность, вы должны
поверить в свою, а чтобы поверить в
свою, вы должны поверить в их, а
чтобы поверить в их, вы должны
поверить в свою — ать-два, ать-два,
как шагающие ноги. А если у вас нет
ног? Или если они деревянные? Но я
посмотрел на них — они шагали, ать-
два, ать-два.

Они шагали долго. Но спустя
вечность они принесли меня к двери.
Затем дверь открылась, и там, в
прохладной, белой, затемненной
комнате, одетая в бледно-голубое
льняное платье, свободно опустив
голые белые руки, меня встретила
Анна Стентон. Я знал, что это Анна

Стентон, хотя и не посмотрел на ее лицо. Я вглядывался в другие лица — во все, которые мне встречались, — и смотрел на них с величайшей откровенностью и любопытством. Но сейчас я не посмотрел ей в лицо.

Потом я поднял глаза. Она встретила мой взгляд твердо. Я ничего не сказал. Этого и не требовалось. Потому что, глядя мне в глаза, она медленно кивнула.

После того как в майское утро я посетил Анну Стентон, я ненадолго уехал из города, дней на восемь. В то утро я вышел из ее дома, отправился в банк, снял со счета немного денег, вывел из гаража машину, собрал чемодан и уехал. Я ехал по длинной белой дороге, прямой, как струна, гладкой, как стекло, глянцево-жидкой в мареве, гудящей под шинами, как оттянутый и отпущенный нерв. Я делал семьдесят пять миль в час, но никак не мог догнать лужицу, блестящую впереди, у самого горизонта. Позже

солнце стало бить мне в глаза, потому что я ехал на Запад. Тогда я опустил козырек, сощурился и вдавил в пол педаль газа. И продолжал ехать на Запад. Потому что все мы собираемся когда-нибудь поехать на Запад. На Запад ты едешь, когда истощается почва и на старое поле наступают сосны. На Запад ты едешь, получив письмо со словами: «Беги, все открылось». На Запад ты едешь, когда, взглянув на нож в своей руке, видишь, что он в крови. На Запад ты едешь, когда тебе скажут, что ты – пузырек в прибое империи. На Запад ты едешь, услышав, что там в горах полным-полно золота. На Запад ты едешь расти вместе со

страной. На Запад ты едешь доживать свой век. Или просто едешь на Запад.

Я просто ехал на Запад.

На другой день я был в Техасе. Я пересек места, где обитают желчные настырные баптисты, не расстающиеся с ножами. Затем я пересек места, где обитают кривоногие, мозолистозадые сыны прерий, которые ходят на высоких каблуках, носят пистолеты и лузгают человеческие жизни, а по субботам толпятся в аптеке или гурьбой валят за угол, на третью серию «Мести на Уксусном Ручье» с Джином Отри в роли Буры Пита. Но и там и здесь небо в дневное время было высоким горячим медным куполом, а в ночное

— черным бархатом и кока-кола — единственной потребностью человека. Затем — Нью-Мексико, торжественная пустыня с маленькими белыми заправочными станциями, раскиданными по песку, словно выбеленные солнцем коровьи черепа у скотопрогонной тропы, а дальше к северу — доблестные потомки героев битвы при Монмауте на последнем биваке, которые ходят в сандалиях и чеканном серебре и пробуют завязать разговор на перекрестках с потомками хопи^[40]. Затем — Аризона, величие и медлительный, недоверчивый взгляд овцы, до самой пустыни Мохаве. Вы проезжаете Мохаве ночью, но даже

ночью у вас дерет горло, словно вы
шпагоглотатель, проглотивший по
ошибке пилу, а в темноте маячат
горбатые камни и высокие кактусы,
словно фаллические образы
фрейдистского кошмара.

Затем – Калифорния.

Затем – Лонг-Бич,
квинтэссенция Калифорнии. Я
говорю так потому, что из всей
Калифорнии я видел только Лонг-
Бич и притязания других очевидцев
не собьют меня с толку. Я пробыл в
Лонг-Биче тридцать шесть часов и
провел их в номере гостиницы, если
не считать сорока минут, которые я
провел в парикмахерской гостиницы.

Утром я проколол шину и в

Лонг-Бич попал только к вечеру. Я выпил молочный коктейль, купил бутылку виски и поднялся в номер. За все путешествие я не выпил ни капли. Мне не хотелось. Мне не хотелось ничего, кроме гудения мотора, покачивания машины — и это я получил. Но теперь я чувствовал, что если не выпью виски, то, как только я лягу и закрою глаза, весь раскаленный, колышущийся континент навалится на меня из темноты. Я немного выпил, принял ванну, улегся в постель и, прикладываясь к бутылке, которую я ставил на пол у кровати, долго наблюдал, как неоновая реклама на другой стороне улицы вспыхивает и

гаснет в такт моему сердцебиению. После я хорошенько проспался. Встал в полдень. Заказал завтрак в номер и целую кипу газет, потому что было воскресенье. Прочел газеты, уяснив из них, что Калифорния ничем не отличается от других мест или по крайней мере хочет так о себе думать, а потом слушал радио, пока неоновая реклама снова не начала вспыхивать и гаснуть в такт моему сердцебиению, после чего я заказал ужин, съел его и снова улегся спать.

На следующее утро я поехал назад. Я ехал назад и уже не вспоминал того, что вспоминал уезжая.

Например. Но я не могу привести вам пример. Тут важен не один какой-нибудь пример, не какое-нибудь одно событие, но поток, ткань событий, ибо смысл не в самом событии, а в движении через событие. Иначе мы могли бы выхватить какой-нибудь миг из события и сказать, что он и есть само событие. Его суть. Но сделать это мы не можем. Ибо важно только движение. И я двигался. Я двигался на Запад со скоростью семьдесят пять миль, сквозь мелькание миллиондолларового пейзажа и героической истории, и двигался вспять сквозь время в глубину моей памяти. Говорят, что утопающий

заново переживает всю свою жизнь. Правда, я тонул не в воде, но я тонул в Западе. Я погружался в Запад сквозь слои раскаленных медных дней и черных бархатных ночей. Мне понадобилось семьдесят восемь часов, чтобы утонуть. Чтобы мое тело погрузилось на самое дно Запада и легло в неподвижный ил Истории – голое, на гостиничной койке в Лонг-Биче, Калифорния.

Под баюкающий рокот мотора в памяти, как кинолента, разворачивалось прошлое. Словно крутили семейную кинохронику, вроде тех, о которых в рекламе пишут, что вы сможете запечатлеть день, когда сделала свои первые

шажки Сюзи, когда пошел в детский садик Джонни, когда вы взошли на пик Пайк, день пикника на родительской ферме и день, когда вы стали начальником отдела сбыта и купили свой первый «бьюик». На рекламной картинке изображают седого добродушного джентльмена, такого же, как на рекламе виски (либо седую симпатичную бабушку), который смотрит семейную кинохронику и с нежностью вспоминает минувшие годы. Я не был ни седым, ни добродушным, но я устроил себе сеанс семейной кинохроники и с нежностью вспоминал минувшие годы. Поэтому, если вы когда-нибудь снимали такие

фильмы, я искренне вам советую сжечь их и второй раз креститься, чтобы начать жизнь сначала.

Я с нежностью вспоминал минувшие годы. Я сидел на ковре у камина с цветными карандашами, а ко мне наклонялся плотный человек в очках и черном пиджаке и протягивал шоколадку: «Но только разок откуси, скоро ужин». Голубоглазая светловолосая женщина со впалыми щеками тоже склонялась ко мне, целовала перед сном, и в комнате, где погасили на ночь свет, оставался после нее нежный запах. И судья Ирвин наклонялся ко мне в серенький рассветный час и говорил: «Ты води за ней ствол, Джек. Надо

вести ствол за уткой». И граф Ковелли прямо сидел на музейном стуле в длинной белой комнате, улыбаясь из-под черных подстриженных усов и держа в одной руке – небольшой, сильной руке, от пожатия которой морщились мужчины, – бокал, другой поглаживал сытую кошку у себя на коленях. Был там и Молодой Администратор с волосами, как помадка на круглом черепе. И мы с Адамом Стентоном плыли далеко от берега в лодке: белые паруса безжизненно висели в неподвижном воздухе, море напоминало раскаленное стекло, а вечернее солнце пылало, как стог, на

горизонте. И постоянно с нами была Анна Стентон.

Девочки носят белые платья с широкими юбками, из-под которых выглядывают смешные коленки; тупоносые лакированные туфли с перепонкой на пуговке; намамливают белые носки, чтобы они не морщились, а волосы у них заплетены в косичку и перевязаны голубой лентой. Такой была Анна Стентон, когда в воскресенье шла в церковь и там сидела тихо как мышь, задумчиво трогая кончиком языка то место, где только что выпал молочный зуб. Маленькие девочки сидят на подушке, задумчиво прижавшись щекой к папиному

колену, а он гладит шелковистые локоны и читает вслух красивые сказки. Такой была Анна Стентон. Маленькие девочки такие бояки, они долго пробуют носком воду, в первый раз выйдя весной на пляж, а когда волна вдруг обдаст их до пояса, они визжат и подпрыгивают на тонких, как ходули, ножках. Такой была Анна Стентон. Маленькие девочки вымазывают нос сажей, когда жарят сосиски на костре, а ты — уже большой мальчик и не пачкаешь нос сажей, — ты показываешь на нее пальцем и дразнишь: «Клякса-вакса, черный нос». Но в один прекрасный день, когда ты дразнишь ее, она больше не огрызается, как бывало, а

только поворачивает к тебе худенькое гладкое лицо и смотрит большими глазами. Губы ее дрожат, будто она сейчас заплачет, хотя она уже слишком взрослая, чтобы плакать, и под ее взглядом ухмылка слезает с твоего лица, ты поспешно отворачиваешься, делая вид, будто собираешь хворост. Такой была Анна Стентон.

Все солнечные дни у моря с просверком чайек в высоте были Анной Стентон. Но я этого не знал. И все пасмурные дни, когда с карнизов капало или с моря налетал шквал, а в камине трещал огонь, тоже были Анной Стентон. Но я и этого не знал. Потом пришло время, когда

ночи стали Анной Стентон. Но это я уже знал.

Это началось летом, когда мне было двадцать один, а ей семнадцать. Я приехал из университета на каникулы уже взрослым, выдавшим виды мужчиной. Приехал я во второй половине дня, быстро выкупался в море, пообедал и понесся к Стентонам повидать Адама. Я нашел его на веранде, в сумерках, с книгой (помню, это был Гиббон). И увидел Анну. Я сидел с Адамом, когда она вышла из комнаты. Посмотрев на нее, я почувствовал, что прошла целая вечность с тех пор, как я видел ее на рождество, когда она приехала в Лендинг на каникулы из школы

мисс Паунд. Теперь она явно не была той маленькой девочкой, которая носила тупоносые черные туфли с перепонкой и белые, намыленные носки. На ней было прямое белое полотняное платье, но прямой покрой и жесткое полотно, как ни странно, только подчеркивали мягкие линии тела. Ее волосы, заколотые узлом на затылке, были перевязаны белой лентой. Она улыбнулась, и эта улыбка, знакомая мне с детства, вдруг показалась новой; она сказала: «Здравствуй, Джек», а я держал ее сильную узкую ладонь и думал, что вот настало лето.

Лето настало. И совсем не такое, как все, что были раньше, и все, что

были потом. Днем я, как всегда, проводил много времени с Адамом, и, как всегда, Анна увязывалась за нами; она увязывалась за нами потому, что они с Адамом очень дружили. В то лето мы с Адамом играли в теннис по утрам, пока не начинало припекать, и Анна приходила с нами, садилась в ажурной тени мимоз и миртов, смотрела, как Адам гоняет меня по корту, и звонко хохотала, когда я спотыкался о собственную ракетку. Иногда она и сама гоняла меня, потому что играла она хорошо, а я — плохо. Она и на самом деле играла хорошо, несмотря на свою хрупкость; в ее тонких руках была настоящая

сила. И ноги у нее были быстрые; юбка захлестывала их, словно у танцовщицы, а белые туфли так и мелькали. Но лучше всего я помню ее в те утренние часы на задней линии корта, когда, поднявшись на цыпочки, она подавала — ракетка занесена над головой, откинута правая рука приподнимает грудь, а левая, из которой только что вылетел мяч, еще не опущена и словно что-то срывает в воздухе; лицо, строгое и сосредоточенное, обращено к яркому солнцу, широкому небу и белому мячику, повисшему в нем, словно земной шар в океане света. Да, это классическая поза, и очень жалко, что греки не играли в теннис, потому

что, если бы они играли в теннис, они непременно изобразили бы на греческой вазе Анну Стентон. А впрочем, едва ли. Ведь в этот миг тело, несмотря на всю свою пластику, слишком воздушно, слишком напряжено, слишком на цыпочках. Это миг перед взрывом, а на вазах греки таких состояний не изображали. Вот почему этот миг и запечатлен не на вазе в музее, а в моем мозгу, где никто его не видит, кроме меня. Ибо это мгновение перед взрывом, и взрыв происходил. Ракетка бьет, овечьи жилы звенят, и белый мячик несется на меня, а я, как водится, его пропускаю, гейм кончен, сет кончен, и мы идем домой

сквозь недвижимый зной дня, ибо роса уже высохла и утренний ветерок стих.

Но впереди у нас еще оставались послеполуденные часы. Во второй половине дня мы уходили купаться или сначала плавать под парусом, а потом купаться, все втроем, а иногда вместе с другими мальчиками и девочками, чьи родители жили на набережной или приезжали сюда погостить. После обеда мы снова собирались вместе и в потемках сидели у Стентонов или у нас на веранде, шли в кино либо купались при луне. Однажды вечером, когда я пришел к ним, Адама не было — он повез куда-то отца, — и поэтому я

пригласил Анну в кино. На обратном пути мы остановили машину — я взял открытую двухместную, потому что мать укатила со своей компанией на большой, — и любовались бухтой за мысом Хардин. Лунный свет протянулся по зыбкой воде холодной огненной межой. Казалось, этот белый огонь сейчас перекинется на весь океан, словно пожар в степи. Но сверкающая рябая полоса только чуть колыхалась и таяла у размытого светлого горизонта.

Мы сидели в машине, спорили о только что виденном фильме и смотрели на лунную дорожку. Постепенно разговор замер. Анна сползла на край сиденья, откинула

голову на спинку и стала смотреть в небо — верх машины был опущен, и лицо ее при лунном свете казалось гладким, как мрамор. Я тоже сполз на край и стал смотреть в небо — не знаю уж, каким там казалось мое лицо при лунном свете. Я думал, что вот сейчас протяну руку и обниму ее. Взглянув на нее украдкой, я увидел ее мраморно-гладкое лицо и руки, лежавшие на коленях ладонями вверх, с чуть согнутыми пальцами, словно готовыми принять подарок. Мне было очень легко дотянуться до нее, взять ее за руку и, принявшись за дело, поглядеть, далеко ли мы зайдем. Ибо я мыслил именно такими понятиями — затаस्कанными

ХОДОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ
университетского юнца, считающего
себя дьявольски опытным мужчиной.

Но я не протянул руки. Тот маленький кусок кожаной обивки, на котором она лежала, подставив лунному свету лицо и уронив на колени руки, казалось, отделен от меня тысячей миль. Я сам не понимал, почему не протягиваю руки. Я уверял себя, что ничуть не робею, ничуть не боюсь, я говорил себе: «Черт, она ведь еще ребенок, чего я на самом деле тяну — ну рассердится на худой конец, тогда я больше не полезу. Да и не рассердится она, — говорил я себе, — что она, не знает, для чего мы

остановились, для чего сидят с ребятами в машине – не для того же, чтобы в шахматы при луне играть. Ей не впервой – небось кто-нибудь перебирал уже клавиши этого инструмента». Сначала меня отвлекла эта мысль, но потом бросило в жар, я разозлился. Я приподнялся, чувствуя непонятное смятение. «Анна... Анна...» – начал я, не зная, что хочу сказать.

Она обернулась ко мне, не поднимая головы со спинки сиденья – просто перекатила ее по кожаной подушке. Потом приложила палец к губам и сказала: «Тс-с... тс-с-с!...» Она отняла палец и улыбнулась мне открыто и простодушно через всю

тысячу миль кожаной подушки, которая нас разделяла.

Я опустился на место. Мы долго еще лежали так, глядя на небо, омытое лунным светом, слушая, как вода тихо лижет гальку мыса. Чем дольше мы лежали, тем громаднее казалось мне небо. Я снова украдкой взглянул на Анну. Глаза ее были закрыты, и, когда я подумал, что она больше не смотрит вместе со мной на небо, я вдруг почувствовал себя одиноким, покинутым. Но она открыла глаза — я следил за ней и сразу это заметил — и опять стала смотреть на небо. Я лежал рядом, глядел вверх и ни о чем не думал.

В те годы мимо переезда за

Берденс-Лендингом без четверти двенадцать ночи проходил поезд. У переезда он всегда гудел. Он загудел и в ту ночь, и я понял, что сейчас без четверти двенадцать. И что пора домой. Я сел, завел мотор, развернулся и поехал обратно. Мы не произнесли ни слова, пока не остановились у дома Стентонов. Там Анна мигом выскользнула из машины, на секунду замерла на ракушечной дорожке, тихо сказала: «Спокойной ночи, Джек» — и взбежала по ступенькам. Все это произошло прежде, чем я успел опомниться.

Я растерянно смотрел на черное отверстие двери — войдя, Анна не

зажгла на веранде света — и напряженно вслушивался, словно ожидал сигнала. Но вокруг не раздавалось ни звука, если не считать безымянных шорохов ночи, слышных даже при полном безветрии и вдали от берега, где никогда не умолкает вода.

Через несколько минут я завел мотор и, со скрежетом разбрасывая шинами ракушки, вылетел из имения Стентонов. На набережной я дал полный газ, чтобы эти сонные паразиты в белых виллах знали, где раки зимуют. Чтобы повскакали в своих постелях как ошпаренные. С ревом пролетев миль десять, я въехал в сосновый лес, где спугнуть можно

было только филина да какого-нибудь одичавшего скваттера, который валяется в своей берлоге посреди топи — божий дар малярийным комарам. Тут я сбросил газ, развернулся и, откинувшись на спинку, тихо поехал назад, словно в лодке по течению.

Но дома, стоило мне лечь в постель, как я вспомнил — нет, не вспомнил, а увидел — запрокинутое лицо Анны с закрытыми глазами, под лунным светом; и я вспомнил тот давний пикник, тот день, когда мы купались в море под грозовыми тучами и она лежала на спине, обратив лицо с закрытыми глазами к пурпурно-зеленому небу, а в высоте

над ней пролетала белая чайка. До сих пор я, кажется, ни разу об этом не вспоминал, а если и вспоминал, то не придавал никакого значения; теперь же, в постели, я вдруг почувствовал, что стою на грани какого-то головокружительного открытия. Я понял: то, что было сегодня, — лишь продолжение того, что было тогда, на пикнике, и сегодняшнее все время жило в том, что было раньше, а я этого не знал, я откинул это или обронил, а ведь это все равно что обронить зерно и, вернувшись на то же место, увидеть растение в полном цвету или все равно что бросить в огонь вместе с мусором бурую палочку, а она

оказывается динамитом, и все летит кувырком.

Все полетело кувырком. Я вскочил на кровати как ошпаренный, не хуже сонных паразитов. Я сидел на кровати, преисполненный безмерного восторга. Такого я еще никогда не испытывал. У меня сперло дыхание, надулись жилы на лбу, будто я нырнул слишком глубоко и не знаю, выплыву ли наверх. Мне казалось, что сейчас я постигну последнюю, всеобъемлющую истину. Еще миг — и постигну. Потом я перевел дух. «Господи! — сказал я. — Господи!» И широко раскинул руки, словно мог охватить весь белый свет.

Я снова вызвал в памяти ее лицо

на воде, под хмурым пурпурно-зеленым небом, где пролетала белая чайка. Меня ошеломило это воспоминание, эта картина, снова возникшая перед глазами; ибо то, что вызвало у меня восторг, было забыто, заслонено самим чувством восторга, которое затопило весь мир. И когда эта картина возникла передо мной, ощущение восторга прошло, я почувствовал огромную нежность, нежность, пронизанную печалью, словно нежность была мясом, а печаль — нервами и сосудами моего тела. Это звучит нелепо, но так оно и было. Именно так.

Тогда я подумал очень объективно, будто наблюдал за

состоянием постороннего человека: «Ты влюблен».

Меня смутила эта мысль. Что я влюблен. И что это совсем не так, как я себе представлял. Я удивился, оторопел, как человек, который вдруг узнает, что получил в наследство миллион и в любую минуту может взять его в банке, или, наоборот, как человек, узнавший, что маленькая горошина у него внутри – рак и он носит в себе эту загадочную, набухающую апокалипсическую штуку, которая часть его самого и в то же время чужеродное тело, враг. Я осторожно встал с постели, подошел к окну, неся себя так бережно, будто я был корзиной яиц, и стал глядеть в

залитую лунным светом ночь.

Итак, молодой студент, который считал себя дьявольски опытным, выдавшим виды мужчиной и, глядя в тот вечер на другой край кожаного сиденья в машине, позволял себе пошлые, затасканные мысли, как бы пытаясь оправдать собственное представление о себе, — итак, он не протянул руки к другому краю сиденья и в результате стоял в чем мать родила у открытого окна темной комнаты и всматривался в беспредельную лунную ночь, где поблескивало море и пересмешник в зарослях мирта надрывно вещал о непререкаемой красоте и справедливости вселенной.

Вот так и ночи стали Анной Стентон. Потому что в ту ночь в машине Анна сыграла со мной хитрую шутку. Без рук и без слов, но руки и слова тут не понадобились. Повернув голову на кожаной спинке сиденья, она приложила палец к губам, сказала: «Тс-с, тс-с-с...» — и улыбнулась. И всадила свой гарпун глубже прежнего. Квикег^[41] пронзил им два метра сала, до самого нутра, но я этого не подозревал, пока не выбрали линь и зубцы не рванули живое мясо, которое и было настоящим мной. А я-то думал, что из сала целиком состою. И мог бы дальше так думать.

Да, Анна Стентон была моими

ночами. И днями тоже, но в течение дня она была не всем его содержанием, а скорее привкусом, эссенцией, климатом, запахом, без которых все остальное ничего не стоит. С нами часто бывал Адам, а иногда и другие — с книгами, бутербродами и одеялами — в сосновом бору, на пляже, на корте, на тенистой веранде, где играл патефон, в лодке, в кино. Но иногда она роняла книгу на одеяло, ложилась на спину, глядя на высокий свод перепутавшихся сосновых веток, а я посматривал на нее украдкой и через минуту забывал о существовании Адама. Или на веранде она, бывало, смеется и

болтает с другими под звуки патефона, и я вдруг замечу, что она затихла, задумалась, может, только на миг, и взгляд ее устремлен куда-то далеко, за пределы веранды, двора, и снова на один этот миг ни Адама, ни остальных будто не существует.

А еще мы ездили в гостиницу, где была вышка для прыжков в воду — очень высокая, потому что гостиница была шикарной и время от времени устраивала выставки и скачки. В то лето Анна помешалась на прыжках в воду. Она влезала наверх — с каждым днем все выше — и замирала там, на солнце, у самого края. Когда она поднимала руки, я чувствовал, что внутри у меня сейчас

что-то лопнет. Потом она летела вниз ласточкой, раскинув руки и выгнув узкое тело с крепкой грудью и плотно сдвинутыми длинными ногами. Она слетала вниз, освещенная солнцем, я смотрел на нее, и вокруг нас как будто не было никого. Я задерживал дыхание, пока внутри у меня не лопалось то, что должно было лопнуть. Она врезалась в воду, и сомкнутые пятки исчезали в венке пены и брызг. Адам злился, что она прыгает с такой высоты.

– Ну, Адам, – говорила она. – Ну, Адам, ничего, ведь это так здорово.

И – по лестнице, вверх. Вверх и прыжок. Вверх и прыжок. Вверх и прыжок. Снова и снова. Я думал:

какое у нее лицо, когда она входит в воду? Что оно выражает?

Но иногда днем мы оставались совершенно одни. Иногда мы с ней удирали в сосновый бор и бродили по глухому ковру игольника, держась за руки. Был у нас и маленький поплавок для ныряния, доска на якоре метрах в ста от берега, против причала Стентонов. Мы с ней уплывали туда, пока остальные дурачились на пляже или когда никого не было, и лежали там на спине, закрыв глаза, касаясь друг друга только кончиками пальцев; пальцы покалывало, словно с них ободрали кожу и обнажили нервы, словно в них было сосредоточено все

мое существо.

По вечерам мы бывали вдвоем довольно часто. Раньше вместе были Адам и я, а за нами увязывалась Анна, теперь оказалось, что вместе Анна и я, а за нами увязывается Адам. Но чаще он оставался дома и читал Гиббона или Тацита – в ту пору он бредил Древним Римом. Перемена произошла с легкостью, какой я не ожидал. Наутро после нашей поездки в машине я, как всегда, играл с ними в теннис, а днем пошел с ними купаться. Я поймал себя на том, что не спускаю глаз с Анны, но больше никакой разницы я не заметил. В ней я не видел никакой перемены. Я стал сомневаться,

произошло ли вообще что-нибудь, возил ли я ее вчера вечером в кино. Но сегодня вечером мне необходимо было ее видеть.

Я пошел к ним, когда стало смеркаться. Она сидела на веранде на качелях. Адам был наверху, писал письмо. Что-то для отца, сказала она. Спустится через несколько минут. Она предложила мне сесть, но я отказался. Я стоял в дверях, чувствуя неловкость, и не знал, что сказать. Наконец я выпалил:

— Пойдем к причалу, давай погуляем. — И неуверенно добавил: — Пока Адама нет.

Она встала, не говоря ни слова, и подала мне руку — подала сама, и от

этого в моем организме сразу заревели пожарные сирены, зазвенели звонки, забили колокола. Она пошла со мною вниз по лестнице, по дорожке, через шоссе, к причалу. Мы пробыли там очень долго. За это время Адам мог бы написать десяток писем. Но на причале ничего не произошло: мы просто сидели на краю, свесив ноги, держались за руки и смотрели на бухту.

Недалеко от бухты, у шоссе, как раз против дома Стентонов, стояла густая миртовая роща. На обратном пути, когда мы подошли к ней, держась за руки, я остановился под деревьями, притянул Анну к себе —

рывком, неловко, потому что задумал это еще по дороге к причалу и долго себя настраивал, — и поцеловал. Она не противилась, руки ее висели неподвижно, но на мой поцелуй она не ответила и лишь покорно приняла его, как пай-девочка. Я посмотрел ей в лицо: оно было спокойно, но затуманено раздумьем, как у ребенка, когда он решает, нравится ему новое кушанье или нет. И я подумал: «Боже мой, да она, наверно, еще не целовалась, хотя ей уже семнадцать или скоро семнадцать» — и чуть не расхохотался — такое смешное было у нее лицо и так я был счастлив. Я поцеловал ее опять. На этот раз она ответила

поцелуем, правда робко, как бы пробуя, но ответила.

— Анна... — сказал я, сердце у меня прыгало, а голова кружилась. — Анна, я тебя люблю, страшно люблю...

Она держалась обеими руками за мой пиджак, под плечами, и слабо прижималась ко мне, склонив голову вниз и набок, словно просила прощения за какой-то проступок. Она не ответила на мои слова и, когда я попытался поднять ей голову, только сильнее прижалась к плечу и крепче ухватилась за пиджак. Я гладил ее волосы, вдыхая их свежий запах.

Через какое-то время, не знаю,

долгое или короткое, она высвободилась и сделала шаг назад.

— Адам ждет... — сказала она. —
Надо идти...

Я пошел за ней через шоссе к воротам Стентонов. Пройдя несколько шагов по дороге к дому, она помедлила, чтобы я мог ее догнать. Потом взяла меня за руку, и так, держась за руки, мы дошли до веранды, где должен был сидеть Адам.

Там он и сидел — я увидел, как разгорелся от длинной затяжки, а потом потемнел огонек его сигареты.

Держа меня за руку, но еще крепче, словно выполняя какое-то решение, она поднялась по

ступенькам веранды, отворила свободной рукой дверь и вошла, ведя меня за собой. Мы постояли немного, держась за руки. Потом она сказала:

– Привет, Адам.

И я сказал:

– Привет, Адам.

– Привет, – сказал он.

Мы продолжали стоять, точно чего-то ждали. Потом она отпустила мою руку.

– Пойду наверх, – объявила она.

– Спокойной ночи.

И убежала, быстро, глухо пошлепывая резиновыми подошвами по дощатому полу веранды и прихожей.

А я все стоял.

Пока Адам не сказал мне:

– Какого черта ты не садишься?

Тогда я сел. Адам кинул мне пачку сигарет. Я вынул одну и стал искать в карманах спички, но не нашел. Он наклонился, зажег спичку и поднес к моей сигарете. Мне показалось, будто он нарочно осветил меня, чтобы разглядеть мое лицо, а свое прячет в тени. Я чуть было не отпрянул назад и не вытер рот рукой, чтобы проверить, нет ли там губной помады.

Сигарета зажглась, я убрал голову от огня и сказал:

– Спасибо.

– Пожалуйста, – ответил он, и на

этом, в сущности, кончилась наша беседа в тот вечер. А нам было о чем поговорить. Он мог задать мне вопрос, который, я знаю, его волновал. Да и я мог ответить, не дожидаясь вопроса. Но ни один из нас не сказал того, что надо. Я боялся этого вопроса, и, сколько бы я себя ни убеждал, что ну его к черту, не его это дело, я чувствовал себя виноватым, словно обокрал его. Но в то же время я был очень возбужден и хотел, чтобы он меня спросил — мне хотелось рассказать кому-нибудь, какая Анна Стентон замечательная и как я влюблен. Словно ощущение влюбленности не будет полным, пока я кому-нибудь не скажу: «Послушай,

я ведь влюблен, будь я проклят, если вру». В этот миг полнота чувств требовала исповеди так же, как позднее она потребует жарких, потных объятий. И вот я сидел на темной веранде, поглощенный мыслью, что я влюблен, стремясь рассказать об этом, чтобы полнее пережить свое состояние, и прекрасно обходился в ту минуту без предмета своей любви Анны, которая ушла к себе в комнату. Я был так поглощен своими переживаниями, что даже не задумался, почему она ушла наверх. Позже я решил, что она нарочно стояла перед Адамом и держала меня за руку, тем самым давая ему знать о новом строении

нашего маленького кристалла, нашего мирка, а потом ушла к себе, чтобы он в одиночестве привык к этой мысли.

Но быть может, решил я позже — гораздо позже, много лет спустя, когда казалось, что все это уже не имеет значения, — ей просто хотелось побыть одной, посидеть у окна без света или полежать на кровати, глядя в темный потолок, чтобы свыкнуться со своим новым «я», узнать, как живется в новой стихии, как дышится в новом воздухе, как плавается в приливе нового чувства. Может, она ушла наверх, чтобы побыть в одиночестве, — поглощенная собой, как бывает поглощен ребенок

видом кокона, выпускающего в сумерках красивую бабочку — все ту же сатурнию, зеленовато-серебристую, еще влажную, со смятыми крылышками, которые постепенно расправляются в полутьме и медленно веют, поднимая такой легкий ветерок, что, нагнувшись, его не почувствуешь и глазом. Если так, то она пошла к себе в комнату, чтобы разобраться, чем она стала, ибо, когда ты влюблен, ты как бы рождаешься заново. Тот, кто тебя любит, отбирает тебя из огромных залежей первозданной глины — человечества, чтобы сотворить из нее нечто, и ты, бесформенный комок этой глины,

маешься, хочешь узнать, во что же тебя превратили. Но в то же время ты, любя кого-то, становишься одушевленным, перестаешь быть частью однородного первовещества, в тебя вселяется жизнь, и ты начинаешься. Ты создаешь себя, творя другого, кто в свою очередь сотворил тебя, выбрал тебя, комок глины, из общей массы. Получаются два тебя: один, которого ты сам создаешь, влюбившись, и второй, которого создает твой любимый, полюбив тебя. И чем дальше отстоят друг от друга эти два твоих существа, тем натужнее скрипит мир на своей оси. Но если твоя любовь и любовь к тебе совершенны, разрыв между

обоими твоими «я» исчезает и они сливаются. Они совпадают полностью, они неразличимы, как два изображения в стереоскопе.

Так или иначе, Анна Стентон, семнадцать лет от роду, пошла наверх, чтобы побыть наедине с собой, вдруг почувствовав, что она влюблена. Она была влюблена в довольно высокого, нескладного, сутуловатого юношу двадцати одного года с костлявым лошадиным лицом, большим, свернутым на сторону крючковатым носом, темными растрепанными волосами, темными глазами (но не глубокими и горящими, как у Касса Мастерна, а часто пустыми или

невыразительными, воспаленными по утрам и блестевшими только от волнения), большими руками, которые мяли, тискали, дергали одна другую за пальцы у него на коленях, с косолапой, шаркающей походкой; в юношу, не обладавшего ни красотой, ни талантами, ни прилежанием, ни добротой, ни даже честолюбием; склонного ударяться в крайности, приходить в смятение, вечно кидаться от меланхолии к беспричинному буйству, из холода в пламень, от любопытства к апатии, от смирения к самовлюбленности, из вчерашнего дня в завтрашний. Что ей удалось сотворить из этого комка неблагодарной глины, так никто и не

узнает.

Но в своей любви она создавала и себя заново и поэтому пошла наверх, чтобы побыть в темноте и выяснить, чем было ее новое «я». А тем временем мы с Адамом сидели внизу на веранде и молчали. В этот вечер Адам выбыл из игры на все будущие вечера: стакан, лимон, выйди вон.

Все остальные тоже выбыли из игры, потому что даже в те вечера, когда на веранде у Стентонов или у моей матери собиралась большая компания, заводила патефон и танцевала (а мальчики — многие из них уже отвоевались во Франции — то и дело бегали глотнуть из

бутылки, спрятанной в дупле дуба), мы с Анной их в игру не принимали. Потому что органди и рогожка — тонкие материи, и единственный человек, с кем я прилично танцевал, была Анна Стентон, и ночи стояли теплые, и я не настолько был выше Анны, чтобы не слышать запаха ее волос, когда наши скованные музыкой ноги выписывали узоры нашего забытья, и мы дышали в одинаковом ритме, и вскоре я переставал ощущать свое неуклюжее тело, становился почти бестелесным, легким как перышко, невесомым, как большой пустоголовый воздушный шар, привязанный к земле тонкой ниточкой до первого дуновения

ветерка.

Иногда мы садились в машину и мчались из Лендинга во весь дух (насколько позволяли тогдашние дороги и тогдашний мотор), пролетая мимо домов, отмелей и сосен; голова ее лежала на моем плече, а волосы разлетались от ветра и хлестали меня по щекам. Она прижималась ко мне и громко смеялась, приговаривая:

– Джеки, Джеки, какая чудная ночь, какая чудная ночь! Ну, скажи, что это чудная ночь, милый, ну скажи, скажи!

И мне приходилось повторять за ней эти слова, как урок. А то она принималась тихонько напевать песню, одну из тех песен, которые

были на пластинках, — господи, что же тогда пели? Не помню. Потом затихала и сидела неподвижно, закрыв глаза, пока я не останавливал машину в таком месте, где ветер с залива мог прогнать москитов. (В безветренные ночи лучше было не останавливаться.) Случалось, когда я останавливал машину, она даже глаз не открывала, пока я ее не поцелую; а я, наверно, так ее целовал, что ей дышать было нечем. А то, бывало, она дождется последней секунды перед поцелуем, вдруг широко раскроет глаза и скажет: «у-у-у!» — и засмеется. А когда я захочу ее обнять — будут только острые коленки, острые локти, сдавленные смешки,

хихиканье, змеиная увертливость и тактика, достойная мастера джиуджитсу. Поразительно, что маленькое сиденье машины давало такую же возможность для перегруппировки и маневра, как исторические равнины Фландрии, и как то же существо, которое умело лежать у тебя в руках, гибкое, как ива, мягкое, как шелк, и ласковое, как котенок, вдруг выставляло такое чудовищное количество острых, как гвозди, локтей и коварных коленок. А за этими локтями, коленками и колючими пальцами, в лунном свете или свете звезд, сквозь распущенные волосы блестели глаза, а из полуоткрытых губ вырывался

отрывистый смешок и припев:
«Нет... не люблю... милого Джеки...
никто не любит... птичку Джеки...
я... не люблю... милого Джеки...
никто не любит... птичку Джеки...»
Пока, ослабев от смеха, она не
падала мне на руки. Тогда я целовал
ее, и она шептала:

— Я люблю моего милого
Джеки... — и, легонько поглаживая
пальцами меня по лицу, повторяла: —
Я люблю моего милого Джеки, хотя у
него такой страшный клюв!

И крепко дергала мой клюв. А я
поглаживал это горбатое, кривое,
хрящеватое страшилище,
притворяясь, что мне очень больно,
но в душе гордясь тем, что она до

него дотронулась.

Никогда нельзя было угадать, будет ли это долгий поцелуй или бешеный отпор и хихиканье. Да это и не имело значения — все равно она в конце концов клала голову мне на плечо и смотрела в небо. А между поцелуями мы молчали, либо я читал ей стихи — в те дни я почитывал стихи и думал, что мне это нравится, — либо разговаривали о том, что будем делать, когда поженимся. Я не делал ей предложения. Мы просто не сомневались, что поженимся и всегда будем жить в мире, состоящем из залитых солнцем пляжей и залитых лунным светом сосен на берегу моря, путешествий в Европу (где мы оба

никогда не были), дома в дубовой
роще, кожаных сидений машины, а со
временем и ватаги прелестных
детишек, которых очень туманно
представлял себе я и очень живо она
и которым мы вдумчиво,
обстоятельно выбирали имена, если
иссякали прочие темы разговора. У
всех у них второе имя будет Стентон.
И одного из мальчиков мы решили
назвать Джоэл Стентон, в честь
губернатора. Ну, а старшего, конечно,
будут звать как меня – Джек.

– Потому что ты самый старый
старичок на свете, Джеки, – говорила
Анна, – старшенький будет носить
твое имя, потому что ты самый
старый старичок на свете, ты старше

океана, ты старше неба, ты старше земли, ты старше деревьев, и я всегда тебя любила и всегда дергала за нос, потому что ты старый-старый ворон Джеки, птичка Джеки, и я тебя люблю. — И дергала меня за нос.

Только раз, в конце лета, она спросила меня, чем я собираюсь зарабатывать на жизнь. Тихо лежа на моей руке, она вдруг сказала после долгого молчания:

— Джек, что ты собираешься делать?

Я не понял, о чем она говорит, и ответил:

— Что я собираюсь делать? Дуть тебе в ухо. — И дунул.

— Что ты собираешься делать? В

смысле заработка?

— Дуть тебе в ухо для заработка,

— ответил я.

Она не улыбнулась.

— Нет, серьезно, — сказала она.

Я помолчал.

— Я подумываю, не стать ли мне юристом.

Она на минуту притихла, потом сказала:

— Ты только сейчас придумал. Просто так, лишь бы сказать.

Да, я только сейчас придумал. О своем будущем, говоря по правде, я вообще не любил задумываться. Не любил, и все. Я думал, что найду какую-нибудь работу, все равно какую, буду ее делать и получать

жалованье, а потом тратить жалованье и в понедельник снова выходить на работу. Честолюбивых планов у меня не было. Но не мог же я так прямо сказать Анне: «Ну, наймусь куда-нибудь».

Мне надо было произвести впечатление человека дальновидного, целеустремленного и деловитого.

И этим я сам вырыл себе могилу.

Она видела меня насквозь, как стекляшку, и мне не осталось ничего другого, как сказать, что она глубоко во мне ошибается, что я и в самом деле пойду на юридический, и чего в этом дурного, позвольте спросить?

— Ты только что это выдумал, — упрямо повторила она.

— Черт возьми, — возмутился я, — с голоду ты не помрешь. Я дам тебе все, что у тебя есть сейчас. Если тебе так нужен большой дом, куча платьев и балы, пожалуйста, я...

Но она не дала мне договорить.

— Ты прекрасно знаешь, Джек Берден, что ничего подобного мне не надо. Ты говоришь гадости. Делаешь из меня неизвестно что. Ничего такого мне не надо. И ты знаешь, что не надо. Ты знаешь, что я тебя люблю и готова жить в шалаше и есть одну фасоль, если то, чем ты хочешь заниматься, не даст никакого заработка. Но если ты ничем не хочешь заниматься — даже если ты получишь какое-то место и у тебя

будет куча денег... ну, знаешь, о чем я говорю... в общем, как это бывает у некоторых... – Она выпрямилась на сиденье машины, и глаза ее при свете одних только звезд сверкнули благородным негодованием семнадцатилетней. Потом, пристально глядя на меня, произнесла с важностью, которая вдруг превратила ее в забавную помесь взрослой женщины и дурашливой девчонки, надевшей мамины туфли на высоких каблуках и боа из перьев, – важностью, которая делала ее старше и моложе: – Ты же знаешь, что я тебя люблю, Джек Берден, я в тебя верю, Джек Берден, ты не будешь таким, как все эти

люди, Джек Берден.

Я захохотал — уж очень это было смешно — и попытался ее поцеловать, но она не далась: все ее локти и коленки заработали, как косилка, а я был как скошенная трава. И смягчить ее я не смог. Я и пальцем не мог до нее дотронуться. Она заставила меня отвезти ее домой и даже не поцеловала на прощанье.

Больше на эту тему она не разговаривала, если не считать одной фразы. На следующий день, когда мы с ней лежали на поплавке и долго молчали, разомлев от солнца, она вдруг сказала:

— Помнишь, что было вчера?

Я сказал, что помню.

— Ну вот, имей в виду, я не шутила.

Потом она отняла у меня руку, соскользнула в воду и уплыла, чтобы я не мог ответить.

Больше об этом речь не заходила. И я об этом больше не думал. Анна была такая же, как всегда, и я снова погрузился в водоворот летней жизни, отдался на волю чувства, которое несло нас с головокружительной легкостью, словно мы плыли по глубокой реке, чье могучее течение неторопливо, но властно влекло нас за собой, где дни и ночи пролетали, как блики света на воде. Да, нас несло по течению, но отнюдь не в обидном смысле слова,

не как разбухшую, гнилую лодку
носит по пруду, где поят лошадей,
или как несет грязную пену по воде,
когда вы выдернули из ванны пробку.
Нет, мы сознательно и достойно
отдавались на волю влекущего нас
потока, становясь его частью, одной
из его движущих сил; это не было
слепой покорностью, это было как
бы вроде приятия, похожего на
приятие мистиком Бога, что означает
не только покорность Его воле, но и
боготворчество, ибо тот, кто
возлюбил Бога, тот волей своей
вызывает Его к бытию. Вот так и в
моей покорности я волей своей
вызывал и подчинял себе этот
могучий поток, по течению которого

я плыл, где ночи и дни мелькали, как блики света на воде, где мне рукой не надо было шевельнуть, чтобы плыть быстрее, — поток сам знал, с какой быстротой он должен нестись, знал свои сроки и влек меня за собой.

Все это лето я не торопил событий. Ни на веранде, ни в сосновом бору, ни ночью на поплавке, когда мы с ней уплывали в море, ни в машине. Все, что с нами происходило, происходило так же просто, естественно и постепенно, как переход к новому времени года, как набухание почек или пробуждение котенка. И была своя нега в том, что мы не торопились, не спешили к жарким объятиям,

неуклюжей возне и к грязным ухмылкам ребят в общежитии; была своя особая чувственность в том, что мы ждали, когда могучий поток сам принесет нас туда, где нам полагалось быть и куда мы в конце концов все равно бы попали. Она была молода и казалась мне еще моложе, чем на самом деле, — ведь в то лето я так был уверен, что я взрослый и потасканный мужчина; она была застенчива, уязвима и робка, но застенчивость ее не выражалась в писке, визге, кудахтанье, ломанье, ужимках «ах-не-надо-так-я-никому-еще-не-позволяла». А может, застенчивость и неподходящее слово. Наверняка

неподходящее, если под ним понимать хотя бы оттенок стыда, страха или желания быть «хорошей девочкой». Потому что в каком-то смысле она была обособлена от своего тонкого, плотно сбитого, мускулистого, нежного тела, словно оно было замысловатым механизмом, которым мы с ней владели совместно, после того как он нежданно свалился нам с неба, и который мы, невежды, должны были изучить с превеликим тщанием и превеликим благоговением, чтобы не упустить какую-нибудь маленькую мудреную деталь – иначе все пойдет прахом. Мы переживали период внимательнейшего изучения и

тончайшего исследования, к чему она относилась очень серьезно и в то же время с прелестным легкомыслием. («Милый Джеки, птичка Джеки, какая чудная ночь, какая чудная ночь, глаза у него ничего, а вот нос хоть оторви и брось!») И легкомыслие было не в словах, а в тоне, каким они говорились, в тоне, казалось заданном самим воздухом, где были натянуты невидимые струны, и ей только нужно было тронуть их наугад в темноте ленивым, привычным движением пальца. Но, помимо серьезной исследовательской работы, была прямодушная привязанность, такая же простая и естественная, как воздух, которым дышишь, и плохо

сочетавшаяся с жаром и удушьем наших занятий — она, как мне казалось, была всегда, независимо от той новой, загадочной физиологии, которая так занимала теперь и ее и меня. Анна, бывало, обхватывала мою голову ладонями, прижимала к груди и напевала шепотом стишки, которые тут же выдумывала («Бедная птичка Джеки, он моя беда, но я буду беречь его всегда, в теплом гнездышке уложу его спать, буду баюкать и песни напевать»). Постепенно слова сливались в тихое бормотание; изредка она шептала: «Бедная птичка Джеки, я не дам в обиду Джеки никому вовеки...» Немного погодя я поворачивал голову

и сквозь легкую летнюю ткань целовал ее тело, дышал на него сквозь ткань.

Мы довольно далеко зашли в то лето, и порой я бывал твердо уверен, что могу зайти еще дальше. До конца. Потому что этот плотно сбитый, мускулистый, нежный на ощупь механизм, который так занимал нас с Анной Стентон и упал нам прямо с неба, был очень чувствительным и безупречно отлаженным устройством. А может, я ошибался и вовсе не смог бы ускорить неторопливое движение несшего нас потока — ускорить вдумчивое, научное усвоение Анной Стентон мельчайших новых

впечатлений, которые надо было вобрать в сокровищницу нашего опыта, прежде чем переходить к следующим. Она будто слышала какой-то ритм, напев, сигнал извне и повиновалась всем его изощренным переходам. Но ошибался я или нет, я не проверил на опыте, смогу ли я дойти до конца, потому что, хотя я сам не так хорошо слышал этот ритм, я чувствовал, как послушна ему Анна, и, пока мы были вместе, мне всегда хватало того, что есть. Как это ни парадоксально, я испытывал бешеное нетерпение и злился на оттяжки только вдали от нее, когда я с ней не соприкасался — ночью, у себя в комнате или в жаркие дневные

часы после второго завтрака. Особенно же я чувствовал это в те дни, когда она не желала меня видеть. Эти дни, как я понял, означали, что пройдена еще одна стадия, еще одна веха в наших отношениях. Она просто отстранялась от меня так же, как в ту ночь, когда мы первый раз поцеловались; сначала я недоумевал, чувствовал себя виноватым, но потом, поняв, что кроется за ее исчезновениями, просто ждал с нетерпением завтрашнего утра, когда она появится на корте, размахивая ракеткой, и лицо ее, гладкое, молодое, здоровое и на вид безразличное, хотя и дружелюбное,

будет так не вязаться с тем, что я видел совсем недавно, — с полуопущенными веками, с влажными, блестящими в темноте губами, через которые вырывается частое дыхание или откровенный вздох.

Но как-то раз в конце лета я не видел ее целых два дня. В ту ночь ветра совсем не было, в небе висела полная луна; вечер не принес ни прохлады, ни малейшего движения воздуха. Мы с Анной доплыли до вышки у гостиницы, хотя было уже поздно и никто не купался. Сначала мы лежали на большом поплавке, не разговаривая и не дотрагиваясь друг до друга, — просто лежали на

спине и глядели на небо. Потом она поднялась и полезла на вышку. Я перевернулся на бок, чтобы видеть ее. Она поднялась на семиметровую площадку, приготовилась и прыгнула ласточкой. Потом полезла на следующую площадку. Не знаю, сколько раз она ныряла, но – много. Я сонно следил за ней, смотрел, как она медленно – перекладина за перекладиной – поднимается вверх; лунный свет превращает мокрую ткань темного купальника не то в металл, не то в лак; вот она изготавливается к прыжку на краю площадки, вытягивает вверх руки, поднимается на носки, отрывается от площадки и на миг будто повисает в

воздухе – тускло блестящее тело, до того тонкое и далекое, что заслоняет всего одну или две звезды, – а потом камнем падает вниз и точно, с коротким всплеском врежется в воду, словно пролетев сквозь огромный обруч, затянутый черным шелком с серебряными блестками.

Это случилось, когда она прыгнула с самой большой высоты, может быть, с самой большой высоты в ее жизни. Я видел, как она медленно взбирается наверх, минуя площадку, с которой ныряла раньше – семиметровую, – и лезет дальше. Я окликнул ее, но она даже не оглянулась. Я знал, что она меня слышала. Я знал и то, что она

полезет туда, куда хочет, не послушается меня. И больше не окликал.

Она прыгнула. Я понял, что прыжок будет удачный, как только она оторвалась от доски, но все равно вскочил и стал на краю поплавка, затаив дыхание и не сводя с нее глаз. Она вошла в воду очень чисто, я нырнул за ней вдогонку. Я увидел серебристый пузырчатый след и светлые очертания ее рук и ног в темной воде. Она нырнула глубоко. Это было вовсе не обязательно – она могла сразу выскользнуть на поверхность. Но в тот раз – да и в другие разы – она погружалась глубоко в воду, словно для того,

чтобы продолжить свой полет в плотной среде. Мы встретились в глубине, когда она начала подниматься. Я обнял ее за талию, притянул к себе и нашел губами ее губы. Ее руки свободно висели вдоль тела, я прижимал ее к себе, запрокидывая ей голову. Наши ноги колыхались где-то рядом внизу, и мы, покачиваясь, медленно поднимались сквозь чернь воды и серебро пузырьков, убегающих на поверхность. Мы всплывали очень медленно — или мне казалось, что медленно, — от нехватки воздуха у меня заболела грудь и закружилась голова, но боль и головокружение вдруг превратились в ощущение

восторга, такого же, какой я испытал у себя в комнате в ту ночь, когда первый раз повез ее в кино и на обратном пути остановил машину. Я думал, что мы никогда не выплывем на поверхность, так медленно мы поднимались.

Но вот мы уже на поверхности, и лунный свет дробится и колется на воде перед глазами. Еще мгновение мы лежим, обнявшись, не дыша, потом я ее отпускаю, мы отделяемся друг от друга, поворачиваемся на спину и, хватая воздух ртом, смотрим на высокое, кружащееся, проколотое звездами небо.

Немного погодя я замечаю, что она уплывает. Я думаю, что она

сделает только несколько гребков к поплавку. Но когда я наконец переворачиваюсь и плыву туда, она уже на берегу. Я вижу, как она поднимает купальный халат, закутывается и наклоняется, чтобы надеть сандалии. Я ее окликаю, она машет мне рукой, снимает шапочку, встряхивает волосами и бежит к дому. Я плыву к берегу, но, когда я выхожу, она уже почти дома. Я знаю, что мне ее не догнать. Поэтому я иду по пляжу не торопясь.

После этого я не видел ее два дня. Потом она появилась на теннисном корте, размахивая ракеткой, спокойная и приветливая, готовая устроить мне баню, после

того как со мной разделается Адам.

Наступил сентябрь. Через несколько дней Анна должна была уехать на Север, в школу. Отец хотел увезти ее за несколько дней до начала занятий и побывать с ней в Вашингтоне и Нью-Йорке, прежде чем отправить ее дальше, в Бостон, где она попадет в железные руки мисс Паунд. Анну, по-моему, не очень прельщали и это путешествие, и возвращение к мисс Паунд. Школу, по ее словам, она любила, но она никогда не донимала меня рассказами о ночных пирушках в дортуаре, об альбомах с картинками, стишками и вырезками, о душечке-француженке, и речи ее не портил

оскорбительный птичий язык
института для благородных девиц.
Еще в августе она упомянула о плане
отца и назвала день отъезда, но без
всякого удовольствия или
неудовольствия, словно нас это
совершенно не касалось, — примерно
так, как в молодости упоминают о
смерти. Когда она сказала о поездке,
у меня защемило под ложечкой, но я
отбросил эту мысль — хотя по
календарю был август, мне не
верилось, что лету и всему
остальному когда-нибудь придет
конец. Но в то утро, когда Анна снова
появилась на корте, я сразу подумал,
что она скоро уедет. До меня вдруг
дошло. Я не поздоровался и взял ее

за руку в панике, точно куда-то опаздывал.

Она взглянула на меня с легким удивлением.

— Ты меня не любишь? — сердито спросил я.

Она рассмеялась и с недоумением посмотрела на меня, в уголках ее ясных глаз собрались насмешливые морщинки.

— Конечно, люблю, — сказала она, смеясь и лениво помахивая ракеткой, — конечно, я люблю тебя, птичка Джеки, кто сказал, что я не люблю старую глупую птичку Джеки?

— Не юродствуй, — сказал я, потому что слова, которые

произносились ночью в машине и на веранде, сейчас, при ярком солнечном свете и при отчаянном моем настроении, показались вдруг дурацкими и пошлыми. — Не юродствуй, — повторил я, — и не смей называть меня птичкой!

— Но ты и есть птичка, — серьезно ответила она, хотя уголки ее глаз по-прежнему морщились.

— Ты меня не любишь? — спросил я упрямо.

— Я люблю мою птичку Джеки, — сказала она. — Бедную птичку Джеки.

— Фу ты, черт! Ты меня не любишь?

Она пристально посмотрела на меня, глаза ее уже не смеялись.

– Нет, – сказала она. – Люблю. – И, отняв у меня руку, зашагала прочь так решительно, словно ей надо было куда-то идти – далеко идти и не мешкая. Но она всего-навсего пересекла корт и села в перистой тени мимозы, а я следил за ней так, будто корт был Сахарой и Анна, уменьшаясь, исчезала вдаль.

Потом пришел Адам, и мы поиграли в теннис.

Анна вернулась в то утро, но все стало не так, как раньше. Вернуться она вернулась, но не совсем. Времени она проводила со мной не меньше, чем прежде, но была занята своими мыслями и, когда я ласкал ее, подчинялась как будто из чувства

долга или в лучшем случае по доброте сердечной, почти снисходительно. Так шло у нас дело всю последнюю неделю, а дни стояли знойные, безветренные, и облака кучились под вечер, словно суля бурю, но бури все не было, и ночи висели одуряющие, тяжелые, как перезрелые, черные, с серебристым налетом виноградины, которые вот-вот лопнут.

За два дня до ее отъезда мы отправились в Лендинг, в кино. Когда мы вышли из кино, шел дождь. После сеанса мы собирались выкупаться, но раздумали. Мы часто купались под дождем в то лето и в предыдущие годы, когда с нами был Адам. Мы,

наверно, пошли бы и в эту ночь, если бы дождь был другой – если бы это был легкий, приятный дождичек с высокого неба, едва-едва шелестящий на поверхности воды, или косой, колющий, холодный очищающий дождь, когда тебе хочется пробежаться по пляжу и завопить, прежде чем ты спрячешься в море, или, наконец, если бы это был ливень, какие бывают над Мексиканским заливом, когда кажется, будто в небе лопнул гигантский бумажный мешок с водой. Но дождь был совсем не такой. Небо промокло насквозь, совсем обвисло, и отовсюду сквозь черный вязкий стоячий воздух

сочилась вода, словно небесный трюм потек по всем швам.

Мы подняли на машине верх, успев за это время промокнуть, и поехали домой. У нас в доме и на веранде горел свет, поэтому мы решили заехать к нам, сварить кофе и сделать бутерброды. Было еще рано, всего половина десятого. Я вспомнил, что мать поехала играть в бридж к нашим соседям Патонам, где за ней увивался какой-то их гость. Мы подъехали к дому и резко затормозили, с хрустом давя ракушки и разбрызгивая дождевую воду. Взбежав по правому маршу двойной лестницы на веранду и попав наконец под крышу, мы принялись

топать ногами и отряхиваться, как собаки. От бега и дождя волосы у нее распустились. Мокрые пряди прилипли ко лбу, а одна – к щеке, и Анна сразу стала похожа на ребенка, которого вынули из ванны. Она засмеялась, склонила голову набок и встряхнула волосы, как делают девчонки, чтобы волосы стали пышнее. Растопыренной пятерней она прочесала волосы, как гребенкой, чтобы выгрести запутавшиеся шпильки. Несколько штук упало на пол.

– Какое я, наверное, страшилище. Просто чучело, – сказала она, продолжая вертеть головой, смеяться и искоса

поглядывать на меня блестящими глазами. Сейчас она больше была похожа на прежнюю Анну.

Я сказал, что да, она чучело, и мы вошли в дом.

Я зажег свет в передней и, не погасив его на веранде, провел ее направо, на кухню, через столовую и буфетную. Там я поставил варить кофе и достал из ледника еду (в те времена еще не было электрических холодильников, а то мать непременно обзавелась бы не одним, а парой, огромных, как дом, и вокруг них в полночь собирались бы дамы с голыми плечами и подвыпившие мужчины в смокингах, прямо как на рекламе). Пока я хозяйничал, Анна

расчесывала волосы. Она, видимо, хотела заплести по бокам косички, потому что, когда я разложил на кухонном столе еду, одна была почти готова.

— Чем красоту наводить, — сказал я, — делала бы лучше бутерброды.

— Ладно, — сказала она. — А ты мне убери волосы.

И пока она делала за столом бутерброды, я доплел до конца первую косичку.

— Надо завязать концы ленточками, чтобы не распускались, — сказал я. — Или еще чем-нибудь. — Я держал пальцами кончик, чтобы коса не расплелась. Взгляд мой упал на вешалку, где висело чистое посудное

полотенце. Бросив косичку, я взял его и перочинным ножом отрезал от края две полосы. Полотенце было белое с красной каймой. Я вернулся, снова заплел кончик косы и завязал его бантиком из куса полотенца.

— Ты будешь похожа на негрityнoчку, — сказал я.

Она засмеялась и продолжала мазать хлеб арахисовым маслом.

Увидев, что кофе готов, я выключил газ. Потом занялся второй косичкой. Наклонившись, я пропустил шелковистую массу сквозь пальцы, которые сразу стали неуклюжими и шершавыми, как наждак, разделил ее на три пряди и, сплетая их, вдыхал свежий, луговой

запах мокрых волос. В это время зазвонил телефон.

— Подержи пока, — сказал я Анне, сунув ей конец косички. И вышел в переднюю.

Звонила мать. Она, Патоны, ее кавалер и не знаю кто там еще собирались погрузиться в машину и поехать за сорок миль в «Ла Гранж» — кабак в соседнем округе, по дороге в столицу штата, где играли в кости и в рулетку и где лучшие люди бок о бок с худшими вдыхали синий едкий дым табака и пары контрабандного алкоголя. Мать сказала, что не знает, когда вернется, и просила не запира́ть дверь, потому что забыла ключ. Просьба была излишняя — в

Лендинге и так никто не запирали дверей. Она сказала, чтобы я не беспокоился – ей, кажется, сегодня везет, – засмеялась и повесила трубку. Она зря просила меня не беспокоиться. Особенно насчет ее везения. Кому-кому, а ей всегда везло. Она получала все, что ей требовалось.

Я повесил трубку и при свете, падавшем через дверь коридора в переднюю, увидел в нескольких шагах от себя Анну – она завязывала бантик на второй косе.

– Звонила мать, – объяснил я. – Едет с Патонами в «Ла Гранж». – И добавил: – Вернется поздно.

Я вдруг почувствовал, какой

пустой вокруг нас дом, как темно в комнатах, каким тяжким грузом лежит над нами темнота верхнего этажа, заполнившая комнаты и чердак и густым, но невесомым потоком льющаяся по лестнице; я почувствовал, как темно снаружи. Я смотрел на лицо Анны, в доме не слышалось ни звука. За окном капли затихающего дождя падали на листву и на крышу. Сердце у меня екнуло, по жилам побежала кровь, словно открылись какие-то шлюзы.

Я смотрел Анне в лицо, зная, как знала и она, что настал миг, к которому нас обоих все лето нес неторопливый поток. Я повернулся и медленно пошел к лестнице. Сначала

я не знал, идет она за мной или нет. Потом понял, что идет. Я стал подниматься и слышал, что она идет следом, ступеньки на четыре ниже меня.

Дойдя доверху, я не остановился в холле и не оглянулся назад. В крошечной тьме я направился к дверям своей комнаты. Я нащупал ручку, толкнул дверь и вошел. В комнате было не так темно: небо за окном слегка посветлело, а к тому же мокрые листья отражали свет с террасы. Я посторонился, не отпуская дверной ручки, и дал ей войти. Она на меня даже не взглянула. Пройдя шага три, она остановилась. Я закрыл дверь и

двинулся к тонкой фигуре в белом; она не обернулась. Я обхватил ее сзади поперек груди, притянул к себе ее плечи и прижался пересохшими губами к ее волосам. Руки ее были опущены. Мы постояли так минуту-другую, словно на рекламе, где молодая пара любитесь роскошным закатом, океаном или Ниагарским водопадом. Но мы ничем не любовались. Мы стояли посреди голой, темной комнаты (железная кровать, старый комод, сосновый стол, чемоданы, книги, разбросанные вещи — я не дал матери превратить эту комнату в музей) и глядели на темные верхушки деревьев за окном, которые вдруг зашевелились и

застучали от налетевшего с залива ветра и дождя.

Анна подняла руки и накрыла своими ладонями мои.

— Джеки, — сказала она тихо, но не шепотом. — Птичка Джеки, я пришла сюда.

Да, она пришла.

Я начал расстегивать на спине крючки белого платья. Она стояла неподвижно, как послушная девочка с косичками. Легкая материя намокла и прилипла к телу, и это не облегчало моей задачи. Я долго возился с проклятыми крючками. Потом на пути у меня оказался пояс. Помню, он был завязан бантом на левом боку. Я развязал его, он упал

на пол, и я снова принялся за платье. Она стояла, прижав руки к бокам, так терпеливо, словно я был портным и у нас шла примерка. Она молчала, пока я по неловкости и от смущения не попытался стянуть платье вниз, через ноги.

— Не так, — тихо сказала она, — не так, сюда, — и подняла руки над головой.

Я заметил, что руки она держит не свободно, а сдвинула пальцы вместе и выпрямила ладони, как перед прыжком в воду. Я стянул платье через голову и стоял, скомкав его, как дурак, пока не догадался положить на стул.

Она продолжала стоять с

поднятыми руками, и я понял это как указание, что вслед за платьем тем же путем должна последовать и комбинация. Она последовала тем же путем, и с той же неловкой суетливой аккуратностью я бережно положил ее на стул, словно она могла разбиться. Анна опустила руки и стояла все так же безучастно, пока я заканчивал свою работу. Когда я расстегивал лифчик и стягивал вниз по ее рукам, стаскивал с ног трусики, стоя рядом с ней на коленях, движения мои почему-то были так осторожны, что я даже кончиками пальцев ни разу не задел ее кожи. Дышал я часто, горло и грудь у меня сдавило, но мысли как-то странно

блуждали — то я подумал о книге, которую начал читать и бросил на половине, то о колледже и о том, остаться ли мне в общежитии или снять комнату, то я вспомнил алгебраическую формулу, засевшую у меня в голове, то какой-то обрывок пейзажа — край поля с разрушенной каменной оградой — и мучительно пытался сообразить, где я это видел. Мысли мои делали дикие скачки и рвались прочь, как зверь, попавший лапой в капкан, или майский жук на нитке.

Когда я присел на корточки, чтобы сдернуть на пол трусики, она сняла с ноги лодочку — знаете, как это делают девушки: сжимают пятки

и вытаскивают ногу из туфли. Я выпрямился, встал с ней рядом и поразился, какая она маленькая без каблуков. Я видел ее босиком тысячу раз — в купальном костюме на пляже или на поплавке. Но поразило это меня только теперь.

Когда я поднялся, она по-прежнему стояла, уронив руки, но потом скрестила их на груди, свела плечи и слегка передернула ими, как в ознобе; лопатки, на которых висели косички, показались мне острыми и хрупкими.

Снаружи порывами налетал дождь. Я и это заметил.

Голова ее была наклонена вперед, и она, наверно, увидела или

вспомнила, что еще не сняла чулок. Повернувшись ко мне боком, она нагнулась и, балансируя сначала на одной ноге, а потом на другой, стянула чулки и уронила их на пол, рядом с поясом и кучкой воздушных предметов. Потом она опять встала, как раньше, ссутулившись и, наверно, вздрагивая. Колени ее были сжаты и чуть согнуты.

Пока я расстегивал непослушными пальцами пуговицы на рубашке (одну я вырвал, потому что никак не мог вынуть из петли, и в коротком затишье она щелкнула, упав на голый пол) и пока мои мысли, как жук на нитке, шарахались из стороны в сторону, она подошла к

железной кровати и села неуверенно на краешек, сдвинув колени, по-прежнему сутулясь и прикрывая руками грудь. Она смотрела на меня оттуда не то вопросительно, не то жалобно — в потемках я не мог разглядеть выражение ее глаз.

Потом уронила одну руку на кровать, оперлась на нее, наклонилась набок, подняла ноги с пола, обе разом, и мягко, как бы разворачиваясь, легла на белое покрывало, а затем старательно выпрямилась, снова скрестила руки на груди и закрыла глаза.

И в тот миг, когда она закрыла глаза, моя мысль снова шарахнулась в сторону, я увидел ее лицо, как в день

пикника, три года назад – на воде, с закрытыми глазами под грозовым небом; то лицо и это лицо, та сцена и эта сцена слились, как в двойной экспозиции – каждое изображение сохраняло свою особенность, но не заслоняло другого. Я смотрел на нее, тщетно пытаюсь проглотить комок, подкативший к горлу, чувствуя, как кровь распирает тело, – и вдруг обвел взглядом пустынную полутемную комнату, услышал прерывистый шум дождя и понял, что все это неправильно, вконец неправильно, почему – я не понимал и не старался понять, но совсем не к этому вело нас минувшее лето. Я понял, что не сделаю этого.

— Анна... — хрипло сказал я, —
Анна...

Она ничего не ответила, только открыла глаза и посмотрела на меня.

— Мы не должны, — начал я, — мы не должны... это не будет... это будет... неправильно.

Слово «неправильно» сорвалось у меня с языка совершенно неожиданно, ибо я никогда не задавался вопросом, «правильно» или «неправильно» то, что я делаю с Анной Стентон или с другими женщинами, просто делал, и все, да и вообще не очень задумывался, правильно или неправильно то или иное в жизни, а просто делал то, что делают другие, и не делал того, чего

не делают. И не думал над тем, что другие делают, а чего не делают. До сих пор помню, как я был удивлен, услышав от себя это слово — эхо слова, произнесенного кем-то другим невесть сколько лет назад и теперь оттаявшего, как в рассказе барона Мюнхгаузена. Дотронуться до Анны я просто не мог — как если бы она была моей младшей сестренкой.

Она и теперь не ответила, только смотрела на меня с выражением, которого я не мог разгадать; меня охватила жалость — как будто теплая жидкость разлилась по груди. Я сказал: «Анна... Анна...» — и мне захотелось упасть перед ней на колени, схватить

ее за руку.

Если бы я это сделал, все могло бы пойти иначе и гораздо более обычным порядком, потому что, когда здоровый и полураздетый молодой человек стоит на коленях возле кровати и держит за руку совершенно раздетую, хорошенькую девушку, события рано или поздно начинают развиваться обычным порядком. Если бы я хоть раз до нее дотронулся, когда ее раздевал, или если бы она хоть что-нибудь мне сказала, назвала меня милым Джеки, призналась в любви, захихикала, притворилась веселой, ответила мне любым словом или фразой, когда она закрыла глаза и я окликнул ее по

имени, — если бы хоть что-нибудь из этого случилось, все бы шло иначе и тогда и теперь. Но ничего этого не случилось, я не поддался порыву, не упал на колени перед кроватью и не взял ее за руку, чтобы хоть как-то для начала прикоснуться своим телом к ее телу, чего наверняка было бы достаточно. Потому что, как только у меня вырвалось: «Анна... Анна...» — за окном послышалось шуршание шин и скрип тормозов.

— Они вернулись! Вернулись! — крикнул я, и Анна сразу же села на кровати, растерянно глядя на меня.

— Хватай свои вещи, — приказал я, — хватай вещи и ступай в ванную — ты могла быть в ванной!

Судорожно заталкивая рубашку в брюки и одновременно пытаюсь застегнуть пояс, я бросился к двери.

— Я на кухне! Готовлю еду!

Я кинулся из комнаты, на цыпочках пробежал через холл, скатился по черной лестнице в коридор, а оттуда — на кухню, и в тот миг, когда дверь террасы стукнула и в переднюю вошли люди, я дрожащими пальцами поднес спичку к горелке, где стоял кофейник. Я сел к столу и принялся намазывать бутерброды, надеясь, что сердце у меня не будет так стучать, когда войдет мать с Патонами и остальными обормотами.

Когда мать во главе всей

компании явилась на кухню, я был тут как тут и передо мной – горка аппетитных бутербродов. Они не поехали в «Ла Гранж» из-за дождя и шутили, что я читаю чужие мысли, раз приготовил им кофе и бутерброды, а я был очень мил и любезен. Потом сверху пришла Анна (она обстоятельно сыграла роль и для пущей достоверности спустила воду в уборной два раза), они подшучивали над ее косичками и бантиками, а она ничего не отвечала и только застенчиво улыбалась, как и положено воспитанной девушке, когда взрослые удостаивают ее своим вниманием. Потом она тихонечко села, принялась за бутерброд, и я

ничего не мог прочесть на ее лице, ровно ничего.

Так кончилось лето. Правда, была еще вторая половина ночи, когда я лежал на железной кровати, слушал, как капает с листьев, и проклинал себя за глупость, проклинал свое невезение и пытался вообразить, что чувствовала Анна, пытался придумать, как остаться с ней наедине завтра — ведь послезавтра она уедет. Но потом я подумал, что, если бы я не остановился, было бы еще хуже — мать пошла бы наверх с другими дамами (что она и сделала), а мы с Анной попались бы в ловушку в моей комнате. От этой мысли меня

прошиб холодный пот, и я почувствовал себя мудрецом — я поступил правильно и разумно. И это нас спасло. Таким образом, мое везение превратилось в мою мудрость (так же, как везение всего распроклятого человечества превращается в мудрость, и ее описывают в книгах и проходят в школе), а позже моя мудрость превратилась в мое благородство — в конце концов я уговорил себя, что мной двигало благородство. Я, правда, не употреблял этого слова, но примеривался к нему и часто, по ночам или в подпитии, лучше к себе относился, вспоминая свое поведение.

И по мере того, как я ехал все дальше на Запад и передо мной мелькали кадры моей любительской кинохроники, меня все больше донимала мысль, что, не прояви я тогда такого благородства – если это было благородством, – все пошло бы иначе. Ведь если бы нас с Анной застукали в моей комнате, то мать и губернатор Стентон поженили бы нас, даже против своей воли. И что бы потом ни случилось, то, из-за чего я ехал сейчас на Запад, никогда бы не случилось. Выходит, размышлял я, мое благородство (или как его там назвать) имело в мои времена почти такие же пагубные последствия, как грех, совершенный

Кассом Мастерном в его время. Что показательно как для тех, так и для этих времен.

После того как Анна ушла домой, была, как я сказал, еще вторая половина ночи. Но был еще и весь следующий день. Однако днем Анна укладывала вещи и ездила с поручениями в Лендинг. Я слонялся возле ее дома и пытался с ней поговорить, но нам никак не удавалось остаться наедине, пока меня не попросили подвезти ее в город. Я уговаривал ее сразу же выйти за меня замуж, вот так — просто поехать домой, взять чемодан и сбежать. Она была несовершеннолетняя и всякая такая

штука, но я думал, что мы это как-нибудь уладим — насколько я вообще был в состоянии думать. А потом пусть губернатор и моя мать рвут на себе волосы. Но она сказала:

— Милый Джеки, ты же знаешь, что я выйду за тебя замуж. Непременно. Я выйду за тебя замуж на веки вечные. Но не сегодня.

Я продолжал к ней приставать.

— Ты поезжай в университет, — ответила она, — кончай его, и тогда я выйду за тебя замуж. Даже до того, как ты получишь адвокатское звание.

Я не сразу сообразил, при чем тут «адвокатское звание». Но, вовремя вспомнив, не выказал удивления — и этим вынужден был

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ.

Я помог ей выполнить поручения, отвез ее домой и отправился к себе обедать. После обеда я сразу же поехал к ней на машине, понадеявшись, несмотря на ветреную, пасмурную погоду, что мы сможем прокатиться. Но не тут-то было. Приехали молодые люди и девушки, с которыми мы провели лето, — попрощаться с Анной; приехали их родители, две пары, — повидать губернатора (губернатором он уже не был, но в Лендинге так навсегда и остался «губернатором») и выпить с ним посошок на дорожку. Молодежь завела на веранде патефон, а старики — нам они, во

всяком случае, казались стариками – сидели в комнате и пили джин. Мне оставалось лишь танцевать с Анной, которая была очень нежна, но, когда я уговаривал ее выйти со мной на минутку, отвечала, что сейчас не может, что сейчас неудобно перед гостями, но что потом постарается. А тут опять налетела буря – как раз было равноденствие, – родители объявили, что, пожалуй, надо собираться домой, и призвали своих отпрысков последовать их примеру – Анне надо выспаться перед отъездом.

Я остался, но без толку. Губернатор Стентон сидел в гостиной, выпивал уже в одиночку и

просматривал вечернюю газету. Мы сидели, прижавшись, на веранде, прислушивались к шуршанию его газеты, шепотом объяснялись в любви. Потом мы просто сидели прижавшись, прислушивались, как дождь стучит по листьям, но не разговаривали, потому что слова от повторения теряли смысл.

Когда дождь прекратился, я встал, зашел в комнату, попрощался за руку с губернатором, потом вышел, поцеловал Анну и уехал. Поцелуй был холодный, формальный, словно этого лета вовсе не было или оно было совсем не таким.

Я вернулся в университет. Я не мог дождаться рождества, когда она

приедет домой. Мы писали друг другу каждый день, но письма скоро стали как чеки на капитал, нажитый летом. В банке лежало много денег, но жить на капитал всегда непрактично, а у меня было такое чувство, что я живу на капитал и вижу, как он тает. И в то же время я сходил с ума от желания ее видеть.

На рождество мы виделись с ней десять дней. Но все было не так, как летом. Она говорила, что любит меня и выйдет за меня замуж, и разрешала мне много вольностей. Но выходить замуж сейчас она не хотела и останавливала меня, когда я пытался перейти границу. Перед ее отъездом мы из-за этого поссорились. В

сентябре она соглашалась, а теперь нет. Мне казалось, что она нарушает какое-то свое обещание, и я очень злился. Я сказал ей, что она меня не любит. Она уверяла, что любит. Тогда, спрашивал я, в чем же дело?

— Не потому, что я боюсь, и не потому, что я тебя не люблю. Да нет же, я люблю тебя, Джеки, люблю! — говорила она. — И не потому, что я гадкая недотрога. Это потому, что ты такой человек, Джеки.

— Ну еще бы! — паясничал я. — Ты хочешь сказать, что не веришь мне, боишься, что я на тебе не женюсь и ты будешь опозорена.

— Я знаю, что ты на мне женишься, — говорила она, — но такой

уж ты человек.

Объяснять она ничего не хотела. И мы страшно поругались. Я вернулся в университет форменным неврастеником.

Месяц она мне не писала. Две недели я выдерживал характер, а потом стал каяться. Тогда переписка возобновилась, и где-то в главной бухгалтерии вселенной кто-то каждый день нажимал красную кнопку кассы, и в кредит гроссбуха заносятся красные цифры.

В июне она на несколько дней приехала в Лендинг. Но губернатор прихварывал, и скоро врачи спровадили его в Мэн, подальше от жары. Он взял с собой Анну. Перед

отъездом все шло как на рождество, а не как прошлым летом. Даже хуже, чем на рождество, потому что я окончил общий курс и мне пора было поступать на юридический. У нас произошла по этому поводу ссора. Да по этому ли поводу? Она мне что-то сказала насчет юриспруденции, а я вспылil. Мы помирились, письменно, через полтора месяца после ее отъезда — переписка возобновилась, красные цифирки снова запестрели в небесном гроссбухе, как кровавые птичьи следы, а я валялся в доме судьи Ирвина и читал книжки по истории Америки — не для экзамена и не по обязанности, а потому, что подо

мною проломилась хрупкая корка настоящего и я почувствовал на щиколотках хватку зыбучих песков прошлого. Осенью, когда Анна вернулась с отцом, чтобы через неделю отправиться в какой-то аристократический колледж в Виргинии, мы проводили с ней много времени на берегу и в машине, прилежно повторяя знакомые телодвижения. Она, как птица, слетала с вышки в воду. Она лежала у меня в объятиях при лунном свете — когда светила луна. Но все было не то.

Во-первых, неприятный эпизод с поцелуем. Когда мы встретились с ней во второй или в третий раз, она

поцеловала меня совсем по-новому, как не целовала никогда. И сделала это не в порядке пробы или опыта, как прошлым летом. Она просто, что называется, поддалась порыву. Я сразу понял, что ее обучал летом в Мэне какой-то мужчина, какой-то паршивый курортник в белых фланелевых брюках. Я сказал: я знаю — она с кем-то крутила в Мэне. Она не отпиралась ни секунды. И, ответив самым хладнокровным тоном: «Да», спросила, откуда я знаю. Я объяснил. Тогда она протянула: «А-а, конечно...». Я пришел в ярость и отодвинулся от нее. До этого она обнимала меня за шею.

Она спокойно посмотрела на меня и сказала:

– Джек, я целовалась в Мэне. Он был славный мальчик, Джек, мне он очень нравился, мне с ним было весело. Но я не любила его. Мы с тобой тогда поссорились, и я вдруг решила, что жизнь для меня вроде кончилась и у нас больше ничего не будет, а то я бы с ним не целовалась. Мне даже хотелось в него влюбиться. Ах, Джеки, тут была такая пустота, такая громадная пустота... – И простодушно положила руку на сердце. – Но я не могла. Не могла в него влюбиться. И перестала целоваться с ним. Еще до того, как мы помирились. – Она наклонилась

ко мне и взяла меня за руку. — Мы же с тобой помирились, правда? — И с коротким грудным смешком спросила: — Ведь правда, Джеки? Правда? И я опять такая счастливая.

— Ага, — сказал я. — Помирились.

— А ты счастливый? — спросила она.

— Конечно, — ответил я и был настолько счастлив, насколько, видимо, этого заслуживал. Но червячок сидел во мне, он притаился где-то в темной глубине сознания, хотя я и забыл о нем. А в следующий вечер, когда она не поцеловала меня по-новому, червячок зашевелился. И в следующий вечер — опять. Оттого, что она не целовала меня по-новому,

я бесился еще больше. Поэтому я поцеловал ее, как тот курортник. Она сразу же от меня отстранилась и сказала очень тихо:

– Я знаю, почему ты так сделал.

– Тебе же это нравилось в Мэне.

– Ах, Джеки, – сказала она. – На

свете нет никакого Мэна, и никогда не было, на свете нет ничего, кроме тебя, а ты – все сорок восемь штатов, вместе взятых, и я любила тебя все время. Теперь ты будешь хорошим? Поцелуй меня по-нашему.

Я поцеловал, но жизнь – это огромный снежный ком, который катится с горы и никогда не катится в гору, чтобы вернуться в исходное состояние, будто ничего не

происходило.

И хотя лето, которое только что кончилось, было не похоже на предыдущее, я снова вернулся в университет, снова таскал подносы, подрабатывал репортерством, поступил на юридический и занимался там с отвращением. Я писал Анне в аристократический женский колледж в Виргинии, и капитал, на который выписывались эти чеки, все таял и таял. Вплоть до рождества, когда я приехал домой, и она приехала домой, и я сказал ей, что мне тошно заниматься на юридическом, ожидая (даже с каким-то сладострастием) выволочки. Но выволочки не последовало. Она

только похлопала меня по руке. (Мы сидели, обнявшись, на кушетке в гостиной у Стентонов и теперь оторвались друг от друга, она — в меланхолической задумчивости, а я — раздраженный и изнуренный желанием, которого так долго не мог удовлетворить.) Она похлопала меня по руке и сказала:

— Ну брось тогда юридический. Ты вовсе не обязан там учиться.

— А что мне, по-твоему, делать?

— Джеки, я никогда не хотела, чтобы ты учился на юридическом. Ты же сам это придумал.

— Неужели? — спросил я.

— Да, — сказала она и снова похлопала меня по руке. — Делай то,

что тебе хочется, Джеки. Я хочу, чтобы ты делал то, к чему тебя тянет. И пусть ты не будешь много зарабатывать. Я же тебе давно говорю, что мне ничего не надо, я могу питаться одними бобами.

Я поднялся с кушетки. Хотя бы для того, чтобы она больше не могла похлопывать меня по руке с профессиональной теплотой медицинской сестры, успокаивающей больного. Я отошел от нее и решительно заявил:

– Ладно, давай питайся со мной бобами. Поженимся. Завтра же. Сегодня. Хватит дурака валять. Ты говоришь, что любишь меня. Хорошо, я тебя тоже люблю.

Она молча сидела на кушетке, уронив руки на колени; потом подняла лицо — напряженное, усталое, — на глазах у нее навернулись слезы.

— Ты меня любишь? — допрашивал я.

Она медленно кивнула.

— Ты знаешь, что я тебя люблю? — допрашивал я.

Она кивнула опять.

— Значит, все в порядке?

— Джек... — начала она и замолчала. — Джек, я люблю тебя. Иногда мне кажется, будто я тебя поцелую, а потом обниму, закрою глаза и вместе с тобой хоть в воду! Или как тогда, когда ты нырнул за

мной и мы целовались под водой и думали, что никогда не выплывем наверх. Помнишь?

— Да, — сказал я.

— Вот как я тебя любила.

— А теперь? — допрашивал я. — А теперь?

— И теперь тоже, Джек. Наверное, и теперь. Но что-то изменилось.

— Изменилось?

— Ох, Джек! — воскликнула она и в первый раз — во всяком случае, в первый раз на моей памяти — прижала руки к вискам — этот жест, которым она пыталась побороть растерянность, не вошел у нее в привычку, но впоследствии мне

приходилось его наблюдать. — Ох, Джек, — повторила она. — Столько всего случилось... С тех пор.

— Что случилось?

— Ну, понимаешь, выйти замуж — это не то что прыгнуть в воду. И любовь — она не то что прыжок в воду. Не то что утонуть. Она... она... ну, как тебе сказать? Это стараться жить по-настоящему, найти свою дорогу.

— Деньги? — сказал я. — Если ты о деньгах...

— Нет, не деньги, — прервала она. — Я не о деньгах говорила... Джек, если бы ты только мог понять, о чем я говорю!

— Ну, поступать на службу к

Патону или кому-нибудь из здешних я не намерен. Или просить их, чтобы они меня устроили. Даже Ирвина. Я найду работу, все равно какую, но не у них.

— Миленький, — нежно сказала она, — я ведь не уговариваю тебя жить здесь. Или служить у Патона. И вообще у кого бы то ни было. Я хочу, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Лишь бы ты что-нибудь делал. Даже если ты не будешь зарабатывать. Я же тебе сказала, что согласна жить в шалаше.

И тогда я вернулся на юридический факультет и благодаря своей настойчивости ухитрился вылететь оттуда еще до конца

учебного года. Для этого понадобилось приложить немало сил – добиться этого обычным путем в университете невозможно. Надо очень стараться. Я мог бы, конечно, просто подать заявление об уходе, но, если ты уходишь сам или просто перестаешь посещать, ты еще можешь вернуться. Поэтому я довел дело до исключения. Когда я праздновал свое исключение, будучи уверен, что Анна разозлится и порвет со мной, мы с приятелем и двумя девицами попали в историю, а история попала в газеты. Я был уже бывшим студентом, и университет ничего со мной сделать не мог. Анна тоже не отреагировала – видимо, я

стал уже бывшей птичкой Джеки.

Тут пути наши с Анной и разошлись. Я пошел по пути газетной журналистики, посещения значных мест и чтения книг по американской истории. В конце концов я снова стал слушать лекции в университете, сначала от нечего делать, а потом — всерьез. Я вступил в, волшебную страну прошлого. На какое-то время мы с Анной будто помирились, но потом сцепление снова отказало, и все пошло по-прежнему. Я так и не защитил диплома. Поэтому я вернулся в «Кроникл», где стал репортером, и очень неплохим репортером. Я даже женился на Лоис — очень красивой девушке, куда

красивее Анны, и притом пухленькой, тогда как Анна была скорее костлявой и мускулистой. Лоис была лакомый кусочек, ты сразу понимал, что она приятна на ощупь — таинственное сочетание филе с персиком, — от которого у тебя текут слюнки и деньги. Почему Лоис вышла за меня, известно ей одной. Но не последней причиной, по моему, было то, что моя фамилия Берден. Я пришел к этому выводу методом исключения. Ее не могли привлекать моя красота, изящество, обаяние, остроумие, интеллект и образованность, ибо, во-первых, я не обладал такой уж большой красотой, изяществом и обаянием, а во-вторых,

Лоис ничуть не интересовалась интеллектом и образованностью. Даже если бы они у меня были. Вряд ли ее привлекало и состояние моей матери, потому что у ее собственной матери была куча денег — их нажил покойный отец на выгодных поставках гравия во время войны, правда, немножко поздно для того, чтобы дать своей дочери так называемое приличное воспитание в те годы, когда она еще была к нему восприимчива. Значит, все дело решила фамилия Берден.

Разве что Лоис была в меня влюблена. Я учитываю эту возможность только для полноты и строгости рассуждений — уверен, что

все познания Лоис в этой области ограничивались умением написать слово «любовь» и выполнять те физиологические обязанности, которые принято ассоциировать с этим словом. Писала она не слишком грамотно, но эти свои обязанности выполняла умело и с увлечением. Увлечение было от природы, умение же – искусство, а *ars longa est*^[42]. Я это понимал, хотя она была способна необычайно ловко и без усталости притворяться. Я это понимал, но сумел похоронить эту мысль на задворках своего сознания, как крысу, пойманную в кладовой, где она грызла сыр. В общем, я не очень-то и огорчился, пока ничто не

заставляло меня взглянуть правде в лицо. А меня ничто не заставляло, потому что в моих объятиях миссис Берден была очень верной или очень осмотрительной женой. Так что союз наш не оставлял желать ничего лучшего.

«Мы с Джеком идеально подходим друг к другу в половом отношении», — целомудренно заявляла Лоис, ибо она была крайне передовой женщиной в том, что у нее называлось взглядами, и крайне современной в выражениях. Она обведет, бывало, взглядом лица гостей в своей благоустроенной модерновой квартире (она любила модерн, а не балконы, выходящие на

старинные внутренние дворики, – и деньги за квартиру платила она), скажет, что мы с ней идеально подходим друг к другу, и, произнося это, добавит две лишние приторные гласные к слову «половой». Первое время меня не раздражало, когда она рассказывала гостям, как мы друг другу подходим, мне это даже льстило, всякому было бы лестно, если бы его имя связывали с именем Лоис или если бы его сфотографировали с ней в любом общественном месте. Поэтому я застенчиво сиял в кругу наших гостей, когда Лоис рассказывала об этом идеальном соответствии. Но потом это стало меня раздражать.

Пока я рассматривал Лоис как красивую пухленькую, темпераментную душистую машину для возбуждения и удовлетворения моих желаний (а на такой Лоис я и женился), все шло прекрасно. Но стоило мне отнестись к ней как к человеку, и начались неприятности. Все бы еще обошлось, если бы Лоис онемела в период половой зрелости. Тогда ни один мужчина не смог бы перед ней устоять. Но она не была немой, а когда какое-то существо разговаривает, вы рано или поздно начинаете прислушиваться к его речи и, несмотря на все противопоказания, воспринимать его как человека. Вы начинаете

применять к нему человеческие мерки, и это портит невинное райское удовольствие, которое вы получали от пухленькой, душистой машины. Я любил машину Лоис, как любишь сочное филе или персик, но я, безусловно, не любил Лоис-человека. И чем яснее я понимал, что Лоис-машина — собственность и орудие Лоис-человека (или по крайней мере предмета, наделенного речью), тем больше Лоис-машина, которую я простодушно любил, напоминала мне красивого сочного моллюска, пульсирующего в темной глубине, а сам я был планктоном, который она безжалостно к себе притягивает. Или же она напоминала

винную бочку, где утопили герцога, а я был этим несчастным герцогом Кларенсом^[43]. Или жадную, алчную, заманчивую трясину, которая проглотит заблудившегося ночью путника с усталым, хлюпающим, удовлетворенным вздохом. Да, с таким же вздохом удовлетворения эта жадная, прельстительная трясина может поглотить величественные храмы, пышные дворцы, башни, крепостные стены, книгохранилища, музеи, хижины, больницы, дома, города и вообще все, что создано человеком. Так мне в ту пору казалось. Но как ни парадоксально это звучит, пока Лоис оставалась всего-навсего Лоис-машиной, пока

она была лишь хорошо одетым зверьком, пока она просто составляла часть девственной, неодоухотворенной природы, пока я не начал замечать, что звуки, которые она производит, — это слова, никакого вреда от нее не было, так же как и от того наслаждения, которое она доставляла. Только тогда, когда я увидел, что эта Лоис неотделима от другой Лоис, у которой есть кое-какие человеческие черты, — только тогда я понял, что трясина может поглотить все творения рук человеческих. Да, это был хитрый парадокс.

Я не принял решения, что не дам себя проглотить. Инстинкт

самосохранения сидит в нас куда глубже всякого решения. Человек не принимает решения поплыть, когда он падает в реку. Он принимается бить по воде ногами. И я тоже начал барахтаться, извиваться, брыкаться. Началось, как я помню, с друзьями Лоис (ни один из моих друзей не переступал порога нашей современной квартиры — если, конечно, можно назвать друзьями знакомых по редакции, забегаловкам и клубу журналистов). Меня охватило отвращение к друзьям Лоис. Ничего особенно дурного в них не было. Это была обычная культурная разновидность человеческих сорняков. Были среди них те, кто, по

мнению не слишком осведомленной в таких делах Лоис, обладал «положением», но у них было мало денег, и они любили выпить за ее счет. Были среди них и люди без «положения», но зато денег у них было больше, чем у Лоис, и они знали, что с ножа не едят. Попадались среди них и такие, у кого не было ни положения, ни денег, зато был кредит в лучших магазинах одежды, и Лоис могла ими помыкать. Все они читали «Венити фэйр» или «Харперс базар» (в зависимости от пола, а некоторые читали оба журнала) и «Смарт сет», цитировали Дороти Паркер, и те, кто не ездил дальше Чикаго, пресмыкались перед

теми, кто ездил в Нью-Йорк, а те, кто не ездил дальше Нью-Йорка, пресмыкались перед теми, кто ездил в Париж. Как я уже сказал, ничего дурного в этих людях не было, попадались даже очень симпатичные. Единственное, чего я в них не выносил, как я вижу задним числом, было то, что они – друзья Лоис. Сперва я относился к ним с прохладцей, потом мое обращение с ними, если верить Лоис, стало просто хамским. После моих выходов Лоис пыталась меня перевоспитать, отказывая мне в плотских радостях.

Так обстояло дело с друзьями Лоис. Но вторым камнем

преткновения был вопрос о квартире Лоис. Мне стала противна эта квартира. Я сказал Лоис, что не желаю там жить. Что мы снимем жилье, за которое я смогу платить из своего жалованья. У нас происходили ссоры по этому поводу – ссоры, из которых я и не рассчитывал выйти победителем. И тогда меня тоже лишали плотских радостей.

Так обстояло дело с квартирой. Но был и третий камень преткновения – проблема моей одежды и того, что Лоис любила называть «уходом за собой». Я привык носить костюмы за тридцать долларов, шляпу, поля которой уже обвисли и загибались, по два дня не

менять рубашки, по два месяца не стричься, не чистить ботинки, ходить с поломанными и не всегда чистыми ногтями. И считал, что привычка гладить брюки не должна стать моей второй натурой. Первое время, когда я смотрел на Лоис просто как на машину для наслаждения, я разрешал себе кое-какие незначительные перемены в собственной внешности. Но как только до меня дошло, что звуки, выходящие у нее изо рта, напоминают человеческую речь и чем-то сложнее атавистических сигналов желания или удовлетворения от пищи или совокупления, во мне стало расти чувство протеста. И по мере того как

все настойчивее становились требования «следить за собой», росло и мое сопротивление. Все чаще и чаще исчезали привычные части моего гардероба и заменялись явными или подметными дарами. Вначале я объяснял эти дары неуместным, хоть и любовным желанием доставить мне удовольствие. В конце концов я понял, что меньше всего заботились о моем удовольствии. Кризис разразился, когда я стал чистить ботинок новым галстуком. Начался скандал — первый из многих скандалов, вызванных расхождением наших вкусов в вопросах галантереи. И всякий раз меня лишали плотских

радостей.

Меня лишали их по самым разным поводам. Но всегда ненадолго. Иногда я сдавался и просил прощения. Поначалу я каялся даже искренне, хотя в моей искренности была жалость к себе. Но позже я достиг высокого мастерства скрытой иронии, *double entendre*^[44] и лицедейства и лежал в постели, чувствуя, что лицо мое в темноте искажает гримаса самодовольной хитрости, горечи и отвращения. Но я не всегда сдавался первый; иногда пухленькая Лоис-машина побеждала черствую Лоис-женщину. Она звала меня к себе голосом, сдавленным от ненависти, а

в последующей стадии отворачивала лицо, и если глядела на меня, то злобными глазами загнанного зверя. Если же не звала меня, то сдавалась во время драки, затеянной ею же самой не в шутку, а всерьез, – драки, которая была не под силу черствой Лоис-женщине и давала преимущество другой Лоис. Но, кто бы из нас ни сдался первый – я или она, – мы, несмотря на молчаливую ненависть и уязвленное самолюбие, доказывали на скомканных простынях правоту того, что Лоис говорила гостям: как идеально мы подходим друг к другу в половом отношении. И мы подходили.

Но именно потому, что мы так

подходили друг к другу, я, повинувшись
глубоко заложенному во мне
инстинкту самосохранения, в конце
концов стал путаться с
обыкновенными шлюхами. В ту пору
я писал в вечерний выпуск газеты и
кончал свои труды часа в два дня.
Выпив рюмку-другую и закусив в
забегаловке, а потом выпив еще
рюмку-другую и сыграв партию на
бильярде в клубе журналистов, я
обычно заходил к кому-нибудь из
приятелей. А потом за обедом — если
я успевал к обеду домой — и вечером
я с научной объективностью и
мистическим чувством духовного
возрождения изучал Лоис. Дело
дошло до того, что я по желанию мог

вызывать у себя зрительные иллюзии. Стоило мне посмотреть на Лоис определенным образом, и я видел, как она неуклонно от меня отдаляется, а комната вытягивается в длину, словно я гляжу на нее в перевернутый бинокль. Такое упражнение меня духовно освежало. Под конец я так усовершенствовался, что слышал ее голос — если в тот вечер она ругательски ругала меня, а не просто дулась — очень издалека, как будто она обращалась даже не ко мне.

Затем наступила последняя фаза — фаза Великой Спячки. Каждый вечер сразу же после обеда я ложился в постель и крепко засыпал с

блаженным чувством непрерывного погружения на самое дно черноты, где я мог прятаться до следующего утра. Иногда я даже не дожидался обеда и лишал себя удовольствия наблюдать Лоис. Я сразу ложился в постель. Помню, поздней весной это, можно сказать, вошло у меня в привычку. Я приходил домой после своих обычных занятий, затягивал в спальне шторы и ложился в постель — из-за шторы просачивался мягкий свет, в небольшом парке возле дома щебетали и чирикали птицы, на детской площадке звонко перекликались дети.

Когда ты ложишься спать в конце весеннего дня или с

наступлением сумерек и слышишь эти звуки, ты испытываешь редкое чувство покоя, такое же, наверное, какое приносит старость после достойно прожитой жизни.

Если бы не было Лоис. Иногда она приходила ко мне в спальню — в это время я уже переселился для настоящего сна в гостевую спальню, — садилась на край кровати и занимала меня пространными описаниями моей особы — надо сказать, довольно скучными описаниями, ибо у Лоис не было словесного дара и ей приходилось полагаться на три или четыре классических эпитета. Иногда она била меня кулаками. Своими

слабыми белыми кулачками она пользовалась очень по-женски. Я умел спать и под ее описания и чуть ли даже не под ударами ее кулаков. Иногда она начинала плакать и жалеть свою загубленную жизнь. Раз или два она даже юркнула ко мне под одеяло. Иногда она отворяла дверь ко мне в комнату и заводила в гостиной патефон так, что ходил ходуном весь дом. Но дудки! Я мог спать под что угодно.

Однако настало утро, когда, проснувшись, я почувствовал на себе перст судьбы и понял, что час настал. Я встал, сложил чемодан и вышел за дверь, чтобы больше не возвращаться. Ни в модерновую

квартиру, ни к красавице Лоис, с которой мы так идеально подходили друг другу.

Я никогда ее больше не видел, но знаю, как она выглядит теперь и что могут сделать коктейли, конфеты, ночные бдения и без малого сорок лет с персиковым румянцем, жемчужно-спелой крепкой грудью, тонкой талией, черными бархатно-влажными глазами, пухлыми губами, пышными бедрами. Она сидит где-то на диване, более или менее сохранив фигуру при помощи массажистки и резиновых приспособлений, которые незримо стягивают ее, как мумию, но раздавшаяся от изобилия всего, что она поглотила с долгими

блаженными вздохами. Рукой с острыми ногтями, такими алыми, будто она только что выдирала внутренности еще живого жертвенного петуха, она тянется к вазе за шоколадкой. Шоколадка еще в воздухе, но нижняя губа оттопыривается и за пурпурной чешуйчатой полоской губной помады видны нетерпеливые розовые влажные оболочки рта и тусклый блеск золотой коронки в жаркой темной полости.

Счастливо, Лоис, я прощаю тебе все, что я тебе сделал.

Ну, а как жила в это время Анна Стентон, рассказывать недолго.

После двухлетнего пребывания в аристократическом пансионе в Виргинии она вернулась домой. Адам в это время изучал медицину на Севере. Анна год выезжала на балы и была помолвлена. Но ничего из этого не вышло. Хотя жених был порядочным, умным и состоятельным человеком. Потом было объявлено о новой помолвке, но что-то опять произошло. К тому времени губернатор Стентон стал совсем инвалидом, а Адам учился за границей. На балы Анна уже не ездила — только изредка на летние вечеринки в Лендинге. Она ухаживала за отцом, давала ему лекарства, поправляла подушки,

помогала сиделке, часами читала ему вслух, держала его за руку в летние сумерки и зимние вечера, когда дом дрожал от порывов ветра. Он умирал семь лет. После того как губернатор скончался на своей огромной кровати с балдахином, окруженный толпой медицинских светил, Анна Стентон осталась в доме, выходящем на море, в обществе тети Софонизбы – дряхлой, ворчливой и никчемной старухи негритянки, странным образом соединявшей в себе благодушие со злопамятностью и деспотизмом, как это бывает только у старых негритянок, чья жизнь прошла в преданной службе хозяевам, в подслушивании,

улещивании и плутовстве, в коротких вспышках возмущения, в вечной иронии и в одежде с барского плеча. Потом умерла и тетя Софонизба, вернулся из-за границы Адам, осыпанный академическими наградами и фанатически преданный своему делу. Вскоре после его приезда Анна перебралась в столицу, чтобы жить поближе к нему. Ей было уже около тридцати.

Она жила одна в маленькой квартирке. Изредка она обедала с кем-нибудь из подруг своей молодости, которые жили теперь совсем другой жизнью. Изредка появлялась на вечерах у этих дам или в загородном клубе. Она была

помолвлена в третий раз, теперь с человеком лет на семнадцать старше ее, многодетным вдовцом, видным адвокатом и столпом общества. Он был славный человек. Еще крепкий и довольно привлекательный. И даже с чувством юмора. Но замуж за него она не вышла. С годами она пристрастилась к беспорядочному чтению – биографий (Даниэля Буна и Марии Антуанетты), того, что называлось «серьезной беллетристикой», книг по социальным вопросам – и к благотворительной работе в доме для престарелых и в сиротском доме. Она хорошо сохранилась и продолжала заботиться о туалете, на

свой строгий манер. Теперь ее смех звучал порою натянуто и резко — он шел скорее от нервозности, чем от веселья или хорошего настроения. Иногда она теряла нить разговора и погружалась в себя, а потом, встрепенувшись, сгорала от смущения. Иногда она поднимала руки к вискам, чуть притрагиваясь пальцами к коже или откидывая назад волосы, словно пытаясь этим жестом преодолеть растерянность. Ей шел уже тридцать пятый год. Но скучно в ее обществе еще не было.

Такой была Анна Стентон, которую подцепил Вилли Старк и которая в конце концов мне изменила, вернее, изменила моему

представлению о ней, что оказалось для меня важнее, чем я предполагал.

Вот почему я сел в машину и поехал на Запад — когда тебе опостылело все вокруг, ты двигаешься на Запад. Мы всегда двигались на Запад.

Вот почему я погружался в Запад и прокручивал свою жизнь, как любительскую кинохронику.

Вот почему я оказался на гостиничной кровати в Лонг-Биче, Калифорния, на последнем берегу земли, среди всех этих великолепий природы. Ибо здесь ты оказываешься после того, как плыл через океаны, жевал черствые сухари сорок дней и ночей, запертый в крысоловке,

которую швыряли волны; после того, как ты потел в чаще и слушал звериный рев; после того, как ты построил хижины и города, перекинул мосты через реки; после того, как спал с женщинами и наплодил детей по всему свету; после того, как ты сочинял программные документы, произносил возвышенные речи, обагрил руки по локоть в крови; после того, как тебя трясла лихорадка в болотах и ледяные ветры в горах. И вот ты оказываешься здесь, один, на гостиничной койке в Лонг-Биче, Калифорния. Здесь я и лежал, а за окном, в такт сокращению и расслаблению сердечной мышцы,

гасла и вспыхивала неоновая вывеска, снова и снова озаряя кровавым отсветом серый морской туман.

Я утонул в Западе, и тело мое опустилось в уютный ласковый ил, на дно Истории. Лежа там, я обозревал, как мне казалось, всю историю моей собственной жизни и видел, что девушка, с которой я провел то далекое лето, не была ни красивой, ни обаятельной, а всего-навсего молодой и здоровой, и, хотя она пела песенки птичке Джеки, прижимая его голову к своей груди, она его не любила, в ней просто бродила кровь, а он оказался под боком — и это таинственное

брожение крови получило название «любовь». Я понял, что ее мучило брожение крови, и она разрывалась между этой тягой и страхом, и что все ее колебания и неуступчивость не были порождены мечтой о том, чтобы «любовь имела свой высший смысл», и желанием внушить такую же мечту мне, а были порождены страхами, которые еще в колыбели нашептывали ей, как добрые феи, все шамкающие, затхлые, отечные старухи из приличного общества, и что все ее колебания и неуступчивость были не лучше и не хуже похоти или той неуступчивости, которую практиковала Лоис в других целях. И в конце концов нельзя

отличить Анну Стентон от Лоис Сигер — они близнецы, и, хотя безумный поэт Вильям Блейк написал в стихах Врагу, правящему миром^[45], что он не может превратить Кэт в Нэн, безумный поэт ошибался, ибо каждый может превратить Кэт в Нэн, а если Враг не мог превратить Кэт в Нэн, то только потому, что они с самого начала были похожи как две капли воды и, по сути, одинаковы с иллюзорным отличием имен, которое ничего не значит, ибо все имена ничего не значат и все наши слова ничего не значат, а есть лишь биение крови и содрогание нерва, как в лапке подопытной мертвой лягушки, когда

через нее пропускают ток. И вот, лежа с закрытыми глазами на кровати в Лонг-Биче, я видел в зыбкой тьме, словно в трясине, могучее колыхание, судороги бесчисленных тел, члены, отторгнутые от этих тел, потные, а быть может, и кровоточащие от незаживающих ран. Но потом это зрелище, которое я мог вызвать, попросту закрыв глаза, показалось мне смехотворным. И я громко расхохотался.

Я громко расхохотался и, насмотревшись на размеренные вспышки неоновых огней в морском тумане, заснул. Когда я проснулся, я был готов вернуться к тому, от чего я

уехал.

Много лет назад в моей комнате на железной кровати лежала, закрыв глаза и сложив на груди руки, раздетая девушка. Меня так растрогала ее покорность, ее доверие ко мне и сама эта минута, которая вот-вот ввергнет ее в темный поток жизни, что я не решился до нее дотронуться и в растерянности громко назвал ее имя. Тогда я не мог бы выразить словами то, что я чувствовал, да и теперь мне трудно подобрать слова. Мне показалось, что она опять та девочка, которая в день пикника, закрыв глаза, лежала в воде, под грозовым пурпурно-зеленым небом, где высоко

пролетала белая чайка. Перед глазами у меня возник этот образ, и мне захотелось окликнуть ее, сказать ей что-то — а что, я сам не знал. Она доверилась мне, но, может быть, в тот миг нерешительности я сам себе не доверял и прошлое представлялось мне драгоценностью, которую вот-вот у нас вырвут, — я боялся будущего. Тогда я не понимал того, что сейчас, по-моему, понял: прошлое можно сохранить, только имея будущее, ибо они связаны навечно. Поэтому мне недоставало необходимой веры в жизнь и в себя. Со временем Анна стала догадываться об этом моем недостатке. Не знаю, могла ли она

определить его точными словами. Скорее она обходилась ходовыми, заемными понятиями: желание работать, юридическое образование, деятельная жизнь.

Пути наши, как я говорил, разошлись, но образ той девочки в воде залива, под грозовым небом, невинной и доверчивой, был всегда со мной. Затем настал день, когда образ этот у меня отняли. Я узнал, что Анна Стентон стала любовницей Вилли Старка, что я сам в силу какой-то таинственной и непреложной закономерности отдал ее ему. С этим фактом было чудовищно трудно примириться — он отнимал у меня ту часть прошлого,

которой, сам того не подозревая, я жил.

И вот я бежал от этого факта на Запад, и на Западе, на конечной остановке Истории — последний человек на последнем берегу, — на гостиничной койке я увидел видение. Я увидел, что вся наша жизнь — темное волнение крови и содрогание нерва. Когда убегаешь так далеко, что бежать дальше некуда, всегда приходит такое видение — видение нашего века. Сначала оно кошмарно и чудовищно, но в конце концов может стать по-своему целительным и бодрящим. Таким на какое-то время оно стало для меня. Оно было целительным потому, что после

этого видения Анна Стентон в каком-то смысле перестала для меня существовать. Слова «Анна Стентон» были всего лишь названием мудреного механизма, который ничего не должен значить для Джека Бердена, другого мудреного механизма. Когда я впервые обрел эту точку зрения на вещи – открыл ее сам, а не почерпнул из книг, – я почувствовал, что открыл тайный источник всякой силы и всякой стойкости. Что видение разрешает все вопросы.

Поначалу, как я уже сказал, оно было целительным и бодрящим. Потому что после такого видения ничто не мешает вам вернуться

восвояси и взглянуть в лицо факту, от которого вы убежали (даже если этот факт означает, что, докопавшись до правды прошлого, ты своими руками отдал Анну Стентон Вилли Старку), ибо всякое место, куда ты теперь убежишь, ничем не отличается от места, откуда ты убежал, и ты можешь вернуться назад, туда, где твое настоящее место, — ведь ты ни в чем не виноват и никто ни в чем не виноват, раз мир устроен так, а не иначе. И вернуться ты можешь с легкой душой, потому что ты открыл две очень важные истины. Во-первых, что нельзя потерять то, чего никогда не имел. Во-вторых, что нельзя быть виновным в

преступлении, которого не совершал.
Так на Западе ты обретаешь
невинность и можешь начать жизнь
сначала.

Если веришь видению, которое
там увидел.

Итак, полежав на кровати в Лонг-Биче, Калифорния, и увидев то, что мне довелось увидеть, я поднялся обновленным и поехал назад, в сторону утреннего солнца. Оно стелило мне под колеса тени белых, розовых и нежно-голубых штукатуренных домиков (в стиле ранних испанских миссий, мавританском и унылом американском); тени заправочных станций, похожих то на пряничный дом из сказки, то на дом Анны Хетеуэй, то на эскимосский иглу; тени дворцов, блистающих на холмах

в кружеве надменных эвкалиптов;
тени приземистых гор, похожих на
львов; тень товарного вагона,
забытого на пустой ветке, тень
встречного на белой дороге,
сверкающей вдаль, как кварц. Под
колеса мне ложилась прекрасная
фиолетовая тень всего мира, но я не
останавливался, потому что, если вы
действительно побывали в Лонг-
Биче, Калифорния, и видели вещий
сон на кровати в гостинице, ничто не
мешает вам с новой уверенностью в
себе вернуться к тому, от чего вы
бежали, ибо теперь у вас есть знание,
а знание — сила.

Вы можете дать полный газ,
чтобы шестидесятисильное чудо

взвыло, как овчарка на привязи.

Я миновал человека, который шел мне навстречу, и лицо его унеслось назад, словно листок бумаги, подхваченный ураганом, словно юношеские надежды. И я громко рассмеялся.

Я видел людей, выходящих на рыночные площади маленьких городков в пустыне. Я видел, как официантка безнадежно замахивается на муху в ресторане, где вентилятор баламутит воздух, разреженный и горячий, как дыхание домны. Я видел коммивояжера, который стоял передо мной у стола портье и говорил: «И это называется гостиница, я заказал по телефону

номер с ванной, а мне его не оставили. Удивительно еще, что в таком городишке есть ванны». Я видел овчара, стоявшего в одиночестве на вершине столовой горы. Я видел индианку с глазами цвета патоки, которые глядели на меня поверх груды гончарных изделий, расписанных племенными символами жизни и плодородия и предназначенных для лавки, где все продается за пять или десять центов. Глядя на этих людей, я ощущал огромную силу в моем сокровенном знании.

Я вспомнил, как однажды, давным-давно, когда Вилли Старк был пешкой и растяпой, во времена,

когда он был дядей Вилли из деревни и впервые баллотировался в губернаторы, я отправился в обглоданную вами западную часть штата, чтобы написать отчет о митинге в Антоне. Я ехал на пригородном поезде, который часами зевал и пыхтел среди хлопковых полей, а потом — полынной равнины. На одной станции я выглянул в окно и подумал о том, что заборы и проволочные изгороди вокруг тесовых домишек не смогут сдержать пустоту полынной, бугристой страны, которая словно подползла к домам, готовясь проглотить их. Я думал о том, что дома выглядят ненужными, хлипкими, случайно

сюда заброшенными, что люди вот-вот их покинут, оставив на веревках белье, — они не успеют сорвать белье с веревок, когда до них наконец дойдет, что надо бежать, и бежать поскорее. У меня была такая мысль, но, когда поезд тронулся, в задней двери одного из домов появилась женщина и выплеснула из сковородки воду. Она выплеснула воду, взглянула на поезд и решительно вошла в дом. Она не собиралась бежать. Она вернулась в дом, с которым была связана какая-то ее тайна, какое-то сокровенное знание. И когда поезд отошел, мне почудилось, что это я бегу, и должен бежать поскорее, ибо скоро стемнеет.

Я подумал, что эта женщина обладает каким-то тайным знанием, и позавидовал ей. Я часто завидовал людям. Тем, кого я видел мельком, и тем, кого знал давно; человеку, прокладывавшему весной первую черную борозду в поле, и Адаму Стентону. Я завидовал людям, которые, казалось мне, обладают сокровенным знанием.

Но теперь, мчась на восток, по пустыне, в тени хребтов, мимо плоских холмов, по нагорьям, и глядя на людей этой величественной голой страны, я думал, что мне больше некому завидовать, ибо теперь я сам обладаю сокровенным знанием, а зная, ты готов ко всему, ибо знание —

сила.

В поселке Дон Джон, Нью-Мексико, я разговорился с человеком, который сидел у стены заправочной станции, заняв единственный пятачок тени на сто миль вокруг. Это был старик лет семидесяти пяти, с лицом, словно растрескавшимся от засухи, со светло-голубыми глазами и в фетровой шляпе, давно уже не черной. Единственной приметной его чертой было то, что, когда вы смотрели на потрескавшуюся кожу его лица, сухую и безжизненную, как у мумии, вы вдруг замечали тик, поддергивавший его левую щеку к голубому глазу. Вы думали, что он собирается подмигнуть, но он не

собирался подмигивать. Тик был самостоятельным явлением, не связанным ни с его лицом, ни с его внутренним миром, ни с чем во всей ткани явлений, составляющей мир, в котором мы заблудились. Только он и был замечательным в этом лице — тик, живший своей маленькой самостоятельной жизнью. Старик сидел на узле, из которого торчала ручка луженой кастрюли; я присел на корточки рядом с ним и стал его слушать. Но слова были не живые. Живым был только тик, которого этот человек уже не замечал.

После того как мне заправили машину, я продолжал наблюдать этот тик, то и дело отрывая взгляд от

шоссе, — мы сидели рядом и мчались на восток. Он тоже ехал на восток, возвращался. Он покинул его в те дни, когда пыльные бури бушевали над половиной страны и люди бежали на Запад, словно очумелые лемминги. Только людям не хватало высокого исступления леммингов. Они не бросались обезумевшими ордами в голубые просторы Тихого океана. А ведь это было бы логично: броситься в воду папе и маме, бабушке и дедушке и малютке Розочке с мокрой болячкой на подбородке и плыть всей гопкомпанией, взбивая пену. Но нет, они были не похожи на леммингов, а потому осели и стали медленно

умирать с голоду в Калифорнии. А старик не стал. Он возвращался в северный Арканзас, чтобы голодать в родных краях.

— Что в Калифорнии, — сказал он, — что в другом месте — все едино. Только там еще похлеще будет.

— Да, — ответил я, — это точно.

— Был там? — спросил он.

Я сказал ему, что был там.

— Обратно домой едешь? — спросил он.

Я сказал ему, что еду домой.

Мы пересекли Техас, и в Шривпорте, Луизиана, он вылез, чтобы добираться до северного Арканзаса. Я не спросил его, нашел ли он правду в Калифорнии. Лицо

его, во всяком случае, нашло и носило печать последней мудрости под левым глазом. Лицо знало, что тик — это живое. Что он — все. Но, расставшись с этим в остальных отношениях непримечательным стариком и размышляя над его отличием, я сообразил: если тик — это все, то что же в человеке может осознать, что тик — это все? Разве лапка мертвой лягушки в лаборатории сознает, что судорога — это все, когда ты пропускаешь через нее электрический ток? Разве лицо старика знало о тике и о том, что тик — это все? И если я — сплошной тик, то откуда тик, которым я являюсь, знает, что тик — это все? А-а, решил

я, это загадка. Это сокровенное знание. Затем ты и едешь в Калифорнию, чтобы это открылось тебе в мистическом видении. Тик может знать, что тик — это все. И когда это открывается тебе в мистическом видении, ты очищаешься и становишься свободным. Ты в ладу с Великим Тиком.

Так я двигался все дальше на восток и через некоторое время прибыл домой.

Я приехал поздно ночью и лег спать. Наутро, отдохнувший и чисто выбритый, я явился на службу и зашел поздороваться с Хозяином. Мне очень хотелось его увидеть и

внимательно приглядеться к нему — нет ли в нем чего-то такого, чего я прежде не замечал. Требовалась величайшая внимательность, потому что теперь он стал человеком, у которого есть все, — у меня же ничего не было. Вернее, поправил я себя, у него есть все, кроме одной вещи, которая есть у меня, очень важной вещи, секрета. Так, поправив себя, в жалостливом расположении духа, как священник, вззирающий на труды и муки мирские, я вошел в приемную губернатора, миновал секретаршу, постучался и открыл дверь. Он был на месте и совсем не изменился.

— Привет, Джек, — сказал он, откинул со лба волосы, снял со стола

ноги и подошел ко мне, протягивая руку, — где ты пропадал?

— На Западе, — ответил я с нарочитой небрежностью и пожал его руку. — Просто съездил на Запад. Засиделся я тут, решил отдохнуть немного.

— Хорошо прокатился?

— Чудесно прокатился, — ответил я.

— Прекрасно, — сказал он.

— А ты тут как? — спросил я.

— Прекрасно, — сказал он, — все прекрасно.

Итак, я вернулся домой, в края, где все было прекрасно. Все было так же прекрасно, как и до моего отъезда, с той только разницей, что

теперь я знал секрет. И это знание отрезало меня от всех. Зная секрет, вам так же трудно общаться с тем, кто его не знает, как с непоседливым, напичканным витаминами мальцом, который поглощен своими кубиками и жестяным барабаном. И вам некого отвести в сторонку, чтобы поделиться своим секретом. Если вы попробуете это сделать, то человек, которому вы захотите открыть истину, подумает, что вы жалеете себя и ждете сочувствия, тогда как на самом деле вы ждете не сочувствия, а поздравлений. Поэтому я занимался своими насущными делами, ел хлеб насущный, видел давно знакомые лица и улыбался милостиво, как

священник.

Был июнь, и было жарко. Каждый вечер, кроме тех вечеров, когда я сидел в кино с кондиционированным воздухом, я приходил после обеда к себе в комнату, раздевался догола, ложился в постель, слушал, как зудит вентилятор, прогрызая мне мозги, и читал книжку до тех пор, пока не затихал городской шум и не распадался на далекие гудки такси, лязг и скрежет редких ночных трамваев. Тогда я протягивал руку, гасил свет и, повернувшись на бок, засыпал под назойливое жужжание вентилятора.

В июне я несколько раз видел

Адама. Он еще глубже ушел в работу над проектом медицинского центра, еще утрюмее и безжалостнее подгонял себя. Конечно, с концом учебного года дел в университете у него поубавилось, но это с лихвой восполняла растущая частная практика и работа в клинике. Когда я приходил к нему, он говорил, что рад меня видеть, и, наверно, в самом деле был рад, но разговаривал он неохотно, и, пока я сидел у него, он все глубже и глубже уходил в себя, и в конце концов у меня возникало такое чувство, будто я пытаюсь заговорить с человеком, сидящим в глубоком колодце, и мне надо орать, чтобы меня услышали. Только раз он

оживился — когда мимоходом сказал, что завтра утром у него операция, а я спросил, чем болен пациент.

Он сказал, что это случай кататонической шизофрении.

— Значит, псих? — спросил я.

Адам улыбнулся и снисходительно заметил, что я недалек от истины.

— Я не знал, что ты режешь психов, — сказал я. — Я думал, ты просто ублажаешь их, прописываешь холодные ванны, заставляешь плести корзинки и выпытываешь, какие они видят сны.

— Нет, — сказал он, — их можно оперировать. — И, как бы извиняясь, добавил: — Фронтальная лоботомия.

– А что это?

– Удаляются кусочки лобных долей в обоих полушариях, – ответил он.

Я спросил, останется ли пациент жив. Он сказал, что ручаться нельзя, но если останется, то станет другим.

Я спросил, что значит – другим.

– Другой личностью, – ответил он.

– Вроде как после обращения в христианскую веру?

– Это не создает новой личности, – ответил он. – После обращения твоя личность остается прежней. Просто она функционирует на основе другой системы

ценностей.

— А личность этого человека станет другой?

— Да, — сказал Адам. — Сейчас он просто сидит на стуле или лежит на спине и смотрит в пустоту. Его лоб изборозжен морщинами. Изредка он издает тихий стон или восклицание. Иногда этим случаям сопутствует бред преследования. Пациент находится в ступоре и испытывает грызущую тоску. Но после операции решительно все меняется. Напряженность уходит, он становится веселым и дружелюбным. Его лоб разглаживается. Он будет хорошо спать, хорошо есть, с удовольствием стоять у изгороди и

делать соседям комплименты по поводу их настурций или капусты. Он будет совершенно счастлив.

— Если ты можешь гарантировать такие результаты, займись торговлей земельными участками. Как только об этом пройдет слух.

— Никогда ничего нельзя гарантировать, — сказал Адам.

— А что будет, если все получится не по учебникам?

— Ну, — сказал он, — бывали такие случаи — не у меня, слава богу, — когда субъект становится не жизнерадостным и общительным, но жизнерадостным и совершенно аморальным.

– Заваливает нянек на пол среди бела дня?

– Приблизительно, – сказал Адам. – Если ему позволить. Все обычные запреты исчезают.

– Да, если твой больной выйдет после операции в таком виде, он будет ценным приобретением для общества.

Адам кисло усмехнулся:

– Ничуть не хуже многих, кого не подвергали операции.

– Можно мне посмотреть? – попросил я. Я вдруг почувствовал, что должен это увидеть. Я никогда не видел операции. Как журналист я видел три казни через повешение и одну на электрическом стуле, но это

совсем другое дело. Вешая человека, вы не изменяете его личности. Вы изменяете только длину его шеи и сообщаете его лицу лукавое выражение; а на электрическом стуле вы просто поджариваете подпрыгивающий кусок мяса. Но операция должна быть порадикальнее того, что случилось с Савлом по пути в Дамаск. Поэтому я попросил разрешения на ней присутствовать.

— Зачем? — спросил Адам, изучая мое лицо.

Я сказал, что просто из любопытства.

Он сказал:

— Ладно, но это будет не очень

приятное зрелище.

— Наверно, не хуже, чем казнь через повешение, — ответил я.

Тогда он начал рассказывать мне о болезни. Он рисовал мне картинки, показывал книги. Он очень оживился и заговорил меня до полусмерти. Мне было так интересно, что я забыл задать ему вопрос, который мелькнул у меня в голове еще в начале разговора. Тогда он сказал, что, приобщившись к вере, личность не изменяется, а только функционирует на основе новой системы ценностей. Вот я и хотел спросить: откуда, если личность не изменяется, откуда она берет новую систему ценностей, чтобы функционировать на ее

основе? Но я забыл об этом спросить.

В общем, я видел операцию.

Меня нарядили так, чтобы я смог войти с Адамом в операционную. Внесли пациента и положили на стол. Это был худощавый субъект с крючковатым носом и недовольным лицом, отдаленно напоминавший Эндрю Джэксона^[46] или захолустного проповедника, несмотря на белый тюрбан, скрученный из стерильных полотенец. Но тюрбан был кокетливо сдвинут на затылок и темени не закрывал. Открытая часть головы была выбрита. Ему дали маску, и он отключился. Адам взял скальпель и

провел аккуратный тонкий надрез поперек макушки и вниз к обоим вискам, а затем попросту стащил кожу на лоб широким ровным лоскутом. Воин из команчей показался бы рядом с ним жалким подмастерьем. Тем временем другие промокали кровь, которая лилась обильно.

Затем Адам приступил к главному. У него было приспособление вроде коловорота. Им он просверлил по пять или шесть дырок — их называют трепанационными отверстиями — с обеих сторон черепа. Потом он начал орудовать чем-то вроде шершавой проволоки — я уже знал, что она

называется пилой Жигли. Он пилил череп до тех пор, пока с обеих сторон не образовалось по клапану – отогнув их вниз, он мог добраться до самого механизма. Правда, до этого ему пришлось прорезать тонкую бледную пленку, которая называется мозговой оболочкой.

Прошло уже больше часа – по крайней мере так мне казалось, – и ноги у меня устали. К тому же было жарко, но я себя чувствовал сносно, несмотря на кровь. Дело в том, что человек, лежавший на столе, был как будто не настоящий. Я вообще забыл, что он человек, и просто наблюдал за первоклассной плотницкой работой. Я почти не обращал внимания на те

детали, которые указывали, что лежавший на столе предмет был человеком. Например, сестра мерила у него давление и время от времени возилась с аппаратом для переливания крови – ему непрерывно вливали кровь из укрепленной на подставке бутылки с трубкой.

Все шло прекрасно, пока они не начали выжигать. Для удаления кусочков мозга они пользуются электрическим инструментом, состоящим всего-навсего из металлического стерженька, воткнутого в ручку с электрическим шнуром. Вся эта штука похожа на бигуди для электрической завивки. Я не переставал удивляться, до чего

проста и рациональна эта дорогая аппаратура и до чего она напоминает инструменты, которые можно найти в любом хорошо поставленном домашнем хозяйстве. Порывшись в кухне и в туалетном столике жены, вы за пять минут наберете достаточно приспособлений, чтобы самому открыть такое дельце.

Так вот, в процессе электрокаутеризации этот стерженек и режет, вернее, выжигает нужную часть. Получается немного дыма и довольно сильный запах. Мне, во всяком случае, он показался сильным. Сначала все было ничего, но потом я вспомнил, откуда мне знаком этот запах. Когда-то, когда я

был еще мальчиком, в Берденс-Лендинге ночью сгорела старая конюшня, и всех лошадей вывести не удалось. В сыром ночном воздухе висел запах жареных лошадей — потом он долго преследовал меня, даже после того, как в ушах перестало звучать пронзительное лошадиное ржание. Когда я сообразил, что паленый мозг пахнет, как те лошади, мне стало плохо.

Но я крепился. Операция шла долго, еще несколько часов, потому что резать можно только маленькими кусочками, постепенно продвигаясь все глубже и глубже. И я держался, пока Адам не зашил мягкую оболочку, не отогнул на место

клапаны черепа, не натянул на них кожу и не зашнуровал ее чин чином.

Лишние кусочки мозга были выброшены — додумывать свои маленькие мысли среди мусора, — а то, что осталось в черепе худощавого субъекта, было снова закупорено, чтобы сочинять новую личность.

Затем мы с Адамом вышли, он вымылся, и я, стаскивая с себя белую ночную рубашку, сказал:

— Знаешь, ты забыл его окрестить.

— Окрестить? — переспросил Адам, вылезая из своей ночной рубашки.

— Ну да, — сказал я, — он вновь рожден, и не женщиной. Нарекаю

тебя во имя Большого Тика и Малого Тика и Святого Духа, который, безусловно, тоже Тик.

— Что ты городишь? — сказал он.

— Ничего, — ответил я. — Просто пытаюсь быть остроумным.

На лице Адама изобразилась слабая снисходительная улыбка — слова мои, видимо, не показались ему смешными. Теперь, оглядываясь назад, я тоже не нахожу в них ничего смешного. Но тогда я думал, что это смешно. Я думал, что это может рассмешить до колик. Многое, что казалось мне смешным в то лето с высоты моей олимпийской мудрости, теперь мне смешным не кажется.

После операции я не видел

Адама довольно долго. Он уехал на Север, по делам – скорее всего, по больничным делам. А вскоре после его возвращения произошел случай, который чуть было не поставил Хозяина перед необходимостью искать нового директора.

В случае этом не было ничего странного или неожиданного. Однажды вечером, пообедав вместе, Анна и Адам поднялись по лестнице его обшарпанного дома и увидели на площадке высокую худую фигуру в белом костюме и белой панаме, под которой в сумраке тлела сигара, распространяя дорогой аромат, противоборствующий запаху капусты. Человек снял шляпу,

осторожно прижал ее локтем к боку и спросил Адама, не он ли доктор Стентон. Адам ответил, что он. Тогда человек назвался Кофи (подробнее — Хьюберт Кофи) и попросил разрешения зайти.

Они зашли, и Адам спросил, чего ему надо. Незнакомец с длинным, шишковатым, лимонно-желтым лицом, одетый в белый отутюженный костюм и двухцветные туфли с фигурной строчкой и какими-то специальными отдушинами (ибо, как я выяснил, Хьюберт был форменным пижоном: по два белых костюма на дню, белые шелковые трусы с красной монограммой — если верить слухам,

— красные носки и диковинные туфли), чего-то мычал и мямлил, вежливо покашливал и со значением косился на Анну (а глаза его цветом и игрою напоминали отработанный автол). Позже Анна рассказывала — а она мой единственный источник сведений об этой встрече, — что приняла его за пациента и, извинившись, ушла на кухню положить в холодильник брикет мороженого, который они купили по дороге. Она собиралась провести с Адамом тихий вечер. (Хотя вечера в обществе Адама едва ли казались ей такими уж тихими в то лето. Где-то в уголке ее сознания, наверно, жила мысль: а что, если Адам узнает, как

она проводит другие вечера? Или ей удалось запереть этот уголок, как запирают некоторые комнаты в большом доме, чтобы жить в уютной, а может, уже и не такой уютной гостиной — и, сидя там, не прислушивалась ли она к скрипу половиц или незатихающим шагам в запертых комнатах на втором этаже?)

Спрятав мороженое, она заметила, что в раковине накопилось много грязной посуды. Чтобы не мешать разговору, она принялась мыть посуду. Она почти разделалась с мытьем, когда гудение голосов вдруг смолкло. Она отметила эту внезапную тишину. Затем раздался какой-то сухой удар (именно так она

его описывала) и голос брата: «Вон!» Послышались быстрые шаги, и хлопнула дверь на лестницу.

Когда она вошла, Адам стоял посреди комнаты, очень бледный, прижимая правую руку левой к животу, и смотрел на дверь. Он медленно повернул голову к Анне и сказал:

— Я его ударил. Я не хотел его ударить. Я никогда никого не бил.

Надо думать, он ударил Хьюберта довольно сильно, потому что костяшки у него были разбиты и распухли. При всей его поджарости рука у Адама была тяжелая. В общем, он стоял, нянчил разбитый кулак, и лицо его выражало недоумение.

Недоумевал он, очевидно, по поводу своего поступка.

Взволнованная Анна спросила его, что случилось.

А случилось, повторяю, то, чего и надо было ожидать. Гумми Ларсон послал Хьюберта Кофи, который по причине его белых костюмов и шелковых трусов с монограммами почитался у них человеком утонченным и дипломатом. Он должен был убедить доктора Стентона, чтобы тот, воспользовавшись своим влиянием, уговорил губернатора отдать подряд на постройку медицинского центра Ларсону. Ничего этого Адам не знал, ибо мы можем быть уверены, что на

стадии прощупывания Хьюберт не назвал своего хозяина. Но я, как только услышал имя Кофи, сразу понял, что он от Ларсона. Дальше стадии прощупывания у Хьюберта дело не пошло. Но по-видимому, он трактовал эту стадию слишком широко. Сначала Адам не понял, к чему он клонит, и Хьюберт, вероятно решив, что напрасно тратит свое прославленное хитроумие на этого остолопа, взял быка за рога. Он успел даже высказать мысль, что Адам тоже не останется внакладе, и только тут задел взрыватель. Все еще во власти недоумения, поглаживая распухшую руку, Адам сухо рассказал Анне о случившемся. Кончив, он

нагнулся и здоровой рукой подобрал окурок сигары, медленно прожигавшей дырку в старом зеленом ковре. Он пересек ковер, держа вонючий окурок на отдалении, и швырнул его в камин, где до сих пор лежала (я заметил это, бывая у Адама), зола от последней весенней топки, клочки бумаги и кожура летних апельсинов. Затем он вернулся и с яростью затоптал тлеющую дыру, вкладывая, вероятно, символический смысл в это действие. По крайней мере так я представляю себе эту картину.

Он сел за стол, взял ручку и бумагу и начал писать. Потом он обернулся к Анне и объявил, что

написал заявление об уходе. Она ничего не ответила. Ни слова. Я знала, рассказывала потом она, спорить с ним бесполезно, ему не докажешь, что, если какой-то жулик предложил ему взятку, ни губернатор Старк, ни работа тут ни при чем. По его лицу она поняла, что разговаривать бесполезно. Другими словами, Адамом владела, по-видимому, инстинктивная потребность отстраниться, потребность, принявшая вид нравственного негодования и нравственной переоценки, но не тождественная им, более глубокая и по сути иррациональная. Он встал из-за стола и прошелся по комнате,

не скрывая возбуждения. Он выглядел даже веселым, рассказывала Анна, словно вот-вот рассмеется. Казалось, он счастлив, что так получилось. Затем он взял письмо и наклеил марку.

Анна испугалась, что он тут же выйдет и отправит письмо — он стоял посреди комнаты и вертел его в руках, словно раздумывая, как быть. Но он не вышел. Он поставил письмо на каминную полку, еще несколько раз обошел комнату, затем бросился к роялю и ударил по клавишам. Он играл больше двух часов в духоте июньской ночи, и пот бежал по его лицу. Анна сидела напуганная, хотя сама не знала, чего боится.

Когда Адам кончил играть и повернулся к ней, бледный и в поту, Анна принесла мороженое, и они весело, по-семейному скоротали вечерок. Потом она ушла, села в свою машину и поехала домой.

Она позвонила мне. Мы встретились в ночной аптеке, и, сидя за столиком с крышкой под мрамор, я смотрел на нее впервые с того майского утра, когда она встретила меня в дверях своей квартиры, прочла вопрос в моих глазах и медленно, молча кивнула в ответ. Ночью, когда я слышал в трубке ее голос, мое сердце, как всегда, подпрыгнуло и шлепнулось, словно лягушка в пруд с кувшинками, —

словно то, что случилось, на самом деле не случилось. Но это случилось, и теперь, когда такси везло меня в центр, к ночной аптеке, мне оставалось лишь испытывать злорадное и желчное удовлетворение, что меня вызвали по какому-то особому делу, в котором тот, другой, очевидно, не может помочь. Но злорадство и желчь сразу улетучились, а удовлетворение стало просто удовлетворением, когда я вышел из такси и увидел ее за стеклянной дверью аптеки – легкую, прямую фигуру в светло-зеленом в горошек платье без рукавов, с белым жакетом, переброшенным через руку. Я попытался разобрать, какое у нее

выражение лица, но не успел — она заметила меня и улыбнулась.

Улыбка была осторожная, извиняющаяся, она говорила «пожалуйста» и «спасибо», но в то же время выражала наивную и непоколебимую уверенность, что лучшая часть вашей натуры восторжествует. Я пошел по нагретому тротуару к этой улыбке и зеленому платью в горошек, которые помещались за стеклянной дверью, словно в витрине, так, чтобы ты мог ими полюбоваться, но не трогал. Затем я положил руку на стеклянную дверь, толкнул, и с улицы, где воздух был горячим и липким, как в турецкой бане, и где запах

бензиновых паров мешался с застойным нежным запахом реки, который расползается по городу тихими летними ночами, вошел в светлый, гигиенический, прохладный мир за стеклом, где была улыбка, ибо нет ничего более светлого, гигиенического и прохладного, чем хорошая аптека в жаркую летнюю ночь. Если там стоит Анна Стентон и кондиционер в исправности. Улыбка предназначалась мне, ее глаза смотрели прямо на меня, и она протянула мне руку. Я пожал ее, подумал, какая она прохладная, маленькая и твердая, словно только сейчас это обнаружил, и услышал:

— Вечно я тебя куда-то вызываю,

Джек.

– Ну и прекрасно, – сказал я и отпустил руку.

Всего какой-то миг мы стояли молча, но мне он показался долгим и тягостным, словно нам не о чем было говорить. Она предложила:

– Давай сядем.

Я направился к столикам. Краем глаза я заметил, что она по привычке хотела взять меня под руку, но удержалась. Когда я это заметил, удовлетворение, бывшее до сих пор просто удовлетворением, снова стало злорадным и желчным удовлетворением, с которого я начал. И таким оно оставалось, пока мы сидели за столиком и я смотрел на ее

лицо, на котором теперь не было улыбки, а только напряжение, и следы лет, прошедших с тех пор, когда мы ехали в открытой машине и она пела птичке Джеки и обещала, что никому не даст обидеть бедную птичку Джеки. Это верно, она сдержала обещание, потому что тем же летом птичка Джеки улетела в края, где лучше климат и где никто ее не обидит, и с тех пор не возвращалась. Я по крайней мере больше ее не видел.

Теперь мы сидели за кока-колой и она рассказывала мне, что произошло в квартире у Адама.

— Чем я могу помочь? — спросил я, когда она кончила.

– Ты знаешь, – сказала она.

– Ты хочешь, чтобы я его удержал?

– Да, – ответила она.

– Это будет нелегко.

Она кивнула.

– Это будет нелегко, – сказал я, – потому что он ведет себя как сумасшедший. Я могу его убедить только в одном: если ублюдок Кофи пытался его подкупить, это означает, что с работой все чисто и будет чисто, пока Адам этого хочет. Это означает далее, что кто-то выше Адама тоже отклонил взятку. Больше того, это означает, что Крошка Дафи – честный человек. Или, – добавил я, – не выполнил своих обещаний.

– Ты попробуешь? – спросила она.

– Попробую, – сказал я. – Но ты не очень надейся. Я могу доказать Адаму только то, что он и без меня бы понял, если бы не сходил с ума. Все это – высокомерие, брезгливость и чистоплюйство. Не любит играть с нехорошими мальчиками. Боится, что они запачкают его костюмчик.

– Ты несправедлив, – возмутилась она.

Я пожал плечами и сказал:

– В общем, я попробую.

– Как?

– Тут только один путь. Я пойду к губернатору Старку и уговорю его арестовать Кофи за попытку подкупа

должностного лица – ведь Адам у нас должностное лицо, – и Адам подтвердит это под присягой. Если захочет. Это покажет ему, как обстоят дела. Это покажет ему, что Хозяин всегда за него заступится. А... – до сих пор меня занимал только Адам, но сейчас мой ум заработал в другом направлении: – ...если Кофи отдадут под суд, губернатору это тоже не повредит. Особенно если тот припутает своего хозяина. Тогда можно будет закопать Ларсона. А без Ларсона Макмерфи ничего не стоит. А Кофи можно притянуть, если ты... – Тут я поперхнулся.

– Если я что? – спросила она.

– Ничего, – сказал я, испытывая

то же, что человек, беззаботно ехавший по разводному мосту, когда пролет под ним вдруг начал подниматься.

— Что? — повторила она.

Я посмотрел в ее спокойные глаза и по тому, как выставлен был ее подбородок, понял, что лучше сказать сразу. Все равно она не отстанет. И я сказал:

— Если ты будешь свидетельницей.

— Буду, — сказала она, не задумываясь.

Я покачал головой:

— Нет.

— Буду.

— Нет, ничего не выйдет.

– Почему?

– Потому что не выйдет. В конце

концов ты же ничего не видела.

– Я там была.

– Это показания с чужих слов.

Вот именно. Никто не станет слушать.

– Не знаю, – сказала она. – Я в этом не разбираюсь. Но я чувствую, что ты не из-за этого передумал. Почему ты передумал?

– Ты никогда не выступала свидетельницей. Ты не знаешь, что значит отвечать подлому, ловкому адвокату и потеть под его взглядом.

– Все равно, – сказала она.

– Нет.

– Я могу.

— Слушай, — сказал я и, зажмурившись, бросился с поднятого пролета, — если ты думаешь, что защитник Кофи будет церемониться, ты спятила, как твой брат. Он будет подлый, он будет ловкий, и в нем ни капли не будет прекрасного южного рыцарства.

— Ты хочешь сказать, — начала она, и по ее лицу я понял, что она уловила мою мысль.

— Вот именно, — сказал я. — Сейчас, может быть, никто ничего не знает, но, когда начнется потеха, они будут знать все.

— Мне безразлично, — заявила она, выставив подбородок. Я увидел морщинки на ее шее, крохотные,

мельчайшие морщинки, след бесконечно тонкого, паутинного шнура, который изо дня в день незаметно накидывает на самую красивую шею душитель-время. Эта паутинка так тонка, что лопается каждый день, но в конце концов следы от нее остаются, и в конце концов наступает день, когда шнурок не рвется и делает свое дело. Когда Анна подняла подбородок, я понял, что никогда прежде не замечал этих следов, а теперь буду замечать их всегда. Мне стало плохо — в буквальном смысле, тошно, словно меня ударили в живот или гнусно предали. Но не успел я опомниться, как это чувство перешло в гнев, и

меня прорвало:

— Ну да, — сказал я, — тебе безразлично, но ты вот что забыла. Ты забыла, что Адам будет сидеть тут же и глядеть на свою маленькую сестренку.

Она побледнела. Потом она опустила голову и стала смотреть на свои руки, сжимавшие пустой стакан из-под кока-колы. Я не видел ее глаз — только веки.

— Дорогая, дорогая, — прошептал я. Я схватил ее руки, сжимавшие стакан, и уже не мог удержаться. — Анна, ну зачем ты это сделала?

Это был тот самый вопрос, который я не хотел задавать.

Она не сразу ответила. Потом,

не поднимая глаз, тихо проговорила:

– Он не такой, как другие. Я еще не знала таких людей. Я его люблю. Наверно, я люблю его. Наверно, поэтому.

Я подумал, что сам на это напросился.

– А потом ты рассказал мне... рассказал об отце. И меня уже ничто не удерживало. После того, что ты рассказал.

Я подумал, что и на это напросился.

Она сказала:

– Он хочет на мне жениться.

– А ты?

– Сейчас нет. Это ему помешает.

Развод помешает ему. Сейчас нет.

– Ты согласилась?

– Может быть, потом. Когда он будет в сенате. Через год.

Часть моего мозга деловито прикидывала: «Через год в сенате. Значит, он больше не пустит туда старика Скогана. Странно, что он мне не сказал». Другая же часть, которая не была непроницаемым, стальным шкафом с алфавитными карточками, бурлила, как котел с варом. Большой пузырь вырвался из смолы на поверхность и лопнул – это был мой голос:

– Что ж, надеюсь, ты понимаешь, на что идешь.

– Ты его не знаешь, – сказала она еще тише. – Ты знаешь его

столько лет, но так и не узнал его. — Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. — Я не жалею ни о чем, — сказала она внятно.

Я шел к своей гостинице в душной темноте, надо мной мерно билось огромное небо, на улице бензиновые пары мешались с ночным болотным запахом обмелевшей реки. Я шел и думал: да, я знаю, почему она это сделала.

Ответ был во всех прошедших годах, в том, что было в них, и в том, чего не было.

Ответ был во мне, потому что рассказал ей я.

«Я рассказал ей только правду, —

с бешенством оборвал я себя, — она не смеет винить меня за правду!»

Но была ли какая-то роковая предрасположенность в природе вещей и во мне самом — такая, что именно мне назначалось открыть ей правду? Приходилось задать себе и этот вопрос. А ответа я не знал. Я шел, ломая голову над этим вопросом и не находя ответа, до тех пор, пока сам вопрос не потерял смысла и не выскользнул из моей головы, как выскальзывает тяжелый предмет из онемевших пальцев. Я принял бы на себя ответственность и вину — я был готов к этому, — если бы признавал их ясно. Но кто их вам объяснит?

Я все шел и немного погода

вспомнил ее слова, что я никогда не знал его. *Он был* Вилли Старком, которого я знал много лет, с тех пор, как дядей Вилли из деревни, мальчиком в рождественском галстуке он вошел в пивную Слейда. Конечно, я знаю его как свои пять пальцев. Я давно его знаю. *Слишком давно.* Я подумал – *слишком давно, чтобы знать его.* Может быть, меня ослепило время, привычка, а скорее я не заметил, что времена менялись, и круглая физиономия дяди Вилли до сих пор заслоняла от меня его настоящее лицо. Кроме, может быть, тех минут, когда оно наклонялось к толпе, с растрепанным чубом и выпученными глазами, и я

чувствовал, что вместе с ревом толпы что-то поднимается и во мне, что я — на грани истины.

Но потом неизменно возвращался образ дяди Вилли в рождественском галстуке.

Теперь же он не вернулся. Я видел лицо. Огромное. Больше афиши. Чуб, рассыпавшийся, как грива. Тяжелую челюсть. Губы, пригнанные, как два кирпича. Расширенные глаза с могучим блеском.

Странно, что я не видел его раньше. Толком не видел.

В ту ночь я позвонил Хозяину, передал ему рассказ Анны и

предложил взять у Адама показания для ареста Кофи. Он велел сделать это. Сделать все, чтобы удержать Адама. И я, вернувшись в гостиницу, пролежал на кровати под вентилятором часов до шести, когда позвонил портье, чтобы меня разбудить. К семи в животе у меня уже плескалась чашка кофе, и со свежим бритвенным порезом на подбородке, с наждаком бессонницы под веками я стоял перед дверью Адама.

Я обработал его. Но работенку я себе подобрал нелегкую. Первым делом я завербовал Адама в армию борцов за справедливость, заставив его пообещать, что он даст показания

против Кофи. Метод был таков: исходя из того, что Адам, безусловно, жаждет покарать Кофи, я указал, что Хозяин будет приветствовать этот доблестный подвиг. Затем я подвел Адама к открытию, честь которого должна была принадлежать исключительно ему, что Анне придется выступить свидетельницей. Затем я прикинулся дурачком и сказал, что раньше мне это не приходило в голову. С человеком, подобным Адаму, опасность состояла в том, что, замороженный перспективой осуществить справедливость, он заставит Анну свидетельствовать, хоть кровь из носу. Так бы оно и вышло, но я

нарисовал жуткую картину суда (правда, и вполтину не такую жуткую, какой она была бы на деле), отказался в этом участвовать, намекнул на его бессердечие и закончил туманным предположением, что можно будет застукать Кофи за тем же делом еще раз — к примеру, я могу подставить себя, и он сделает новую попытку. Для начала я даже сам готов пустить пробный шар, и так далее. Словом, Адам отказался от мысли засадить Кофи, но незаметно для себя усвоил мысль, что он и Хозяин будут плечом к плечу отбивать больницу от жуликов.

Когда мы выходили из квартиры,

ОН Взял с каминной полки запечатанные письма, чтобы отправить их по дороге. Я еще раньше заметил, что на верхнем конверте стоял адрес Хозяина. Поэтому, когда он повернулся ко мне, я просто вынул это письмо из его рук и сказал с самой обаятельной улыбкой:

— К чему выносить на улицу этот мусор! — и, разорвав его поперек, сунул обрывки в карман.

Затем мы вышли на улицу и сели в его машину. Я проводил его до работы. Будь на то моя воля, я и в кабинете сидел бы с ним весь день — приглядывал. Всю дорогу до центра я не закрывал рта, чтобы он не

предавался посторонним мыслям. Я щебетал весело и беззаботно, как птичка.

Так катилось лето, наливаясь, словно большое яблоко, и все было как прежде. Я ходил на работу. Возвращался в гостиницу, иногда ужинал, а иногда – нет, ложился под вентилятор и читал допоздна. Я видел все те же лица – Крошки, Хозяина, Сэди Берк, – лица, которые я знал так давно и видел так часто, что не замечал в них перемен. Но Анну и Адама я какое-то время не видел. И долго не видел Люси Старк. Теперь она жила за городом. Хозяин время от времени выезжал к ней,

чтобы соблюсти приличия и сфотографироваться с белыми леггорнами. Иногда с ним рядом стоял Том Старк, а иногда и Люси – с белыми леггорнами на переднем плане и проволочной изгородью на заднем. «Губернатор Вилли Старк в кругу семьи» – гласили подписи.

Да, эти картинки были очень кстати. Половина штата знала, что Хозяин котует уже не первый год, но от фотографий семьи и белых курочек на избирателя веяло милым теплом, имбирными пряниками, холодной пахтой, и он ощущал в себе прочность, значительность, добродетельность, а если где и мелькнет среди белых крыльев

неглиже с черным кружевом и пахнет острыми духами — что же: «Это ему не в укор, дают — бери». Значит, Хозяин и тут и там поспевал, а это было знаком избранности, высшей породы. И разве не так же поступал избиратель, вырвавшись в город на съезд торговцев мебелью, когда давал коридорному пару долларов и просил привести в номер девочку? Или если без шика — то привозил в город грузовик свиней и за те же два доллара получал свое в бардачке. Но так или иначе, с шиком ли, в бардачке ли, избиратель знал, как это делается, он сам хотел и мамочкиных пряников, и неглиже с черным кружевом и не держал

против Хозяина зла за то, что он поспевает и там и тут. А вот развода он бы Хозяину не простил. Тут Анна была права. Это повредило бы даже Хозяину. Это было бы совсем другое дело, тут у избирателя украли бы самое заветное – картину семейной идиллии, которая льстила и ему и его собственной тощей или толстой жене, стоящей перед его собственным курятником. Но если избиратель знал, что Хозяин котует не первый год, и мог назвать половину его дам по имени, то относительно Анны Стентон он оставался в неведении. Сэди до всего докопалась, но это было естественно. Насколько я мог судить,

никто больше об этом не догадывался, даже Дафи с его одышливым слоновьим умом и хитростью. Вот разве что Рафинад, но на него можно было положиться. Он знал все. При нем Хозяин позволял себе говорить о чем угодно — точнее, о чем ему угодно было говорить. А говорил он далеко не все, что думал. Однажды мы собрались у него в библиотеке — он, конгрессмен Рандал, Рафинад и я. Я ходил по комнате, а Хозяин учил Рандала, что ему говорить и как вести себя при обсуждении законопроекта Милтона — Бродерика в конгрессе. Инструкции были весьма откровенные, и конгрессмен нервно

поглядывал на Рафинада. Хозяин это заметил.

– Черт подери, – сказал он, – ты боишься, что Рафинад услышит? Ну и услышит. Он уже много чего слышал. О наших делах он знает больше твоего. И верю я ему в сто раз больше, чем тебе. Мы с ним друзья, верно, Рафинад?

От гордости и смущения Рафинад побагровел, губы его зашевелились, и полетела слюна.

– Ты ведь друг мне, Рафинад, а? – сказал он, хлопнув Рафинада по плечу, и повернулся к конгрессмену прежде, чем Рафинад закончил свое: «Я т-т-тебе д-д-друг, и ма-а-лчок».

Да, Рафинад, наверно, знал, но

на него можно было положиться.

И на Сэди можно было положиться. Правда, мне она рассказала, но это было в первом приступе ярости и (подумал я с мрачной иронией), если можно так выразиться, в кругу семьи. А больше никому она не расскажет. У Сэди Берк не было наперсницы, ибо она никому не верила. Она ни у кого не искала сочувствия, ибо в том мире, где она выросла, его не найдешь. Так что она будет держать язык за зубами. А терпения у нее сколько угодно. Она знает, что он вернется. А пока что она может доводить его до белого каления или хотя бы пытаться — потому что это нелегко, — а заодно

и себя доводить, словом, устраивать сцены на грани рукопашной. Глядя на такую сцену, нельзя было определить, что сплетает их, что бросает их друг к другу – любовь ли, ненависть или просто исступление. Впрочем, после стольких лет это вряд ли имело значение. Ее глаза горели на белом рябом лице, ее жесткие черные волосы стояли дыбом, словно наэлектризованные, ее руки летали в воздухе, словно круша и раздирая что-то. Под ливнем ее словесности он тяжело покачивал головой, провожал взглядом каждое ее движение – сначала сонно, потом внимательно – и наконец вскакивал с жилами, вздувшимися на висках, и

поднятым кулаком. Потом поднятый кулак вмазывался в левую ладонь, и он орал:

— К чертовой матери, к чертовой матери, Сэди!

Порою целые недели проходили без аттракционов. Сэди соблюдала ледяной протокол, встречалась с Хозяином только по делу и выслушивала его молча. Она стояла перед ним, изучая его своими черными глазами, пламя в которых уже было притушено. При всей своей непосредственности Сэди умела ждать. Эту науку она постигла давно. Всего, что она получала от жизни, ей приходилось ждать.

Так проходило лето, так жили

мы. Это тоже был способ жить, и, пожив таким способом некоторое время, вы забываете, что когда-то жили по-другому и, возможно, еще будете жить по-другому. Даже когда наступали перемены, они поначалу казались не переменами, а все тем же самым — продолжением, повторением.

Наступили они благодаря Тому Старку.

Зная условия задачи, их нетрудно было предсказать. С одной стороны был Хозяин, а с другой стороны — Макмерфи. У Макмерфи не было выбора. Он должен был драться с Хозяином, потому что Хозяин не хотел с ним мириться, и,

если бы (вернее сказать, *когда*, а не *если бы*) Хозяин побил Макмерфи в четвертом округе, на Маке можно было бы поставить крест. А потому, не имея выбора, он готов был воспользоваться всем, что попадет под руку. Случилось так, что под руку ему попал человек по имени Мервин Фрей, дотоле прозябавший в неизвестности. Была у Мервина дочка по имени Сибилла, тоже мало кому известная, но зато, утверждал мистер Фрей, — хорошо известная Тому Старку. Все было просто: ни нового поворота в сюжете, ни новой линии в пьесе. Старое домашнее средство. Простое. Простое и противное.

Опозоренный отец в

сопровождении друга, исполнявшего роль свидетеля и опоры, пришел к Хозяину и изложил свое дело. Вышел он бледный и явно не в своей тарелке, но двигаться еще мог. Он проделал долгий путь по ковру от двери Хозяина до двери в коридор, имея шаткую опору в лице своего друга, чьи ноги тоже подкашивались, и скрылся. Затем звонок на моем столе затрясся, зажглась красная лампочка, означавшая «начальство», и, когда я включил репродуктор, раздался голос Хозяина: «Джек, давай сюда, быстро». Когда я дал туда, он кратко изложил мне дело и поручил: во-первых, разыскать Тома Старка и, во-вторых, выяснить все,

что можно, о Мервине Фрее.

Для розысков Тома Старка потребовался целый день и половина дорожной полиции. Его нашли в рыбацьем домике у залива Бигерс-Бей в окружении приятелей, девиц, большого количества мокрых стаканов и сухих рыболовных снастей. Привезли его только в седьмом часу. Я в это время сидел в приемной.

— Привет, Джек, — сказал он, — чего его опять разбирает? — Он кивнул на дверь Хозяина.

— Сам скажет, — ответил я и проводил до двери взглядом атлетическую фигуру в грязных белых парусиновых брюках,

сандалиях и светло-голубой шелковой тенниске, облепившей влажные грудные мускулы и чуть не лопавшейся на бронзовых бицепсах. Голова в белой матросской шапочке слегка покачивалась при ходьбе и была чуть-чуть выдвинута вперед, руки немного согнуты и локти отставлены. Чем-то эти тяжелые руки напоминали холодное оружие в ножнах, но уже чуть выдвинутое, готовое к делу. Он вошел к Хозяину без стука. Я удалился в свой кабинет и стал ждать, когда уляжется пыль. Что бы там ни было, Том не примет взбучки, даже от Хозяина.

Том вышел через полчаса и так хлопнул дверью, что портреты

бывших губернаторов в приемной затряслись в своих тяжелых золотых рамах, словно осенние листья. Он прошествовал по комнате, даже не оглянувшись на мою открытую дверь, и вышел. Сначала, рассказывал мне позже Хозяин, он все отрицал. Затем он во всем сознался, показывая Хозяину взглядом, что это не его собачье дело. Хозяина я увидел через несколько минут после ухода Тома — его впору было связывать. Ему оставалось одно утешение, так сказать, юридического порядка, — по словам Тома, он был лишь рядовым во взводе друзей Сибиллы. Но, отвлекаясь от юридической стороны вопроса, то, что Том был лишь

рядовым во взводе, еще больше взбесило Хозяина. И хотя это могло очень пригодиться, когда речь пойдет об отцовстве предполагаемого ребенка Сибиллы, самолюбие Хозяина было уязвлено.

Я разыскал и доставил Тома и тем выполнил первое поручение. Больше времени ушло на второе. На выяснение подноготной Мервина Фрея. Оказалось, что выяснять почти нечего. Парикмахер в единственном отеле Дюбуасвилла, небольшого города в четвертом округе. Парикмахер-жуир: полосатые брюки с острыми, как ножи, складками; бриолин на редющих волосах; руки, похожие на надутые резиновые

перчатки; «Вестник бегов» в заднем кармане; бесформенный мягкий нос с пурпурным лозняком прожилок, а изо рта — душок сен-сена и сивухи. Вдовец, живет с двумя дочерьми. О таком ничего особенного не узнаешь. Все известно заранее. Конечно, у него бессмертная душа, неповторимая и бесценная в глазах божьих; конечно, он единственный в своем роде сгусток атомной энергии, обозначенный именем Мервин Фрей, но вы знаете его как облупленного. Вы знаете его анекдоты; знаете вкрадчивое, гнусавое хихиканье, которым он предваряет их; знаете, как серый язык смачно облизывает губы в заключение рассказа; знаете,

как он воркует и виляет хвостом, накладывая горячую салфетку на оловянное лицо местного банкира, местного конгрессмена или хозяина местного игорного дома; знаете, как он заигрывает в гостинице с потаскушками и заговаривает им зубы; знаете, как он влезает в долги из-за неоправдавшихся предчувствий на бегах и невезения в картах; знаете, как он просыпается по утрам, сидит на кровати, свесив на холодный пол голые ноги и ощущая привкус меди во рту, погруженный в безымянное свое отчаяние. Вы знаете, что при таком сочетании бедности, трусости и тщеславия ему на роду написано лишиться своей последней гордости

и последнего стыда и стать орудием Макмерфи. Или еще чьим-нибудь.

Но он попал к Макмерфи. Эта деталь не всплыла при первой беседе с Мервином. Она всплыла через несколько дней. Хозяину позвонил один из людей Макмерфи и сказал, что до Макмерфи дошли слухи, будто дочь какого-то Фрея, зовут ее Сибилла, в претензии на Тома Старка; но, поскольку Макмерфи всегда нравился футбол и, конечно, нравится игра Тома, ему было бы очень грустно, если бы мальчик попал в некрасивую историю. Фрей сейчас в таком состоянии, сообщил этот человек, что никакие уговоры на него не действуют. Он говорит, что

заставит Тома жениться на дочери. (Хотел бы я видеть в эту минуту лицо Хозяина.) Но Фрей живет недалеко от Макмерфи, Макмерфи его немного знает, и, может быть, ему удастся урезонить Фрея. Конечно, придется ему заплатить, но зато не будет никакой гласности, и Том останется холостяком.

Во что это станет — откупиться от Сибиллы? Дешево не откупишься.

Но тогда получается, что Макмерфи действует бескорыстно, из чистого человеколюбия?

А это во что обойдется? Ну, Макмерфи хотел бы баллотироваться в сенаторы.

Вот оно что.

Но Хозяин, если верить Анне Стентон, сам собирался стать сенатором. Это место практически было у него в кармане. Весь штат был у него в кармане. Весь, кроме Макмерфи. Макмерфи и Мервина Фрея. А он не желал торговаться с Макмерфи. Он не желал торговаться, но тянул время.

И вот почему он мог позволить себе такую роскошь – тянуть время. Если бы у Макмерфи с Мервином все было в ажуре и они могли бы покончить с Хозяином, то они сделали бы это без всяких церемоний. Они не предлагали бы мировой. Да, у них были на руках кое-какие карты, но, видно, не одни

козырные тузы, и им тоже приходилось рисковать. Им приходилось ждать, пока Хозяин думал, и надеяться, что он не придумает в ответ какую-нибудь пакость.

Пока Хозяин думал, я повидал Люси Старк. Она прислала мне записку с просьбой приехать. Я знал, чего она хочет. Она хотела поговорить о Томе. Очевидно, от самого Тома ей не удалось ничего добиться, по крайней мере того, что она могла бы счесть правдой и всей правдой, а с Хозяином она об этом не разговаривала, ибо, когда дело касалось Тома, согласия у них не бывало. Итак, она собиралась

задавать мне вопросы, а я собирался сидеть и потеть на красной плюшевой обивке в гостиной на ферме, где она жила. Но так было нужно. Когда-то я решил, что, если Люси Старк попросит меня о помощи, я ей помогу. Не то чтобы я чувствовал себя в долгу перед Люси Старк или обязан был возместить ей какой-то ущерб или наложить на себя епитимью. Если я и был в долгу, то не перед Люси Старк, и если обязан был возместить ущерб, то не ей. Если я был в долгу, то, наверное, перед собой. Если я обязан был возместить ущерб, то себе. Что же до епитимьи, то искупать мне было нечего. Единственным моим преступлением

было то, что я человек и живу среди людей, а за это на себя не накладывают специальной епитимьи. Преступление и епитимья в данном случае полностью совпадают. Они тождественны.

Если вы когда-нибудь бывали у Мексиканского залива, вы видели такие дома. Белые стены, но давно облезшие. Один этаж, по фасаду — широкая веранда с крышей на веретенообразных столбах. Оцинкованная кровля с бледными потеками ржавчины в лотках. Дом покоится на высоких кирпичных столбах, и под ним в прохладной тени, затянутой паутиной и отгороженной спереди пышными

бирючинами и каннами, купаются в пыли и собираются на свои сходки куры, а в жаркие дни лежит и хакает старая овчарка. Дом стоит довольно далеко от шоссе, на лужайке, где трава жухнет и редет к концу лета. По обе стороны от доисторической цементной дорожки, которая возникает словно из-под земли у обочины шоссе, — две круглые клумбы, сделанные из старых автомобильных покрышек, заполненных лесной землей. На каждой — по несколько ярких волосатых цинний. По бокам, перед фасадом, — два дуба, довольно чахлых. За домом, образуя с ним букву П, выстроились в два ряда

некрашенные сараи и курятники. Но сам этот скромный, полинявший дом с опрятными клумбами, лысоватой лужайкой, дубами и гордой в своей ветхости цементной дорожкой, в полной послеполуденной тишине конца лета, ни на что так не похож, как на почтенную пожилую женщину в клетчатом ситцевом платье, в белых чулках и мягких черных туфлях, с проседью в волосах, которая сидит в качалке, сложив руки на животе, и отдыхает, потому что вся дневная работа переделана, мужчины — в поле, а доить и думать об ужине еще рано.

Я вступил на цементную дорожку робко, словно мне

предстояло пройти по многим десяткам яиц, снесенных пресловутыми леггорнами.

Люси ввела меня в гостиную, точно такую, какой я ее себе представлял: резная, черного ореха мебель, обитая красным плюшем с кое-где еще сохранившимися кистями; на резном ореховом столе Библия, стереоскоп и аккуратная пачка картинок для стереоскопа; ковер с цветами, прикрытый в наиболее вытертых местах тряпичными половичками; на стене в ореховых с позолотой рамах — строгие малярные калвинистские лица, вззирающие на вас без особой симпатии. Окна были

закрыты, занавески сдвинуты, и мы сидели в водянистом полумраке молча, как на похоронах. Моя ладонь опустилась на колючий плюш.

Люси сидела так, словно она была одна, и смотрела не на меня, а на узор ковра. Ее густые темно-каштановые волосы, которые обкорнал и завил парикмахер в Мейзон-Сити в ту пору, когда я с ней познакомился, давно успели отрасти до нормальной длины. Возможно, они еще отливали медью, но в потемках мне было не видно. Седину я, однако, заметил еще в дверях. Она сидела напротив меня на красном плюшевом сиденье угловатого резного стула, скрестив все еще

стройные ноги. Талия у нее была не такая тонкая, как раньше, но спина — прямая, а грудь под летним голубым платьем хотя и располнела, но не потеряла формы. Мягкий овал ее лица уже не был девичьим, как в тот первый вечер в доме у деда Старка, — он чуть-чуть отяжелел, в нем появилось как бы обещание дряблости — раннего проклятия и верного конца этих мягких мирных лиц, которые, особенно в молодости, пробуждают в нас лучшие движения души и навевают мысли о святости материнства. Да, с таким лицом вы написали бы Мадонну Соединенных Штатов. Но вы не пишите, а между тем такое лицо пытаются изобразить

на рекламах муки для кекса, патентованных пеленок и пшеничного хлеба — честное, здоровое, доброе, доверчивое, с молодым румянцем. На лице Люси Старк не было молодого румянца, но, когда она подняла голову и заговорила, я увидел, что ее большие темно-карие глаза почти не изменились. Время и тревоги положили тени вокруг, углубили их, но и только.

Она сказала:

— Я насчет Тома.

— Да? — сказал я.

— Я знаю, что-то случилось.

Я кивнул.

Она сказала:

– Что случилось?

Я набрал воздуха сухого, со слабым запахом непроветренной гостиной, политуры – запахом опрятности, приличия и скромных надежд – и поерзал на красном плюше, который покусывал мою ладонь, как крапива.

– Джек, скажите правду. Я должна знать правду, Джек. Я знаю, вы мне все скажете. Вы всегда были настоящим другом. Вы были настоящим другом и Вилли и мне – тогда... тогда... когда...

Голос ее прервался.

И я рассказал ей правду. О разговоре с Мервином Фреем.

Пока я рассказывал, ее руки

стискивали и мяли одна другую на коленях, а потом сжались и замерли. Она сказала:

– Теперь ему остается только одно.

– Это можно... как-нибудь уладить... Понимаете...

Она перебила меня:

– Ему остается только одно.

Я ждал.

– Он... должен жениться на ней,
– сказала она и выпрямилась.

Я немного поерзал и сказал:

– Да, но... понимаете... кажется... могли быть другие... у Сибиллы могли быть другие знакомые... другие, которые...

– Боже мой, – выдохнула она, и я

увидел, как ее руки снова разжались и сжались на коленях.

— Тут есть другая сторона, — продолжал я, постепенно набирая скорость. — Тут еще замешана политика. Видите ли, Макмерфи хочет...

— Боже мой, — прошептала она и, вдруг поднявшись, прижала руки к груди. — Боже мой, политика... — Она в отчаянии отвернулась, сделала шага два в сторону и повторила: — Политика. — Потом она повернулась ко мне и сказала в полный голос: — Боже мой, и здесь политика!

— Да, — кивнул я, — как и везде почти.

Она отошла к окну и

остановилась, спиной ко мне, глядя в щелку между занавесками на горячий залитый солнцем внешний мир — туда, где все это происходило.

Через минуту она спросила:

— Что дальше, Джек?

Рассказывайте.

И тогда, не поворачиваясь к ней и уставясь на ее пустой стул, я рассказал о предложении Макмерфи и обо всем остальном.

Я кончил. Еще с минуту мы молчали. Потом я услышал голос:

— Наверно, так и должно было кончиться. Я старалась поступать правильно, но избежать этого, наверно, нельзя. Джек, Джек... — Я услышал шорох у окна и повернул

голову – она смотрела на меня. – Я старалась поступать правильно. Я любила моего мальчика и старалась хорошо его воспитать. Я любила мужа и старалась выполнять свой долг. И они меня любят. Думаю, что любят. Несмотря ни на что. Я должна так думать, Джек.

Я обливался потом на красном плюше, и большие карие глаза смотрели на меня умоляюще, но с убежденностью.

Она тихо договорила:

– Я должна так думать. И надеяться, что в конце концов все будет хорошо.

– Послушайте, – отозвался я, – Хозяин заставил их ждать, он что-

нибудь придумает, все будет хорошо.

– Нет, я не об этом. Я хочу сказать... – Но она замолчала.

Я понимал, что она хочет сказать, хотя ее голос, теперь уже более твердый, но с нотками безнадежности говорил совсем другое:

– Да, он что-нибудь придумает. Все обойдется.

Оставаться здесь дальше не имело смысла. Я встал, стянул свою старую шляпу с резного орехового стола, где лежали Библия и стереоскоп, подошел к Люси и подал ей руку.

– Ничего, все обойдется.

Она посмотрела на мою руку,

словно не понимая, почему я здесь. Потом посмотрела на меня.

— Это ведь ребенок, — тихо проговорила она. — Совсем крошка. Он даже еще не родился, он не знает, что тут делается. О деньгах, о политике, о том, что кто-то хочет стать сенатором. Он ничего не знает... Как он получился... И что делала эта девушка... И почему... почему отец... почему он... — Она умолкла, большие карие глаза смотрели на меня с мольбой, а может, и с укором. Потом она сказала: — Как же это, Джек... он ведь ребенок, он ни в чем не виноват.

У меня чуть не вырвалось, что я тоже ни в чем не виноват, но я

сдержался.

Она добавила:

– Он был бы моим внуком. Он был бы сыном моего мальчика.

И немного погодя:

– Я бы любила его.

При этих словах ее кулаки, лежавшие на груди, медленно разжались. Не отрывая от груди запястий, она сложила ладони в чашечку и повернула вверх – жестом смирения или безнадёжности.

Заметив, что я смотрю на ее руки, она поспешно убрала их.

– До свиданья, – сказал я и двинулся к двери.

– Спасибо, Джек, – ответила она, но провожать меня не стала, что

вполне меня устраивало, ибо я и так уже дошел до ручки.

Я вышел в ослепительный мир, по ветхой цементной дорожке добрался до машины и поехал обратно в город, на свое место.

Хозяин кое-что придумал.

Во-первых, он решил, что неплохо бы связаться с Мервином Фреем непосредственно, а не через Макмерфи, и прощупать почву. Но Макмерфи не зевал. Он не верил ни Фрею, ни Хозяину, и Мервина куда-то спрятали. Впоследствии выяснилось, что Мервина и Сибиллу увезли в Арканзас, в места, о которых они, наверно, меньше всего

мечтали, — на ферму, где лучшие кони были мулами, а самым ярким источником света — лампа-молния в гостиной; где не ходили легковые машины, а люди ложились в половине девятого и вставали на заре. Разумеется, они поехали не одни и могли играть в покер и в сплин вдвоем, потому что Макмерфи приставил к ним своего молодчика, и тот, насколько мне известно, днем держал ключи от машины в кармане брюк, а ночью — под подушкой и, когда один из Фреев отправлялся в клозет, караулил под дверью, в котелке набекрень, прислонясь спиной к шпалере жимолости, — во избежание всяких фокусов, вроде

побега через задний двор в направлении железной дороги, до которой было всего десять миль. Он же просматривал почту, потому что право переписки для Мервина и Сибиллы не было предусмотрено. Никто не должен был знать, где они. И мы не могли этого выяснить. А когда смогли, было поздно.

Во-вторых, Хозяин вспомнил о судьбе Ирвине. Если кто и сможет урезонить Макмерфи, то, скорее всего, судья Ирвин. Макмерфи многим обязан судье, а у его табуретки осталось не так много ножек, чтобы он позволил себе потерять еще одну. Поэтому, решил Хозяин, нужен Ирвин.

Он вызвал меня и сказал:

— Я просил тебя заняться Ирвином. Ты что-нибудь нашёл?

— Нашёл, — ответил я.

— Что?

— Хозяин, — сказал я, — я сыграю с Ирвином в открытую. Если он мне докажет, что это неправда, тогда извини.

— Что? — начал он. — Я же тебе...

— Я сыграю с Ирвином в открытую, — сказал я. — Я обещал это двум людям.

— Кому?

— Ну, во-первых, себе. А кому второму — неважно.

— Ах, ты себе обещал? — Он смотрел на меня тяжёлым взглядом.

– Да, себе.

– Ладно, – сказал он. – Делай по-своему. Если твои сведения правильные, ты знаешь, что мне нужно. – И, окинув меня хмурым взглядом, добавил: – Смотри, если отвертится.

– Боюсь, что не отвертится, – ответил я.

– Боишься? – сказал он.

– Да.

– Ты с кем работаешь? С ним или со мной?

– С тобой. Но клепать на судью я не буду.

Он продолжал меня разглядывать.

– Мальчик, – сказал он наконец,

— я ведь не просил тебя клепать на судью. Хоть раз я заставлял тебя клепать на человека, скажи?

— Нет.

— Клепать я тебя никогда не заставлял. А почему?

— Почему?

— Потому что этого и не требуется. Зачем клепать, если правды за глаза хватает?

— Высокого ты мнения о человеческом роде.

— Мальчик, — ответил он, — я ходил в пресвитерианскую воскресную школу, когда люди еще не забыли богословия, — и там это твердо знали. А мне, — он вдруг ухмыльнулся, — мне это очень на

руку.

На том наш разговор кончился, я сел в свою машину и поехал в Берденс-Лендинг.

На другое утро, позавтракав в одиночестве — Молодой Администратор уехал на службу, а мать раньше полудня не вставала, — я пошел гулять на берег. Утро было ясное и не такое жаркое, как обычно. Пляж был еще пуст, и только в полукилометре от меня на мелководе плескались ребятишки, тонконогие, как кулики. Когда я поравнялся с ними, они на секунду перестали вертеться и брызгаться, повернули ко мне свои мокрые

загорелые лица и измерили меня безразличным взглядом. Но тут же отвернулись, потому что я явно принадлежал к той туповатой и унылой расе, которая носит брюки и туфли, а в брюках и туфлях по отмели не попрыгаешь. И даже не станешь без крайней надобности ходить по песку, чтобы не набрался в туфли. Но по песку я шел и даже развязно загребал его туфлями. Не такой уж я старик... С удовлетворением отметив это, я направился к рощице у самого берега: там среди сосен, мимоз и миртов рос большой дуб и были теннисные корты. Возле кортов под навесом были скамейки, а у меня была свежая газета. Я прочту газету и

подумаю над тем, что мне сегодня предстоит. До сих пор я об этом даже не думал.

Я нашел скамейку у пустого корта, закурил и развернул газету. Я проработал первую полосу с механическим усердием падре, читающего требник, и даже не вспомнил о новостях, которые были известны мне, но не попали в газету. Я уже порядком углубился в третью страницу, когда услышал голоса и, подняв голову, увидел двух игроков, парня и девушку, которые подходили с той стороны кортов. Бросив на меня равнодушный взгляд, они заняли дальний корт и начали лениво перекидываться, для разминки.

По первым же ударам стало ясно, что они свое дело знают. И что разминка их мускулам не нужна. Он был среднего роста или чуть пониже, с широкой грудью, сильными руками и без грамма лишнего жира. Он был рыжий, стриженный ежиком, рыжие волосы курчавились в вырезе майки на груди, а младенчески-розовую кожу на лице и плечах покрывали большие веснушки. Посреди веснушек сверкали голубые глаза и белозубая улыбка. Девушка была живая и вся коричневая: с короткими темно-каштановыми волосами, которые разлетались при поворотах, с коричневыми руками и плечами над белым лифчиком, с коричневыми

ногами в белых туфлях и носках и коричневым плоским животиком между белыми шортами и белым лифчиком. Оба были совсем молодые.

Они почти сразу начали играть, и я наблюдал за ними из-за газеты. Может быть, рыжий играл не в полную силу, но она брала его мячи уверенно и даже заставляла его побегать. Иногда она выигрывала гейм. Приятно было смотреть на нее — легкую, пружинистую, сосредоточенную. Но не так приятно, решил я, как когда-то на Анну Стентон. Я даже задумался о превосходстве белой юбки, которая может плескаться и закручиваться

при движениях игрока, по сравнению с шортами, но и шорты были красивы. Они были красивы на подвижной загорелой девушке. Я не мог этого отрицать.

И я не мог отрицать, что в горле у меня, пока я наблюдал за ними, стоял ком. Потому что не я был на корте. И не Анна Стентон. Это было чудовищной несправедливостью — что меня там нет. Что тут делает этот рыжий стриженный парень? Что тут делает эта девушка? Я вдруг рассердился на них. Мне захотелось подойти к ним, остановить игру и сказать: «Вы думаете, что будете играть в теннис вечно? Нет, не будете».

— Конечно, нет, — скажет девушка, — не вечно.

— Ясное дело, нет, — скажет парень. — После завтрака мы пойдем купаться, а вечером...

— Вы меня не поняли, — скажу я. — Конечно, я знаю, что вы пойдете купаться, а вечером куда-нибудь поедете и по дороге остановите машину. Но вам кажется, что так будет продолжаться вечно.

— Да нет же, — скажет он. — На той неделе мне надо в университет.

— А мне — в школу, — скажет она, — но в праздник благодарения мы с Элом встретимся. Правда, Эл? И ты повезешь меня на матч. Правда, Эл?

Как от стенки горох. Бесполезно

делиться с ними моей мудростью. Даже тем великим разделом мудрости, который открылся мне по дороге из Калифорнии. Им неведома истина Великого Тика, но они должны будут открыть ее сами, ибо рассказывать им бесполезно. Они вежливо меня выслушают, но не поймут ни слова. И, глядя, как мелькают загорелые руки и ноги девушки на фоне миртов и сверкающего моря, я сам на миг усомнился в этой истине.

Но я, разумеется, верил в нее, потому что ездил в Калифорнию.

Я не досмотрел первого сета. Ушел я на счете 5:2, но похоже было, что следующий гейм останется за

ней: рыжий незаметно подыгрывал ей и ухмылялся из веснушек, когда она со звоном отбивала мяч.

Я вернулся домой, переоделся и пошел купаться. Я забрел далеко и долго плавал по бухте – закоулку Мексиканского залива, который сам закоулок бескрайних, соленых, вспученных вод мира, – и успел домой ко второму завтраку.

Завтракал я с матерью. Она задавала мне разные наводящие вопросы, допытывалась, зачем я приехал. Но я увиливал до самого десерта. Наконец я спросил ее, в Лендинге ли судья Ирвин. Об этом я еще не спрашивал. Я мог выяснить это вчера ночью. Но не спрашивал. Я

отложил выяснение.

Да, он был в Лендинге.

Мы с матерью вышли на боковую веранду и там пили кофе, курили. Немного погодя я поднялся наверх, чтобы полежать и переварить завтрак. Я пролежал в своей старой комнате около часа. Затем я решил, что пора приниматься за дело. Я спустился и пошел к двери. Но в гостиной сидела мать, и она меня окликнула. Странно, что она сидела в гостиной в это время дня. Меня подкарауливала, решил я. Я отступил от двери, прислонился к стене и стал ждать, что она скажет.

— Ты идешь к судье? — спросила она.

Я сказал, что да.

Правую руку она держала перед собой, растопылив пальцы, и разглядывала маникюр. Затем, нахмурившись, словно результаты осмотра ее не удовлетворили, она сказала:

– Опять политика?

– Вроде того, – ответил я.

– Может быть, пойдешь попозже? – спросила она. – Он не переносит, когда его беспокоят в это время.

– То, что я ему расскажу, обеспокоит его в любое время дня и ночи.

Она пристально посмотрела на меня, забыв опустить руку с

растопыренными пальцами. Потом сказала:

– Он неважно себя чувствует. Не надо его огорчать. Он нездоров.

– Тем хуже, – сказал я, чувствуя, как во мне поднимается упрямство.

– Он нездоров.

– Очень жаль.

– Ты мог бы по крайней мере подождать до вечера.

– Нет, ждать я не буду, – сказал я. Я почувствовал, что не могу ждать. Я должен пойти и покончить с этим. Наткнувшись на сопротивление, я еще больше в этом убедился. Я должен выяснить. Немедленно.

– Напрасно, – сказала она и наконец опустила руку.

– Ничего не могу поделать.

– Я не хотела бы, чтобы ты был замешан в... в какую-нибудь историю, – жалобно сказала она.

– Я в эту историю не замешан.

– Что это значит?

– А это я узнаю, когда побеседую с Ирвином, – ответил я и, выйдя из дома, направился по набережной к Ирвину. Прогуляюсь немного, хоть и жарко, – по крайней мере старый хрыч получит небольшую отсрочку. Он заслужил эти лишние несколько минут, решил я.

Когда я пришел туда, старый хрыч лежал наверху.

Так сказал мне негр в белом

пиджаке.

— Судья — они наверху лежат, отдыхают, — сказал он, по-видимому думая, что этим все сказано.

— Ладно, — ответил я, — подожду, пока он спустится, — и, распахнув без приглашения застекленную дверь, очутился в блаженной прохладе и полумраке прихожей, где, словно лед, блестели большие стекла керосиновых фонарей и зеркала и мои отражения обступили меня беззвучно, как воспоминания.

— Они... — снова запротестовал негр.

Я прошел мимо него со словами:

— Я в библиотеке посижу. Пока он не спустится.

Я прошел мимо глаз с белками, похожими на облупленные крутые яйца, мимо большого печального рта, который не знал, что сказать, и просто открылся, показав розовую внутренность, — прошел прямо в библиотеку. Жалюзи были опущены, а из-за высокого потолка и стен, заложённых книгами, комната казалась еще сумрачнее, и сумрак лежал на ярко-красном ковре, словно большая спящая собака. Я сел в глубокое кожаное кресло, бросил рядом с собой принесенный конверт и откинулся на спинку. Мне почудилось, что все эти корешки бессмысленно глядят на меня, как пустые глаза статуй в музее. Как

всегда, старые юридические книги, переплетенные в телячью кожу, наполняли комнату запахом сыра.

Вскоре наверху послышалось какое-то движение и в задней части дома звякнул звонок. Я понял, что судья зовет слугу. В прихожей мягко зашлепали ноги негра, и он стал подниматься по лестнице.

Минут через десять спустился судья. Его твердые шаги приблизились к библиотеке. В двери показалась его длинная голова и белый пиджак с черной бабочкой. Он задержался на пороге, словно привыкая к темноте, а потом подошел ко мне и протянул руку.

— Здравствуй, Джек, — сказал он

таким знакомым голосом. — Наконец-то ты появился. Я не знал, что ты в Лендинге. Давно приехал?

— Вчера ночью, — коротко ответил я и встал, чтобы поздороваться.

Он крепко пожал мне руку и опять усадил в кресло.

— Наконец-то, — повторил он, и на его длинном усталом ржаво-красном ястребином лице появилась улыбка. — Давно тут сидишь? Почему ты не послал этого мошенника разбудить меня и позволил мне валяться чуть не до обеда? Давно я тебя не видел, Джек.

— Да, — согласился я. — Давно.

И в самом деле давно. В

последний раз он видел меня ночью. С Хозяином. И пока мы молчали, я знал, что он тоже припоминает. Он припомнил, но только после моих слов. Затем я увидел, что он отгоняет это воспоминание. Он не допускал его до себя.

— Да, давненько, — сказал он, усаживаясь с таким видом, будто он ничего не помнит. — Куда это годится? Что же ты не проведаете старика? Мы, старики, любим, чтобы нам хотя бы изредка уделяли внимание.

Он улыбнулся, и мне нечего было сказать в ответ на такую улыбку.

— Черт знает что, — сказал он,

вскочив с кресла и не скрипнув при этом ни единым суставом. – Совсем разучился гостей принимать. Ты пересох, наверно, как порох Энди Джексона. Для настоящего дела, может, и рановато, но глоток джина никому еще не вредил. Нам с тобой, во всяком случае. Ведь нас с тобой ничто не берет, верно, Джек?

Прежде чем я ответил, он был уже на полдороге к звонку.

– Спасибо, не хочу, – сказал я.

Он посмотрел на меня сверху, и на лице его выразилось легкое разочарование. Но потом вернулась улыбка – добрая, честная, клыкастая, мужественная улыбка – и он сказал:

– А, перестань, выпьем по

одной. Будем считать это праздником. Я хочу отметить твой приход!

Он сделал еще шаг к звонку, но я сказал:

– Спасибо, не хочу.

На миг он остановился, поглядел на меня сверху, держа руку на весу у шнура. Затем он опустил руку и повернул назад к своему креслу, как будто бы чуть-чуть поникший – а может быть, мне это просто померещилось.

– Что ж, – сказал он с выражением лица, которое трудно было назвать улыбкой. – Один я пить не стану. Буду черпать утешение в беседе с тобой. Что у тебя слышно?

– Ничего особенного, – ответил я.

И, глядя на его фигуру, теряющуюся в тени, я удивился, до чего у него прямая спина и до чего высоко он держит голову. Я спросил себя: почему так? Я спросил себя, правда ли то, что я раскопал? Я смотрел на него, и мне не хотелось, чтобы это было правдой. Я от всей души пожелал, чтобы это оказалось неправдой. У меня мелькнула мысль, что я мог бы выпить этот джин и ничего ему не сказать – вернуться в город и доложить Хозяину, что я убедился в своей ошибке. Хозяину придется это скушать. Он, конечно, взбеленится, но все равно последнее

слово — за мной. А бумаги мисс Литлпо я к тому времени могу уничтожить. Я мог это сделать.

Но мне надо было знать. Даже когда у меня мелькнула мысль уйти, ничего не выясняя, я знал, что не уйду. Ибо правда — ужасная вещь. Ты пробуешь ее носком, и она — пустое место. Но стоит тебе зайти немного глубже, и она затягивает тебя, как водоворот. Сначала тяга так слаба и равномерна, что ты ее почти не замечаешь. Затем — рывок, затем — головокружительное падение во мрак. Ибо есть мрак правды. Говорят, что это ужасно — отдаться на волю божью. Теперь я готов в это поверить.

И вот я посмотрел на судью Ирвина, и он понравился мне так, как не нравился уже много лет, — до того прямы были его старые плечи и до того правдива клыкастая улыбка. Но я знал, что я должен узнать.

Он изучал мое лицо — в эту минуту оно представляло собой, наверно, любопытное зрелище, но я не отводил взгляда.

— Я сказал «ничего особенного»,
— начал я. — Но кое-что есть.

— Выкладывай, — сказал он.

— Судья, вы знаете, на кого я работаю.

— Знаю, Джек, — сказал он, — но давай на время забудем об этом и просто посидим. Не могу сказать,

чтобы я симпатизировал Старку, но я не похож на большинство наших друзей с набережной. Я могу уважать человека, а он — человек. Одно время я чуть было не принял его сторону. Он бил стекла и впускал к нам свежий воздух. Но... — судья грустно покачал головой и улыбнулся, — ...я стал опасаться, что так он разгромит весь дом. Такие методы! Поэтому... — Фразы он не кончил и только пожал плечами.

— Поэтому, — dokonчил я за него, — вы пошли с Макмерфи.

— Джек, — сказал он, — политика — это всегда вопрос выбора, а из чего выбирать, не ты решаешь. И за выбор надо платить. Ты это знаешь. Ты ведь

сделал выбор и знаешь, во что он тебе обходится. Платить нужно всегда.

— Да, но...

— Джек, я тебя не упрекаю, — сказал он. — Я верю тебе. Кто из нас не прав, покажет время. А пока что, Джек, пусть это не становится между нами. Если я погорячился в ту ночь, прости меня. Прости. Мне было тяжело потом.

— Вы говорите, вам не нравятся методы Старка, — сказал я. — Хорошо, я вам расскажу о методах Макмерфи. Вот послушайте-ка, на что способен ваш Макмерфи. — И я загремел, задребезжал, как трамвайный вагон с испорченными тормозами,

сорвавшийся под уклон. Я рассказал ему, на что способен Макмерфи.

Он сидел и слушал.

Потом я спросил его:

— Ну что, красиво?

— Нет, — сказал он и покачал головой.

— Некрасиво, — сказал я. — И вы можете это прекратить.

— Я? — удивился он.

— Вас Макмерфи послушается.

Он должен вас слушаться, потому что вы один из немногих друзей, которые у него остались, а он уже чувствует на затылке горячее дыхание Хозяина. Если бы у него было хоть что-нибудь в жале, кроме комариной слюны, он бы разделался с Хозяином без всякой

торговли. Но он знает, что у него ничего нет. И уверяю вас: если дело дойдет до суда, Хозяин явится не с пустыми руками. Эта Сибилла Фрей — шлюха-надомница, и нам доказать это — раз плюнуть. У нас будут свидетелями вся футбольная команда плюс вся легкоатлетическая команда, плюс все шафера грузовиков, которые ездят по шоссе шестьдесят девять мимо дома ее папы. Если вы образумите Макмерфи, ему, может быть, удастся спасти свою шкуру. Но учтите, сейчас я ничего не обещаю.

Только сумрак, и тишина, и запах заплесневелого сыра были ответом на мои слова, пока они просачивались в этот старый

породистый череп. Потом он медленно покачал головой:

– Нет.

– Послушайте, – сказал я, – Сибиллу не обидят. Мы об этом позаботимся, если она не заболит манией величия. Конечно, ей придется подписать небольшое заявление. Не скрою от вас, что наша сторона запасется письменными показаниями нескольких ее мальчиков на тот случай, если Фрей опять вздумает шалить. Уверяю вас, Сибилле предлагают честную сделку.

– Не в этом дело, – сказал он.

– Так в чем, ради всего святого?

– сказал я и уловил в своем голосе умоляющие нотки.

— Это — дело Макмерфи. Возможно, он совершает ошибку. По-моему, да. Но это его дело. Я в такие истории не вмешиваюсь.

— Судья, — упрашивал я, — подумайте как следует. Не торопитесь с ответом, подумайте.

Он покачал головой.

Я встал.

— Мне надо бежать, — сказал я. — А вы подумайте. Я приду завтра, и тогда мы поговорим. Повремените до тех пор с ответом.

Он навел на меня свои желтые агаты и опять покачал головой:

— Приходи завтра, Джек. И завтра, и каждый день. Но ответ я тебе дам сейчас.

– Я прошу вас, судья, сделайте мне одолжение. Подождите решать до завтра.

– Ты говоришь со мной так, Джек, будто я не знаю, чего хочу. А ведь это, пожалуй, единственное, чему я научился за семьдесят лет. Знать, чего я хочу. Но ты все равно приходи завтра. И не будем говорить о политике. – Он махнул рукой, словно сметая что-то со стола. – К чертям политику! – шутливо воскликнул он.

Я взглянул на него и в тот же миг – с лица его еще не стерлась шутливая гримаса отвращения, а откиннутая рука висела в воздухе – понял, что отступления нет. Это была

не осторожная проба воды носком, не ровная тяга окраины водоворота, но бешеный рывок в провал воронки. Можно было предвидеть, что так оно и произойдет.

Глядя на него, я проговорил почти шепотом:

— Я просил вас, судья. Я чуть ли не умолял вас, судья.

На лице его было вежливое недоумение.

— Я старался, — сказал я. — Я умолял вас.

— Что такое? — удивился он.

— Вы когда-нибудь слышали, — спросил я по-прежнему очень тихо, — о человеке по имени Литлпо?

— Литлпо? — удивился он и

наморщил лоб, пытаюсь вспомнить.

– Мортимер Л.Литлпо, – сказал я. – Неужели забыли?

Кожа на лбу сдвинулась ту же, образовав подобие кривого восклицательного знака между густыми ржаво-красными бровями.

– Нет, – сказал он, покачав головой, – не помню.

И он не помнил. Я в этом уверен. Он даже не помнил Мортимера Л.Литлпо.

– Хорошо, – продолжал я, – а компанию «Америкэн электрик пауэр» вы помните?

– Конечно, как же не помнить? Я десять лет работал там юрисконсультom. – Он даже глазом

не моргнул.

— А помните, как вы получили это место?

— Дай подумать... — начал он, и я видел, что он и вправду забыл, что он действительно роется в прошлом, пытаясь вспомнить. Затем, выпрямившись в кресле, он сказал: — Как же, конечно, помню. Через мистера Сатерфилда.

Но теперь он моргнул. Крючок вошел в губу, от меня это не ускользнуло.

Целую минуту я ждал, глядя на него, а он твердо смотрел мне в глаза, выпрямившись в кресле.

— Судья, — спросил я мягко, — вы не передумаете? Насчет Макмерфи?

– Я уже сказал.

Затем я услышал его дыхание, и больше всего на свете мне захотелось узнать, что творится в этой голове, почему он сидит так прямо, почему он смотрит мне в глаза, если крючок уже впился в мясо.

Я шагнул к своему креслу, нагнулся и поднял с пола конверт. Затем я подошел к его креслу и положил конверт к нему на колени.

Он смотрел на конверт, не дотрагиваясь до него. Потом поднял взгляд на меня, и в его твердых желтых немигающих глазах не было недоумения. Затем, не говоря ни слова, он открыл конверт и прочел бумаги. Свет был тусклый, но он не

наклонялся над ними. Одну за одной он подносил бумаги к глазам. Он читал их очень медленно. Затем так же медленно опустил последнюю на колени.

— Литлпо, — произнес он задумчиво и умолк. — Ты знаешь, — сказал он с изумлением, — знаешь, я даже имени его не помнил. Клянусь тебе, даже имени не помнил.

Он снова умолк.

— Подумай только, как странно, — сказал он. — Я даже имени его не помнил.

— Да, странно, — отозвался я.

— И знаешь, — продолжал он с изумлением, — я неделями... иногда месяцами не вспоминал об... — он

прикоснулся к бумагам своим стариковским пальцем, — ...об этом.

И умолк, углубившись в себя.

Потом он сказал:

— Знаешь, иногда... и подолгу... мне кажется, будто этого не было. Или было, но не со мной. Может быть, с кем-нибудь другим, но не со мной. Потом я вспоминаю, и, когда я вспоминаю в первый раз, я говорю: нет, со мной это не могло случиться. — Он посмотрел мне в глаза. — Но видишь...

— Случилось, — сказал я.

— Да, — кивнул он, — но мне до сих пор не верится.

— И мне тоже, — сказал я.

— И на том спасибо, Джек, —

проговорил он с кривой улыбкой.

— Думаю, вы догадываетесь, какой будет следующий ход, — сказал я.

— Догадываюсь. Твой наниматель попытается нажать на меня. Шантажировать меня.

— *Нажать* — более приятное слово, — заметил я.

— Меня больше не интересуют приятные слова. Ты долго живешь среди слов, но вдруг становишься старым — и остаются только вещи, а слова уже не играют роли.

Я пожал плечами.

— Это как вам угодно, — ответил я, — но суть вы уловили.

— Разве ты не знаешь — а

нанимателю твоему следовало бы знать, раз он называет себя юристом, — что это вот, — он постучал по бумагам указательным пальцем, — ничего не стоит? В суде. Ведь это случилось двадцать пять лет назад. Да и свидетелей у вас никаких нет. Кроме этой женщины Литлпо. А она для вас бесполезна. Все умерли.

— Кроме вас, судья, — сказал я.

— В суде это не пройдет.

— Вы ведь не в суде живете. Вы не умерли и живете среди людей, а у людей сложилось о вас определенное мнение. Вы, судья, не тот человек, который позволит, чтобы о нем думали по-другому.

— Они не смеют так думать! —

взорвался он. — Видит бог, не имеют права. Я жил честно, я выполнял свой долг. Я...

Я перевел взгляд с его лица на колени, где лежали бумаги. Он заметил это и тоже посмотрел вниз. Он запнулся и дотронулся пальцами до бумаг, словно желая убедиться в их реальности. Потом он медленно поднял голову.

— Ты прав, — сказал он. — Это я сделал.

— Да, — сказал я, — сделали.

— Старк знает?

Я пытался понять, что кроется за этим вопросом, но не мог.

— Нет, — ответил я. — Я сказал ему, что ничего не скажу, пока с вами

не встречусь. Понимаете, мне надо было самому убедиться.

— У тебя деликатная душа, — сказал он. — Для шантажиста.

— Не будем обзывать друг друга. Скажу только, что вы сами защищаете шантажиста.

— Нет, Джек, — тихо сказал он, — я не защищаю Макмерфи. Может быть... — он запнулся, — ...я себя защищаю.

— Тогда вы знаете, как это сделать. И я ничего не скажу Старку.

— Может быть, ты и так ничего не скажешь.

Он произнес это еще тише, и у меня мелькнула мысль, что он может схватиться за оружие — стол был

рядом с ним — или броситься на меня. Может, он и старик, но с такими лучше не связываться.

Он, должно быть, угадал мою мысль — он покачал головой, улыбнулся и сказал:

— Не беспокойся. Тебе нечего бояться.

— Знаете что... — сердито начал я.

— Я тебя не трону, — сказал он. И задумчиво добавил: — Но я мог бы тебя удержать.

— Удержав Макмерфи, — сказал я.

— Гораздо проще.

— Как?

— Гораздо проще, — повторил он.

— Как?

– Я мог бы просто... – начал он,
– я просто мог бы сказать тебе... мог
бы сказать тебе одну вещь... – Он
замолчал, потом неожиданно
поднялся, уронив бумаги на пол. – Но
не скажу, – весело закончил он и
улыбнулся мне в лицо.

– Чего не скажете?

– Да чепуха, – сказал он с
улыбкой и весело взмахнул рукой,
словно отмахиваясь от скучной темы.

Я стоял в нерешительности.
Получалось что-то несуразное. Не
полагалось ему быть таким веселым
и уверенным – с обличительными
документами у ног. И на тебе.

Я присел, чтобы собрать бумаги,
а он наблюдал за мной сверху.

— Судья, — сказал я, — я приду завтра. Вы подумайте и завтра решите окончательно.

— Да ведь все решено.

— Вы...

— Нет, Джек.

Я направился к двери в прихожую.

— Завтра приду, — сказал я.

— Конечно, конечно. Ты приходи.

Но я решил.

Не попрощавшись, я вышел. Когда я открывал наружную дверь, он меня окликнул. Я обернулся и сделал несколько шагов назад. Он стоял в прихожей.

— Я вот что хотел тебе сказать, — начал он. — Из этих интересных

документов я узнал кое-что для себя новое. Оказывается, мой старый друг губернатор Стентон поступил своей честью, чтобы защитить меня. Не знаю даже, радоваться мне или огорчаться. Радоваться его привязанности ко мне или огорчаться, что она стоила ему таких жертв. Он ведь мне ничего не сказал. Это было верхом благородства. Правда? Ни единым словом не обмолвился.

Я пробормотал, что да, наверно, он прав.

— Я просто хочу, чтобы ты знал это о губернаторе. В его ошибке повинна его добродетель. Любовь к другу.

Я ничего не ответил.

— Я хочу, чтобы ты знал это о губернаторе, — сказал он.

— Ладно, — ответил я и, чувствуя спиной взгляд его желтых глаз и спокойную улыбку, вышел на яркий свет.

Пекло было адское, когда я возвращался по набережной домой. Я раздумывал, пойти ли мне выкупаться или поехать в город и сказать Хозяину, что судья Ирвин не уступает. Я решил, что могу подождать до завтра. Вдруг судья Ирвин передумает — а выкупаться можно и вечером. Даже для купанья было чересчур жарко. Приду домой,

приму душ и полежу, пока не станет прохладнее, а тогда выкупаюсь.

Я принял душ, лег и уснул.

Я проснулся и вскочил. Сна как не бывало. Звук, разбудивший меня, все еще звенел в ушах. Я сообразил, что это был крик. И тут он раздался снова. Серебряный тонкий крик.

Я спрыгнул с кровати, бросился к двери, вспомнил, что я голый, схватил халат и выбежал. Из комнаты матери донесся шум, звуки, похожие на стоны. Дверь была открыта, и я кинулся туда.

Она сидела на краю постели в халате, стиснув белый телефон, смотрела на меня дикими, расширенными глазами и стонала

монотонно, с правильными промежутками. Я подошел к ней. Она уронила телефон на пол и закричала, показывая на меня пальцем:

– Это ты, ты его убил!

– Что? Что?

– Ты убил!

– Кого убил?

– Ты убил! – Она истерически захохотала.

Я держал ее за плечи, тряс, пытаясь прекратить этот смех, но она царапалась и отталкивала меня. Она на секунду перестала смеяться, чтобы перевести дыхание, и я услышал сухое щелканье мембраны, которым станция призывала

положить трубку на рычаг. И опять этот звук потонул в ее хохоте.

— Перестань! Перестань! — крикнул я, и она вдруг уставилась на меня так, словно только что меня заметила.

Потом не так громко, но с силой повторила:

— Ты убил его, ты убил его.

— Кого убил? — сказал я, встряхнув ее.

— Отца, твоего отца! Ты убил его.

Вот как я это узнал. Сперва я только оцепенел. Когда в вас попадет крупнокалиберная пуля, вы, может, и завертитесь волчком, но ничего не почувствуете. В первый момент. К

тому же я был занят. Матери было плохо. В дверях уже показались два черных лица – служанка и повар, и я закричал, чтобы они перестали пялиться и вызвали доктора Бланда. Я подхватил с пола щелкающий телефон, чтобы они могли позвонить снизу, и, отпустив на секунду мать, захлопнул дверь перед этими всевидящими, всезнающими глазами.

В перерывах между стонами и приступами смеха мать говорила. Она говорила, как она любила его, и как он был единственным человеком, которого она любила, и как я убил его, как я убил своего родного отца, и всякую такую всячину. Она не умолкала, пока не пришел доктор

Бланд и не сделал ей укол. Стоя над кроватью, откуда доносилось уже затихающее бормотание и стоны, он повернул ко мне серое лицо с совиными глазами и седой бородой и сказал:

— Джек, я пришлю медсестру. Очень надежного человека. Никого больше сюда не пускайте. Вы меня поняли?

— Да, — ответил я, ибо я его понял, и понял, что он прекрасно понял смысл бессвязной речи матери.

— Побудьте здесь, пока не придет сестра, — сказал он. — И никого не пускайте. И сестре прикажите никого не пускать, пока я не приду и

не увижу, что ваша мать пришла в себя. Никого.

Я кивнул и проводил его до двери.

Он попрощался, но я его задержал.

— Доктор, — спросил я, — что случилось с судьей? Я ничего не понял из ее слов. Удар?

— Нет, — сказал он, пристально на меня глядя.

— А что же?

— Он застрелился. Сегодня вечером, — ответил доктор, продолжая изучать мое лицо. Но тут же деловито добавил: — Вероятнее всего, это можно объяснить плохим состоянием здоровья. Он стал

сдавать. Очень деятельный человек... Спортсмен... Очень часто... — Он говорил все суше и бесстрастнее: — ...Очень часто такой человек не в состоянии примириться с потерей активности в последние годы жизни. Да, я убежден, что причина в этом.

Я не ответил.

— До свидания, сэр. — Доктор отвел взгляд и пошел к лестнице.

Он уже начал спускаться, когда я окликнул его и бросился вдогонку.

Я подошел к нему и спросил:

— Доктор, куда он стрелял? Я хочу сказать, в какое место? Не в голову?

— Прямо в сердце, — ответил он.

— И добавил: — Из автоматического

девятимиллиметрового. Очень чистая рана.

Я стоял наверху и думал о том, что покойный стрелял в сердце – очень чистая рана, – а не в голову, когда дуло суют в рот и выстрел прожигает мягкое небо и разносит череп, словно сырое яйцо. Я ощутил большое облегчение от того, что у него аккуратная, чистая рана.

Я вернулся в свою комнату, сгреб одежду, пришел к матери и закрыл дверь. Я оделся и сел у пышной кровати с балдахином, под которым таким маленьким казалось прикрытое кружевом тело. Я обратил внимание, что грудь выглядит дряблой, а щеки запавшими и

серыми. Из приоткрытого рта вырывалось тяжелое дыхание. Я с трудом узнавал это лицо. Не такое лицо было у желтоволосой девушки в салатном платье, которая сорок лет назад стояла рядом с плотным мужчиной в темном костюме на крыльце конторы в лесном городке Арканзаса, где визг пил отдавался в мозгу, как потревоженный нерв, и красная земля вырубок, поросшая бледной зеленью, дымилась под весенним солнцем. Не такое лицо в жадном отчаянии смотрело на человека с ястребиной головой и горячими глазами на дорожке под миртами, в укромной сосновой рощице или в комнате с запертыми

ставнями. Нет, теперь это было старое лицо. И мне стало его очень жалко. Я взял руку, безжизненно лежавшую на простыне.

Я держал руку и пытался представить себе, что было бы, если бы в маленький арканзасский городок поехал не Ученый Прокурор, а его друг. Нет, едва ли что-нибудь изменилось бы — я вспомнил, что в то время Монти Ирвин был женат на калеке, на первой жене, которая упала с лошади и несколько лет пролежала в кровати, а потом тихо умерла, скрылась с глаз и ушла из памяти Лендинга. Несомненно, Монти Ирвина удержало бы чувство долга: он не мог бросить увечную

жену и взять другую. Поэтому не женился он на девушке с впалыми щеками, поэтому не пошел к своему другу и не объявил ему: «Я люблю твою жену», поэтому, после того как муж все узнал – а он наверное узнал, иначе что же заставило его уйти из дому и доживать свой век на чердаках, в трущобах, – судья не женился на ней. У него все еще была жена, к которой из-за ее увечья он был привязан болезненным чувством чести. Потом моя мать снова вышла замуж. В отношениях, должно быть, появилась горечь, и тайные утехи перемежались жестокими ссорами. Потом калека умерла. Почему они тогда не поженились? Может быть,

мать желала наказать его за прошлое упрямство? Или их жизнь вошла в колею, из которой они не могли выбраться? Как бы там ни было, он взял женщину из Саванны, которая не принесла ему ничего — ни денег, ни счастья, — но через некоторое время тоже умерла. Почему они тогда не поженились?

В конце концов я отверг этот вопрос. Только один ответ приходил мне в голову: к тому времени, когда мы поймем, каково наше место в жизни и какое определение мы дали себе, уже поздно выбираться из привычной колеи. Мы можем только жить в рамках самоопределения — как преступник в клетке, где он не

может ни лечь, ни сесть, ни встать, а подвешен именем закона на обозрение толпе. Однако определение, которое мы себе даем, — это мы. Чтобы вырваться из него, мы должны претвориться в новую личность. Но как можно сотворить из самого себя нового себя, если самость — единственный материал, которым мы располагаем? Так я рассуждал тогда об истории их жизни.

Как я уже сказал, я отверг вопрос, отверг ответ, казавшийся мне правдоподобным, и просто держал в ладонях ее безжизненную руку, слушал тяжелое дыхание, смотрел на заострившееся лицо и думал о том,

что в крике, который вырвал меня сегодня из сна, была серебряная чистота чувства. То был, думалось мне, истинный крик похороненной души, которой удалось впервые за много лет о себе напомнить.

Да, наверно, она любила Монти Ирвина. Раньше я думал, что она никогда никого не любила. И теперь, держа ее руку, я испытывал не только жалость к ней, но и чувство, похожее на любовь, — за то, что и она кого-то любила.

Вскоре пришла медсестра, и я освободился. Затем навестить мать явилась миссис Даниэл — соседка судьи Ирвина. Это она позвонила матери и рассказала о смерти судьи.

Миссис Даниэл услышала выстрел, но не придавала ему значения; потом из дома Ирвина с криком выбежал его цветной слуга. Вместе с ним она вошла в дом и увидела судью в библиотеке, в большом кожаном кресле с пистолетом на коленях; голова его свешивалась на плечо, а кровь растекалась по левому борту белого пиджака. Ей было о чем рассказать, и она методически обходила дома набережной. Она изложила мне все подробности, сделала безуспешную попытку вывести что-нибудь о моем сегодняшнем визите к судье и о недомогании матери (она, разумеется, слышала крик по

телефону) и, не много прибавив к своему багажу, отбыла в следующий порт назначения.

Молодой Администратор приехал часов в семь. Он уже знал о смерти Ирвина, но мне пришлось сказать ему о состоянии матери. Без всяких околичностей я попросил его не входить в ее комнату. Затем мы вышли с ним на боковую веранду и молча выпили. Его присутствие мешало мне не больше, чем присутствие моей тени.

Через два дня судью Ирвина похоронили под замшелым дубом на кладбище возле церкви. Перед тем в доме я подходил вместе со всеми к

его гробу и смотрел на его мертвое лицо. Ястребиный нос казался тонким, как бумага, почти прозрачным. Кожа потеряла свой кирпичный цвет, и только на щеках лежал слабый розовый тон – работа похоронного бюро. Но жесткие рыжие волосы как будто еще больше поредели, торчали каждый сам по себе над высоким куполообразным черепом. Люди проходили чередой, смотрели на него, переговаривались глухо и собирались в дальнем конце гостиной у кадок с пальмами, доставленными по этому случаю. Так факт смерти незаметно растворился в жизни общины, подобно крохотной капельке чернил, попавшей в стакан

воды. Она распространяется все шире и шире вокруг средоточия убийственной концентрации, растаскивая запасы, разбавляясь и бледнея до тех пор, пока от нее не останется и следа.

Потом я стоял на кладбище, пока совершалось погребение и лопаты швыряли землю — смесь песка и черного перегноя — в яму, где лежал судья Ирвин. Я думал о том, как он забыл имя Мортимера Л.Литлпо, забыл о его существовании, но как Мортимер ни на секунду не забывал о нем. Мортимер умер двадцать с лишним лет назад, но не забыл судью Ирвина. Вспоминая о письме в сундуке

сестры, он ухмылялся бесплотной ухмылкой, хихикал беззвучно и ждал. Судья Ирвин убил Мортимера Л.Литлпо. Но в конце концов Мортимер убил судью Ирвина. Только он ли? Может, я убил? Это зависело от точки зрения. Я размышлял над этим и спрашивал себя, какова моя ответственность. Можно было считать, что я не несу ответственности — не больше, чем Мортимер. Мортимер убил судью Ирвина, потому что судья Ирвин убил его, а я убил судью Ирвина, потому что судья Ирвин меня создал, и с этой точки зрения Мортимер и я были лишь спаренным оружием замедленного, но неотвратимого

самоуничтожения судьи Ирвина. Ибо и убийство и созидание могут быть преступлением, наказуемым смертью, и смерть всегда приходит от собственной руки преступника, и каждый человек – самоубийца. Если бы человек знал, как жить, он никогда бы не умер.

Могилу забросали, сверху насыпали круглый холмик и прикрыли его ковриком нестерпимо зеленой искусственной травы, потому что здесь, на церковном дворе, в густой тени замшелых ветвей, из-под настила слежавшихся листьев никогда не пробивалась живая травинка. Потом вслед за чинной толпой я оставил мертвого

под зеленой травкой — этим причудливым творением могильщика, который уберег нежные души от зрелища свежевскопанной земли, провозгласил, что ничего ровным счетом не случилось и, так сказать, завуалировал значение жизни и смерти.

Итак, я расстался с отцом и пошел по набережной. К тому времени я уже привык думать о нем как об отце. Но это значит, что я отвык считать своим отцом человека, который был когда-то Ученым Прокурором. Я испытывал облегчение оттого, что не тот человек был моим отцом. Я всегда ощущал на себе проклятие его

слабости или того, в чем мне виделась слабость. У него была красивая страстная жена, но другой человек ее отнял, стал отцом его ребенка, и он не нашел ничего лучшего, как уйти, оставив ей все свое состояние, заползти в нору, подобно истекающему кровью зверю, и лежать там, разменивая свой ум и волю на мелочь набожного идиотизма. Он был праведным человеком. Но его праведность ничего мне не говорила, кроме того, что я не могу ею жить. Новый же мой отец не был праведником. Он наставил рога своему другу, изменил жене, взял взятку, довел, хоть и невольно, человека до самоубийства.

Но он делал добро. Он был справедливым судьей. Он высоко держал голову. До последнего своего дня. Он не сказал мне: «Слушай, Джек, ты этого не сделаешь... не сделаешь... Понимаешь... я твой отец».

Что же, я сменял хорошего слабого отца на дурного и сильного. И не жалел об этом. Когда я возвращался по набережной, мне было жалко судью, но что до меня лично — обмен меня устраивал. Потом я вспомнил другого старика, который наклонялся в грязной комнате над полоумным акробатом, подносил шоколадку к заплаканному лицу; вспомнил ребенка на ковре

перед камином и коренастого мужчину в черном, наклонявшегося к нему со словами: «На, сынок, но только кусочек до ужина». И я уже не был уверен, что лучше.

Я бросил об этом думать. Какой смысл разбираться в своих чувствах к ним, если я потерял их обоих? Обычно люди теряют одного отца, но у меня обстоятельства сложились так странно, что я потерял двух сразу. Я откопал правду, а правда всегда убивает отца, будь он хорошим и слабым или дурным и сильным, и вы остаетесь наедине с собой и с правдой и никогда ничего не сможете спросить у папы, который и сам-то ничего не знал и к тому же мертв,

как заклепка.

На другой день, когда я вернулся в столицу, мне позвонили из Лендинга. Это был мистер Петас, душеприказчик судьи. По его словам, все наследство, не считая незначительных даров слугам, отходило ко мне. Я стал наследником поместья, которое судья Ирвин спас когда-то единственным своим бесчестным поступком, — и я же, как слепое орудие справедливости, приставил за этот поступок пистолет к его сердцу.

Вся история выглядела такой нелепой и такой логичной, что я, повесив трубку, захохотал и едва смог остановиться. По прежде чем

остановиться, я обнаружил, что, собственно говоря, не смеюсь, а плачу и без конца повторяю: «Бедный старик, бедный старик». Это было как ледоход после долгой зимы. А зима была долгой.

После тяжелого удара или кризиса, после первого потрясения, когда нервы перестают дергаться и гудеть, вы привыкаете к новому порядку вещей, и вам кажется, будто никаких перемен больше быть не может. Вы приспосабливаетесь и уверены, что новое равновесие установилось навечно. Так я чувствовал себя после смерти судьи Ирвина, после возвращения в столицу. Мне казалось, что история окончена, что игра, начавшаяся много лет назад, доиграна, что лимон выжат досуха. Но если в чем и можно

быть уверенным, то только в том, что ни одна история не имеет конца, ибо история, которая нам кажется оконченной, — лишь глава истории, не имеющей конца. И доигрывается не игра, а только партия, партий же в игре много. Если игра остановилась — ее просто прервали из-за темноты. Но день долог.

Маленькая игра, которую вел Хозяин, еще не кончилась. Но я о ней почти забыл. Я забыл, что история судьи Ирвина, которая казалась такой законченной в себе, была лишь главой в более долгой истории Хозяина, которая еще не кончилась и сама была лишь главой в другой, более пространной истории.

Когда я вошел к нему в кабинет, Хозяин посмотрел на меня из-за стола и сказал:

– Черт подери, так он улизнул от меня, прохвост!

Я ничего не ответил.

– Я не просил тебя напугать его до смерти, я просил только припугнуть.

– Он не испугался, – сказал я.

– Какого же черта он это сделал?

– Я тебе с самого начала сказал, что он не испугается.

– Так почему же он это сделал?

– Я не хочу это обсуждать.

– Так почему же он это сделал?

– Сказано тебе, я не хочу это обсуждать.

Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, встал и обошел стол.

— Извини, — сказал он и положил тяжелую руку мне на плечо.

Я отодвинул плечо.

— Извини, — повторил он. — Вы ведь с ним одно время были приятелями?

— Да, — сказал я.

Он сел на стол, поднял свое широкое колено и сцепил на нем пальцы.

— А Макмерфи еще цел, — задумчиво сказал он.

— Да, Макмерфи цел, но ты поищи себе другого помощника, если хочешь собирать на него материал.

– Даже на Макмерфи? – спросил он шутливым тоном, который я оставил без внимания.

– Даже на Макмерфи, – подтвердил я.

– Джек, – сказал он, – ты ведь не бросаешь меня?

– Нет, я бросаю определенные занятия.

– Но ведь это правда?

– Что?

– Ну, черт его знает – что там было у судьи?

Я не мог отрицать. Я вынужден был сказать «да». И я, кивнув, сказал:

– Да, правда.

– Ну так?

– Я все сказал.

Он сонно рассматривал меня из-под чуба.

— Мальчик, — сказал он рассудительно, — мы не первый год вместе. Надеюсь, что мы будем вместе до конца. Мы с тобой по уши в этом деле, мальчик, — оба, ты и я.

Я не ответил.

Он продолжал разглядывать меня. Потом сказал:

— Ты не беспокойся. Все образуется.

— Ну да, — угрюмо отозвался я. — Ты будешь сенатором.

— Я не про это. Я хоть сейчас мог бы стать сенатором, если бы это было все.

— А что еще?

Он не отвечал и даже смотрел не на меня, а на руки, сцепленные на колене.

— А, черт, — сказал он вдруг, — неважно. — Он внезапно отпустил колено, нога с тяжелым стуком упала на пол, и он соскочил со стола. — Но пусть они хорошенько помнят — Макмерфи и все остальные: я сделаю то, что мне надо сделать. Клянусь богом, сделаю, даже если мне придется переломать им кости своими руками. — И он вытянул перед собой руки с растопыренными скрюченными пальцами.

Он оперся задом о стол и сказал скорее себе, чем мне:

— Теперь этот Фрей. Фрей. —

Затем он погрузился в хмурое молчание, и, увидь его в эту минуту Фрей, он был бы очень рад очутиться подальше отсюда, на арканзасской ферме с неизвестным адресом.

Итак, история Хозяина и Макмерфи, в которой история судьи Ирвина была лишь эпизодом, продолжалась, но я в ней не участвовал. Я вернулся к своей невинной поденной работе и сидел в кабинете, дожидаясь, когда незаметно приблизится осень и земля на перекошенной своей оси потихоньку выведет место, на котором я обосновался, из-под хрустальной лавины отвесных лучей огромного солнца. Листья дубов сухо

шелестели по вечерам, когда поднимался ветер, а за городом, там, где кончались бетонные тротуары и трамвайные линии, спутанная чаща сахарного тростника ложилась под тяжелым ножом, и вечером на разбитых дорогах скрипели большими колесами возы, заваленные этим приторно-вонючим грузом, а еще дальше, среди черных жирных полей, раздетых секачом, под шафранным небом заунывно пел негр о каком-то своем уговоре с Иисусом. На университетском тренировочном поле бутса какого-то долгоногого, крутоплечего парня снова и снова хлопала по кожаному мячу и под крики и повелительные

свистки вздымался, опадал и перекачивался клубок тел. В субботние вечера под ослепительными батареями прожекторов по стадиону металось надсадное: «Том! Том! Том! Давай, Том!» Потому что Том Старк нес мяч, Том Старк проходил по краю, Том Старк прошивал защиту, и был только Том, Том, Том.

Спортивные корреспонденты писали, что он играет, как никогда. А он тем временем вгонял своего старика в пот. Хозяин был суров, как непьющий шотландец, все учреждение ходило на цыпочках, стенографистки после очередной диктовки вдруг заливались слезами

над своей машинкой, а должностные лица, выйдя из кабинета, одной рукой прикладывали платок к мертвенно-бледному лбу, а другой — нашаривали дорогу в длинной приемной под нарисованными глазами мертвых губернаторов в золотых рамах. Только для Сэди Берк ничего не изменилось. Она по-прежнему откусывала слоги, как швея нитку, и смотрела на Хозяина черными горячими глазами, словно богиня судьбы, знающая цену всем вашим надеждам.

Только в дни игр удавалось Хозяину стряхнуть тоску. Раза два я ходил с ним, и, когда Том показывал класс, Хозяин преображался. Его

глаза выкатывались и блестели, он хлопал меня по спине и тискал, как медведь. Следы этого воодушевления видны были порой и на другое утро, когда он открывал спортивную страницу воскресной газеты, но на всю неделю его, конечно, не хватало. А Том ничуть не пытался загладить свою вину перед стариком. Раз или два у них был крупный разговор по поводу того, что Том отлынивал от тренировок и поссорился с тренером Билли Мартином.

— А тебе-то какое дело? — спрашивал Том, стоя посреди прокуренной комнаты в гостинице и расставив ноги, словно на палубе в качку. — Какое тебе дело, да и

Мартину тоже, если я могу им насовать? А я могу, понял? Я пока могу им насовать, и какого черта еще тебе надо? Я пока могу им насовать, а ты можешь ходить и распускать хвост по этому случаю. Чего еще тебе надо?

И с этими словами Том выходил, хлопал дверью, а Хозяин застывал, как статуя — по-видимому, от прилива крови к голове.

— Ты слышал, — говорил мне Хозяин, — нет, ты слышал, что он говорит? За это лупить надо. — Но он терялся. Это было видно невооруженным глазом.

Хозяин по-прежнему занимался делом Сибиллы Фрей. Я, как

известно, не принимал в нем участия. Дальнейшее было нетрудно предвидеть. Добраться до Макмерфи можно было двумя путями: через судью Ирвина и через Гумми Ларсона. Хозяин хотел припугнуть судью, но ничего не вышло. Теперь ему пришлось покупать Ларсона. Он мог купить Ларсона, потому что Ларсон был дельцом. Дело, и только дело. За подходящую сумму Гумми продал бы что угодно: свою бессмертную душу и священные кости матери, а его старый друг Макмерфи не был ни тем, ни другим. Если бы Гумми сказал Макмерфи: отставить, ты не будешь сенатором, — Макмерфи послушался бы, потому

что без Гумми Макмерфи был никто.

У Хозяина не было выбора. Ему пришлось покупать. Он мог бы вступить в сделку с самим Макмерфи, пустить Макмерфи в сенат, с тем чтобы занять его место после следующих выборов. Но против этого имелось два возражения. Во-первых, потеря времени. Сейчас было самое время Хозяину наступать. Позже он будет лишь одним из сенаторов, которым под пятьдесят. Сейчас он был бы вундеркиндом, пахнущим серой. Мальчик с будущим. Во-вторых, если он подпустит Макмерфи обратно к казенному пирогу, то множество людей, которых даже ночью в

спальной прошибает пот от одной мысли стать Хозяину поперек дороги, решат, что можно лягнуть Хозяина и убраться целым и невредимым. Они начнут дружить и меняться сигарами с друзьями Макмерфи. У них даже появятся собственные мысли. Но было и третье возражение против сделки с Макмерфи. И не возражение даже, а просто факт. Тот факт, что Хозяин таков, каков он есть. Если Макмерфи принудит его к компромиссу, то пусть на этом нагреет руки кто угодно, только не сам Макмерфи. И Хозяин заключил сделку с Гумми Ларсоном.

Дело шло не о мелочи. Не о

семечках. О подряде на постройку медицинского центра. О передаче контракта Ларсону.

Меня эти переговоры не касались. Ими занимался Дафи, потому что он давно проталкивал это соглашение и, по-видимому, должен был получить лакомый кусочек в благодарность от Ларсона. Что ж, я не осуждал его за это. Он честно зарабатывал свои деньги. Он ежился и обливался потом под злобещим взглядом Хозяина, пытаясь склонить его в пользу Ларсона. Не он, не его усилия, а случай был виной тому, что сделка стала возможной. Поэтому я его не осуждаю.

Все это творилось у меня за

спиной, а вернее, под самым носом, потому что в ту пору, с приближением осени я чувствовал, что постепенно отдаляюсь от окружающего мира. Он мог идти своей дорогой, а я – своей. Вернее, я шел бы своей дорогой, если бы знал, где она. Я забавлялся мыслью об увольнении, о том, чтобы сказать Хозяину: «Хозяин, я уматываю отсюда и больше не вернусь». Я считал, что могу себе это позволить. Теперь мне и пальцем не надо было пошевелить ради утренней пышки и чашки кофе. Может, я и не буду богатым-богатым, но богатым по-южному, достойно и благородно, я буду. У нас никто и не хочет быть

богатым-богатым, потому что это вульгарно и низкопробно. Так что мне предстояло стать богатым по-благородному. Как только там закруглятся с делами судьи (если вообще закруглятся, потому что дела его были в запутанном состоянии и на это требовалось время).

Я буду по-благородному богатым, потому что я пожал плоды преступления судьи, точно так же как после смерти матери я пожну плоды слабости Ученого Прокурора — деньги, которые он оставил ей, когда узнал правду и ушел. Я тоже смогу уйти и на доходы от преступления судьи жить красивой, чистой, безупречной жизнью в краях,

где вы сидите за мраморным столиком под полосатым тентом, пьете вермут с сельтерской и черносмородинной настойкой, а перед вами плещет и блещет прославленная морская синь. Но я не ушел. А ведь в самом деле, потеряв обоих отцов, я чувствовал, что могу уплыть свободно, как воздушный шар с последним обрезанным канатом. Но плыть пришлось бы на деньги судьи Ирвина. А деньги эти, давая возможность уплыть, как ни парадоксально, в то же самое время приковывали меня к месту. Или, пользуясь другим сравнением, они были длинной якорной цепью, а лапы якоря глубоко засели в иле и

водорослях далекого прошлого. Пожалуй, глупо было относиться так к моему маленькому наслeдству. Пожалуй, оно ничем не отличалось от любого другого наслeдства, полученного любым другим человеком. Пожалуй, прав был император Веспасиан, когда, бренча в кармане джинсов деньгами, добытыми налогом на писсуары, он остроумно заметил: «Pescunia non olet»[\[47\]](#).

Я не ушел, но выпал из потока событий и сидел в своем кабинете или в университетской библиотеке, читая книги и монографии о налогах, ибо теперь я работал над приятным, чистым заданием: законопроектом о

налогах. Я так мало интересовался происходящим, что узнал о сделке только тогда, когда она состоялась.

Однажды вечером я явился в резиденцию с портфелем, набитым заметками и таблицами, чтобы посоветоваться с Хозяином. Хозяин был не один. С ним в библиотеке были Крошка Дафи, Рафинад и, к удивлению моему, Гумми Ларсон. Рафинад притулился в уголке на стуле и держал обеими руками стакан, как держат дети. Время от времени он отпивал виски мелкими глоточками и после каждого глоточка поднимал голову, как поднимает голову цыпленок, когда пьет. Рафинад не был пьяницей. По его

словам, он боялся, что «р-р-а-азнервничается» от виски. Это было бы ужасно, если бы Рафинад разнервничался настолько, что не смог бы с первого выстрела расшибить банку из-под варенья, подброшенную в воздух, или утереть мулу нос задним крылом «кадиллака». Дафи же, напротив, был пьяницей, но в тот вечер он не пил. У него явно не было настроения пить, хотя в его глазках то и дело вспыхивал тусклый огонек торжества и хотя ему было неуютно стоять на открытом месте перед кожаной кушеткой. Беспокойство его усугублялось тем, по крайней мере отчасти, что Хозяин пил — и самым

решительным образом. А когда Хозяин пил, его сдерживающие центры, и в обычное-то время слабые, полностью выключались. Теперь он пил вовсю. Это напоминало первую голубую зарницу после трехдневного падения барометра. Он сидел, развалясь на кушетке, а на полу рядом с его мятым пиджаком и туфлями были: кувшин воды, бутылка и ваза со льдом. Когда у Хозяина были неприятности, он снимал туфли. Сейчас он был пьян в доску. Жидкость в бутылке стояла низко.

М-р Ларсон стоял сбоку от кушетки – плотный человек среднего роста, средних лет, в сером костюме,

с серым лицом, не отмеченным печатью воображения. Он не пил. Когда-то он был содержателем игорного дома и обнаружил, что пьянство не окупается. Гумми был сугубо деловым человеком и не занимался тем, что не окупается.

Когда я вошел и окинул взглядом собрание, воспаленные глаза Хозяина устремились на меня, но он не произнес ни слова до тех пор, пока я не приблизился к открытому месту перед кушеткой. Затем он вскинул руку и указал на Крошку, который стоял посередине этого незащищенного пространства с изнуренной улыбкой на масляном своем блине.

– Смотри, – сказал мне Хозяин, – это он хотел устроить дело с Ларсоном. А что я ему сказал? Я сказал ему – ни хрена. Ни хрена. Я сказал ему – через мой труп. И что вышло?

Я счел вопрос риторическим и не ответил. Я понял, что законопроект о налогах на сегодняшний вечер отпадает, и бочком стал подвигаться к двери.

– Ну, что вышло? – проревел Хозяин.

– Почему я знаю? – спросил я, но состав действующих лиц уже дал мне приблизительное представление о сюжете драмы.

Хозяин повернул голову к

Крошке.

— А ну, скажи, — скомандовал он, — скажи ему, похвастайся, как ты меня обштопал.

Крошка не мог сказать. Его хватило только на улыбку, тусклую, как зимняя заря над необъятным простором черного костюма и жилетки с белым кантом.

— Скажи!

Крошка облизнул губы и стыдливо, как невеста, посмотрел на бесстрастного сероликого Гумми, но сказать не смог.

— Ладно, я тебе скажу. Гумми Ларсон будет строить мою больницу. Крошка добился своего, не зря старался — и все довольны.

– Прекрасно, – сказал я.

– Да, все довольны, – сказал Хозяин. – Кроме меня. Кроме меня, – повторил он и ударил себя в грудь. – Потому что это я сказал Крошке: ни хрена. Не желаю иметь дела с Ларсоном. Потому что это я не пустил Ларсона на порог, когда Крошка его привел. Потому что я должен был давным-давно выгнать его из штата. А где он теперь? Где он теперь?

Серое лицо Гумми Ларсона было непроницаемо. В давние дни, в начале нашего с Ларсоном знакомства, когда он был содержателем игорного дома, его однажды избили полицейские.

Видимо, он зажимал причитавшуюся им долю. Они трудились над его лицом, пока оно не стало похоже на сырой шницель. Но оно зажило. Он знал, что оно заживет, и принял побои молча, ибо, если ты держишь язык за зубами, это всегда окупается. И в конце концов это окупилось. Теперь он был не содержателем игорного дома, а богатым подрядчиком. Он был богатым подрядчиком потому, что нашел хорошие связи в муниципалитете, и потому, что умел держать язык за зубами. Сейчас он терпеливо сносил выходки Хозяина. Потому что это окупалось. У Гумми были верные инстинкты дельца.

— Я тебе скажу, где он, — продолжал Хозяин. — Смотри, вот он. В этой самой комнате. Вот он стоит, полюбуйся. Хорош собой, а? Знаешь, что он сделал? Он только что продал лучшего друга. Он продал Макмерфи.

Можно было подумать, что Ларсон стоит в церкви и ждет благословения, — такой покой выражало его лицо.

— Но это чепуха. Все равно что раз плюнуть. Для Гумми.

Тот и бровью не повел.

— Гумми. Вся разница между ним и Иудой Искаротом в том, что он получит прибыль от своих тридцати сребреников. Но продаст он что угодно. Гумми продал лучшего

друга, а я... а я... — он с размаху ударил себя в грудь, и там отдалось глухо, как в бочке, — а я... я должен покупать, они заставили меня, сукины дети!

Он умолк, свирепо посмотрел на Гумми и потянулся за бутылкой. Он щедро налил себе, добавил воды. Льдом он себя уже не утруждал. Он ограничил себя самым необходимым. Еще немного, и он откажется от воды.

Гумми из своего трезвого и победного далека, с высоты своей нравственной неуязвимости, которая проистекает из точного, до цента, знания того, что почем в этом мире, обозрел фигуру на кушетке и, когда

кувшин опустился на пол, сказал:

— Если мы договорились, губернатор, то мне, наверно, пора двигаться.

— Да, — сказал Хозяин, — да, — и скинул ноги в носках на пол. — Да, договорились, будь ты неладен. Но... — он встал, сжимая в руке стакан, встряхнулся, словно большая собака, так что из стакана пролилось, — ... запомни! — Вытянув вперед голову, он мягко затопал к Ларсону по ковру.

Крошка Дафи не то чтобы стоял у него на дороге, но либо не успел посторониться, либо сделал это недостаточно живо. Как бы там ни было, Хозяин чуть не задел его, а может, и задел. В тот же миг, даже не

взглянув на мишень, Хозяин выплеснул жидкость из стакана прямо в лицо Дафи. И, не опуская руки, уронил стакан на пол. Стакан подпрыгнул на ковре, но не разбился.

Я видел лицо Дафи в момент соприкосновения — большую удивленную ватрушку, которая напомнила мне тот день, когда Хозяин спугнул Дафи с помоста в Аптоне и Дафи упал через край. Сейчас удивление сменилось вспышкой ярости, а затем покорным обиженным выражением и жалобным: «За что вы так, Хозяин, за что?»

А Хозяин, который уже прошел мимо, обернулся при этих словах и

сказал:

– Надо было давно это сделать. Тебе давно причиталось.

Затем он остановился перед Ларсоном, который уже взял пальто и шляпу и невозмутимо ждал, когда уляжется пыль. Хозяин стоял почти вплотную к нему. Он схватил Ларсона за лацканы и придвинул свое багровое лицо к его серому.

– Договорились, – сказал он, – да, договорились, но ты... ты не поставь хоть одного шпингалета, ты пропусти хоть сантиметр в арматуре, ты насыпь хотя бы ложку лишнюю песку... хоть крошку положи фальшивого мрамора, и, клянусь богом... клянусь богом, я тебя

выверну наизнанку. Я тебя... – И, не выпуская лацканов, рывком развел руки. Пуговица, на которую был застегнут пиджак Ларсона, покатилась по комнате и тихо щелкнула о камин.

– Потому что она – моя, – сказал Хозяин. – Понял? Это моя больница. Моя.

В комнате слышалось только дыхание Хозяина.

Дафи, стискивая в руке влажный платок, которым он промокал лицо, взирал на эту сцену с благоговейным ужасом. Рафинад не обращал на них ни малейшего внимания.

Ларсон, чьи лацканы все еще были в руках у Хозяина, даже глазом

не моргнул. Надо отдать Гумми должное. Он не дрогнул. В жилах у него текла ледяная вода. Его ничем нельзя было пронять — ни оскорблениями, ни гневом, ни рукоприкладством, ни превращением его лица в отбивную. Он был истинным дельцом. Он всему знал цену.

Он стоял перед тяжелым багровым лицом, которое жарко дышало на него перегаром, и ждал. Наконец Хозяин его отпустил. Он просто разжал руки и, растопылив в воздухе пальцы, сделал шаг назад. Потом повернулся к Ларсону спиной и пошел прочь, словно забыв о нем. Ноги в носках ступали беззвучно,

голова чуть покачивалась.

Хозяин сел на кушетку, наклонился, упер локти в расставленные колени, свесив кисти вперед и глядя на гаснущие угли в камине так, будто в комнате никого не было. Ларсон молча распахнул дверь и вышел, не закрыв за собой. Крошка Дафи тоже двинулся к двери, но походка его производила странное впечатление легкости — легкости раздутого тела утопленника, всплывшего на девятый день, — такое впечатление может создать толстый человек, когда идет на цыпочках. На пороге, держась за ручку, он обернулся. Когда его глаза остановились на согнутой фигуре

Хозяина, в них снова мелькнула ярость, и я подумал: «Ей-богу, в нем все же есть что-то человеческое». Он почувствовал мой взгляд и посмотрел на меня с выражением страдальческого немого призыва — просьбой простить его за все, понять и пожалеть и не думать плохо о бедном старом Крошке Дафи, который хотел как лучше, а за это ему выплеснули опивки в лицо. Разве у него нет никаких прав? Разве бедный старый Крошка не человек?

Затем Дафи вышел вслед за Ларсоном. Он ухитрился прикрыть дверь без звука.

Я посмотрел на Хозяина, тот не шевелился.

– Я рад, что попал на последнее действие, – сказал я, – но мне пора идти.

О моем законопроекте не могло быть и речи.

– погоди, – сказал Хозяин.

Он взял бутылку и глотнул из нее. Он ограничился самым необходимым.

– Я говорю ему... говорю, ты не поставь хоть одного шпингалета, хоть одной железки в бетон... говорю, ты только...

– Угу, – сказал я, – слышал.

– ...насыпь мне ложку песку, только попробуй сжульничать, и я тебя выверну наизнанку, я тебя выпотрошу! – Хозяин встал и

подошел ко мне вплотную. – Я его выпотрошу, – сказал он, тяжело дыша.

– Верно, это ты говорил, – согласился я.

– Я сказал, выпотрошу – и выпотрошу. Пусть только попробует.

– Правильно.

– Все равно выпотрошу. У-у... – Он раскинул руки. – Я его все равно выпотрошу. Всех выпотрошу. Всех, которые лезут своими грязными лапами. Пусть только кончат, и я их выпотрошу. Всех. Выпотрошу и раздавлю. Честное слово! Лезут своими грязными лапами. Это они меня заставили отдать подряд. Они!

– Тут не обошлось и без Тома

Старка, – сказал я.

Он остановился, хотя разгон был большой. Он уставился на меня так, что я приготовился к драке. Потом он отвернулся и подошел к кушетке. Но не сел. Он нагнулся за бутылкой, нанес ей большой урон, снова уставился на меня и пролепетал:

– Том еще мальчик.

Я промолчал. Хозяин опять приложился к бутылке.

– Том еще мальчик, – тупо повторил он.

– Ну да, – сказал я.

– Но эти, – закричал он снова, раскинув руки, – эти... Заставили меня... Выпотрошу... Уничтожу!

Он мог бы долго продолжать в

том же духе, если бы не упал на диван. Попад туда, он глухо повторил свои основные замечания насчет «этих» и насчет того, что Том Старк — еще мальчик. Затем эта односторонняя беседа оборвалась; в комнате слышался только его храп и сопение.

Я смотрел на него и вспоминал тот вечер бог знает сколько лет назад, когда он впервые напился в моем номере аптонской гостиницы и уснул. С тех пор он далеко ушел. Теперь я видел перед собой не круглое лицо дяди Вилли. Все переменялось. И еще как переменялось.

Рафинад, который все это время

сидел тихо в углу, едва доставая ножками до пола, встал со стула и подошел к кушетке. Он посмотрел на Хозяина.

– Спекся, – сказал я ему.

Рафинад кивнул, по-прежнему глядя на грузное тело. Хозяин лежал на спине. Одна его нога свесилась на пол. Рафинад подобрал ее и уложил на кушетку. Потом заметил на полу смятый пиджак, поднял его и накинул на разутые ноги Хозяина. Он обернулся ко мне и, как бы извиняясь, объяснил:

– Н-н-не п-п-простудился б-б-бы.

Взяв портфель и пальто, я двинулся к выходу. В дверях я окинул

последним взглядом поле битвы. Рафинад снова занял свой стул в уголке. На моем лице, наверно, изобразилось удивление, потому что он сказал:

– Я п-п-посижу, ч-ч-чтобы ему не м-м-мешали.

Я оставил их вдвоем.

Возвращаясь на машине по ночным улицам домой, я думал о том, что сказал бы Адам, если бы узнал, как будут строить больницу. Я догадывался, однако, что скажет Хозяин, если ему задать этот вопрос об Адаме. Он скажет: «Черт, я обещал, что построю ее, – и строю. Это главное, я ее строю. А его дело –

сидеть там и держать свои лапки в стерильной чистоте». Эти слова я и услышал, когда заговорил с ним об Адаме.

Возвращаясь на машине по темным улицам домой, я думал и о том, что сказала бы Анна Стентон, если бы побывала в библиотеке Хозяина и увидела его на кушетке мертвецки пьяного. Я размышлял об этом не без злорадства. Если она сошлась с ним из-за того, что он такой большой и сильный, и знает, чего хочет, и готов добиться своего любой ценой, ей стоило бы посмотреть, как он мычал и стоял на коленях, словно бык, запутавшийся в привязи, и не то что пошевелиться не

мог, а даже головы поднять из-за кольца в носу. Ей стоило бы на это посмотреть.

Но потом я подумал, что, может быть, этого она и дожидалась. Женщины никого так не любят, как пропойц, озорников, скандалистов, подонков. Они любят их потому, что они — я имею в виду женщин — подобны пчелам из загадки Самсона: им приятно строить свои соты в трупe льва.

Из сильного выйдет сладкое.

Том Старк, может, и был еще мальчиком, как сказал Хозяин, однако он имел прямое касательство к тому, как повернулось дело. Но

полагаю, что и Хозяин имел к этому касательство, поскольку именно он сделал из Тома то, чем Том стал. Получался порочный круг: сын был лишь продолжением отца, и, когда они свирепо смотрели друг на друга, казалось, что зеркало смотрится в зеркало. Они и в самом деле были похожи — та же манера держать голову набок или вдруг выбрасывать ее вперед, те же неожиданные, резкие жесты. Том был натренированным, самоуверенным, лощеным, подстриженным вариантом того, чем был Хозяин в начале нашего с ним знакомства. Большая разница была вот в чем: в те давние дни Хозяин ощупью, вслепую

шел к открытию себя, своего великого дара — он шел, повинувшись темному, неосознанному импульсу, властному, как рок или смертельный недуг, шел в комбинезоне, который пузырился на задуг, или в тесном залосненном костюме из синей диагонали. Том же ничего не искал ощупью, и уж, во всяком случае, не себя. Он знал, что Том Старк — самое потрясающее и сногшибательное явление на свете. Том Старк из сборной Америки — и никаких червячков сомнения. Никаких комбинезонов, пузырящихся на железных ягодицах и таранных коленях. Он стоял посреди комнаты, как боксер, в туфлях с цветными

союсками, в спортивном пиджаке, наброшенном на плечи, в грубой белой рубаше, расстегнутой на бронзовом горле, в красном шерстяном галстуке со спущенным и сбитым на сторону узлом величиной в кулак, и его глаза уверенно скользили по присутствующим, а мощная гладкая коричневая челюсть атлета лениво разминала жвачку. Вы знаете, как жуют резинку спортсмены. Да, Том Старк был герой что надо и не ходил ощупью. Том Старк знал, кто он есть.

Том Старк знал, что он молодец. Поэтому он не затруднял себя соблюдением правил, даже правил тренировки. Он все равно выиграет,

сказал он отцу, так какого же черта? Но мальчик хватил через край. В субботу ночью, после игры, он с Тадом Мелоном, запасным, и с Гапом Лоусоном, линейным из основного состава, чествовал себя в придорожном кабаке. Все прошло бы гладко, если бы они не ввязались в драку с какими-то грубиянами, которые слыхом не слышали о футболе, но терпеть не могли, когда пристают к их девочкам. Гапа Лоусона грубияны отделали на совесть, он попал в больницу и вышел из строя на несколько недель. Тому и Таду досталось всего по несколько оплеух, а потом их разняли. Но факт нарушения режима

был преподнесен тренеру Билли Мартину в довольно-таки драматической форме. Он попал в газету. Тренер отстранил от игр Тома Старка и Тада Мелона. Это сильно уменьшило шансы команды в матче с Джорджией, который должен был состояться в следующую субботу. Джорджия в тот сезон играла сильно, и вся надежда была на Тома Старка.

Хозяин принял удар, как подобает мужчине. Без слез и криков — даже когда первая половина закончилась со счетом 7:0 в пользу Джорджии. Как только раздался свисток, он вскочил. «Пошли», — сказал он мне, и я понял, что он отправляется в раздевалку. Я

приплелся за ним туда, прислонился к косяку и стал смотреть. На стадионе заиграл оркестр. Сейчас он, наверно, маршировал вокруг поля, и солнце (это была первая встреча, перенесенная из-за приближения холодов на дневное время) сверкало на меди и мелькающей золотой палочке дирижера. Вскоре оркестр где-то вдали начал объяснять Родному Штату, как мы любим его, как мы будем, будем биться за него, как умрем за него и что он – родина героев. Между тем герои, чумазые и выдохшиеся, получали накачку.

Вначале Хозяин не произнес ни слова. Он вошел в раздевалку и медленно оглядел расслабленные

тела. Настроение было как в морге. Можно было услышать, как муха пролетит. Ни звука. Только раз проскребли по цементу шипы, когда кто-то незаметно двинул ногой, да раз или два скрипнули доспехи, когда кто-то переменял позу. Тренер Билли Мартин в шляпе, надвинутой на глаза, стоял в другом конце комнаты и мрачно жевал незажженную сигару. Хозяин медленно обводил их взглядом одного за другим, а оркестр объяснялся штату о любви, болельщики стояли на трибунах под теплым осенним солнцем и в чистом восторге прижимали шляпы к сердцам.

Глаза Хозяина остановились на

Джимми Хардвике, который сидел на скамейке. Джимми был краем в дублирующем составе. Во втором периоде его выпустили на поле, потому что левый крайний играл, как сановница, страдающая запором. Джимми мог отличиться. Случай представился. Он получил пас. И потерял мяч. И теперь когда глаза Хозяина остановились на Джимми, он ответил Хозяину угрюмым взглядом. Тот не отводил глаз, и Джимми не выдержал:

— Ну, чего молчите... чего... говорите уж!

Но Хозяин ничего не сказал. Он медленно подошел и стал перед Джимми. Потом так же медленно

поднял правую руку и опустил ее Джимми на плечо. Он не потрепал его по плечу. Он просто положил на плечо руку, как человек, успокаивающий горячую лошадь.

Он больше не взглянул на Джимми и медленно обвел взглядом остальных.

— Ребята, — сказал он. — Я пришел сказать вам... я знаю, вы сделали все, что могли.

Он стоял, держа руку на плече Джимми, и ждал. Джимми заплакал.

Тогда Хозяин сказал:

— Я знаю, вы сделали все, что в ваших силах. Потому что я знаю, из какого вы теста.

Он снова подождал. Потом

убрал руку с плеча Джимми, медленно повернулся и пошел к двери. Там он остановился и снова окинул взглядом комнату.

— Я хочу вам сказать, что не забуду вас, — сказал он и вышел.

Теперь Джимми плакал навзрыд.

Вслед за Хозяином я вышел наружу; оркестр играл залихватский марш.

Когда началась вторая половина, ребята вышли, чтобы драться не на жизнь, а на смерть. В начале третьего периода они приземлили у Джорджии за линией и реализовали попытку. Хозяин воспринял гол с мрачным удовлетворением. В

четвертом периоде Джорджия оттеснила наших почти к самым воротам, но ребята выстояли, а потом забили гол с поля. Так игра и кончилась – 10:7.

Теперь мы могли выиграть первенство ассоциации. Для этого надо было победить во всех остальных матчах. В следующую субботу Том Старк снова вышел на поле. Он вышел на поле, потому что Хозяин нажал на Билли Мартина. Только поэтому – Хозяин мне сам признался.

– И Мартин это проглотил? – спросил я.

– Да, – сказал Хозяин, – вместе со своими зубами.

На это я ничего не ответил и, кажется, даже виду не подал, что могу ответить. Но Хозяин вытянул ко мне голову и сказал:

— Понимаешь ты или нет, я не позволю ему все погубить. Мы можем выиграть первенство ассоциации, а эта дубина хочет все погубить.

Я по-прежнему не отвечал.

— Не в Томе дело, в первенстве, ей-богу, — сказал он. — Не в Томе. Если бы дело было только в нем, я бы слова не сказал. А если он еще раз пропустит тренировку, я ему голову об пол расшибу. Своими руками изобью. Ей-богу.

— Он довольно крупный

мальчик, – заметил я.

Хозяин опять побоялся, что изобьет его. И в следующую субботу Том снова вышел на поле – он делал игру, он был помесью балерины с паровозом, и трибуны вопили: «А-а, Том, Том, Том!» – потому что он был их родименький, и счет был 20:0, и у наших опять были виды на первое место. Оставалось две игры. Легкая, с Технологическим, и в день благодарения – финальный матч.

С Технологическим было легко. В третьем периоде, когда университет уже вел, тренер выпустил Тома – просто поразмяться. Том устроил для трибун небольшое представление. Оно было

небрежным, блестящим и дерзким. Казалось, для него это пустяки — с такой легкостью он все проделывал. Но однажды, когда он прорвался, сделал с мячом семь ярдов и его снесла защита, он не встал сразу.

— Наверное, в сплетение попали, — заметил Хозяин.

А Крошка, который сидел с нами в губернаторской ложе, сказал:

— Наверно, но Том и не такое выдержит.

— Еще бы, черт возьми! — согласился Хозяин.

Но Том вообще не встал. Его понесли в раздевалку.

— Ясно, в поддых ударили, — сказал Хозяин так, словно речь шла о

погоде. — Смотри, выпустили Акстона. Акстон ничего играет. Дай ему еще годик.

— Он — ничего, но он не Том Старк. Том Старк — вот на кого я ставлю, — объявил Дафи.

— Сейчас будет пас, могу спорить, — авторитетно заметил Хозяин, но он все время украдкой поглядывал на процессию, двигавшуюся к раздевалке.

— Замена: Акстон вместо Старка, — проревел громкоговоритель над трибуной, и дирижер болельщиков организовал салют Старку. Они прокричали в честь Тома все, что полагается, а дирижер и помощники дирижера скакали,

ходили колесом и бросали в воздух свои мегафоны.

Игра возобновилась. Как и предрекал Хозяин, наши начали хорошим пасом. И с первой попытки прошли девять ярдов.

— Первая — на двадцатичетырехъярдовой отметке Технологического, — объявил диктор. И добавил: — Том Старк, неудачно столкнувшийся с защитниками, по-видимому, начал приходить в сознание.

— А? Приходить в сознание? — эхом откликнулся Дафи. Затем он хлопнул Хозяина по плечу (он обожал хлопать на людях Хозяина по плечу, показывая, какие они

приятели) и возмутился: – Да разве они могут оглушить нашего Тома?

Хозяин на секунду помрачнел, но ничего не сказал.

– Если только слегка, – разглагольствовал Крошка. – Этот мальчик им не по зубам.

– Он крепкий парень, – согласился Хозяин. Затем он полностью сосредоточил свое внимание на игре.

Матч был скучным, но, чем скучнее он становился, тем благоговейнее Хозяин наблюдал за матчем и тем старательнее подбадривал игроков. Наши забивали голы с бесперебойностью сосисочной машины,

выбрасывающей сосиски. В игре было столько же спортивного азарта, сколько в пари о том, потечет вода с горы или в гору. Но Хозяин шумно торжествовал каждый раз, когда нашим удавалось пройти три ядра. Он только что успокоился после удачного паса, который вывел наших на шестиярдовую отметку противника, как перед ложей появился человек и, сняв шляпу, окликнул его:

— Губернатор Старк...
губернатор Старк!

— Да? — сказал Хозяин.

— Врач — в раздевалке... он спрашивает: вы не зайдете на минутку?

– Спасибо, – сказал Хозяин, – передайте, что сейчас приду. Вот только этот загонят, и приду. – И он сосредоточил внимание на игре.

– Ерунда, – вмешался Крошка, – ничего там не может быть. Наш Том, он не...

– Замолчи, – приказал Хозяин, – не мешай игру смотреть.

Когда наши приземлили мяч за линией и реализовали попытку. Хозяин повернулся ко мне и сказал:

– Похоже, что можно уходить. Пусть Рафинад отвезет тебя в Капитолий, подожди меня там. Ты мне будешь нужен – и Суинтон, если сможешь его найти. Я возьму такси. Может, догоню тебя. – И,

перепрыгнув через барьер, пошел по полю к раздевалке. Но у скамьи задержался, чтобы перекинуться шуткой с ребятами. Потом зашагал дальше, выдвинув тяжелую голову в нахлобученной шляпе.

Мы, в ложе, не стали дожидаться последнего свистка. Пока не началась свалка, мы выбрались наружу и поехали к центру, Дафи вылез у спортивного клуба, где он боролся с одышкой, сдувая пену с пива и наклоняясь над бильярдными столами, а я доехал до Капитолия.

Еще не вставив ключ в дверь, я мог сказать, что в большой приемной темно. Девушки закрыли лавочку на субботний вечер и разошлись — по

своим свиданиям, кинотеатрам, партиям в бридж, танцам в «Парижской мечте», где саксофоны под голубым светом рыгают тягуче и сладко, словно наевшись сорговой патоки; к шипящим на сковородках бифштексам в придорожном кабаке «Тележное колесо»; болтовне, трескотне, хихиканью, пыхтению, шепоту — ко всему тому, что называется развлечениями.

Я вошел в непривычно тихую приемную, и где-то в душе у меня мелькнула злорадная усмешка при мысли о том, какими способами они будут развлекаться, в каких местах («Тележное колесо»; «Парижская мечта»; «Столичный дворец кино»;

машина на обочине; темный вестибюль) и с какими людьми (самоуверенный петушок-студент, едва скрывающий, что для него это — экскурсия на дно; продавец из аптеки с девятью сотнями на книжке и надеждой на будущий год вступить в дело, подыскать подходящую бабенку и остепениться; средних лет ходок с редкими волосами, приклеенными к большому жилковатому, как агат, черепу, с запахом желудочных капель и мятной жвачки и с большими влажными, зверски наманикюренными руками цвета свиного сала).

Пока я стоял у двери, мысль приняла другое направление. Но

насмешка по-прежнему цеплялась за уголок сознания, словно огонь за угол мокрой бумажки. Только теперь она относилась ко мне самому. Какое я имею право издеваться над ними? — спросил я. Ведь и я развлекался такими же способами. И если не развлекаюсь сегодня, то не потому, что стал выше этого и достиг святости. Может быть, наоборот, я что-то потерял. Добродетель от немощи. Воздержание из-за тошноты. Когда вас лечат от пьянства, вам что-то подмешивают в вино, чтобы вас вывернуло, и, после того как вас вывернет несколько раз, вино становится вам противно. Вы — как собака Павлова, у которой слюна

течет всякий раз, когда она услышит звонок. Только в вашем случае рефлекс работает так, что стоит вам понюхать вино или хотя бы подумать о нем, и желудок у вас переворачивается вверх тормашками. Кто-то, наверно, подмешал этой дряни в мои развлечения, потому что мне не хотелось никаких развлечений. По крайней мере сейчас. И не следовало мне смотреть на этих людей свысока. Чем тут гордиться, если желудок у тебя не принимает развлечений?

Вот я войду к себе в кабинет, посижу минутку-другую за столом, потом включу лампу и займусь своей налоговой арифметикой. В цифрах

было что-то успокаивающее, чистое.

Но когда, раздумывая о цифрах, я продолжил свой путь по большой приемной к кабинету, в одной из комнат на противоположной стороне слышался звук. Света не было ни под одной дверью, но звук слышался опять. Вполне реальный звук. Никому там быть не полагалось — тем более в темноте. Бесшумно ступая по толстому ковру, я пересек комнату и распахнул дверь.

Это была Сэди Берк. Она сидела в кресле, положив на стол согнутые руки, и я понял, что она только сию секунду подняла с них голову. Не то чтобы она плакала. Но она сидела, положив голову на руки, в пустом

учреждении, без света, когда другие люди веселились.

– Привет, Сэди, – сказал я.

Она молча посмотрела на меня. Свет едва брезжил сквозь жалюзи, а Сэди сидела к окну спиной, поэтому я не мог разглядеть выражение ее лица – только блестящие глаза. Потом она спросила:

– Что вам нужно?

– Ничего, – ответил я.

– Тогда можете не задерживаться.

Я подошел поближе, сел на стул и посмотрел на нее.

– Вы слышали, что я сказала? – осведомилась она.

– Слышал.

— Ну так услышите еще раз: можете не задерживаться.

— Мне здесь очень уютно, — ответил я. — Ведь у нас много общего, Сэди. У нас с вами.

— Надеюсь, вы не считаете это комплиментом, — сказала она.

— Нет, это просто научное наблюдение.

— Оно не сделает вас Эйнштейном.

— В том смысле, что неверно, будто у нас много общего, или в том смысле, что это слишком очевидно и не надо быть Эйнштейном, чтобы это понять?

— В том смысле, что мне плевать, — кисло сказала она. И

добавила: — И в том смысле, что нечего вам тут делать.

Я не двинулся с места и продолжал ее разглядывать.

— Субботний вечер, — сказал я. — Почему вы не пойдете куда-нибудь в город повеселиться?

— Провалиться ему, вашему городу. — Она выудила из стола сигарету и закурила. Вспыхнувшая спичка вырвала из темноты ее лицо. Сэди потушила ее, тряхнув рукой, и через выпяченную нижнюю губу выпустила первую затяжку. Прodelав это, она посмотрела на меня и сказала: — И вам тоже. — Затем обвела убийственным взглядом кабинет, словно он был полон каких-то харь,

и, выдохнув серый дым, закончила: — Провалиться им всем. Всему этому заведению. — Ее взгляд снова остановился на мне, и она сказала: — Я ухожу отсюда.

— Отсюда? — удивился я.

— Отсюда, — подтвердила она, обведя комнату широким жестом, отчего сигарета в ее пальцах разгорелась ярче. — Из этого места, из этого города.

— Погодите немного — разбогатеете, — сказал я.

— Я давно могла бы разбогатеть, — ответила она, — копаясь в этом добре. Если бы захотела.

Это верно, она могла. Но не разбогатела. Насколько я мог судить.

— Да, — она раздавила окурок в пепельнице, — я ухожу. — Она с вызовом смотрела мне в глаза, словно ожидая возражений.

Я ничего не сказал, только помотал головой.

— Думаете, не уйду? — допытывалась она.

— Думаю, что нет.

— Ничего, увидите, черт бы вас взял.

— Нет, — сказал я и снова помотал головой, — не уйдете. У вас талант по этой части, как у рыбы по части плавания. А разве рыба откажется плавать?

Она хотела что-то сказать, но передумала. Минуты две мы молча

сидели в темноте.

— Перестаньте на меня глазеть, — потребовала она. — Сказано вам, уходите. Почему вы не идете домой?

— Жду Хозяина, — лаконично объяснил я, — он... — Тут я вспомнил. — А вы не слышали, что случилось?

— Что?

— С Томом Старком.

— Эх, дал бы ему кто-нибудь наконец по мозгам.

— Вот и дали, — сказал я.

— Давно пора.

— Но сегодня вечером они потрудились на совесть. Последнее, что я слышал, — он был без сознания. Хозяина вызвали в раздевалку.

— Что с ним? — спросила она,

подавшись вперед. – Что-нибудь серьезное?

– Он был без сознания. Это все, что мне известно. Скорее всего, его отвезут в больницу.

– Они не сказали, что с ним? И Хозяину не сказали? – допрашивала она, наклонившись ко мне.

– Да вам-то чего волноваться? Говорите, что давно пора дать ему по мозгам, а теперь, когда ему дали, у вас такой вид, будто вы в него влюблены.

– Ха, – сказала она. – Шутка.

Я посмотрел на часы.

– Хозяин задерживается. Надо полагать, что повез грозу защитников в больницу.

Она молча глядела на стол и кусала губу. Потом вдруг встала, подошла к вешалке, надела пальто, насадила на голову шляпу и двинулась к двери. Я повернул ей вслед голову. У двери она остановилась и сказала, крутя ручку:

— Я ухожу и хочу запереть. Не пересест ли вам в свой собственный кабинет?

Я поднялся и вышел в приемную. Сэди, не говоря ни слова, захлопнула дверь, быстрым шагом пересекла приемную и скрылась в коридоре. Я стоял и слушал удаляющийся стук каблуков по мраморному полу.

Когда он затих, я вошел в

кабинет, уселся у окна и стал смотреть, как шарят по крышам пальцы речного тумана.

Однако, когда зазвонил телефон, я уже не любовался романтическим туманным пейзажем вечернего города, а сидел над опрятными успокоительными налоговыми выкладками под лампой с зеленым абажуром. Звонила Сэди. Она сказала, что звонит из университетской больницы и что Том Старк все еще без сознания. Хозяин тоже тут, но она его не видела. Насколько она понимает, я ему зачем-то нужен.

Итак, Сэди отправилась туда. Шнырять в антисептическом

полумраке.

Я отложил опрятные успокоительные налоговые выкладки и вышел на улицу. Съев у ларька бутерброд с чашкой кофе, я поехал в больницу. Хозяина я нашел в приемной, одного. Вид у него был мрачный. Я спросил, как Том; оказалось, что он в рентгеновском кабинете, но пока ничего не ясно. Им занимается доктор Стентон, а еще один специалист вылетает специальным самолетом из Балтимора для консультации.

Потом он сказал:

— Я хочу, чтобы ты съездил за Люси. Надо ее привезти сюда. Там, на ферме, наверно, еще не было

газеты.

Я сказал, что еду, и пошел к двери. Он окликнул меня, я обернулся.

— Джек, ты как-нибудь это... помягче ей скажи. Ну подготовь ее, что ли.

Я сказал, что постараюсь, и ушел. Видно, дела были неважные, если требовалась такая подготовка. И пока я ехал по шоссе навстречу огням машин, устремившихся на субботний вечер в город, я думал, какое это будет веселое занятие — подготавливать Люси. И когда я шел по доисторической цементной дорожке к тускло светящимся окнам белого дома, я думал о том же самом.

А потом я стоял в гостиной, в окружении резного ореха, красного плюша, карточек для стереоскопа, мольберта с портретом малярика, и подготавливал Люси — и в занятии этом не было решительно ничего веселого.

Но она держала себя в руках.

— Боже мой, — сказала она негромко, — Боже мой. — И потом, с белым, окаменевшим лицом: — Одну минуту. Я возьму пальто.

Мы сели в машину и поехали в город. Мы не разговаривали. Только раз я услышал «Боже мой!», но обращалась она не ко мне. Я решил, что она молится: когда-то она ходила в захолустный баптистский колледж,

где на это не жалели времени, и привычка могла сохраниться.

Затем я проводил ее в приемную, где сидел Хозяин, и опять не увидел ничего веселого. Его большая голова медленно перекатилась на высокой спинке кресла в ситцевом чехле, и глаза уставились на нее с цветастого узора как на чужую. Она не подошла к нему, а остановилась посреди комнаты и спросила:

— Как он?

Глаза у Хозяина загорелись, и он вскочил с кресла.

— Все нормально, слышишь? — сказал он. — Все будет нормально. Поняла?

– Как он? – повторила Люси.

– Слышишь, что я тебе говорю, – все будет нормально, – прорычал он.

– Ты говоришь. А что говорят врачи?

Лицо его потемнело от прихлынувшей крови, и он шумно задышал.

– Ты сама этого хотела. Сама сказала. Сама сказала, что пусть лучше умрет у тебя на глазах. Ты хотела этого. – Он шагнул к ней. – Но он тебя надует. Ничего с ним не будет. Слышишь? Он выздоровеет.

– Дай бог, – тихо сказала она.

– Дай! Дай! – крикнул Хозяин. – Ничего у него нет, уже сейчас. Он крепкий парень, он выдержит.

Она ничего не отвечала, только стояла и смотрела на него; кровь отлила от его лица, и он как будто осел под тяжестью собственного мяса. Немного погодя Люси спросила:

– Я могу его увидеть?

Прежде чем ответить, Хозяин отступил к своему креслу и сел. Потом посмотрел на меня.

– Отведи ее в триста пятую палату, – распорядился он. Голос был монотонный, скучный, как будто он отвечал в зале ожидания на дурацкие вопросы проезжего о расписании поездов.

Я отвел ее в палату 305, где под белой простыней лежало

неподвижное тело и из разинутого рта вырывалось тяжелое дыхание. Люси не сразу подошла к кровати. Остановившись в дверях, она смотрела на Тома. Я подумал, что она сейчас свалится, и подставил руку, но Люси твердо держалась на ногах. Потом она подошла к кровати и робко дотронулась до тела. Она опустила ладонь на правую ногу, над щиколоткой, и так замерла, словно надеясь вызвать или сообщить какую-то силу этим прикосновением. Тем временем медсестра, которая стояла по ту сторону кровати, нагнулась и стерла со лба пациента капельки пота. Люси сделала шаг или два к

изголовью кровати и, глядя на сестру, протянула руку. Сестра вложила в нее салфетку, и Люси насухо вытерла ему лоб и виски. Затем вернула салфетку сестре. «Спасибо», – шепнула она. На простом, заурядном, добром лице немолодой сестры появилась профессиональная сочувственная улыбка, словно на секунду внесли свет в уютную запущенную комнату.

Однако Люси смотрела не на ее лицо, а вниз, где шумно дышало лицо с отвисшей челюстью. Там никакого просвета не было. Немного погодя – сестра объяснила, что доктор Стентон ненадолго отлучился и, когда он придет, она даст нам знать, – мы вернулись к Хозяину, который

сидел по-прежнему, прислонившись затылком к цветочному узору.

Люси сидела, потупясь, в другом кресле (ситцевые чехлы, горшки с цветами на подоконнике, акварели в простых деревянных рамках, камин с муляжами чурок придавали приемной уютный, веселый вид) и время от времени поглядывала на Хозяина, а я сидел на кушетке у стены и листал иллюстрированные журналы, из которых выяснилось, что мир за пределами нашего уютного уголка еще не перестал быть миром.

Примерно в половине двенадцатого пришел Адам и сказал, что самолет с балтиморским

доктором, вызванным для консультации, вынужден был сесть из-за низкой облачности и прилетит, как только туман поднимется.

— Туман! — воскликнул Хозяин и встал. — Туман! Позвони ему... позвони и скажи... туман не туман — пусть вылетает.

— Самолет не может лететь в тумане, — объяснил Адам.

— Ты скажи ему... мальчик, который там... этот мальчик... мой сын... — Голос его не затих. Он просто оборвался на таком звуке, как будто с трудом затормаживала тяжелая машина. Хозяин смотрел на Адама с возмущением и глубокой укоризной.

– Доктор Бернхам вылетит при первой же возможности, – холодно ответил Адам. И, выдержав возмущенный, укоризненный взгляд Хозяина, после короткой паузы добавил: – Губернатор, я думаю, что вам лучше прилечь, отдохнуть немного.

– Нет, – ответил Хозяин хрипло, – нет.

– От того, что вы не отдыхаете, пользы нет никакой. Вы только напрасно тратите силы. Вы ничем не можете помочь.

– Помочь, – повторил Хозяин, – помочь, – и сжал перед собой кулаки, словно пытаясь выловить из воздуха какую-то материю, которая

растворилась, стала неосязаемой при его прикосновении.

— Я бы очень вам советовал прилечь, — мягко сказал Адам. Потом он повернулся и вопросительно посмотрел на Люси.

Она помотала головой и тихо ответила:

— Нет, доктор. Я тоже подожду.

Адам наклонил голову в знак согласия и вышел. Я последовал за ним.

— Что там у него? — спросил я, догнав Адама в холле.

— Плохо, — сказал он.

— Очень плохо?

— Он парализован и без сознания, — сказал Адам. —

Конечности совершенно вялые. Рефлексы полностью исчезли. Ты берешь его за руку, а она как студень. Рентген — мы сделали снимок — показывает перелом и смещение пятого и шестого шейных позвонков.

— Где эта чертовщина?

Адам положил два пальца мне на шею, пониже затылка.

— Тут, — сказал он.

— Иначе говоря, у него сломана шея?

— Да.

— Я думал, от этого умирают.

— Обычно умирают, — сказал он.

— А если трещина чуть выше — неизбежно.

— У него есть шансы?

– Да.

– Просто выжить или выздороветь?

– Выздороветь. Почти выздороветь. Но только шансы.

– Что ты предпримешь?

Он посмотрел мне в глаза, и я увидел, что его лицо выглядит примерно так, как будто ему самому свернули шею. Лицо было белое и осунувшееся.

– Это трудное решение, – сказал он. – Мне надо подумать. Сейчас я не хочу об этом говорить.

Он отвернулся, расправил плечи и зашагал по натертому паркету холла, блестящему под мягким светом, как коричневый лед.

Я возвратился в комнату, где среди ситца, акварелей и цветочных горшков сидели друг против друга Люси Старк и Хозяин. Время от времени она отводила взгляд от своих колен, где лежали ее сцепленные руки с налившимися голубыми жилами, и смотрела на мужа. Хозяин ни разу не встретился с ней взглядом, его глаза были устремлены на камин, где холодно тлели искусственные чурки.

В начале второго пришла нянька с известием, что туман рассеялся и доктор Бернхам вылетел. Когда он будет здесь, нам сообщат. Затем она ушла.

Минуты две Хозяин сидел

молча, потом сказал мне:

— Спустишься вниз и позвони на аэродром. Спроси, какая у них погода. Пусть передадут Рафинаду, что я велел ехать сюда быстро. И Мерфи передай, что быстро — это значит быстро. Клянусь богом! Кля... — И божба, обращенная неизвестно к кому, оборвалась на полуслове.

Я прошел по коридору и спустился на второй этаж к телефонным будкам, чтобы передать бессмысленные распоряжения Рафинаду и Мерфи. Рафинад и так будет гнать как полоумный, а Мерфи, лейтенант, командовавший мотоциклетным эскортом, понимал, что вызван не забавы ради. Я

позвонил на аэродром, выяснил, что туман рассеивается – поднялся ветер, – и передал распоряжение для Мерфи.

Когда я вышел из будки, передо мной выросла Сэди. Она, наверно, сидела где-нибудь на скамейке в темном углу вестибюля, потому что, входя, я ее не заметил.

– Что ж вы не гаркнули, не устроили мне настоящего сердечного припадка, не доконали меня окончательно? – сказал я.

– Как там? – спросила она, схватив меня за рукав.

– Плохо. Он сломал шею.

– Он выживет?

– Доктор Стентон сказал, что

может выжить, но улыбки на лице у него я не заметил.

— Что они будут делать? Оперировать?

— Сюда на консультацию вылетела еще одна знаменитость, из университета Джонса Хопкинса. Когда она явится, они подкинут монетку и узнают, что делать.

— А по тону его похоже, что Том выживет? — Сэди все еще цеплялась за мой рукав.

— Да откуда я знаю? — Я вдруг разозлился и выдернул у нее свой рукав.

— Если вы что-нибудь узнаете... ну... когда доктор приедет... вы мне скажете? — смиренно попросила она,

уронив руку.

— Какого дьявола вы не идете домой, а слоняетесь тут, как привидение? Отправляйтесь домой.

Она помотала головой, по-прежнему смиренно.

— Вы же хотели, чтобы он получил по мозгам. А теперь торчите тут и мучаетесь бессонницей. Отправляйтесь домой.

Она помотала головой.

— Я подожду.

— Вы размазня, — заявил я.

— Скажите мне, когда что-нибудь выяснится.

На это я вообще не ответил и, поднявшись наверх, присоединился к семейству Старков. Настроение там

мало изменилось.

Вскоре пришла сестра и сообщила, что самолет ждут на аэродроме через тридцать – сорок минут. Позже она пришла еще раз и сказала, что меня просят к телефону.

– Кто? – удивился я.

– Дама, – ответила сестра, – она не хотела назваться.

Я сообразил, кто это может быть, и, когда я взял у дежурной трубку, оказалось, что сообразил правильно. Это была Анна Стентон. Она больше не могла терпеть. Она не хватала меня за рукав, потому что находилась в нескольких километрах от меня, в своей квартире, но голос ее делал примерно то же самое. Я

рассказал ей все, что знал, и по несколько раз ответил на одни и те же вопросы. Она поблагодарила меня и извинилась за беспокойство. Ей необходимо было знать, сказала она. Она весь вечер звонила мне в гостиницу, а потом позвонила сюда, в больницу. Ей больше не у кого спросить. Когда она позвонила в больницу и спросила о состоянии Тома, ей ответили уклончиво. «Так что понимаешь, — сказала она, — понимаешь, пришлось вызвать тебя».

Я сказал, что прекрасно понимаю, повесил трубку и пошел обратно. В приемной все было по-прежнему. И оставалось по-прежнему почти до четырех часов

утра, когда Хозяин, который сидел в кресле, уставясь на искусственные чурки, вдруг поднял голову, как задремавшая на коврике собака при звуке, слышном ей одной. Только Хозяин не дремал. Он ждал этого звука. Секунду он напряженно прислушивался, потом вскочил. «Едут! — закричал он каким-то скрипучим голосом. — Едут!»

Тут и я наконец услышал далекий вопль сирены мотоциклетного эскорта.

Вскоре вошла сестра и объявила, что доктор Бернхам встретился с доктором Стентоном. Скоро ли они дадут заключение, она не могла сказать.

После первого звука сирены Хозяин больше не садился. Стоя посреди комнаты, он настороженно прислушивался, как воет и затихает, снова воет и умолкает сирена, ждал, не раздадутся ли в коридоре шаги. Он начал расхаживать по комнате взад-вперед — к окну, где он отдергивал ситцевую занавеску, чтобы посмотреть на черную лужайку и туман за лужайкой, в котором, должно быть, тускло светился одинокий уличный фонарь; а потом назад, к камину, где он поворачивался на пятках, сбивая ковер. Руки он сцепил за спиной, а голова со свесившимся чубом была угрюмо опущена и покачивалась из

стороны в сторону.

Я опять листал иллюстрированный журнал, но тяжелые шаги, нервные и все же размеренные, тревожили какой-то уголок моей памяти. Я почувствовал раздражение, как бывает, когда воспоминание упорно ускользает от вас и не желает всплыть на поверхность. Но скоро я понял, что стараюсь вспомнить: тяжелое топанье — взад и вперед, взад и вперед — за дощатой перегородкой в захудалой гостинице. Я вспомнил.

Он все еще расхаживал, когда чья-то рука нажала снаружи на ручку двери. При этом звуке, при первом щелчке замка он повернул голову и

замер, как пойнтер в стойке.

Вошел Адам – прямо в тиски его взгляда.

Хозяин облизнул нижнюю губу, но удержался от вопроса.

Адам закрыл за собой дверь и сделал несколько шагов.

– Доктор Бернхам осмотрел пациента, – сказал он, – и изучил рентгеновские снимки. Его диагноз и мой полностью совпадают. Каков диагноз – вы знаете. – Он замолчал, словно ожидая ответа.

Но ответа не было – даже признаков ответа, – и взгляд Хозяина не отпускал его ни на миг.

– Действовать можно двояко, – продолжал Адам. – Есть

консервативный путь и есть радикальный. Консервативное лечение означает, что мы положим пациента на вытяжение, затем в гипсовый корсет и будем ждать того или иного разрешения ситуации. Радикальный путь – немедленно прибегнуть к оперативному вмешательству. Я хочу подчеркнуть, что это весьма сложный выбор, требующий специальных знаний. Поэтому я хочу, чтобы вы уяснили положение настолько полно, насколько это возможно. – Он снова замолчал, но никакого ответа не было, и взгляд Хозяина не выпускал его.

– Как вы знаете, – снова начал

Адам голосом, в котором слышались лекторские нотки, — боковой снимок показал перелом и смещение пятого и шестого шейных позвонков. Но рентген не показывает нам состояние мягкой ткани. Поэтому в настоящий момент нам не известно состояние самого спинного мозга. Мы можем выяснить это только в процессе операции. Если при операции обнаружится, что спинной мозг поврежден, пациент останется парализованным на всю жизнь, так как мозговые клетки не восстанавливаются. Но возможно, что мозг только сдавлен сместившимся позвонком. В этом случае мы можем путем

ламинэктомии ликвидировать сдавление. Мы не в состоянии предсказать, насколько эффективной окажется операция. Возможно, мы восстановим часть функции, а возможно, почти все функции. Конечно, не следует ожидать слишком многого. Некоторые мышечные группы, вероятно, останутся парализованными. Вы понимаете?

На этот раз Адам, кажется, и не ожидал ответа — он сделал лишь секундную паузу.

— Одно соображение я хочу отметить особенно. Операция проводится в непосредственной близости к мозгу. Не исключен

смертельный исход. Кроме того, оперируя, мы рискуем внести инфекцию. Доктор Бернхам и я подробно обсудили вопрос и пришли к согласию. Я лично беру на себя ответственность рекомендовать операцию. Но вы должны понять, что это радикальная мера. Это крайняя мера. Это отчаянный риск.

Адам умолк, в тишине раза два или три шумно вдохнул и выдохнул Хозяин. Наконец он хрипло произнес:

– Делайте.

Он выбрал крайнюю, отчаянную меру, но это меня не удивляло.

Адам вопросительно смотрел на Люси Старк, как бы желая получить

и ее согласие. Она отвела взгляд от Адама и повернулась к мужу, который опять стоял у окна и глядел на черную лужайку. Посмотрев на его ссутуленную спину, она обернулась к Адаму. Потом, потирая на коленях руки, медленно кивнула и прошептала:

— Да... да.

— Мы приступим немедленно, — сказал Адам. — Я распорядился все подготовить. Необходимости оперировать немедленно нет, но, на мой взгляд, так будет лучше.

— Делайте, — слышался скрипучий голос у окна. Но Хозяин не обернулся даже тогда, когда за Адамом закрылась дверь.

Я снова взялся за журнал, но переворачивал страницы с величайшей осторожностью, как будто не имел права нарушить мертвую тишину, установившуюся в комнате. Тишина длилась долго, а я все перелистывал картинки с женщинами в купальниках, рыбаками, роскошными пейзажами, шеренгами стройных здоровых юношей, приветственно поднимающих руки в разного рода рубашках, и детективные истории в шести фотографиях с разгадкой на следующей странице. Но картинки не занимали моего внимания, все они были одинаковы.

Потом Люси Старк поднялась с

кресла. Она подошла к окну, в которое смотрел Хозяин. Она дотронулась до его руки. Он отодвинулся, не оглянувшись. Но она взяла его за руку, потянула, и после короткого сопротивления он пошел за ней. Она подвела его к креслу в ситцевом чехле.

— Сядь, Вилли, — сказала она очень тихо, — сядь, отдохни.

Он опустился в кресло. Она вернулась на свое место.

Теперь он смотрел на нее, а не на искусственные чурки. Наконец он произнес:

— Он выздоровеет.

— Дай бог, — отозвалась она.

Минуты две или три он молчал

и смотрел на нее. Потом с силой повторил:

– Выздоровеет. Обязательно.

– Дай бог, – сказала она. Она смотрела ему в глаза, пока он не отвел взгляд.

Мне надоело сидеть в приемной. Я встал и пошел по коридору к дежурной по этажу.

– Нельзя ли тут раздобыть кофе с бутербродами для губернатора и его жены? – спросил я.

Дежурная обещала прислать еду, но я попросил, чтобы ее оставили здесь на столе, – я захвачу ее на обратном пути. Затем я спустился в вестибюль. Сэди была еще там, пряталась в темном углу. Я рассказал

ей об операции и ушел. Я слонялся у стола дежурной, пока не появились бутерброды, после чего вернулся с подносом в приемную.

Кофе и закуска, однако, мало повлияли на атмосферу в приемной. Я поставил перед Люси столик с чашкой кофе и бутербродом. Она поблагодарила меня, отломив от бутерброда кусочек и дважды или трижды поднесла его ко рту, не причинив ему никакого ущерба. Но немного кофе выпила. Я пододвинул кофе и еду Хозяину. Он рассеянно посмотрел на меня и сказал «спасибо». Но он даже виду не сделал, что ест. Несколько минут он держал чашку в руке, но не отпил ни

глотка. Просто держал.

Я съел бутерброд и выпил кофе. Я наливал вторую чашку, когда Хозяин опустил свою на стол, расплескав кофе.

– Люси, – сказал он. – Люси!

– Да, – откликнулась она.

– Знаешь... знаешь, что я сделаю? – Он подался вперед и продолжал, не дожидаясь ответа. – Я назову новую больницу его именем. Тома. Больница и медицинский центр имени Тома Старка. Она будет носить его имя и...

Она медленно покачала головой, и Хозяин умолк.

– Все это не имеет значения, – сказала она. – Вилли, неужели ты не

понимаешь? Вырезать чье-то имя на камне. Напечатать в газете. Вилли, он был моим маленьким, нашим мальчиком, а все это ничего не значит, совсем ничего, неужели ты не понимаешь?

Он откинулся на спинку, и снова в комнате воцарилась тишина. Тишина была в полном разгаре, когда я вернулся, отдав поднос с несъеденными бутербродами дежурной. Это было предлогом выйти. Вернулся я в двадцать минут шестого.

В шесть пришел Адам. Лицо у него было серое и застывшее. Хозяин поднялся и стоял глядя на Адама, но ни он, ни Люси не проронили ни

звука.

Адам сказал:

– Он будет жить.

– Слава богу, – сказала Люси, но

Хозяин по-прежнему смотрел на Адама.

Адам выдержал его взгляд.

Потом он сказал:

– Спинной мозг поврежден.

Я слышала шумный вздох Люси и, обернувшись, увидел, что голова ее упала на грудь.

Хозяин не шевелился. Потом он поднял руки с растопыренными пальцами, словно собираясь что-то поймать.

– Нет! – сказал он. – Нет!

– Поврежден, – повторил Адам.

– Мне жаль, губернатор.

Он вышел из комнаты.

Хозяин смотрел на закрытую дверь, потом медленно опустился в кресло. Он продолжал смотреть на дверь, глаза его были расширены, на лбу собирались капли пота. Он резко распрямился, и я услышал стон. Нечленораздельный звук, полный боли, вырвавшийся прямо из темных, животных глубин большого тела.

– О-о! – простонал он. И еще раз: – О-о!

Люси Старк смотрела на него. Он не сводил глаз с двери. И опять слышался стон:

– О-о!

Она поднялась с кресла и

подошла к нему. Она ничего не сказала. Она просто стала рядом и положила руку ему на плечо.

Стон раздался снова, но уже в последний раз. Хозяин откинулся на спинку, глядя на дверь и тяжело дыша. Так прошло, наверно, три или четыре минуты. Затем Люси сказала:

— Вилли.

Он впервые поднял на нее глаза.

— Вилли, — сказала она, — пора идти.

Он встал, я взял с кушетки его и ее пальто. Я подал пальто Люси, а она помогла одеться ему. Я не вмешивался.

Они двинулись к двери. Хозяин держался прямо и смотрел перед

собой, Люси поддерживала его под локоть, и, увидев их, вы бы подумали, что она умело и тактично ведет слепца. Я открыл им дверь, а потом пошел вперед, чтобы предупредить Рафинада.

Хозяин сел в машину, а за ним — Люси. Это слегка меня удивило; но я не огорчился, что повезет ее домой Рафинад. Несмотря на кофе, я валился с ног.

Я пошел обратно и поднялся в кабинет Адама. Он уже собрался уходить.

— Так что с ним? — спросил я.

— То, что я сказал. Спинной мозг поврежден. Это означает паралич. Прогноз такой: первое время

конечности будут совершенно вялыми. Позже мышечный тонус восстановится. Но руки и ноги останутся парализованными. Естественные отправления будут совершаться бесконтрольно, как у младенца. На коже будут образовываться язвы. Сопrotивляемость инфекциям упадет. Дыхательные функции тоже будут нарушены. Вероятна пневмония. Как правило, именно от нее наступает конец, раньше или позже.

— Судя по твоим словам, чем раньше, тем лучше, — сказал я и подумал о Люси Старк.

— Не знаю, — устало отозвался

Адам. Он едва стоял на ногах. Он надел пальто и взял свой саквояж. — Подбросить тебя?

— Спасибо, я — на своей, — сказал я. Тут мой взгляд упал на телефон на его столе. — Но если можно, я позвоню. Дверь я захлопну.

— Хорошо, — сказал Адам, направляясь к двери. Потом добавил: — Спокойной ночи, — и вышел.

Я набрал город, соединился с Анной и сообщил ей новости. Она сказала, что это ужасно. «Это ужасно», — три или четыре раза повторил ее слабый, убитый голос. Она поблагодарила меня и повесила трубку.

Я вышел из кабинета.

Оставалось еще одно дело. Я спустился в вестибюль. Сэди была еще там. Я сообщил ей. Она сказала, что дело плохо. Я согласился:

— Худо придется Хозяину, — сказала она.

— Люси придется хуже, — сказал я, — маленького-то ей нянчить. Не забывайте об этом, когда будете выражать свое даровое сочувствие.

То ли она слишком устала, то ли еще что, но она даже не разозлилась. Я предложил подвезти ее в город. Она приехала на своей машине, сказала она.

— Ну, сейчас лягу в постель и усну навсегда, — сказал я и оставил ее одну в вестибюле.

Когда я вышел к машине, в небе отстаивался синий рассвет.

Несчастье с Томом случилось рано вечером в субботу. Операцию сделали в воскресенье перед рассветом. В понедельник наступила развязка. Понедельник был канун дня благодарения.

В этот день постепенное нагромождение событий разрешилось стремительным финалом, подобно тому, как груз в трюме елозит, расшатывает крепления и, вдруг сорвавшись, проламывает борт. Сначала я улавливал в событиях того дня какую-то логику, правда, лишь

мельком, но по мере того, как они накатывались перед развязкой, я все меньше и меньше понимал смысл происходящего.

Утеря логики, чувство, что событиями и людьми движут импульсы, мне не понятные, придавали всему происходящему призрачность сна. И только после развязки, после того, как все было кончено, возвратилось ко мне ощущение реальности — а по сути дела, много позже, когда мне удалось собрать части головоломки, составить из них связную картину. И это естественно, ибо, как мы знаем, реальность не есть функция события самого по себе, но отношение этого

события к прошлым событиям и будущим. Мы приходим к парадоксу: реальность события, которое само по себе нереально, определяется другими событиями, которые тоже сами по себе нереальны. Но он только подтверждает то, что должно подтверждаться: что направление — все. И живем мы только тогда, когда понимаем этот принцип, ибо от него зависит наше личное тождество.

В понедельник я пришел на работу рано. Все воскресенье я проспал, встал, только чтобы успеть к обеду, посмотрел в кино глупую картину и в половине одиннадцатого снова был в постели. Я пришел на работу с чувством душевной

свежести, какая бывает только после долгого сна. Я зашел в кабинет Хозяина. Его еще не было. Пока я стоял там, появилась одна из машинисток с подносом, заваленным телеграммами.

— Все с соболезнаваниями, насчет сына, — сказала она. — Несут и несут.

— Весь день будут нести, — сказал я.

Иначе и быть не могло. Каждый неоперившийся политик, каждый швейцар из провинциального муниципалитета, каждый честолюбивый лизоблюд, который не прочел об этом в воскресной газете, читал в сегодняшней и посылал

телеграмму. Послать такую телеграмму — все равно что помолиться. Неизвестно, будет ли от молитвы польза, но вреда не будет наверняка. Эти телеграммы были частью системы. Как свадебный подарок дочке политика или цветы на похороны полицейского. Частью системы было и то, что цветы — раз уж мы заговорили об этом предмете — поставлял магазин Антонио Джиусто. Девушка в магазине вела в специальной подшивке запись всех заказов по случаю похорон полицейского, а после похорон Тони брал подшивку и сверял фамилии навеки осиротевших друзей со своим генеральным списком, и если ваша

фамилия есть в генеральном списке, пусть только ее не окажется в подшивке «Похороны Мерфи», причем речь идет не о каком-нибудь букетике душистого горошка. Тони был хорошим приятелем Крошки Дафи.

Каковой и появился в кабинете, едва только выскочила, вильнув юбкой, машинистка. Когда он вплыл, на лице его было профессиональное участие и уныние похоронного агента, но, уяснив, что Хозяина нет, он оживился, блеснул зубами и спросил:

— Как делишки?

Я ответил, что делишки ничего.

— Вы видели Хозяина? — спросил

ОН.

Я помотал головой.

– Ц-ц-ц, – сказал он, и на лице его волшебным образом появилось участие и уныние. – Просто беда. То самое, что я всегда называю трагедией. Такой парень. Хороший парень, прямой, честный, без всяких. Трагедия, другого слова не подберешь.

– Нечего на мне практиковаться, – сказал я.

– Представляю, каково сейчас Хозяину.

– Поберегите свой пыл до его прихода.

– А где он?

– Не знаю.

– Я пытался вчера его поймать. Но в резиденции его не было. Сказали, что не знают, где он, – дома он не был. Он заезжал в больницу, но я его там не застал. В отеле его тоже не было.

– Вижу, вы искали добросовестно, – сказал я.

– Да, – согласился Крошка, – я хотел ему сказать, как ему сочувствуют наши ребята.

Тут вошел Калвин Сперлинг, председатель сельскохозяйственной комиссии, и еще несколько мальчиков. У них на лицах тоже был креп, пока они не увидели, что Хозяина нет. Тогда они почувствовали себя свободнее и

языки у них развязались.

— Может, он не придет? — предположил Сперлинг.

— Придет, — возразил Дафи. — Хозяина это не сломит. Он человек с характером.

Явилась еще парочка ребят, а за ними — Мориси, генеральный прокурор, преемник Хью Милера. Сигарный дым крепчал.

Один раз в дверях показалась Сэди и, положив руку на косяк, окинула взглядом собрание.

— Сэди, привет, — сказал один из мальчиков.

Она не ответила. Еще несколько мгновений она оглядывала комнату, потом сказала: «Господи боже мой»,

— и скрылась. Я услышал, как хлопнула дверь ее кабинета.

Обогнув стол Хозяина, я подошел к окну и выглянул в парк. Ночью шел дождь, и теперь трава, листья вечно-зеленых дубов и даже мох на деревьях чуть-чуть блестели под бледным солнцем, а в мокром бетоне кривых въездов и дорожек стыли неясные, почти неразличимые отражения. Весь мир — голые сучья других деревьев, уже уронивших листву, крыши домов и самое небо — выглядел бледным, отмытым, просветленным, как лицо человека, который долго болел, а теперь почувствовал себя лучше и надеется выздороветь.

Нельзя сказать, что именно такой вид был у Хозяина, когда он вошел, но это дает приблизительное представление. Он был не бледным, но бледнее обычного, и кожа на челюсти как будто слегка обвисла. На лице виднелись бритвенные порезы. Под глазами залегли серые тени, похожие на заживающие кровоподтеки. Но глаза были ясные.

Он прошел по толстому ковру бесшумно и какое-то время стоял в дверях, никем не замеченный. Болтовня не стихла — ее будто выключили на полуслове. Потом была короткая беззвучная возня — напяливались похоронные личины, отложенные в сторонку. Когда они

были нацеплены — немного криво из-за спешки, — ребята окружили Хозяина и стали жать ему руку. Они сказали ему, что они хотели ему сказать, как они переживают. «Вы знаете, как переживают все наши ребята», — сказали они. Он сказал, да, он знает, — очень тихо. Он сказал, да, да, спасибо.

Затем Хозяин прошел за стол и ребята расступились перед ним, как вода перед форштевнем корабля, когда он отваливает от причала и винт делает первые обороты. Он стоял у стола и перебирал телеграммы, просматривая их и роняя на поднос.

— Хозяин, — сказал кто-то, —

Хозяин... эти телеграммы... они показывают... они показывают, как к вам относится народ.

Он не ответил.

Тут вошла девушка с новой кипой телеграмм. Она поставила поднос на стол перед Хозяином. Он посмотрел на нее долгим взглядом. Потом положил руку на грудку желтых бумажек, подтолкнул ее и произнес спокойно и деловито: «Забери это дерьмо».

Девушка забрала дерьмо.

Оживление в комнате потухло. Ребята побрели из кабинета к своим вращающимся креслам, которые не полировались с самого утра. Когда Дафи двинулся к двери, Хозяин

сказал:

— Постой, Крошка, есть разговор.

Крошка вернулся. Я тоже собрался уходить, но Хозяин меня окликнул.

— И ты послушай, — сказал он.

Я сел в одно из кресел у стены. Крошка разместился в зеленом кожаном кресле сбоку от стола, закинул ногу на ногу — с большой угрозой для ткани, обтягивавшей его ягодицы, — вставил в свой длинный мундштук сигарету, зажег ее и выразил внимание.

Хозяин не торопился. Он раздумывал не меньше минуты, прежде чем поднял глаза на Крошку

Дафи. Но дальше все пошло быстро.

— Контракта с Ларсоном не будет, — сказал он.

Когда дыхание вернулось.

Крошка выдавил:

— Хозяин... Хозяин... вы не можете, Хозяин.

— Нет, могу, — ответил Хозяин, не повышая голоса.

— Как же это, Хозяин? Все уже устроено.

— Еще не поздно все расстроить, — сказал Хозяин. — Еще не поздно.

— Хозяин... Хозяин... — причитал Крошка, и пепел сигареты сыпался на его белую крахмальную грудь, — вы не можете отказаться от своего слова. Ларсон хороший

человек, как же вы откажетесь? Вы же не будете обманывать, Хозяин.

– Я могу отказаться от своего слова, – сказал Хозяин.

– Вы не можете... вы не можете от всего отказаться. Теперь поздно. Теперь нельзя отказываться.

Хозяин резко поднялся с кресла. Он пристально посмотрел на Крошку и сказал:

– Я могу отказаться от чертовой уймы вещей.

В наступившей тишине Хозяин обошел вокруг стола.

– Разговор окончен, – произнес он тихо и хрипло. – Можешь передать Ларсону, пусть хоть на голове ходит.

Крошка встал. Несколько раз он

открыл рот и облизнул губы, так что казалось, он заговорит, но каждый раз посеревшее лицо опять наползало на золотые протезы.

Хозяин подошел к нему.

– Скажи это Ларсону. Ларсон – твой приятель, ты и скажи ему. – Твердым указательным пальцем он ткнул Крошку в грудь и повторил: – Ларсон – твой приятель, и, когда будешь говорить с ним, можешь положить ему руку на плечо.

Хозяин улыбнулся. Я не ожидал этой улыбки. Но улыбка была холодная, недобрая. Она печатью скрепляла все, что было сказано.

Крошка покинул кабинет. Он не потрудился закрыть за собой дверь и

продолжал идти без остановки по длинному зеленому ковру, постепенно уменьшаясь вдали. Наконец он скрылся.

Хозяин не наблюдал за его уходом. Он хмуро смотрел на голую крышку стола. Через минуту он сказал мне: «Закрой дверь». Я встал и закрыл ее.

Я не сел, а остался стоять между столом и дверью, дожидаясь, когда он скажет то, что собирался сказать. Но он не сказал. Он только посмотрел на меня, посмотрел открыто и вопросительно, и произнес:

– Ну?

Не знаю, что он хотел – или

ожидал – от меня услышать. Позже я не раз об этом задумывался. Тут-то и было самое время сказать то, что я должен был бы сказать Вилли Старку, который был дядей Вилли из деревни и стал Хозяином. Но я не сказал этого. Я пожал плечами и сказал:

– Что ж, от лишнего пинка Крошка не умрет. Он для этого создан. Но Ларсон не тот мальчик.

Хозяин продолжал смотреть на меня, и опять казалось, что он хочет заговорить, но вопросительное выражение постепенно стерлось с его лица. Наконец он произнес:

– Надо же когда-то начать.

– Что начать?

Он еще раз внимательно на меня посмотрел и ответил:

— Неважно.

Я пошел к себе. Так начался этот день. Я занялся итоговым обзором для законопроекта о налогах. Суинтон, который проводил его через сенат, хотел получить материалы в субботу, но я не сделал урока. Мы должны были встретиться с Хозяином и Суинтоном в субботу вечером, но у нас не получилось. Позже утром я наткнулся на какую-то путаницу в цифрах. Я вышел в приемную и направился к кабинету Хозяина. Машинистка сказала мне, что он в кабинете Сэди Берк. Ее дверь была закрыта. Я постоял в

приемной несколько минут, дожидаясь Хозяина, но он все не выходил. Один раз за дверью слышался громкий голос, но быстро затих.

Звонок телефона в моем кабинете заставил меня вернуться. Это был Суинтон, он спрашивал, какого черта я не несу материалы. Тогда я собрал бумаги и понес Суинтону. Я провел с ним минут сорок. Когда я вернулся к себе, Хозяина уже не было.

— Он поехал в больницу, — сказала машинистка. — Будет во второй половине дня.

Я оглянулся на дверь Сэди, подумав, что, может быть, она

разрешил наши с Суинтоном
затруднения. Машинистка
перехватила мой взгляд.

— Мисс Берк тоже ушла, —
сказала она.

— Куда ушла?

— Не знаю, — ответила она, — но
могу сказать одно, мистер Берден:
куда бы она ни ушла, она уже на
месте, судя по тому, как она отсюда
выскочила. — Она улыбнулась
многозначительной нахальной
улыбочкой, которой прислуга
намекает вам, что знает куда больше,
чем говорит. Она подняла круглую
белую ручку с малиновыми ногтями,
чтобы пригладить на затылке прядь
действительно прекрасных

золотистых волос. Поправив прическу жестом, приподнявшим ее грудь на обозрение мистеру Бердену, она добавила: — Не знаю, куда она пошла, но, если судить по выражению ее лица, вряд ли ей там обрадуются. — При этих словах она нежно улыбнулась, показывая, как счастливы были бы там, если бы вместо Сэди пришла она.

Я вернулся в кабинет и до второго завтрака написал несколько писем. Я съел бутерброд в полуподвальной закусочной Капитолия, где завтракать было все равно что в веселой, чистенькой, отделанной мрамором мертвецкой. Я столкнулся с Суинтоном и, поболтав

с ним, отправился по его предложению в сенат, который снова собрался после завтрака. Часа в четыре ко мне подошел служитель и вручил листок бумаги. Это была записка сверху: «Звонила мисс Стентон и просила вас немедленно приехать к ней на квартиру. Срочное дело».

Я скомкал записку, бросил на пол и поднялся к себе за пальто и шляпой. В приемной я попросил позвонить мисс Стентон, что я выехал. Выйдя на улицу, я обнаружил, что начался дождь. Солнце, такое чистое и бледное утром, спряталось.

Анна открыла на мой стук так

быстро, как будто дожидалась за дверью. Но когда дверь распахнулась, я, наверно, не узнал бы ее лица, если не был уверен, что это Анна Стентон. Лицо было белое, измученное, полное отчаяния, но глаза – сухие, хотя она явно плакала. И можно было догадаться, как она плакала – редкими, трудными слезами и очень недолго.

Она схватилась за мою руку обеими руками, словно боясь упасть.

– Джек! – воскликнула она. – Джек!

– Да что такое? – спросил я и толчком захлопнул за собой дверь.

– Ты должен найти его... найти его... найти и объяснить... – Она

дрожала, точно в ознобе.

— Кого найти?

— Объяснить ему, как это было...

ведь это было не так... не так, как они сказали...

— Бога ради, кто сказал, что сказал?

— ...сказали, что это из-за меня... из-за того, что я с ним... из-за...

— Кто сказал?

— ...найди его, Джек... найди и объясни... приведи его ко мне...

Я крепко схватил ее за плечи и встряхнул.

— Стой! — сказал я. — Возьми себя в руки. Перестань бормотать, возьми себя в руки на минуту.

Она молчала, подняв ко мне бледное лицо и вздрагивая у меня в руках. Дышала она часто, отрывисто, сухо.

Через минуту я сказал:

— А теперь говори, кого я должен искать?

— Адама, — ответила она. — Адама.

— Зачем его искать? Что случилось?

— Он пришел сюда и сказал, что все это было из-за меня. Из-за того, что я с ним...

— С кем — с ним?

— Из-за меня его назначили директором. Он поверил. Из-за того, что я сделала. Он поверил. И он

сказал... ой, Джек, он сказал...

— Что сказал?

— Он сказал, что не будет сутенером у своей сестры-проститутки... Так и сказал... так и сказал, Джек... Джек, это мне... Я хотела объяснить ему... объяснить, как это было... а он меня оттолкнул, и я упала на пол, и он убежал... он убежал, Джек, ты должен его найти... найти его и...

Она опять забормотала. Я сильно встряхнул ее.

— Прекрати, — крикнул я. — Прекрати, или я из тебя зубы вытрясу.

Когда она замолчала и совсем обмякла у меня в руках, я сказал:

— Теперь начни сначала,

медленно, и рассказывай, что случилось. — Я подвел ее к креслу и с силой усадил. — Ну, рассказывай, только спокойнее.

Она смотрела на меня снизу, словно боясь заговорить.

— Рассказывай.

— Он пришел сюда, — начала она. — Около трех. Как только он вошел, я поняла, что случилось что-то ужасное... Со мной уже произошла сегодня беда, но тут было другое... Он схватил меня за руку, посмотрел в глаза, но ничего не сказал. Я, кажется, все время спрашивала его, что случилось, а он все крепче и крепче сжимал мою руку.

Она подняла рукав и показала

синие отметины на левой руке, под локтем.

— Я все спрашивала, что случилось, и вдруг он говорит: «Случилось, случилось, сама знаешь, что случилось». Потом он сказал, что ему позвонили по телефону, и кто-то... Мужчина... какой-то мужчина... позвонил и рассказал про меня... про меня и...

Она не могла закончить фразу.

— Про тебя и губернатора Старка, — договорил я за нее.

Она кивнула.

— Это было ужасно, — прошептала она, но не мне, а как бы в забытии. — Это было ужасно.

— Прекрати, давай дальше, —

приказал я и встряхнул ее.

Она очнулась и посмотрела на меня.

— Он рассказал ему про меня... и будто только из-за меня его назначили директором, и будто губернатор хочет теперь его снять... потому что он сделал его сына калекой, и хочет от меня отделаться... прогнать меня... этот человек так и сказал по телефону... отделаться... за то, что Адам искалечил его сына... и Адам, когда это услышал, сразу побежал сюда... поверил ему... поверил, что я...

— Ну, — свирепо перебил я, — насчет тебя ему, кажется, не соврали?

— Он должен был у меня

спросить, — сказала она и поднесла пальцы к вискам, — он должен был спросить, а не верить на слово неизвестному человеку.

— Он ведь не идиот, — сказал я, — и не так уж трудно было в это поверить. Скажи спасибо, что он раньше не догадался, если все...

Ее пальцы больно сжали мою руку.

— Тсс, тсс, — сказала она, — не говори так... все было не так... и не так, как говорит Адам... ох, он говорил ужасные вещи... ты знаешь, как он меня называл... он сказал, если кругом одна грязь, все равно человеку не обязательно быть... я пыталась ему объяснить, как было на

самом деле... совсем не так, как он думает... А он толкнул меня... так сильно, что я упала, и сказал, что не будет сутенером у своей сестры-проститутки и никто не посмеет его так называть... И выбежал... Ты должен его найти. Найди его и объясни. Джек, объясни ему.

— Что объяснить?

— Что все было не так. Объясни ему. Ты ведь знаешь, почему я это сделала, ты знаешь, что было, Джек... — Она вцепилась в мой рукав. — Все было не так. Не так противно. Я старалась не быть дрянью. Я ведь не была, правда? Правда, Джек? Ну скажи.

Я смотрел на нее сверху.

– Да, – ответил я, – ты не была дрянью.

– Так случилось. Я не виновата. А он ушел.

– Я его найду, – пообещал я и высвободил рукав, собираясь уйти.

– Это бесполезно.

– Он прислушается к трезвому голосу.

– Он... я не об Адаме. Я о...

– Старке?

Она кивнула.

– Да. Я поехала в то место... за городом, где мы встречались. Он вызвал меня сегодня. Я поехала. Он сказал, что возвращается к жене.

– Так, – сказал я.

Наконец я стряхнул оцепенение

и пошел к двери.

– Я привезу Адама.

– Привези. Пожалуйста, Джек.

Больше никого у меня не осталось.

Выйдя на улицу, под дождь, я подумал, что еще у нее остался Джек Берден. Хотя бы как мальчик на побегушках. Но подумал я об этом без горечи, как о чем-то постороннем.

Искать когонибудь в городе, если нельзя обратиться в полицию, — целое предприятие. Я часто этим занимался в бытность мою репортером — тут требуется время и удача. Но первое правило — это начинать с самого очевидного. И я отправился к Адаму домой. Увидев

перед домом его автомобиль, я решил, что попал в яблочко. Я подъехал к тротуару и, заметив, что дверца водителя в его машине открыта — ее мог сорвать проходящий грузовик, а сиденье мокло под дождем, — захлопнул ее и вошел в дом.

Я постучался. Ответа не было. Но это ничего не значило. Адам мог быть дома, но не хотел никого видеть. Я нажал ручку. Дверь была заперта. Я спустился вниз, вытащил негра-швейцара и рассказал ему какую-то басню про вещи, которые я будто бы забыл у Адама. Он часто видел нас вместе и поэтому впустил меня. Я прошел по квартире, Адама

не было. В глаза мне бросился телефон. Я позвонил к нему в приемную, потом в больницу, потом на медицинский факультет, потом на коммутатор, где врачи оставляют свои телефоны, когда отлучаются. Все напрасно. Об Адаме никто ничего не знал. Вернее, у каждого было более или менее толковое предположение, где он, — толку от этих предположений не было. Теперь не оставалось ничего другого, как прочесывать весь город.

Я вышел на улицу. Странно, что его машина стояла у дома. Он бросил ее. Куда же его понесло — в дождь, в это время дня? Вернее, ночи — потому что уже смеркалось.

Я подумал о барах. Так уж принято, что после сильного потрясения мужчина идет в бар, ставит ногу на перекладину, заказывает пять виски чистых, опрокидывает их одно за одним, устремив бессмысленный взор на белое искаженное лицо в зеркале напротив, после чего заводит с барменом сардоническую беседу о Жизни. Но я не представлял себе Адама за таким развлечением. Тем не менее бары я обошел. Точнее, я обошел многие из них. Жизни не хватит обойти все бары в нашем городе. Я начал со Слейда, Адама не нашел, попросил Слейда как-нибудь задержать доктора Стентона, если он

появится, и пустился по другим заведениям из храма, стеклянной плитки, цветных лампочек, старинного, источенного жучком дуба, гравюр со сценами охоты, комических фресок и джазовых трио. Около половины восьмого я снова позвонил в приемную Адама, а затем – в больницу. Ни там, ни тут его не было. Когда мне ответила больница, я сказал, что звоню по поручению губернатора Старка, сын которого лечится у доктора Стентона, и, если им не трудно, нельзя ли выяснить, где он находится. Дежурная вернулась с ответом, что доктора Стентона ждали в начале седьмого – он назначил встречу другому врачу,

собираясь просмотреть с ним рентгеновские снимки, но не пришел. Нужно ли что-нибудь ему передать, когда он появится? Я сказал: «Да, пожалуйста, пусть немедленно свяжется со мной – это очень важно. В моей гостинице будут знать, где я».

Я вернулся в гостиницу и, попросив портье прислать за мной, если мне позвонят, пошел в буфет. Никто не позвонил. Тогда я уселся в холле с вечерними газетами. «Кроникл» в длинной передовице восхваляла мужество и здравый смысл горстки людей, восставших против правительственного законопроекта о налогах, который

задушит в штате
предпринимательство и частную
инициативу. Рядом с передовой была
карикатура. Она изображала
Хозяина, вернее, фигуру с головой
Хозяина, но с огромным брюхом, в
детском костюмчике с короткими
штанишками, обтянувшими толстые
волосатые ляжки. Монстр держал на
колени большой пирог с черной
дыркой, из которой он только что
выковырял скорчившегося человечка.
На пироге была надпись «Штат», а
на человечке – «Трудящиеся». Из
рта Хозяина выходил большой
пузырь, при помощи которых
художники комиксов изображают
речь своих персонажей. В пузыре

были слова: «Вот какой я молодец». И под карикатурой подпись: «Мальш Джек Хорнер»^[48].

Я дочитал передовицу. Там говорилось, что штат наш – бедный штат и не вынесет бремени, столь деспотически на него наложенного. Старая песня. Каждый раз, когда Хозяин переходил в нападение – подоходный налог, налог на разработку недр, налог на вино, – каждый раз повторялось одно и то же. Кошелек – вот где больное место. Человек может забыть смерть отца, но никогда – потерю вотчины, сказал суровый флорентинец, отец-основатель нашего нового мира, и он сказал золотые слова.

Штат беден, всегда кричала оппозиция. А Хозяин говорил: «Бедных людей в штате полно, это правда; но штат не беден. Весь вопрос в том, кто прорвется к корыту, когда принесут хлебово. Так что придется мне поработать локтями, расквасить рыло-другое». И, наклонившись к толпе, с выпученными глазами и растрепанным чубом, он вопрошал у нее и у жаркого неба: «А вы со мной? Вы со мной?» И поднимался рев.

«Налоги застревают в карманах взяточников!» — всегда кричала оппозиция. «Верно, — говорил Хозяин, принимая ленивую позу, — случаются и взятки, но ровно

столько, сколько нужно, чтобы колесики вертелись без скрипа. И помните. Еще не изобрел человек такой машины, в которой не было бы потерь энергии. Сколько энергии вы получаете из куска угля в паровозе или на электростанции по сравнению с тем, что было в куске угля на самом деле? Кот наплакал. А мы работаем куда лучше всякого паровоза или электростанции. Да, тут у нас есть кучка ворья, но она чересчур трусливая, чтобы воровать всерьез. Я за ней присматриваю. А дал я что-нибудь штату? Дал, черт возьми!»

Теория исторических издержек — можете назвать это так. И выписать

издержки против прибылей. Не исключено, что перемены в нашем штате могли прийти только таким путем, каким пришли, — а перемены были большие. Теория моральной нейтральности истории — можете назвать ее и так. Процесс как таковой не бывает ни нравственным, ни безнравственным. Мы можем оценивать результаты, но не процесс. Безнравственный фактор может привести к нравственному результату. Нравственный фактор может привести к безнравственному результату. Может быть, только в обмен на душу человек получает власть творить добро.

Теория исторических издержек.

Теория моральной нейтральности истории. Все это — высокий исторический взгляд на мир с вершины холодного утеса. Может быть, только гений способен его так увидеть. Действительно увидеть. Может быть, нужно, чтобы тебя приковали к утесу и орлы клевали твой ливер — тогда ты его так увидишь. Может быть, только гений способен его так увидеть. Может быть, только герой способен поступать соответственно.

Но я сидел в холле, ждал звонка, которого все не было, и не хотел углубляться в такие размышления. Я вернулся к передовице. Передовица эта была настоящим боем с тенью.

Боем с тенью она была потому, что в эту минуту в Капитолии, наверно, началось голосование, и теперь, когда люди Макмерфи использовали все оттяжки, только нечистая сила могла изменить его исход.

Меня вызвали около девяти. Но это был не Адам. Звонили из Капитолия: пришел Хозяин и хочет меня видеть. Я сказал портье, что, если позвонит Адам, я в Капитолии, на коммутаторе будут знать мой номер. Затем я позвонил Анне, чтобы сообщить ей о результатах, вернее, безрезультатности своих поисков. Голос у нее был спокойный и усталый. Я сел в машину. Опять шел дождь, и вдоль тротуара бежал

черный ручеек, блестящий под фонарями, как масло.

Когда я въехал в парк Капитолия, я увидел, что, несмотря на поздний час, весь дом освещен. В этом не было ничего удивительного — шла сессия законодательного собрания. Я попал в самую толчею. Солоны закрыли лавочку и циркулировали по коридору, скоплясь в тех стратегических пунктах, где стояли латунные плевательницы. Много было и другого народа. Стаи репортеров и гурты болельщиков — людей, которым приятно сознавать, что великие события происходят у них на глазах.

Я пробился к кабинету Хозяина.

Мне сказали, что он отправился с кем-то в сенат.

— Гладко прошел закон о налогах? — спросил я у девушки в приемной.

— Не задавайте наивных вопросов, — ответила она.

Я хотел было ей сказать, что появился здесь, когда она под стол пешком ходила, но передумал. Вместо этого я попросил ее договориться с телефонисткой на тот случай, если будет звонить Адам, и пошел в сенат.

Хозяина я заметил не сразу. Он стоял в стороне с несколькими сенаторами и Калвином Сперлингом, а на почтительном отдалении

толклись зеваки, нежившиеся в лучах славы. Сбоку я увидел Рафинада – он прислонился к стене и втянул щеки, обсасывая кусок сахара, который, должно быть, растекался нектаром по его пищеводу. Хозяин стоял, сцепив руки за спиной и опустив голову. Он слушал одного из сенаторов.

Я приблизился к ним и стал неподалеку. Вскоре взгляд Хозяина скользнул по мне. Убедившись, что он меня заметил, я отошел к Рафинаду и сказал: «Здравствуй».

После нескольких попыток он мне ответил. И возобновил свои занятия с сахаром. Я прислонился к стенке и стал ждать.

Прошло четыре или пять минут, а Хозяин все стоял, потупившись, и слушал. Он мог долго слушать, не произнося ни слова и не мешая собеседнику изливать мысли. Мысли изливались и изливались, а Хозяин ждал, когда покажется то, что на доньшке. Наконец я увидел, что с него хватит. Он понял, что было на доньшке или что на доньшке ничего не было. Разговор заканчивался —

Хозяин вскинул голову и глянул сенатору в лицо. Это был верный признак. Я отодвинулся от стенки. Я видел, что Хозяин собирается уходить.

Он посмотрел на сенатора и покачал головой.

– Этот номер не пройдет, – сказал он вполне дружелюбным тоном. Я расслышал эти слова – он произнес их достаточно громко. Сенатор говорил тихо и торопливо.

Хозяин оглянулся на меня и позвал:

– Джек.

Я подошел.

– Поднимемся наверх. Я хочу тебе кое-что сказать.

– Пошли, – сказал я и двинулся к выходу.

Он оставил сенаторов и нагнал меня в дверях. Рафинад шел за ним, по другую руку и немного сзади.

Я хотел спросить у Хозяина о здоровье мальчика, но подумал, что

лучше не надо. Речь могла идти лишь о том, насколько он плох, и спрашивать не стоило. Мы шли по коридору к большому вестибюлю, чтобы подняться оттуда на лифте. Люди, слонявшиеся по коридору, расступались и говорили: «Здравствуйте, губернатор», или: «Привет, Хозяин», но Хозяин лишь кивал в ответ. Другие ничего не говорили и только провожали его взглядом. В этом не было ничего необычного. Наверно тысячу раз проходил он по этому коридору, и так же, как сегодня, одни здоровались с ним, а другие молчали и поворачивали головы, следя, как он шагает по блестящему мрамору.

Мы вышли в большой вестибюль с куполом, где над людьми возвышались залитые ярким светом статуи государственных мужей, важностью своей напоминавшие о характере этого места. Мы шли вдоль восточной стены туда, где были встроены лифты. Когда мы приближались к статуе генерала Мофата (великого истребителя индейцев, удачливого земельного спекулянта, первого губернатора штата), я заметил прислонившегося к пьедесталу человека.

Это был Адам Стентон. Я увидел, что он мокрый насквозь и брюки его до половины икр заляпаны грязью. Я понял, почему так стояла

его машина. Он бросил ее и пошел пешком в дождь. Как только я его заметил, он повернул к нам голову. Но глаза его смотрели не на меня, а на Хозяина.

— Адам, — сказал я. — Адам!

Он шагнул к нам, но на меня не взглянул.

Хозяин свернул к нему и протянул руку, собираясь поздороваться.

— Добрый вечер, доктор, — сказал он, протягивая руку.

Какой-то миг Адам стоял неподвижно, словно решил не подавать руки подходявшему человеку. Потом он протянул руку, и, когда он сделал это, я с облегчением

перевел дух и подумал: «Он подал ему руку, слава богу, он успокоился, он успокоился».

Тут я увидел, что он держит в руке, и в тот миг, когда мои глаза узнали предмет, но раньше, чем мозг и нервы успели проникнуться его значением, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем.

Я не услышал звука, потому что он утонул в более громком стаккато выстрелов, раздавшихся слева от меня. Так и не опустив руки, Адам качнулся, отступил на шаг, остановил на мне укоризненный, затуманенный мукой взгляд, и тут же вторая очередь швырнула его на пол.

В гробовой тишине я бросился к Адаму. Потом я услышал женский крик в вестибюле, шарканье многих ног, гул голосов. Адам обливался кровью. Пули прострочили его грудь от бока до бока. Вся грудь была вдавлена. Он уже умер.

Я поднял голову и увидел Рафинада и дымящийся ствол его автоматического, а подальше, справа у лифта – патрульного дорожной полиции с пистолетом в руке.

Хозяина я не увидел. «Не попал», – подумал я.

Но я ошибся. Едва я подумал о Хозяине и оглянулся, как Рафинад выронил пистолет, лязгнувший о мрамор, и с придушенным животным

криком бросился за статую генерала Мофата.

Я опустил голову Адама на пол и обошел статую. Люди сгрудились так, что мне пришлось их расталкивать. Кто-то кричал: «Отойдите, отойдите, дайте ему вздохнуть!» Но люди теснились по-прежнему, и новые сбегались со всех концов вестибюля и из коридора.

Когда я пробился к Хозяину, он сидел на полу, тяжело дыша и глядя прямо перед собой. Обе его ладони были прижаты к нижней части груди, посередине. Никаких признаков ранения я не заметил. Потом я увидел маленькую струйку крови, просочившуюся между двумя

пальцами, – совсем маленькую.

Наклонившись над ним, стоял Рафинад, он плакал и хватал ртом воздух, пытаясь заговорить. Наконец он вытолкнул из себя: «Очень б-б-болит, Х-хозяин... б-б-болит?»

Хозяин не умер в вестибюле под куполом. Нет, он прожил еще несколько дней и умер в стерильно чистой постели, на попечении науки. В первые дни обещали, что он вовсе не умрет. Он был тяжело ранен, в нем сидели две маленькие пули калибра 6,35 мм – пули из игрушечного спортивного пистолетика, который Адаму подарили в детстве, – но его

собирались оперировать, и он был очень сильным человеком.

Снова началось сидение в приемной с акварелями, цветочными горшками и искусственными чурками в камине. В день операции с Люси Старк приехала ее сестра. Дед Старк, отец Хозяина, совсем одряхлел и не выезжал из Мейзон-Сити. Видно было, что сестра Люси, женщина много старше ее, одетая в черное деревенское платье, в мягких черных башмаках с высокой шнуровкой, — женщина здравомыслящая, энергичная, что она и сама хлебнула горя на своем веку и твердо знает, как помочь чужому горю. Если бы вы увидели ее

широкие, красноватые, загрубелые руки с квадратно остриженными ногтями, вы поняли бы, что у них хорошая хватка. Когда она вошла в приемную и кинула не то чтобы презрительный, но критический, оценивающий взгляд на горшки с цветами, было в ней что-то от пилота, который влезает в свою кабину и берется за штурвал.

Суровая и чопорная, она села в кресло, но не в одно из тех мягких, на которых были ситцевые чехлы. Она не собиралась давать волю чувствам в этой чужой комнате и в это время дня, время, когда в обычный день надо было готовить завтрак, собирать детей, отправлять

на работу мужчин. Найдется более подходящее место и время. Когда все кончится, она привезет Люси домой, разберет ей постель в комнате с опущенными шторами, положит ей на лоб салфетку, смоченную в уксусе, сядет рядом, возьмет Люси за руку и скажет: «А теперь поплачь, детка, если хочется, тебе будет легче, и лежи спокойно, а я посижу тут, я никуда не уйду, детка». Но это будет позже. А сейчас Люси то и дело поглядывала украдкой на иссеченное морщинами лицо сестры. Лицо не казалось особенно симпатичным, но, видно, в нем было то, чего искала Люси.

Я сидел на кушетке и

просматривал все те же старые журналы. Я определенно чувствовал себя лишним. Но Люси просила меня прийти.

— Он захочет вас видеть, — сказала она.

— Я подожду в вестибюле, — сказал я.

Она покачала головой.

— Поднимитесь наверх.

— Я не хочу путаться под ногами.

Вы сказали, там будет ваша сестра.

— Я прошу вас, — сказала она, и я покорился. «Лучше быть лишним там, — решил я, — чем сидеть в вестибюле с газетчиками, политиканами и любопытными».

Ждать нам пришлось не очень

долго. Сообщили, что операция прошла удачно. Услышав от санитарки это известие, Люси осела в кресле и всхлипнула. Ее сестра, которая тоже как будто слегка обмякла, строго посмотрела на Люси.

— Люси, — произнесла она негромко, но с некоторой суровостью, — Люси!

Люси подняла голову и, встретив осуждающий взгляд сестры, покорно ответила:

— Извини, Элли, извини. Я просто... просто...

— Мы должны благодарить господ, — объявила Элли. Она быстро встала, словно собиралась тут

же осуществить свое намерение, пока не забыла. Но вместо этого она повернулась к санитарке: – Когда она может увидеть мужа?

– Немного позже, – ответила та. – Не могу сказать вам точно, но сейчас еще рано. Если вы подождете здесь, я узнаю. – Подойдя к двери, она обернулась: – Я могу вам что-нибудь принести? Лимонаду? Кофе?

– Это очень любезно и внимательно, – ответила Элли, – но мы поблагодарим и откажемся, сейчас не время.

Медсестра вышла, я извинился и последовал за ней. Я спустился в кабинет доктора Симонса, который делал операцию. Я встречался с ним

в городе. Его можно было назвать приятелем Адама — в той мере, в какой это вообще было возможно, потому что Адам ни с кем не дружил, вернее, ни с кем, кроме меня, а я в счет не шел, я был его Другом Детства. Я знал доктора Симонса. Нас познакомил Адам.

Доктор Симонс, худой, седоватый человек, сидел за столом и что-то писал в большой карте. Я сказал ему, чтобы он занимался своим делом и не обращал на меня внимания. Он ответил, что уже кончает, секретарша забрала карту, поставила в картотеку, и он повернулся ко мне. Я спросил, как здоровье губернатора.

— Операция прошла удачно, — ответил он.

— Вы хотите сказать, что вынули пули? — спросил я. Он улыбнулся немного сухо и ответил, что едва ли может сказать больше.

— Но надежда есть. Он очень крепкий человек.

— Очень, — согласился я.

Доктор Симонс взял со стола конвертик и вытряхнул на руку его содержимое.

— Каким бы ты ни был крепким, такую диету трудно переварить, — сказал он и протянул мне ладонь, на которой лежали две пульки. Пули калибра 6,35 — действительно маленькие, но эти показались мне

еще меньше и безобиднее, чем я ожидал.

Я взял одну пулю и рассмотрел ее. Это был маленький сплюснутый кусочек свинца. Вертя его в пальцах, я вспомнил, как много лет назад, еще ребятами, мы с Адамом стреляли в сосновую доску и иногда выковыривали пулю из дерева перочинным ножом. Дерево было такое мягкое, что некоторые пули сплющивались ничуть не больше, чем эта.

— Мерзавец, — сказал доктор Симонс без всякой связи с предыдущим.

Я вернул ему пулю и спустился в вестибюль. Публика рассосалась.

Политиканы ушли. Остались два или три репортера, ожидавшие новостей.

Новостей в тот день не было. И на другой день – тоже. Дело как будто шло на поправку. Но на третий день Хозяину стало хуже. Началось воспаление. Оно быстро распространялось. Доктор Симонс ничего особенного не сказал, но по лицу его я понял, что дело мертвое.

Вечером, вскоре после того, как я приехал в больницу и поднялся в приемную повидать Люси, мне передали, что Хозяин просит меня прийти. «Ему полегчало», – сказали мне.

Когда я вошел, вид у него был совсем нехороший. Лицо

заострилось, кожа одрябла и висела, как у старика. Он стал похож на деда Старка, каким я его видел в Мейзон-Сити. Он был белый, как мел.

Глаза на белом лице казались мутными, невидящими. Когда я шел к кровати, они повернулись в мою сторону и чуть-чуть прояснились. Его губы слегка искривились — я понял это как бледный стенографический знак улыбки.

Я подошел к кровати.

— Привет, Хозяин, — сказал я, изобразив на лице то, что рассчитывал выдать за улыбку.

Он поднял два пальца правой руки, лежавшей поверх простыни, — карликовое приветствие; потом

пальцы опустились. Мускулы, искривившие его рот, тоже расслабились, улыбка сползла, лицо обмякло.

Я стоял над кроватью, смотрел на него и мучительно придумывал, что сказать. Но мой мозг пересох, словно губка, долгое время пролежавшая на солнце.

Наконец он проговорил еле слышно:

— Джек, я хотел тебя видеть.

— Я тоже хотел тебя видеть,

Хозяин.

С минуту он молчал, но глаза смотрели на меня ясно. Он опять заговорил:

— Почему он это сделал?

– А-а, будь я проклят. – Я не выдержал и заговорил очень громко.
– Не знаю.

Сиделка посмотрела на меня предостерегающе.

– Я ничего ему не сделал, – сказал он.

– Ничего, да.

Он снова умолк, глаза его помутнели. Потом он сказал:

– Он был ничего. Док.

Я кивнул.

Я ждал, но казалось, что он больше не заговорит. Его глаза были обращены к потолку, я едва мог расслышать его дыхание. Наконец глаза опять повернулись ко мне, очень медленно, и мне почудилось,

что я слышу тихий болезненный скрип яблок в глазницах. Но глаза снова просветлели. Он сказал:

— Все могло пойти по-другому, Джек.

Я опять кивнул.

Он напрягся. Казалось, что он пытается приподнять голову с подушки.

— Ты должен в это верить, — сказал он сипло.

Сиделка шагнула к кровати и посмотрела на меня со значением.

— Да, — сказал я человеку в постели.

— Ты должен, — настаивал он. — Ты должен в это верить.

— Хорошо.

Он смотрел на меня, и это опять был его прежний, испытующий, требовательный взгляд. Но когда он заговорил, голос был очень слабый.

— Даже теперь все могло бы пойти по-другому, — прошептал он. — Если бы не это, все могло бы пойти по-другому... даже теперь.

Он едва выговорил последние слова — так он был слаб.

Сиделка делала мне знаки.

Я нагнулся и взял с простыни его руку. Она была как будто без костей.

— До свиданья, Хозяин, — сказал я. — Я приду еще.

Он не ответил — я даже не был уверен, что он узнает меня. Я

повернулся и вышел.

Он умер на другое утро. Похороны получились грандиозные. Город был битком набит народом, самым разным народом: пронырами из окружных советов, провинциалами, деревенскими, людьми, никогда прежде не видевшими тротуаров. И с ними были женщины. Они заполнили все пространство вокруг Капитолия, затопили прилегающие улицы, а с неба сыпалась изморось, и громкоговорители орали со столбов и деревьев слова, от которых хотелось плевать.

Потом, когда гроб снесли по большой лестнице Капитолия и

погрузили на катафалк, когда пешие и конные полицейские пробили ему дорогу, процессия медленно потекла к кладбищу. Толпа хлынула следом. На кладбище ее мотало взад и вперед по траве, она затаптывала могилы и выворачивала кустарник. Некоторые надгробья были опрокинуты и разбиты. Только через два часа после погребения полиции удалось расчистить место.

У меня это были вторые похороны за неделю. Первые прошли совсем иначе. Я имею в виду похороны Адама Стентона в Берденс-Лендинге.

После того как Хозяина зарыли в землю и потные пузатые городские полисмены вместе с поджарыми молодцеватыми патрульными и конными на холеных нетерпеливых лошадях, чьи ноги по щетку увязали в клумбах, молча вытеснили с кладбища толпу, — но гораздо раньше, чем начала подниматься притоптанная трава и зрители занялись ремонтом опрокинутых памятников, — я уехал в Берденс-Лендинг. Для этого были две причины. Во-первых, оставаться в городе было выше моих сил. Во-

вторых, в Лендинге жила Анна Стентон.

Она осталась там после похорон Адама. Она приехала в Лендинг вслед за дорогим лакированным катафалком, на машине похоронного бюро, в сопровождении медицинской сестры, которая оказалась лишней, и старой подруги Кети Мейнард, которая, без сомнения, тоже оказалась лишней. Я не видел ее в этом наемном лимузине, который полз по правилам палаческого ритуала все сто без малого миль пути, медленно наматывая на колеса милю за милей, медленно и аккуратно, словно стаскивал бесконечный лоскут кожи с живого

мяса. Я не видел ее, но знаю, как она выглядела: прямая, лицо с прекрасным, резко обозначенным костяком бледно, руки сжаты на коленях. Потому что такой я увидел ее под замшелыми дубами: она выглядела одинокой, хотя рядом у могилы стояли Кети Мейнард, сестра милосердия и другие люди – друзья семьи, зеваки, пришедшие, чтобы позлорадствовать и потолкать друг дружку локтями, репортеры, знаменитые врачи из столицы, Балтимора и Филадельфии.

Такой она была, когда уходила с кладбища, сама, без посторонней помощи, а Кети Мейнард и сестра милосердия брели сзади со

смущенными и постными лицами, какие бывают у людей, оставшихся наедине с близким родственником покойного.

И даже в воротах кладбища, когда к ней подскочил репортер и щелкнул фотоаппаратом, выражение ее лица не изменилось.

Когда я подошел к воротам, он еще стоял там — нахал, в шляпе набекрень, с фотоаппаратом на груди и ухмылкой на нахальном лице. Я подумал, что может быть, встречал его в городе, а может и нет — они все на одно лицо, нахалы, которых пекут на факультете журналистики.

— Здравствуйте, — сказал я.

Он сказал:

— Здравствуйте.

— Я вижу, вы сделали снимок? —

сказал я.

— Ага.

— Сынок, — сказал я, — если ты

проживешь достаточно долго, ты поймешь, что даже репортеру не всегда обязательно быть подонком.

Он сказал «угу» и посмотрел на меня нахальными глазами. Потом спросил:

— Вы — Берден?

Я кивнул.

— Господи! — изумился он. —

Работает у Старка и еще называет кого-то подонком.

Я только посмотрел на него. У меня уже бывали такие стычки.

Сотни стычек с сотнями людей. В вестибюлях гостиниц, в спальнях, в машинах, за столом, на уличных перекрестках и заправочных станциях. Иногда это говорилось другими словами, а иногда совсем не говорилось, но висело в воздухе. И я знал, как заткнуть им рот. Я умел развернуться и заехать прямо под ложечку. Да и как не уметь? У меня была большая практика.

Но от этого устаешь. С одной стороны, это чересчур легко, и пропадает всякий интерес. А со временем ты так привыкаешь, что даже не злишься. И все же настоящая причина в другом. В том, что люди, которые тебе это говорят — или не

говорят, — и правы и не правы. Если бы правда была однозначна — вся там или вся тут, — тебе не пришлось бы задумываться, можно было бы зажмуриться и рубить сплеча. Но беда в том, что они правы наполовину и не правы наполовину — и в конце концов именно это вяжет тебя по рукам. Желание отсеять одно от другого. Ты не можешь им объяснить — на это никогда не хватает времени, да и не такое у них выражение на лицах. И вот наступает день, когда тебе уже не хочется бить под ложечку. Ты только смотришь на них, и они как сон или как дурное воспоминание, а то кажется, что и вообще их нет.

И я только посмотрел на нахальную физиономию.

Вокруг стояли люди. Они наблюдали за мной. Они ждали, что я скажу. Или сделаю. А меня почему-то не смущали их взгляды. Они даже не были мне противны. Я ничего не ощущал, кроме досады и отупения, и отупение было сильнее. Я стоял, смотрел на него и ждал, как ждешь боли после удара. Если бы боль появилась, я бы врезал ему. Но боли не было — было только отупение. Тогда я повернулся и пошел прочь. Меня не смущали глаза, смотревшие мне в спину, и даже чей-то смешок, правда очень короткий, — ведь мы были на похоронах.

Я шел по улице, ощущая отупение и досаду. Но вызвала их не стычка в воротах. Они появились раньше.

Я шел по набережной к дому Стентонов. Я не рассчитывал, что Анна сейчас меня примет; я просто хотел ей сказать, что пробуду в здешней гостинице до вечера. В том случае, конечно, если ничего не случится с Хозяином.

Но, придя к Стентонам, я узнал, что Анна при всем желании не могла бы меня принять. Кети Мейнард и сестра милосердия уже не были лишними. Потому что, вернувшись домой, Анна прошла в гостиную, остановилась в дверях, медленно

обвела взглядом комнату — рояль, картину над камином, всю обстановку, — так, как оглядывает комнату женщина, решив заново ее отделать и переставить мебель (я воспроизвожу рассказ Кети Мейнард), а потом просто упала. Она даже не схватилась за косяк, не пошатнулась, не издала ни звука, рассказывала Кети Мейнард. Теперь, когда все кончилось, она просто потеряла сознание.

Поэтому, когда я туда пришел, сестра ухаживала наверху за Анной, а Кети Мейнард вызывала врача и распоряжалась по дому. Остаться в городе не имело смысла. Я сел в машину и уехал в столицу.

Но вот и Хозяин умер, и я вернулся в Лендинг. Мать со своим Теодором отправилась путешествовать, и дом был в моем распоряжении. В доме было пусто и тихо, как в морге. Но даже так он был веселее кладбищ и больниц, из которых я последнее время не вылезал. То, что умерло в доме, умерло давно, и я с этим свыкся. Я даже начал свыкаться с другими смертями. В земле уже лежали и судья Ирвин, и Адам Стентон, и Хозяин.

Но кое-кто из нас еще был жив. И в том числе — Анна Стентон. И я.

И вот, вернувшись в Лендинг, мы сидели рядом на веранде, когда

светило солнце — бледно-лимонное
солнце поздней осени, катившееся
по укороченной дуге над полосатой,
как оникс, водой залива, который
сливался на юге с дымчатым
осенним небом. Или, когда солнца не
было и ветер наваливал волны на
берег почти к дороге, а в небе не
оставалось ничего, кроме косого
дождя, мы сидели рядом в гостиной.
Разговаривали мы мало — не потому,
что не было темы для разговора, а
потому, наверное, что она была
слишком огромна и всякое слово
могло нарушить прекрасное, но
неустойчивое равновесие, которого
нам удалось достичь. Мы как будто
сидели на концах ненадежно

уравновешенной доски, но под нами была не чистенькая детская площадка, а бог знает какая бездна, над которой бог соорудил для нас, малышей, качели. И если один из нас подастся к другому, пусть хоть на долю дюйма, равновесие нарушится и мы соскользнем в эту бездну. Но мы обманули бога, мы не обменялись ни словом.

Мы не произносили ни слова, но иногда я читал Анне вслух. Я читал книгу — первую попавшуюся на глаза в тот день, когда я почувствовал, что больше не могу выносить эту тишину, которая пучилась и трещала от всех невысказанных слов. А попался мне первый том сочинений

Энтони Троллопа [\[49\]](#). Чтение вполне безопасное. Энтони никогда не нарушает никаких равновесий.

Эти осенние дни странным образом напоминали мне то время, почти двадцать лет назад, когда я влюбился в Анну. В то лето мы были совсем одни, даже среди людей, — единственные обитатели летучего острова или ковра-самолета, который представляет собой любовь. И теперь мы были совсем одни — но на летучем острове или ковре-самолете другого рода. В то лето нас будто захватил могучий поток, и, хотя он верно нес нас к счастью, мы не в силах были ускорить его бег, потому что он сам знал свои сроки. И теперь

нас будто захватил поток, и мы были бессильны перед его неудержимым бегом, потому что он сам знал свои сроки. Но куда он нас нес, мы не знали. Я даже не задавался таким вопросом.

Однако время от времени я задавал себе другой вопрос. То сидя рядом с Анной, когда мы молчали или я читал ей книгу, то в одиночестве – за завтраком, гуляя по набережной, в постели. Это был вопрос без ответа. Когда Анна описывала мне свою последнюю страшную встречу с Адамом, как он ворвался к ней в квартиру и кричал, что не будет сутенером, она обмолвилась, что Адаму позвонил

какой-то человек и рассказал про нее и губернатора Старка.

Кто?

В первые дни после катастрофы я совсем об этом забыл, но позднее вспомнил. И все же этот вопрос сначала не казался мне важным. Ибо тогда за общей досадой и отупением ничто не казалось мне важным. Вернее, то, что казалось мне важным, не имело никакого отношения к этому вопросу. Важным было то, что произошло, а не причина происшедшего — если только я мог не считать себя причиной.

Но вопрос не выходил из головы. Даже когда я над ним не думал, я

чувствовал порой, как он грызет, словно мышь, перегородки моего сознания.

Первое время я не представлял себе, как спрошу об этом Анну. Я не смел ей сказать ни слова о том, что произошло. Наш заговор молчания должен быть вечным, ибо мы навеки связаны сознанием того, что уже участвовали непреднамеренно в другом заговоре — мы свели и этим погубили Адама Стентона и Вилли Старка. (Если мы нарушим заговор молчания, нам, возможно, придется вспомнить и о том заговоре, придется взглянуть на свои руки и увидеть, что они в крови.) И я ничего не говорил.

Пока не почувствовал, что должен заговорить. Я сказал:

— Анна, я хочу задать тебе один вопрос. О... об... этом. Я никогда больше об этом не заговорю.

Она посмотрела на меня и не ответила. Я увидел в ее глазах ужас, но она быстро справилась с собой.

Я опрометью бросился дальше:

— Ты говорила мне... когда я приехал к тебе домой... что кто-то позвонил Адаму... рассказал ему... рассказал про...

— Про меня, — закончила она фразу, которую я не решался выговорить. Она не ждала, пока эта фраза на нее обрушится. Она сама бросилась ей навстречу.

Я кивнул.

— Ну? — спросила она.

— Он сказал, кто ему звонил?

Анна задумалась. Казалось, в этот миг она приподнимает покров с того дня, когда к ней ворвался Адам, как приподнимают край простыни в морге, чтобы опознать труп.

Потом она покачала головой.

— Нет, — ответила она, — не сказал... — Она помедлила. — Только что это был мужчина. Я хорошо помню, он сказал — мужчина.

И мы снова надолго замолчали, цепляясь за доску, которая дрожала и колебалась под нами над черной бездной.

На другой день я уехал из

Лендинга.

Я приехал в столицу в конце дня и позвонил на квартиру Сэди Берк. Никто не подошел. Потом уже просто так, на всякий случай, я позвонил в Капитолий, но ее номер не отвечал. За вечер я несколько раз пробовал дозвониться к ней домой, но безуспешно. Наутро я не поехал искать ее в Капитолий. Я не хотел видеть тамошнюю шайку. Я вообще не хотел ее больше видеть.

Поэтому я снова стал звонить. Ее номер не отвечал. Я попросил телефонистку узнать, если не трудно, где она находится. Через две или три минуты мне сказали: «Ее здесь нет. Она больна. Можно разъединять?» И

не успел я опомниться, как в трубке щелкнуло и меня разъединили.

Я позвонил еще раз.

– Это Джек Берден, – сказал я. –

Я хотел бы...

– А-а-а, мистер Берден... –

уклончиво и даже как-то
вопросительно протянула
телефонистка.

Было время – и совсем недавно, – когда имя *Джек Берден* заставляло людей шевелиться в этом заведении. Но голос телефонистки, ее тон показал мне, что имя Джек Берден теперь ничего здесь не значит, кроме сотрясения воздуха.

В первую секунду я страшно разозлился. Потом вспомнил, что

изменилась ситуация.

А она там изменилась. Когда она меняется в таком месте, она меняется быстро и по всем статьям, и телефонистка произносит ваше имя совсем другим тоном. И я уже больше не злился, мне было наплевать.

Я проворковал:

— Простите, вы не могли бы мне сказать, как мне разыскать мисс Берк? Я был бы вам очень признателен.

Я подождал минуты две, пока она наводила справки.

— Мисс Берк в санатории Миллет, — произнес ее голос.

Кладбища и больницы: жизнь

по-прежнему бьет ключом, подумал я.

Но санаторий Миллет не был похож на больницу. Он ничем не напоминал больницы — я обнаружил это, когда свернул с шоссе в двадцати пяти милях от города и медленно покатился под сводами вековых вечнозеленых дубов, чьи ветви, увешанные сталактитами мха, смыкались над аллеей, создавая водянистый зеленый полумрак, превращавший ее в подобие пещеры. Между правильно посаженными дубами стояли на пьедесталах античные статуи — мужчин и женщин, в одеждах и без одежд, замаранные непогодами, кислотами

листвы и цепкими лишайниками, поднявшиеся, словно чахлые побеги, из липкого зеленовато-черного перегноя, — и смотрели на прохожего слегка обиженным, тяжелым, нелюбопытным взглядом жвачных животных. Взгляд этих мраморных глаз был, наверное, первым этапом в лечении невротика, прибывающего в санаторий. Словно вязкая мазь времени, ложился он на жаркие прыщи и расчесы души.

В конце аллеи перед невротиком вставал санаторий, суливший блаженный покой за белыми колоннами. Санаторий Миллет был скорее домом отдыха, чем больницей. Его построил сто с

лишним лет назад из тщеславия и любви к искусству хлопковый нувориш, который деньги ни во что не ставил и закупил в Париже целый корабль ампирной мебели для дома, а в Риме – целый корабль белых мраморных статуй для аллеи; который, должно быть, напоминал лицом грубую резьбу по дереву и не знал, что такое нервы; и теперь люди, которые были потомками таких людей или имели достаточно денег (нажитых в годы правления Гранта или Кулиджа)[\[50\]](#), чтобы считать себя их потомками, свозили сюда свои спазмы, судороги, тики и экземы, отдыхали в комнатах с высокими потолками, ели суп из омаров и

слушали баюкающий голос психиатра, в чьих больших, бесстрастных влажно-карих глазах человек медленно тонет.

Я сам чуть не утонул в этих глазах за ту минуту, когда спрашивал разрешения повидать Сэди. «Очень трудная пациентка», – сказал он.

Сэди лежала в шезлонге у окна, которое выходило на лужайку, спускавшуюся к топкому берегу речки. Ее обкромсанные волосы были растрепаны, а белое лицо в косом послеполуденном свете больше чем когда-либо напоминало алебастровую маску Медузы, расстрелянную из духового ружья. И глаза были частью этой маски, будто

брошенной на подушку. Они не были глазами Сэди Берк. В них ничего не горело.

— Привет, Сэди, — сказал я, — надеюсь, я не потревожил вас своим посещением?

Она разглядывала меня потухшими глазами.

— Нет, не потревожили, — сказала она.

Тогда я сел, подтащил свое кресло поближе и зажег сигарету.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

Она повернулась ко мне и снова посмотрела на меня долгим взглядом. На миг что-то вспыхнуло в ее глазах — будто сквозняк пронесся

над гаснущими углями.

— Перестаньте, — сказала она, — я хорошо себя чувствую. С чего бы мне плохо себя чувствовать?

— Ну слава богу, — сказал я.

— Я приехала сюда не потому, что больна. Я приехала, потому что устала. Я хочу отдохнуть. Я так и сказала врачу: «Я буду здесь отдыхать, потому что устала. И не хочу, чтобы вы ко мне приставали, разговаривали со мной по душам и допытывались, не вижу ли я во сне красную пожарную машину». Я ему сказала: «Если я поговорю с вами по душам, вы такого наслушаетесь, что у вас уши завянут. Я хочу здесь отдохнуть, и вы меня не злите».

Говорю: «Я от многого устала, и больше всего — от людей, и к вам, доктор, это тоже относится».

Она приподнялась на локте и посмотрела на меня.

— И к вам это тоже относится, Джек Берден, — сказала она.

Я ничего не ответил и не пошевелился. Сэди легла и, видимо, забыла обо мне.

Сигарета успела догореть у меня в пальцах, и я прикурил от нее другую, прежде чем сказал:

— Сэди, я понимаю, как вам тяжело, и не хотел бы ворошить старое, но...

— Ничего вы не понимаете, — сказала она.

– Ну так... приблизительно, – сказал я. – Но приехал я потому, что хочу задать вам один вопрос.

– А я думала, вы приехали потому, что так страшно меня любите.

– Не буду отрицать, – сказал я. – Люблю. Мы долго работали вместе и отлично ладили. Но не в этом...

– Да уж, – перебила она, снова приподнявшись на локте, – все мы отлично ладили. Просто отлично, куда к черту...

Я подождал, пока она ляжет и отвернется от меня к окну, за которым виднелись река и лужайка. В чистом небе над лохматыми макушками кипарисов за рекой летел

ворон. Потом ворон скрылся, и я сказал:

– Адам Стентон убил Хозяина, но сам он до этого никогда бы не додумался. Кто-то его натравил. Кто-то, кто знал, что за человек Адам, знал, как он получил пост в больнице, знал...

Она как будто не слушала меня. Она смотрела в ясное небо над лохматыми кипарисами, где скрылся ворон. Я помедлил, потом, наблюдая за ее лицом, продолжал:

– ...И знал про Хозяина и Анну Стентон.

Я снова помолчал, наблюдая, какое впечатление произведут на нее эти имена, но лицо ее ничего не

выражало. Оно выглядело просто усталым, усталым и совершенно безразличным.

— И вот что я выяснил, — продолжал я. — В тот день Адаму кто-то позвонил и рассказал про Хозяина и его сестру. И все остальное. Словом, понимаете. Он взбесился. Пошел к сестре, набросился на нее, а она ничего не отрицала. Не такой она человек, чтобы отпираться. Я думаю, ей самой была противна вся эта скрытность, она почти обрадовалась, что может больше не прятаться...

— Ну, ну, — сказала Сэди, не оборачиваясь ко мне, — расскажите мне, какая она честная и благородная, ваша Анна Стентон.

– Извините, – сказал я, чувствуя, что краснею. – Кажется, я отклонился от темы.

– Да, кажется, отклонились.

Я помолчал.

– Этот человек, который звонил Адаму, – вы не представляете, кто бы это мог быть?

Казалось, она раздумывает над моим вопросом. Если она его слышала, в чем я не был уверен.

– Не представляете? – спросил я.

– Нет, не представляю, – сказала она.

– Нет?

– Нет, – сказала она, по-прежнему не глядя на меня. – А мне

и незачем представлять. Потому что, видите ли, я знаю.

— Кто? Кто? — Я вскочил с кресла.

— Дафи, — сказала она.

— Так и знал, — вскрикнул я. — Как же я не догадался! Больше никому.

— А если знали, — сказала она, — какого черта вы сюда приперлись?

— Я хотел убедиться. Хотел знать. Точно знать. Я... — Я оборвал себя и, стоя в ногах шезлонга, взглянул сверху на ее лицо, повернутое к окну и освещенное косыми лучами солнца. — Значит, вам известно, что это Дафи... Откуда вам известно?

– Черт бы вас взял, черт бы вас взял, Джек Берден, – устало проговорила она и повернула голову ко мне.

Потом, глядя на меня, она села и уже не устало, а горячо и со злобой произнесла:

– Черт бы вас взял, Джек Берден, что вас сюда принесло? Почему вы всюду лезете? Почему не даете мне покоя? Почему?

Я смотрел ей в глаза; глаза горели на искаженном лице.

– Откуда вам известно? – мягко настаивал я.

– Черт бы вас взял, черт бы вас взял, Джек Берден. – Это звучало как заклинание.

— Откуда вам известно? — повторил я мягче прежнего, почти шепотом и наклонился к ней.

— Черт бы вас взял, Джек Берден! — сказала она.

— Откуда вам известно?

— Потому что... — начала она, но осеклась и устало, с отчаянием повела головой, как ребенок в жару на подушке.

— Потому что? — повторил я.

— Потому что, — сказала она и откинулась в шезлонге, — я сама ему сказала. Я велела ему позвонить.

Так. Так, значит. А я не догадался. Мои колени медленно подогнулись, я осел, как машина на спущенном пневматическом

домкрате, и очутился в кресле. Ай да Сэди. Я смотрел на нее так, будто никогда ее прежде не видел.

Через минуту она сказала:

– Перестаньте на меня смотреть.

– Но в голосе ее не было гнева.

Я, наверно, продолжал смотреть на нее, потому что она опять попросила:

– Перестаньте на меня смотреть.

Потом я услышал свой голос, словно разговаривал с собой:

– Вы убили его.

– Ладно, – сказала она. – Ладно.

Убила. Он бросил меня. Окончательно. Я знала, что теперь это окончательно. Ради своей Люси. После всего, что я сделала. Сделала

его человеком. Я сказала, что он об этом пожалеет, а он улыбнулся этой новой своей постной улыбкой, как будто разучивал роль Христа, взял меня за руки и попросил понять... Понять, видали! И тут меня как обожгло: я убью его.

— Вы убили Адама Стентона, — сказал я.

— Боже, — выдохнула она, — боже.

— Вы убили Адама, — повторил я.

— И Вилли, — прошептала она. —

Убила.

— Да, — кивнул я.

— Боже, — проговорила она, глядя

в потолок.

Я выяснил то, ради чего приехал сюда. Но я продолжал сидеть. Я даже

не закурил.

Немного погодя она сказала:

— Подите сюда. Пододвиньте ваше кресло.

Я подтащил свое кресло ближе к шезлонгу. Она не посмотрела на меня, но неуверенно протянула руку в моем направлении. Я взял ее и держал, а Сэди смотрела в потолок, и косые лучи безжалостно освещали ее лицо.

— Джек, — сказала наконец она, не глядя на меня.

— Да?

— Я рада, что сказала вам. Я знала, что придется кому-нибудь сказать. Когда-нибудь. Я знала, что придется, но мне некому было

сказать. Пока вы не приехали. Вот почему я так вас ненавидела в ту минуту. Как только вы вошли, я поняла, что должна буду вам сказать. Но я рада, что сказала. Мне все равно, кто об этом узнает. Может, я не такая благородная, как ваша Стентон, но я рада, что сказала.

Я не нашелся что ответить. Поэтому какое-то время я продолжал сидеть — молча, что, видимо, устраивало Сэди, — держал ее за руку и глядел поверх нее на реку, которая вилась под мхом, свисавшим с лохматых кипарисов, — на воду, рябую от водорослей, тяжелую, с запахом и отливом болот, дебрей и темноты, начинавшихся за стриженной

лужайкой.

Я выяснил, что Крошка Дафи, который был теперь губернатором штата, убил Вилли Старка так же верно, как если бы его собственная рука держала пистолет. Я выяснил также, что Сэди Берк вложила оружие в руки Дафи и нацелила его, что и она убила Вилли Старка. И Адама Стентона. Но то, что сделала она, было сделано сгоряча. То, что сделал Дафи, было сделано хладнокровно. И в конце концов поступок Сэди Берк не имел такого значения. Меня он как-то мало интересовал.

Значит, оставался Дафи. Дафи

это сделал. И, как ни странно, при этой мысли я испытывал большую радость и облегчение. Дафи его убил. И от этого все становилось чистым и ясным, как в солнечный морозный день. Там где-то был Крошка Дафи со своим бриллиантовым перстнем, а тут был Джек Берден. Я ощущал свободу и ясность, как бывает после долгого паралича, вызванного неведением и нерешительностью, когда ты вдруг понимаешь, что можно действовать. Я чувствовал, что готов действовать.

Но я не знал — как.

Когда я во второй раз приехал к Сэди — по ее собственной просьбе, — она, не дожидаясь каких-либо

намеков с моей стороны, сказала, что, если нужно, она составит заявление. Я ответил, что это будет прекрасно, и мне казалось, что это будет прекрасно, ибо я по-прежнему ощущал свободу, ясность и готовность к действию, а Сэди вооружила меня. Я поблагодарил ее.

– Не надо меня благодарить, – сказала она, – я не ради вас это делаю. Дафи... Дафи... – Она села на шезлонге, и глаза ее загорелись, как прежде. – Вы знаете, что он выкинул?

Не дожидаясь ответа, она продолжала:

– После... После этого я ничего не чувствовала. Ничего. Я уже

вечером узнала, что произошло, и мне было все равно. А на другое утро ко мне приходит Дафи, пыхтит, и улыбается, и говорит: «Ну, девочка, ты молодец, поздравляю, поздравляю». А я все равно ничего не чувствовала, даже когда посмотрела на его лицо. Но потом он обнял меня за плечи и похлопывать начал, поглаживать между лопатками. И говорит: «Ты убрала его, девочка, и я тебя не забуду. Теперь мы с тобой не расстанемся». И тут на меня накатило. В эту самую секунду. Как будто его не в Капитолии убивали, а здесь, сейчас, у меня на глазах. Я вцепилась в него ногтями и выскочила. Убежала на улицу. А

через три дня, когда он умер, поехала сюда. Мне больше некуда было деться.

– Ну что ж, спасибо, – сказал я.

– Я думаю, мы расквитаемся с Дафи.

– На суде ничего не докажешь, – сказала она.

– Я на это не рассчитываю. Все, что он вам говорил или вы ему говорили, ничего не доказывает. Но есть другие способы.

Она задумалась.

– При любом способе, через суд или нет, вы же понимаете, что вам придется втянуть эту... – Она запнулась и не выговорила того, что вертелось у нее на языке. – ... Впутать Анну Стентон.

– Она согласится, – заверил я. –
Непременно согласится.

Сэди пожала плечами.

– Вам лучше знать, что вам
нужно, – сказала она. – И вам, и ей.

– Мне нужен Дафи.

– Я не возражаю, – сказала она и
снова пожала плечами. Вид у нее
опять сделался усталый. – Я не
возражаю, – повторила она, – но мир
полон таких Дафи. Мне кажется, я
всю жизнь среди них прожила.

– Сейчас я думаю только об
одном из них, – объявил я.

Прошла неделя, я все еще думал
об этом одном (к тому времени я
решил, что не остается иного выхода,
как дать материал в оппозиционную

газету), когда получил записку, написанную его собственной рукой. Не могу ли я к нему зайти, спрашивалось в ней. Когда мне будет удобно.

Мне было удобно немедленно, и я нашел его ветчинное величество на большой кожаной кушетке в библиотеке резиденции, где прежде сиживал Хозяин. Его ботинки закрипели, когда он поднялся мне навстречу, но тело его колыхалось с легкостью раздутого тела утопленника, вырвавшегося наконец из цепких объятий донного ила и торжественно всплывающего на поверхность. Мы обменялись рукопожатиями, он улыбнулся.

Кушетка снова застонала под его тяжестью, и он жестом предложил мне присесть.

Черный слуга в белом пиджаке принес виски. Я сделал глоток, но от сигары отказался.

Он сказал, что удручен смертью Хозяина. Я кивнул.

Он сказал, что ребятам очень не хватает Хозяина. Я кивнул.

Он сказал, что дело все же должно делаться. Так, как хотел бы Хозяин. Я кивнул.

Он сказал, что все же ему очень не хватает Хозяина. Я кивнул.

Он сказал:

— Джек, ребятам вас очень не хватает.

Я скромно кивнул и сказал, да, и мне их не хватает.

Он продолжал:

— Да, я еще на днях сказал себе: дай мне только впрячься, и я обязательно разыщу Джека. Ну да, Джек — как раз такой человек, какой мне нужен. Хозяин его очень высоко ставил, а что хорошо для Хозяина, то хорошо и для старины Дафи. Да, сказал я себе, надо разыскать старину Джека. Такой человек мне очень нужен. Прямой, честный. Такому можно довериться. Этот не подведет, не обманет. Его слово крепче печати.

— Это обо мне речь? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — Я

хочу сделать вам предложение. Я не знаю точно, на каких условиях вы работали с Хозяином, но вы мне только скажите, и я вам прибавлю десять процентов.

— Меня устраивало мое жалование.

— Вот это разговор белого человека, — сказал он и серьезно добавил: — И не поймите меня превратно, я знаю, что вы с Хозяином были вот так. — Он поднял два белых лоснящихся епископальных пальца, как для благословения. — Вот так, — повторил он. — Не поймите меня превратно, я не критикую Хозяина. Я просто хочу вам доказать, как я вас ценю.

– Благодарю, – произнес я без особой теплоты.

Теплоты, по-видимому, было так мало, что он слегка наклонился вперед и сказал:

– Джек, я прибавлю двадцать процентов.

– Этого недостаточно, – отозвался я.

– Вы правы, Джек, – сказал он. – Этого недостаточно. Двадцать пять процентов.

Я замотал головой.

Ему стало немного не по себе, кушетка скрипнула, но он поборол себя и улыбнулся.

– Джек, – произнес он задумчиво, – вы скажите, сколько вы

считаете нужным, уж как-нибудь сговоримся. Скажите, сколько вас устроит.

— Нисколько, — сказал я.

— А?

— Слушайте, — начал я, — вы только что сказали, что я человек, слово которого крепче печати. Правильно?

— Да, Джек.

— Значит, вы мне поверите, если я скажу вам одну вещь?

— Ну конечно, Джек.

— Ну так я вам скажу. Еще не рождалось на свет скотины гнуснее вас.

Несколько секунд я наслаждался мертвой тишиной, потом продолжал:

– И вы думаете, что можете меня купить. Я понимаю, зачем вам это нужно. Вы не знаете, много ли я знаю и о чем. Я был близок с Хозяином и слишком много знаю. Я джокер в вашей колоде. И вы хотите сдать его себе из-под низу. Но этот номер не пройдет, Крошка, не пройдет. Плохо ваше дело, Крошка. Знаете почему?

– Слушайте, – произнес он властно. – Слушайте, не смейте...

– Плохо, потому что я много знаю. Я знаю, что вы убили Хозяина.

– Это ложь! – закричал он и поднялся на кушетке – и кушетка закрипела.

– Не ложь. И не догадка. Хотя

мне следовало бы догадаться. Мне сказала Сэди Берк. Она...

— Она сама в этом замешана, сама!

— Была замешана, — поправил я, — а теперь нет. Она об этом расскажет. Ей все равно, кто об этом узнает. Она не боится.

— Зря не боится. Я...

— Она не боится, потому что устала. Она устала от всего, от вас устала.

— Я убью ее, — сказал он, и на висках его выступили капли пота.

— Никого вы не убьете, — сказал я. — И теперь никто за вас этого не сделает. Потому что вы боитесь. Вы боялись убить Хозяина и боялись не

убить, но вам помог случай. Вы не упустили случай, и, ей-богу, я вас за это уважаю. Вы мне открыли глаза. Понимаете, Крошка, все эти годы я не держал вас за живого человека. Вы были карикатурой из газеты. С вашим бриллиантовым перстнем. Вы были у Хозяина вместо груши и улыбались кривой улыбкой, когда он вас бил. Вы были как тот пудель. Вы когда-нибудь слышали про пуделя?

Я не дал ему ответить. Он успел только рот открыть, а я уже продолжал:

— У одного алкоголика был пудель, и он таскал его за собой повсюду, из бара в бар. А почему? Потому что любил? Нет, не поэтому.

Он таскал за собой пуделя для того, чтобы можно было плевать на него и не пачкать пола. Вот вы и были пуделем у Хозяина. И вам это нравилось. Вам нравилось, когда на вас плевали. Вы не были человеком. Вы не существовали. Так я думал. Но я ошибался, Крошка. Что-то у вас было внутри, что делало вас человеком. Вам не нравилось, когда на вас плевали, даже за деньги.

Я встал, держа в руке полупустой стакан.

— И теперь, Крошка, — сказал я, — когда я знаю, что вы существуете, мне вас пожалуй что жалко. Вы смешной, толстый старик, Крошка, с плохим сердцем, с усохшей печенью,

и по лицу вашему бежит пот, на душе у вас гнусная тревога, и большая чернота поднимается в вас, как вода в погребе. И мне вас даже жалко. Но если вы скажете хоть слово, я перестану вас жалеть. Поэтому сейчас я допью ваше виски, плюну в стакан и уйду.

И я допил виски, бросил стакан на пол (он не разбился на толстом ковре) и двинулся к двери. Я почти дошел до нее, когда услышал за спиной скрип. Я оглянулся.

– В суде, – проскрипел он, – не докажете.

Я кивнул.

– Да, – сказал я. – Не докажем. Но забот у вас и без этого хватит.

Я открыл дверь, вышел, оставив ее открытой, и прошел под большой сверкающей люстрой через длинную переднюю к двери, за которой стояла свежая ночь.

Я глубоко вдохнул холодный воздух и увидел сквозь ветви ясные звезды. Я чувствовал себя великолепно. Я лихо провел эту сцену. Я показал ему, где раки зимуют. Я лопался от гордости. Из ноздрей моих валил дым. Я был герой. Я был святой Георгий с драконом у ног. Я был Эдвин Бут^[51] и кланялся под газовыми огнями. Я был Иисус Христос с бичом в храме.

Большой человек.

И вдруг под звездами я мигом

превратился в человека, который попотчевал себя всем, от супа до орешков и «Короны-короны», и чувствует себя наверху блаженства, и вдруг — нет ничего, кроме желтого кислого привкуса, который пробрался в рот из старого больного желудка.

Три дня спустя я получил заказное письмо от Сэди Берк. В нем говорилось:

«Дорогой Джек,
чтобы вы не подумали,
будто я хочу увильнуть от
того дела, о котором мы
говорили, посылаю вам
обещанное заявление. Оно

удостоверено свидетелями, заверено нотариусом, заштемпелевано по всей форме, и вы можете делать с ним все, что вам заблагорассудится, потому что оно – ваше. Это мое решение. Еще раз говорю, распоряжайтесь им, как вам угодно.

Что касается меня, то я уезжаю. Не только из этой комбинации желтого дома с богадельней, а вообще из города и из штата. Жить здесь я больше не могу и поэтому отчаливаю. Я уеду далеко,

уюду надолго, и, может
быть, где-нибудь климат
окажется лучше. Но моя
двоюродная сестра (миссис
Стил Ларкин, авеню Руссо,
23/31), которую можно
считать моей ближайшей
родственницей, будет
иметь мой адрес, и, если
вы захотите со мной
связаться, пишите через
нее. Где бы я ни была, я
сделаю все, что вы скажете.
Если вы скажете
«приезжай» — я приеду. Я
не хочу, чтобы вы думали,
будто я уваливаю. Никакая
огласка меня не пугает.

Все, что вам будет нужно по этому делу, я сделаю.

Но если хотите послушаться моего совета — бросьте это дело. Не потому, что я люблю Дафи. Я надеюсь, что вы скажете ему пару ласковых слов и нагоните на него холоду. Но мой вам совет — откажитесь. Во-первых, юридическим путем вы ничего не добьетесь. Во-вторых, если вы используете материал политически, самое большее, чего вы добьетесь, это помешаете

переизбранию Дафи. А вы знаете не хуже меня, что его и так не выдвинут кандидатом. Ребята никогда его не выдвинут, потому что он болван даже по их понятиям. Он был просто принадлежностью

Хозяина. А шайке эта история никак не повредит. Она просто даст ей повод избавиться от Дафи. Если вы хотите добраться до шайки, дайте им самим вырыть себе могилу. Теперь, когда Хозяина нет, она недолго протянет. А третьих, если вы это

напечатаете, вашей даме
Стентон придется туго.
Может быть, она такая
благородная и
возвышенная, что пойдет
на это, как вы говорили, но
вы будете дураком. Ей,
наверно, и без того
пришлось несладко, и вы
будете дураком, если
станете мучить ее,
изображая из себя
бойскаута, а из нее Жанну
д'Арк. И даже если вы
только расскажете ей,
будете дураком. Если уже
не проболтались — с вас
станется. Я не собираюсь

утверждать, что она моя лучшая подруга, но еще раз говорю, у нее были свои неприятности, и вы могли бы дать ей передышку.

Помните, я не увиливаю. Я просто даю вам совет.

Не падайте духом.
Ваша Сэди Берк».

Я прочел заявление Сэди. Там было сказано все, что требовалось, и каждая страница была подписана и заверена. Затем я сложил его. Оно мне было не нужно. Но не из-за совета, который дала мне Сэди. Конечно, письмо ее было разумным.

По крайней мере в том, что касалось Дафи и шайки. Но что-то произошло. Ну их всех к черту, думал я. Я был сыт по горло.

Я еще раз посмотрел на письмо. Итак, Сэди обозвала меня бойскаутом. Но для меня это не было новостью. В ту ночь, когда я посетил Дафи и шел по улице под звездами, я называл себя худшими именами. Но ее слова попали в больное место и разбредили его. Разбредили потому, что, оказывается, не я один знал, где оно. Это знала Сэди. Она видела меня насквозь. Она читала в моей душе, как в книге.

У меня оставалось одно, довольно кислое утешение. По

крайней мере мне не надо было дожидаться, пока она меня раскусит. Я сам себя раскусил в ту ночь, когда шел от Дафи героем и бойскаутом и желтая кислая слюна вдруг высушила мне рот.

Что же я понял? Я понял вот что: когда я выяснил, что Дафи убил Хозяина и Адама, я почувствовал себя чистым и свободным, и, когда я измывался над Дафи, я был наверху блаженства, я думал: значит, я не причастен. Дафи был злодей, а я — герой-мститель. Я задал Дафи трепку и раздувался, как мыльный пузырь. И вдруг что-то произошло, и рот мой наполнился желтой кислой слюною.

Вот что произошло: я вдруг спросил себя – а почему Дафи так уверен, что я буду на него работать? И вдруг я вспомнил глаза нахального репортеришки в воротах кладбища и все другие глаза, смотревшие на меня с тем же выражением, и вдруг я понял, что пытаюсь сделать Дафи козлом отпущения, взвалить на него свои грехи, отмежеваться от Дафи, – и пиршество героизма отрыгнулось кислотой и желчью, я почувствовал, что влип, увяз, запутался, застрял, как вол в болоте, как муха в липучке. Я не просто увидел себя и Анну участниками заговора, который сделал Адама Стентона жертвой Вилли Старка и Вилли Старка

жертвой Адама Стентона. Гораздо хуже. Получалось так, что я был участником еще более зловещего заговора, значение которого я не мог объять. Получалось так, что сцена, которую я сейчас пережил, была зловещим фарсом, поставленным неизвестно для чего и неизвестно перед какой публикой, хотя я знал, что она скалится где-то в темноте. Получалось так, что в разгаре сцены Крошка Дафи лениво, породственному подмигнул мне своим глазом-устрицей, и я понял, что он знает кошмарную правду: мы — близнецы, связанные нерасторжимее и гибельнее тех несчастных уродцев, которые соединены лишь стежком

мяса и хряща и разветвлением крови. Мы связаны с ним навеки, и я никогда не смогу возненавидеть его, не возненавидев себя, или полюбить себя, не полюбив его. Мы едины перед немигающим оком Вечности, милостью бога нашего, Великого Тика.

И я ворочался, трепыхался, словно бык или муха, и кислота жгла мне глотку, и все было яснее ясного, и я ненавидел все и вся: и себя, и Крошку Дафи, и Вилли Старка, и Адама Стентона. «Пропади они пропадом», — равнодушно повторял я под звездным небом. Все они казались мне одинаковыми. И я был такой же, как они.

Так продолжалось некоторое время.

Я не вернулся в Лендинг. Я не хотел видеть Анну Стентон. Я даже не распечатал полученное от нее письмо. Оно лежало на моем бюро, и я видел его каждое утро. Я не хотел встречать никого из знакомых. Я шлялся по городу, сидел в своей комнате, сидел в барах, где прежде редко бывал, или в первом ряду кинотеатров, откуда я мог любоваться огромными перекошенными тенями, которые жестикулировали, махали кулаками, обнимались и разражались речами, напоминавшими тебе обо всем, о чем ты только мог вспомнить. Я часами

сидел в зале периодики публичной библиотеки, где собираются, как на вокзале, или в общественной уборной, или в филантропическом обществе, бродяги и катаральные старики и мусолят газеты, рассказывающие о мире, в котором они прожили уже некоторое количество лет, или просто сидят, посвистывая горлом и глядя на серую пленку дождя, сбегаящую по оконным стеклам под потолком.

В этой публичной библиотеке я и встретил Рафинада. Место было такое для него неподходящее, что я едва поверил своим глазам. Но сомнений не было. Большая голова была опущена, словно тонкий

черенок шеи не выдерживал ее тяжести, и я видел тонкую, младенчески-розовую кожу на тех местах, где прежде времени вылезли волосы. Его короткие ручки в сморщенных рукавах из синей диагонали симметрично лежали на столе, как пара домашних колбас на мясном прилавке. Короткие белые пальцы по-детски шевелились на желтой лакированной крышке. Он просматривал иллюстрированный журнал.

Потом одна рука, правая рука, неуловимым движением, которое я так хорошо помнил, нырнула под стол — видимо, в боковой карман пиджака — и, вернувшись с куском

сахара, сунула его в рот. Неуловимое движение руки напомнило мне о пистолете, и я подумал, носит ли он его теперь. Я посмотрел на левый бок, под мышку, но не разглядел. Синий пиджак Рафинада всегда был ему велик.

Да, это был Рафинад, и я не хотел с ним встречаться. Если бы он поднял голову, его взгляд упал бы прямо на меня. Но он был поглощен журналом, и я потихоньку двинулся к двери. Я огибал его стол и почти вышел из поля его зрения, когда он поднял голову и наши взгляды встретились. Он поднялся со стула и подошел ко мне.

Я ограничился неопределенным

кивком, который можно было принять и за приветствие — довольно прохладное и нерасполагающее приветствие, — и за знак выйти со мной в коридор для разговора. Он выбрал именно это истолкование и последовал за мной. Я не подождал его за дверью, а прошел по коридору к лестнице (залы периодики в публичных библиотеках всегда расположены в полуподвале, рядом с мужским туалетом), которая вела в вестибюль. Может, он это поймет как намек. Но он не понял. Он мягко подтопал ко мне в своих синих диагоналевых брючках, которые висели на задуге и собирались гармошкой на черных мягких

тупоносых туфлях.

— К-к-как... — начал он, брызнув слюной, и по лицу его поползла виноватая, страдальческая гримаса.

— Я живу, — сказал я. — А ты как живешь?

— Ни-ни-н-ничего.

Мы стояли в закопченном полуподвальном коридоре публичной библиотеки, вокруг нас на цементном полу валялись окурки, за спиной у нас была дверь мужской уборной, и в воздухе пахло старой бумагой, пылью и дезинфекцией. Было утро, половина двенадцатого, серое небо на улице протекало, как ветхий промокший тент. Мы посмотрели друг на друга. Оба знали,

что прячемся здесь от дождя, потому что больше некуда деться.

Он повозил ногой по полу, посмотрел на пол, потом снова на меня.

— Я м-м-могу п-п-получить работу, — серьезно сообщил он.

— Конечно, — равнодушно сказал я.

— Я п-п-просто не х-х-хочу. П-п-пока, — сказал он. — Мне п-п-пока что н-н-неохота.

— Конечно, — повторил я.

— Я н-н-накопил н-н-немного денег, — сказал он, как бы оправдываясь.

— Конечно.

Он посмотрел на меня

вопросительно.

– Вы н-н-нашли р-р-работу?

Я помотал головой и чуть было не повторил в свое оправдание его слова – что я мог бы получить работу, если бы захотел. Я мог бы сидеть, положив ноги на стол красного дерева в светленьком кабинете, рядом с кабинетом Крошки Дафи. Если бы захотел. И когда я подумал об этом со скучной насмешкой, передо мной, словно молнией вырванное из темноты, открылось то, что положил мне прямо в руки господь. «Дафи, – подумал я, – Дафи».

И передо мной стоял Рафинад.

– Послушай, – сказал я и

наклонился над ним в пустом коридоре. — Послушай, ты знаешь, кто убил Хозяина?

Он посмотрел на меня, нагнув набок большую голову на тонкой шее, и лицо его начало болезненно подергиваться.

— Да, — сказал он. — Да... Я з-за-застрелил гада.

— Да, — сказал я, — ты застрелил Стентона... — И меня пронзила мысль об Адаме Стентоне, который был живым когда-то, а теперь — мертвым, и ненависть к этому уродливому, жалкому существу. — ... Да, ты застрелил его.

Голова слабо качнулась на тонкой шее, и он повторил:

– Я застрелил его.

– А если ты не все знаешь? – сказал я, наклоняясь над ним. – А если за Стентоном кто-то стоял, если кто-то подговорил его?

Я ждал, пока до него дойдет, и наблюдал, как беззвучно искажается его лицо.

– А если бы я сказал тебе, кто это, – продолжал я, – если бы я мог доказать – что бы ты сделал?

Вдруг лицо его перестало дергаться. Оно стало ясным, как у младенца, и спокойным тем покоем, какой появляется иногда от напряжения.

– Ну, что бы ты сделал?

– Я убил бы гада. – Он произнес

это без запинки.

— Тебя бы повесили, — сказал я.

— Я убил б-б-бы. П-п-пока н-н-не убил, н-н-не могут повесить.

— Пойми, — прошептал я, наклоняясь еще ближе, — тебя бы повесили.

Он всматривался в мое лицо.

— К-к-кто, кто он?

— Тебя бы повесили. Ты уверен, что убил бы его?

— К-к-кто, кто... — начал он. Он схватил меня за пиджак. — В-в-вы з-з-з-знаете... — сказал он, — в-в-в-вы з-з-з-знаете что-то и н-н-не говорите.

Я мог сказать ему. Я мог сказать: приходи сюда в три часа, я тебе кое-что покажу. Я мог принести

заявление Сэди, заявление, которое лежало у меня на столе, и ему надо было только взглянуть. Только взглянуть. Это было бы все равно что нажать спусковой крючок.

Его руки цеплялись за мой пиджак.

— С-с-скажите мне, — повторял он.

Только взглянуть. И все. Я мог встретиться с ним здесь сегодня. Мы могли зайти в уборную, и он бы только взглянул, а я пошел бы домой и сжег бумаги. Черт, да зачем их жечь? Я ведь предупредил замухрышку, что его повесят, — я чист.

Он дергал меня, назойливо и слабо повторяя:

– Скажите мне, л-л-лучше с-с-скажите.

Это было так просто. Это было точно. И точная математическая ирония замысла – точное повторение хода Дафи – поразила меня так, что я едва не расхохотался.

– Слушай, – сказал я Рафинаду. – Перестань меня дергать и слушай. Сейчас я тебе...

Он перестал меня дергать и смирно стоял передо мной.

Он сделает это. Я знал, что он это сделает. И так подшутить над Дафи! – я чуть не расхохотался. Когда я произнес про себя имя Дафи, передо мной возникло его лицо – большое, круглое, жирное, оно по-

родственному кивало мне, словно оценив шутку, и едва я открыл рот, чтобы произнести его имя, как он подмигнул. Он подмигнул мне по-братски, откровенно. Я стоял как столб.

Лицо Рафинада снова искривилось. Он хотел спросить еще раз. Я посмотрел на него сверху.

— Я пошутил, — сказал я.

Лицо его сделалось воплощением пустоты, а затем — воплощением смерти. Там не было даже вспышки ярости. Была холодная простодушная смертельная определенность. Лицо словно застыло в мгновение ока в этой определенности и походило на лицо

человека, погребенного в снегах — давным-давно, много веков назад, может быть, в ледниковый период, — и ледник ползет с ним вниз, век за веком, сантиметр за сантиметром, и вот во всей его первобытной чистоте и смертном простодушии лицо глядит на вас из-под последнего слоя ледяной глазури.

Я стоял перед ним целую вечность. Я не мог пошевелиться. Я был уверен, что погиб.

Но вот ледяное лицо исчезло. Передо мной было просто лицо Рафинада, его голова, чересчур большая для тонкой шеи, и она говорила:

— Еще бы чуть-чуть, и я... это.

Я облизал пересохшие губы.

— Я знаю, — сказал я.

— З-з-зачем вы так с-с-со м-м-мной поступили? — жалобно проговорил он.

— Извини.

— В-в-вы знаете, к-к-как я п-п-переживаю, з-з-зачем вы так г-г-говорили?

— Я знаю, как ты переживаешь, — сказал я. — Извини. Я не хотел, честное слово.

— Н-н-ничего, — сказал он.

Он стоял передо мной, поникший и несчастный, и казался еще меньше, чем всегда, словно кукла, из которой высыпалась половина опилок.

Я разглядывал его. Потом я сказал, наверно, не столько ему, сколько себе:

– Ты бы и в самом деле его убил.

– Это же б-б-был Х-х-хозяин, – сказал он.

– Даже если бы тебя повесили.

– Н-н-не было д-другого т-т-такого человека, как Х-х-хозяин. И его убили. В-в-взяли и убили.

Он пошаркал ногами по цементному полу и посмотрел на них.

– Он т-так х-х-хорошо умел г-г-говорить, – заикаясь выдавил он. – Х-х-хозяин умел. Н-н-никто н-н-не умел так, к-к-как он. Когда он г-г-говорил речь и все к-к-кричали,

прямо к-к-как будто ч-ч-что-то у т-т-тебя т-т-тут л-ло-о-палось. — Он поднес руку к груди, чтобы показать, где у тебя как будто что-то лопалось. Потом вопросительно посмотрел на меня.

— Да, — согласился я. — Это он умел.

Мы постояли там еще с полминуты, не зная, о чем говорить. Он посмотрел на меня, потом вниз, на ноги. Потом снова на меня и сказал:

— Н-н-ну, я т-т-тогда п-пойду?

Он протянул мне свою ручку, и я пожал ее.

— Ну, счастливо, — сказал я.

И он стал подниматься по

лестнице, сильно сгибая в коленях культяпистые ножки, чтобы достать до следующей ступеньки. Когда он водил большой черный «кадиллак», он всегда подкладывал за спину плоские подушечки (такие обычно берут с собой на пикник или в байдарку), чтобы нормально работать педалями тормоза и сцепления.

Такой была моя последняя встреча с Рафинадом. Он родился в ирландской части города. Он был коротышкой, которого большие ребята принимали в игру, если не хватало народу. Они играли в бейсбол, но он для игры не годился. «Эй, Обрубок, — говорили они, —

сбегай за битой». Или: «Эй, Обрубок, сбегай за кока-колой». И он бегал за битой и за кока-колой. Или они говорили: «Ладно, заткнись, Спотыка, напишешь мне письмо». И он затыкался. Но когда-то, где-то он понял, на что он годится. В этих коротких ручках машина закладывала виражи так же чисто, как ласточка вокруг амбара. Эти бледно-голубые глаза, казавшиеся плоскими, могли глянуть вдоль ствола 9,65-миллиметрового пистолета и увидеть, действительно увидеть на одно застывшее апокалипсическое мгновение, что там впереди. И вот в один прекрасный день он очутился в большом черном «кадиллаке», и две

тонны дорогих механизмов ожили под его пальцами, а вороненый пистолет притаился в темноте под мышкой, словно опухоль. И рядом сидел Хозяин, который так хорошо умел говорить.

«Ну, счастливо», – сказал я ему, но я знал, какое его ожидает счастье. Однажды утром я возьму газету и прочту, что некий Роберт (или Роджер?) О’Шиин погиб в автомобильной катастрофе. Или был застрелен неизвестными, когда сидел в машине возле какого-нибудь игорного притона «Где нет любви, там нет веселья», принадлежащего его нанимателю. Или в то утро без посторонней помощи подошел к

эшафоту в результате того, что сумел нажать на собачку раньше, чем полицейский — по фамилии, разумеется, Мерфи. А может быть, все это чересчур романтично. Может, он будет жить вечно, переживет всех, только нервы его откажут (спиртное, наркотики или просто время возьмет свое), и, пока серые зимние дожди заливают оконные стекла, он будет утро за утром просиживать в полуподвальном зале публичной библиотеки, склонившись над иллюстрированным журналом, — тщедушный, лысый старичок в обтрепанном костюме.

Так что, может быть, я не оказал Рафинаду услуги, промолчав о

Крошке Дафи, не позволив ему ударить прямо в цель и закончить свое существование, подобно пуле. Может быть, я украл у Рафинада единственное, что он заработал прожитыми годами, — то, что выражало его сущность, и теперь его жизнь, как бы она ни сложилась, будет пустой и случайной, отходами, кислой вонючей сывороткой подлинности вроде той, какую находишь в полупустой бутылке молока, забытой в холодильнике перед отъездом в отпуск.

А может, у Рафинада было что-то такое, что вообще нельзя украсть.

Я стоял в коридоре после его ухода и раздумывал над этим, вдыхая

запах старой бумаги и дезинфекции. Потом я вернулся в зал периодики, сел и взялся за иллюстрированный журнал.

Когда я встретился с Рафинадом в библиотеке, шел февраль. Жизнь я продолжал вести прежнюю, кутаясь в бесцельность и неприметность, как в одеяло. Но что-то уже переменялось если не в обстоятельствах моей жизни, то в моем сознании. И в конце концов через несколько месяцев — в мае, если быть точным, — перемена, которую произвела в моем сознании встреча с Рафинадом, заставила меня поехать к Люси Старк. Во всяком

случае, теперь я понимаю, что дело обстояло именно так.

Я позвонил на ферму, где она жила до сих пор. По телефону она разговаривала спокойно. И пригласила меня к себе.

И вот я снова сидел в гостиной белого домика среди ореховой мебели, обитой красным плюшем, и разглядывал цветочный узор ковра. Давно уже ничто не менялось в этом доме и еще долго не будет меняться. Но Люси немного изменилась. Она располнела, седина в ее волосах сделалась заметнее. Она стала больше похожа на ту женщину, которую напомнил мне дом при первом посещении: на почтенную

пожилую женщину в клетчатом ситцевом платье, в белых чулках и мягких черных туфлях, которая сидит в качалке, сложив руки на животе, и отдыхает, потому что вся дневная работа переделана, мужчины — в поле, а доить и думать об ужине еще рано. Она еще не превратилась в эту женщину, но лет через шесть-семь превратится.

Я сидел, рассматривая цветок на ковре, время от времени поднимал глаза на нее и снова опускал на цветок, а ее взгляд блуждал по комнате с тем рассеянным выражением, с каким оглядывает комнату хорошая хозяйка, чтобы поймать на месте преступления

пылинку. Мы все время о чем-то говорили, но разговор был натянутый, трудный и совершенно пустой.

Вы знакомитесь с кем-то на пляже во время отпуска и чудесно проводите вместе время. Или в углу на вечеринке, когда звенят бокалы и кто-то наигрывает на рояле, вы беседуете с незнакомцем, и кажется, что ваш ум затачивается, правится на его уме, и новые просторы идей открываются перед вами. Или, разделяя с кем-то сильные или мучительные переживания, вы обнаруживаете глубокое душевное родство. И после вы уверены, что когда вы встретитесь снова, веселый

товарищ подарит вам прежнее веселье, блестящий незнакомец взбудоражит ваш оцепенелый ум, отзывчивый друг утешит прежней близостью. Но что-то происходит, или почти всегда происходит, с весельем, с блеском, с родством. Вы вспоминаете отдельные слова языка, на котором говорили, но вы забыли грамматику. Вы вспоминаете движения танца, но музыка больше не играет. Вот вам и все.

Так мы и сидели, довольно долго, и минуты проплывали, колыхаясь, одна за одной, как опавшие листья в неподвижном осеннем воздухе. Затем после длительного молчания она оставила

меня наблюдать за полетом листьев в одиночестве.

Но она вернулась — с подносом, на котором стоял кувшин чая со льдом, два стакана с воткнутыми в них веточками мяты и большой шоколадный торт. Обычное угощение в таком белом деревенском домике — чай со льдом и шоколадный торт. Она, должно быть, испекла торт утром по случаю моего визита.

Ну что ж, есть торт — тоже занятие. Никто не потребует, чтобы вы разговаривали, набив рот тортом.

Однако в конце концов она заговорила сама. Может быть оттого, что перед ней на столе стоял торт, кто-то ел ее торт, и она знала, что это

хороший торт, а в комнате этой уже многие годы по воскресеньям сидели люди и ели торт, она решилась заговорить.

Она сказала:

— Вы знаете, Том умер.

Тон ее был вполне прозаичен, и это меня успокоило.

— Да, — ответил я, — знаю.

Я прочел об этом в газете, еще в феврале. Я не поехал на похороны. Я решил, что хватит с меня похорон. И не написал ей письма. Я не мог написать ей хорошее письмо с соболезнованиями и не мог написать ей письмо с поздравлениями.

— От воспаления легких, — сказала она.

Я вспомнил слова Адама, что именно так чаще всего умирают эти больные.

— Он умер очень быстро, — продолжала она. — В три дня.

— Да, — сказал я.

Помолчав, она сказала:

— Я примирилась. Я со всем теперь примирилась, Джек. Бывает минута, когда кажется, что еще одного несчастья ты не вынесешь, но оно приходит, а ты продолжаешь жить. Но теперь я примирилась, с божьей помощью.

Я промолчал.

— И когда я примирилась, бог послал мне то, ради чего я могу жить.

Я пробормотал что-то невнятное.

Она вдруг встала; решив, что меня отпускают, я неловко поднялся и начал говорить какие-то полагающиеся при прощании слова. Мне не терпелось уйти. Я ругал себя за то, что приехал. Но она дотронулась до моего рукава и сказала:

— Я хочу вам показать. — Она направилась к двери. — Пойдемте, — сказала она.

Я вышел за Люси в маленькую переднюю, а из нее — в заднюю комнату. Она проворно пересекла комнату. Там у окна стояла детская кроватка, которой я сначала не

заметил, и в кроватке лежал ребенок.

Она стояла по другую сторону кроватки и видела мое лицо в ту секунду, когда я понял, что мне хотят показать. Думаю, что лицо мое представляло собой любопытное зрелище. Затем она сказала:

– Это ребенок Тома. Мой внучек.
Сын Тома.

Наклонившись над кроваткой, она потрогала ребенка там и сям, как обычно делают женщины. Потом она подняла его, просунув под затылок руку, чтобы поддержать его головку. Ребенок зевнул, глазки его съехались к носу и разъехались, а потом от бабушкиного квохтанья и покачиванья появилась мокрая

розовая беззубая улыбка, как на рекламе. На лице Люси Старк было в точности такое выражение, какое должно быть в подобных случаях, и это выражение говорило все, что можно сказать о данном предмете. Она обошла кроватку и поднесла ребенка мне.

— Очень красивый ребенок, — сказал я и, как полагается, протянул ребенку палец, чтобы он за него ухватился.

— Он похож на Тома, — сказала она. — Вам не кажется?

И прежде чем я успел придумать ответ, который не был бы чересчур отталкивающей ложью, она продолжала:

– Ну, конечно, глупо вас об этом спрашивать. Как вы можете знать? Я хотела сказать, что он похож на Тома, когда он был маленьким. – Она замолчала, чтобы еще раз полюбоваться на ребенка. – Он похож на Тома, – сказала она скорее себе, чем мне. Потом она посмотрела мне в глаза. – Я знаю, это его ребенок, – с жаром объявила она. – Это ребенок Тома, он похож на него.

Я критически осмотрел ребенка и кивнул.

– Да, сходство есть, – согласился я.

– И подумать только, – сказала она, – было время, когда я молилась богу, чтобы он оказался чужим

ребенком. Чтобы на Томе не было вины. — Ребенок у нее в руках дрыгнул ножкой. Мальчик и вправду был крепенький, симпатичный. Она одобрительно качнула его раз-другой и обернулась ко мне. — А потом, — продолжала она, — я молилась, чтобы он оказался ребенком Тома. Теперь я в этом уверена.

Я кивнул.

— Я сердцем это чувствую, — сказала она. — И потом, как вы думаете, неужели эта бедная девочка... его мать... отдала бы мне его, если бы не была уверена, что это ребенок Тома? Неважно, как эта девочка поступала... Даже если правда то, что о ней говорят... Но

разве мать может не знать? Она должна знать.

— Да, — сказал я.

— Но я сама это чувствовала. Сердцем. Я написала ей письмо. Я поехала к ней, увидела маленького. О, я поняла не только это. Когда его увидела и взяла на руки. Я убедила ее, что должна его усыновить.

— Но вы оформили это юридически? — спросил я. — Чтобы она не... не тянула из вас... — произнес я после некоторой заминки.

— А-а, да, — ответила она, видимо не уловив моей мысли. — Я наняла адвоката, чтобы он съездил к ней и все оформил. И денег ей

немного дала. Бедная девочка хотела уехать отсюда, перебраться в Калифорнию. Денег после Вилли осталось не много — он истратил почти все, что заработал, — но я дала ей сколько могла. Шесть тысяч долларов.

Итак, Сибилла все же не осталась в убытке, подумал я.

— Хотите его поддержать? — предложила Люси в порыве великодушия, протягивая мне дорогостоящее дитя.

— Конечно, — сказал я и взял его. Я прикинул его на вес с большой осторожностью, чтобы он не рассыпался у меня в руках. — Сколько он весит? — спросил я и вдруг понял,

что говорю, как человек, собирающийся что-то купить.

— Шесть девятьсот, — живо ответила она и добавила: — Это очень хорошо для трехмесячного.

— Да, — сказал я, — это много.

Она освободила меня от ребенка, легонько тиснула его, прижав к груди и наклонив к нему лицо, а потом положила его в кроватку.

— Как его зовут? — спросил я.

Она выпрямилась и, обойдя кроватку, стала рядом со мной.

— Сначала, — сказала она, — я хотела назвать его Томом. Я было почти решила. Но потом поняла. Я назову его как деда. Его зовут Вилли,

Вилли Старк.

Я вышел за ней в маленькую переднюю. Мы остановились у стола, где лежала моя шляпа. Она повернулась и пристально заглянула мне в лицо, как будто в передней был плохой свет.

— Знаете, — сказала она, — я потому назвала его Вилли...

Она все еще вглядывалась в мое лицо.

— ...потому, — продолжала она, — потому что Вилли был великим человеком.

Я, кажется, кивнул.

— Да, я знаю, он совершал ошибки, — сказала она и подняла подбородок как будто с вызовом, —

тяжелые ошибки. Может быть, он нехорошо поступал, как тут говорят. Но здесь... в глубине... в душе... — она положила руку на грудь, — ...он был великим человеком.

Она больше не интересовалась моим лицом, не пыталась разгадать его выражение. Сейчас я ее не интересовал. Как будто меня не было.

— Он был великим человеком, — заключила она почти шепотом. Затем она снова посмотрела на меня, уже совсем спокойно. — Понимаете, Джек, — сказала она, — я должна в это верить.

Да, Люси, вы должны в это

верить. Вам надо в это верить, чтобы жить. Я знаю, что вы должны в это верить. Я и не ожидал от вас ничего другого. Так и должно быть, и я это понимаю. Ведь дело в том, Люси, что я сам должен в это верить. Я должен верить, что Вилли Старк был великим человеком. Что случилось с его величием — это другой вопрос. Может быть, он пролил его на землю, как проливается жидкость из разбитой бутылки. Может быть, он свалил его в кучу и разом сжег, в темноте, словно большой костер, — и не осталось ничего, кроме темноты и мерцающих углей. Может быть, он не умел отличить свое величие от своего ничтожества и так смешал их, что

все испортил. Но величие в нем было. Я должен в это верить.

И когда я пришел к этому убеждению, я вернулся в Берденс-Лендинг. Я пришел к этому убеждению не тогда, когда смотрел вслед Рафинаду, поднимавшемуся по лестнице из полуподвального коридора публичной библиотеки, и не тогда, когда Люси Старк стояла передо мной в передней облезлого белого домика на ферме. Но и это и все другие события, происходившие вокруг меня, привели меня в конце концов к такому убеждению. И, веря, что Вилли Старк был великим человеком, я могу лучше думать об остальных людях и о себе самом. И в

то же время еще увереннее могу осудить себя.

Я вернулся в Берденс-Лендинг ранним летом по просьбе матери. Однажды ночью она позвонила мне и сказала:

— Мальчик, я прошу тебя приехать. Поскорее. Ты можешь приехать завтра?

Когда я спросил, зачем я ей нужен — я еще не хотел возвращаться, — мать уклонилась от прямого ответа. Она сказала, что все объяснит, когда я приеду.

И я поехал.

Я подрулил к дому в конце дня. Она ждала меня на веранде. Мы перешли на боковую галерею и

выпили. Она говорила мало, а я ее не торопил.

Но в семь часов Молодой Администратор не появился, и я спросил ее, придет ли он к обеду.

Она помотала головой.

— Где он? — спросил я.

Она повернула в пальцах пустой стакан, льдинки там тихо звякнули. Наконец она сказала:

— Не знаю.

— В отъезде? — спросил я.

— Да, — ответила она, позвякивая льдинками. Потом повернулась ко мне. — Теодор уехал пять дней назад, — сказала она. — И не вернется, пока я не уеду. Понимаешь... — Она опустила стакан на столик с видом

человека, принявшего окончательное решение. — Я ухожу от него.

— Черт подери, — пробормотал я.

Она продолжала смотреть на меня, словно чего-то ожидая. Чего — я не мог понять.

— Черт подери, — сказал я, пытаюсь как-то уложить в голове эту новость.

— Ты удивлен? — спросила она, слегка подавшись вперед в своем кресле.

— Еще бы.

Она внимательно наблюдала за мной, и я замечал на ее лице любопытные переливы чувств, слишком неясных и мимолетных, ускользающих от определения.

– Еще бы не удивлен, – повторил я.

– Да? – сказала она и откинулась в кресле, утонула в нем, как человек, который упал в воду и тянется к веревке, хватает ее на миг и выпускает, снова тянется, и не может достать и знает, что пытаться дальше – бесполезно. Теперь в лице ее не было ничего неясного. Оно было точно таким, как я сейчас описал. Она упустила веревку.

Она отвернулась от меня к заливу, как будто не хотела, чтобы я видел ее лицо. Потом сказала:

– Я думала... я думала, тебя это не удивит.

Я не мог объяснить ей, почему я,

да и любой другой человек, должен был удивиться. Я не мог объяснить ей, что если женщине ее возраста удастся поймать на крючок мужчину ненамного старше сорока лет и не разорившегося в пух, то очень удивительно, что она за него не держится. Даже если у женщины есть состояние, а мужчина – такая задница, как Молодой Администратор. Я не мог ей объяснить и потому промолчал.

Она продолжала смотреть на залив.

– Я думала, – начала она и после короткой заминки продолжала: – Я думала, Джек, ты поймешь почему.

– Знаешь, нет, – ответил я.

Она немного помолчала.

— Это случилось в прошлом году, я сразу почувствовала, когда это случилось... Ах, да я ведь знала, что так и будет.

— Что случилось?

— Когда ты... когда ты... — Она запнулась, подбирая какие-то другие слова. — Когда Монти умер.

Она опять повернулась ко мне, лицо ее выражало мольбу. Она опять пыталась поймать веревку.

— Джек, Джек, — сказала она, — это все Монти... ты понимаешь? Монти.

Мне казалось, что я понимаю; так я ей и сказал. Я вспомнил серебряный чистый крик, который

выбросил меня в переднюю в день смерти судьи Ирвина, лицо матери, когда она лежала на кровати и весть проникала в ее сознание.

— Монти, — говорила она. — Всегда был Монти. Только я этого не понимала. Между нами... давно уже ничего не было. Но всегда был только Монти. Я поняла это, когда он умер. Я не хотела понимать, но я это поняла. И я больше не могла так жить. Настал момент, когда я почувствовала, что не могу. Не могу.

Она поднялась с кресла — рывком, как будто ее сдернули.

— Не могу, — сказала она. — Потому что все перепуталось. Все было перепутано с самого начала. —

Ее руки скручивали и рвали платок, который она держала у живота. — Ох, Джек, — вскрикнула она, — все перепутано, с самого начала.

Она бросила изодранный платок и выбежала с галереи. Я слышал стук ее каблуков в комнате, но это не была прежняя ясная, бойкая дробь. Это было какое-то безнадежное неряшливое кляцанье, вдруг заглохшее на ковре.

Я подождал немного на галерее. Потом пошел на кухню.

— Мать плохо себя чувствует, — сказал я кухарке. — Ты или Джо-Белл поднимитесь к ней попозже, узнайте, может быть, она поест бульона с яйцом или еще чего-нибудь.

Затем я отправился в столовую, сел за стол при свечах, мне принесли обед, и я его поковырял.

После обеда пришла Джо-Белл и сказала, что она была наверху с подносом, но мать его не взяла. Она даже не открыла дверь. Она просто крикнула из комнаты, что ничего не хочет.

Я долго сидел на галерее; звуки на кухне смолкли. Потом свет погас и у нее. Зеленый прямоугольник на черной земле — там, где свет из окна падал на траву, — вдруг тоже стал черным.

Немного погодя я поднялся наверх и постоял у ее двери. Раз или два я чуть не постучал. Но решил,

что, если даже войду, говорить будет не о чем. Что можно сказать человеку, который узнал о себе правду — неважно, горька она или радостна?

Поэтому я спустился обратно и, стоя в саду среди черных магнолий и миртов, думал о том, как, убив отца, я спас душу матери. Оба они открыли то, что им нужно было знать для спасения. Потом я подумал, что, может быть, всякое знание, которое чего-то стоит, оплачивается кровью. Может быть, только так ты можешь определить, стоит ли чего-нибудь твое знание; оно должно быть куплено кровью.

Мать уехала на другой день. Она отправлялась в Рино. Я отвез ее на станцию и в ожидании поезда аккуратно выстроил на платформе все ее чистенькие, подобранные в тон чемоданы, саквояжи, сумки и картонки. День был жаркий и ясный, мы стояли на горячем зернистом цементе, с той пустотой в мыслях, какая предшествует обычно расставанию на железнодорожной станции.

Мы стояли довольно долго, глядя на пути, которые бежали по береговой низине мимо сосен к колеблющемуся от зноя горизонту, где должна была возникнуть маленькая клякса дыма.

Неожиданно мать заговорила:

— Джек, я хочу тебе что-то сказать.

— Да?

— Я оставляю дом Теодору.

От изумления я не мог произнести ни слова. Я вспомнил, как все эти годы она набивала дом мебелью, хрусталем, серебром, пока он не превратился в музей, а она — в сущий клад для антикваров Нью-Орлеана, Нью-Йорка и Лондона. Я думал, что никакая сила не заставит ее с этим расстаться.

— Понимаешь, — поспешила объяснить она, неправильно истолковав мое молчание. — Теодор ведь ни в чем не виноват, а ты

знаешь, как он помешан на этом доме, на том, что мы живем на набережной, и прочее. И я подумала, что ты не захочешь тут жить. Понимаешь... я подумала... подумала, что у тебя есть дом Монти, и если ты будешь жить в Лендинге, то предпочтешь его дом, потому что... потому что...

— Потому что он был моим отцом, — закончил я немного угрюмо.

— Да, — спокойно согласилась она. — Потому что он был твоим отцом. И я решила...

— Да ну его к черту, — не выдержал я. — Это твой дом, и ты можешь делать с ним что угодно. Мне он не нужен. Сегодня я соберу

свои пожитки, и ноги моей там не будет. Можешь мне поверить. Мне он не нужен, и мне безразлично, что ты будешь делать с ним и со своими деньгами. Они мне тоже не нужны. Я тебе всегда говорил.

— Не так их много осталось, чтобы стоило из-за них волноваться, — сказала она. — Ты же знаешь, как мы жили эти шесть или семь лет.

— Ты разорилась? — спросил я. — Слушай, если ты на мели, я тебе...

— Не разорилась, — сказала она. — На жизнь мне хватит. Если поселиться где-нибудь в тихом месте и жить скромно. Сначала я думала поехать в Европу, но потом...

— Да, держись от Европы

подальше, — сказал я. — Там скоро будет ад кромешный. Очень скоро.

— Нет, я не поеду. Я поеду куда-нибудь в тихое недорогое место. Еще не знаю куда. Надо подумать.

— Ладно, — сказал я. — А насчет меня и дома можешь не беспокоиться. Ноги моей там не будет, это я тебе твердо обещаю.

Несколько минут она задумчиво смотрела на восток, туда, где за соснами и береговой низиной терялась пустая пока дорога. Затем, словно подхватив мои слова, сказала:

— Не надо мне было жить в этом доме. Вышла замуж... приехала сюда... он был хорошим человеком. Все равно надо было оставаться

дома. Зачем я поехала?

Трудно было с этим спорить и так же трудно согласиться, поэтому я молчал.

Но, видимо, она обсуждала этот вопрос не со мной, потому что, внезапно подняв голову, она посмотрела на меня и сказала: «Что ж, я это сделала. Но теперь я знаю». И, откинув свои ладные плечи в ладном голубом полотняном костюме, она подняла лицо, как раньше — как дьявольски дорогой подарок людям, — и пусть только люди попробуют не выразить благодарности.

Да, теперь она знала. И, стоя под солнцем на горячем цементе, она,

казалось, размышляла над тем, что узнала. Однако размышляла она о другом. Потому что немного погодя она повернулась ко мне:

— Мальчик, скажи мне одну вещь.

— Какую?

— Мне очень важно это знать.

— Что?

— Когда... когда это произошло... когда ты пошел к Монти...

Вот оно. Я ждал этого. И среди зноя, стоя на горячем цементе, я вдруг похолодел, мои нервы съежились от холода.

— ...он тогда... он... — Она смотрела в сторону.

— Попал в безвыходное положение и поэтому застрелился? Это ты хотела спросить? — сказал я.

Она кивнула и посмотрела мне в глаза, ожидая, что теперь будет. Я изучал ее лицо. Освещение было для него не выигрышное. Такое освещение уже никогда не будет для него выигрышным. Но она держала голову высоко, смотрела мне в глаза и ждала.

— Нет, — сказал я, — у него не было никаких неприятностей. У нас вышел небольшой спор из-за политики. Ничего серьезного. Но он жаловался на здоровье. Говорил, что плохо себя чувствует. Вот в чем дело. Он сказал мне «прощай». Теперь я

понимаю, что это означало. Больше ничего.

Она немного сникла. Больше не было нужды держаться так прямо.

— Это правда? — спросила она.

— Да, — ответил я. — Правда, клянусь богом.

— Ох, — тихо произнесла она с почти беззвучным вздохом.

Мы ждали поезда. Говорить было больше не о чем. Теперь, в последнюю минуту, она наконец спросила о том, о чем хотела спросить и боялась спросить все время.

Вскоре на горизонте показался дымок. Потом стало видно, что черный дымок движется к нам вдоль

кромки ясной воды. Потом со скрежетом и шипением, сотрясая почву, выбрасывая клубы пара, паровоз прокатился мимо нас и стал. Проводник в белом пиджаке начал собирать чистенькие сумки и чемоданы.

Мать повернулась ко мне и взяла меня за руку.

— До свиданья, мальчик, — сказала она.

— До свидания, — сказал я.

Она придвинулась ко мне, и я обнял ее одной рукой.

— Пиши мне, мальчик, — сказала она. — Пиши, ты один у меня остался.

Я кивнул.

— Напиши, как ты устроилась, —

сказал я.

— Да, — сказала она, — да.

Я поцеловал ее, и в этот миг кондуктор, стоявший за ее спиной, взглянул на часы и уронил их в карман презрительным движением, какое делает кондуктор экспресса, готовясь скомандовать отправление после полутораминутной стоянки в захолустном городишке. Я знал, что сию секунду он крикнет: «Посадка окончена!» — но эта секунда растянулась надолго. Как будто, глядя на человека на другом краю долины, ты увидел дымок над его ружьем и ждешь бог знает сколько времени, когда донесется до тебя тихий звук выстрела, или увидел молнию

вдалеке и ждешь грома. Я стоял, обняв мать одной рукой за плечи (ее щека, прижатая к моей, оказалась мокрой), и ждал, когда кондуктор крикнет: «Посадка окончена!»

Наконец он крикнул, мать отошла, поднялась по ступенькам, обернулась, помахала мне, поезд тронулся, проводник захлопнул дверь тамбура.

Я смотрел вслед поезду, увозившему мать, пока от него не осталось ничего, кроме пятнышка дыма на западе, и думал о том, как солгал ей. Что ж, я преподнес ей эту ложь как подарок на прощание. Или, в некотором роде, свадебный подарок, подумал я.

Потом я подумал, что, может быть, солгал ей, выгораживая себя.

– Нет! – с бешенством произнес я вслух. – Не ради себя я врал, не ради себя.

И это было правдой. Истинной правдой.

Я преподнес матери подарок – ложь. И она отдала меня – правдой. Она заставила меня взглянуть на нее новыми глазами, а это в конце концов привело к тому, что я увидел новыми глазами весь мир. Вернее, новое представление о матери заполнило тот пробел, который, возможно, был в центре новой картины мира,

преподнесенной мне многими людьми – Вилли Старком, Сэди Берк, Люси Старк, Рафинадом, Адамом Стентоном. Это означало, что мать вернула мне прошлое. Теперь я мог признать прошлое, которое прежде казалось мне отравленным и грязным. Теперь я мог признать прошлое, потому что мог признать ее и примириться с ней и с собой.

Многие годы я осуждал ее как бессердечную женщину, любившую лишь власть над мужчинами и краткое удовлетворение тщеславия и плоти, которое они ей давали, жившую в странном бездушном колебании между расчетом и инстинктом. И мать, чувствуя это

осуждение, но, должно быть, не понимая его причины, делала все, чтобы удержать меня и подавить осуждение. Единственное, что она могла со мной сделать, — это применить ту силу, которую она с успехом применяла к другим мужчинам. Я сопротивлялся и негодовал и в то же время хотел, чтобы она меня любила, ее сила притягивала меня, потому что она была прекрасной, полной жизни женщиной; меня тянуло к ней и отталкивало от нее, я ее осуждал, и я ею гордился. Но все переменялось.

Первым знаком для меня был серебряный исступленный крик, разнесшийся по дому в день смерти

судьи Ирвина. Этот крик звенел у меня в ушах много месяцев, но он затих, захлебнулся в грязи прошлого к тому времени, когда мать вызвала меня в Берденс-Лендинг и сказала, что уезжает. Я понял, что она говорит правду. И тогда я примирился с ней и с собой.

Я не искал этому объяснения — ни в ту минуту, когда она заговорила об отъезде, ни на другой день, когда мы стояли на цементной платформе и ждали поезда, и не тогда даже, когда я стоял там один, следя за последним пятнышком дыма, растворявшимся на западе. Я не искал этому объяснения и тогда, когда сидел в ту ночь один в доме,

который был домом судьи Ирвина и стал моим домом. Проводив мать, я запер ее дом, засунул ключ под половик на террасе и ушел из него навсегда.

В доме судьи Ирвина воздух был спертый, пахло пылью и нежилым помещением. В конце дня я растворил все окна, а сам пошел ужинать в Лендинг. Когда я вернулся и включил свет, дом стал больше похож на тот дом судьи Ирвина, который я помнил. Но, сидя в кабинете, в окна которого лился влажный, тяжелый и душистый воздух ночи, я не спрашивал себя, почему у меня так покойно на душе. Я думал о матери с чувством покоя и

облегчения и совсем по-новому ощущал мир.

Немного погодя я встал и вышел из дома на набережную. Стояла ясная ночь, волны тихо шипели на гальке берега, и залив под звездами был светел. Я шел по набережной, покуда не очутился у дома Стентонов. В маленькой задней гостиной горел свет, тусклый свет, как будто от настольной лампы. Несколько минут я смотрел на дом, потом вошел в калитку и зашагал по дорожке.

Дверь веранды была на запоре, но дверь с веранды в переднюю была открыта, и я увидел на полу прямоугольник света, падавшего

через открытую дверь задней гостиной. Я постучал. Через секунду на освещенном месте в передней появилась Анна.

— Кто там? — крикнула она.

— Это я.

Она прошла по передней, пересекла веранду. Потом я увидел в темноте за сеткой ее тонкую белую фигуру. Я хотел сказать ей «здравствуй», но не сказал. Она возилась с замком, тоже молча. Потом дверь открылась, и я вошел.

Едва ступив на террасу, я услышал запах ее духов, и холодная рука сжала мне сердце.

— Я не думал, что ты меняпустишь, — сказал я, стараясь, чтобы

это прозвучало шуткой, стараясь разглядеть в потемках ее лицо. Я видел только бледное пятно лица и темное мерцанье глаз.

— Конечно, впусти, — сказала она.

— Ну вот, а я не был уверен, — сказал я, издав нечто вроде смешка.

— Почему?

— Ну, за мое поведение.

Мы подошли к качелям на веранде и сели. Цепи скрипнули, но мы опустились так осторожно, что сиденье не шелохнулось.

— А что ты такого сделал? — спросила она.

Я порылся в кармане, нашел сигарету и закурил. Я погасил спичку, не взглянув на ее лицо.

— Что я такого сделал? — повторил я. — Спроси лучше, чего я не сделал. Я не ответил на твое письмо.

— Ничего страшного, — сказала она. Потом задумчиво, словно обращаясь к себе, добавила: — Давно это было.

— Это было давно, шесть месяцев назад, семь. Но мало того, что я на него не ответил, — сказал я. — Я его не прочел. Я поставил его на бюро и до сих пор даже не распечатал.

Она ничего не ответила. Я несколько раз затянулся, ожидая ответа, но она молчала.

— Оно пришло не вовремя, —

сказал я наконец. — Оно пришло, когда все на свете — даже Анна Стентон — казалось мне одинаковым, и мне на все было наплевать. Ты представляешь, о чем я говорю?

— Да, — сказала она.

— Ни черта ты не представляешь, — сказал я.

— Может быть, представляю, — тихо сказала она.

— Может быть, но не совсем то. С тобой такого не бывает.

— Может быть.

— В общем, поверь мне на слово. Все на свете, все люди казались мне одинаковыми. Мне никого не было жалко. Даже себя мне не было жалко.

— Я не просила меня жалеть, —

возмутилась она. – Ни в письме, ни устно.

– Да, – медленно проговорил я, – думаю, что не просила.

– Я никогда тебя об этом не просила.

– Знаю, – ответил я и замолчал. Потом сказал: – Я приехал сюда, чтобы сказать тебе, что теперь я настроен по-другому. Мне надо было кому-то сказать... сказать вслух – чтобы убедиться в этом. И это правда.

Я подождал, но на террасе было тихо, пока я снова не заговорил.

– Это из-за матери, – сказал я. – Ты ведь знаешь, как у нас было. Как мы не могли ужиться. Как я считал

ее...

– Перестань! – не выдержала Анна. – Перестань! Не смей так говорить. Откуда в тебе столько горечи? Зачем ты так говоришь! Твоя мать, Джек, и этот несчастный старик, твой отец...

– Он мне не отец, – сказал я.

– Не отец?!

– Нет, – сказал я, и в темноте, сидя на неподвижных качелях, я рассказал ей все, что мог рассказать о светловолосой девушке с впалыми щеками, которая приехала из Арканзаса, и попытался объяснить ей, что вернуло мне мать. Я попытался объяснить ей, что, если ты не можешь принять прошлого и

его бремени, у тебя нет будущего, ибо без одного не бывает другого, и что, если ты можешь принять прошлое, ты можешь надеяться на будущее, ибо только из прошлого ты можешь построить будущее.

Я попытался ей это объяснить.

После долгого молчания она сказала:

— Я тоже так думаю — если бы я этого не поняла, я не смогла бы жить.

Больше мы не разговаривали. Но мы еще долго сидели на темной веранде, затопленной тяжелым, влажным, приторно-душистым воздухом летней ночи, и я выкурил еще полпачки сигарет, пытаюсь уловить в тишине звук ее дыхания.

Наконец я сказал ей «спокойной ночи» и пошел по набережной к дому отца.

Такова история Вилли Старка, но это и моя история. Ибо история у меня есть. Это история человека, который жил в мире и долгое время видел мир определенным образом, а потом увидел его по-новому, совсем по-другому. Перемена произошла не сразу. Произошло много событий, а человек этот не знал, когда он в ответе за них, а когда нет. Больше того, было время, когда он пришел к убеждению, будто никто ни за что не отвечает и нет бога, кроме Великого Тика.

Эта мысль, навязанная ему как будто бы несчастным стечением обстоятельств, сначала показалась ему чудовищной, ибо она отнимала у него прошлое, которым он, сам того не подозревая, жил; но вскоре она принесла ему утешение, ибо означала, что его ни в чем нельзя винить — ни в том, что он упустил свое счастье, ни в том, что он убил отца, ни в том, что он предоставил двум своим друзьям уничтожить друг друга.

Но позже, много позже, проснувшись в одно прекрасное утро, он обнаружил, что больше не верит в Великий Тик. Он перестал верить, потому что слишком много людей

жило и умерло у него на глазах. На глазах у него жили Люси Старк и Рафинад, Ученый Прокурор, Сэди Берк и Анна Стентон, и их жизненные пути не имели никакого отношения к Великому Тику. На глазах у него умер отец. На глазах у него умер его друг – Адам Стентон. На глазах у него умер друг Вилли Старк, и он слышал его последние слова: «Все могло пойти по-другому, Джек. Ты должен в это верить».

На глазах у него жили и умерли два близких ему человека, Вилли Старк и Адам Стентон. Они убили друг друга. Они были обречены уничтожить друг друга. Как историк Джек Берден понимал, что Адам

Стентон, которого он мог назвать человеком идеи, и Вилли Старк, которого он мог назвать человеком факта, были обречены уничтожить друг друга, так же как были обречены использовать друг друга, стремиться друг к другу, чтобы слиться в единое, ибо каждый был нецелен из-за страшной негармоничности их века. Но, поняв, что его друзья были обречены, Джек Берден одновременно понял, что тяготевший над ними рок не имел ничего общего с предначертаниями его божества, Великого Тика. Они были обречены, но их жизнь была мучительным усилием воли. Как сказал в разговоре о моральной нейтральности истории

Хью Милер (когда-то генеральный прокурор при Вилли Старке, а впоследствии друг Джека Бердена): «История слепа, а человек – нет». (Судя по всему, Хью вернется к политике, и тогда я присоединюсь к нему, буду подавать ему пальто. Я накопил ценный опыт в этой области.)

И теперь я, Джек Берден, живу в доме моего отца. То, что я должен здесь жить, в некотором смысле странно: ведь, открыв когда-то правду, я потерял прошлое и убил отца. Но в конце концов правда вернула мне прошлое. И я живу в доме, который оставлен мне отцом. Со мной – моя жена, Анна Стентон,

и старик, который был женат когда-то на моей матери. Несколько месяцев назад, когда я нашел его больным в комнате над мексиканским ресторанчиком, мне ничего другого не оставалось, как привезти его сюда. (Верит ли он, что я его сын? Не знаю. Но это и не кажется мне важным, ибо каждый из нас — сын миллиона отцов.)

Он очень дряхл. Иногда он находит в себе достаточно сил, чтобы сыграть партию в шахматы, как играл когда-то со своим другом Монтегю Ирвином в длинной комнате в белом доме у моря. Он был очень хорошим шахматистом, но теперь стал слишком рассеян. В хорошие дни он

сидит на солнышке. Понемногу читает Библию. У него нет сил писать, но изредка он диктует мне или Анне отрывки из своего трактата.

Вчера он продиктовал мне следующее:

«Сотворение человека, которого Бог в Своем провидении обрек на греховность, было грозным знаком всемогущества Божия. Ибо для Совершенного создать простое совершенство было бы делом пустячным и смехотворно легким. По правде говоря, это было бы не сотворением, а самораспространением. Обособленность есть

индивидуальность, и единственный способ сотворить, действительно сотворить человека – это сделать его обособленным от Бога, а быть обособленным от Бога означает быть греховным.

Следовательно, сотворение зла есть знак Божией силы и славы. Так должно быть, дабы сотворение добра могло стать знаком силы и славы человека. Но с Божией помощью. С Его помощью и в мудрости Его».

Произнеся последние слова, он повернулся, внимательно посмотрел на меня и спросил:

– Ты записал?

– Да, – ответил я.

Пристально глядя на меня, он

проговорил с неожиданной силой:

– Это правда. Я знаю, что это правда. Ты это знаешь?

Я кивнул и сказал «да». Я просто не хотел его волновать, но позже решил, что по-своему верю в то, что он сказал.

Он продолжал смотреть на меня после моего ответа, потом тихо сказал:

– С тех пор как эта мысль поселилась во мне, моя душа успокоилась. Я носил ее в себе три дня. Я держал ее про себя, чтобы убедиться и испытать ее душой, прежде чем я ее выскажу.

Он не закончит трактата. Его силы с каждым днем убывают. Врачи

говорят, что он не доживет до зимы.

К тому времени, как он умрет, я буду готов расстаться с домом. Начать с того, что дом заложен и перезаложен. Когда судья Ирвин умер, дела его были запущены, и позже выяснилось, что он был не богат, а беден. Однажды дом уже был заложен — почти двадцать пять лет назад. Но тогда его спасли ценой преступления. Хороший человек совершил преступление, чтобы спасти его. Я не должен испытывать самодовольства оттого, что не согласен спасать этот дом ценой преступления. Может быть, мое нежелание спасать дом ценой преступления (если мне

представится такая возможность, что сомнительно) — это всего лишь другой способ выразить мысль, что я не так люблю дом, как любил его судья Ирвин, ибо добродетель человека может быть не чем иным, как слабостью его желаний, а его преступление — не чем иным, как функцией добродетели.

Не должен я испытывать самодовольство и оттого, что пытался как-то искупить вину моего отца. Деньги, которые я получил в наследство, должны быть отданы, думал я, мисс Литлпо в ее грязной, пропахшей лисами комнате в Мемфисе. Поэтому я ездил в Мемфис. Но там я выяснил, что она

умерла. Так мне было отказано в этом недорогостоящем проявлении моего благородства. Если мне суждено его проявить, то придется проявлять какими-то более сложными путями.

Но деньги у меня еще есть, и я трачу их на жизнь, пока пишу книгу, начатую много лет назад, — книгу о жизни Касса Мастерна, которого я не мог когда-то понять, но теперь, может быть, пойму. Мне кажется, есть какая-то ирония в том, что, описывая жизнь Касса Мастерна, я живу в доме судьи Ирвина и ем хлеб, купленный на его деньги. Ибо у судьи Ирвина и Касса Мастерна не очень много общего. (Если судья

Ирвин и похож на кого-нибудь из Мастернов, то не на Касса, а на его гранитоголового брата Гилберта.) Но ирония этого положения не кажется мне особенно смешной. Это положение слишком напоминает мир, в котором мы живем с рождения до смерти, и ирония от повторения становится пошлой. Кроме того, судья Ирвин был моим отцом, он был добр ко мне, он был по-своему человеком, и я его любил.

Когда старик умрет и книга будет окончена, я передам дом Первому и Третьему национальному банку, и мне безразлично, кто в нем будет жить, ибо с этого дня он станет для меня всего-навсего удачно

сложенной грудой кирпича и бревен. Мы с Анной никогда больше не будем здесь жить — ни в доме, ни в Лендинге. (Ей хочется жить здесь не больше, чем мне. Свое имение она отдала детскому дому, над которым попечительствовала, и, как я понимаю, оно станет чем-то вроде санатория. Она не испытывает особого самодовольства по этому поводу. После смерти Адама дом стал не радостью для нее, а мукой, и этот дар в конечном счете был даром тени Адама — скромный дар, как горсть пшеницы или расписной горшок в могиле, которыми ублажают душу усопшего, чтобы она отправилась в свой путь и

больше не тревожила живых.)

Итак, летом этого, 1939 года нас уже не будет в Берденс-Лендинге.

Мы, конечно, вернемся, чтобы пройти по набережной и увидеть молодых людей на теннисных кортах у купы мимоз, пройти по берегу залива, где вышки для ныряния мягко вырисовываются на солнце, углубиться в сосновую рощу, где толстый ковер игольника заглушит шаги так, что мы будем двигаться среди деревьев беззвучнее дыма. Но это будет нескоро, а пока мы уйдем из дома в кипящий мир, из истории в историю, чтобы снова держать ответ перед Временем.

notes

Примечания

1

известный американский
велосипедист и автогонщик

св. Христофор считается
покровителем путников

Натан Б.Форрест – генерал
армии конфедератов,
прославившийся смелыми
кавалерийскими рейдами по тылам
северян

«человек ощущений», «человек
чувственных восприятий» (фр.)

хрипом (фр.)

речь президента Линкольна на
открытии национального солдатского
кладбища в Геттисберге 19 ноября
1863 года

Военный крест – французский орден

религиозная организация
МОЛОДЫХ МЕТОДИСТОВ

студенческое общество

Фердинанд Фош – маршал Франции; в 1917 г. – начальник генштаба, с марта 1918 г. – главнокомандующий вооруженными силами Антанты; Джон Першинг – американский генерал; в 1917–1919 гг. – главнокомандующий американскими экспедиционными силами в Европе; сэр Дуглас Хейг – английский маршал, главнокомандующий английской экспедиционной армией во Франции в 1915–1918 гг.; Верцингеторикс – галльский вождь; возглавлял галльское национальное восстание

против Юлия Цезаря в 52–51 гг. до н.э.; Веркассивеллаун – один из начальников галльского ополчения, двоюродный брат Верцингеторикса; Критогнат – сподвижник Верцингеторикса, герой обороны Алезии, последней крепости Верцингеторикса; Эрих Людендорф – германский генерал, в 1914–1916 гг. – начальник штаба VIII армии, с 1916 г. – обер-квартирмейстер ставки; Эдит Кейвел – английская деятельница Красного Креста, во время первой мировой войны была старшей сестрой госпиталя Красного Креста в Брюсселе, в октябре 1915 г. расстреляна немцами за помощь военнопленным

эти слова из Библии Линкольн использовал в речи на съезде республиканской партии штата Иллинойс в Спрингфилде 16 апреля 1858 года

имя вождя конфедерации
индейских племен в Виргинии во
времена первых английских
поселенцев

Джефферсон Дэвис —
американский государственный
деятель; в период Гражданской
войны (1861–1865) — президент
Конфедерации южных штатов

...и, обратясь, проблистала выей
румяной;

И, как амбросия, дух
божественный пролили косы

С темени; пали струей до самых
ног одеянья;

В поступи явно сказалась
богиня.

Вергилий. Энеида (Перевод
В.Брюсова)

через полтора месяца после избрания Линкольна президентом, 20 декабря 1860 года, штат Южная Каролина объявил о своем выходе из Союза, за ним последовали шесть других южных штатов; на конгрессе в Монтгомери 4 февраля 1861 года рабовладельцы провозгласили отдельную «Конфедерацию американских штатов»

битва при Шайло (апрель 1862 г.) – одно из кровопролитнейших сражений Гражданской войны

битвы при реке Чикамога (сентябрь 1863 г.) и городе Чаттануга (октябрь 1863 г.) – крупнейшие сражения Гражданской войны; генерал Бракстон Брагг командовал в них войсками конфедератов; Ноксвилл был занят федеральной армией в сентябре 1863 года; в ноябре и декабре его безуспешно осаждали войска южан

речь идет о так называемой Атлантской кампании (май-сентябрь 1864 года); генерал Джозеф Джонстон, сменивший Брагга на посту командующего Теннессийской армией, избегал решительных боев, стараясь спасти армию от разгрома и в то же время замедлить продвижение превосходящих сил Шермана от Чаттануги к Атланте

Ионафан – сын царя Саула и друг Давида (библ.); Дамон – философ-пифагореец из Сиракуз; около 360 года до н.э., когда его друг был приговорен к смертной казни и попросил отсрочку для устройства домашних дел, Дамон остался вместо него заложником

шалью (исп.)

Сигареты? (исп.)

Вам какие? (исп.)

Старик наверху? (исп.)

Кто его знает? Приходит и
уходит (исп.)

Его? (исп.)

Да, сеньор. Он как блаженный
(исп.)

он сумасшедший (исп.)

Добрый вечер (исп.)

не за что (исп.)

Элеонора Гвин – английская актриса XVII века, любовница Карла II

музыкант, гипнотизер, персонаж
из романа Дж.Дюморье «Трильби»

Джеймс Оглторп – английский генерал, филантроп, основатель штата Джорджия; в 1733 году основал г. Саванну

стихотворение английского
поэта, XIX века Альфреда Теннисона
(дается в подстрочном переводе):

Цветок на растрескавшейся
стене,

Я срываю тебя из расселины
И держу перед глазами – весь, с
корешком,

Маленький цветок – но если бы
я мог понять,

Что ты такое – корешок и
остальное, целиком.

Я знал бы, что такое Бог и
человек.

незаконченная поэма
английского поэта С.Т.Кольриджа
(1772–1834)

структурная формула бензола,
открыта немецким химиком
А.Ф.Кекуле в 1864 году

Кэдмон – первый английский христианский поэт (VII век)

ДОВОД К ЧЕЛОВЕКУ (лат.), основанный не на объективных данных, а рассчитанный на чувства убеждаемого; например, вместо того чтобы доказать ложность какого-то мнения, подвергают рассмотрению личность того, кто высказал это мнение

начало стихотворения из книги
«Шропширский парень» английского
поэта А.Хаусмена (1859–1936)

Максфилд Парриш (1870–1966)

— американский художник,
иллюстратор и монументалист

племя индейцев пуэбло

гарпунщик из романа Германа
Мелвилла «Моби Дик»

искусство длительно (лат.); *Ars longa, vita brevis est* – жизнь коротка, искусство вечно («Афоризмы» Гиппократ)

герцог Кларенс, брат
английского короля Эдуарда IV, по
преданию, был утоплен в бочке с
мальвазией в 1478 году

двусмысленность (фр.)

Хоть шлюха каждая была
девицей, Кэт в Нэн не превратишь
ты, старина (Вильям Блейк, «Ворота
рая»)

американский генерал, герой второй войны за независимость (1812–1814); с 1829 по 1837 год – президент США

деньги не пахнут (лат.)

английское

народное

стихотворение для детей:

Малыш Джек Хорнер сидел
в углу

И ел рождественский
пирог.

Он засунул туда пальчик,
Выковырял сливу

И сказал: какой я молодец.

английский романист XIX века

Улисс Грант – президент США с 1868 по 1876 год; Калвин Кулидж – президент США с 1923 по 1929 год; годы правления обоих отмечены усиленной спекуляцией

выдающийся американский
трагический актер XIX века